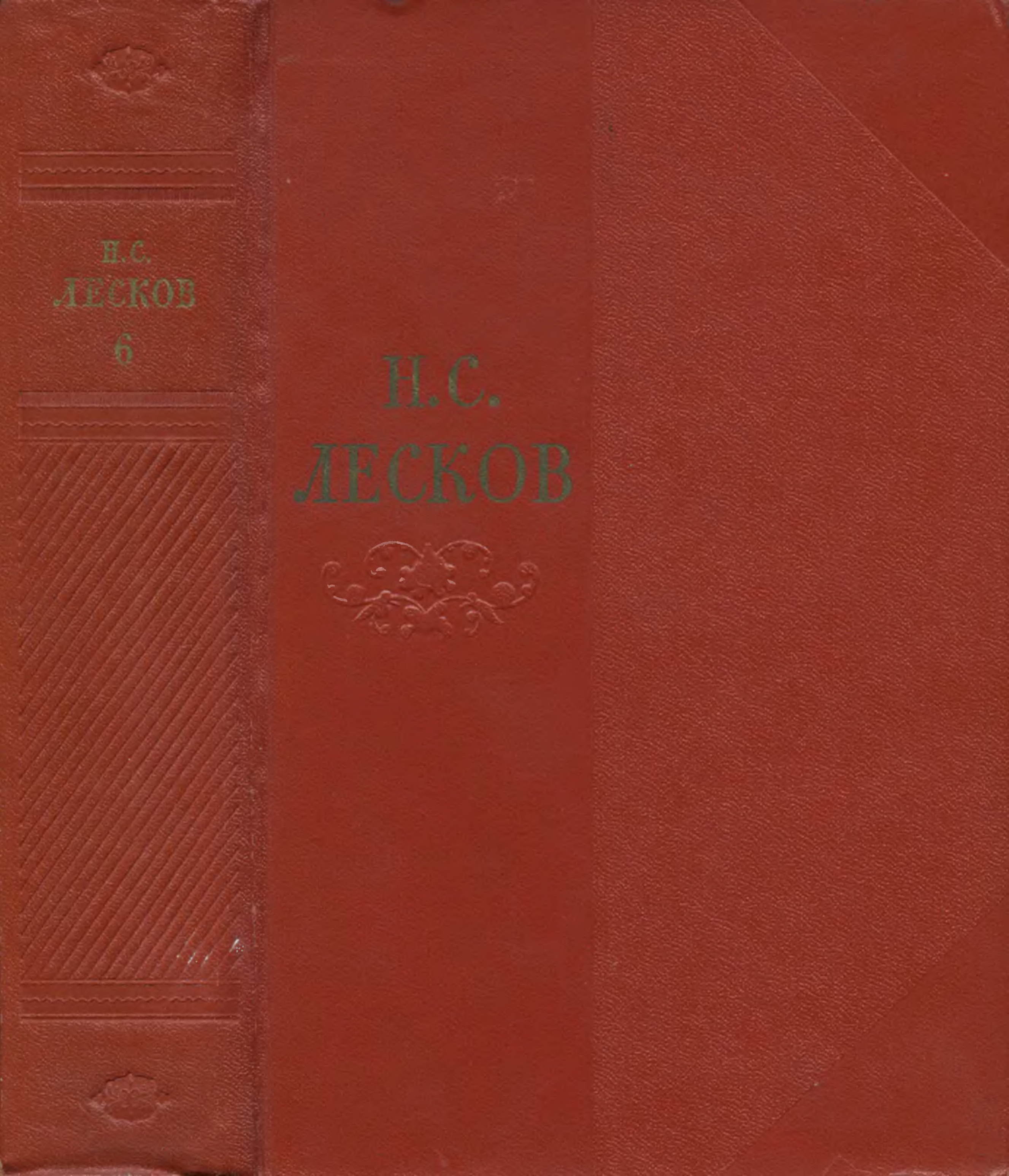

Н.С.
ЛЕСКОВ
6
Н.С.
ЛЕСКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Н. С. ЛЕСКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ОДИННАДЦАТИ ТОМАХ



Под общей редакцией:

В. Г. БАЗАНОВА, Б. Я. БУХШТАБА,

А. И. ГРУЗДЕВА, С. А. РЕЙСЕРА,

Б. М. ЭЙХЕНБАУМА.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

Н. С. ЛЕСКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ТОМ ШЕСТОЙ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1957

Подготовка текста и примечания
С. А. РЕЙСЕРА

ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ

Ржа железо точит.
Русск. поговорка.

I

Мы во всю мочь спорили, очень сильно напирая на то, что у немцев железная воля, а у нас ее нет — и что потому нам, слабовольным людям, с немцами опасно спорить — и едва ли можно справиться. Словом, мы вели спор, самый в наше время обыкновенный и, признаться сказать, довольно скучный, но неотвязный.

Из всех из нас один только старик Федор Афанасьевич Вочнев не приставал к этому спору, а преспокойно занимался разливанием чая; но когда чай был разлит и мы разобрали свои стаканы, Вочнев молвил:

— Слушал я, слушал, господа, про что вы толкуете, и вижу, что просто вы из пустого в порожнее перепускаете. Ну, положим, что у господ немцев есть хорошая, твердая воля, а у нас она похрамывает, — все это правда, но все-таки в отчаяние-то отчего тут приходить? — ровно не от чего.

— Как не от чего? — и мы и они чувствуем, что у нас с ними непременно будет столкновение.

— Ну что же такое, если и будет?

— Они нас вздуют.

— Ну, как же!

— Да разумеется, вздуют.

— Полноте, пожалуйста: не так-то это просто нас вздуть.

— А отчего же не просто: не на союзы ли вы надеетесь? — Кроме авоськи с небоськой, батюшка мой, не найдется союзов.

— Пускай и так, — только опять: зачем же так пренебрегать авоськой с небоськой? Нехорошо, воля ваша, нехорошо. Во-первых, они очень добрые и теплые русские ребята, способные кинуться, когда надобно, и в огонь и в воду, а это чего-нибудь да стоит в наше практическое время.

— Да, только не в деле с немцами.

— Нет-с: именно в деле с немцем, который без расчета шагу не ступит и, как говорят, без инструмента с кровати не свалится; а во-вторых, не слишком ли вы много уже придаете значения воле и расчетам? Мне при этом всегда вспоминаются довольно циничные, но справедливые слова одного русского генерала, который говорил про немцев: какая беда, что они умно рассчитывают, а мы им такую глупость подведем, что они и рта разинуть не успеют, чтобы понять ее. И впрямь, господа; нельзя же совсем на это не понадеяться.

— Это на глупость-то?

— Да, зовите, пожалуй, глупостью, а пожалуй, и удалью молодого и свежего народа.

— Ну, батюшка, это мы уже слышали: надоела уже нам эта сказка про свежесть и тысячелетнюю молодость.

— Что же? — и вы мне тоже ужасно надоели с этим немецким железом: и железный-то у них граф, и железная-то у них воля, и поедят-то они нас поедом. Тпфу ты, чтобы им скорей все это насквозь прошло! Да что это вы, господа, совсем ума, что ли, рехнулись? Ну, железные они, так и железные, а мы тесто простое, мягкое, сырое, непропеченное тесто, — ну, а вы бы вспомнили, что и тесто в массе топором не разрубишь, а, пожалуй, еще и топор там потеряешь.

— Ага, это вы насчет старинного аргумента, что, мол, мы всех шапками закидаем?

— Нет, я совсем не об этих аргументах. Таким похвальбам я даю так же мало значения, как вашим страхам; а я просто говорю о природе вещей, как видел и как

знаю, что бывает при встрече немецкого железа с русским тестом.

— Верно, какой-нибудь маленький случай, от которого сделаны очень широкие обобщения.

— Да, случай и обобщения; а только, по правде сказать, не понимаю: почему вы против обобщения случаев? На мой взгляд, не глупее вас был тот англичанин, который, выслушав содержание «Мертвых душ» Гоголя, воскликнул: «О, этот народ неодолим». — «Почему же?» говорят. Он только удивился и отвечал: «Да неужто кто-нибудь может надеяться победить такой народ, из которого мог произойти такой подлец, как Чичиков».

Мы невольно засмеялись и заметили Вочневу, что он, однако, престранно хвалит своих земляков, но он опять сделал косую мину и отвечал:

— Извините меня, вы все стали такая не свободная направленская узость, что с вами живому человеку даже очень трудно говорить. Я вам простое дело рассказываю, а вы сейчас уже искать общий вывод и направление. Пора бы вам начать отвыкать от этой гадости, а учиться брать дело просто; я не хвалю моих земляков и не порицаю их, а только говорю вам, что они себя отстоят, — и умом ли, глупостью ли, в обиду не дадутся; а если вам непонятно и интересно, как подобные вещи случаются, то я, пожалуй, вам что-нибудь и расскажу про железную волю.

— А не длинно это, Федор Афанасьич?

— Н-нет! не длинно; это совсем маленькая история, которую как начнем, так и покончим за часм.

— А если маленькая, так валяйте; маленькую историю можно и про немца слушать.

— Сидеть же смирно — история начинается.

II

Вскоре после Крымской войны (я не виноват, господа, что у нас все новые истории восходят своими началами к этому времени) я заразился модною тогда ересью, за которую не раз осуждал себя впоследствии, то есть я бросил довольно удачно начатую казенную

службу и пошел служить в одну из вновь образованных в то время торговых компаний. Она теперь давно уже лопнула, и память о ней погибла даже без шума. Частною службою я надеялся достать себе «честные» средства для существования и независимости от прихоти начальства и неожиданностей, висящих над каждым служащим человеком по известному пункту, на основании которого он может быть уволен без объяснения. Словом, я думал, что вырвался на свободу, как будто свобода так и начинается за воротами казенного здания; но не в этом дело.

Хозяева дела, при котором я пристроился, были англичане: их было двое, оба они были женаты, имели довольно большие семейства и играли один на флейте, а другой на виолончели. Они были люди очень добрые и оба довольно практические. Последнее я заключаю потому, что, основательно разорившись на своих предприятиях, они поняли, что Россия имеет свои особенности, с которыми нельзя не считаться. Тогда они взялись за дело на простой русский лад и снова разбогатели чисто по-английски. Но в то время, с которого начинается мой рассказ, они еще были люди неопытные, или, как у нас говорят, «сырые», и затрачивали привезенные сюда капиталы с глупейшею самоуверенностию.

Операции у нас были большие и очень сложные: мы и землю пахали, и свекловицу сеяли, и устраивались варить сахар и гнать спирт, пилить доски, колоть клепку, делать селитру и вырезать паркеты — словом, хотели эксплуатировать все, к чему край представлял какие-либо удобства. За все это мы взялись сразу, и работа у нас кипела: мы рыли землю, клали каменные стены, выводили монументальные трубы и набирали людей всякого сорта, впрочем, все более по преимуществу из иностранцев. Из русских высшего, по экономическому значению, ранга только и был один я — и то потому, что в числе моих обязанностей было хождение по делам, в чем я, разумеется, был сведущее иностранцев. Зато иностранцы составили у нас целую колонию; хозяева настроили нам довольно однообразные, но весьма красивые и удобные флигеля, и мы сели в этих коттеджах вокруг огромного старинного барского дома, в котором разместились сами принципалы.

Дом, построенный с разными причудами, был так велик и поместителен, что в нем могли свободно и со всякими удобствами расположиться даже два английские семейства. Над домом вверху, в полукруглом куполе была Эолова арфа, с которой, впрочем, давно были сорваны струны, а внизу под этим самым куполом — огромнейший концертный зал, где отличались в прежнее время крепостные музыканты и певчие, распроданные поодиночке прежним владельцем в то время, когда слухи об эмансипации стали казаться вероятными. Мои господа, англичане, давали в этом зале квартеты из Гайдена, на которые в качестве публики собирали всех служащих, не исключая нарядчиков, конторщиков и счетчиков.

Делалось это в целях «облагорожения вкуса», но только цель эта мало достигалась, потому что классические квартеты Гайдена простолюдинам не нравились и даже нагоняли на них тоску. Мне они откровенно жаловались, что «им нет хуже, как эту гадину слушать», но тем не менее эту «гадину» они все-таки слушали, пока всем нам не была послана судьбою другая, более веселая забава, что случилось с прибытием к нам из Германии нового колониста, инженера Гуго Карловича Пекторалиса. Этот человек прибыл к нам из маленького городка Доберана, что лежит при озере Плау в Мекленбург-Шверине, и самое его прибытие к нам уже имело свой интерес.

Так как Гуго Пекторалис и есть тот герой, о котором я поведу свой рассказ, то я вдамся о нем в небольшие подробности.

III

Пекторалис был выписан в Россию вместе с машинами, которые он должен был привезти, поставить, пустить в ход и наблюдать за ними. Почему наши англичане взяли этого немца, а не своего англичанина и отчего они самые машины заказали в маленьком немецком Доберане — я наверно не знаю. Кажется, это случилось так, что один из англичан видел где-то машины этой фабрики и, облюбовав их, пренебрег некоторыми условиями

патриотизма. Карман ведь не свой брат — и над английскими патриотами свои права предъявляет. Впрочем, останавливайте меня, пожалуйста, чтобы я не забалтывался.

Машины назначались для паровой мельницы и лесопильни, для которых уже были готовы здания. Высылкою их и инженера мы очень торопили — и фабрикант известил нас, что машины шли в Петербург морем с самыми последними фрахтами. Об инженере же, которого мы просили послать, чтобы он прибыл ранее машин и мог сделать нужные для них приспособления в постройках, нам писали, что такой инженер нам будет немедленно послан; что зовут его Гуго Пекторалис; что он знаток своего дела и имеет железную волю для того, чтобы сделать все, за что возьмется.

Я был тогда по компанейским делам в Петербурге, и на мою долю пало принять из таможни машины и отправить их в нашу глушь, а также взять с собою Гуго Пекторалиса, который должен был очень скоро приехать и явиться в «Сарептский дом», Асмус Симонзен и К°, — известный нам более под именем «горчичного дома». Но в высылке этих машин и инженера вышло какое-то qui pro quo:[1] машины запоздали и пришли очень поздно, а инженер упредил наши ожидания и приехал в Петербург раньше времени. Только что я прибыл в «горчичный дом», чтобы сообщить для ожидаемого Пекторалиса мой адрес, мне отвечали, что он уже с неделю тому назад как проехал.

Это неприятное для меня и очень рискованное для Пекторалиса событие случилось в конце октября, который в тот год, как назло, выдался особенно лют и ненастен. Снегу и морозов еще не было, но шли проливные дожди, сменявшиеся пронизывающими туманами; северные ветры дули так, что, казалось, хотели выдуть мозг костей, а грязь повсеместно была такая невылазная, что можно было представить, какой ад должны представлять теперь грунтовые почтовые дороги. Положение опрометчивого, как мне казалось, иностранца, который в такое время пустился один в такой далекий путь, не зная ни наших дорог, ни наших порядков, — казалось мне

---

[1] Недоразумение *(лат.)*.

просто ужасным, и я в своих предположениях не ошибся. Действительность даже превзошла мои ожидания.

Я осведомился в «горчичном доме»: владеет ли по крайней мере приехавший Пекторалис хотя сколько-нибудь русским языком, — и получил ответ отрицательный. Пекторалис не только не говорил, но и не понимал ни слова по-русски. На мой вопрос: довольно ли с ним было денег, мне отвечали, что ему выданы «за счет компании» прогонные и суточные на десять дней и что он более ничего не требовал.

Дело все осложнялось. Принимая в расчет тогдашний способ езды на почтовых, сопряженный с беспрестанными задержками, — Пекторалис мог застрять где-нибудь и, чего доброго, дойти, пожалуй, до прошения милостыни.

— Зачем вы не удержали его? Зачем не уговорили его хоть подождать попутчика?— пенял я в «горчичном доме», но там отвечали, что они уговаривали и представляли туристу все трудности пути; но что он непоколебимо стоял на своем, что он дал слово ехать не останавливаясь — и так поедет; а трудностей никаких не боится, потому что имеет *железную волю*.

В большой тревоге я написал своим принципалам все, как случилось, и просил их употребить все зависящие от них меры к тому, чтобы предупредить несчастия, какие могли встретить бедного путника; но, писавши об этом, я, по правде сказать, и сам хорошенько не знал, как это сделать, чтобы перенять на дороге Пекторалиса и довезти его к месту под охраною надежного проводника. Я сам в эту пору никак не мог оставить Петербурга, где меня задерживали довольно важные поручения, и притом он так давно уехал, что я едва ли мог бы его догнать. Если же будет послан кто-нибудь навстречу этой железной воле, то кто поручится, что этот посол встретит Пекторалиса и узнает его?

Я тогда еще думал, что, встретив Пекторалиса, его можно не узнать. Это происходило, конечно, оттого, что немцы, у которых я о нем расспрашивал, не умели сообщить его примет. Аккуратные и бесталанные, они давали мне только общие, так сказать, самые паспортные приметы, которые могут свободно приходиться чуть не к каждому. По их словам, Пекторалис был молодой человек

лет от двадцати восьми до тридцати; роста немного выше среднего, худощав, брюнет, с серыми глазами и веселым, твердым выражением лица. Надеюсь, что тут немного такого, по чему бы, встретив человека, можно было сейчас узнать его. Самое рельефное, что я мог удержать в памяти из всего этого описания, это «твердое и веселое выражение», но кто же это из простых людей такой знаток в определении выражений, чтобы сейчас приметить его и — «стой, брат, не ты ли Пекторалис?» Да и, наконец, самое это выражение могло измениться — могло достаточно размокнуть и остыть на русской осенней сырости и стуже.

Выходило, что кроме того, что мною было написано в пользу этого чудака, я более уже не мог для него ничего сделать — и волею-неволею я этим утешился, и притом же, получив внезапно неожиданные распоряжения о поездках на юг, не имел и досуга думать о Пекторалисе. Между тем прошел октябрь и половина ноября; в беспрестанных переездах я не имел о Пекторалисе никакого слуха и возвращался домой только под исход ноября, объехав в это время много городов.

Погода тогда уже значительно изменилась: дожди окончились, стояла сухая холодная ко́лоть, и всякий день порхал сухой мелкий снежок.

Во Владимире я нашел покинутый мною тарантас, который мог еще служить свою службу, так как на колесах было удобнее ехать, чем на санях, — и я тронулся в путь в моем экипаже.

Пути мне от Владимира оставалось около тысячи верст; я надеялся проехать это расстояние дней в шесть, но несносная тряска так меня измаяла, что я давал себе частые передышки и ехал гораздо медленнее. На пятый день к вечеру я насилу добрался до Василева Майдана и тут имел самую неожиданную и даже невероятную встречу.

Не знаю, как теперь, а тогда Василев Майдан была холодная, бесприютная станция в открытом поле. Довольно безобразный, обшитый тесом дом, с двумя казенными колоннами на подъезде, смотрел неприветливо и нелюдимо — и на самом деле, сколько мне известно, дом этот был холоден; но тем не менее я так устал, что решился здесь заночевать.

Несмотря на то, что по мерцавшему в окнах пассажирской комнаты огоньку я мог подозревать, что тут уже есть люди, расположившиеся на ночлег, — решимость моя дать себе роздых была тверда, и за нее-то я и был вознагражден самою приятною неожиданностию.

— Вы встретили здесь Пекторалиса? — перебил некто нетерпеливо рассказчика.

— Кого бы я тут ни встретил, — отвечал он, — я вас прошу ждать, чтобы я вам сам рассказал об этом, и не перебивать меня.

— А если это интересно?

— Тем лучше, вы постарайтесь это записать и отдать для фельетона интересной газеты. Теперь вопрос о немецкой воле и нашем безволии в моде — и мы можем доставить этим небезынтересное чтение.

IV

Отдав приказ своему человеку внести кошму, шубу и другие необходимые вещи, я велел ямщику задвинуть тарантас на двор, а сам ощупью прошел через просторные темные сени и начал ошаривать руками дверь. Насилу я ее нашел и начал дергать, но пазы туго набухли — и дверь не подавалась. Сколько я ни дергал, собственные мои силы, вероятно, оказались бы совершенно недостаточными, если бы мне на помощь не подоспела чья-то добрая рука, или, лучше сказать, добрая нога, потому что дверь мне была открыта с внутренней стороны толчком ноги. Я едва успел отскочить — и тогда увидал пред собою на пороге человека в обыкновенной городской цилиндрической шляпе и широчайшем клеенчатом плаще, на пуговице которого у воротника висел на шнурке большой дождевой зонтик.

Лицо этого незнакомца я в первую минуту не рассмотрел, но, признаться, чуть не обругал его за то, что он едва не сшиб меня дверью с ног. Но что меня удивило и заставило обратить на него особенное внимание — это то, что он не вышел в отворенную им дверь, как я мог этого ожидать, а напротив, снова возвратился назад и начал преспокойно шагать из угла в угол по отврати-

тельной, пустой комнате, едва-едва освещенной сильно оплывшею сальною свечою.

Я обратился к нему с вопросом: не знает ли он, где здесь на этой станции помещается смотритель или какой-нибудь другой жив-человек.

— Ich verstehe gar nichts russisch,[1] — отвечал незнакомец.

Я заговорил с ним по-немецки.

Он, видимо, обрадовался звукам родного языка и отвечал, что смотрителя нет, что он был, да давно куда-то ушел.

— А вы, вероятно, ждете здесь лошадей?

— О! да, я жду лошадей.

— И неужто лошадей нет?

— Не знаю, право, я не получаю.

— Да вы спрашивали?

— Нет, я не умею говорить по-русски.

— Ни слова?

— Да, «можно», «не можно», «таможно», «подрожно»... — пролепетал он, высыпав, очевидно, весь словарь своих познаний. — Скажут «можно» — я еду, «не можно» — не еду, «подрожно» — я дам подрожно, вот и все.

Батюшки мои, думаю себе: вот антик-то! и начинаю его осматривать... Что за наряд!.. Сапоги обыкновенные, но из них из-за голенищ выходят длиннейшие красные шерстяные чулки, которые закрывают его ноги выше колен и поддерживаются на половине ляжек синими женскими подвязками. Из-под жилета на живот спускается гарусная красная вязаная фуфайка; поверх жилета видна серая куртка из халатного драпа, с зеленою оторочкою, и поверх всего этот совсем не приходящий по сезону клеенчатый плащ и зонтик, привешенный к его пуговице у самой шеи.

Весь багаж проезжающего состоял из самого небольшого цилиндрического свертка в клеенчатом же чехле, который лежал на столе, а на нем довольно простая записная книжка и более ничего.

— Это удивительно! — воскликнул я и чуть не спросил его: «Неужто вы так вот это и едете?», но сейчас же спохватился, чтобы не сказать неловкости — и, обратясь

---

[1] Я ничего не понимаю по-русски (*нем.)*.

к вошедшему в это время смотрителю, велел подать себе самовар и затопить камин.

Чужестранец все прохаживался, но, увидев, что принесли дрова и зажгли их в камине, вдруг несказанно обрадовался и проговорил:

— Ага, «можно», а я тут третий день — и третий день все сюда на камин пальцем показывал, а мне отвечали «не можно».

— Как, вы тут уже третий день?

— О да, я третий день, — отвечал он спокойно. — А что такое?

— Да зачем же вы сидите здесь третий день?

— Не знаю, я всегда так сижу.

— Как всегда, на каждой станции?

— О да, непременно на каждой; как выехал из Москвы, так везде и сижу, а потом опять еду.

— На каждой станции вы сидите по три дня?

— О да, по три дня... Впрочем, позвольте, я на одной просидел два дня, у меня это записано; но зато на другой четыре, это тоже записано.

— И что же вы делаете на станциях?

— Ничего.

— Извините меня, может быть вы нравы изучаете, заметки ваши пишете?

Тогда это было в моде.

— Да, я смотрю, что со мною делают.

— Да зачем же вы это позволяете все с собою делать?

— Ну... как быть!.. — отвечал он, — видите, я не умею по-русски говорить — и я должен всем подчиниться. Я это так себе положил; но зато потом...

— Что же будет потом?

— Я буду всё подчинять.

— Вот как!

— О да; непременно!

— Но как вы могли пуститься в такой путь, не зная языка?

— О, это было необходимо нужно; у нас было такое условие, чтобы я ехал не останавливаясь, — и я еду не останавливаясь. Я такой человек, который всегда точно исполняет то, что он обещал, — отвечал незнакомец —

и при этом лицо его, которого я до сих пор себе не определил, вдруг приняло «веселое и твердое выражение».

«Боже, что за чудак!» — думаю себе и говорю: — Но вы извините меня, пожалуйста, разве этак ехать, как вы едете, — значит «ехать не останавливаясь»?

— А как же? — я все еду, все еду; как только мне скажут «можно», я сейчас еду — и для этого, вы видите, я даже не раздеваюсь. О, я очень давно, очень давно не раздеваюсь.

«Чист же, — я думаю, — ты, должно быть, мой голубчик!» И говорю ему:

— Извините, мне странно, как вы собою распорядились.

— А что?

— Да вам бы лучше поискать в Москве русского попутчика, с которым бы вы ехали гораздо скорее и спокойнее.

— Для этого надо было останавливаться.

— Но вы очень скоро наверстали бы эту остановку.

— Я решил и дал слово не останавливаться.

— Но ведь вы, по вашим же словам, на всякой станции останавливаетесь.

— О да, но это не по моей воле.

— Согласен, но зачем же это и как вы это можете выносить?

— О, я все могу выносить, потому что у меня железная воля!

— Боже мой! — воскликнул я, — у вас железная воля?

— Да, у меня железная воля; и у моего отца, и у моего деда была железная воля, — и у меня тоже железная воля.

— Железная воля!.. вы, верно, из Доберана, что в Мекленбурге?

Он удивился и отвечал:

— Да, я из Доберана.

— И едете на заводы в Р.?

— Да, я еду туда.

— Вас зовут Гуго Пекторалис?

— О да, да! я инженер Гуго Пекторалис, но как вы это узнали?

Я не вытерпел более, вскочил с места, обнял Пекторалиса, как будто старого друга, и повлек его к само-

вару, за которым обогрел его пуншем и рассказал, что узнал его по его железной воле.

— Вот как! — воскликнул он, придя в неописанный восторг, — и, подняв руки кверху, проговорил: — О мой отец, о мой гроссфатер! [1] слышите ли вы это и довольны ли вашим Гуго?

— Они непременно должны быть вами довольны, — отвечал я, — но вы садитесь-ка скорее к столу и отогревайтесь чаем. Вы, я думаю, черт знает как назяблись!

— Да, я зяб; здесь холодно; о, как холодно! Я это все записал.

— У вас и платье совсем не такое, как нужно: оно не греет.

— Это правда: оно даже совсем не греет, — вот только и греют, что одни чулки; но у меня железная воля, — и вы видите, как хорошо иметь железную волю.

— Нет, — говорю, — не вижу.

— Как же не видите: я известен прежде, чем я приехал; я сдержал свое слово и жив, я могу умереть с полным к себе уважением, без всякой слабости.

— Но позвольте узнать, кому вы это дали такое слово, о котором говорите?

Он широко отмахнул правою рукою с вытянутым пальцем — и, медленно наводя его на свою грудь, отвечал:

— Себе.

— Себе! Но ведь позвольте мне вам заметить: это почти упрямство.

— О нет, не упрямство.

— Обещания даются по соображениям — и исполняются по обстоятельствам.

Немец сделал полупрезрительную гримасу и отвечал, что он не признает такого правила; что у него все, что он раз себе сказал, должно быть сделано; что этим только и приобретается настоящая железная воля.

— Быть господином себе и тогда стать господином для других — вот что должно, чего я хочу и что я буду преследовать.

«Ну, — думаю, — ты, брат, кажется, приехал сюда нас удивлять — смотри же только, сам на нас не удивись!»

---

[1] Дедушка *(нем.)*.

V

Мы переночевали вместе с Пекторалисом и почти целую ночь провели без сна. Назябшийся немец поместился на креслах перед камином и ни за что не хотел расстаться с этим теплым местом; но он чесался, как блошливый пудель, — и эти кресла под ним беспрестанно двигались и беспрестанно будили меня своим шумом. Я не раз убеждал его перелечь на диван; но он упорно от этого отказывался. Рано утром мы встали, напились чаю и поехали. В первом же городе я послал его с своим человеком в баню; велел хорошенько отмыть, одеть в чистое белье — и с этих пор мы с ним ехали безостановочно, и он не чесался. Я вынул тоже Пекторалиса и из его клеенки, завернул его в запасную овчинную шубу моего человека — и он у меня отогрелся и сделался чрезвычайно жив и словоохотлив. Он во время своего медлительного путешествия не только иззябся, но и наголодался, потому что его порционных денег ему не стало, да он и из тех что-то вначале же выслал в свой Доберан и во все остальное время питался чуть не одною своею железною волею. Но зато он и сделал немало наблюдений и заметок, не лишенных некоторой оригинальности. Ему постоянно бросалось в глаза то, что еще никем не взято в России и что можно взять уменьем, настойчивостью и, главное, «железною волею».

Я очень им был доволен и за себя и за всех обитателей нашей колонии, которым я рассчитывал привезти немалую потеху в лице этого оригинала, уже заранее изловчавшегося произвести в России большие захваты при содействии своей железной воли.

Что он нахватает — вы это увидите из развития нашей истории, а теперь идем по порядку.

Во-первых, этот Пекторалис оказался очень хорошим, — конечно, не гениальным, но опытным, сведущим и искусным инженером. Благодаря его твердости и настойчивости дело, для которого он приехал, пошло превосходно, несмотря на многие неожиданные препятствия. Машины, для установки которых он приехал, оказались изготовленными во многих частях весьма неточно и не из доброкачественного материала. Списываться об этом и требовать новых частей было некогда, потому что

заводы ждали перемола хлеба, и Пекторалис много вещей сделал сам. Детали эти с грехом пополам отливали на ничтожном, плохоньком чугунном заводишке в городе у некоего ленивейшего мещанина, по прозванию Сафроныча, а Пекторалис отделывал их, работая сам на самоточке. Уладить все это возможно было действительно только при содействии железной воли. Услуги Пекторалиса были замечены и вознаграждены прибавкою ему жалованья, которое у него поднялось теперь до полуторы тысячи рублей в год.

Когда я объявил ему об этой прибавке, он поблагодарил за нее с достоинством и сейчас же присел к столу и начал что-то высчитывать, а потом уставил глаза в потолок и проговорил:

— Это, значит, не изменяя моего решения, сокращает срок ровно на один год одиннадцать месяцев.

— Что вы считаете?

— Я суммирую... одни мои соображения.

— Ах, извините за нескромность.

— О, ничего, ничего: у меня есть известные ожидания, которые зависят от получения известных средств.

— И эта прибавка, о которой я вам принес известие, конечно, сокращает срок ожидания?

— Вы отгадали: оно сокращает его ровно на год одиннадцать месяцев. Я должен сейчас написать об этом в Германию. Скажите, когда у нас едут в город на почту?

— Едут сегодня.

— Сегодня? очень жаль: я не успею описать все как следует.

— Ну что за вздор! — говорю, — много ли нужно времени, чтобы известить о деле своего компаниона или контрагента?

— Контрагента, — повторил он за мною и, улыбнувшись, добавил: — О, если бы вы знали, какой этот контрагент!

— А что? конечно, это какой-нибудь сухой формалист?

— А вот и нет: это очень красивая и молодая девушка.

— Девушка? Ого, Гуго Карлыч, какие вы за собою грешки скрываете!

— Грешки? — переспросил он и, помотав головою, добавил: — никаких грешков у меня не было, нет и не может быть таких грешков. Это очень, очень важное, обстоятельное и солидное дело, которое зависит от того, когда у меня будет три тысячи талеров. Тогда вы увидите меня...

— На верху блаженства?

— Ну, нет еще, — не совсем наверху, но близко. На верху блаженства я могу быть только тогда, когда у меня будет десять тысяч талеров.

— Не значит ли все это попросту, что вы собираетесь жениться и что у вас в вашем Доберане или где-нибудь около него есть хорошенькая, милая девица, которая имеет частицу вашей железной воли?

— Именно, именно, вы совершенно правы.

— Ну, и вы, как настоящие люди крепкой воли, дали друг другу слово: отложить ваше бракосочетание до тех пор, пока у вас будет три тысячи талеров?

— Именно, именно: вы прекрасно угадываете.

— Да и не трудно, — говорю, — угадывать-то!

— Однако как это, на ваш русский характер, разве возможно?

— Ну что, мол, еще там про наш русский характер: где уже нам с вами за одним столом чай пить, когда мы по-вашему морщиться не умеем.

— Да ведь и это, — говорит, — еще не все, что вы отгадали.

— А что же еще-то?

— О, это важная практика, очень важная практика, очень важная практика, для которой я себя так строго и держу.

«Держи, — думаю, — брат, держи!..» — и ушел, оставив его писать письмо к своей далекой невесте.

Через час он явился с письмом, которое просил отправить, — и, оставшись у меня пить чай, был необыкновенно словоохотлив и уносился мечтами далее горизонта. И все помечтает, помечтает — и улыбнется, точно завидит миллиард в тумане. Так счастлив был разбойник, что даже глядеть на него неприятно и хотелось ему хоть какую-нибудь щетинку всучить, чтобы ему немножко больно стало. Я от этого искушения и не воздержался — и когда Гуго ни с того ни с сего обнял меня за плечи и спросил,

могу ли я себе представить, что может произойти от очень твердой женщины и очень твердого мужчины? — я ему отвечал:

— Могу.

— А как вы именно думаете?

— Думаю, что может ничего не произойти.

Пекторалис сделал удивленные глаза и спросил:

— Почему вы это знаете?

Мне стало его жаль — и я отвечал, что я просто пошутил.

— О, вы шутили, а это совсем не шутка, — это действительно так может быть, но это очень, очень важное дело, на которое и нужна вся железная воля.

«Лихо тебя побирай, — думаю, — не хочу и отгадывать, что ты себе загадываешь!..» — да все равно и не отгадал бы.

VI

А между тем железная воля Пекторалиса, приносившая свою серьезную пользу там, где нужна была с его стороны настойчивость, и обещавшая ему самому иметь такое серьезное значение в его жизни, у нас по нашей русской простоте все как-то смахивала на шутку и потешение. И что всего удивительней, надо было сознаться, что это никак не могло быть иначе; так уже это складывалось.

Бесконечно упрямый и настойчивый, Пекторалис был упрям во всем, настойчив и неуступчив в мелочах, как и в серьезном деле. Он занимался своею волею, как другие занимаются гимнастикой для развития силы, и занимался ею систематически и неотступно, точно это было его призвание. Значительные победы над собою делали его безрассудно самонадеянным и порою ставили его то в весьма печальные, то в невозможно комические положения. Так, например, поддерживаемый своею железною волею, он учился русскому языку необыкновенно быстро и грамматично; но, прежде чем мог его себе вполне усвоить, он уже страдал за него от той же самой железной воли — и страдал сильно и осязательно до повре-

ждений в самом своем организме, которые сказались потом довольно тяжелыми последствиями.

Пекторалис дал себе слово выучиться русскому языку в полгода, правильно, грамматикально, — и заговорить сразу в один заранее им предназначенный день. Он знал, что немцы говорят смешно по-русски, — и не хотел быть смешным. Учился он один, без помощи руководителя, и притом втайне, так что мы никто этого и не подозревали. До назначенного для этого дня Пекторалис не произносил ни одного слова по-русски. Он даже как будто позабыл и те слова, которые знал: то есть «можно, не можно, таможно и подрожно», и зато вдруг входит ко мне в одно прекрасное утро — и если не совсем легко и правильно, то довольно чисто говорит:

— Ну, здравствуйте! Как вы себе поживаете?

— Ай да Гуго Карлович! — отвечал я, — ишь какую штуку отмочил!

— Штуку замочил? — повторил в раздумье Гуго и сейчас же сообразил: — ах да... это... это так. А что, вы удивились, а?

— Да как же, — отвечаю, — не удивиться: ишь как вдруг заговорил!

— О, это так должно было быть.

— Почему же «так должно»? дар языков, что ли, на вас вдруг сошел?

Он опять немножко подумал — опять проговорил про себя:

— «Дар мужиков», — и задумался.

— Дар *языков,* — повторил я.

Пекторалис сейчас же понял и отлично ответил по-русски:

— О нет, не дар, но...

— Ваша железная воля!

Пекторалис с достоинством указал пальцем на грудь и отвечал:

— Вот это именно и есть так.

И он тотчас же приятельски сообщил мне, что всегда имел такое намерение выучиться по-русски, потому что хотя он и замечал, что в России живут некоторые его земляки, не зная, как должно, русского языка, но что это можно только на службе, а что он, как человек частной профессии, должен поступать иначе.

— Без этого, — развивал он, — нельзя: без этого ничего не возьмешь хорошо в свои руки: а я не хочу, чтобы меня кто-нибудь обманывал.

Хотел я ему сказать, что: «душа моя, придет случай, — и с этим тебя обманут», да не стал его огорчать. Пусть радуется!

С этих пор Пекторалис всегда со всеми русскими говорил по-русски и хотя ошибался, но если ошибка его была такого свойства, что он не то говорил, что хотел сказать, то к каким бы неудобствам это его ни вело, он все сносил терпеливо, со всею своею железною волею, и ни за что не отрекался от сказанного. В этом уже начиналось наказание его самолюбивому самочинству. Как все люди, желающие во что бы то ни стало поступать во всем по-своему, сами того не замечают, как становятся рабами чужого мнения, —так вышло и с Пекторалисом. Опасаясь быть смешным немножечко, он проделывал то, чего не желал и не мог желать, но ни за что в этом не сознавался.

Скоро это, однако, было подмечено, и бедный Пекторалис сделался предметом жестоких шуток. Его ошибки в языке заключались преимущественно в таких словах, которыми он должен был быстро отвечать на какой-нибудь вопрос. Тут-то и случалось, что он давал ответ совсем противоположный тому, который хотел сделать. Его спрашивали, например:

— Гуго Карлович, вам послабее чаю или покрепче?

Он не вдруг соображал, что значит «послабее» и что значит «покрепче», и отвечал:

— Покрепче; о да, покрепче.

— Очень покрепче?

— Да, очень покрепче.

— Или как можно покрепче?

— О да, как можно покрепче.

И ему наливали чай, черный как деготь, и спрашивали:

— Не крепко ли будет?

Гуго видел, что это очень крепко, — что это совсем не то, что он хотел, но железная воля не позволяла ему сознаться.

— Нет, ничего, — отвечал он и пил свой ужасный чай; а когда удивлялись, что он, будучи немцем, может

пить такой крепкий чай, то он имел мужество отвечать, что он это любит.

— Неужто вам это нравится? — говорили ему.

— О, совершенно зверски нравится, — отвечал Гуго.

— Ведь это очень вредно.

— О, совсем не вредно.

— Право, кажется, — вы это... так...

— Как так?

— Ошиблись сказать.

— Ну вот еще!

И тогда как он терпеть не мог крепкого чаю, он уверял, что «зверски» его любит — и его, один перед другим усердствуя, до того наливали этим крепким чаем, что этот так часто употребляемый в России напиток сделался мучением для Гуго; но он все крепился и все пил теин вместо чая до тех пор, пока в один прекрасный день у него сделался нервный удар.

Бедный немец провалялся без движения и без языка около недели, но при получении дара слова — первое, что прошептал, это было про железную волю.

Выздоровев, он сказал мне:

— Я доволен собою, — признался он, пожимая мою руку своею слабою рукою.

— Что же вас так радует?

— Я себе не изменил, — сказал он, но умолчал, в чем именно заключалась радовавшая его выдержка.

Но с этим его чайные муки кончились. Он более не пил чаю, так как чай ему с этих пор был совершенно запрещен, и для поддержки своей репутации ему оставалось только мнимо жалеть об этом лишении. Но зато вскоре же на его голову навязалась точно такая же история с французской горчицей диафан. Не могу вспомнить, но, вероятно, по такому же точно случаю, как с чаем, Гуго Карлович прослыл непомерно страстным любителем французской горчицы диафан, которую ему подавали решительно ко всякому блюду, и он, бедный, ел ее, даже намазывая прямо на хлеб, как масло, и хвалил, что это очень вкусно и зверски ему нравится.

Опыты с горчицею окончились тем же, что ранее было с чаем: Пекторалис чуть не умер от острого катара желудка, который хотя был прерван, но оставил по себе

следы на всю жизнь бедного стоика до самой его трагикомической смерти.

Было с ним много и других смешных и жалких вещей в этом же роде: всех их нет возможности припомнить и пересказать; но остаются у меня в памяти три случая, когда Гуго, страдая от своей железной воли, никак не мог уже говорить, что с ним делается именно то, чего ему хотелось.

Это была фаза, в которой он должен был дойти до апогея — и потом, колеблясь, идти к своему перигею.

VII

Новая фаза эта началась в первое лето, которое Пекторалис проводил с нами, и началась она тем, что Гуго изобрел себе необыкновенный экипаж. Нужно вам знать, что от нас до города считалось верст сорок, но была одна лесная тропинка, которою путь сокращался едва ли не наполовину. Только зато тропа эта была почти непроездна, — по ней едва-едва, и то с великим трудом, езжали на своих двуколесках крестьяне. Гуго хотел ездить ближе и не хотел трястись на мужицкой двуколеске, а сварганил себе нечто вроде колесницы: это было простое кресло с пружинной подушкой, поставленное на раму, укрепленную на передке старых дрожек. Экипаж был мудрен и имел такой вид, что ездившего на нем Пекторалиса мужики прозвали «мордовским богом»; но что всего хуже — кресло, лишенное своего комнатного покоя, ни за что не хотело путешествовать, оно не выдерживало тряски и очень часто соскакивало с рамы, и от этого не раз случалось, что лошадь Гуго прибегала домой одна, а потом через час или два плелся бедный Гуго, таща у себя на загорбке свое кресло. Бывало и хуже: раз он соскочил со своим креслом в болоте и сидел там, пока его вытащили и привезли в самом жалостном виде.

Уверять, что он сам этого хотел, Гуго не мог, но стоять на своем, чтобы не оставить своего упорства, он мог — и делал это с изумительною настойчивостью.

Другая история была такая: раз сильно перемокший Гуго прямо с охоты был затащен одним из наших принципалов к чайному столу, за которым в приятной вечерней беседе сидела в сборе вся наша колония. Для Гуго налили стакан горячей воды с красным вином и расспрашивали о его охотничьей удаче. Он был хороший охотник и лгал не много, но так как его железная воля, разумеется, и здесь имела свое место, то рассказ, сам по себе и весьма невинный, выходил интересен и забавен. Мы все слушали рассказчика и посмеивались; но только, к немалой досаде всех, удобство нашей беседы вдруг начали нарушать беспрестанно появлявшиеся в комнате осы. Престранное было дело, — и решительно невозможно было понять: откуда они сюда брались? Хотя окна дома, где мы сидели, и были открыты, но на дворе шел частый летний дождь, и лёта этим злым насекомым не было: откуда же они могли браться? А они так и порхали, как цветы из шляпы фокусника: они ползли по ножкам стола, появлялись на скатерти, на тарелках и, наконец, на спине Гуго — и в заключение одна из них пребольно ужалила в руку молодую хозяйку.

Дальнейшая беседа была решительно невозможна: сделался переполох, в котором дамская нервность и мужская услужливость заварили страшную кашу. Были вызваны самые энергические меры: все начали метаться — кто хлопал платком, кто гонялся за осами с салфеткою, некоторые сами спешили спрятаться. Во всей этой суете и беготне не принимал участия один Гуго — и он знал почему... Он один стоял неподвижно у стула, на котором сидел до этого времени, и был жалок и ужасен: лицо его было покрыто страшною бледностию, губы дрожали, и руки корчились в судорогах; а весь его сыроватый еще сюртук и особенно спина были сплошь покрыты осами.

— Великий боже! — воскликнули мы, охватывая его со всех сторон, — вы, Гуго Карлыч, настоящее гнездо ос.

— О нет, — отвечал он, едва выговаривая слово за словом, — я не гнездо, но у меня есть гнездо.

— Гнездо ос?!

— Да; я его нашел, но оно было мокро — и я хотел его рассмотреть и принес его с собою.

— И где же оно теперь?

— Оно в моем заднем кармане.

— Так вот оно что!

Мы сдернули с него сюртук (так как дамы давно уже оставили эту опасную комнату) и увидели, что вся спина жилета бедного Гуго была покрыта осами, которые ползли по нем вверх, отогревались, расправлялись и пускались в лёт, меж тем как из кармана бесконечным шнурком ползли одна за другою новые.

Прежде всего, разумеется, злополучный сюртук Гуго бросили на пол и растоптали осиное гнездо, бывшее причиною всего переполоха, а потом взялись за самого Гуго, который был изжален до немощи, но не издал ни жалобы, ни звука. Его освободили от ос, ползавших под его рубашкой, смазали, как сосиску, маслом и, положив на диван, покрыли простынею. Он быстро начинал распухать и, очевидно, страдал невыносимо; но когда один из англичан, соболезнуя о нем, сказал, что у этого человека действительно железная воля, — Гуго улыбнулся и, оборотясь в нашу сторону, проговорил с укоризною:

— Я очень рад, что вы больше в этом не сомневаетесь.

Его оставили любоваться своею железною волею и более с ним не разговаривали — и он, бедный, не знал, как много над ним все смеялись; а между тем новая история ждала его впереди.

VIII

Здесь я должен заметить, что Гуго если не был скуп, то был очень расчетлив и бережлив, — и как бережливость его имела целью скорейшее накопление нужных ему трех тысяч талеров и сопровождалась его железною волею в преследовании этой цели, то она стоила самой безумной скупости. Он себе решительно отказывал во всем, в чем была какая-нибудь возможность отказать: он не возобновлял себе платья и, не держа слуги, сам себе чистил сапоги. Но была одна статья, на которую он должен был израсходоваться, так как это было нужно в видах благоразумной экономии. Гуго дорого казалось ездить на наемной лошади, и он решился завести себе

свою лошадь, но задумал он это сделать не просто. Конские заводы в тех краях и большие и маленькие в изобилии; но между заводчиками был некто Дмитрий Ерофеич — помещик средней руки и конный заводчик с «закальцем». Никто на свете не умел так обмануть конем, как этот Дмитрий Ерофеич, и надувал он не как обыкновенный, сухой, прозаический барышник, а как артист, — больше для шику, для форса и для славы. Чем большим знатоком слыл или выдавал себя тот или другой покупатель, тем смелее и дерзче обманывал его Дмитрий Ерофеич. Он приходил в неописанную радость при столкновении с таким знатоком и говорил ему комплименты, что нет-де ему ничего приятнее, как иметь дело с таким человеком, который сам все понимает. И был тогда Дмитрий Ерофеич до бесконечности прост — коня не нахваливал, а, напротив, сам говорил о нем полупрезрительно:

— Лошаденка, дескать, так себе, завидного ничего нет — и на выставку ее не пошлешь; но а впрочем, дело в виду, сами смотрите.

И знаток смотрел, а Дмитрий Ерофеич только конюху командовал:

— Не верти ее, не верти! Что ты с нею вертишься, как бес перед заутренею? — мы ведь не цыгане. Дай барину ее хорошо осмотреть, стой спокойно. Вот там ножка-то у нее болела, прошла, что ли?

— Где болела? — спрашивает покупатель.

— Да на цевочке что-то у нее было.

— Это не у нее, Дмитрий Ерофеич, — замечает конюх.

— Ай не у нее? ну, да пусто ей будь, кто их вспомнит. Смотрите, батюшка мой, чтобы не ошибиться, товар недорогой, а всё денег зря бросать не следует, они дороги; а я, извините, устал и домой пойду.

И он уходил, а покупатель без него начинал еще зорче смотреть на ножку, на которой действительно никакой болезни никогда не было, — и не видал того, где заключались пороки.

Надувательство совершалось, и Дмитрий Ерофеич спокойно говорил:

— Дело торговое, а ты не хвались, что знаешь. Это тебе за похвальбу наука.

Но был и у Дмитрия Ерофеича свой пункт, своя ахиллесова пята, в которую он был довольно уязвим. Как всякий желает иметь то, чего не заслуживает, так и Дмитрий Ерофеич любил, чтобы ему верили. Давно он обрел в этом вкус и изрек правило:

— Не смотри, не гляди, дураком назовись, да на меня положись, я тогда тебе все в аккурат исполню, за сотню полтысячного коня дам.

И точно, это так и бывало, Дмитрий Ерофеич имел на этот счет свой point d'honneur, [1] своего рода железную волю. Но как на это пустились довольно многие, то Дмитрию Ерофеичу это стало очень невыгодно — и он давно хотел отбиться от этой докуки доверия. Долго он никак не мог на это решиться, но когда бог послал ему Пекторалиса, Дмитрий Ерофеич напустил на себя смелость. Чуть Гуго заговорил с ним о своей надобности иметь лошадь и попросил дать ему коня на совесть, Дмитрий Ерофеич отвечал ему:

— И, матинька, какая нынче совесть!.. коней у меня много, смотри и выбирай любого, какого знаешь, — а что такое за совесть!

— О, ничего, Дмитрий Ерофеич, я вам верю, я на вас полагаюсь.

— А мой тебе совет — никому, матинька, и не верь и ни на кого не полагайся; что такое на людей полагаться? Что, ты сам дурак, что ли, какой вырос?

— Ну, уже воля ваша, а я это так решил, вот вам сто рублей, и дайте мне за них лошадь. Не можете же вы мне в этом отказать.

— Да что отказать-то? Сто рублей, разумеется, деньги — и отчего их не взять, а только мне неприятно, что ты жалеть будешь.

— Не пожалею.

— Ну, как не пожалеть! Тоже ведь у тебя не шальные деньги, а трудовой грош, жаль станет, как я дрянную лошадь дам, — будешь жаловаться.

— Не буду я жаловаться.

— Это ты только так говоришь, а то где не жаловаться? Обидно покажется, пожалуешься.

— Ручаюсь вам, что никогда никому не пожалуюсь.

---

[1] Свое понимание чести *(франц.)*.

— А побожись!
— У нас, Дмитрий Ерофеич, не божатся.
— Ну вот видишь, еще и не божатся. Как же тут верить?
— Моей железной воле поверьте.
— Ну, быть по-твоему, — порешил Дмитрий Ерофеич, — и, угощая Пекторалиса ужином, позвал конюха и говорит: — Запрягите-ка Гуге Карловичу в саночках Окрысу.
— Окрысу, Дмитрий Ерофеич? — удивился конюх.
— Да, Окрысу.
— То есть так ее самую и запречь?
— Тпфу, да что ты, дурак, переспрашиваешь? Сказано запречь — и запряги. — И, отворотясь с улыбкою от конюха, он молвил Пекторалису: — Славного, брат, тебе зверя даю, кобылица молодая, рослая, статей превосходных и золотой масти. Чудная масть, на заглядение. Уверен, что век будешь помнить.
— Благодарю, благодарю, — говорил Пекторалис.
— Ну, поблагодаришь-то после, как наездишься; а только если что не по-твоему в ней выйдет, так смотри помни уговор: не ругайся, не пожалуйся, потому что я твоего вкуса не знаю, чего ты желал.
— Никогда никому не пожалуюсь, я уже вам это сказал, положитесь на мою железную волю.
— Ну, молодец, если так, а у меня, брат, вот воли-то совсем нет. Много раз я решался, дай стану со всеми честно поступать, но все никак не выдержу. Что ты будешь делать — и попу на духу после каюсь, да уже не воротишь. А у вас, у лютеран, ведь совсем и не каются?
— У нас богу каются.
— Ишь какая воля: и не божатся и не каются! Да, впрочем, у вас и попов нет и святых нет; ну, да вам их и взять негде, все святые-то русские. Прощай, матинька, садись да поезжай, а я пойду помолюсь да спать лягу.
И они расстались.
Пекторалис знал Дмитрия Ерофеича за шутника и был уверен, что все это шутки; он оделся, вышел на крыльцо, сел в саночки, но чуть только забрал вожжи, его лошадь сразу же бросилась вперед и ударилась лбом в стену. Он ее потянул в другую сторону, она снова

метнулась и опять лбом в запертый сарай — и на этот раз так больно стукнулась, что даже головою замотала.

Немец долго не мог понять этой штуки и не нашел, у кого бы спросить ей объяснение, потому что, пока это происходило, в доме сник всякий след жизни, все огни везде погасли и все люди попрятались. Мертво, как в заколдованном замке, только луна светит, озаряя далекое поле, открывающееся за растворенными воротами, да мороз хрустит и потрескивает.

Оглянулся Гуго туда и сюда, видит: дело плохо; повернул лошадь головой к луне — и даже испугался: так мертво и тупо, как два тусклые зеркальца, неподвижно глядели на луну большие бельма бедной Окрысы, и лунный свет отражался от них, как от металла.

— Лошадь слепая, — догадался Гуго и еще раз оглянулся по двору.

В одном из окон при свете луны ему показалось, что он видел длинную фигуру Дмитрия Ерофеича, который, вероятно, еще не спал и любовался луною, а может быть, и собирался молиться. Гуго вздохнул, взял лошадь под уздцы и повел ее со двора, — и как только за Пекторалисом заперли ворота, в окошечке Дмитрия Ерофеича засветился тихий огонек: вероятно, старичок зажег лампадку и стал на молитву.

IX

Бедный Гуго был жестоко и немилосердно обманут, его терзала обида, потеря, нестерпимая досада и отчаянное положение среди поля, — и он все это нес, терпеливо нес, идучи целые сорок верст пешком с слепою лошадью, за которою тянулись его пустые санки. И что же, однако, он сделал со всеми этими чувствами и с лошадью? Лошади нигде не оказалось — и он ничего никому не сказал о том, куда она делась (вероятно, он продал ее татарам в Ишиме). А к Дмитрию Ерофеичу, на дворе которого все наши имели обычай приставать, Пекторалис заезжал по-прежнему, не давая заметить в своих отношениях и тени неудовольствия. Долго, долго Дмитрий Ерофеич не

показывал ему глаз, но потом они встретились — и Пекторалис не сказал ни слова о лошади.

Наконец уже Дмитрий Ерофеич не выдержал и сам заговорил:

— А что, бишь, я все забываю тебя спросить: какова твоя лошаденка?

— Ничего, очень хороша, — отвечал Пекторалис.

— Да она, что и говорить, разумеется, лошадь хорошая; только вот какова она в езде-то?

— Хорошо ездит.

— Ну и чудесно. Я так и полагал, что хорошо будет ездить. Только что же ты, кажется, не на ней сегодня приехал?

— Да я ее поберегаю.

— А, вот это прекрасно, это ты очень умно делаешь, поберегай, брат, ее, поберегай. Кобылица чудная, грех такую не беречь.

И людям он с добротою сердечною сообщал, что вот-де Гуго Карлыч нашу Окрысу очень хвалит, а сам все думал: «Что это за чертов такой немец, ей-право, во всю мою жизнь со мной такая первая оказия: надул человека до бесчувствия, а он не ругается и не жалуется».

И впал от этого Дмитрий Ерофеич даже в беспокойство. Понять он не мог, что это такое значит. Сам начал всем рассказывать, как он надул Пекторалиса, и сильно претендовал, что отчего же тот не жалуется. Но Пекторалис держал свой термин и, узнав, что Дмитрий Ерофеич рассказывает, только пожал плечами и сказал:

— Никакой выдержки нет.

Дмитрий Ерофеич был плутоват, но труслив, суеверен и набожен; он вообразил, что Пекторалис замышляет ему какое-то ужасно хитро рассчитанное мщение, и, чтобы положить конец этой душевной тревоге, послал ему чудесную лошадь рублей в триста и велел ему кланяться и просить извинения.

Пекторалис покраснел, но решительно велел отвести лошадь назад и вместо ответа написал: «Мне стыдно за вас, у вас совсем нет воли».

И вот этот-то человек, проделавший перед нами такую бездну экспериментов на своей железной воле, вдруг подвинулся к краю своих желаний: новый год ему принес

новую прибавку, которая с прежними его сбережениями сразу перевалила за три тысячи талеров.

Пекторалис поблагодарил хозяев и сейчас же стал собираться в Германию, обещаясь через месяц возвратиться оттуда с женою.

Сборы его были невелики — и он отправился, а мы стали нетерпеливо ждать его возвращения с супругою, которая, по всем нашим соображениям, должна была представлять нечто особенное.

Но в каком роде?

— Непременно, братцы, в надувательном, — старался утверждать Дмитрий Ерофеич.

X

Мы недолго оставались без вестей от Пекторалиса: через месяц после своего выезда он написал мне, что соединился браком, и называл свою жену по-русски, Кларой Павловной; а еще через месяц он припожаловал к нам назад с супругою, которую мы, признаться сказать, все очень нетерпеливо желали видеть и потому рассматривали ее с несколько нескромным любопытством.

У нас в колонии, где каждому так известны были крупные и мелкие чудеса Пекторалиса, существовало всеобщее убеждение, что и женитьба его непременно должна быть в своем роде какое-нибудь замысловатое чудо.

Оно, как ниже увидим, так и было в действительности, но только на первых порах мы ничего не могли понять.

Клара Павловна была немка как немка — большая, очень, по-видимому, здоровая, хотя и с несколько геморроидальною краснотою в лице и одною весьма странною замечательностью: вся левая сторона тела у нее была гораздо массивнее, чем правая. Особенно это было заметно по ее несколько вздутой левой щеке, на которой как будто был постоянный флюс, и по оконечностям. И ее левая рука и левая нога были заметно больше, чем соответствующие им правые.

Гуго сам обращал на это наше внимание и, казалось, даже был этим доволен.

— Вот, — говорил он, — эта рука побольше, а эта рука поменьше. О, это так не часто бывает.

Я тогда в первый раз видел эту странную игру природы и соболезновал, что бедный Гуго, вместо одной пары обуви и перчаток, должен был покупать для жены две разные; но только соболезнование это было напрасно, потому что madame Пекторалис делала это иначе: она брала и обувь и перчатки *на бóльшую* мерку, и оттого у нее всегда одна нога была в сапоге, который был впору, а другая в таком, который с ноги падал. То же было и с рукою, если когда дело доходило до перчаток.

У нас никому не нравилась эта дама, которую, по правде говоря, даже не шло как-то называть и дамою — так она была груба и простонародна, и из нас многие задавали себе вопрос: что могло привлечь Пекторалиса к этой здоровой, вульгарной немке и стоило ли для нее давать и исполнять такие обеты, какие нес он, чтобы на ней жениться. И еще он ездил за нею в такую даль, в Германию... Так и хочется, бывало, ему спеть:

Чего тебя черти носили,
Мы бы тебя дома женили.

Преимущества Клары, разумеется, заключались в каких-нибудь ее внутренних достоинствах — например, в воле. Мы и об этом осведомлялись:

— Большая воля у Клары Павловны?

Пекторалис делал гримасу и отвечал:

— Чертовская!

К обществу наших английских дам, между которыми были существа очень умные и прекрасно воспитанные, Клара Павловна совершенно не подходила, — и это чувствовала и она сама и Пекторалис, который об этом, впрочем, нимало не сожалел и вообще не заботился о том, как кому кажется его жена. Как истый немец, он содержал ее не про господ, а про свой расход, и нимало не стеснялся ее несоответствием среде, в которую она попала. В ней было то, что ему было нужно и что он ценил всего дороже: железная воля, которая в соединении с собственною железною волею Пекторалиса должна была произвесть чудо в потомстве, — и этого было довольно!

Но вот что могло несколько удивлять — это что никто не видал никаких проявлений этой воли. Клара Пекторалис жила себе как самая обыкновенная немка: варила мужу суп, жарила клопс и вязала ему чулки и погавки, а в отсутствие мужа, который в то время имел много работы на стороне, сидела с состоявшим при нем машинистом Офенбергом, глупейшим деревянным немцем из Сарепты.

Об Офенберге мне достаточно вам сказать десять слов: это был молодой юноша, которого, мне кажется, должны бы имитировать все актеры, исполняющие роль работника, соблазняемого хозяйкою в известной пиеске «Мельничиха в Марли». У нас все считали его дурачком, хотя он, впрочем, имел в себе нечто расчетливое и мягко-коварное, свойственное тем особенным простячкам с виду, каких можно встречать при иезуитских домах в rue de Sèvres и других местах.

Офенберг был взят в помощь Пекторалису не столько как механик, сколько как толмач для передачи его распоряжений рабочим; но и в этом роде он был не совсем удовлетворителен и многое часто путал. Однако тем не менее Пекторалис терпел его и находил полезным даже после того, когда уже и сам научился по-русски. Даже более: Пекторалис почему-то полюбил этого глупого Офенберга и делил с ним свои досуги: он жил с ним в одной квартире, спал до женитьбы в одной спальне, играл с ним в шахматы, ходил с ним на охоту и зорко наблюдал за его нравственностию, на что будто бы имел особенное поручение от его родителей и от старшин сарептских гернгутеров. Вообще Офенберг и Пекторалис у нас жили друзьями и очень редко расставались. Теперь это изменилось, потому что Пекторалис часто уезжал, но это нимало не угрожало нравственнности Офенберга, за которою в отсутствие мужа имела неослабное наблюдение фрау Клара. Таким образом, оба они были друг другу полезны. Офенберг развлекал фрау Клару, а она его оберегала от всяких покушений и соблазнов юности. И здесь дело было обдумано умно; но черт ему позавидовал и сделал из него замечательную глупость, которая благодаря прямоте и оригинальности нашего славного Гуго получила самую нескромную огласку и повернула весь дом вверх дном.

По женскому суждению, во всем этом, о чем я сейчас начну рассказывать, был непростительно виноват сам Гуго; но когда же у дам бывают другие виноватые, кроме мужей? Слушайте, пожалуйста, беспристрастно и рассудите дело сами, без дамского подсказа.

XI

Со времени женитьбы Пекторалиса утек год, затем прошел другой — и, наконец, третий. Так точно мог бы уйти и шестой, и восьмой, и десятый, если бы этот третий год не был необыкновенно счастлив для Пекторалиса в экономическом отношении. От этого счастья и произошло большое несчастие, о котором вы сейчас услышите.

Я уже вам сказал, кажется, что Пекторалис был основательный знаток своего дела — и при отличавшей его аккуратности и настойчивости, свойственной его железной воле, делал все, за что принимался, чрезвычайно хорошо и добросовестно. Это скоро сделало ему такую репутацию в околотке, что его постоянно приглашали то туда, то сюда, наладить одну машину, установить другую, поправить третью. Наши принципалы его в этом не стесняли — и он всюду поспевал, а зато и заработок его был очень значителен. Средства его так возрастали, что он начал подумывать: отложиться от своего Доберана и завести собственную механическую фабрику в центре нашей заводской местности, в городе Р.

Желание, конечно, самое простое и понятное для всякого человека, так как кому же не хочется выбиться из положения поденного работника и стать более или менее самостоятельным хозяином своего собственного дела; но у Гуго Карловича были к тому еще и другие сильные побуждения, так как у него с самостоятельным хозяйством соединялось расширение прав жизни. Вам, пожалуй, не совсем понятно, что я этим хочу сказать, но я должен на минуточку удержать пояснение этого в тайне.

Не помню, право, сколько именно требовалось по расчетам Пекторалиса, чтобы он мог основать свою фабрику, но, кажется, это выходило что-то около двенадцати или пятнадцати тысяч рублей, — и как только он доло-

жил к этой сумме последний грош, так сейчас же и поставил точку к одному периоду своей жизни и объявил начало нового.

Обновление это совершилось в три приема, из коих первый заключался в том, что Пекторалис объявил, что он более не будет служить и открывает в городе фабрикацию. Второе дело было — устройство этой фабрикации, для которой прежде всего нужно было место, и притом, разумеется, по мере возможности дешевое и удобное. Таких мест в небольшом городе было немного — и из них одно только отвечало всем требованиям Пекторалиса: он к нему и привязался. Это было большое глубокое место, выходившее одною стороною к ярмарочной площади, а другою — к берегу реки, — и притом здесь были огромные старые каменные строения, которые с самыми ничтожными затратами могли быть приспособлены к делу. Но половина этого облюбованного Пекторалисом места была давно заарендована на долгое время некоему мещанину Сафронычу, у которого тут был маленький чугуноплавильный завод. Пекторалис знал и этот завод и самого Сафроныча и надеялся его выжить. Правда, что Сафроныч не подавал ему на это никаких надежд и даже прямо отвечал, что он отсюда не пойдет; но Пекторалис придумал себе план, против которого Сафроныч, по его расчетам, никак не мог устоять. И вот, в надежде на этот план, место было куплено, и Пекторалис в один прекрасный день вернулся к нам на старое пепелище с купчею крепостию и в самом веселом расположении духа. Он был так весел, что позволил себе большие и совсем ему не свойственные нескромности, обнял при всех жену, расцеловал обоих своих принципалов, взял за уши и потянул кверху Офенберга и затем объявил, что он устроился, благодарит за хлеб за соль и скоро уезжает в Р. на свое хозяйство.

Мне показалось, что Клара Пекторалис при этом известии побледнела, а Офенберг как будто потерялся до того, что сам Гуго обратил на это внимание и, расхохотавшись, сказал:

— О! ты не ждал этого, бедный разиня! — И с этими словами он повернул к себе деревянного гернгутера, сильно хлопнул его по плечу и произнес: — Ну, ничего, не грусти, Офенберг, не грусти, я и о тебе подумал —

я тебя не оставлю, и ты будешь со мною, а теперь отправляйся сейчас в город и привези оттуда много шампанского и все то, что я купил по этой записке.

Записка была — реестр самых разнообразных покупок, сделанных Пекторалисом и оставленных в городе. Тут было вино, закуска и прочее.

Пекторалис, очевидно, хотел задать нам большой пир — и действительно, на другой же день, когда вся бакалея была привезена, он обошел всех нас, прося к себе вечером на большое угощение, по случаю своей женитьбы.

Мне показалось, что я не вслушался, и я его переспросил:

— Вы даете нам прощальный пир по случаю своего отъезда и нового приобретения?

— О нет; это мы еще будем пировать там, когда хорошо пойдет мое дело, а теперь я делаю пир потому, что я сегодня буду жениться.

— Как, вы будете сегодня жениться?

— О да, да, да: сегодня Клара Павловна... я с ней сегодня женюсь.

— Что вы за вздор говорите?

— Никакой вздор, непременно женюсь.

— Как женитесь? Да ведь, позвольте, вы ведь три года уже как женаты.

— Гм! да, три года, три года. Ишь вы! Вы думаете, что это всегда будет так, как было три года. Конечно, это могло так оставаться и тридцать три года, если бы я не получил денег и не завел своего хозяйства; но теперь нет, брат, Клара Павловна, будьте покойны, я с вами нынче женюсь. Вы меня, кажется, не понимаете?

— Решительно не понимаю, не понимаю.

— Дело самое простое: у меня с Клариинькой так было положено, что когда у меня будет три тысячи талеров, я буду делать с Клариинькой нашу свадьбу. Понимаете, только свадьбу и ничего более, а когда я сделаюсь хозяином, тогда мы совсем как нужно женимся. Теперь вы понимаете?

— Батюшки мои, — говорю, — я боюсь за вас, что начинаю понимать, как вы это... три года... все еще не женились!

— О да, разумеется, еще не женился! Ведь я вам сказал, что если бы я не устроился как нужно, я бы и тридцать три года так прожил.

— Вы удивительный человек!

— Да, да, да, я и сам знаю, что я удивительный человек, — у меня железная воля! А вы разве не поняли, что я вам давно сказал, что, получая три тысячи талеров, я еще не буду на верху блаженства, а буду только близко блаженства?

— Нет, — отвечаю, — тогда не понял.

— А теперь понимаете?

— Теперь понимаю.

— О, вы неглупый человек. И что вы теперь обо мне скажете? Я теперь сам хозяин и могу иметь семейство, я буду все иметь.

— Молодец, —говорю, — молодец!.. и черт вас побери, какой вы молодец!..

И целый потом этот день до вечера я был не шутя взволнован этою штукою.

«Этакой немецкий черт! — думалось мне, — он нашего Чичикова пересилит».

И как Гейне все мерещился во сне подбирающий под себя Германию черный прусский орел, так мне все метался в глазах этот немец, который собирался сегодня быть мужем своей жены после трех лет женитьбы.

Помилуйте, чего после этого такой человек не вытерпит и чего он не добьется?

Этот вопрос стоял у меня в голове и во все время пира, который был продолжителен и изобилен, на котором и русские, и англичане, и немцы — все были пьяны, все целовались, все говорили Пекторалису более или менее плоские намеки на то, что задлившийся пир крадет у него блаженные и долгожданные мгновения; но Пекторалис был непоколебим; он тоже был пьян, но говорил:

— Я никуда не тороплюсь; я никогда не тороплюсь — и я всюду поспею и все получу в свое время. Пожалуйста, сидите и пейте, у меня ведь железная воля.

В эти минуты он, бедняжка, еще не знал, как она ему была нужна и какие ей предстояли испытания.

XII

На другой день по милости этого пира пришлось проспать добрым полчасом дольше обыкновенного, да и то не хотелось встать, несмотря на самую неотвязчивую докуку будившего меня слуги. Только важность дела, которое он мне сообщал и которое я не скоро мог понять, заставила меня сделать над собою усилие.

Речь шла о Гуго Карловиче,— точно еще не был окончен заданный им пьянейший пир.

— Да в чем же дело? — говорю я, сидя на постели и смотря заспанными глазами на моего слугу.

А дело было вот в чем: через час после ухода от Пекторалиса последнего гостя, Гуго на рассвете серого дня вышел на крыльцо своего флигеля, звонко свистнул и крикнул:

— Однако!

Через несколько минут он повторил это громче и потом раз за разом еще громче прокричал:

— Однако! однако!

К нему подошел один из ночных сторожей и говорит:

— Что твоей милости, сударь?

— Пошли мне сейчас «Однако»!

Сторож посмотрел на немца и отвечал:

— Иди спать, родной, — что тебе такое!

— Ты дурак: пошли мне «Однако». Пойди туда, вон в тот флигель, где слесаря, и разбуди его там в его комнатке, — и скажи, чтобы сейчас пришел сюда.

«Перепились, басурманы!» — подумал сторож и пошел будить Офенберга: он-де немец и скорее разберет, что другому немцу надо.

Офенберг тоже был под-шефе и насилу продрал глаза, но встал, оделся и отправился к Пекторалису, который во все это время стоял в туфлях на крыльце. Завидя Офенберга, он весь вздрогнул и опять закричал ему:

— Однако!

— Чего вы хотите? — отвечал Офенберг.

— Однако, чего я хочу, того уже, однако, нет, — отвечал Пекторалис. И резко переменив тон, скомандовал: — Но иди-ка за мною.

Позвав к себе Офенберга, он заперся с ним на ключ в конторе — и с тех пор они дерутся.

Я просто своим ушам не верил; но мой человек твердо стоял на своем и добавил, что Гуго и Офенберг дерутся опасно — запершись на ключ, так что видеть ничего не видно, и крику, говорит, из себя не пущают, а только слышно, как ужасно удары хлопают и барыня плачет.

— Пожалуйте, — говорит, — туда, потому что там давно уже все господа собрались — потому убийства боятся; но никак взлезть не могут.

Я бросился к флигелю Пекторалиса и застал, что там действительно вся наша колония была в сборе и суетилась у дверей Пекторалиса. Двери, как сказано, были плотно заперты, и за ними происходило что-то необыкновенное: оттуда была слышна сильная возня — слышно было, как кто-то кого-то чем-то тузил и перетаскивал. Побьет, побьет и потащит, опрокинет и бросит, и опять тузит, и потом вдруг будто пауза — и опять потасовка, и тихое женское всхлипывание.

— Эй, господа! — кричали им. — Послушайте... довольно вам. Отпирайтесь!

— Не отвечай! — слышался голос Пекторалиса, и вслед за этим опять идет потасовка.

— Полно, полно, Гуго Карлыч! — кричали мы. — Довольно! иначе мы двери высадим!

Угроза, кажется, подействовала: возня продолжалась еще минуту и потом вдруг прекратилась — и в ту же самую минуту дверной крюк откинулся, и Офенберг вылетел к нам, очевидно при некотором стороннем содействии.

— Что с вами, Офенберг? — вскричали мы разом; но тот ни слова нам не ответил и пробежал далее.

— Батюшка, Гуго Карлыч, за что вы его это так обработали?

— Он знает, — отвечал Пекторалис, который и сам был обработан не хуже Офенберга.

— Что бы он вам ни сделал, но все-таки... как же так можно?

— А отчего же нельзя?

— Как же так избить человека!

— Отчего же нет? — и он меня бил: мы на равных правилах сделали русскую войну.

— Вы это называете русскою войною?

— Ну да; я ему поставил такое условие: сделать русскую войну — и не кричать.

— Да помилуйте, — говорим, — во-первых, что это такое за русская война без крику? Это совсем вы выдумали что-то не русское.

— По мордам.

— Ну да что же «по мордам», — это ведь не одни русские по мордам дерутся, а во-вторых, за что же вы это, однако, так друг друга обеспокоили?

— За что? он это знает, — отвечал Пекторалис. Этим двусмысленным образом он ответил на всю трагическую суть своего положения, которое, очевидно, имело для него много неприятного в своей неожиданности.

Вскоре же после этой русской войны двух немцев Пекторалис переехал в город и, прощаясь со мною, сказал мне:

— Знаете, однако, я очень неприятно обманулся.

Догадываясь, чего может касаться дело, я промолчал, но Пекторалис нагнулся к моему уху и прошептал:

— У Клариньки, однако, совсем нет такой железной воли, как я думал, и она очень дурно смотрела за Офенбергом.

Уезжая, он жену, разумеется, взял с собою, но Офенберга не взял. Этот бедняк оставался у нас до поправки здоровья, пострадавшего в русской войне; но на Пекторалиса не жаловался, а только говорил, что никак не может догадаться, за что воевал.

— Позвал, — говорит, — меня, кричит: «Однако!», а потом: «Становись, говорит, и давай делать русскую войну; а если не будешь меня бить, — я один тебя буду бить». Я долго терпел, а потом стал и его бить.

— И все за «однако»?

— Больше ничего не слыхал и не знаю.

— Это ведь, однако, странно!

— И, однако, больно-с, — отвечал Офенберг.

— А вы Кларе Павловне кур не строили, Офенберг?

— То есть, ей-богу, ничего не строил.

— И ни в чем не виноваты?

— Ей-богу, ни в чем.

Так это и осталось под некоторым сомнением: в какой мере был виноват сей Иосиф за то, за что он пострадал, но что Пекторалис на сей раз получил жестокий удар

своей железной воле — это было несомненно, — и хотя нехорошо и грешно радоваться чужому несчастью, но, откровенно вам признаюсь, я был немножко доволен, что мой самонадеянный немец, убедясь в недостатке воли у самой Клары, получил такой неожиданный урок своему самомнению.

Урок этот, конечно, должен был иметь на него свое влияние, но все-таки он не сломал его железной воли, которой надлежало оборваться весьма трагикомическим образом, но совершенно при другом роковом обстоятельстве, когда у Пекторалиса зашла русская война с настоящим русским же человеком.

XIII

Пекторалис имел достаточно воли, чтобы снесть неудовольствие, которое причинило ему открытие недостатка большой воли в его супружеской половине. Конечно, ему это было нелегко уже по тому одному, что его теперь должна была оставить самая, может быть, отрадная мечта — видеть плод союза двух человек, имеющих железную волю; но, как человек самообладающий, он подавил свое горе и с усиленною ревностью принялся за свое хозяйство.

Он устраивал фабрику и при этом на каждом шагу следил за своею репутациею человека, который превыше обстоятельств и везде все ставит на своем.

Выше было сказано, что Пекторалис приобрел лицевое место, задняя, запланная часть которого была в долгосрочной аренде у чугуноплавильщика Сафроныча, и что этого маленького человека никак нельзя было отсюда выжить.

Ленивый, вялый и беспечный Сафроныч как стал, так и стоял на своем, что он ни за что не сойдет с места до конца контракта, — и суды, признавая его в праве на такую настойчивость, не могли ему ничего сделать.

А он со своим дрянным народом и еще более дрянным хозяйством мешал и не мог не мешать стройному хозяйству Пекторалиса. И этого мало; было нечто более несносное в этом положении: Сафроныч, почувствовав

себя в силе своего права, стал кичиться и ломаться, стал всем говорить:

— Я-ста его, такого-сякого немца, и знать-де не хочу. Я своему отечеству патриот — и с места не сдвинусь. А захочет судиться, так у меня знакомый приказный Жига есть, — он его в бараний рог свернет.

Этого уже не мог снесть самоуважающий себя Пекторалис и в свою очередь решил отделаться от Сафроныча по-своему, и притом самым решительным образом, — для чего он уже и вперед расставил неосмотрительному мужику хитрые сети.

Пекторалис скомбинировал свои отношения с Сафронычем, казалось, чрезвычайно предусмотрительно, — так, что Сафроныч, несмотря на свои права, весь очутился в его руках и увидал это тогда, когда дело было приведено к концу, или по крайней мере так казалось.

Но вот как шло дело.

Пекторалис трудился и богател, а Сафроныч ленился, запивал и приходил к разорению. Имея такого конкурента, как Пекторалис, Сафроныч уже совсем оплошал и шел к неминучей нищете, но тем не менее все сидел на своих задах и ни за что не хотел выйти.

Я помню этого бедного, слабовольного человека с его русским незлобием, самонадеянностью и беспечностью.

— Что будет с вами, Василий Сафроныч, — говорили ему, указывая на упадок его дел, совершенно исчезавших за широкими захватами Пекторалиса, — ведь вон у вас по вашей беспечности перед самыми устами какой перехват вырос.

— И, да что же такое, господа? — отвечал беспечный Сафроныч, — что вы меня все этим немцем пугаете? Пустое дело: ведь и немец не собака — и немцу хлеб надо есть; а на мой век станет.

— Да ведь вон он всю работу у вас захватывает.

— Ну так что же такое? А может быть, это так нужно, чтобы он за меня работал. А с пепелища своего я все-таки не пойду.

— Эй, лучше уйдите — он вам отступного даст.

— Нет-с, не пойду: помилуйте, куда мне идти? У меня здесь целое хозяйство заведено, да у бабы — и корыта, и кадочки, и полки, и наполки: куда это все двигать?

— Что вы за вздор говорите, Сафроныч, да мудрено ли все это передвинуть?

— Да ведь это оно так кажется, что не мудрено, но оно у нас все лядащенькое, все ветхое: пока оно стоит на месте, так и цело; а тронешь — все рассыпется.

— Новое купите.

— Ну для чего же нам новое покупать, деньги тратить, — надо старину беречь, а береженого и бог бережет. Да мне и приказный Жига говорит: «Я, говорит, тебе по своему самому хитрому рассудку советую: не трогайся; мы, говорит, этого немца сиденьем передавим».

— Смотрите, не врет ли вам ваш Жига.

— Помилуйте, что же ему врать! Если бы он, конечно, это трезвый говорил, то он тогда, разумеется, может по слабости врать; а то он это и пьяный божится: ликуй, говорит, Сафроныч, велии это творятся дела не к погибели твоей, а ко славе и благоденствию.

Такие обидные речи Сафроныча опять доходили до Пекторалиса и раздражали его неимоверно и, наконец, совсем вывели его из терпения и заставили выкинуть самую радикальную штуку.

— О, если он хочет со мною свою волю померить, — решил Пекторалис, — так я же ему покажу, как он передавит меня своим сиденьем! Баста! — воскликнул Гуго Карлыч, — вы увидите, как я его теперь кончу.

— Он тебя кончит, — передали Сафронычу; но тот только перекрестился и отвечал:

— Ничего; бог не выдаст — свинья не съест, мне Жига сказал: погоди, он нами подавится.

— Ой, подавится ли?

— Непременно подавится. Жига это умно судил: мы, говорит, люди русские — с головы костисты, а снизу мясисты. Это не то что немецкая колбаса, ту всю можно сжевать, а от нас все что-нибудь останется.

Суждение всем понравилось.

Но на другой день после этих переговоров жена Сафроныча будит его и говорит:

— Встань скорее, нетяг ленивый, — иди посмотри, что нам немец сделал.

— Что ты все о пустяках, — отвечал Сафроныч, — я тебе сказал: я костист и мясист, меня свинья не съест.

— Иди смотри, он и калитку и ворота забил; я встала, чтобы на речку сходить, в самовар воды принести, а ворота заперты, и выходить некуда, а отпирать не хотят, говорят — не велел Гуго Карлыч и наглухо заколотил.

— Да, — вот это штука! — сказал Сафроныч и, выйдя к забору, попробовал и калитку и ворота: видит — точно, они не отпираются; постучал, постучал: никто не отвечает. Забит костистый человек на своем заднем дворе, как в ящике. Взлез Василий Сафроныч на сарайчик и заглянул через забор — видит, что и ворота и калитка со стороны Гуго Карлыча крепко-накрепко досками заколочены.

Сафроныч кричал, кликал всех, кого знал, как зовут в доме Пекторалиса, и никого не дозвался. Никто ему не помог, а сам Гуго вышел к нему со своею мерзкою немецкою сигарою и говорит:

— Ну-ка ну, что ты теперь сделаешь?

Сафроныч оробел.

— Батюшка, — отвечал он с крыши Пекторалису, — да что же вы это учреждаете? Ведь это никак нельзя: я контрактом огражден.

— А я, — отвечает Пекторалис, — вздумал еще тебя и забором оградить.

Стоят этак — один на крыльце, другой на крыше и объясняются.

— Да как же мне этак жить? — спрашивал Сафроныч, — мне ведь теперь выехать наружу нельзя.

— Знаю, я это для того и сделал, чтобы тебе нельзя было вылезть.

— Так как же мне быть, ведь и сверчку щель нужна, а я как без щели буду?

— А вот ты об этом и думай, да с приказным поговори; а я имел право тебе все щели забить, потому что о них в твоем контракте ничего не сказано.

— Ахти мне, неужли не сказано?

— А вот то-то есть!

— Быть этого, батюшка, не может.

— А ты не спорь, а лучше слезь да посмотри.

— Надо слезть.

Слез бедный Сафроныч с крыши, вошел в свое жилье, достал контракт со старым владельцем, надел очки — и ну перечитывать бумагу. Читал он ее и перечитывал, и

видит, что действительно бедовое его положение: в контракте не сказано, что, на случай продажи участка иному лицу, новый владелец не может забивать Сафроновы ворота и калитку и посадить его таким манером без выхода. Но кому же это и в голову могло прийти, кроме немца?

— Ах ты, волк тебя режь, как ты меня зарезал! — воскликнул бедняк Сафроныч и ну стучаться в забор к соседке.

— Матушка, — говорит ей Сафроныч, — позволь мне к твоему забору лесенку приставить, чтобы через твой двор на улицу выскочить. Так и так, — говорит, — вот что со мной злобный немец устроил: он меня забил, — в роковую петлю уловил мои ноги, так что мне и за приказным слазить не можно. Пока будет суд да дело, не дай мне с птенцами гладом-жаждой пропасть. Позволь через забор лазить, пока начальство какую-нибудь от этого разбойника защиту даст.

Мещанка-соседка сжалилась и открыла Василию Сафронычу пропуск.

— Ничего, — говорит, — батюшка, неужели я тебя этим стесню: ты добрый человек, — приставь лесенку, мне от этого убытку не будет, и я с своей стороны свою лесенку тебе примощу, и лазьте себе туда и сюда на здоровье через мой забор, как через большую дорогу, доколе вас начальство с немцем рассудит. Не позволит же оно ему этак озорничать, хотя он и немец.

— И я думаю, матушка, что не позволит.

— Но пока не позволит, ты только скорее к Жиге беги — он все дело справит.

— И то к нему побегу.

— Беги, милый, беги; он уже что-нибудь скаверзит, либо что, либо что, либо еще что. Ну, а пока я тебе, пожалуй, хоть одно звено в своем заборчике разгорожу.

Сафроныч успокоился — щель ему открывалась.

Утвердили они одну лесенку с одной стороны, другую с другой, и началось опять у Сафроновых хоть неловкое, а все-таки какое-нибудь с миром сообщение. Пошла жена Сафроныча за водою, а он сам побежал к приказному Жиге, который ему в давнее время контракт писал, — и, рыдая, говорит свою обиду:

— Так и так, — говорит, — все ты меня против немца обнадеживал, а со мною вот что теперь сделано, и все

это по твоей вине, и за твой грех все мы с птенцами должны, — говорит, — гладом избыть. Вот тебе и слава моя и благополучие!

А подьячий улыбается.

— Дурак ты, — говорит, — дурак, брат любезный, Василий Сафроныч, да и трус: только твое неожиданное счастье к тебе подошло, а ты уже его и пугаешься.

— Помилуй, — отвечал Сафроныч, — какое тут счастье, во всякий час всему семейству через чужой забор лазить? Ни в жизнь я этого счастья не хотел! Да у меня и дети не великоньки, того гляди которого за чем пошлешь, а он пузо занозит, или свалится, или ножку сломит; а порою у меня по супружескому закону баба бывает в году грузная, ловко ли ей все это через забор прыгать? Где нам в такой осаде, разве можно жить? А уже про заказы и говорить нечего: не то что какой тяжелый большой паровик вытащить, а и борону какую сгородить — так и ту потом негде наружу выставить.

А подьячий опять свое твердит:

— Дурак ты, — говорит, — дурак, Василий Сафронович.

— Да что ты зарядил одно: «дурак да дурак»? ты не стой на одной брани, а утешенье дай.

— Какого же, — говорит, — тебе еще утешения, когда ты и так уже господом взыскан паче своей стоимости?

— Ничего я этих твоих слов не понимаю.

— А вот потому ты их и не понимаешь, что ты дурак — и такой дурак, что моему значительному уму с твоею глупостию даже и толковать бы стыдно; но я только потому тебе отвечаю, что уже счастье-то тебе выпало очень несоразмерное — и у меня сердце радуется, как ты теперь жить будешь великолепно. Не забудь, гляди, меня, не заветряйся; не обнеси чарою.

— Шутишь ты надо мною, бессовестный.

— Да что ты, совсем уже, что ли, одурел, что речи человеческой не понимаешь? Какие тут шутки, я тебе дело говорю: блаженный ты отныне человек, если только в вине не потонешь.

Ничего бедный Василий Сафроныч не понимает, а тот на своем стоит.

— Иди, иди домой своею большою дорогою через забор, только ни о чем не проси немца и не мирись

с ним. И боже тебя сохрани, чтобы соседка тебе лаза не открывала, а ходи себе через лесенку, как показано, этой дороги благополучнее тебе быть не может.

— Полно, пожалуй, неужто так всё и лазить?

— А что же такое? — так и лазий, ничего не рушь, как сделалось, потому что экую благодать и пальцем грех тронуть. А теперь ступай домой да к вечеру наготовь штофик да кизлярочки — и я к тебе по лесенке перелезу, и на радостях выпьем за немцево здоровье.

— Ну, ты приходить, пожалуй, приходи, а чтобы я стал за его здоровье пить, так этого уже не будет. Пусть лучше он придет на мои поминки блины есть, да подавится.

А развеселый приказный утешает:

— И, брат, все может статься, теперь такое веселое дело заиграло, что отчего и тебе за его здоровье не попить; а придет то, что и ему на твоих похоронах блин в горле комом станет. Знаешь, в писании сказано: «Ископа ров себе и упадет». А ты думаешь, не упадет?

— Где ему сразу пасть! — всю силу забирает...

— А «сильный силою-то своею не хвались», это где сказано? Ох вы, маловеры, маловеры, как мне с вами жить и терпеть вас? Научитесь от меня, как вот я уповаю: ведь я уже четырнадцатый год со службы изгнан, а все водку пью. Совсем порою изнемогу — и вот-вот уже возроптать готов, а тут и случай, и опять выпью и восхвалю. Все, друг, в жизни с перемежечкой, тебе одному только теперь счастье до самого гроба сплошное вышло. Иди жди меня, да пошире рот разевай, чтобы дивоваться тому, что мы с немцем сделаем. Об одном молись...

— О чем это?

— Чтобы он тебя пережил.

— Тпфу!

— Не плюй, говорю, а молись: это надо с верою, потому что ему теперь очень трудно станет.

XIV

И все это изрекал Жига такими загадками.

Побрел Василий Сафроныч к своему загороженному дому, перелез большою дорогою через забор, спосылал тою же дорогою, кого знал, закупить для подьячего

угощение, — сидит и ждет его в смятенном унынии, от которого никак не может отделаться, несмотря на куражные речи приказного.

А тот в свою очередь этим делом не манкировал: снарядился он в свой рыжий вицмундир, покрылся плащом да рыжеватою шляпою — и явился на двор к Гуго Карловичу и просит с ним свидания.

Пекторалис только что пообедал и сидел, чистя зубы перышком в бисерном чехольчике, который сделала ему сюрпризом Клара Павловна еще в то блаженное время, когда счастливый Пекторалис не боялся ее сюрпризов и был уверен, что у нее есть железная воля.

Услыхав про подьячего, Гуго Карлыч, который на хозяйственной ноге начал уже важничать, долго не хотел его принять, но когда приказный объявил, что он по важному делу, Гуго говорит:

— Пусть придет.

Подьячий явился и ну низко-низко Пекторалису кланяться. Тому это до того понравилось, что он говорит:

— Принимайте место и садитесь-зи. [1]

А приказный отвечает:

— Помилуйте, Гуго Карлович, — мне ли в вашем присутствии сидеть, у меня ноги русские, дубовые, я перед вами, благородным человеком, и стоять могу.

«Ага, — подумал Пекторалис: — а этот подьячий, кажется, уважает меня, как следует, и свое место знает», — и опять ему говорит:

— Нет, отчего же, садитесь-зи!

— Право, Гуго Карлович, мне перед вами стоять лучше: мы ведь стоеросовые и к этому с мальства обучены, особенно с иностранными людьми мы всегда должны быть вежливы.

— Эх вы, какой штука! — весело пошутил Пекторалис и насильно посадил гостя в кресло.

Тому больше уже ничего не оставалось делать, как только почтительно из глубины сиденья на край подвинуться.

— Ну, теперь извольте говорить, что вы желаете? Если вы бедны, то вперед предупреждаю, что я бед-

---

[1] Вы *(нем.)*.

ным ничего не даю: всякий, кто беден, сам в этом виноват.

Приказный заслонил ладонью рот и, воззрясь подобострастно в Пекторалиса, ответил:

— Это вы говорите истинно-с: всякий бедный сам виноват, что он бедный. Иному точно что и бог не даст, ну а все же он сам виноват.

— Чем же такой виноват?

— Не знает, что делать-с. У нас такой один случай был: полк квартировал, кавалерия или как они называются... на лошадях.

— Кавалерия.

— Именно кавалерия, так там меня один ротмистр раз всей философии выучил.

— Ротмистр никогда не учит философии.

— Этот выучил-с, случай это такой был, что он мог выучить.

— Разве что случай.

— Случай-с: они командира-с ожидали и стояли верхами на лошадях да курили папиросочки, а к ним бедный немец подходит и говорит: «Зейен-зи зо гут», [1] и как там еще, на бедность. А ротмистр говорит: «Вы немец?» — «Немец», говорит. «Ну так что же вы, говорит, нищенствуете? Поступайте к нам в полк и будете как наш генерал, которого мы ждем», — да ничего ему и не дал.

— Не дал?

— Не дал-с, а тот и взаправду в солдаты пошел и, говорят, генералом сделался да этого ротмистра вон выгнал.

— Молодец!

— И я говорю — молодец; и оттого я всегда ко всякому немцу с почтением, потому бог его знает, чем он будет.

«Это совсем превосходный человек, это очень хороший человек», — подумал про себя Пекторалис и вслух спрашивает:

— Ну, анекдот ваш хорош; а по какому же вы ко мне делу?

— По вашему-с.

---

[1] Будьте так добры (*нем.*).

— По моему-у-у?
— Точно так-с.
— Да у меня никаких делов нет-с.
— Теперь будет-с.
— Уж не с Сафроновым ли?
— С ним и есть-с.
— Он никакого права не имеет, ему забор сказано стоять — он и стоит.
— Стоит-с.
— А про ворота ничего не сказано.
— Ни слова не сказано-с, а дело все-таки будет-с. Он приходил ко мне и говорит: «Бумагу подам».
— Пусть подает.
— И я говорю: «Подавай, а про ворота у тебя в контракте ничего не сказано».
— Вот и оно!
— Да-с, а он все-таки говорит... вы извините, если я скажу, что он говорил?
— Извиняю.
— «Я, говорит, хоть и все потеряю...»
— Да он уже и потерял, его работа никуда не годится, его паровики свистят.
— Свистят-с.
— Ему теперь шабаш работать.
— Шабаш, и я ему говорю: «Твоей фабрикации шабаш, и никто тебе ничего не поможет, — в ворота ничего ни провесть, ни вывезть нельзя». А он говорит: «Я вживе дышать не останусь, чтобы я этакому ферфлюхтеру [1] немцу уступил».
Пекторалис наморщил брови и покраснел.
— Неужто это он так и говорил?
— Смею ли я вам солгать? — истинно так и говорил-с: ферфлюхтер, говорит, вы и еще какой ферфлюхтер, и при многих, многих свидетелях, почитай что при всем купечестве, потому что этот разговор на благородной половине в трактире шел, где все чай пили.
— Вот именно негодяй!
— Именно негодяй-с. Я его было остановил, — говорю: «Василий Сафроныч, ты бы, брат, о немецкой нации поосторожнее, потому из них у нас часто большие

---

[1] Проклятому *(нем.)*.

люди бывают», — а он на это еще пуще взбеленился и такое понес, что даже вся публика, свои чаи и сахары забывши, только слушать стала, и все с одобрением.

— Что же именно он говорил?

— «Это, говорит, новшество, а я по старине верю: а в старину, говорит, в книгах от царя Алексея Михайловича писано, что когда-де учали еще на Москву приходить немцы, то велено-де было их, таких-сяких, туда и сюда не сажать, а держать в одной слободе и писать по черной сотне».

— Гм! это разве был такой указ?

— Вспоминают в иных книгах, что был-с.

— Это совсем не хороший указ.

— И я говорю, не хорошо-с, а особенно: к чему о том через столько прошлых лет вспоминать-с, да еще при большой публике и в народном месте, каковы есть трактирные залы на благородной половине, где всякий разговор идет и всегда есть склонность в уме к политике.

— Подлец!

— Конечно, нечестный человек, и я ему на это так и сказал.

— Так и сказали?

— Так и сказал-с; но только как от моих этих слов у нас между собою горячка вышла, и дошло дело до ругани, а потом дошло и больше.

— Что же: у вас вышла русская война?

— Точно так-с: пошла русская война.

— И вы его поколотили?

— И я его, и он меня, как по русской войне следует, но только ему, разумеется, не так способно было меня побеждать, потому что у меня, извольте видеть, от больших наук все волоса вылезли, — и то, что вы тут на моей голове видите, то это я из долгового отделения выпускаю; да-с, из запасов, с затылка начесываю... Ну, а он лохматый.

— Лохматый, негодяй.

— Да-с; вот я потому, как вижу, что мир кончен и начинается война, я первым делом свои волосы опять в долговое отделение спустил, а его за вихор.

— Хорошо!

— Хорошо-с; но, признаться, и он меня натолкал.

— Ничего, ничего.

— Нет, больно-с.

— Ничего; я вас буду на мой счет лечить. Вот вам сейчас же и рубль на это.

— Покорно вас благодарю: я на вас и полагался, но только это ведь не вся беда.

— А в чем же вся-то?

— Ужасную я неосторожность сделал.

— Ну-у?

— Началось у нас после первого боя краткое перемирие, потому что нас розняли, и пошел тут спор; я сам и не знаю, как впал от этого в такое безумие, что сам не знаю, что про вас наговорил.

— Про меня?

— Да-с; об заклад за вас на пари бился-с, что подавай, говорю, подавай свою жалобу, — а ты Гуги Карлыча волю не изменишь и ворота отбить его не заставишь.

— А он, глупец, думает, что заставит?

— Смело в этом уверен-с, да и другие тоже уверяют-с.

— Другие!

— Все как есть в один голос.

— О, посмотрим, посмотрим!

— И вот они восторжествуют-с, если вы поддадитесь.

— Кто, я поддамся?

— Да-с.

— Да вы разве не знаете, что у меня железная воля?

— Слышал-с, и на нее в надежде такую и напасть на себя сризиковал взять: я ведь при всех за вас об заклад бился и увлекся сто рублей за руки дать.

— И дайте — назад двести получите.

— Да вот-с, я, их всех там в трактире оставивши, будто домой за деньгами побежал, и к вам и явился: ведь у меня, Гуго Карлыч, дома, окромя двух с полтиною, ни копейки денег нет.

— Гм, нехорошо! Отчего же это у вас денег нет?

— Глуп-с, оттого и не имею; опять в такой нации, что тут — честно жить нельзя.

— Да, это вы правду сказали.

— Как же-с, я честью живу и бедствую.

— Ну ничего, — я вам дам сто рублей.

— Будьте благодетелем: ведь они не пропадут-с. Это все от вас зависит.

— Не пропадут, не пропадут, вы с него когда двести получите, сто себе возьмите, а эти сто мне возвратите.

— Непременно ворочу-с.

Пекторалис вручил подьячему бумажку, а тот, выйдя за двери, хохотал, хохотал, так что насилу впотьмах в соседний двор попал и полез к Сафронычу через забор пьяный магарыч пить.

— Ликуй, — говорит, — русская простота! Ныне я немца на такую пружину взял, что сатана скорее со своей цепи сорвется, чем он соскочит.

— Да хотя поясни, — приставал Сафроныч.

— Ничего больше не скажу, как уловлен он — и уловлен на гордости, а это и есть петля смертная.

— Что ему!

— Молчи, маловер, или не знаешь, ангел на этом коне поехал, и тот обрушился, а уж немцу ли не обрушиться.

Осушили они посудины, настрочили жалобу, и понес ее Сафроныч утром к судье опять по той же большой дороге через забор; и хотя он и верил и не верил приказному, что «дело это идет к неожиданному благополучию», но значительно успокоился. Сафроныч остудил печь, отказал заказы, распустил рабочих и ждет, что́ будет всему этому за конец, в ожидании которого не томился только один приказный, с шумом пропивавший по трактирам сто рублей, которые сорвал с Пекторалиса, и, к вящему для всех интересу и соблазну, а для Гуго Карлыча к обиде, — хвастался пьяненький, как жестоко надул он немца.

Все это создало в городе такое положение, что не было человека, который бы не ожидал разбирательства Сафроныча и Пекторалиса. А время шло; Пекторалис все пузырился, как лягушка, изображающая вола, а Сафроныч все переда́ в своем платье истер, лазя через забор, и, оробев, не раз уже подсылал тайком от Жиги к Пекторалису и жену и детей за пардоном.

Но Гуго был непреклонен.

— Нет, — говорил он, — я к нему приду по его приглашению, но приду на его похороны блины есть, а до того весь мир узнает, что такое моя железная воля.

XV

И вот получили и Сафроныч и Пекторалис повестки — настал день их, и явились они на суд.

Зала была, разумеется, полна, — как я говорил, это смешное дело во всем городе было известно. Все знали весь этот курьез, не исключая и происшествия с подьячим, который сам разболтал, как он немца надул. И мы, старые камрады[1] Пекторалиса, и принципалы наши — все пришли посмотреть и послушать, как это разберется и чем кончится.

И Пекторалис и Сафроныч — прибыли оба без адвокатов. Пекторалис, очевидно, был глубоко уверен в своей правоте и считал, что лучше его никто не скажет, о чем надо сказать; а Сафронычу просто вокруг не везло: его приказный хотел идти говорить за него на новом суде и все к этому готовился, да только так заготовился, что под этот самый день ночью пьяный упал с моста в ров и едва не умер смертию «царя поэтов». Вследствие этого события Сафроныч еще более раскапустился и опустил голову, а Пекторалис приободрился: он был во всеоружии своей несокрушимой железной воли, которая теперь должна была явить себя не одному какому-нибудь частному человеку или небольшому семейному кружку, а обществу целого города. Стоило взглянуть на Пекторалиса, чтобы оценить, как он серьезно понимает значение этой торжественной минуты, и потому не могло быть никакого сомнения, что он сумеет ею воспользоваться, что он себя покажет, — явит себя своим согражданам человеком стойким и внушающим к себе уважение и, так сказать, отольет свой лик из бронзы, на память временам. Словом, это был, как говорят русские офицеры, «момент», от которого зависело все. Пекторалис знал, что его странный анекдот с свадьбою и женитьбой вызвал на свет множество смешных рассказов, в которых его железная воля делала его притчею во языцех. К истинным событиям, начиная с его двухмесячного путешествия зимою в клеенчатом плаще до русской войны с Офенбергом и легкомысленного предания себя в жертву надувательства пьяного подьячего, — прилагались небылицы

---

[1] Товарищи (*нем.*).

в лицах самого невозможного свойства. И впрямь, Пекторалис сам знал, что судьба над ним начала что-то жестоко потешаться и (как это всегда бывает в полосе неудач) она начала отнимать у него даже неотъемлемое: его расчетливость, знание и разум. Еще так недавно он, устраивая свое жилье в городе, хотел всех удивить разумною комфортабельностью дома и устроил отопление гретым воздухом — и в чем-то так грубо ошибся, что подвальная печь дома раскалялась докрасна и грозила рассыпаться, а в доме был невыносимый холод. Пекторалис мерз сам, морозил жену и никого к себе не пускал в дом, чтобы не знали, что там делается, а сам рассказывал, что у него тепло и прекрасно; но в городе ходили слухи, что он сошел с ума и ветром топит, и те, которые это рассказывали, думали, что они невесть как остроумны. Говорили, что будто колесница, на которой Пекторалис продолжал ездить «мордовским богом», удрала с ним насмешку, развалясь, когда он переезжал на ней вброд речку, — что кресло его будто тут соскочило и лошадь с колесами убежала домой, а он остался сидеть в воде на этом кресле, пока мимоехавший исправник, завидя его, закричал: «Что это за дурак тут не к месту кресло поставил?»

Дурак этот оказался Пекторалис.

И взял будто исправник снял Пекторалиса с этого кресла и привез его сушиться в его холодный дом; а кресло многие люди будто и после еще в реке видели, а мужики будто и место то прозвали «немцев брод». Что в этом было справедливо, что преувеличено и в чем — добраться было трудно; но кажется, что Гуго Карлыч действительно обломился и сидел на реке и исправник привез его. И сам исправник об этом рассказывал, да и колесницы мордовского бога более не видно было. Все это, как я говорю, по свойству бед ходить толпами, валилось около Пекторалиса, как из короба, и окружало его каким-то шутовским освещением, которое никак не было выгодно для его в одно и то же время возникавшей и падавшей большой репутации, как предприимчивого и твердого человека.

Наша милая Русь, где величия так быстро возрастают и так скоро скатываются, давала себя чувствовать и Пекторалису. Вчера еще его слово в его специаль-

ности было для всех закон, а нынче, после того как его Жига надул, — и в том ему веры не стало.

Тот же самый исправник, который свез его с речного сидения, позвал его посоветоваться насчет плана, сочиняемого им для нового дома, — и просит:

— Так, — говорит, — душа моя, сделай, чтобы было по фасаду девять сажен, — как место выходит, и чтобы было шесть окон, а посередине балкон и дверь.

— Да нельзя тут столько окон, — отвечал Пекторалис.

— Отчего же нельзя?

— Масштаб не позволит.

— Нет, ты не понимаешь, ведь это я буду в деревне строить.

— Все равно, что в городе, что в деревне, — нельзя, масштаб не позволяет.

— Да какой же у нас в деревне масштаб?

— Как какой? Везде масштаб.

— Я тебе говорю, нет у нас масштаба. Рисуй смело шесть окон.

— А я говорю, что этого нельзя, — настаивал Пекторалис, — никак нельзя: масштаб не позволяет.

Исправник посмотрел-посмотрел и засвистал.

— Ну, жаль, — говорит, — мне тебя, Гуго Карлыч, а делать нечего, — видно, это правда. Нечего делать, — надо другого попросить нарисовать.

И пошел он всем рассказывать:

— Вообразите, Гуго-то как глуп, я говорю: я в деревне вот столько-то окон хочу прорубить, а он мне: «маштап не позволит».

— Не может быть?

— Истинна, истинна; ей-богу, правда.

— Вот дурак-то!

— Да вот и судите! Я говорю: образумься, душенька, ведь я это в своей собственной деревне буду делать; какой же тут карта или маштап мне смеет не позволить? Нет; так-таки его, дурака, и не переспорил.

— Да, он дурак.

— Понятно, дурак: в помещичьем имении маштап нашел. Ясно, что глуп.

— Ясно; а всё кто виноват? — мы!

— Разумеется, мы.

— Зачем возвеличали!

— Ну, конечно.

Одним словом, Пекторалис был к этой поре не в авантаже, — и если бы он знал, что значит такая полоса везде вообще, а в России в особенности, то ему, конечно, лучше было бы не забивать ворота Сафронычу.

Но Пекторалис в полосы не верил и не терял духа, которого, как ниже увидим, у него было даже гораздо больше, чем позволяет ожидать все его прошлое. Он знал, что самое главное не терять духа, ибо, как говорил Гете, «потерять дух — все потерять», и потому он явился на суд с Сафронычем тем же самым твердым и решительным Пекторалисом, каким я его встретил некогда в холодной станции Василева Майдана. Разумеется, он теперь постарел, но это был тот же вид, та же отвага и та же твердая самоуверенность и самоуважение.

— Что вы не взяли адвоката? — шептали ему знакомые.

— Мой адвокат со мною.

— Кто же это?

— Моя железная воля, — отвечал коротко Пекторалис перед самою решительною минутою, когда с ним более уже нельзя было переговариваться, потому что начался суд.

XVI

Для меня есть что-то столь неприятное в описании судов и их разбирательств, что я не стану вам изображать в лицах и подробностях, как и что тут деялось, а расскажу прямо, что содеялось.

Сафроныч пересеменивал, почтительно стоя в своем длиннополом коричневом сюртуке, пострадавшем спереди от путешествия по заборам, и рассказывал свое дело, простодушно покачивая головою и вяло помахивая руками, а Гуго стоял, сложивши на груди руки по-наполеоновски, —и или хранил спокойное молчание, или давал только односложные, твердые и решительные ответы.

Нехитрое дело просто выяснилось сразу: о воротах и проезде через двор в контракте действительно ничего сказано не было — и по тону речей расспрашивавшего

об этом судьи ясно было, что он сожалеет Сафроныча, но не видит никаких оснований защитить его и помочь ему. В этой части дело Сафроныча было проиграно; но неожиданно для всех луна оборотилась к нам тем боком, которого никто не видал. Судья предъявил документы, которыми удостоверялись убытки Сафроныча от самочинства Пекторалиса. Они не были особенно преувеличены: их было высчитано по прекращении средств его производства по пятнадцати рублей в день.

Расчет этот был точен, ясен и несомненен. Сафроныч мог иметь действительный убыток в этом размере, если бы производство его шло как следует, но как оно на самом деле никогда не шло по его беспечности и невнимательности.

Но в виду суда было одно: ежедневный убыток в том размере, в каком он представлен возможным и доказан.

— Что вы на это скажете, господин Пекторалис? — вопросил судья.

Пекторалис пожал плечами, улыбнулся и отвечал, что это не его дело.

— Но вы причиняете ему убытки.

— Не мое дело, — отвечал Пекторалис.

— А вы не хотите ли помириться?

— О, никогда!

— Отчего же?

— Господин судья, — отвечал Пекторалис, — это невозможно: у меня железная воля, и это все знают, что я один раз решил, то так должно и оставаться, и этого менять нельзя. Я не отопру ворота.

— Это ваше последнее слово?

— О да, совершенно последнее слово.

И Пекторалис стал с своим выпяченным подбородком, а судья начал писать — и писал не то чтобы очень долго, а написал хорошо.

Решение его в одно и то же время доставляло и полное торжество железной воле Пекторалиса и резало его насмерть — Сафронычу же оно, по точному предсказанию Жиги, доставляло одно неожиданнейшее счастье.

Судебный приговор не отворял забитых Пекторалисом ворот, — он оставлял немца в его праве тешить этим свою железную волю, но зато он обязывал Пекторалиса

вознаграждать убытки Сафроныча в размере пятнадцати рублей за день.

Сафроныч был доволен этим решением; но, ко всеобщему удивлению, на него выразил удовольствие и Пекторалис.

— Я очень доволен, — сказал он, — я сказал, что ворота будут забиты, и они так останутся.

— Да, но вам это будет стоить пятнадцать рублей в день.

— Совершенно верно; но он ничего не выиграл.

— Выиграл пятнадцать рублей в день.

— А я об этом не говорю.

— Позвольте, что же это составит: двадцать восемь рабочих дней в месяце...

— Кроме Казанской.

— Да, кроме Казанской, — это двести восемьдесят, да сто сорок, — всего четыреста двадцать рублей в месяц. Около пяти тысяч в год. Батюшка, Гуго Карлыч, ведь это черт возьми совсем такую победу! Ведь он этого никогда бы не заработал: это он просто вас себе в крепость забрал.

Гуго моргал глазами, он чувствовал, что дело дорого обошлось, но волю свою показал — и первое число внес судье сумму за покой Сафроныча и его бедствие.

Так это и пошло далее: как, бывало, приходит первое число месяца, Сафроныч несет в суд пятнадцать рублей своей месячной аренды, следующей от него Пекторалису, а оттуда приносит домой через лестницу четыреста двадцать рублей, уплаченные в его пользу Пекторалисом.

Славное дело; чудная жизнь пошла для Сафроныча! Никогда он так не жил, да и не думал жить так легко, вольготно и прибыльно. Запер он свои доменки и амбары — и ходит себе посвистывает да чаи распивает или водочкой с приказным угощается, а потом перелезет через лесенку и спит покойно и всех уверяет, что «я, говорит, супротив немца никакой досады не чувствую. Это его бог мне за мою простоту ниспослал. Теперь я только одного боюсь, чтобы он прежде меня не помер. Да бог даст не помрет, он ко мне на похороны блины есть обещался, а он свое слово верно держит. Накорми его тогда, жена, хорошенько блинками, а пока пусть его бог на многое лето бережет на меня работать».

И как Сафроныч и впрямь был человек незлобивый, то и действительно он относился к Гуго Карлычу с полным благорасположением — и при встрече, где еще далеко его, бывало, завидит, как уже снимает шапку и кланяется, а сам кричит:

— Здравствуй, батюшка Гуга Карлыч! Здравствуй, мой кормилец!

Но Гуго этой сердечной простоты не понимал, он принимал ее за обиду и все за нее сердился.

— Ступай прочь, — говорит, — мужик; полезай через забор, где я тебе дорогу положил.

А добродушный Сафроныч отвечает:

— И чего ты, милота моя, гневаешься, за что сердишься? Через забор лезть, я и через забор полезу, — будь твоя воля, а я ведь к тебе со всем моим уважением и ничем не обижаю.

— Еще бы ты смел меня обидеть!

— Да и не смею же, государь мой, не смею, да и не за что. Напротив того, за тебя навсегда со всею семьею каждое утро и вечер богу молюсь.

— Не надо мне этого.

— Ах, благодетель, да нам-то это надо, чтобы тебя как можно дольше бог сохранил, я в том детям внушаю: не забывайте, говорю, птенцы, чтобы ему, благодетелю нашему, по крайней мере сто лет жить, да двадцать на карачках ползать.

«Что это такое «на карачках ползать»? — соображал Пекторалис. — «Сто жить и двадцать ползать... на карачках». Хорошо это или нехорошо «на карачках ползать»?»

Он решил об этом осведомиться — и узнал, что это более нехорошо, чем хорошо, и с тех пор это приветствие стало для него новым мучением. А Сафроныч все своего держится, все кричит:

— Живи и здравствуй, и еще на карачках ползай.

Семья проигравшего процесс Сафроныча хотя и сообщалась с миром через забор, но жила благодаря контрибуции, собираемой с Пекторалиса, в таком довольстве, какого она никогда до этих пор не знала, и, по сказанному Жигою, имела покой безмятежный, но зато выигравшему свое дело Пекторалису приходилось жутко: контрибуция, на него положенная, при продолжении ее из месяца в месяц была так для него чувствительна, что

не только поглощала все его доходы, но и могла угрожать ему решительным разорением.

Правда, что Пекторалис крепился и никому на свою судьбу не жаловался — и даже казался веселым, как человек, публично отстоявший свое право на всеобщее уважение, но в веселости этой уже начинало обозначаться нечто как будто притворное. Да и в самом деле, ведь не мог же этот упрямец не видать впереди, чем это кончится, — и не мог же он с развеселою душою ожидать этого комичного и отчаянного исхода. Дело было просто и ясно: сколько бы Пекторалис ни работал и как бы много ни заработал, все это у него должно было идти на удовлетворение Сафроныча. Не мог же Пекторалис с первого года заработать более пяти-шести тысяч, а от этого у него ничего не могло оставаться не только на развитие дела, даже на свое житье. Поэтому дело его в самом уже начале стало быстро клониться к упадку — и печальный конец его уже можно было предвидеть. Воля Пекторалиса была велика, но капитал слишком мал для того, чтобы выдерживать такие капризы, — и, нажитый в России, он снова стремился опять сюда же и попасть в свое русло. Пекторалис выдерживал сильное испытание и, очевидно, решился погибнуть, но живой не сдаться, — и история эта бог весть чем бы кончилась, если бы случай не распорядился подготовить ей исход самый непредвиденный.

XVII

В описанном мною положении прошел целый год и другой, Пекторалис все беднял и платил деньги, а Сафроныч все пьянствовал — и совсем, наконец, спился с круга и бродяжил по улицам. Таким образом, дело это обоим претендентам было не в пользу, но был некто, распоряжавшийся этою операциею умнее. Это была жена Сафроныча, такая же, как и ее муж, простоплетная баба, Марья Матвеевна, у которой было, впрочем, то счастливое перед мужем преимущество, что она сообразила:

— Ну а как мы все-то у немца переберем, тогда что будет?

Соображение это имело и свои резонные основания и свои важные последствия. Марья Матвеевна видела ясно, чего, впрочем, и мудрено было не видеть, что к концу второго года фабрика Пекторалиса уже совсем стояла без работы и Гуго сам ходил в жестокие морозы без шубы, в старой, изношенной куртке, а для форса только pince-nez на шнурочке наружу выпустил. У него уже не оставалось никакого имущества и, что хуже всего, никакой серьезной репутации, кроме той шутовской, которую он приобрел у нас своею железною волею. Но она ему, по правде сказать, ни на что полезное не могла пригодиться.

К тому же над ним в это время стряслась еще беда: его покинула его дражайшая половина — и покинула самым дерзким и предательским образом, увезя с собою все, что могла захватить ценного. К вящему горю, Клару Павловну еще все оправдывали, находя, что она должна была сбежать, во-первых, потому, что у Пекторалиса в доме необыкновенные печи, которые в сенях топятся, а в комнатах не греют, а во-вторых, потому, что у него у самого необыкновенный характер — и такой характер аспидский, что с ним решительно жить невозможно: что себе зарядит в голову, непременно чтобы по его и делалось. Дивились даже, что жена от него ранее не сбежала и не обобрала его в то время, когда он был поисправнее и не все еще перетаскал в штраф Сафронычу.

Таким образом, злополучный Гуго был и кругом обобран и кругом обвинен во всем, и притом нельзя сказать, чтобы для этого обвинения не существовало совсем основания. Обворовывать его, разумеется, не следовало, но жить с ним действительно, должно быть, было невыносимо, и вот за то он оставался один-одинешенек и, можно было сказать, уже нищ и убог, но все-таки не подавался и берег свою железную волю. Не в лучшем, однако, положении, как я сказал, был и Сафроныч, который проводил все свое время в трактирах и кабачках и при встречах злил немца желанием ему сто лет здравствовать и двадцать на карачках ползать.

Хотя бы этого по крайней мере не было; хотя бы этот позор и поношение от Пекторалиса были отняты — все бы ему было легче.

И вот он, кажется более для того, чтобы освежить положение, подал на Сафроныча жалобу, чтобы наказать того за эти «карачки», на которых, по мнению Пекторалиса, немцу нет никакого резона ползать.

— Это вот он сам и есть, который сам часто из трактиров на карачках ползает, — говорил Пекторалис, указывая на Сафроныча; но Сафронычу так же слепо везло, как упрямо не везло Пекторалису, — и судья, во-первых, не разделил взгляда Гуго на самое слово «карачки» и не видал причины, почему бы и немцу не поползти на карачках; а во-вторых, рассматривая это слово по смыслу общей связи речи, в которой оно поставлено, судья нашел, что ползать на карачках, после ста лет жизни, в устах Сафроныча есть выражение высшего благожелания примерного долгоденствия Пекторалису, — тогда как со стороны сего последнего это же самое слово о ползанье Сафроныча из трактиров произносимо *как укоризна,* за которую Гуго и надлежит подвергнуть взысканию.

Гуго своим ушам не верил, он все это считал вопиющею бестолковщиною и возмутительною русскою несправедливостью. Но тем не менее он по просьбе обрадовавшегося Сафроныча был присужден к вознаграждению его десятью рублями и окончательно потерялся. Пекторалис должен был взнести последний грош на удовлетворение Сафронычу за обиду его «карачками» — и, исполнив это, он почувствовал, что ему уже ничего иного не оставалось, как проклясть день своего рождения и умереть вместе со своею железною волею. Он бы, вероятно, так и сделал, если бы не был связан намерением «пережить» своего врага и прийти есть блины к нему на похороны. Должен же был Пекторалис сдержать это слово!

Пекторалис был некоторым образом в гамлетовском положении, в нем теперь боролись два желания и две воли — и, как человек, уже значительно разбитый, он никак не мог решить, «что доблестнее для души» — наложить ли на себя с железною волею руку, или с железною же волею продолжать влачить свое бедственнейшее состояние?

А десять рублей, отнесенные им в удовлетворение Сафроныча за «карачки», были последние его деньги — и контрибуцию на следующий месяц ему вносить было нечем.

«Ну что же, — говорил он себе, — придут в дом и увидят, что у меня ничего нет... *У меня ничего нет,* и я даже сегодня уже не ел, и завтра... завтра я тоже ничего не буду есть, и послезавтра тоже — и тогда я умру... Да, я умру, но моя воля будет железная воля».

Между тем, когда Пекторалис, находясь в таком ужасном поистине состоянии, переживал самые отчаянные минуты, в судьбе его уже готов был неожиданный кризис, который я не знаю как назвать — благополучным или неблагополучным. Дело в том, что в это же время и в судьбе Сафроныча происходило событие величайшей важности — событие, долженствовавшее резко и сильно изменить все положение дел и закончить борьбу этих двух героев самым невероятнейшим финалом.

XVIII

Надо сказать, что пока Пекторалис с Сафронычем тягались — и первый, разоряясь, сносил определенными кушами все свои достатки в пользу последнего, — этот, сделавшись настоящим пьяницею, все-таки был в лучшем положении. Этим он был обязан своей жене, которая не бросила Сафроныча, как бросила своего мужа Клара; Марья Матвеевна, напротив, взяла распившегося мужа в руки. Она сама носила за него аренду и сама отбирала у Сафроныча получаемую им с Пекторалиса контрибуцию. Чтобы распьянствовавшийся мужик не спорил с нею и подчинялся установленному женою порядку, она его не отягощала без меры и выдавала ему в день по полтине, которую Сафроныч и имел право расходовать по собственному его усмотрению. Расход этот, разумеется, имел одно назначение: Сафроныч в течение дня пропивал свою полтину и к ночи возвращался домой по хорошо известной ему лестнице через забор. Никакая степень опьянения не сбивала его с этой оригинальной дороги. Бог, охраняющий, по народному поверью, младенцев и пьяных, являл над Сафронычем все свое милосердие во тьме, под дождем, снегом и гололедицей; всегда Сафроныч благополучно поднимался по лестнице, достигал вершины забора и благополучно сваливался на

другую сторону, где у него на этот случай была подброшена кучка соломы. И он думал продолжать это так долго, как долги сто двадцать лет, которые он сулил жить и ползать Пекторалису. Сафронычу и в ум не приходило, чтобы фонды Пекторалиса иссякли. Где этому статься, чтобы у немца в России денег не достало? Кому-кому, а на их долю все достанет.

Хозяйка же Сафроныча в бабьей простоте «без направления» думала иначе и, переняв все деньги, мужем с Пекторалиса взысканные, собрала капиталец, с которым не хотела более лазить через забор, и купила себе домик — хороший домик, чистенький, веселенький, на высоком фундаменте и с мезонинчиком и с остренькою высокою крышею — словом, превосходный домик, и притом рядом с своим старым пепелищем, где все их дела расстроил железный Гуго.

Эта покупка происходила как раз около того времени, когда Сафроныч судился с Пекторалисом за «карачки», и в тот день, когда бывший чугунщик одержал над немцем неожиданную победу и получил десятирублевый штраф, семья Сафроныча перебиралась в свое новое жилище и располагалась в нем с давно незнакомым ей комфортом.

Сам Сафроныч не принимал в этом никакого участия, и семья, давно считавшая его неблагонадежным, не ожидала его помощи и устраивалась сама, как хотелось и как умела.

Сафроныч же, получив значительную для него сумму в десять рублей, утаил ее от жены, благополучно перебрался с ними в трактир и загулял самым широким загулом. Три дня и три ночи семья его провела уже в своем новом доме, а он все кочевал из трактира в трактир, из кабака в кабачок — и попивал себе с добрыми приятелями, желая немцу сто лет здравствовать и столько же на карачках ползать. В благодушии своем он сделал ему надбавку и вопиял:

— Глупый я человек, — очень глупый: правду мне покойник Жига говорил, что я глуп, а мне неожиданная благодать в сем немце дарована. А за что? «Что есть человек, что ты помниши его, или сын человеч, что ты посещаеши его». Где это сказано?

— В писании.

— То-то и есть, что в писании, а мы много ли про него помним? Ох, как не помним, совсем не помним!

— Слабы.

— Разумеется, слабы, — червь, а не человек, поношение человеков. А бог захочет —и червя сохранит, устроит тебя так, что лучше требовать нельзя, сам этак никогда и не выдумаешь. Слаб ты — он тебе немца пошлет и живи за его головою.

— Только вот одно гляди, — предостерегали его, — как бы твой немец не измучился да ворот не отпер.

Но одуревший Сафроныч этого не боялся.

— Куда ему отпереть, — отвечал он, — ни за что он не отопрет. Ему перед своею нациею стыдно. У них ведь это уже такое положение, что сказал, то чтобы непременно и сдействовать.

— Ишь ты какие сволочи!

— Да уж у них это так, особенно же он на суде прямо объяснил: «у меня, говорит, воля железная», — где же ему с нею справиться. Ему и так тяжело.

— Тяжело.

— Не дай бог этакой воли человеку, особенно нашему брату русскому, — задавит.

— Задавит.

— Давай лучше выпьем, зачем про такое говорить, теперь дело под вечер. Ну, дай бог, чтобы ему сто лет здравствовать и меня пережить.

— И то, брат, пусть переживет.

— И я говорю, пусть переживет, это ему по крайности утешением будет.

— Как же!

— Пусть придет и блинков съест.

— Вот у тебя душа, Сафроныч!

— Душа у меня добрая, но только, знаешь, пусть он переживает... но только самую крошечку.

— Да, безделицу.

— Вот так, вот так, этого стаканчика по рубчик.

— И хорошо.

— Да; вот по самый по маленький рубчик.

Отмеря это, приятели выпили и еще потом долго выпивали за всякие здоровья — и, наконец, стали пить за упокой души благодетеля приказного Жиги, который устроил им всю эту благостыню, и затянули нестройно

и громко «вечную память», но тут-то и произошло то странное начало конца, которое до сих пор осталось ни для кого не объяснимым.

Только что пьяницы пропели покойнику вечную память, как вдруг с темного надворья в окно кабака раздался сильный удар, глянула чья-то страшная рожа, — и оробевший целовальник в ту же минуту задул огонь и вытолкал своих гостей взашеи на темную улицу. Приятели очутились по колено в грязи и в одно мгновение потеряли друг друга среди густого и скользкого осеннего тумана, в который бедный Сафроныч погрузился, как муха в мыльную пену, и окончательно обезумел.

Едва держась на ногах, долго он старался спрятать в карман захваченный на бегу нераскупоренный штоф водки — и потом хотел было кого-то начать звать, но язык его, после сплошной трехдневной работы, вдруг так сильно устал, что как прилип к гортани, так и не хочет шевелиться. Но и этого мало, — и ноги Сафроныча оказались не исправнее языка, и они так же не хотели идти, как язык отказывался разговаривать, да и весь он стал никуда не годен: и глаза не видят, и уши его не слышат, и только голову ко сну клонит.

«Эге, ну нет, ты, черт тебя возьми, меня этим не обманешь! — подумал Сафроныч, — этак Жига лег спать, да и совсем не встал, а я еще не хочу, чтобы меня немец много пережил. Пусть переживет, да только немножечко».

И он приободрился; сделал еще шагов пять — и, чувствуя, что влез в грязь выше колен, снова остановился.

«Ей-богу, того и гляди утонешь, не хуже Англии, — повторил он в своих мыслях, — и черт знает, куда это я так глубоко залез, да и где мой дом? А? Где, и исправда, мой дом? Где моя лестница? «Черт с квасом съел»? Кто это там говорит, что мой дом черт с квасом съел? А? Выходи: если ты добрый человек, я тебя водкой попотчую, а не то давай делать русскую войну.

— Давай! — послышалось из тумана, — и в то же самое время кто-то дал Сафронычу сильную затрещину, от которой тот так и упал в болото.

«Ну, шабаш, — подумал он, — всю память отшибло, и не знаю, что это со мною делается. И куда это к черту все мои приятели делись? Экие пьяницы! Вот уже прав-

да — нехорошо пить с пьяницами, ни за что больше не буду пить с пьяницами. Что? Да кто это со мною все разговаривает? Слышишь, скажи, пожалуйста: чего ты это на мне ищешь? Ничего, братец, не найдешь: а штоф я под себя спрятал. Ага! стой, стой! Зачем же ты меня теперь так больно за вихор? Ведь это бесполезительно. А теперь опять за уши — ну, это, разумеется, другое дело, это в память приводит, только опять-таки и это мне больно, — дай я лучше так встану».

И он — сколько волею, столько же неволею и своею охотою — встал и, кажется, пошел. Не то чтобы настояще в этом уверен, а кажется ему, что или идет, или так просто под ним земля убывает, но только что-то делается-делается, кто-то его ведет, поддерживает и ничего не говорит. Только раз сказал: «А, вот это кто!» — и повел.

«Что это, кто меня ведет? Ну, если это черт? Да и должно быть что-нибудь непутное. А впрочем, пусть только доведет до лестницы, я свой путь узнаю».

И вот привел Сафроныча его поводырь к лестнице и говорит:

— Полезай, да держись за перила покрепче.

Сафронычу в это время после прогулки возвратился язык, и он отвечает:

— Постой, брат, постой, я свое дело тверже тебя знаю: моя лестница без перил.

Но поводырь не стал долго разговаривать и, схватив, начал опять мять уши Сафроныча, точно бересту.

— Вспомнил? — говорит.

«Ну, — думает Сафроныч, — лучше скажу, что вспомнил», — и полез.

И как полез он на эту лестницу, так лезет и лезет — и все ей нет конца.

«Ей-богу же это не мой дом!» — соображает Сафроныч, который чем выше стал подниматься, тем яснее припоминать, как, бывало, он поднимался по своей лесенке, и все что шаг кверху, то все ему, бывало, становится светлее и светлее — и звезды, и месяц, и лазурь небесная открывается... Правда, что теперь такая непогодь, но а все же это ни на что не похоже: что ни ступень вверх, то темнее и темнее делается. Отчего же это уже совсем ни зги не видно, и что за темнота в воздухе, что со всех сторон сдавливает, и удушливый запах сажи и золы?

И нет этому конца, нет заветного верха забора, с которого Сафронычу давно бы пора сделать низовое движение, а вместо того все дорога идет вверх и вверх, — и вдруг страшный оглушающий удар в темя, такой удар, от которого у бедного Сафроныча не искры, а целые снопы света брызнули из глаз и осветили... кого бы вы думали? — осветили приказного Жигу!

Не думайте, пожалуйста, что это, например, снилось во сне Сафронычу или что-нибудь в этом роде. Нет: это было именно так, как я вам рассказываю. Сафроныч шел вверх по бесконечно длинной лестнице и пришел к Жиге, которого узнал при внутреннем освещении, и сказал:

— Ну, будь на то божья воля, здравствуй!

А Жига сидит на каменном стуле и тоже кивает ему и отвечает:

— Здравствуй, рад, что ты пожаловал: а то у нас здесь давно на тебя провиант отпускается.

— Да, так это я вот где... Темно же у вас тут в аду; ну да делать нечего, стало быть здесь мой предел.

И Сафроныч сел, достав штоф, выпил сколько вошло и подал Жиге.

XIX

Меж тем как с заблудившимся пьяным Сафронычем случились такие странные происшествия и он остался проводить время с мертвым Жигою на какой-то необъяснимой чертовской высоте, которую он принимал за кромешную область темного ада, — все его семейные проводили весьма тревожную ночь в своем новом доме. Несмотря на то, что все они страшно устали с переноскою и устройством хозяйства на новом месте, крепкий сон их был беспрестанно нарушаем самым необъяснимым шумом, который начался раньше полуночи и продолжался почти до самого утра. И хозяйке и всем домашним сначала слышалось, что у них над самыми их головами по чердаку кто-то ходит — сначала тихо, как еж, а потом словно начал сердиться: что-то такое переставлял, что-то швырял и вообще страшно возился и не давал покою. Иным казалось даже, что они как будто слышат какой-

то говор, какой-то тихий звон и вообще непонятный гул. Просыпавшиеся ко всему этому тревожно прислушивались, будили друг друга, крестились и без противоречий единогласно решили, что причиняемое им сверху беспокойство есть, конечно, не что иное, как проказы какой-нибудь нечистой силы, которая, как всякому православному человеку известно, всегда забирается в новые дома ранее хозяев и размещается преимущественно на вышках, сеновалах и чердаках, вообще в таких местах, куда не ставят образа.

Очевидно, с доброю семьею Сафроныча стряслось то же самое, то есть черт забежал в их новый дом прежде, чем они туда переехали. Иначе это не могло быть, потому что Марья Матвеевна как только вошла в дом, так сейчас же собственною рукою поделала на всех дверях мелом кресты — и в этой предусмотрительности не позабыла ни бани, ни той двери, которая вела на чердак. Следовательно, ясно, что нечистой силе здесь свободного пути не было, и также ясно, что она забралась сюда ранее.

Но оказалось, что могло быть и иначе: когда после этой тревожной ночи наступило утро и с приближением его успокоился чертовский шум и прошел страх, то вышедшая впереди всех из комнаты Марья Матвеевна увидела, что дверь на чердачную лестницу была открыта настежь, и меловой крест, сделанный рукою этой благочестивой женщины, таким образом скрылся за створом и оставил вход для дьявола ничем не защищенным.

Марья Матвеевна, обнаружив эту оплошность, тотчас же произвела дознание, кто вчера последний лазил на чердак.

После долгих об этом исследований и препирательств среди младших членов семейства подозрения, а потом и довольно сильные улики пали на одну из младших дочерей, босоногую Феньку, которая родилась с заячьей губою и за это не пользовалась в семье ничьим расположением. Если еще кто-нибудь оказывал ей какое-нибудь сострадание, то это разве пьяный отец, который в акте рождения дитяти с заячьей губою не видал большой собственной вины ребенка и даже не проклинал и не бил ее. Девочка эта жила, что называется, в полном семейном загоне, она велась впроголодь, упо-

треблялась на самые черные послуги, спала на полу, ходила босиком, без теплого шушуна и в затрапезных лохмотьях. Ясные улики говорили, что она одна последняя ходила вчера поздно вечером с фонарем наверх «кутать трубу» и, всего вероятнее, по своей ребячьей трусливости слетела оттуда сломя голову и забыла запереть за собою дверь, а так и оставила ее, отмахнув к стене тою стороною, где был начертан рукою Сафронихи меловой крест — «орудие на супостата». Затем, разумеется, ясно, как супостат этим воспользовался, — проскочил на чердак и очень рад, что может не давать доброму семейству целую ночь покоя. Конечно, и у него тоже, вероятно, свои хлопоты, потому что и ему тоже надо было устроиться; но Марья Матвеевна была на этот счет эгоистка, она не имела снисхождения к чужой необходимости и взялась поправлять дело с подвержения виновной строгой и беззаконной ответственности. Отыскав за печью трегубую Феньку, она привела ее за вихор к двери и начала ее здесь трясти и приговаривать:

— Вот, чтобы по твоим следам черт не ходил, я эту дверь твоим лбом затворю.

И она, точно, стукнула лбом девочки в дверь и наложила клямку, но едва только это было сделано, нечистая сила снова взбудоражилась и притом с неожиданным и страшным ожесточением. Прежде чем смолк жалостный писк ребенка, над головами всей собравшейся здесь семьи наверху что-то закрутилось, забегало и с противуположной стороны в дверь сильно ударил брошенный с размаха кирпич.

Это уже была слишком большая наглость. С детства знакомая со всеми достоверными преданиями о чертях и их разнообразных проделках в христианских жилищах, Марья Матвеевна хотя и слыхала, что черти чем попало швыряются, но она, по правде сказать, думала, что это так только говорится, но чтобы черт осмеливался бушевать и швырять в людей каменьями, да еще среди белого дня — этого она не ожидала и потому не удивительно, что у нее опустились руки, а освобожденная из них девочка тотчас же выскочила и, ища спасения, бросилась на двор и стала метаться по закуткам. Но лишь только за этою виновницею всеобщего беспокойства по тому же по двору бросилась погоня, бес ожесточился и опять взялся за свое

дело. Руки у него, надо полагать, были отлично материализованы, потому что и целые кирпичи и обломки летели в людей, составлявших погоню, с такою силою и таким ожесточением, что все струсили за свою жизнь и, восклицая «с нами крестная сила», все, как бы по одному мановению, бросились в открытый курятник, где и спрятались в самом благонадежном месте — под насестью.

Бесспорно, что здесь им было очень хорошо в том отношении, что черт здесь, конечно, уже ничего никому сделать не мог, потому что на насести поет полуночный петух, имеющий на сей предмет особые, таинственные повеления, насчет которых дьяволу известно кое-что такое, чего он имеет основание побаиваться; но все же нельзя же тут и оставаться. В сумерки придут сюда куры — и позиция, занятая под их решеткою, будет небезопасна в другом роде.

XX

И вот, как только скрывшиеся в курятнике люди мало-помалу оправились от обуявшей их паники, с ними произошло то, что происходит с большинством всех суеверов и трусов на свете: от страха они начали переходить к некоторому скептицизму. Первая зашевелилась батрачка Марфутка, очень живая молодая бабенка, которой совсем не нравилось долго оставаться без всякого движения в курятнике, за ней последовал батрак Егорка, хромой, но очень шустрый рыжий парень, имевший привычку везде, где можно, шептаться с батрачкою Марфуткой. Оба они и на этот раз обратились к своему любимому занятию — и, пошептавшись, пришли, можно сказать, к самым неожиданным результатам: их давно один с другим гармонировавшие умы прозрели в сокровенную глубь вещей и заподозрили, что, может быть, все это дело не чисто совсем с иной стороны.

Им пришло в голову, что вся эта ночная возня и теперешняя канонада производилась совсем не чертом, а каким-нибудь негодным человеком, которым, всего вероятнее и даже непременнее, по их выводам, мог быть немец Пекторалис.

Со злости и с зависти, подлец, залез, да и швыряется.

Марья Матвеевна, услыхав это, даже руками всплеснула, так это показалось ей вероятным. И вот сейчас же из курятника была выпущена вылазка, с целью ближайшего дознания и принятия надлежащих мер к пресечению злоумышленнику средств к отступлению.

Батрак Егорка с Марфуткою, схватясь рука за руку, выбежали из курятника, сняли замок с амбара и заперли им чердачную дверь — и, пошептавшись, о чем знали, в сенях, направились в разные стороны. Егорка побежал оповестить соседним людям о происшествии и созвать их на выемку засевшего на чердаке немца, а Марфутка стала у дверей с ёмками, чтобы бить Пекторалиса, если он пойдет сквозь дверь какою-нибудь своею немецкою хитростию. Но немец сидел смирно и Марфутке не показывался. Зато лишь только Егорка выскочил за калитку и бросился во всю прыть к базарному месту, он на самом повороте за угол столкнулся нос к носу с Гуго Карловичем. Это так поразило бедного парня, что он в первую секунду не знал, что делать, но потом схватил немца за ворот и закричал: «Караул!» Не ожидавший этого Пекторалис треснул Сафронычева батрака по голове сложенным дождевым зонтиком и отшвырнул его в лужу. Странная смесь ощущений от этого мягкого, но трескучего удара зонтиком и быстрого полета в грязь так удивила Егорку, что он только сидел в луже и кричал:

— Чур меня, чур!

Все внушенные Егорке Марфуткою подозрения рассеялись. Как ни прост был этот бедный парень, он, однако, должен был сообразить, что если немец не пролез сквозь запертую амбарным замком дверь, то надо полагать, что на чердаке шалит не он, а кто-нибудь другой. И тут слабый ум Егорки, не поддерживаемый Марфуткою, опять начал склоняться к обвинению во всем домашнем беспокойстве черта. Так он и представил это дело всей базарной публике, которая очень обрадовалась новости — и в полном сборе, толпою повалила к дому Марьи Матвеевны, где, по докладу Егорки, происходили такие редкостные, хотя, впрочем, конечно, как всякий спирит подтвердить может, — самые вероятные дела, обличающие нынче у некоторых ученых людей близость к нам существ невидимого мира.

XXI

До вечера у Марьи Матвеевны перебывал весь город, все по нескольку раз переслушали рассказ о сверхъестественном ночном и утреннем происшествии. Являлась даже и какая-то полиция, но от нее это дело скрывали, чтобы, храни бог, не случилось чего худшего. Приходил и учитель математики, состоящий корреспондентом ученого общества. Он требовал, чтобы ему дали кирпичи, которыми швырял черт или дьявол, — и хотел их послать в Петербург.

Марья Матвеевна ему в этом решительно отказывала, боясь, чтобы ей за это чего худого не сделали; но вострая Марфутка сбегала в баню и принесла оттуда кирпич из-под припечки.

Учитель взял вещественное доказательство и понес его к аптекарю, с которым они его долго рассматривали, нюхали, потом оба лизнули, облили какою-то кислотою и оба разом сказали:

— Это кирпич.

— Это смело можно сказать, что кирпич.

— Да, — отвечал аптекарь.

— Его даже, кажется, можно и не посылать?

— Да, кажется, можно, — отвечал аптекарь.

Но люди верующие, которым нет дела ни до каких анализов, проводили свое время гораздо лучше и извлекли из него более для себя интересного: некоторые из них, отличавшиеся особенною чуткостью и терпением, сидели у Сафронихи до тех пор, пока сами сподобились слышать сквозь дверь, как на чердаке кто-то как будто вздыхает и тихо потопывает, точно душа, в аду мучимая. Правда, что и среди них тоже находились дерзкие; так, кто-то и здесь подал было голос в пользу осмотра чердака через слуховое окно, но эта дерзость так всем и показалась дерзостию и сейчас же была единогласно отвергнута. Притом же здесь принято было в расчет и то, что предлагаемый осмотр был далеко не безопасен, так как из этого же самого слухового окна, о котором шла речь, тоже недавно еще летели камни, и канонада эта могла возобновиться. А потому тот, кто посягнул бы на эту обсервацию, легко мог подвергнуться немалой неприятности.

Матвеевна, как женщина, прибегла к патентованному женскому средству — к жалобе.

— Разумеется, — говорила она, — если бы у меня, как у других прочих, был такой муж, как надобно, то есть хозяин, так это его бы дело слазить и все это высмотреть. Но ведь мой муж в слабости, вот его пятый день и дома нет.

— Правда, — отвечали ей соседки, — хозяина и лукавый не бьет.

— Ну, бить, положим, как не бьет.

— Ну да ежели и бьет, так все же это его дело.

А о Сафроныче все не было ни слуха ни духа, и никто не знал, где его и искать, в каком кабачке. Может быть, он ушел далеко-далеко в какую-нибудь деревеньку и пьянствует.

— О нем нечего думать, матушка Марья Матвеевна, — говорили все в один голос, — а надо скорее думать, что учредить на сатану лучшее.

— Да что же, отцы мои, что лучше? — советуйте.

— Один тебе, родимая, совет: либо чеботаря Фоку кликнуть, чтобы он выманул беса, либо воду освятить.

— Что вы, что вы про Фоку вспоминаете, — и так тут невесть что деется, а Фока совсем сам бесово племя.

— Именно, разве бес беса погонит?

— Ну, если так судите, то остается воду святить.

— А воду освятить я согласна, и еще к ночи это думала, да повернулась и опять забыла; а теперь как уберусь, так пирогов напеку и подниму икону, и пущай поют водосвятие... Да вот только Сафроныча дома нет.

— Ну, где его теперь ждать!

— Разумеется, нельзя ждать, а все бы лучше, да он же и службу, голубчик мой, любит и, бывало, сам чашу перед священником по всем комнатам носит и сам молитвы поет. Как без него это и делать — не знаю, и кого звать — не вздумаю.

— Протопопа позовите, он старший, его бес скорее испужается.

— Ну, легко ли кого звать, табачника. Нет, бог с ним, он папиросы сосет, я лучше отца Флавиана позову.

— И отца Флавиана хорошо.

— Грузен он очень.

— Да; мягенький да пухленький и очень добр, и тоже он намедни у Ильиных толчею святил, очень хорошо свя-

тит. Только чтобы во всех местах хорошенько побрызгал, а то ведь он тучен, в иное место не подлезет — и этак зря, как попало, издаля кропит.

— За этим смотреть будем.

— Да, вот если есть кто опытный смотреть, так ничего.

— Разумеется, надо смотреть, чтобы крест-накрест брызгал и приговаривал. А он ведь, отец-то Флавиан, он по своей полноте в эту дверь на чердак не пройдет.

— Да, он не пройдет.

— Разве расширить, что ли, ее? Это опять убытку много.

— Это убыточно.

— А вы вот что: отец Флавиан-то пусть посвятит, а кропить-то на чердак дьякон Савва полезет. Право, его попросите, он такой подчегаристый — всюду пройдет. Это самое лучшее, а то отец Флавиан с своею утробой на этой лестнице еще, пожалуй, обломится и сам убьется.

— Храни боже такого греха, пусть живет, старец добрый и угодливый! Я раз родами мучилась, послала протопопа просить, чтобы царские двери отворили, ни за что не захотел.

— Видно, мало дали.

— Рубль посылала; а отец Флавиан, голубчик, за полтинник во всю ширь размахнул.

— Да; он старик добродетельный, он пусть тут внизу останется да приговаривает, а наверх пусть с водою и с кропилом один дьякон Савва полезет. Ему ничего, если с ним что такое и случится, у него дьяконица всякий месяц один раз с ума сходит, чай ему уже давно и жизнь-то надоела.

— Да, он ничего, он пойдет, он дьякон уважительный, куда хочешь полезет и все как надо выкропит, а вы только за ним присмотрите, чтобы не спешил, не как попало, а крест-накрест брызгал.

— Уже я за ним присмотрю, — отвечала Марья Матвеевна, — я, пожалуй, даже и сама с ним, что бог даст, на отвагу полезу, только чтобы от этого помоглося.

— Ну уже чего еще, если все это как надо сделать, да чтобы не помогло! Надо только чтобы как можно скорее да духовнее.

— Родные мои, да чего же еще духовнее? — отвечала Марья Матвеевна, — сейчас велю Марфутке пироги ставить, а Егорку к отцу Флавиану пошлю, чтобы завтра, как раннюю кончит, ко мне бы и двигал.

— Чудесно, Марья Матвеевна.

— Да чего же откладывать, разве же мне самой хорошо в одном доме с бесом жить и ждать, что он, мерзавец, швырять будет. Будь у меня пироги, я бы даже и до завтра этой мольбы не оставила.

— Нет, без пирогов, Марья Матвеевна, не делайте, без этого духовенству нельзя, отец же Флавиан сам как хлопок и всякое тесто любит, — подтвердили Марье Матвеевне ее советники и затем положили: еще один день и одну ночь как-нибудь злополучной семье перебедовать, а между тем поставить пироги и послать Егорку к отцу Флавиану, чтобы завтра прямо от ранней обедни пожаловал с дьяконом Саввою к Марье Матвеевне на дому воду посвятить и дьявола выгнать, а потом мягкого пирожка откушать.

Отец Флавиан, грузный-прегрузный и как пуховик мягкий, подагрический старик, в засаленной камилавке, с большою белой бородой и обширным чревом, выслушав от Егорки всю историю о бесе и призыв к его изгнанию, пропищал в ответ тоненьким детским голоском:

— Хорошо, дитя, скажи, пусть готовится, будем и справимся; только пусть мне пирожка два либо три с морковкою защипнут, а то у меня напоследях стало что-то нутро слабо. А сам Василий Сафроныч еще не бывал дома?

— Не бывал.

— Ну что делать, без него справимся, пусть пекут пирожки, справимся... Да того... полотенце чтобы большое сготовили, потому что в этом случае я ведь буду самый большой крест макать.

Егорка возвратился домой бегом и с прискоком и, проходя мимо слухового окна, даже дьяволу шиш показал. Да и все приободрились, решив, что одну ночь как-нибудь уже можно прокоротать, а чтобы не было очень страшно, то все легли вместе в одной комнате, и только Егорка поместился на кухне, при Марфутке, чтобы той не страшно было ночью вставать переваливать тесто, которое роскошно грелось и подходило под шубою на краю печки.

Бес между тем совсем присмирел, он точно как будто прознал обо всем, что на его голову затевалось. Целый день он не сделал никому из семейства никакой гадости, только кое-кому слышалось все, что он как будто сопел; а к ночи, когда стал забирать большой мороз, начал будто даже и покряхтывать и зубами щелкать. Это и во всю ночь слышалось и Марье Матвеевне и всем, кто на более или менее короткое время просыпался, но никого сильно это не тревожило; всякий говорил только: «Так ему, врагу христианскому, и надо», и, перекрестясь, поворачивался на другой бок и засыпал.

Но, увы, такое пренебрежение, однако, было еще несвоевременно, оно вывело злого духа из терпения, и в тот самый момент, как у церкви отца Флавиана раздался третий удар утреннего колокола, на чердаке у Марьи Матвеевны послышался самый жалостный стон, и в то же самое время в кухне что-то рухнуло и полетело с необъяснимым шумом.

Марья Матвеевна вскочила и, забыв весь страх, выбежала в чем была на этот разгром и остолбенела от новой бесовской каверзы.

Перед нею на полу у самой печи, на краю которой подходило в корчаге пирожное тесто, стоял Егорка, весь с головы до ног обмазанный тестом, а вокруг него валялись черепки разбитой корчаги.

И Марья Матвеевна, и Егор, и спустившая ноги с печи батрачка Марфутка, все втроем так были этим озадачены, что в один голос крикнули:

— А, чтоб тебе пусто было!

Таким-то недобрым предзнаменованием начался этот новый день, которому суждено было осветить борьбу отца Флавиана и дьякона Саввы с загадочным существом, шумевшим на чердаке и дошедшим до той крайней дерзости, чтобы выбросить из горшка все тесто, назначенное на пироги духовенству.

И когда это, в какое время? — когда уже нельзя было завести новой опары и когда о железное кольцо калитки звякал рукою сухой, длинный пономарь, тащивший луженую чашу.

Как теперь все это уладить, чтобы не пострадало дело, которое имело такое дурное начало и могло иметь еще худший конец?

По правде сказать, все это было гораздо интереснее, чем весь Пекторалис, к судьбе которого это, по-видимому, весьма стороннее обстоятельство имело самое близкое и роковое касательство.

XXII

Марья Матвеевна была в страшном горе по поводу происшествия с тестом; она решительно не знала, как объявить отцу Флавиану, что ему нет пирогов с морковью, и решилась не смущать его этим по крайней мере до тех пор, пока он отслужит водосвятие. Как женщина благоразумная и опытная, она держалась выжидательного метода и была уверена, что время большой фокусник, способный помочь там, где уже, кажется, и нет никакой возможности ждать помощи. Так и вышло, водосвятие было начато тотчас же, как пришло духовенство, а прежде чем служба была окончена, дело приняло такой неожиданный оборот, что о пирогах с морковью некогда стало и думать.

Случилось вот что: едва в конце молебна дьякон Савва начал возглашать многолетие хозяевам, как в чердачную дверь, которая оставалась до сих пор замкнутою, послышался нетерпеливый стук, и чей-то как будто знакомый, но упавший голос заговорил:

— Отоприте мне, отоприте!

Сначала это, разумеется, произвело общий переполох, и все присутствующие бросились в перепуге к отцу Флавиану...

Зрелище, открытое дверью, действительно было самое неожиданное: на последней ступеньке лестницы в двери стоял сам Сафроныч, или бес, принявший его обличье. Последнее, конечно, было вероятнее, тем более что привидение или лукавый дух хоть и хитро подделался, но все-таки не дошел до оригинала; он был тощее Сафроныча, с мертвенною синевою в лице и почти с совершенно угасшими глазами. Но зато как он был смел! Нимало не испугавшись кропила, он тотчас же подошел к отцу Флавиану, подставил горсточку и сам ждал, чтобы тот его покропил, что отец Флавиан и исполнил. Тогда Сафроныч приложился к кресту и, как ни в чем не бывало,

пошел здороваться с семейными. Марья Матвеевна волей-неволей должна была признать в этом полумертвеце своего настоящего мужа.

— Где же ты был, мой голубчик? — спросила она, исполнясь к нему сострадания и жалости.

— Там, куда меня бог привел за наказание, там и сидел.

— Это ты и стучал?

— Должно быть, я стучал.

— Но зачем же ты швырялся?

— А вы зачем девчонку обижали?

— А ты зачем же сам вниз не лез?

— Как же я мог против определения... Вот когда я многолетний глас услыхал, я сейчас и спустился... Чайку мне, чайку потеплее, да на печку меня пустите, да покройте тулупчиком, — заговорил он поспешно своим хриплым и слабым голосом и, поддерживаемый под руки батраком и женою, полез на горячую печь, где его и начали укутывать тулупами, меж тем как дьякон Савва этим временем обходил с кропилом весь чердак и не находил там ничего особенного.

Понятно, что после такого открытия о большом угощении уже нечего было думать; появление Сафроныча в этом жалостном виде заставило свертеть все это кое-как, на скорую руку, и Флавиан удовольствовался только горячим чаем, который кушал, сидя в широком кресле, поставленном возле печки, где отогревался Сафроныч и кое-как отвечал на шáбольно предлагаемые ему вопросы.

Все последние события представлялись Сафронычу таким образом, что он был где-то, лез куда-то и очутился в аду, где долго беседовал с Жигою, открывшим ему, что даже самому сатане уже надоела их ссора с Пекторалисом, — и все это дело должно кончиться. Не противясь такому решению, Сафроныч решил там и остаться, куда он за грехи свои был доставлен, и он терпел все, как его мучили холодом и голодом и напускали на него тоску от плача и стонов дочки; но потом услыхал вдруг отрадное церковное пение и особенно многолетие, которое он любил, — и когда дьякон Савва помянул его имя, он вдруг ощутил в себе другие мысли и решился еще раз сойти хоть

на малое время на землю, чтобы Савву послушать и с семьею проститься.

Толковее этого бедный человек ничего не мог рассказать, да и отцу Флавиану жаль было его больше неволить. Бедняк был в самом жалком положении, все он грелся и дрожал, не мог согреться. К вечеру, придя немножко в себя, он пожелал поисповедаться и приготовиться к смерти, а через день действительно умер.

Все это совершилось так неожиданно и скоро, что Марья Матвеевна не успела прийти в себя, как ей уже надо было хлопотать о похоронах мужа. В этих грустных хлопотах она даже совсем не обратила должного внимания на слова Егорки, который через час после смерти Сафроныча бегал заказывать гроб и принес странное известие, что «немец на старом дворе отбил ворота», из-за которых шла долгая распря, погубившая и Пекторалиса и Сафроныча.

Теперь враг Пекторалиса был мертв, и Гуго мог, не нарушая обетов своей железной воли, открыть эти ворота и перестать платить разорительный штраф, что он и сделал.

Но должен был исполнить еще другое Пекторалис обязательство: переживя Сафроныча, он должен был прийти к нему на похороны есть блины, — он и это выполнил.

XXIII

Только что духовенство, гости и сама вдова, засыпав на кладбище мерзлою землею могилу Сафроныча, возвратились в новый дом Марьи Матвеевны и сели за поминальный стол, как дверь неожиданно растворилась, и на пороге показалась тощая и бледная фигура Пекторалиса.

Его здесь никто не ждал, и потому появление его, разумеется, всех удивило, особенно огорченную Марью Матвеевну, которая не знала, как ей это и принять: за участие или за насмешку? Но прежде чем она выбрала роль, Гуго Карлович тихо и степенно, с сохранением всегдашнего своего достоинства, объявил ей, что он пришел сдержать свое честное слово, которое давно дал покойному, — есть блины на его похоронном обеде.

— Что же, мы люди крещеные, у нас гостей вон не гонят, — отвечала Марья Матвеевна, — садитесь, блинов у нас много расчинено. На всю нищую братию ставили, кушайте.

Гуго поклонился и сел, даже в очень почетном месте, между мягким отцом Флавианом и жилистым дьяконом Саввою.

Несмотря на свой несколько заморенный вид, Пекторалис чувствовал себя очень хорошо: он держал себя как победитель и вел себя на тризне своего врага немножко неприлично. Но зато и случилось же здесь с ним поистине курьезное событие, которое достойно завершило собою историю его железной воли.

Не знаю, как и с чего зашло у них с дьяконом Саввою словопрение об этой воле — и дьякон Савва сказал ему:

— Зачем ты, брат Гуго Карлович, все с нами споришь и волю свою показываешь? Это нехорошо...

И отец Флавиан поддержал Савву и сказал:

— Нехорошо, матинька, нехорошо; за это тебя бог накажет. Бог за русских всегда наказывает.

— Однако я вот Сафроныча пережил; сказал — переживу, и пережил.

— А что и проку-то в том, что ты его пережил, надолго ли это? Бог ведь за нас неисповедимо наказывает, на что я стар — и зубов нет, и ножки пухнут, так что мышей не топчу, а может быть, и меня не переживешь.

Пекторалис только улыбнулся.

— Что же ты зубы-то скалишь, — вмешался дьякон, — неужели ты уже и бога не боишься? Или не видишь, как и сам-то зачичкался? Нет, брат, отца Флавиана не переживешь — теперь тебе и самому уже капут скоро.

— Ну, это мы еще увидим.

— Да что «увидим»? И видеть-то в тебе стало уже нечего, когда ты весь заживо ссохся; а Сафроныч как жил в простоте, так и кончил во всем своем удовольствии.

— Хорошо удовольствие!

— Отчего же не хорошо? — как нравилось, так и доживал свою жизнь, все с примочечкой, все за твое здоровье выпивал...

— Свинья, — нетерпеливо молвил Пекторалис.

— Ну вот уже и свинья! Зачем же так обижать? Он свинья, да пред смертью на чердаке испостился и, по-

каясь отцу Флавиану, во всем прощении христианском помер и весь обряд соблюл, а теперь, может быть, уже и с праотцами в лоне Авраамовом сидит да беседует и про тебя им сказывает, а они смеются; а ты вот не свинья, а, за его столом сидя, его же и порочишь. Рассуди-ка, кто из вас больше свинья-то вышел?

— Ты, матинька, больше свинья, — вставил слово отец Флавиан.

— Он о семье не заботился, — сухо молвил Пекторалис.

— Чего, чего? — заговорил дьякон. — Как не заботился? А ты вот посмотри-ка: он, однако, своей семье и угол и продовольствие оставил, да и ты в его доме сидишь и его блины ешь; а своих у тебя нет, — и умрешь ты — не будет у тебя ни дна, ни покрышки, и нечем тебя будет помянуть. Что же, кто лучше семью-то устроил? Разумейка это... ведь с нами, брат, этак озорничать нельзя, потому с нами бог.

— Не хочу верить, — отвечал Пекторалис.

— Да верь не верь, а уж дело видное, что лучше так сыто умереть, как Сафроныч помер, чем гладом изнывать, как ты изнываешь.

Пекторалис сконфузился; он должен был чувствовать, что в этих словах для него заключается роковая правда, — и холодный ужас объял его сердце, и вместе с тем вошел в него сатана, — он вошел в него вместе с блином, который подал ему дьякон Савва, сказавши:

— На тебе блин и ешь да молчи, а то ты, я вижу, и есть против нас не можешь.

— Отчего же это не могу? — отвечал Пекторалис.

— Да вон видишь, как ты его мнешь, да режешь, да жустеришь.

— Что это значит «жустеришь»?

— А ишь вот жуешь да с боку на бок за щеками переваливаешь.

— Так и жевать нельзя?

— Да зачем его жевать, блин что хлопочек: сам лезет; ты вон гляди, как их отец Флавиан кушает, видишь? Что? И смотреть-то небось так хорошо! Вот возьми его за краечки, обмокни хорошенько в сметанку, а потом сверни конвертиком, да как есть, целенький, толкни его языком и спусти вниз, в свое место.

— Этак нездорово.

— Еще что соври: разве ты больше всех, что ли, знаешь? Ведь тебе, брат, больше отца Флавиана блинов не съесть.

— Съем, — резко ответил Пекторалис.

— Ну, пожалуйста, не хвастай.

— Съем!

— Эй, не хвастай! Одну беду сбыл, не спеши на другую.

— Съем, съем, съем, — затвердил Гуго.

И они заспорили, — и как спор их тут же мог быть и решен, то ко всеобщему удовольствию тут же началось и состязание.

Сам отец Флавиан в этом споре не участвовал: он его просто слушал да кушал; но Пекторалису этот турнир был не под силу. Отец Флавиан спускал конвертиками один блин за другим, и горя ему не было; а Гуго то краснел, то бледнел и все-таки не мог с отцом Флавианом сравняться. А свидетели сидели, смотрели да подогревали его азарт и приводили дело в такое положение, что Пекторалису давно лучше бы схватить в охапку кушак да шапку; но он, видно, не знал, что «бежка́ не хвалят, а с ним хорошо». Он все ел и ел до тех пор, пока вдруг сунулся вниз под стол и захрапел.

Дьякон Савва нагнулся за ним и тянет его назад.

— Не притворяйся-ка, — говорит, — братец, не притворяйся, а вставай да ешь, пока отец Флавиан кушает.

Но Гуго не вставал. Полезли его поднимать, а он и не шевелится. Дьякон, первый убедясь в том, что немец уже не притворяется, громко хлопнул себя по ляжкам и вскричал:

— Скажите на милость, знал, надо как здоро́во есть, а умер!

— Неужли помер? — вскричали все в один голос.

А отец Флавиан перекрестился, вздохнул и, прошептав «с нами бог», подвинул к себе новую кучку горячих блинков. Итак, самую чуточку пережил Пекторалис Сафроныча и умер бог весть в какой недостойной его ума и характера обстановке.

Схоронили его очень наскоро на церковный счет и, разумеется, без поминок. Из нас, прежних его сослуживцев, никто об этом и не знал. И я-то, слуга ваш покорный,

узнал об этом совершенно случайно: въезжаю я в день его похорон в город, в самую первую и зато самую страшную снеговую завируху, — как вдруг в узеньком переулочке мне встречу покойник, и отец Флавиан ползет в треухе и поет: «святый боже», а у меня в сугробе хлоп, и оборвалась завертка. Вылез я из саней и начинаю помогать кучеру, но дело у нас не спорится, а между тем из одних дрянных воротишек выскочила в шушуне баба, а насупротив из других таких же ворот другая— и начинают перекрикиваться:

— Кого, мать, это хоронят?

А другая отвечает:

— И-и, родная, и выходить не стоило: немца поволокли.

— Какого немца?

— А что блином-то вчера подавился.

— А хоронит-то его отец Флавиан?

— Он, родная, он, наш голубчик: отец Флавиан.

— Ну, так дай бог ему здоровья!

И обе бабы повернулись и захлопнули калитки.

Тем Гуго Карлыч и кончил, и тем он только и помянут, что, впрочем, для меня, который помнил его в иную пору его больших надежд, было даже грустно.

ВЛАДЫЧНЫЙ СУД

БЫЛЬ

(Из недавних воспоминаний)

> Не судите по наружности, но судите судом праведным.
>
> *(Иоанна VII, 24).*
>
> Суд без милости — не оказавшему милости.
>
> *(Иак. II, 13).*

I

В 1876 году я написал маленький рассказ, который называется «На краю света» (из воспоминаний архиерея). Он имел, как мне кажется, некоторый успех. По крайней мере я обязан так думать, судя и по довольно быстрой продаже книжечки и по разнообразию вызванных ею толков. Литературные органы, удостоившие ее внимания (не исключая и одного духовного издания), отозвались о ней чрезвычайно сочувственно и милостиво, но зато частным, негласным путем мне довелось слышать иное. Некоторые весьма почтенные и довольно известные в духовенстве лица отнеслись к этому рассказу неодобрительно. То же самое высказано мне и многими редстокистами. И те и другие увидали в поведении описанного мною архиерея и миссионеров *мирволенье неверию и даже нерадение о спасении душ святым крещением.*

И экзальтированным мечтателям и положительным ортодоксалам одинаково не нравится, что описанный мною архиерей и миссионеры не спешили крестить бро-

дячих дикарей, которые нимало не усвоили истин христианской веры и принимали крещение или страха ради, или из материальных расчетов.

Я не вижу никакой необходимости оправдываться в том, что я написал, хотя и для оправдания моего мне, может быть, стоило бы только отослать этих критиков к двум небольшим сочинениям блаженного Августина: «De fide et operibus» и «De catechisandis rudibus». Там они могут найти у этого великого христианского философа готовые ответы на укоризны, делаемые ими мне за моих «тенденциозно вымышленных героев». Но дело-то в том, что в упомянутом небольшом моем сочиненьице совсем и нет никакой тенденции и даже очень мало вымысла, а почти все — настоящее происшествие, весьма немного развитое только в некоторых деталях, и то по готовой канве.

Я не вижу более надобности скрывать, что архиерей, из воспоминаний которого составлен этот рассказ, есть не кто иной, как недавно скончавшийся архиепископ ярославский, высокопреосвященный Нил, который *сам* рассказывал это *бывшее с ним* происшествие поныне здравствующему и живущему здесь в Петербурге почтенному и всякого доверия достойному лицу В. А. К—ву. В. А. К—в сообщил этот случай мне как прекрасный материал для характеристики светлого и ясного взгляда усопшего автора «Буддизма», а я только воспользовался этим материалом. Но, может быть, небезынтересно будет знать, что этот рассказанный мною случай, в котором всего замечательнее, конечно, взгляд архиерея, далеко не единичен в своем роде, и чтобы доказать это, я хочу теперь рассказать другое, близко мне известное происшествие, всех участников которого я уже буду называть их настоящими именами.

II

Очень молодым человеком, почти мальчиком, я начал мою службу в Киеве, под начальством Алексея Кириловича Ключарева, который впоследствии служил директором департамента государственного казначейства и был известен как «службист» и «чиновник с головы до пяток».

Его боялись в Житомире, боялись в Киеве и только перестали бояться в Петербурге, где этот суровый и сухой формалист почувствовал, что он тут не к масти козырь, и вскоре по удалении от дел скончался. Он происходил из духовного звания, воспитывался в духовных учебных заведениях и был по натуре бурсак самого крепкого закала. Он был неутомим, деловит, логичен, сух, любил во всем точность и не обличал слабостей сострадательного сердца. Правда, он очень любил свою комнатную белую собачонку с коричневыми ушами; целовал ее взасос в самую морду; бывал в тревоге, когда она казалась ему грустною, и даже собственноручно ставил ей промывательное; но я никогда не видал, чтобы в его сухом, почти жестоком лице дрогнул хотя один мускул, когда он выгонял со службы многосемейного чиновника или стриг в рекруты малолетних еврейчиков, которых тогда брали на службу в детском возрасте.

Эта приемка жидовских ребятишек поистине была ужасная операция. Закон дозволял приводить в рекруты детей не моложе двенадцатилетнего возраста, но «по наружному виду» и «на основании присяжных разысканий» принимали детей и гораздо моложе, так как в этом для службы вреда не предвиделось, а оказывались даже коекакие выгоды — например, существовало убеждение, что маленькие дети скорее обвыкались и легче крестились.

Пользуясь таким взглядом, евреи-сдатчики вырывали маленьких жидочков из материнских объятий почти без разбора и прямо с теплых постелей сажали их в холодные краковские брики и тащили к сдаче.

Какими душу разрывающими ужасами все это сопровождалось, об этом не дай бог и вспомнить! По всем еврейским городам и местечкам буквально возобновлялся «плач в Раме»: Рахиль громко рыдала о детях своих и не хотела утешиться.

К самой суровости требований закона, ныне — слава богу и государю — уже отмененного, присоединялась еще к угнетению бедных вся беспредельная жестокость жидовской неправды и плутовства, практиковавшихся на все лады. Очередных рекрут почти никогда нельзя было получить, а приводились подочередные, запасные и вовсе неочередные; а так как наборы были часты и производились с замечательною строгостью, то разбирать было не-

когда и неочередные принимались «во избежание недоимки» с условием перемены впоследствии очередными; но условие это, разумеется, никогда почти не исполнялось. «Записано, и с рук долой». Принятое дитя засылали в далекие кантонистские баталионы, и бедные родители не знали, где его отыскивать, а к тому же у рачительных партионных командиров, *по-своему* радевших о христианстве и, вероятно, тоже *по-своему* его и понимавших, значительная доля таких еврейчиков оказывалась окрещенными, прежде чем партия приходила на место, где крещение производилось еще успешнее. Словом, ребенок, раз взятый от евреев-родителей, был для них почти что навсегда потерян.

Очень многих из этих жидочков крестили еще и до выступления партий из Киева, чем особенно интересовалась и озабочивалась покойная супруга тогдашнего юго-западного генерал-губернатора, княгиня Екатерина Алексеевна Васильчикова (рожденная кн. Щербатова).

Самая вопиющая несправедливость при сдаче детей заключалась в том, что у них почти у всех без исключения никогда не бывало метрических раввинских выписей, и лета приводимого определялись, как я сказал, или наружным видом, который может быть обманчив, или так называемыми «присяжными разысканиями», которые всегда были еще обманчивее. Что́ такое были эти присяжные разыскания, это весьма интересно и в своем роде может быть поучительно для некоторых мечтателей, имеющих высокое понятие о еврейской религиозности. Шесть или двенадцать жидков *присягали* где-то, что они «достаточно знают, что такому-то Шмилику или Мордке уже исполнилось двенадцать лет», и на основании этого документа принимались в рекруты дети, которым было не более семи или восьми лет. Случаев этих было бездна. Бывало и то, что одна дюжина сынов Израиля, нанятая присягать сдатчиками, присягала, что Мордке двенадцать лет, а другая, нанятая для того же родителями ребенка, под такою же присягою удостоверяла, что ему только семь лет. Бывало даже, что и одни и те же люди присягали и за одно и за другое. Это объяснялось возникновением при описываемых мною обстоятельствах особого промысла «присягателей»: из самого мерзкого отребья жидовских кагалов, так хорошо описанных принявшим христианство

раввином Брафманом, составлялись банды бессовестных и грубо деморализованных людей, которые так и бродили шайками по двенадцати человек, ища работы, то есть пытая везде: «чи нема чого присягать?»

И где было «чого присягать», там при продажном приставе и продажном «казенном раввине» бестрепетно произносилось имя Еговы и его святым именем как бы покрывалась страшная неправда гнусной совести человеческой.

Вся кощунственная мерзость этого вопиющего злоупотребления именем божиим была всем узрима до очевидности; но... дело, обставленное с его формальной стороны, не останавливало течения этого «порядка». Ни судить, ни рядить, ни заступиться за слабого при самом очевидном его угнетении не было ни времени, ни средств, ни охоты...

Да; я не обмолвился: не было уже и *охоты,* потому что в этом море стонов и слез, в котором мне в моей юности пришлось провести столько тяжких дней, — отупевало чувство, и если порою когда и шевелилось слабое сострадание, то его тотчас же подавляло сознание полнейшего бессилия помочь этому ужаснейшему, раздирающему горю целой толпы завывавших у стен палаты матерей и рвавших свои пейсы отцов.

Ужасные картины, повторяясь изо дня в день, притупляли впечатлительность даже и в не злом и в доступном состраданию сердце.

«Привычка — чудовище».

Но как нет правил без исключения, то и тут, в этой тягостной полосе моих ранних воспоминаний, есть одно исключение, с которым для меня соединяется самое светлое воспоминание о небольшом и, конечно, неважном, но, по моему мнению, в высшей степени замечательном и оригинальном происшествии, бросающем мягкий и теплый луч света на меркнущую в людской памяти личность благодушнейшего иерарха русской церкви, покойного митрополита Киевского Филарета Амфитеатрова.

Может статься, что читатель будет немножко удивлен: кое общение митрополиту с жидовским набором?! И впрямь есть чему удивляться; но чем это кажется удивительнее, тем должно быть интереснее, и ради этого-то интереса я приглашаю читателя терпеливо последовать за мною до конца моего небольшого рассказа.

III

А. К. Ключарев, невзирая на мои юные тогда годы, назначил меня к производству набора. Дело это, не требующее никаких так называемых «высших соображений», требует, однако, много усилий. Целые дни, иногда с раннего утра до самых сумерек (при огне рекрут не осматривали) надо было безвыходно сидеть в присутствии, чтобы разъяснять очередные положения приводимых лиц и представлять объяснения по бесчисленным жалобам, а также подводить законы, приличествующие разрешению того или другого случая. А чуть закрывалось присутствие, начиналась самая горячая подготовительная канцелярская работа к следующему дню. Надо было принять объявления, сообразить их с учетами и очередными списками; отослать обмундировочные и порционные деньги; выдать квитанции и рассмотреть целые горы ежедневно в великом множестве поступавших запутаннейших жалоб и каверзнейших доносов.

Канцелярия, состоящая из командированных к этому времени из разных присутственных мест чиновников, исполняла только то, что составляло механическую работу, то есть ее дело вписать и записать, выдать, все же требующее какой-нибудь сообразительности и знания законов лежало на одном лице — на делопроизводителе. Поэтому к этой мучительной, трудной и ответственной должности всегда выбирались люди служилые и опытные; но А. К. Ключарев, по свойственной ему во многих отношениях непосредственности, выбрал в эту должность меня — едва лишь начавшего службу и имевшего всего двадцать один год от роду.

Легко представить: какие усилия я должен был употреблять, чтобы вести в порядке такое суматошное и ответственное дело при таком строгом начальнике, как А. К. Ключарев, которого потом сменил благодушный Н. М. Кобылин, тоже удержавший меня на этой должности. Мучения мои начинались месяца за полтора до начала набора, по образованию участков, выбору очередей и проч.; продолжались месяца полтора-два во время самого набора и оканчивались после составления о нем отчета. Во все это время я не жил никакою человеческою

жизнью кроме службы: я едва имел час-полтора на обед и не более четырех часов в ночь для сна.

Всякий, вероятно, легко поймет, как при такой жизни у меня было мало времени для того, «чтоб сердцем умилиться, о людях плакать и молиться».

В это-то время, — может быть даже в один из самых надоедных дней, я сидел раз вечером за своим столиком в присутственной комнате и читал одну за другою набросанные мне жалобы. Их, по обыкновению, было очень много, и большинство их — почти тождественного содержания. Все они содержали одни и те же сетования и были написаны по одному очень грустному и очень пошлому шаблону. Но вдруг мне попал в руки листок прескверной, скомканной бумаги, на котором невольно остановилось мое внимание. От этой бумажонки так и несло самым безучастным и самым непосредственным горем, которого нельзя было не заметить, как нельзя не заметить насквозь промерзшего окна, потому что от него дышит холодом. Самый вид этой бумажонки напоминал того нищего, про которого Гейне сказал, что у него

. . . . глядела
Бедность в каждую прореху,
И из очей глядела бедность.

Я почувствовал неотразимую потребность самым внимательным образом вникнуть в эту бумагу, но лишь только приступил к ее чтению, как сейчас же увидал, что это было почти невозможно. Невозможно было понять: на каком это было писано языке и даже каким алфавитом. Тут были буквы и польские, и русские, и вдруг между ними целое слово или один знак по-еврейски. Самое надписание было что-то вроде надписания, какое сделали гоголевские купцы в жалобе, поданной «господину финансову» Хлестакову: тут были и слова из высочайшего титула и личное имя председателя, и упоминались «уси генерал-губернатора, и чины, и ваши обер-преподобие, увместе с флигерточаков, [1] и увси, кто в бога вирує».

Словом, было видно, что проситель жаловался всем властям в мире и все это устроил в такой форме, что

[1] «Флигерточаков» это должно было значить «флигель-адъютант Чертков». *(Прим. автора.)*

можно было принять, пожалуй, за шутку и за насмешку, и было полное основание все это произведение «оставить без последствий» и бросить под стол в корзину. Но опять повторяю, здесь «глядела бедность в каждую прореху, и из очей глядела бедность», — и мне ее стало очень жалко.

Вместо того чтобы отбросить бумажонку за ее неформенность, как «неподлежаще поданную», я ее начал читать и «духом возмутился, — зачем читать учился». Нелепость в надписании была ничто в сравнении с тем, что содержал самый текст, но зато в этой нелепости еще назойливее вопияло отчаяние.

Проситель в малопонятных выражениях, из коих трудно было добраться до смысла, рассказывал следующее: он был «интролигатор», то есть переплетчик, и, обращаясь по своему мастерству с разными книгами, «посядал много науки в премудрость божаго слова пообширного рассуждения». Такое «обширное рассуждение» привело его в опалу и у кагала, который в противность всех правил напал ночью на домишко «интролигатора» и с его постели увлек его десятилетнего сына и привез его к сдаче в рекруты. «Интролигатор» действительно не был на очереди и представлял присяжное разыскание, что взятый кагалом сын его имеет всего семь лет; но очередь в эти дни перед концом набора не наблюдалась, а кагал в свою очередь представлял другое присяжное разыскание, что мальчику уже исполнилось двенадцать лет.

Интролигатор, очевидно, предчувствовал, что мирская кривда одолеет его правду, и, не надеясь восторжествовать над этою кривдою, отчаянно молил подождать с принятием его сына «только день один», потому что он нанял уже вместо своего сына наемщика, двадцатилетнего еврея, и везет его к сдаче; а просьбу эту посылает «в увперед по почте».

IV

По обычаям, у нас существовавшим, все это ничего не значило, — и так как самого интролигатора с его наемщиком не было в Киеве, а его мальчик был уже привезен и завтра назначен к осмотру, то было ясно, что

если он окажется здоров и тельцем крепок, то мы его «по наружному виду» пострижем и пустим в ход.

С этим я и отложил просьбу интролигатора в сторону с подлежащею справкою и пометою. Более я ничего не мог сделать; но прошел час, другой, а у меня ни с того ни с сего из ума не выходил этот бедный начитанный переплетчик. Мне все представлялось: как он прилетит завтра сюда с его «обширным рассуждением», а его дитя будет уже в солдатских казармах, куда так легко попасть, но откуда выбраться трудно.

И все мне становилось жальче и жальче этого бедного жида, в просьбе которого так неожиданно встречалось его «широкое образование», за которым мне тут чувствовалась целая старая история, которая вечно нова в жестоковыйном еврействе. Не должно ли было это просто значить, что человек, имевший от природы добрую совесть, немножко пораздвинул свой умственный кругозор и, не изменяя вере отцов своих, попытался иметь свое мнение о духе закона, сокрываемом буквою, — стал больше заботиться об очищении своего сердца, чем об умывании рук и полоскании скляниц, — и вот дело готово: он «опасный вольнодумец», которого фарисейский талмудизм стремится разорить, уничтожить и стереть с лица земли. Если бы этот человек был богат, ел свиные колбасы у исправника, совсем позабыл Егову и не думал о его заповедях, но не вредил фарисейской лжеправедности — это было бы ничего, — его бы терпели и даже уважали бы и защищали; но у него явилась какая-то *ширь,* какая-то свобода духа, — вот этого подзаконное жидовство стерпеть не может.

Восемнадцать столетий этой *старой истории* еще не изменили;[1] но я, впрочем, возвращаюсь к своей истории.

---

[1] Русское законодательство имело в виду эту фарисейскую мстительность, и в IV томе свода законов были положительные статьи, которыми вменялось в обязанность при рассмотрении общественных приговоров о сдаче евреев в рекруты «за дурное поведение» обращать строгое внимание, чтобы под видом обвинения в «дурном поведении» не скрывались козни фанатического свойства, мстящие за неисполнение тех или других «еврейских обрядов»; но евреи это отлично обходили и достигали чего хотели. *(Прим. автора.)*

Кому-нибудь, может быть, покажется странным — почему я придавал такое значение словам интролигатора, который, будучи пристигнут бедою, очень мог нарочно прикинуться гонимым за свободу мнений?

Я это понимаю, и, конечно, случись это теперь, — подозрение, весьма вероятно, могло бы закрасться и в мою голову; но в ту пору, к которой относится мой рассказ, о таких вещах, как «свобода мнений», не думали даже люди, находившиеся в положении гораздо более благоприятном, чем бедный жидок, у которого похитили с постели его единственного ребенка. Ему не могло прийти в голову пощеголять либерализмом, который послужил бы ему скорее в напасть, чем в пользу, а это отнюдь не свойственно представителю расчетливой еврейской породы. Следовательно, я имел основание умозаключить, что слово о религии тут употреблено самым искренним образом.

Повторяю: мне стало жаль бедного интролигатора, и я вздумал ему немножко помочь. Я хотел, возвращаясь ночью домой, заехать в английскую гостиницу, где квартировал находившийся для набора флигель-адъютант, и сказать ему: не пожелает ли он вступиться за бедного человека, — попросить, чтобы прием рекрут этого участка был на один день отложен.

Флигель-адъютанты, которых присылали к наборам, хотя прямо в такие распорядки не вмешивались, но их ходатайства всегда более или менее уважались. Однако и эта моя задача не годилась, потому что прежде, чем я привел свое намерение в исполнение, несчастное дело бедного интролигатора осложнилось такими роковыми случайностями, что спасти его сына могло уже разве только одно чудо. И что же? чудо для него совершилось, и притом совершилось свободно, просто и легко, наперекор всем видимым невозможностям, благодаря лишь одному тому кроткому «земному ангелу», за какового многие в Киеве почитали митрополита Филарета, привлеченного сюда — к этому жидовскому делу — самым неожиданным образом и перевершившего всю жидовскую кривду и неподвижную буквенность закона своим живым и милостивым *владычным судом.*

V

Часу в двенадцатом ночи я услыхал какой-то сильный шум в огромной канцелярской зале, смежной с присутственною камерою, где я сидел один за моим делопроизводительским столиком.

Подобные беспорядки, как шум, случались, потому что ко мне, как к слишком молодому начальнику канцелярии, подчиненные мои страха не питали и особой аттенции не оказывали. Лучшими из них относительно субординации были старые титулярные советники, декорированные «беспорочными пряжками» и станиславами. Эти важные люди хотя и не жаловали меня, как «мальчишку», которого, по всем их соображениям, «в обиду посадили им на шею», но обряда ради солидничали, молодежь же, хотя и была исполнительна в работе, а вела себя дурно. Они, случалось, и резвились и потешались насчет тех же «титулярных», между которыми был один, весьма вероятно, многим до сих пор в Киеве памятный, Григорий Иванович Салько, — величайший чудак, обучавшийся у «дьяка» и начавший службу «при дьяке» и необыкновенно тем гордившийся. Он имел совершенно своеобразное пристрастие к старому канцелярскому режиму и давал всем оригинальные советы из дьяковской мудрости. Так, например, я помню, как он, заметив однажды, что я едва преодолеваю усталость и дремоту, сказал мне:

— Сделайте, как меня старый дьяк учил: возьмите у меня из табакерки щепоть табаку да бросьте себе в глаза — сон сейчас пройдет. Мы, в то время, когда еще настоящая служба была... это когда еще вас на свете не было, — все, бывало, так делали.

Этого и других ему подобных стариков легкомысленная молодежь часто дразнила и выводила из терпения, причем нередко дело от шуток доходило и до драк.

Пора относительно еще весьма недавняя, но уже совсем почти невероятная.

Так и в этот раз, заслышав шум, я полагал, что мои молодцы раздразнили кого-нибудь из титулярных советников и произошла обыкновенная свалка, которая должна сейчас же разрешиться дружным хохотом. Но дело выходило не так: я слышал, что вся моя орава куда-то отхлынула и канцелярия как будто сразу опустела.

Я встал и вышел посмотреть, что случилось. Зала действительно была пуста, свечи горели на не занятых никем столах и только в одном углу неподвижно, как мумия, сидел старейший из моих титулярных советников — Нестор киевских канцелярий, — Платон Иванович Долинский, имевший владимирский крест за тридцатипятилетнюю службу.

Этот наш Нестор был огромный, сухой, давно весь как лунь поседевший престарелый хохол, державший себя очень неприступно и важно.

Он обыкновенно никогда без крайней надобности не поднимался с своего места и не разговаривал, а если разговаривал, то ругался, и непременно по-хохлацки.

Завидев меня, он медленно взглянул сверх своих медных очков и сейчас же, сердито задвигав челюстями, начал меня пробирать:

— Що же, хиба вы не бачыте, що тут роблять: они уси побигли дывиться на скаженого жидюгу. Це же вам стыдно: який же вы старшый? Идыть бо гоните их, подлецов, назад до праци.

— Какой же, спрашиваю, там взялся сумасшедший?

— А чертяка его видае, звиткиля вин взявся! Ось вон там, гдесь на сходах крутиться.

Я взял с одного из столов свечу и пошел к выходу на лестницу.

Здесь, на просторной, очень тускло освещенной террасе были все мои чиновники. Густо столпившись сплошною массою, они наседали на плечи друг другу и смотрели в средину образованного ими круга, откуда чей-то задыхающийся отчаянный голос вопил скверным жидовским языком:

— Ай-вай! спустите мене, спустите... Уй, ай, ай-вай, спустите! Ай, спустите, бо часу нема, бо он вже... там у лавру..., утик... Ай, гашпадин митрополит, гашпадин митрополит... ай-вай, гашпадин митрополит, когда ж, ви же стар чоловик... ай-вай, когда же ви у бога вируете... ай... што же это такой бу-у-дет!.. Ай, спустить мене, ай... ай!

— Куда тебя, парха, пустить! — остепенял его знакомый голос солдата Алексеева.

— Туда... гвальт... я не знаю куда... кто в бога вируе... спустите... бо я несчастливый, бидный жидок... що вам

мине тримать... що мине мучить... я вже замучин... спустите ради бога.

— Да куда тебя, лешего, пустить: куда ты пойдешь, куда просишься?

— Ай, только спустите... я пиду... ей-богу, пиду... бо я не знаю, куда пиду... бо мине треба до сам гашпадин митрополит...

— Да разве здесь, жид ты этакой, сидит господин митрополит! — резонировал сторож.

— Ах... кеды ж... кеды ж я не знаю, где сидит гашпадин митрополит, где к ему стукать... Ай, мне же его треба, мне его гвальт треба! — отчаянно картавил и отчаянно бился еврей.

— Мало чего тебе треба: как тебя, парха, и пустят до митрополита.

Жид еще лише завыл.

— Ай, мине нада митрополит... мине... мине не пустят до митрополит... Пропало, пропало мое детко, мое несчастливое детко!

И он вдруг пустил такую ужасающую ноту вопля, что все даже отшатнулись.

Солдат зажал ему рукою рот, но он высвободил лицо и снова завопил с жидовскою школьною вибрациею:

— Ой, Иешу! Иешу Ганоцри! Он тебя обмануть хочет: не бери *его,* лайдака, мишигинера, плута... Ой, Иешу, на що тебе такой поганец!

Услыхав, что этот жидок зовет уже Иисуса Христа,[1] я раздвинул толпу. Передо мною было зрелище, которое могло напомнить группу с бесноватым на рафаэлевской картине «Преображения», столь всем известной по превосходной гравюре г. Иордана. Пожилой лохматый еврей, неопределенных лет, весь мокрый, в обмерзлых лохмотьях, но с потным лицом, к которому прилипли его черные космы, и с глазами навыкате, выражавшими и испуг, и безнадежное отчаяние, и страстную, безграничную любовь, и самоотвержение, не знающее никаких границ.

Его держали за шиворот и за локти два здоровенные солдата, в руках которых он корчился и бился, то весь

---

[1] «Иешу Ганоцри» по еврейскому произношению значит *Иисус Назарянин. (Прим. автора.)*

сжимаясь как улитка, то извиваясь ужом и всячески стараясь вырваться из оковавших его железных объятий.

Это ужасающее отчаяние, — и эта фраза «кто в бога вируе», которую я только что прочел в оригинальной просьбе и которую теперь опять слышал от этого беснующегося несчастного, явились мне в общей связи. Мне подумалось:

«Не он ли и есть этот интролигатор? Но только как он мог так скоро поспеть вслед за своим прошением и как он не замерз в этом жалчайшем рубище и, наконец, что ему надо, что такое он лепечет в своем ужасном отчаянии то про лавру, то про митрополита, то, наконец, про самого Иегошуа Ганоцри?[1] И впрямь он не помешался ли?»

И чтобы положить конец этой сцене, я махнул солдатам рукою и сказал: «Пустите его». И лишь только те отняли от него свои руки, «сумасшедший жид» метнулся вперед, как кошка, которая была заперта в темном шкафе и перед которою вдруг неожиданно раскрылись дверцы. Чиновники — кто со смехом, кто в перепуге — как рассыпанный горох шарахнулись в стороны, а жид и пошел козлякать.

Он скакал из одной открытой двери в другую, царапался в закрытую дверь другого отделения, и все это с воплем, с стонами, с криком «ай-вай», и все это так быстро, что прежде, чем мы успели поспеть за ним, он уже запрыгнул в присутствие и где-то там притаился. Только слышна была откуда-то его дрожь и трепетное дыхание, но самого его нигде не было видно: словно он сквозь землю провалился; трясется, и дышит, и скребется под полом, как тень Гамлета.

VI

Чрез минуту он был, однако, открыт: мы нашли его скорячившимся на полу у угла стола. Он сидел, крепко обхватив столовую ножку руками и ногами, а зубами держался за край обшитого галунами и бахромою красного сукна, которым был покрыт этот стол.

---

[1] Имя «Исус» иногда произносится *Иешу*, иногда *Иегошуа*. *(Прим. автора.)*

Можно было подумать, что жид считал себя здесь как «в граде убежища» и держался за этот угол присутственного.стола, как за рог жертвенника. Он укрепился, очевидно, с такою решительностию, что скорее можно было обрубить его судорожно замершие пальцы, чем оторвать их от этого стола. Солдат тормошил и тянул его совершенно напрасно: весь тяжелый длинный стол дрожал и двигался, но жид от него не отдирался и в то же время орал немилосердно.

Мне это стало отвратительно, и я велел его оставить и послал за городовым доктором; но во врачебной помощи не оказалось никакой надобности. Чуть еврея оставили в покое, он тотчас стих и начал копошиться и шарить у себя за пазухой и через минуту, озираясь на все стороны — как волк на садке, подкрался ко мне и положил на столик пачку бумаг, плотно обернутых в толстой бибуле, насквозь пропитанной какою-то вонючею коричневатою, как бы сукровистою влагою — чрезвычайно противною.

Неловко признаться, а грех потаить, — я не без гадливости развернул эти бумаги, которые были не что иное, как документы найма, совершенного интролигатором за своего сына.

Итак, не оставалось никакого сомнения, что сей «стеня и трясыйся» есть не кто иной, как тот самый «широко образованный» израелит, которого просьба меня так заняла.

Значит, мы были уже немножко знакомы.

Не отсылая его от себя, я быстро пробежал привычным глазом его вонючие бумаги и увидал, что все они совершены в должном порядке и его наемщик, двадцатидвухлетний еврей, по всем правилам непререкаемо должен быть допущен к приему вместо его маленького сына, — даже и деньги все — сто рублей — этому наемщику сполна уплочены.

Но тогда в чем же заключается беда этого человека и чего ради вся эта его страшная, мучительная тревога, доводящая его до такого подавляющего, безумного отчаяния, похожего на бешенство?

А беда была страшная и неотразимая, и интролигатор понимал ее, но еще не во всем ее роковом и неодолимом значении.

Я должен рассказать, в чем было дело.

Наемщик интролигатора, как выше уже сказано, молодой, но совершеннолетний еврей (наниматься дозволялось по закону только совершеннолетним) был, как приходилось думать, большой плут. Он устроил с бедным жидом самую коварную, разорительную штуку, и притом так твердо и основательно рассчитанную и построенную на законе, что ее не могла расстроить *никакая законная власть на земле.* А, разумеется, ни мне, ни интролигатору в эту пору на мысль не приходило подумать о власти добродетельнейшего лица, которое могло изречь решение не от мира сего, — решение, после которого мирским законоведам оставалось только исполнить правду, водворенную владычным судом милосердого Филарета над каверзною жидовскою кривдою, пытавшеюся обратить в игрушку и христианскую купель и все «предусмотрения закона».

VII

Надо знать, что по закону — еврея в рекрутстве мог заменить *только еврей,* а ни в каком случае не христианин. Этим, конечно, и объяснялось, что случаи замена одного еврейского рекрута по найму другим евреем были необыкновенно редки.

Если военной службы боится и не любит всякий простолюдин, то еврей отбегает ее сугубо, и доброю волею или наймом его в солдатство не заманишь. И какой соблазн могла представить еврею сумма в триста — четыреста рублей, когда каждый жидок, если он не совсем обижен природою, всегда может сам добыть себе такую сумму безопасным гешефтом? А обиженные природою не годились и в службу.

Следовательно, желающему отыскать наемщика оставалось только найти где-нибудь какого-нибудь забулдыгу, который бы, от некуда деться, согласился наняться в военную службу. Но такие экземпляры в еврейской среде всегда редки.

Однако интролигатор, на свое счастие и несчастие, нашел эту редкость; но что́ это был за человек? — Это был в своем роде замечательный традиционный жидовский

гешефтист, который в акте найма усмотрел превосходный способ обделывать дела путем разорения ближнего и профанации религии и закона. И что всего интереснее, он хотел все это проделать у всех на глазах и, так сказать, ввести в употребление новый, до него еще неизвестный и чрезвычайно выгодный прием — издеваться над религиею и законом.

Этот штукарь был один из подмастерьев дамского портного, «кравца» Давыдки, бывшего в то время для Киева тем самым, что ныне парижский Ворт для всего так называемого «образованного света». Подмастерье этот был за какие-то художества прогнан с места и выслан из Киева. Шатаясь без занятий из города в город «золотой Украины», он попался интролигатору в ту горячую пору, когда этот последний вел отчаянную борьбу за взятого у него ребенка, и наем состоялся; но состоялся неспроста, как это водилось у всех крещеных людей, а с хитрым подвохом и заднею мыслию, которую кравец, разумеется, тщательно скрывал до тех пор, пока ему настало время действовать. Он нанялся за интролигаторского сына ценою за четыреста рублей, но с тем, чтобы условие было писано между ними всего только на сто рублей, а триста даны ему вперед, без всяких формальностей. Это, впрочем, не заключало в себе ничего необычайного, так как сделки без законных формальностей или по крайней мере с некоторым их нарушением и обходом — в натуре евреев.

Интролигатор, нужда которого была так безотложна, не спорил с наемщиком и сразу согласился на все его условия. Он сейчас же продал за двести рублей *«дом* и всю худобу», — словом, все, что имел, и за триста закабалился кабальною записью работать какому-то богатому еврею. Словом, как говорят, «обовязался» вокруг, — и триста рублей «кравцу» были выданы. Затем наскоро были написаны все бумаги, и интролигатор послал по почте описанную мною в начале моего рассказа просьбу, а потом и сам поскакал вслед за нею в Киев со всеми остальными бумагами и с своим наемщиком. Тут его и сторожила беда: это был крайний момент, дальше которого наемщик не мог продолжать своих прямых отношений к нанимателю и открыл игру. Дорогою, «на покорме» в каком-то белоцерковском «заязде», он *исчезнул со стодола.*

Дойдя до этой точки своего рассказа, мой жидок опять взвыл и опять потерял дар слова и насилу-насилу мог досказать остальное, что, впрочем, было весьма коротко и просто. Улучив минуту, когда наниматель торговался за какие-то припасы, а сторож зазевался, кравец удрал на другой стодол к знакомому «балагуле», [1] взял, не торгуясь или посулив щедрую плату, четверку подчегарых, легких и быстрых жидовских коней и укатил в Киев — *креститься.*

Ужаснее этого для интролигатора ничего не могло быть, потому что с этим рушилось все его дело: он был ограблен, одурачен и, что называется, без ножа зарезан. У него пропадал сын и погибло все его состояние, так как объявивший желание креститься кравец сразу квитовал этим свое обязательство служить за еврея, данное прежде намерения, о котором одно заявление уже ставило его под особенное покровительство закона и христианских властей.

Самое бестолковое изложение этого обстоятельства для меня было вполне достаточно, чтобы понять всю горечь отчаяния рассказчика и всю невозможность какой бы то ни было для него надежды на чье бы то ни было заступление и помощь. Но в деле этом были еще осложнения, силу и значение которых мог настоящим образом понимать только человек, не совсем чуждый некоторым общественным комбинациям.

Интролигатор, всхлипывая и раздирая свой «лапсардак», [2] сообщил мне, что он очень долго искал своего кравца по Белой Церкви. Путаясь из стодола в стодол с различными «мишурисами», которые умышленно давали ему фальшивые сведения и водили его из двора в двор, чтобы схватить «хабара» и проволочь время, он истратил на это бесполезно почти целый день, который у беглеца не пропал даром. Когда интролигатор, после долгой суеты и бегства по Белой Церкви и потом по Киеву, напал на заметенный лисьим хвостом волчий след своего беглеца, тот уже спокойно сидел за лаврской стеною и готовился к принятию святого крещения.

---

[1] Извозчик, содержатель брик. *(Прим. автора.)*

[2] Лапсардак — коротенькая кофта с установленным числом завязок и бахромочек. Талмудисты носят этот «жидовский мундир» под верхним платьем. *(Прим. автора.)*

Ясно было, что этот плут задумал разорить своего контрагента посредством профанации христианской купели, но как можно было обличить и доказать его неискренность и преступное кощунство? Кто за это возьмется, когда закон на стороне этого «оглашенного» и на его же стороне были силы, которые мнились тогда еще сильнее закона. Хитрый жид, проживая год тому назад у киевского Ворта, усвоил себе некоторые сведения как о слабостях, так и о силе и значении некоторых лиц, важных не столько по их собственному официальному положению, сколько по их влиянию на лиц важного официального положения. Таким лицом тогда по преимуществу была супруга покойного генерал-губернатора князя Иллариона Илларионовича Васильчикова, княгиня Екатерина Алексеевна (рожденная княжна Щербатова), о которой я уже упоминал выше. Она тогда была в каком-то удивительно напряженном христианском настроении, которое было преисполнено благих намерений, но всем этим намерениям, как большинству всех благих намерений великосветских патронесс, к сожалению, совсем недоставало одного: серьезности и практичности, без коих все эти намерения часто приносят более вреда, чем пользы... Это что-то роковое, вроде иронии судеб.

Религиозность княгини была совсем не в жанре нынешней великосветской религиозности, заключающейся преимущественно в погоне за «оправданием верою»; нет: княгиня Екатерина Алексеевна искала оправдания «делами» и наделала их столько, что автор «Опыта исследования о доходах и имуществах наших монастырей» должен был дать ей очень видное место. После княгини Анны Алексеевны Орловой княгиня Васильчикова оказывается самою крупною из титулованных монастырских строительниц. Она была фундаторкою весьма ныне известного общежительного близ Киева монастыря, который, по исследованию г-на Ростиславова, владеет благодаря щедрости княгини тридцатью шестью верстами земли и угодьями, которых не описал г-н Ростиславов. Но прежде чем оказывать такое благодеяние вновь устроившемуся монастырю «старца Ионы», княгиня была известна в Киеве как филантропка. Под ее покровительством Киев ознакомился со всеми приемами современной общественной благотворительности; при ней там пошли

в ход лотереи, концерты, балы, маскарады и спектакли в пользу бедных. Словом, при ней и благодаря ей «широко развилась» вся та sui generis[1] «христианская» благотворительность, которая во многих своих чертах в наше время получила уже должную критическую оценку, но, однако, и до сих пор практикуется обществом, потерявшим сознание о прямых путях истинного христианского милосердия.

Одновременно с заботами о благотворении посредством учреждения различных общественных забав княгиня получила большое влечение к улучшению нравов и распространению христианской веры. Здесь она была даже, кажется, оригинальнее и смелее всех великосветских патронесс Петербурга, что́, может быть, следует приписать ее первенствующему и в некотором отношении полновластному значению в Киеве, который с любопытством и с некоторого рода благоговейным недоумением смотрел на затеи «своей княгини».

После целибата, царствовавшего в генерал-губернаторском доме в бибиковское время, появление там женщины, не отказывавшей себе в удовольствии дать обществу почувствовать ее присутствие, влияние ее было очень заметно, и прежде всего оно вызвало в дамском кругу довольно сильную ей подражательность.

С виду все это, пожалуй, как будто походило на что-то живое и даже очень полезное, но потом многие начали понимать и толковать об этом иначе, но не в этом дело: благотворения и морализация были так сильны, что даже из «магдалинского приюта» для *кающихся* проституток одно время было признано полезным выдавать «магдалинок» замуж за солдат. Этим путем хотели «не дозволить псу возвратиться на свою блевотину». Княгиня принимала самое теплое участие в устройстве этих браков и давала даже *невестам* приданое, имевшее для солдатиков свою притягательную силу. Они женились на «магдалинках», конечно всего менее заботясь о глубине и искренности их раскаяния, «лишь бы получить сто рублей и кой-что из одёжи». Затем, разумеется, утешив княгиню актом своего бракосочетания и воспользовавшись тем, чем каждый из супругов считал удобным для себя

---

[1] Своего рода (*лат.*).

воспользоваться, они сепарировались и расходились «кийждо восвояси»... Анекдоты при этом случались самые курьезные. «Псы» опять возвращались на свою блевотину, но только саморазврат заменялся развратом «по согласу», с мужнего позволения. Словом, по иронии судьбы над аристократическою неумелостью и непониманием, «последняя быша горше первых». Бывали случаи, что супруг-солдат с самого своего свадебного пира сам отпускал свою новобрачную супругу к одному из шаферов, в числе коих бывали «люди благородные», принимавшие на себя шаферские обязанности, чтобы «быть на виду», угождая княгине участием в ее гуманных затеях.

Женатых таким образом солдатиков трудно строго и винить за то, что они так охотно сбывали с рук полученных ими избалованных жен. Куда ему, бедняку, в его суровом положении, *такая жена,* с ее отвычкою от всякого тяжелого труда и с навыком ко всякому «баловству»?

Солдатик, женившийся на проститутке всего чаще по инициативе начальства, желавшего доставить субъекта, нужного для предположенной княгинею «магдалининой свадьбы», подчинялся своему року и брал то, что ему на что-нибудь годилось: а жену, обвыкшую «есть курку с маслом и пить сладкое вино», сидя на офицерских коленях, пускал на все четыре стороны, из которых та и выбирала любую, то есть ту самую, с которой она была больше освоена и где она надеялась легче заработать сумму, какую обещала платить мужу, пустившему ее «по согласу».

Таковы были «иронические» результаты этой игрушечной затеи сентиментальной и мечтательной морализации, которая, впрочем, довольно скоро надоела, и с нею покончили.

Гораздо упорнее были заботы о крестительстве, но, к сожалению, и тут тоже довольно часто выходили своего рода печальные курьезы. Ревностью княгини в этом роде полнее всех злоупотребляли малосовестливые люди, являвшиеся с притворною жаждою крещения из той низменной среды еврейских обществ, которая больше всех терпит и страдает от ужасной кагальной неправды жидовских обществ. Нигде не находя защиты от царящей здесь деморализации, эти люди сами деморализуются до того, что, по местному выражению, «меняют веру, як

цыган коняку». В этом-то отребии, к которому принадлежал по своему положению и наемщик нашего интролигатора, и вырабатывалась особая практика для эксплуатации крестительского рвения княгини, к которой, по установившемуся у бедных жидков поверью, «стоило только *удаться*», и уже тогда никто не смеет тронуть, хоть бы «увесь закон *пенькнул*» (треснул).

В таком мнении, возникшем у смышленых евреев, едва ли все было преувеличением. По крайней мере не одни жидки, а и многие из очень просвещенных христиан так называемого «высшего» киевского общества в то время гораздо менее серьезно осведомлялись о том, как хочет князь, чем о том — чего угодно княгине?

VIII

Замотавшийся и потом попавший в рекруты подмастерье портного Давыдки всеконечно имел довольно верные понятия о генеральном положении дел в Киеве. И вот он задумал этим воспользоваться и безнаказанно разорить и погубить подвернувшегося ему интролигатора.

Взялся он за это превосходно: в то самое время, когда его наниматель сочинял свою известительную бумагу о найме и просил подождать с приемом в рекруты его ребенка, портной написал жалостное письмо к одной из весьма известных тоже в свое время киевских патронесс. Это была баронесса Б., очень носившаяся с своею внешнею религиозностью. Хитрый жидок изложил ей различные невзгоды и гонения от общества, терпя которые, он дошел до такой крайности, что даже решился было сам поступить в рекруты, но тут его будто вдруг внезапно озарил новый свет: он вспомнил о благодеяниях, какие являют *высокие христиане* тем, которые идут к истинной «крещеной вере», и хочет креститься. А потому, если ему удастся бежать от сдатчика, то он скоро явится в Киев и просит немедленно скрыть его от гонителей — поместить в монастырь и как можно скорее окрестить. Если же ему не удастся бежать, то защитить его каким-нибудь другим образом и привести его «в крещеную вѐру», — о чем он и просил довести до сведения ее сиятельства княгини

Екатерины Алексеевны, на апостольскую ревность которой он возверзал все свои надежды и молил ее утолить его жажду христианского просвещения.

Этого было слишком довольно: получив такое послание, дававшее баронессе повод побывать во многих местах и у многих лиц, к которым она находила отрадное удовольствие являться с своими апостольскими хлопотами, она сразу же заручилась самым энергическим участием княгини и могла действовать ее именем на всех тех особ, которым нельзя было давать прямых приказаний. О тех же, которым можно было приказывать, разумеется нечего было и заботиться.

Словом, в одно утро дело этого проходимца было улажено баронессою так, что жидку только стоило появиться к кому-нибудь из многих лиц, о нем предупрежденных, — и он спасен.

Лучше этого положения для него ничего нельзя было желать и придумать: а между тем, как мы уже знаем, сами обстоятельства так благоприятствовали этому затейнику, что он преблагополучно исполнил и вторую часть своей программы, то есть самым удобным образом сбежал от своего контрагента, заставил его напрасно провести целый день в тщетных поисках его по разным «заяздам» и другим углам Белой Церкви — этого самого безалаберного после Бердичева жидовского притона.

Пока совсем потерявшийся и обезумевший интролигатор явился в своих растрепанных чувствах в Киев, где вдобавок не знал, к кому обратиться и где искать своего наемщика, тот под покровом самых лучших рекомендаций уже кушал монастырскую рыбку и отдыхал от понесенных треволнений в теплой келье у одного из иноков лавры, которому было поручено как можно неупустительнее приготовить его к святому крещению...

Интролигатор, сообщавший мне всю эту курьезную историю среди прерывавших его воплей и стонов, рассказывал и о том, как он разузнал, где теперь его «злодей»; рассказывал и о том, где он сколько роздал «грошей» мирянам и немирянам,— как он раз «ледви не утоп на Глыбочице», раз «ледви не сгорел» в лаврской хлебопекарне, в которую проник бог ведает каким способом. И все это было до крайности образно, живо, интересно и в одно и то же время и невыразимо трогательно и умо-

рительно смешно, и даже трудно сказать — более смешно или более трогательно.

Однако, благодаря бога, ни у меня, сидевшего за столом, пред которым жалостно выл, метался и рвал на себе свои лохмотья и волосы этот интролигатор, ни у глядевших на него в растворенные двери чиновников не было охоты над ним смеяться.

Все мы, при всем нашем несчастном навыке к подобного рода горестям и мукам, казалось, были поражены страшным ужасом этого неистового страдания, вызвавшего у этого бедняка даже *кровавый пот.*

Да, эта вонючая сукровичная влага, которою была пропитана рыхлая обертка поданных им мне бумаг и которою смердели все эти «документы», была не что иное, как *кровавый пот,* который я в этот единственный раз в моей жизни видел своими глазами на человеке. По мере того как этот, «ледеви не утопший и ледеви не сгоревший», худой, изнеможенный жид размерзался и размокал в теплой комнате, его лоб, с прилипшими к нему мокрыми волосами, его скорченные, как бы судорожно теребившие свои лохмотья, руки и особенно обнажившаяся из-под разорванного лапсардака грудь, — все это было точно покрыто тонкими ссадинами, из которых, как клюквенный сок сквозь частую кисею, проступала и сочилась мелкими росистыми каплями красная влага... Это видеть ужасно!

Кто никогда не видал этого *кровавого пота,* а таких, я думаю, очень много, так как есть значительная доля людей, которые даже сомневаются в самой возможности такого явления, — тем я могу сказать, что я его *сам* видел и что это невыразимо *страшно.*

По крайней мере это росистое клюквенное пятно на предсердии до сих пор живо стоит в моих глазах, и мне кажется, будто я видел сквозь него отверзтое человеческое сердце, страдающее самою тяжкою мукою — мукою отца, стремящегося спасти своего ребенка... О, еще раз скажу: это ужасно!

Пышные белокурые волосы последней шотландской королевы, мгновенно поседевшие в короткое время, когда «джентельмены делали ее туалет» и укладывали страдалицу на плаху в большой зале Фодрайнгенского замка, не могли быть страшнее этого пота, которым потел этот отец, бившийся из-за спасения своего ребенка.

Я невольно вспомнил кровавый пот того, чья праведная кровь оброком праотцов низведена на чад отверженного рода, и собственная кровь моя прилила к моему сердцу и потом быстро отхлынула и зашумела в ушах.

Все мысли, все чувства мои точно что-то понесли, что-то потерпели в одно и то же время и мучительное и сладкое. Передо мною, казалось, стоял не просто человек, а какой-то кровавый, исторический символ.

Я тогда был не совсем чужд некоторого мистицизма, в котором, впрочем, не все склонен отвергать и поныне (ибо, — да простят мне ученые богословы, — я не знаю *веры,* совершенно свободной от своего рода мистицизма). И не знаю я, под влиянием ли этого «веяния» или по чему другому, но только в эти минуты в моей усталой голове, оторванной от лучших мыслей, в которых я прожил мое отрочество, и теперь привлеченной к занятиям, которые были мне не свойственны и противны, произошло что-то, почти, могу сказать, таинственное, или по крайней мере мне совсем непонятное. Эта история, в которой мелкое и мошенническое так перемешивалось с драматизмом родительской любви и вопросами религии; эта суровая казенная обстановка огромной полутемной комнаты, каждый кирпич которой, наверно, можно было бы размочить в пролившихся здесь родительских и детских слезах; эти две свечи, горевшие, как горели там, в том гнусном суде, где они заменяли свидетелей; этот ветхозаветный семитический тип искаженного муками лица, как бы напоминавший все племя мучителей праведника, и этот зов, этот вопль «Иешу! Иешу Ганоцри, отдай мне его, парха!» — все это потрясло меня до глубины души... я, кажется, мог бы сказать даже — до своего рода отрешения от действительности и потери сознания... Вправду, сколько могу помнить, это было одно из тех неопределенных состояний, которые с такою ясностью и мастерством описывает епископ Феофан в своих превосходных «Письмах о духовной жизни». Самые размышления мои с этих пор стали чем-то вроде тех «предстояний ума в сердце», о которых говорит приведенный мною достопочтенный автор. Отчаянный отец с вырывающимся наружу окровавленным сердцем, человек — из племени, принявшего на себя кровь того, которого он зовет «Иешу»... Кто его разберет,

какой дух в нем качествует, заставляя его звать и жаловаться «Ганоцри»?

Мои наэлектризованные нервы так работали, что мне стало казаться, будто в этой казенной камере делается что-то совсем не казенное. Уже не услыхал ли *Он* этот вопль сына своих врагов, не увидал ли *Он* его растерзанное сердце и... не идет ли *Он* взять на свое святое рамо эту несчастную овцу, может быть невзначай проблеявшую его имя.

И я вдруг забыл, что́ мой плотский ум надумал было сказать этому еврею; а я хотел сказать ему вот что: чтобы и он и его сын сделали то же самое, что сделал их коварный наемщик, то есть чтобы и они просили себе крещения. Взаправду, что́ им мешало к этому обратиться, тем более что этот отец, призывающий и «Иешу Ганоцри», во всяком случае ближе ходил от сына божия, чем тот проказник, который взялся на глазах у всех сплутовать верою.

Что́ бы из этого вышло, если бы еврей принял мою мысль; какая задача явилась бы административной практике, какой казус для законников и... какой соблазн для искренних чтителей святой веры!

А иного способа я не видел для их спасения, конечно потому, что забывал о том, чья мера шире вселенной и чьи все суды благи.

Мне в голову не приходило, что, может быть, после слов моих вышло бы совсем не то, чего мог ждать я, — может быть, этот жид, зовущий теперь «Ганоцри», услышав мое слово, ударился бы в другую крайность отчаяния и стал бы порицать имя, теперь им призываемое, и издеваться над тем приспособлением, которое давало вере мое ребяческое легкомыслие.

Да, ничего этого не было в моей голове, но зато ее посетило забвение. Память вдруг отяжелела, как окунутая в воду птица, и не хотела летать ни по каким верхам, а спряталась в какую-то густую тишь — и я не сказал опрометчивого слова, которое уже шевелилось у меня на устах, и всегда радуюсь, что этого не сказал. Иначе я поступил бы дурно, и это, вероятно, лишило бы меня самого отраднейшего случая видеть одно из удивительных проявлений промысла божия, среди полнейшей немощи человеческой.

IX

«Ум в сердце» велел мне просто-напросто молчать и отойти от этого расщепленного грозою страдания пня, которому возрастить жизнь мог разве только сам начальник жизни.

И как он возвратил ему ее! В каком благоуханном цвету, с какой дивной силой прелести христианского бытия! Но все это было после, — гораздо, гораздо после, при обстоятельствах, о которых и не воображалось в эту минуту, которую я описываю. Тогда мне стало только сдаваться, что все это, чем мы здесь волновались, будет совсем не так, как я думаю. «Ум в сердце» успокоительно внушал, что это уже решено как сделать и что для того, дабы решенное свершилось всего благопристойнее, теперь ничего своего не уставлять, а делать то, что будет указано. Всего более нужно тишины и тишины; чтобы соблюсти эту потребность в тишине, которая беспрестанно угрожала снова разразиться стоном, воплями и шумной расправой с обезумевшим евреем, я, не говоря никому ни слова, встал, молча вышел в переднюю, молча надел шубу и поскорее уехал.

Пожалуй, иному это может показаться эгоистической уверткой, — лишь бы не видать расправы с жидом, с которым в мое отсутствие наверно станут расправляться еще бесцеремоннее; но, поистине, меня водили совсем не эти соображения. Почему мне казалось за наилучшее поступить таким образом — я не знаю; но вышло, что это действительно было самое наилучшее, что только я мог сделать.

Помню как сейчас эту морозную и ясную ночь с высоко стоявшим на киевском небе месяцем. Красивый и тогда еще довольно патриархальный город, не знавший до генерал-губернаторства Н. Н. Анненкова ни «шато-дефлёров», ни других всенощных гульбищ, уже затих и спал: с высокой колокольни лавры гудел ее приятный звон к заутрене. Значит, была полночь. Моя прозябшая рыженькая лошадка неслась быстро, так что молодой кучеренок Матвей, из своих орловских крепостных, едва мог держать озябшими руками туго натянутые вожжи, и тут вдруг на повороте у «царского сада» что-то мелькнуло — человек не человек и собака как будто не собака,

а что-то такое, от чего моя немного пугливая лошадь шарахнулась в сторону, и мы с кучером оба чуть не вылетели из санок.

И с этих пор это «что-то» так и пошло мелькать и шмыгать то за мною, то передо мною: то исчезнет где-то в тени, то опять неожиданно выскочит на повороте, перебежит освещенную луною улицу и опять испугает лошадь, которая уже начала беситься и еще несколько раз нас чуть не выкинула. Понять нельзя, что это за нежить мечется, и в заключение, только что я остановился у подъезда моей квартиры, близ церкви св. Андрея, — это *«оно»,* эта нежить опять словно тут и была... Но что же это такое? — А это был опять *он*, опять мой интролигатор, и в том же самом растерзанном виде, и с тем же кровавым потом на голой холодной груди... Ему, верно, не было холодно, сердце насквозь горело.

Он теперь не кричал и не охал, а только не отставал от меня, точно моя тень, и, как вы видите, не уступал даже для этого в быстроте моей лошади.

Куда его было деть? Прогнать — жестоко; пустить к себе?.. Но какой в этом смысл? Ведь уже сказано, что я ему ничего не мог сделать, а он только надоест... И притом — я, к стыду моему, был немножечко брезглив, а от него так противно пахло этим кровавым потом.

Я так и не решил, что сделать, — вошел в переднюю, а он за мною; я в кабинет, — а он сюда по пятам за мною... Видно, сюда ему был указан путь, и я ему уже решил не мешать: мне вздумалось велеть напоить его чаем и потом отослать его спать на кухню; но прежде чем я успел сказать об этом моему человеку, тот начал мне сообщать, что ко мне заходил и мне оставил записку Андрей Иванович Друкарт, один из весьма почтенных и деловых людей генерал-губернаторского управления. Он состоял тогда чиновником особых поручений при князе Васильчикове и очень недавно скончался в должности седлецкого вице-губернатора, по которой принимал участие при окончательном уничтожении унии.

Помимо служебной деловитости, Друкарт в те годы нашей жизни был превосходный чтец в драматическом роде и даровитейший актер. Я не слыхал никого, кто бы читал шекспировского Гамлета лучше, как читывал его Друкарт, а гоголевского городничего в «Ревизоре» он

исполнял, кажется, не хуже покойного Ив. Ив. Сосницкого в наилучшую пору развития сценических сил этого артиста.

Благодаря такого рода талантливости, покойный Друкарт исполнял не только поручения князя, но имел временные порученности и от всевластной у нас княгини. А княгине как раз в эту пору нужны были деньги для каких-то ее благотворительных целей, и она поручила Друкарту устроить в городском театре спектакль в пользу бедных.

Я тоже всегда читал, по общему мнению, довольно недурно и был удовлетворительным актером; а потому при смете сценических сил, которые должен был сгруппировать и распределить Друкарт, явился и я на счету.

Друкарт писал мне, что так как я и бывший тогда в Киеве стряпчим г. Юров — оба одного роста и друг с другом схожи, то мы «непременно должны» играть в предстоящем спектакле Добчинского и Бобчинского.

При моей тогдашней усталости и недосуге это было просто напасть, и я, с негодованием отбросив письмо моего доброго приятеля, решил в уме встать завтра как можно пораньше и прежде присутствия заехать в канцелярию генерал-губернатора к Друкарту, с тем чтобы урезонить его освободить меня от затевавшегося спектакля.

В этом размышлении, хлебнув глоток из поданного мне стакана горячего чаю, я снова вспомнил о своем несчастном жиде, и очень удивился, что его уже не вижу. А он, бедняк, тем временем уже спал, свернувшись кольцом на раскинутой между шкафом и дверью козьей шкуре, на которой обыкновенно спала моя охотничья собака. Они лежали оба рядом, и довольно строгий пес, вообще не любивший жидов, на этот раз как будто нашел нужным изменить свои отношения к этому племени. Он как будто чувствовал своим инстинктом, что возле него приютилось само горемычное горе, которое нельзя отгонять.

Я был доволен и жидом и собакой и оставил их делить до утра одну подстилку, а сам лег в мою постель в состоянии усталости от впечатлений, которых было немилосердно много: жид-наемщик, белоцерковский сто́дол, лавра, митрополит, дикие стоны и вопли, имя Иешу, молчаливый князь и настойчивая княгиня с ее всевласт-

ным значением, мой двойник стряпчий Юров и Бобчинский с Добчинским; необходимость и невозможность от всего этого отбиться, и вдруг... какое-то тихое предсонное воспоминание о моей старой няне, болгарке Марине, которую все почему-то называли «туркинею»... И она всех пересиливает: стоит надо мною, трясет старушечьим повойником да ласково шепчет: «Спи, дитя, спи: Христос пристанет и пастыря приставит»... И вообразите себе, что ведь все это было кстати. — Да; все это, что представляло такой пестрый и нескладный сбор понятий, оказалось нужным, — во всем этом будничном хаосе были все необходимые элементы для того, чтобы устроился удивительно праздничный случай, который по его неожиданности и маловероятности мне так и хочется назвать *чудесным.*

Мы с интролигатором отсыпались перед такою неравною и опасною битвою, от которой всякий рассудительный человек непременно бы заранее отказался, если бы нам не было даровано благодетельное неведение грядущего.

X

Утро, которое должно было показать себя мудренее вчерашнего вечера, взошло в свои урочные часы, в светлости достойной какого-нибудь более торжественного события. Это было одно из тех прекрасных украинских утр, когда солнышко с удивительною и почти неизвестною в северной полосе силою пробует власть свою над морозцем. Ночь всю держит стужа, и к рассвету она даже еще более злится и грозит днем самым суровым, но чуть лишь Феб выкатит на небо в своей яркой колеснице, — все страхи и никнут: небо горит розовыми тонами, в воздухе так все и заливает нежная, ласкающая мягкость, снег на освещенных сторонах кровель под угревом улетает как пар. Картина тогда напоминает бледную двуличневую материю с ярким отливом. В то самое время как теневая сторона улиц и зданий вся покрыта оледенелой корою, другая — обогретая солнцем — тает; кровли блестят и дымятся испаряющеюся влагой; звучно

стучат, падая сверху и снова в тени замерзая внизу, капели; и воробьев — этих проворных, живых и до азарта страстных к заявлению своего жизнелюбия птичек вдруг появляется такая бездна, что можно удивляться: откуда они берутся? Еще вчера они совсем не были заметны и вдруг, точно мошки в погожий вечер, сразу явились повсюду. Их веселым крикливым чириканьем полон весь воздух; они порхают, гоняясь один за другим по оттаявшим ветвям деревьев, и сыпят вниз иней с тех мерзлых веток, которые остаются в своем серебристом зимнем уборе. Где ни проталина, там целый клуб этой крикливой и шумной пернатой дребезги, но всего больше их на обогретых сторонах золоченых крыш храмов и колоколен, где всего ярче горит и отражается солнце. Тут заводится целое интернациональное птичье собрание: по карнизам, распушив хвосты и раскидывая попеременно то одно, то другое крылышко, полулежат в приятном far niente[1] задумчивые голуби, расхаживают степенные галки и целыми летучими отрядами порхают и носятся с места на место воробьи.

Словом, оживление большое. Начинаясь в высших, воздушных слоях, оно не оказывается бессильным и ниже: и животные и люди — все под этим оживляющим угревом становятся веселее: легче дышат и вообще лучше себя чувствуют. Знаменитый оксфордский бишоф Жозеф Галл, имевший усердие и досуг выражать «внезапные размышления при воззрении на всякий предмет» и проповедовавший даже «во время лаяния собаки» (изд. 1786 г., стр. 38), совершенно справедливо сказал (35): «Прекрасная вещь свет, — любезная и свойственная душам человеческим: в нем все принимает новую жизнь и *мы сами в нем переменяемся»,* — и, конечно, к лучшему.

Теплые лучи, освещая и согревая тело, как будто снимают суровость с души, дают усиленную ясность уму и ту приуготовительную теплоту сердцу, при которой человек становится чутче к призывам добра. Согретый и освещенный, он как бы гнушается темноты и холода сердца и сам готов осветить и согреть в сумрачной тени зимы цепенеющего брата.

---

[1] Безделье *(итал.)*.

Таких очаровательных теплых дней, совершенно неожиданно прорывающихся среди зимней стужи, я нигде не видал, кроме нашей Украйны, и преимущественно в самом Киеве. Севернее, над Окою, и вообще, так сказать, в черноземном клину русского поля, что-то подобное бывает ближе к весне, около благовещения, но это совсем иное. То — естественное явление поворота солнца на лето; а это — почти что-то феноменальное, — это какой-то каприз, шалость, заигрывание, атмосферная шутка с землею — и земля очень весело на нее улыбается: в людях больше мира и благоволения.

Встав в такое благоприятное утро, я прежде всего осведомился у моего слуги о жиде, и к немалому своему удивлению узнал, что его уже нет в моей квартире, — что он еще на самом рассвете встал и начал царапаться в коридор, где мой человек разводил самовар. Из этого самовара он нацедил себе стакан горячей воды, выпил его с кусочком сахару, который нашел у себя в кармане, и побежал.

Куда он побежал? — об этом мой слуга ничего не знал, а на вопрос, в каком этот бедняк был состоянии, отвечал:

— Ничего, — спокойнее, — только все потихоньку квохтал, как пчелиная матка, да в сердке точно у него все нутро на резине дергается.

Я напился чаю и, не теряя времени, поехал к Друкарту, который жил тогда в низеньких антресолях над флигелем, где помещалась канцелярия генерал-губернатора, в Липках, как раз насупротив генерал-губернаторского дома.

У меня и в мыслях не было говорить с Друкартом об интролигаторе, потому что это, казалось, не имело никакого смысла, и притом же покойный Андрей Иванович хотя и отличался прямою добротою, но он был также человек очень осторожный и не любил вмешиваться в дела, ему посторонние. А притом же я, к немалому стыду моему, в это время уже почти позабыл о жиде и больше думал о себе, но судьбе было угодно поправить мою эгоистическую рассеянность и поставить на точку вида то, о чем всего пристойнее и всего нужнее было думать и заботиться.

XI

Я должен был проехать по переулку, который идет к генерал-губернаторскому дому от городского, или «царского», сада; здесь тогда был очень старый и весьма запущенный (не знаю, существующий ли теперь) дом, принадлежавший графам Браницким. Дом этот, одноэтажный, длинный, как фабрика, и приземистый, как старопольский шляхетский будинок, имел ту особенность, что он был выстроен по спуску, отчего один его конец лежал чуть ли не на самой земле, тогда как другой, выравниваясь по горизонтальной линии, высоко поднимался на какой-то насыпи, над которою было что-то вроде карниза.

Все это, как сейчас увидим, имеет свое место и значение в нашей истории.

Из семейства графов никто в этом доме не жил. Были, может быть, в нем какие-нибудь апартаменты для их приезда, — я этого не знаю, но там в одном из флигелей жил постоянно какой-то «пленипотент» Браницких, тоже, разумеется, «пан», у которого была собака, кажется ублюдок из породы бульдогов. Этот пес имел довольно необыкновенную — пеструю, совершенно тигровую рубашку и любил в погожие дни лежать на гребне той высокой завалины, по которой выравнилась над косогором линия дома, и любоваться открывавшимся оттуда зрелищем. Этот наблюдатель был многим известен, и кто, бывало, заметит его издали, тот почтительно перейдет поскорее на другую сторону, а кто идет прямо у самого дома, тот этой собаки или вовсе не заметит, а если взглянет и увидит его над самою своею головою, то испугается и пошлет его владетелю более или менее хорошо оснащенное крылатое слово.

В тот день, который я описываю, пленипотентов полосатый пес был на своем возвышенном месте и любовался природою. Я его не заметил или не обратил на него внимания, во-первых, потому, что знал его, а во-вторых, потому, что как раз в это самое время увидал на противоположном тротуаре Друкарта и сошел, чтобы поговорить с ним о моих недосугах, мешавших моему участию в спектакле.

Андрей Иванович был сверх обыкновения весел: он говорил, что обязан этим расположением духа необыкно-

венно хорошей погоде, и рассказал мне при этом анекдот — как хорошо она действует на душу.

— Я, — говорит, — спешу кончить следствие и нынче рано вызвал к допросу убийцу и говорил с ним, а сам в это время брился и потом шутя спрашиваю его: отчего он столько человек порезал, а меня не хотел зарезать моею же бритвою? — А он отвечает: «Не знаю: нонче мне что-то рук кровянить не хочется».

И только что мы этак переболтнули, как вдруг раздался ужасающий вопль: «Уй-уй... каркадыль!» и в ту же самую минуту на нас бросился и начал между нами тереться... опять *он* же — мой интролигатор.

Откуда он несся и куда стремился, попав по пути под «крокодила», я тогда не знал, но вид его, в боренье с новым страхом, был еще жалостнее и еще смешнее. При всем большом жидовском чинопочитании, он в ужасе лез под старую, изношенную енотовую шубу Друкарта, которую тот сам называл «шубою из енотовых пяток», и, вертя ее за подол, точно играл в кошку и мышку.

Мы оба расхохотались, а он все метался и кричал: «каркадыль! каркадыль!» и метал отчаянные взоры на бульдога, который, нимало не беспокоясь, продолжал спокойно взирать на нас с своего возвышения.

Успокоить жида было невозможно, но зато это дало мне повод рассказать Друкарту, что́ это за несчастное создание и в чем состоит его горе.

Повторяю, Друкарт был человек чрезвычайно добрый и чувствительный, хотя это очень многим казалось невероятным, потому что Друкарт был рыжеволос, а рыжеволосых, как известно, добрыми не считают. (Это так же основательно и неоспоримо, как странная примета, будто бритвы с белыми черешками острее, чем с черными, но возражать против этого все-таки напрасно.) Притом же Друкарт находился, как я сказал, в необычайно хорошем расположении духа, которое еще усилилось происшествием с крокодилом и перешло в совершенное благодушие.

Живая сострадательность взяла верх над его осторожною системою невмешательства, и он сказал мне потихоньку:

— Ишь какая мерзость устроена над этим каркадылом.

— Да, — отвечаю, — мерзость такая ужасная, что ему нельзя ничем и помочь.

Друкарт задвигал своим умным морщинистым лбом и говорит:

— А давайте попробуем.

— Да что же можно сделать?

— А вот попробуем... Иди за нами, каркадыль!

Но этого не надо было и говорить: интролигатор и так не отставал от нас и все забегал вперед, оглядываясь: не оставил ли крокодил своего забора и не идет ли его проглотить, чего жид, по-видимому, страшно боялся, — не знаю, более за себя самого или за сына, у которого в его особе крокодил мог взять единственного защитника.

Говорят: «*чем* люди оказываются во время испуга, *то* они действительно и есть», — испуг — это *промежуток* между навыками человека, и в этом промежутке можно видеть *натуру*, какою она есть. Судя так, интролигатора в этот промежуток можно бы, пожалуй, почесть более за жизнелюбца, чем за чадолюбца; но пока еще не изобретен способ утверждения Момусова стекла в человеческой груди, до тех пор все подобные решения, мне кажется, могут быть очень ошибочными, и, к счастию, они ни одному из нас не приходили в голову.

У Андрея Ивановича явился план действовать на князя Иллариона Илларионовича — план, в котором я не видел никакой пользы и старался его отвергнуть, как совершенно неудобоисполнимый и бесполезный.

XII

Я держался такого взгляда на основании общеизвестной флегматической вялости характера князя, человека натуры весьма благородной и доброй, но, к сожалению многих, не являвшей той энергии, которой от него порою очень хотелось. Но Друкарт знал князя лучше и стоял на своем.

— Не думайте, — настаивал он, — князь — добряк, и ему только надо это как должно представить. Он не со-

кол, — сразу оком не прожжет, зато и крылом не обрежет, а все начнет только у себя в сердце долбить и как раз выковыряет оттуда то, что́ на потребу, и тогда своего *«доброго мальчика»* пустит.

Надо объяснить, что такое у нас в Киеве и еще ранее здесь, в Петербурге, называли *«добрым мальчиком»* добрейшего из людей князя Иллариона Илларионовича, и для этого надо сказать кое-что о всей его физической и духовной природе.

Он был человек большого роста, с наружностью сколько представительною, столько же и симпатичною. Преобладающею его чертою была доброта, но какая-то скорее пассивная, чем активная. Казалось, он очень бы желал, чтобы всем было хорошо, но только не знал, что́ для этого сделать, и потому более об этом не беспокоился... до случая. Физиономия его хранила тихое спокойствие его доброй совести и пребывала в постоянной неподвижности; и эта неподвижность оставалась такою же и тогда, если его что-нибудь особенно брало за сердце, но только в этих последних случаях *что-то* начинало поднимать вверх и оттопыривать его верхнюю губу и усы. Это *что-то* и называлось *«добрый мальчик»*, который будто бы являлся к услугам князя, для того чтобы не затруднять его нужными при разговоре движениями.

Речи князя были всегда сколь редки, столь и немногословны, хотя при всем этом их никак нельзя было назвать краткими и лаконическими. В них именно почти всегда недоставало законченности, и притом они отличались совершенно своеобразным построением. По способу их изложения я могу им отыскать некоторое подобие только в речах, которые произносил незнакомец, описанный Диккенсом в «Записках Пиквикского клуба».

Оригинальный спутник нежного Топмена, как известно, говорил так:

— Случилось... пять человек детей... мать... высокая женщина... всё ела селедки... забыла... три... дети глядят... она без головы... осиротели... очень жалко.

Как надо было иметь особый навык, чтобы понимать этого оратора, так была потребна сноровка, чтобы резюмировать и словесные выводы и заключения князя. Но по самому характеру героя Диккенсова надо полагать, что этот путешественник говорил часто и скороговоркою,

между тем как наш неспешный добросердечный князь всегда говаривал повадно, с оттяжечкой, так, чтобы *добрый мальчик* успевал управляться под его молодецкими усами. Притом же он, говоря по-русски, как барич начала девятнадцатого века, оснащал свою речь избранным простонародным словом, которое у него было «стало быть» или иногда просто «стало». На этом «стало» порою все и становилось, но целость впечатления от этого нимало не страдала, а напротив, к всеобщему удивлению, даже как будто выигрывала. Это «стало» было в своем роде то же, что удивляющая теперь петербургских меломанов оборванная нота в новой опере «Маккавеи»: ее внезапный обрыв красивее и понятнее, чем самая широкая законченность по всем правилам искусства.

— Сделайте... стало... — говорил князь, отмахивая слегка рукою, и искусные в разумении его люди знали, чтó им делать, и выходило хорошо, хорошо потому, что все знали, что он думал и чувствовал только *хорошо*.

Во множестве случаев это было прекрасно, но я не мог себе представить — к чему это поведет в том казусном случае, о котором идет дело? Против интролигатора и за его обидчика были, во-первых, прямые законные постановления, а во-вторых — княгиня, значение которой было, к сожалению, слишком неоспоримо. Что же постановит против этого княжеское «стало», да и что ему тут делать?

Известно, что, дабы чего-нибудь достичь, надо прежде всего ясно сознать: чего желаешь и какими путями хочешь стремиться к осуществлению этого желания. Но у нас ни у одного из трех, кажется, не было никакого ясного плана: чего именно мы хотели для спасения нашего интролигатора и в какой форме. — Мы только чувствовали желание помочь ему, и один из нас двух расширил свои соображения настолько, что видел полезным разжалобить добросердечного князя, возлагая надежду на изобретательность его сердца, которое начнет что-то «долбить» и что-то «выковыривать», как раз то, что нужно.

Друкарт был в этом уверен, а я нисколько, и зато впоследствии имел радостный случай воскликнуть: «Блажен кто верует, — тепло ему на свете!»

XIII

Оставив моего многострадального еврея под опекою его нового покровителя, я отправился к своему месту и занялся своим делом.

Здесь не излишним считаю сказать, что ни в ком из лиц, о которых мне здесь приходится говорить (разумеется, кроме еврея), не было ни одного вероотступника или индифферента по отношению к вере. Что касается князя Иллариона Илларионовича, то его религиозные убеждения мне, конечно, близко неизвестны, но я думаю, что он был православен не меньше, чем всякий православный русский сановник, — а может быть, даже немножко и больше некоторых. Простая, прямая и теплая душа его искала опоры в вере народной, народнее которой для русского человека — нет, как наше родное православие, во всей неприкосновенной чистоте и здравости его учения. Друкарт, *русский уроженец* литовских губерний, имел сугубую страстность к православию, которое было для него не только верою, но и своего рода духовным знаменем русской народности. Я вырос в своей родной дворянской семье, в г. Орле, при отце, человеке очень умном, много начитанном и знатоке богословия, и при матери, очень богобоязненной и богомольной; научился я религии у лучшего и в свое время известнейшего из законоучителей о. Евфимия Андреевича Остромысленского, за добрые уроки которого всегда ему признателен. Шаткости религиозной в кружках, в которых я тогда в Киеве вращался, совсем не было, и я был таким, каким я был, обучаясь православно мыслить от моего родного отца и от моего превосходного законоучителя — который до сих пор, слава богу, жив и здоров. (Да примет он издали отсюда мною посылаемый ему низкий поклон.) Словом: никого из нас нельзя было заподозривать ни в малейшем недоброжелательстве церкви, к которой мы принадлежали и по рождению и по убеждениям, и, вероятно, никто из нас не нашел бы никакого удовольствия отвести от церкви невера, который бы возжелал с нею соединиться; а между тем все мы это сделали с полным спокойствием, которое получило на себя санкцию от лица, авторитет которого я, как православный, считаю непререкаемым в этом деле.

Теперь я буду продолжать рассказ: как поступили в этом случае люди, имевшие предо мною все несравнимые преимущества в старшинстве лет, в опыте, в познаниях и в том превосходном *дерзновении веры,* которое сечет и рубит мелкий страх шаткости маловерного сомнения.

XIV

Я буду краток в описании аудиенции, которую злополучный интролигатор имел у князя, потому что я сам тут не присутствовал и веду рассказ с чужих слов.

Благодаря Друкарту бедняк, разумеется, был поставлен так удобно, что князь, выйдя к приему прошений, мог обратить на него внимание — что и случилось.

— Что... это... стало... какой человек... зачем так плачет... Узнайте! — сказал князь Друкарту, который на этот раз был с ним у приема.

Тот взял просьбу и, разумеется, зная уже дело, взглянул в нее только для порядка. В ней, впрочем, и нечего было искать изложения дела, потому что простая и никакой власти не подсудная суть его изчезала в описании страданий самого интролигатора от людей, от стихии и, наконец, от крокодила, который тоже был занесен в эту скорбную запись.

Оставалось свернуть это сочинение и изложить князю на словах, в чем дело.

Друкарт это и исполнил, и, как человек очень теплый, умный и талантливый, сделал, вероятно, так хорошо, что князь сразу тронулся: брови его слегка нахмурились, и *«добрый мальчик»* под усами задвигал.

— Это что же... это, стало быть... плутовство, — заговорил князь. — Это... так... э... нельзя позволять.

Чиновник кратко, но обстоятельно указал ему на закон.

Князь еще более нахмурился, и *«добрый мальчик»* было ушел, но потом снова вернулся.

— Да... закон, так... стало быть... нельзя.

Чиновник промолчал, — князь продолжал принимать другие просьбы, — жид выл, и когда ему кричали «тсс!», он на минуту умолкал и только продолжал вздрагивать,

как продернутый на резинку, но через минуту завывал наново, без слов, без просьб — одними звуками.

Князя стало брать за душу.

— Велите... стало... ему молчать и... вывесть, — сказал он, как будто очень рассердясь, что́ у него всегда служило превосходным признаком, потому что, дав в себе хотя малейшее движение гневу, он по бесподобной доброте своей души непременно сейчас же подчинялся реакции и всемерно, как мог, выискивал средства задобрить свое нетерпеливое движение.

Здесь же этой реакции надо было ожидать еще скорее, потому что и самое приказание «молчать и вывесть» он, очевидно, дал от досады, что не видал возможности сделать того, что хотел бы сделать.

Надо было ожидать, что все это у него пока *надалбывается* в сердце и он бурлит, пока не достал, не добыл еще того, что нужно; но зато чем он больше этим кипит и мучится в превосходной доброте своей, тем скорее он разыщет там у себя, что нужно, и решится на то, что, может быть, сам пока еще считает совершенно невозможным.

Это так и вышло: чуть жид от страха замолк и два жандарма повели его за локти из приемной, «*мальчик*» под усами князя зашевелился.

— Тише... скажите... это... — заговорил он, — не надо...

К чему относилось это «не надо» — осталось неизвестным, но понято было хорошо: жида вывели, но не прогнали, и он сел и продолжал дергаться на своей путренной резинке; а князь быстро окончил прием и во все это время казался недоволен и огорчен; и, отпустив просителей, не пошел в свой кабинет, который был прямо против входных дверей приемного зала, а вышел в маленькую боковую зеленую комнату, направо.

Комната эта выходила окнами на двор и служила князю для особых объяснений с теми лицами, с которыми он считал нужным поговорить наедине.

Он походил здесь один несколько минут и потребовал Друкарта.

— Жалко!.. — произнес он, увидя чиновника.

— Очень жалко, ваше сиятельство, — отвечал всегда с отличным спокойствием и достоинством державший себя Друкарт.

— Пфу... какая штука!.. Совсем плут...

— Очевидно, бездельник, — было ответом человека, который понимал, к кому это относится, то есть к интролигаторову наемщику, пожелавшему креститься.

— И в законе этого... стало... нет?

— Нет, там нет исключения — в какое время объявить желание: это все равно.

— Взял деньги...го... плут... Это... стало... какая... тут вера!

— Вера — один предлог.

— Разумеется... но я... закон... ничего... стало быть... не могу... идите!

И он с очевидным томлением духа выпустил Друкарта, но тот не успел еще дойти до передней, как князь достукался того, что ему было нужно, и, живо размахнув дверь, сам крикнул повеселевшим голосом:

— А... Друкарт!

Тот вернулся.

— Теперь... того... как оно... вот как: и этого жида взять... в сани... и поезжайте... с ним... сейчас прямо... к митрополиту... Он добрый старик... пусть посмотрит... всё расскажите... И от меня... кланяйтесь... и скажите, что жалко... а ничего не могу... как закон... Хорошенько... это понимаете.

— Слушаю-с.

— Да... что не могу... Очень, стало быть, хотел бы... да не могу... а он очень добрый... понимаете...

— Очень добрый, ваше сиятельство.

— Так ему... я это предоставляю... и сам не вмешиваюсь, а... только очень его... прошу... потому... если ему тоже жаль... он как там знает... Может быть... просите и... потом мне скажете.

Князь докончил свою речь уже более живым и веселым тоном, сделал решительный взмах рукою, повернулся и, гораздо повеселев, пошел в свои внутренние покои; но, наверно, не за тем, чтобы спешить рассказать о своем распоряжении в апартаментах княгини.

Командированный князем чиновник взял жида и покатил с ним в лавру, а я получил с рассыльным клочок бумажки с сделанною наскоро карандашом надписью: «Задержите ставку, — едем к митрополиту».

XV

Ставку на два-три часа задержать было возможно, и я это сделал; но к чему все это могло повести?

Наши иерархи и вообще люди «духовного чина», как называет их в своем замечательном «Словаре» покойный митрополит киевский Евгений Болховитинов, к несчастию для общества почти совсем ему неизвестны с их самых лучших сторон. Долженствуя стоять на самом свету, в виду у всех, они между тем почти совершенно «проходят в тенях»; известные при жизни с одной чисто официальной, служебной своей стороны, они не получают более полного и интересного освещения даже и после смерти. Их некрологи, как недавно справедливо замечено по поводу кончины бывшего архиепископа тобольского Варлаама, составляют или сухой и жалкий перифраз их формулярных послужных списков, или — что еще хуже — дают жалкий набор общих фраз, в которых, пожалуй, можно заметить много усердия панегиристов, но зато и совершенное отсутствие в них наблюдательности и понимания того, что в жизни человека, сотканной из ежедневных мелочей, может репрезентовать его ум, характер, взгляд и образ мыслей, — словом, что может показать человека с его интереснейшей внутренней, духовной стороны, в простых житейских проявлениях. Насколько превосходят нас в этом протестанты и католики, об этом и говорить стыдно: меж тем как там мало-мальски замечательного духовного лица если не заживо, то тотчас после смерти знают во всех его замечательных чертах, — мы до сих пор не имеем живого очерка даже таких лиц, как митрополит Филарет Дроздов и архиепископ Иннокентий Борисов.

Может быть, это так нужно? — не знаю; но не в моей власти не сомневаться, чтобы это было для чего-нибудь так нужно, — разве кроме той обособленности пастырей от пасомых, которая не служит и не может служить в пользу церкви.

Если благочестивая мысль весьма видных представителей богословской науки пришла к сознанию необходимости — знакомить людей с жизнью самого нашего господа Иисуса Христа со стороны *его человечности*, которая так высока, поучительна и прекрасна, рассматри-

ваемая в связи с его божеством, и если этому пути следуют нынче уже и русские ученые (как, например, покойный киевский профессор К. И. Скворцов), то не странно ли чуждаться ознакомления общества с его иерархами как с живыми людьми, имевшими свои добродетели и свои недостатки, свои подвиги и свои немощи и, в общем, может быть представляющими гораздо более утешительного и хорошего, чем распространяют о них в глухой молве, а ей-то и внемлет толпа чрез свои мидасовы уши...

Одно духовное издание недавно откровенно изъяснилось: отчего это происходит? — «от совершенного неумения большинства людей из духовенства писать сколько-нибудь живо».

Я думаю, что это правда, и, — насколько во мне может быть допущено литературного понимания, — я это утверждаю и весьма об этом соболезную. Это *скрывает* от общества много хорошего из нравов нашего клира.

Почти мимовольно вырвавшиеся выше строки, которые я тем не менее желаю здесь оставить, потому что считаю их сказанными нечаянно, но кстати, не должны, однако же, быть истолкованы в таком претензионном смысле, как будто я хочу или могу пополнить чем-нибудь замеченный мною печальный пробел в нашей духовной журналистике, — доселе еще бедной живым элементом и терпящей вполне достойное и заслуженное ею безучастие общества за свой сухой, чисто отвлеченный тон и *неинтересный* характер.

Вышесказанной претензии у меня нет, да и она, по правде сказать, ни на что не нужна мне. Слабому перу моему довольно работы и без этого; но доходя в этом рассказе до встречи с покойным митрополитом Филаретом Амфитеатровым, я должен сказать, каким он мне представлялся со стороны *его общечеловечности,* до которой мне, собственно, только и было теперь дело.

XVI

Еще ребенком у себя в Орловской губернии, откуда покойный митрополит был родом и потому в более тесном смысле был моим «земляком», я слыхал о нем как о человеке доброты бесконечной,

Я знал напасти и гонения, которые он терпел до занятия митрополичьей кафедры, — гонения, которые могли бы дать превосходнейший материал для самой живой и интересной характеристики многих лиц и их времени.

Во всех этих рассказах митрополит Филарет являлся скромным и терпеливым, кротким и миролюбивым человеком — не более.

Активной доброты его, о которой говорили в общих чертах, я не знал ни в одном частном проявлении.

О последнем выезде его из Петербурга, куда он более уже не возвращался, носились слухи тоже самые общие, и то дававшие во всем первое место и значение митрополиту московскому, — да это мне и не нужно было для того, чтобы построить свою догадку о том: как он отнесется к известному казусу?

В Киеве я услыхал ему первые осуждения за его отношения к покойному о. Герасиму Павскому и разделял мнения осуждавших.

Лично я его увидел в первый раз в доме председателя казенной палаты Я. И. П., где он мне показался очень странным. Во-первых, когда все мы, хозяева и гости, встретили его в зале (в доме П. на Михайловской улице), он благословил всех нас, подошедших к нему за благословением, и потом, заметив остававшуюся у стола молодую девушку, бывшую в этом доме гувернанткою, он посмотрел на нее и, не трогаясь ни шагу далее, проговорил:

— Ну, а вы что же?

Девица сделала ему почтительный глубокий реверанс и тоже осталась на прежнем месте.

— Что же... подойдите! — позвал митрополит.

Но в это время к нему подошел хозяин и тихо шепнул:

— Ваше высокопреосвященство, — она протестантка.

— А?.. ну что же такое, что протестантка: ведь не жидовка же (sic).[1]

— Нет, владыка, — протестантка.

— Ну, а протестантка, так поди сюда, дитя, поди, девица, поди: вот так: господь тебя благослови: во имя отца, и сына, и святого духа.

---

[1] Так *(лат.)*.

И он ее благословил, и когда она, видимо сильно растрогавшись, хотела по нашему примеру поцеловать его руку, он погладил ее по голове и сказал:

— Умница!

Девушка так растрогалась от этой, вероятно, совсем неожиданной ею ласки, что заплакала и убежала во внутренние покои.

Впоследствии она не раз ходила к митрополиту, получала от него благословения, образки и книжечки и кончила тем, что перешла в православие и, говорят, вела в мире чрезвычайно высокую подвижническую жизнь и всегда горячо любила и уважала Филарета. Но в этот же самый визит его к П. он показал себя нам и в ином свете: едва он уселся в почетном месте на диване, как к нему подсоседилась свояченица хозяина, пожилая девица, и пустилась его «занимать».

Вероятно желая блеснуть своею светскостию, она заговорила с сладкою улыбкою:

— Как я думаю, вам, ваше высокопреосвященство, скучно здесь после Петербурга?

Митрополит поглядел на нее и, — бог его знает, связал ли он этот вопрос с историей своего отбытия из Петербурга, или так просто, — ответил ей:

— Что это такое?.. что мне Петербург?.. — и, отвернувшись, добавил: — Глупая, — право, глупая.

Тут я заметил всегда после мною слышанную разницу в его интонации: он то говорил немножко надтреснутым, слабым старческим голосом, как бы с неудовольствием, и потом мягко пускал добрым стариковским баском.

«Что мне Петербург?» — это было в первой манере, а «глупая» — баском.

Первое это впечатление, которое он на меня произвел, было странное: он мне показался и очень добрым и грубоватым.

Впоследствии первое все усиливалось, а второе ослабевало.

Потом я помню — раз рабочий-штукатур упал с колокольни на плитяной помост и расшибся.

Митрополит остановился над ним, посмотрел ему в лицо, вздохнул и проговорил ласково:

— Эх ты, глупый какой! — благословил его и прошел.

Был в Киеве священник о. Ботвиновский — человек не без обыкновенных слабостей, но с совершенно необыкновенною добротою. Он, например, сделал раз такое дело: у казначея Т. недостало что-то около тридцати тысяч рублей, и ему грозила тюрьма и погибель. Многие богатые люди о нем сожалели, но никто ничего не делал для его спасения. Тогда Ботвиновский, *никогда до того времени не знавший Т.*, продал все, что имел ценного, заложил дом, бегал без устали, собирая где что мог, и... выручил несчастную семью.

Владыка, узнав об этом, промолвил:

— Ишь какой хороший!

О. Ботвиновскому за это добро вскоре заплатили самою черною неблагодарностью и многими доносами, которые дошли до митрополита. Тот призвал его и спросил: правда ли, что о нем говорят?

— По неосторожности, виноват, владыка, — отвечал Ботвиновский.

— А!.. зачем ты трубку из длинного чубука куришь, а?

— Виноват, владыка.

— Что виноват... тоже по неосторожности! А! Как смеешь! Разве можно попу из длинного чубука!.. — он на него покричал и будто сурово прогнал, сказав:

— Не смей курить из длинного чубука! Сейчас сломай свой длинный чубук!

О коротком — ничего сказано не было; а во всех других частях донос оставлен без последствий.

Тоже помню, раз летом в Киев наехало из Орловской губернии одно знакомое мне дворянское семейство, состоявшее из матери, очень доброй пожилой женщины, и шести взрослых дочерей, которые все были недурны собою, изрядно по-тогдашнему воспитаны и имели состояньице, но ни одна из них не выходила замуж. Матери их это обстоятельство было неприятно и представлялось верхом возмутительнейшей несправедливости со стороны всей мужской половины человеческого рода. Она сделала по этому случаю такой обобщающий вывод, что «все мужчины подлецы — обедать обедают, а жениться не женятся».

Высказавшись мне об этом со всею откровенностью, она добавила, что приехала в Киев специально с тою целию, чтобы помолиться «насчет судьбы» дочерей

и вопросить о ней жившего тогда в Китаевой пустыне старца, который бог весть почему слыл за прозорливца и пророка.[1]

Патриархальное орловское семейство расположилось в нескольких номерах в лаврской гостинице, где я получил обязанность их навещать, а главная услуга, которой от меня требовала землячка, заключалась в том, чтобы я сопутствовал им в Китаев, где она пылала нетерпением увидать прозорливца и вопросить его «о судьбе».

От этого я никак не мог отказаться, хотя, признаться, не имел никакой охоты беспокоить мудреного анахорета, о прозорливости которого слыхал только, что он на приветствие: *«здравствуйте, батюшка»,* — всегда, или в большинстве случаев, отвечал: *«здравствуй, окаянный!»*

— Стоит ли, — говорю, — для этого его, божьего старичка, беспокоить?

Но мои дамы встосковались:

— Как же это можно,— говорят, — так рассуждать? Разве это не грех такого случая лишиться? Вы тут все по-новому — сомневаетесь, а мы просто верим и, признаться, затем только больше сюда и ехали, чтобы его спросить. Молиться-то мы и дома могли бы, потому у нас и у самих есть святыня: во Мценске — Николай-угодник, а в Орле в женском монастыре — божия матерь прославилась, а нам провидящего старца-то о судьбе спросить дорого — что́ он нам скажет?

— Скажет, — говорю, — «здравствуйте, окаянные!»

— Что же такое, а может быть, — отвечают, — он для нас и еще что-нибудь прибавит?

«Что же,— думаю, — и впрямь, может быть, и «прибавит»».

И они не ошиблись: он им кое-что прибавил. Поехали мы в густые голосеевские и китаевские леса, с самоваром, с сушеными карасями, арбузами и со всякой иной провизией; отдохнули, помолились в храмах и пошли искать прозорливца.

Но в Китаеве его не нашли: сказали нам, что он побрел лесом к Голосееву, где о ту пору жил в летнее время митрополит.

---

[1] Это никак не должно быть относимо к превосходному старцу Парфению, который жил в Голосееве. *(Прим. автора.)*

Шли мы, шли, отбирая языков у всякого встречного, и, наконец, попали в какой-то садик, где нам указано было искать провидца.

Нашли, и сразу все мои дамы ему *в ноги* и запищали:

— Здравствуйте, батюшка!

— Здравствуйте, окаянные, — ответил старец.

Дамы немножко опешили; но мать, видя, что старец повернул от них и удаляется, подвигнулась отвагою и завопила ему вслед:

— А еще-то хоть что-нибудь, батюшка, скажите!

— Ладно, — говорит, — прощайте, окаянные!

И с этим он нас оставил, а вместо него тихо из-за кусточка показался другой старец — небольшой, но ласковый, и говорит:

— Чего, дурочки, ходите? Э-эх, глупые, глупые — ступайте в свое место, — и тоже сам ушел.

— Кто этот, что второй-то с нами говорил? — спрашивали меня дамы.

— А это, — говорю, — митрополит.

— Не может быть!

— Нет, именно он.

— Ах, боже!.. вот счастья-то сподобились! будем рассказывать всем, кто в Орле, — не поверят! И как, голубчик, ласков-то!

— Да ведь он наш, орловский, — говорю.

— Ах, так он, верно, нас по разговору-то заметил и обласкал.

И ну плакать от полноты счастия...

Этот старец действительно был сам митрополит, который в сделанной моим попутчицам оценке, по моему убеждению, оказал гораздо более прозорливости, чем первый провидец. «Окаянными» моих добрых и наивных землячек назвать было не за что, но глупыми — весьма можно.

Но со всеми-то с этими только данными для суждения о характере покойного митрополита какие можно было вывести соображения насчет того, что он сделает в деле интролигатора, где все мы понемножечку милосердовали, но никто ничего не мог сделать, — не исключая даже такое, как ныне говорят, «высокопоставленное» и многовластное лицо, как главный начальник края... Как там этого ни представляй, а все в результате выходило,

что все походили около печи, а никто оттуда горячего каштана своими руками не выхватил, а труд вынуть этот каштан предоставили престарелому митрополиту, которому всего меньше было касательства к злобе нашего дня.

Что же он, в самом деле, учинит?

XVII

Но в нетерпеливом ожидании результата, который должен был последовать в самом остром моменте этого чисто мирского, казенного дела от духовного владыки, мне припомнился еще один, довольно общеизвестный в свое время в Киеве случай, где митрополит Филарет своим милосердием дал неожиданный оборот одному деликатнейшему обстоятельству.

В одном дружественном доме Т. случилось ужасное несчастие: чрезвычайно религиозная, превосходно образованная, возвышеннейшей души дама К. Ф. окончила жизнь самоубийством, и притом, как нарочно, распорядилась всем так, что не было никакой возможности отнести ее несчастную решимость к *умоповреждению* или какому-нибудь иному мозговому расстройству.

Врач М—к не давал такого свидетельства, а без того полиция не дозволяла погребения с церковным обрядом и на христианском кладбище.

Все это, разумеется, еще более увеличивало скорбь и без того пораженного событием семейства, но делать было нечего...

Тогда одному из родственников покойной, Альфреду Юнгу, плохому редактору «Киевского телеграфа», но прекрасного сердца человеку, пришла мысль броситься к митрополиту и просить у него разрешения похоронить покойницу как следует, по обрядам церкви, несмотря на врачебно-полицейские акты, которые исключали эту возможность.

Митрополит принял Юнга (хотя время уже было неурочное, — довольно поздно к вечеру), — выслушал о несчастии Т., покачал головой и, вздохнув, заговорил:

— Ах, бедная, бедная, бедная... Знал ее, знал... бедная.

— Владыка! не дозволяют ее схоронить по обряду... это для семейства ужасно!

— Ну зачем не схоронить? Кто смеет не дозволить?

— Полиция не дозволяет.

— Ну что там полиция! — перебил с милосердым нетерпением Филарет. — Ишь что выдумали.

— Это потому, ваше высокопреосвященство, что врач находит, что она в полном уме...

— Ну-у что там врач... много он знает о полном уме! Я лучше его знаю... Женщина... слабая... немощный сосуд — скудельный: приказываю, чтобы ее схоронили по обряду, да, приказываю.

И как он приказал — разумеется, так и было. Могло то же самое или что-нибудь в этом роде случиться и сейчас: он все ведь был тот же сегодня, как и тогда, и ныне он тоже мог что-нибудь такое *«лучше»* всех нас знать и решить все так, чтобы милость и истина встретились и правда и суд облобызались. Что же дивного, когда дело пошло не на то, чем мы руководимся, а на то, что он усмотрит.

Скажет: «я лучше их знаю», — и конец!

И ни на минуту до сей поры не уверенный в возможности спасения интролигатора, я вдруг стал верить, что неожиданное направление, данное делу князем Васильчиковым, привело это дело как раз к такому судии, который разрешит его самым наисовершеннейшим образом.

Я тогда не читал еще ни сочинений блаженного Августина, о которых упоминаю в начале этого рассказа,[1] и не знал превосходного положения Лаврентия Стерна,[2] но просто *по сердцу* думал, что не может быть, чтобы митрополит счел за благоприятное для церкви приобретение такого человека, который, по меткому выражению Стерна, делает православию визит в своем поганом халате! Что за прибыль в новых прозелитах, которые потом

---

[1] «De fide et operibus» и «De catechisandis rudibus».

[2] Известный английский юморист, пастор суттонского прихода, Лаврентий Стерн, прославившийся своим веселым остроумием и нежною чувствительностью, говорит: «Напрасно думают быть христианами те, которые не постарались сделаться добрыми людьми. Идти ко Христу, имея недобрые замыслы против человека, более несоответственно, чем делать визит в халате». (Стерн, ч. 2, стр. 6 и 7). *(Прим. автора.)*

составляют в христианстве тот вредный, но, к сожалению, постоянный кадр людей без веры, без чести, без убеждений — людей, ради коих «имя божие хулится во языцех».

«Нет, — говорил я себе, — нет: митрополит решит это правильно и прекрасно».

И я не ошибся, и теперь возвращаюсь к моему рассказу, с тем чтобы на сей раз уже заключить его концом, венчающим дело.

Приглашаю теперь читателя возвратиться к тому моменту, когда жид и чиновник поехали к митрополиту в лавру.

XVIII

Жид с утра в этот день не представлял того ужасающего отчаяния, с каким он явился вчера вечером. Правда, что он и теперь завывал, метался и дергался «на резинке», но сравнительно со вчерашним это было спокойнее. Это, может быть, до известной степени объяснялось тем, что он утром сбегал на постоялый двор, где содержались рекруты, и издали посмотрел на сынишку. Но когда интролигатора посадили в сани, приступы отчаяния с ним опять возобновились, и еще в сугубом ожесточении. Он, говорят, походил на сумасшедшего или на упившегося до безумия: он схватывался, вскакивал, голосил, размахивал в воздухе руками и несколько раз порывался скатиться кубарем с саней и убежать. Куда и зачем? — это он едва ли понимал, но когда они проезжали под одною из арок крепостных валов, ему это, наконец, удалось: он выпал в снег и, вскочив, бросился к стене, заломил на нее вверх руки и завыл:

— Ой, Иешу! Иешу! що твий пип со мной зробыть?

Два услужливые солдатика, которые подоспели на этот случай, взяли его, погнули как надо, чтобы усадить в сани, и поезд чрез пару секунд остановился у святых ворот, или, как в Киеве говорят, у *святой брамы*.

Тут не пером описать то, что начало делаться с евреем, пока дошло до конца дело: он делал поклоны и реверансы не только встречным живым инокам, но даже и стенным изображениям, которые, вероятно, производили на него свое впечатление, и все вздыхал.

Подслеповатый инок, сидевший под брамою с кропилом за чашею святой воды, покропил его,— он обтерся и пошел за своим вождем далее.

Теперь надо было уже получить доступ к митрополиту, представиться ему и ждать: чем он обрадует?

Друкарт все, конечно, обдумал, как ему исполнить возложенное на него поручение: он хотел оставить еврея где будет удобно внизу и велеть доложить митрополиту об одном себе и единолично, спокойно и последовательно изложить все дело и, насколько возможно, склонить доброго старца к состраданию к несчастному интролигатору: а там, разумеется, — что будет, то будет.

Не знаю, вышло бы хорошо или худо, если бы дело пошло таким образом, по объясненному, рассчитанному плану; но все это никуда не годилось, потому что с верхов для развязки всей этой истории учрежден был другой план.

Напоминаю, что это было в самый превосходный, погожий день. Покойный владыка Филарет тогда уже был близок к закату дней и постоянно прихварывал, и даже очень мучительно и тяжко. Страдания его облегчал профессор Вл. Аф. Караваев, а еще чаще его помощник, г. Заславский, которого покойный в шутку звал «отец Заславский». Промежутки, когда он был здоровее и мог обходиться без визитов «отца Заславского», были непродолжительны и нечасты, но, однако, бывали — и тогда он бодрился и даже выходил на воздух.

Жид и его предстатель как раз попали на такой случай: не успели они, обогнув колокольню, завернуть вправо к митрополитским покоям, как увидали у дверей на помосте небольшую группу чернецов, — кажется, по рассказу, человека три или четыре, и между ними сам владыка.

Выйдя на короткое, вероятно, время вздохнуть мягким воздухом прекрасного дня, митрополит был без клобука и всяких других знаков своего сана — по-домашнему, в теплой шубке и мягеньком колпачке, но Друкарт узнал его издали и, поклонясь, подошел и начал излагать цель своего посольства.

Митрополит слушал, не обнаруживая никакого внимания и прищуривая прозрачные, тогда уже потемневшие веки своих глаз, и все смотрел на крышу одного из купо-

лов великой церкви, по которому на угреве расположились голуби, галки и воробьи. По-видимому, его как будто очень занимали птицы, но когда Друкарт досказал ему историю — как наемщик обманул своего нанимателя, он тихонько улыбнулся и проговорил:

— Ишь ты, вор у вора дубинку украл, — и, покачав головою, опять продолжал смотреть на птичек.

— Владыко, — говорил ему между тем Друкарт, — это дело теперь в таком положении... — и он изложил все известное нам положение.

Митрополит молчал и по-прежнему вдыхал в себя воздух и смотрел на птиц.

Положение посла становилось затруднительно,— он еще рассказал что-то и умолк; владыка тоже молчал и смотрел на птичек.

— Что прикажете доложить князю, ваше высокопреосвященство,— снова попытался так Друкарт. — Его сиятельство усердно вас просит, так как закон ставит его в невозможность...

— Закон... в невозможность... меня просит! — как бы вслух подумал митрополит и вдруг неожиданно перевел глаза на интролигатора, который, страшно беспокоясь, стоял немного поодаль перед ним в согбенной позе...

Слабые веки престарелого владыки опустились и опять поднялись, и нижняя челюсть задвигалась.

— А? что же мне с тобою делать, жид! — протянул он и добавил вопросительно: — а? Ишь ты, какой дурак!

Дергавшийся на месте интролигатор, заслышав обращенное к нему слово, так и рухнулся на землю и пошел извиваться, рыдая и лепеча опять: «Иешу! Иешу! Ганоцри! Ганоцри!»

— Что ты, глупый, кричишь? — проговорил митрополит.

— Ой, васе... ой, васе... васе высокопреосвященство... коли же... коли же никто... никто... як ви...

— Неправда; никто как бог, а не я, — глупый — ты!

— Ой, бог, ой, бог... Ой, Иешу, Иешу...

— Зачем говоришь Иешу? — скажи: господи Иисусе Христе!

— Ой, коли же... господи, ой, Сусе Хриште... Ой, ой, дай мине... дай мине, гошподин... гошподи... дай мое детко!

— Ну, вот так!.. Глупый...

— Он до безумия измучен, владыка, и... удивительно, как он еще держится, — поддержал тут Друкарт.

Митрополит вздохнул и тихо протянул с задушевностью в голосе:

— Любы николи же ослабевает, — опять поднял глаза к птичкам и вдруг как бы им сказал:

— Не достоин он крещения... отослать его в прием, — и с этим он в то же самое мгновение повернулся и ушел в свои покои.

Апелляции на этот *владычный суд* не было, и все были довольны, как истинно «смиреннейший» первосвятитель стал вверху всех положений. «Недостойного» крещения хитреца привели в прием и забрили, а ребенка отдали его отцу. Их счастьем и радостью любоваться было некогда; забритый же наемщик, сколько мне помнится, после приема окрестился: он не захотел потерять хорошей крестной матери и тех тридцати рублей, которые тогда давались каждому новокрещенцу-еврею...

Значит, и с этой стороны потери не было, и я на этом мог бы и окончить свой рассказ, если бы к нему не принадлежал особый, весьма замечательный эпилог.

XIX
(ГЛАВА ВМЕСТО ЭПИЛОГА)

С прекращением Крымской войны и возникновением гласности и новых течений в литературе немало молодых людей оставили службу и пустились искать занятий при частных делах, которых тогда вдруг развернулось довольно много. Этим движением был увлечен и я.

Мне привелось примкнуть к операциям одного английского торгового дома, по делам которого я около трех лет был в беспрестанных разъездах.

Останавливаясь, как требовали дела, то в одном, то в другом месте, иногда довольно подолгу, я в свободное время много читал и покупал интересовавших меня старых и новых сочинений. Так, купив раз на ярмарке у ворот Троице-Сергиевой лавры сочинения Вольтера, я заинтересовался нападками этого писателя на библию.

Что это в самом деле: как и *на чем* могло быть написано Моисеем Пятокнижие, *каким способом* мог быть истолчен в порошок золотой телец, когда золото в порошок не толчется, и тому подобные вопросы смущали меня и заставляли искать на них удовлетворительного, резонного решения.

Мне захотелось во что бы то ни стало достать и прочесть так называемые «Иудейские письма к господину Вольтеру», давно разошедшееся русское издание, которое составляет библиографическую редкость.

За получением книг в этом роде тогда обращались в московский магазин Кольчугина на Никольской, но там на этот случай тоже не было этой книги, и мне указали на другую лавку, приказчик которой мне обещал достать «Иудейские письма» у какого-то знакомого ему переплетчика.

Я ждал и наведывался, когда достанут, а книги всё не доставали: говорили, что переплетчика этого нет, — что он где-то в отлучке.

Так дотянулось время, что мне надо было уже и уезжать из Москвы, и вот накануне самого отъезда я еще раз зашел в лавку, и мне говорят:

— Он приехал, — посидите, должен сейчас принести.

Я присел и пересматриваю кое-какое книжное старье, как вдруг слышу, говорят:

— Несет!

С этим, вижу, в лавку входит *старик* — седой, очень смирного, покойного вида, но с несомненно еврейским обличием, — одет в русскую мещанскую чуйку и в русском суконном картузе с большим козырем; а в руках связка книг в синем бумажном платке.

— Ишь как ты долго, Григорий Иваныч, собирался, — говорят ему.

— Часу не было, — отвечает он, спокойно кладя на прилавок и вывязывая из платка книги.

Ему, не говоря ни слова, заплатили сколько-то денег, а мне сказали, что пришлют книги вечером вместе с другими и со счетом.

Понятно, что это был торговый прием, — да и не в этом дело; а мне нравился сам переплетчик, и я с ним разговорился. Предметом разговора были поначалу эти

же принесенные им книги «Иудейские письма к господину Вольтеру».

— Интересные, — говорю, — эти книги?

— Н... да, — отвечает, — разумеется... кто не читал — интересные.

— Как вам кажется: действительно ли они писаны раввинами?

— Н... н... бог знает, — отвечал он словно немножко нехотя и вдруг, приветно улыбнувшись, добавил: — читали, может быть, про Бубель (в речи его было много еврейского произношения): она про що немует, як онемевший Схария, про що гугнит, як Моисей... Кто ее во всем допытать может? Фай! ничого не разберешь! — вот Евангелиум — то книжка простая, ясная, а Бубель...

Он махнул рукою и добавил:

— Бог знает, що там когда и як да ещо и на чем писано? — с того с ума сходили!

Я выразил некоторое удивление, что он знает евангелие.

— А що тут за удивительно, як я христианин?..

— И вы давно приняли христианство?

— Нет, не очень давно...

— Кто же вас убедил, — говорю, — в христианстве?

— Ну, то же ясно есть и у Бубель: там писано, що Мессия во втором храме повинен прийти, ну я и увидал, що он пришел... Чего же еще шукать али ждать, як он уже с нами?

— Однако евреи все это место читали, а не верят.

— Не верят, бо они тех талмудов да еще чего-нибудь пустого начитались и бог знает якии себе вытребеньки повыдумляли: який он буде Мессия и як он ни бы то никому не ведомо откуда явиться и по-земному царевать станет, а они станут понувать в мире... Але все то пустое: он пришел в нашем, в рабском теле, и нам треба только держати его учительство. Прощайте!

Он поклонился и вышел, а я разговорился о нем с лавочником, который рассказал мне, что это человек «очень умственный».

— Да какой, — говорю, — в самом деле он веры?

— Да истинно, — отвечает, — он крещеный — иные его даже вроде подвижника понимают.

— Он, — говорю, — и начитанный, кажется?

— Про это и говорить нечего, но только редко с кем о книгах говорит, и то словцо кинет да рукой махнет; а своим — жидам так толкует и обращает их и много от них терпит: они его и били и даже раз удавить хотели, ну он не робеет: «приходил, говорит, Христос, и другого не ждите — не будет».

— Ну а они что же?

— Ну и они тоже руками махают: и он махает, и они махают, а сами всё гыр-гыр, как зверье, рычат, а потом и ничего — образумятся.

— И семья у него вся христиане?

Купец засмеялся.

— Какая же, — говорит, — у него может быть семья, когда он этакой суевер?

— Чем же суевер?

— Да, а как его иначе понимать: никакого правила не держит, и деньги тоже...

— Деньги любит? — перебиваю.

— Какой же любит, когда все, что заработает, — одною рукою возьмет, а другою отдаст.

— Кому же?

— Все равно.

— Только евреям или христианам?

— Говорю вам: все равно. Он ведь помешан.

— Будто!

— Верно вам говорю: с ним случай был.

— Какой?

Тут и сам этот мой собеседник рукою замахал.

— Давно, — говорит, — у него где-то сына, что ли, в набор было взяли, да что-то такое тонул он, да крокодил его кусал, а потом с наемщиком у него вышло, что принять его не могли, пока киевский Филарет благословил, чтобы ему лоб забрить; ну а сынишка-то сам собою после вскоре умер, заморили его, говорят, ставщики, и жена померла, а сам он — этот человек — подупавши был в состоянии и... «надо, говорит, мне больше не о земном думать, а о небесном, потому самое лучшее, говорит, разрешиться и со Христом быть...»

Ну, тут мне и вспомнилось, где я этого человека видел, и вышло по присловию: «привел бог свидеться, да нечего дать»: он был уже слишком много меня богаче.

XX

И еще два слова в личное мое оправдание.

С некоторых пор в Петербурге рассказывают странную историю: один известнейший «иерусалимский барон» добивается, чтобы ему дали подряд на нашу армию. Опасаясь, что этот господин все дело поведет с жидами и по-жидовски, ему не хотят дать этой операции... И что же: седьмого или восьмого сего февраля читаю об этом уже в газетах, с дополнением, что «иерусалимский барон» кинулся ко «всемогущим патронессам», которые придумали самое благонадежное средство поправить дело *в своем вкусе: они крестят барона, и, кажется, со всею его подрядною свитою!!.*

Газеты называют это «новым миссионерским приемом» и говорят («Новое время», № 340), что «люди, от которых зависит отдача сукна, подметок, овса и сена, у нас могут быть миссионерами гораздо счастливее тех наших миссионеров, которые так неуспешно действуют на Дальнем Востоке». Газета находит возможным, что «наши великосветские старухи воспользуются счастливою мыслию обращать в православие за небольшую поставку сапожного товара».

Констатируя этот факт как неоспоримое доказательство, что моя книжка «На краю света» ничего в воззрении великосветских крестителей не изменила, я почтительно прошу моих высокопросвещенных судей — вменить мне это в облегчающее обстоятельство.

БЕССТЫДНИК

Мы выдержали в море шторм на самом утлом суденышке, недостатков которого я, впрочем, не понимал. Став на якорь, в какие-нибудь полчаса матросы всё привели в порядок, и мы тоже все сами себя упорядочили, пообедали чем бог послал и находились в несколько праздничном настроении.

Нас было немного: командир судна, два флотских офицера, штурман, да я и старый моряк Порфирий Никитич, с которым мы были взяты на это судно просто ради компании, «по знакомству» — проветриться.

На радостях, что беда сошла с рук, все мы были словоохотливы и разболтались, а темой для разговора служила, конечно, только что прошедшая непогода. По поводу ее припоминали разные более серьезные случаи из морской жизни и незаметно заговорили о том, какое значение имеет море на образование характера человека, вращающегося в его стихии. Разумеется, среди моряков море нашло себе довольно горячих апологетов, выходило, что будто море едва ли не панацея от всех зол, современного обмеления чувств, мысли и характера.

— Гм! — заметил старик Порфирий Никитич, — что же? — это хорошо; значит, все очень легко поправить: стоит только всех, кто на земле очень обмелел духом, посадить на корабли да вывесть на море.

— Ну, вот какой вы сделали вывод!

— А что же такое?

— Да мы так не говорили: здесь шла речь о том, что море воспитывает постоянным обращением в морской жизни, а не то что взял человека, всунул его в морской мундир, так он сейчас и переменится. Разумеется, это, что вы выдумали, — невозможно.

— Позвольте, позвольте, — перебил Порфирий Никитич, — во-первых, это совсем не я выдумал, а это сказал один исторический мудрец.

— Ну, к черту этих классиков!

— Во-первых, мой исторический мудрец был вовсе не классический, а русский и состоял на государственной службе по провиантской части; а во-вторых, все то, что им было на этот счет сказано, в свое время было публично признано за достоверную и несомненную истину в очень большой и почтенной компании. И я, как добрый патриот, хочу за это стоять, потому что все это относится к многосторонности и талантливости русского человека.

— Нельзя ли рассказать, что это за историческое свидетельство?

— Извольте.

Прибыв вскоре после Крымской войны в Петербург, я раз очутился у Степана Александровича Хрулева, где встретил очень большое и пестрое собрание: были военные разного оружия, и между ними несколько наших черноморцев, которые познакомились со Степаном Александровичем в севастопольских траншеях. Встреча с товарищами была для меня, разумеется, очень приятна, и мы, моряки, засели за особый столик: беседуем себе и мочим губы в хересе. А занятия на хрулевских вечерах были такие, что там все по преимуществу в карты играли, и притом «по здоровой», «и приписывали и отписывали они мелом и так занимались делом». Храбрый покойничек, не тем он будь помянут, любил сильные ощущения, да это ему о ту пору было и необходимо. Ну, а мы, моряки, без карт обходились, а завели дискурс и, как сейчас помню, о чем у нас была речь: о книге, которая тогда вышла, под заглавием «Изнанка Крымской войны». Она в свое время большого шума наделала, и все мы ее тогда только что поначитались и были ею сильно взволнованы.

Оно и понятно: книга трактовала о злоупотреблениях, бывших причиною большинства наших недавних страданий, которые у всех участвовавших в севастопольской обороне тогда были в самой свежей памяти: все шевелило самые живые раны. Главным образом книга обличала воровство и казнокрадство тех комиссариатщиков и провиантщиков, благодаря которым нам не раз доводилось и голодать, и холодать, и сохнуть, и мокнуть.

Естественное дело, что печатное обличение этих гадостей у каждого из нас возбудило свои собственные воспоминания и подняло давно накипевшую желчь: ну, мы, разумеется, и пошли ругаться. Занятие самое компанское: сидим себе да оных своих благодетелей из подлеца в подлеца переваливаем. А тут мой сосед, тоже наш черноморский, капитан Евграф Иванович (необыкновенно этакий деликатный был человек, самого еще доброго морского закала), львенок нахимовский, а доброты преестественной и немножко заика, ловит меня под столом рукою за колено и весь ежится...

«Что такое, — думаю, — чего ему хочется?»

— Извините, — говорю, — мой добрейший. Если вам что-нибудь нужно по секрету — кликните слугу: я здесь тоже гость и всех выходов не знаю.

А он заикнулся и опять за свое. А я ведь по глупости своей пылок, где не надо, да и разгорячен был всеми этими воспоминаниями-то, и притом же я еще чертовски щекотлив, а Евграф Иванович меня этак как-то несмело, щекотно, пальцами за колено забирает, совершенно будто теленок мягкими губами жеваться хочет.

— Да перестаньте же, — говорю, — Евграф Иванович, что вы это еще выдумали? Я ведь не дама, чтобы меня под столом за колено хватать, — можете мне ваши чувства при всех открыть.

А Евграф Иванович — милота бесценная — еще больше сконфузился и шепчет:

— Бе-е-е-сстыд-д-ник, — говорит, — вы, Порфирий Никитич.

— Не знаю, — говорю, — мне кажется, что вы больше бесстыдник. С вами того и гляди попадешь еще в подозрение в принадлежности к какой-нибудь вредной секте.

— Ка-а-а-к вам... ра-а-зве можно, можно та-а-к про интендантов с комиссионерами гово-орить?

— А вам, — спрашиваю, — что за дело за них заступаться?

— Я-а-а за них не за-а-а-ступа-а-юсь, — еще тише шепчет Евграф Иванович, — а разве вы не видите, кто тут за два шага за вашей спиной сидит?

— Кто там такой у меня за спиной сидит? — я не виноват: у меня за спиной глаз нет.

А сам за этим оборачиваюсь и вижу: сзади меня за столиком сидит в провиантском мундире этакая огромная туша — совершенно, как Гоголь сказал, — свинья в ермолке. Сидит и режется, подлец, по огромному кушу, и с самым этаким возмутительным для нашего брата-голяка спокойствием: «дескать, нам что проиграть, что выиграть — все равно: мы ведь это только для своего удовольствия, потому у нас житница уготована: пей, ешь и веселись!» Ну, словом сказать, все нутро в бедном человеке поднимает!

— Ишь ты, — говорю, — птица какая! Как же это я раньше его не заметил! — И, знаете, завидев врага воочию-то, черт знает каким духом занялся и, вместо того чтобы замолчать, еще громче заговорил в прежнем же роде, да начал нарочно, как умел, посолонее пересаливать.

— Разбойники, — говорю, — кровопийцы эти ненасытные, интендантские утробы! В то самое время, как мы, бедные офицеры и солдаты, кровь свою, можно сказать, как бурачный квас из втулки в крымскую грязь цедили, — а они нас же обкрадывали, свои плутовские карманы набивали, дома себе строили да именья покупали!

Евграф Иванович так и захлебывается шепотом:

— Пе-е-рестаньте!

А я говорю:

— Чего перестать? Разве это неправда, что мы с голоду мерли; тухлую солонину да капусту по их милости жрали; да соломой вместо корпии раны перевязывали, а они херес да дрей-мадеры распивали?

И всё, знаете, в этом роде на их счет разъезжаю. Собеседники мои, видя, что я в таком азарте, уже меня не трогают, а только, кои повеселее, посмеиваются да ноготками об рюмки с хересом пощелкивают, а милота моя,

застенчивый человек Евграф Иванович, весь стыдом за меня проникся — набрал со стола полную горсть карточных двоек, растопырил их в обеих руках веером, весь ими закрылся и шепчет:

— Ах, Порфирий Никитич, ах, бес-с-сстыд-д-дник какой, что-о-о он рассказывает! В ва-с со-о-страдания нет...

Меня эта краснодевственность его еще больше взорвала.

«Вот так, — думаю, — у нас всегда, у русских: правый, с чистой совестью, сидит да краснеет, а нахал прожженный, как вороватый кухонный кот-васька, знай уписывает, что стянул, и ухом не ведет.

И с этим оглянулся назад, где за столом сидел раздражавший меня провиантщик, и вижу, что он и точно ухом не ведет. Чтобы он не слыхал этого моего широковещания насчет всей его почтенной корпорации, — этого и быть не могло; но сидит себе, как сидел, курит большую благовонную регалию да козыряет. И как все у человека очень много зависит от настроения, то уж мне кажется, что и козыряет-то, или, просто сказать, картами ходит он как-то особенно противно: так это, знаете, как-то их словно от себя и пальцем не шевеля пошвыривает: «дескать, на́ вам, сволочи, — мне все это наплевать». Еще он мне этим стал отвратительнее через то, что как будто он же надо мною своим спокойствием некоторого верха брал: я надрываюсь, задираю, гавкаю на него, как шавка на слона, а он и ухом не хлопнет. Я и полез еще далее.

«Ну так врешь же, — думаю, — волк тебя ешь! Ты у меня повернешься; я, брат, человек русский и церемониться не стану; приятен или неприятен буду хозяину, а уж я тебя жигану». И жиганул: все, что знал о нем лично, все в нехитром иносказании и пустил.

— Мы, — говорю, — честные русские люди, которых никто не смеет воровством укорить, мы, израненные, искалеченные после войны, еще и места себе нигде добиться не можем, нам и жен прокормить не на что, а этим протоканальям, как они по части хаптус гевезен отличатся, все так и садит: и в мирное время им есть место на службе и даже есть место в обществе, и жены у них в шелку да в бархате, а фаворитки еще того авантажнее...

Шумел я, шумел, болтал, болтал и уморился... Уже у меня и слов и голосу стало недоставать, а он все-таки

ничего. Просто весь преферанс на его стороне: даже Евграф Иванович это заметил и начинает надо мной подтрунивать:

— А что-о-о? — шепчет, — что-о-о вы, ба-ба-батенька, своим бесстыдством взяли?

— Что, — отвечаю, — вы еще тут со своим «ба-ба-батенька», — уже сидите лучше смирно.

А сам, знаете, откровенно сказать, действительно чувствую себя сконфуженным. Но все это были-с еще цветочки, а ягодки ждали меня впереди.

Игра перед ужином кончилась, и за столом стали рассчитываться; провиантщик был в огромнейшем выигрыше и вытащил из кармана престрашенный толстый бумажник, полнешенек сотенными, и еще к ним приложил десятка два выигрышных, и все это опять с тем же невозмутимым, но возмутительным спокойствием в карман спрятал.

Ну тут и все встали и начали похаживать. В это время подходит к нашему столу хозяин и говорит:

— А вы что, господа, всё, кажется, бездельничали да злословили?

— А вам, — говорю, — разве слышно было?

— Ну еще бы, — говорит, — не слышно; ваша милость точно на корабле орали.

— Ну, вы, — прошу, — Степан Александрович, пожалуйста, меня простите.

— Что же вам прощать; бог вас простит.

— Не выдержал, — говорю, — не стерпел.

— Да ведь разве утерпишь?

— Увидал, — говорю, — все внутри и задвигалось, и хотя чувствовал, что против вас неловко поступаю...

— А против меня-то что же вы такое сделали?

— Да ведь он ваш гость...

— Ах, это-то... Ну, батюшка, что мне до этого: мало ли кто ко мне ходит: учрежден ковчег, и лезет всякой твари по паре, а нечистых пар и по семи. Да и притом этот Анемподист Петрович человек очень умный, он на такие пустяки не обидится.

— Не обидится? — спрашиваю с удивлением.

— Конечно, не обидится.

— Значит, он медный лоб?

— Ну, вот уж и медный лоб! Напротив, он человек довольно чувствительный; но умен и имеет очень широкий взгляд на вещи; а к тому же ему это небось ведь и не первоучина: он, может быть, и бит бывал; а что ругать, так их брата теперь везде ругают.

— А они всюду ходят?

— Да отчего же не ходить, если пускают, и еще зовут?

Меня зло взяло уже и на самого хозяина.

— Вот то-то у нас, — говорю, — ваше превосходительство, и худо, что у нас дрянных людей везде ругают и всюду принимают. Это еще Грибоедов заметил, да и до сих пор это все так продолжается.

— Да и вперед продолжаться будет, потому что иначе и не может быть.

— Полноте, — говорю я с неподдельной грустью, — отчего же это, например, в Англии... (которою все мы тогда бредили под влиянием катковского «Русского вестника»).

Но чуть я только упомянул об Англии, Степан Александрович окинул меня своим тяжелым взглядом и перебил:

— Что это вы катковского туману нам напустить хотите? Англия нам не пример.

— Отчего, разве там ангелы живут, а не люди?

— Люди-то тоже люди, да у них другие порядки.

— Я, — говорю, — политики не касаюсь.

— И я ее не касаюсь: мы ведь, слава богу, русские дворяне, а не аглицкие лорды, чтобы нам обременять свои благородные головы политикою? А что в Англии может быть честных или по крайней мере порядочных людей побольше, чем у нас, так это ваша правда. Тут и удивляться нечего. Там честным человеком быть выгодно, а подлецом невыгодно, — ну, вот они там при таких порядках и развелись. Там ведь еще малое дитя воспитывают, говорят ему: «будь джентльмен», и толкуют ему, что это такое значит; а у нас твердят: «от трудов праведных не наживешь палат каменных». Ну, дитя смышлено: оно и смекает, что ему делать. Вот оно так и идет. Надо все это представлять себе благоразумно, с точки зрения выгоды, а не по-вашему, как у вас там на море, — всё идеальничают. Зато вы никуда и не годны.

— Это, — говорю, — почему мы никуда не годны?

— Да так, не годны: не к масти, да и баста; поди-ка я сунься куда-нибудь, например, вас на службу теперь рекомендовать с такой речью, «что вот, мол, черноморский офицер и честнейший человек: ни сам не сворует, ни другому не даст своровать, а за правду шум и крик поднимет», — я и вас не определю, да и себя скомпрометирую: меня за вас дураком назовут. Скажут: «хорош ваш молодец, да нам такого не надобе, нам похуже надобе», — и я за вас никуда просить и не пойду, а вот за него-то, за этого барина (хозяин кивнул на стоящего у закуски провиантщика), за него я куда вам угодно полезу, потому что при наших порядках это люди ходкие и всякий за них может быть уверен в успехе.

— Что же, это разве, — говорю, — так и должно быть?

— А разумеется, так должно быть, потому что он человек очень ловкий и на все податливый, а это всякому интересно, и всякий смекает, на что он ему может пригодиться; а вы на что кому нужны? Вы с правдою-то с своею со всеми перессоритесь, а потому вашего брата только и остается, что с берега опять за хвост, да назад на корабль перекинуть, чтобы вы тут на суше не пылились.

— Заметьте это себе, господа, — подчеркнул Порфирий Никитич, — ведь это я вам не вру, не сочинение для забавы вашей сочиняю, а передаю вам слова человека исторического, которые непременно должны иметь свое историческое значение хотя если не в учебной истории, то по крайней мере в устных преданиях нашей морской семьи. Так, господа, смотрели тогда на нас, как на людей вокруг себя чистых и... этак, знаете, всесовершенно чистых... Ну, да все это в скобках; а я обращаюсь опять к своей истории на закуске у Хрулева.

— Так-то, благодетель мой, — похлопав меня по плечу, дружески заключил Степан Александрович, — век идеалов прошел. Нынче даже кто и совсем по-латыни не знает, и тот говорит suum cuique, [1] — пойдемте-ка лучше закусывать, а то вот на этот счет Анемподист Петрович

---

[1] Каждому свое (*лат.*).

уж настоящая свинья: он, пожалуй, один всю семгу слопает, а семушка хорошая: я сам у Смурова на Морской с пробы взял. Кстати я вас с ним тут у закуски и познакомлю.

— С кем это?

— С Анемподистом Петровичем.

— Нет, покорно вас благодарю-с.

— Что же? Неужели не желаете?

— Отнюдь не желаю.

— Жаль: большого ума человек, почти, можно сказать, государственного, и в то же время, знаете, чисто русский человек: далеко вглубь видит и далеко пойдет.

— Ну, бог с ним.

— Да, разумеется, а только человек приятный и поучительный.

«Еще чего, — думаю, — в нем отыскал: даже и поучительности! Тьфу!»

Мы подошли к закусочному столу и вмешались в толпу, в которой ораторствовал учительный Анемподист Петрович. Он занимал центр. Я стал прислушиваться, что такое вещает этот «учитель».

Он, однако, сначала все говорил просто насчет семги; но действительно говорил очень основательно и с большим знанием предмета. Мне все это казалось свойством, которое каждому порядочному человеку может внушить омерзение.

Он и сосал, и чмокал, и языком по нёбу сластил, и губами причавкивал, и все это чтобы тоньше разведать и вернее оценить эту семгу. Смакует ее, а сам сквозь зубы, как гоголевский Петух, рассказывает:

— М... н... н... да... недурна... очень недурна, можно даже сказать, хороша...

Кто-то замечает:

— Даже очень хороша.

— М... н... да... пожалуй... м... н... ничего... мягкотела...

— Просто что твое масло.

— М... да... масляниста...

— Ишь вы как скупо хвалите-то, — замечает опять какой-то полковник со шрамом через весь лоб и переносье, — а нам после крымской гнили-то все хорошо кажется — там ведь ничего этого нельзя было достать.

— М... н... ну... отчего же... нет, мы и там м... н... тоже получали...

— Зато, я думаю, какою ценою!

— М... н... да, разумеется... обходилось... но в довольном количестве... доставали для себя... Через Киев... от купца Покровского выписывали... хорошая была семга, так и называли «провиантская»... Светлейшему к столу... м... н... тоже он доставлял... Покровский... Только та, разумеется, была похуже, потому что ему эту цену не смели ставить, ну, а наши... ничего — платили.

Полковник со шрамом даже вздохнул.

— У вас денег много было, — говорит, — и вы не знали, куда их девать.

— Да, иные, точно, терялись от непривычки... м... н... один, я помню, у нас... мн... слыхал про «штофные карманы» и велел портному, чтобы тот ему штофные карманы поставил, и вышла глупость... портной ему из штофной материи и сделал... Очень смеялись.

— А это в чем же дело было?

— Чтобы объемом штоф вмещался... м... н... потому у нас... м... н... бумажники были... м... такие большие...

«Ах ты, — думаю, — рожа этакая богопротивная! И еще этак бессовестно обо всем рассказывает».

А он продолжает про какого-то ихнего же провиантщика или комиссарщика, который в эту ужасную пору, среди всеобщих страданий и военной нужды, еще хуже потерялся, — «вдруг, говорит, совсем со вкуса сбился, черт знает что лопать начал».

«Ах, — думаю, — отлично. Всем бы вам этак сбиться и «черт знает что лопать», но это «черт знает что» вышло совсем неожиданное.

— Всегда квас, — говорит, — любил и один квас и употреблял. Из последовательных людей был — семинарского воспитания... Его отец был протопоп и известный проповедник, и такой завет ему завещал, что если есть средства на вино, то пить пиво, есть на пиво — пить квас, а есть на квас — пить воду. Он все и пил квас, и другого не хотел, но только во время военных действий стал шампанское в свой квас лить...

— Как же это?

— Так... м... н... Пополам тростил: полстакана квасу нальет и полстакана шампанского... вместе смешает и пьет.

— Экая свинья! — прошептал я, но так неосторожно, что Анемподист Петрович это услышал и, взглянув в мою сторону, отозвался:

— Да, ничего себе, хамламе порядочный; но, однако, я вам должен сказать, что шампанское с квасом это совсем не так дурно, как вы думаете... У нас это, у провиантских, в военное время даже в моду... вошло... М... н... очень многие из наших даже до сих пор продолжают... привыкли... Иностранцы не могут... пробовали их для шутки поить, так они... того... выплевывали... не могут.

Я хоть не иностранец, но плюнул и хотел отойти, но в эту самую минуту этот превосходный Анемподист Петрович вдруг самым непосредственным образом оборотился ко мне и говорит:

— А вот, извините меня, сделайте милость, я вам тоже, если позволите, хотел сделать маленькое возражение насчет русской природы.

Не знаю уж право с чего, но я, вместо того чтобы ему оторвать какую-нибудь грубость, ответил:

— Сделайте милость, скажите.

— Я, — говорит, — вкратце — всего только два слова скажу: вы о русских очень неправо и обидно судите.

Я так и подскочил на месте.

— Как! Я обидно сужу?

— Да. Я вот в карты играл, а урывками долго слушал, о чем вы изволили рассуждать с товарищами, и мне за всех своих соотечественников очень стало обидно. Поверьте, напрасно вы этак русских унижаете.

— Кто? Я, — говорю, — унижаю?

— А разумеется, унижаете: как же вы... я долго слушал, изволите делить русских людей на две половины: одни будто всё честные люди и герои, а другие всё воры и мошенники.

— А-а... так вот что, — говорю, — вам обидно!

— Нет-с, мне за самого себя ровно ничего не обидно, потому что у меня есть свое отцовское, дворянское на-

ставление, чтобы ничего неприятного никогда на свой счет не принимать; а мне за других, за всех русских людей эта несправедливость обидна. Наши русские люди, мне кажется, все *без исключения* ко всяким добродетелям способны. Вы изволите говорить, что когда вы, то есть вообще строевые воины, свою кровь в крымскую грязь проливали, так мы, провиантщики, в это время крали да грабили, — это справедливо.

— Да, — отвечаю с задором, — я утверждаю, что это справедливо; и теперь, когда вы об этом подлом квасе с шампанским рассказали, так я еще более убеждаюсь, как я прав был в том, что сказал.

— Ну, мы про квас с шампанским оставим — это дело вкуса, как кому нравится. Король Фридрих ассафетиду в кушанье употреблял, но я в том еще большой подлости не вижу. А вот насчет вашего раздела наших русских людей на две такие несходности я не согласен. По-моему, знаете, так целую половину нации обижать не следует: все мы от одного ребра и одним миром мазаны.

— Ну, это, — говорю, — вы извините: мы хоть и все одним миром мазаны, да не все воры.

Он будто немножко не расслышал и переспрашивает:

— Что такое?

А я ему твердо в упор повторяю:

— Мы не воры.

— Я это знаю-с. Где же вам воровать? Вам и научиться красть-то до сих пор было невозможно. У вас еще покойный Лазарев честность завел, ну она покуда и держится; а что впереди — про то бог весть...

— Нет, это всегда так будет!

— Почему?

— Потому что у нас служат честные люди.

— Честные люди! Но я это и не оспариваю. Очень честные, только нельзя же так утверждать, что будто одни ваши честны, а другие бесчестны. Пустяки! Я за них заступаюсь!.. Я *за всех русских* стою!.. Да-с! Поверьте, что не вы одни можете терпеливо голодать, сражаться и геройски умирать; а мы будто так от купели крещения только воровать и способны. Пустяки-с! Несправедливо-с! Все люди русские и все на долю свою имеем от своей богатой натуры на всё сообразную способность. Мы, русские, как кошки: куда нас ни брось — везде мордой

в грязь не ударимся, а прямо на лапки станем; где что уместно, так себя там и покажем: умирать — так умирать, а красть — так красть. Вас поставили к тому, чтобы сражаться, и вы это исполняли в лучшем виде — вы сражались и умирали героями и на всю Европу отличились; а мы были при таком деле, где можно было красть, и мы тоже отличились и так крали, что тоже далеко известны. А если бы вышло, например, такое повеление, чтобы всех нас переставить одного на место другого, нас, например, в траншеи, а вас к поставкам, то мы бы, воры, сражались и умирали, а вы бы... крали...

Так и выпалил!

Я было совсем приготовился ему отрезать:

«Какой вы скотина!»

Но все пришли в ужасный восторг от его откровенности и закричали:

— Браво, браво, Анемподист Петрович! Бесстыдно, но хорошо сказано, — и пошли веселым смехом заливаться, точно невесть какую радость он им на их счет открыл; даже Евграф Иванович, и тот пустил:

— Пра-пра-пра-вда!

А тот, медный лоб, набил наново рот семгой, и еще начал мне читать нравоучение.

— Разумеется, — говорит, — если вы раньше все несообразности высказали только по своей неопытности, так бог вам это простит, но вперед этак с людьми своей нации не поступайте; зачем одних хвалить, а других порочить; мы положительно все на всё способны, и, господь благословит, вы еще не умрете прежде, чем сами в этом убедитесь.

Так я же виноват и остался, и я же еще получил от этого практического мудреца внушение, да и при всеобщем со всех сторон одобрении. Ну, понятно, я после такого урока оселся со своей прытью и... откровенно вам скажу, нынче часто об этих бесстыжих речах вспоминаю и нахожу, что бесстыдник-то — чего доброго — пожалуй, был и прав.

НЕКРЕЩЕНЫЙ ПОП

НЕВЕРОЯТНОЕ СОБЫТИЕ

(Легендарный случай)

Посвящается
Федору Ивановичу Буслаеву

Эта краткая запись о действительном, хотя и невероятном событии посвящается мною досточтимому ученому, знатоку русского слова, не потому, чтобы я имел притязание считать настоящий рассказ достойным внимания как литературное произведение. Нет; я посвящаю его имени Ф. И. Буслаева потому, что это оригинальное событие уже теперь, при жизни главного лица, получило в народе характер вполне законченной легенды; а мне кажется, проследить, как складывается легенда, не менее интересно, чем проникать, «как делается история».

I

В своем приятельском кружке мы остановились над следующим газетным известием:

«В одном селе священник выдавал замуж дочь. Разумеется, пир был на славу, все подпили порядком и веселились по-сельскому, по-домашнему. Между прочим, местный диакон оказался любителем хореографического искусства и, празднуя веселье, «веселыми ногами»

в одушевлении отхватал перед гостями *трепака,* чем всех привел в немалый восторг. На беду на том же пиру был благочинный, которому такое деяние диакона показалось весьма оскорбительным, заслуживающим высшей меры взыскания, и в ревности своей благочинный настрочил донос архиерею о том, как диакон на свадьбе у священника «ударил трепака». Архиепископ Игнатий, получив донос, написал такую резолюцию:

«Диакон N *«ударил трепака»...*
Но *трепак* не просит;
Зачем же благочинный доносит?
Вызвать благочинного в консисторию и допросить».

Дело окончилось тем, что доноситель, проехав полтораста верст и немало израсходовав денег на поездку, возвратился домой с внушением, что благочинному следовало бы на месте словесно сделать внушение диакону, а не заводить кляуз из-за *одного* — и притом исключительного случая».

Когда это было прочитано, все единогласно поспешили выразить полное сочувствие оригинальной резолюции пр. Игнатия, но один из нас, г. Р., большой знаток клирового быта, имеющий всегда в своей памяти богатый запас анекдотов из этой своеобычной среды, вставил:

— Хорошо-то это, господа, пускай и хорошо: благочинному действительно не следовало «заводить кляуз из-за *одного,* и притом исключительного случая»; но случай случаю рознь, и то, что мы сейчас прочитали, приводит мне на память другой случай, донося о котором, благочинный поставил своего архиерея в гораздо большее затруднение, но, однако, и там дело сошло с рук.

Мы, разумеется, попросили своего собеседника рассказать нам его затруднительный случай и услыхали от него следующее:

— Дело, о котором по вашей просьбе надо вам рассказывать, началось в первые годы царствования императора Николая Павловича, а разыгралось уже при конце его царствования, в самые суматошные дни наших крымских неудач. За тогдашними, большой важности, событиями, которые так естественно овладели всеобщим вниманием в России, казусное дело о «некрещеном попе» свертелось под шумок и хранится теперь только в памяти остаю-

щихся до сих пор в живых лиц этой замысловатой истории, получившей уже характер занимательной легенды новейшего происхождения.

Так как дело это в своем месте весьма многим известно и главное лицо, в нем участвующее, до сих пор благополучно здравствует, то вы должны меня извинить, что я не буду указывать место действия с большою точностию и стану избегать называть лица их настоящими именами. Скажу вам только, что это было на юге России, среди малороссийского населения, и касается некрещеного попа, отца Саввы, весьма хорошего, благочестивого человека, который и до сих пор благополучно здравствует и священствует и весьма любим и начальством и своим мирным сельским приходом.

Кроме собственного имени отца Саввы, которому я не вижу нужды давать псевдоним, все другие имена лиц и мест я буду ставить иные, а не действительные.

II

Итак, в одном малороссийском казачьем селе, которое мы, пожалуй, назовем хоть Парипсами, жил богатый казак Петро Захарович, по прозвищу Дукач. Человек он был уже в летах, очень богатый, бездетный и грозный-прегрозный. Не был он *мироедом* в великорусском смысле этого слова, потому что в малороссийских селах мироедство на великорусский лад неизвестно, а был, что называется, *дукач* — человек тяжелый, сварливый и дерзкий. Все его боялись и при встрече с ним открещивались, поспешно переходили на другую сторону, чтобы Дукач не обругал, а при случае, если его сила возьмет, даже и не побил. Родовое его имя, как это нередко в селах бывает, всеми самым капитальным образом было позабыто и заменено уличною кличкою или прозвищем — «Дукач», что выражало его неприятные житейские свойства. Эта обидная кличка, конечно, не содействовала смягчению нрава Петра Захарыча, а, напротив, еще более его раздражала и доводила до такого состояния, в котором он, будучи от природы весьма умным человеком, терял самообладание и весь рассудок и метался на людей, как бесноватый.

Стоило завидевшим его где-нибудь играющим детям в перепуге броситься вроссыпь с криком: «ой, лышенько, старый Дукач иде», как уже этот перепуг оказывался не напрасным: старый Дукач бросался в погоню за разбегающимися ребятишками со своею длинною палкою, какую приличествует иметь в руках настоящему степенному малороссийскому казаку, или с случайно сорванною с дерева хворостиною. Дукача, впрочем, боялись и не одни дети: его, как я сказал, старались подальше обходить и взрослые, — «абы до чого не прычепывся». Такой это был человек. Дукача никто не любил, и никто ему не сулил ни в глаза, ни за глаза никаких благожеланий, напротив, все думали, что небо только по непонятному упущению коснит давно разразить сварливого казака вдребезги так, чтобы и потроха его не осталось, и всякий, кто как мог, охотно бы постарался поправить это упущение Промысла, если бы Дукачу, как назло, отвсюду незримо «не перло счастье». Во всем ему была удача — все точно само шло в его железные руки: огромные стада его овец плодились, как стада Лавановы при досмотре Иакова. Для них уже вблизи и степей недоставало; полóвые круторогие волы Дукача сильны, рослы и тоже чуть не сотнями пар ходили в новых возах то в Москву, то в Крым, то в Нежин; а пчелиная пасека в своем липняке, в теплой запуши была такая, что колодки надо было считать сотнями. Словом, богатство по казачьему званию — несметное. И за что все это бог дал Дукачу? Люди только удивлялись и успокоивали себя тем, что все это не к добру, что бог, наверное, этак «манит» Дукача, чтобы он больше возвеличался, а потом его и «стукнет», да уж так стукнет, что на всю околицу слышно будет.

Ждали добрые люди этой расправы над лихим казаком с нетерпением, но годы шли за годами, а бог Дукача не стукал. Казак все богател и кичился, и ниоткуда ничто ему достойное его лютовства не угрожало. Общественная совесть была сильно смущена этим. Тем более что о Дукаче нельзя было сказать, что ему отплатится на детях: детей у него не было. Но вот вдруг старая Дукачиха стала чего-то избегать людей, — она конфузилась, или, по-местному, «соромылась» — не выходила на улицу, и вслед за тем по околице разнеслась новость, что Дукачиха «непорожня».

Умы встрепенулись, и языки заговорили: давно утомленная ожиданием общественная совесть ждала себе близкого удовлетворения.

— Що то буде за дитына! що то буде за дитына антихристова? И чи воно родыться, чи так и пропаде в жывоти, щоб ему не бачыть билого свиту!

Ждали этого все с нетерпением и, наконец, дождались: в одну морозную декабрьскую ночь в просторной хате Дукача, в священных муках родового страдания, явился ребенок.

Новый жилец этого мира был мальчик, и притом без всякого зверовидного уродства, как хотелось всем добрым людям; а, напротив, необыкновенно чистенький и красивый, с черною головкою и большими голубыми глазками.

Бабку Керасиху, которая первая вынесла эту новость на улицу и клялась, что у ребенка нет ни рожков, ни хвостика, оплевали и хотели побить, а дитя все-таки осталось хорошенькое-прехорошенькое, и к тому же еще удивительно смирное: дышало себе потихонечку, а кричать точно стыдилось.

III

Когда бог даровал этого мальчика, Дукач, как выше сказано, был уже близок к своему закату. Лет ему в ту пору было, может быть, более пятидесяти. Известно, что пожилые отцы горячо принимают такую новость, как рождение первого ребенка, да еще сына, наследника имени и богатства. И Дукач был этим событием очень обрадован, — но выражал это, как позволяла ему его суровая натура. Прежде всего он призвал к себе жившего у него бездомного племянника по имени Агапа и объявил ему, чтобы он теперь уже не дул губу на дядино наследство, потому что теперь уже бог послал к его «худоби» настоящего наследника, а потом приказал этому Агапу, чтобы он сейчас же снарядился в новый чепан и шапку и готовился, чуть забрезжит заря, идти с посылом до заезжего судейского panыча и до молодой поповны — звать их в кумовья.

Агапу тоже уже было лет под сорок, но он был человек загнанный и смотрел с виду цыпленком с зачичкавшеюся головенкою, на которой у него сбоку была пресмешная лысина, тоже дело руки Дукача.

Когда Агап в отрочестве осиротел и был взят в Дукачев дом, он был живой и даже шустрый ребенок и представлял для дяди ту выгоду, что знал грамоте. Чтобы не кормить даром племянника, Дукач с первого же года стал посылать его со своими чумаками в Одессу. И когда Агап один раз, возвратясь домой, сдал дяде отчет и показал расход на новую шапку, Дукач осердился, что тот смел самовольно сделать такую покупку, и так жестоко побил парня по шее, что она у него очень долго болела и потом навсегда немножко скособочилась; а шапку Дукач отобрал и повесил на гвоздь, пока ее моль съест. Кривошей Агап ходил год без шапки и был у всех добрых людей «посмихачем». В это время он много и горько плакал и имел досуг надуматься, как помочь своей нужде. Сам он уже давно отупел от гонений, но люди наговорили ему, что он мог бы с своим дядьком справиться, только не так просто, через прямоту, а через «полытыку». И именно через такую политику, тонкую, чтобы шапку купить, а расход на нее не показывать, а так «расписать» те деньги где-нибудь понемножечку, по другим статьям. А ко всему этому на всякий случай, идучи к дяде, взять самое длинное полотенце да в несколько раз обмотать им себе шею, чтобы если Дукач станет драться, то не было бы очень больно. Агап взял себе на ум эту науку, и вот через год, когда дядя погнал его опять в Нежин, он ушел без шапки, а вернулся и с отчетом и с шапкою, которой ни в каких расходах не значилось. Дукач спервоначала этого и не заметил и даже было похвалил племянника, сказав ему: «Треба б тебе побиты, да ни за що». Но тут бес и дернул Агапа показать дядьку, как несправедлива на свете человеческая правда! Он попробовал, хорошо ли у него намотано на шее длинное полотенце, которое должно было служить для его политических соображений, и, найдя его в добром порядке, молвил дяде:

— Эге, дядьку, добре! ни за що биты! Ось така-то правда на свити?

— А яка ж правда?

— А ось яка правда: выбачайте, дядьку. — И Агап, щелкнув по бумажке, сказал: — нема тут шапки?

— Ну, нема, — отвечал Дукач.

— А от же и есть шапка, — похвалился Агап и насадил набекрень свою новую франтовскую шапку из решетиловских смушек.

Дукач посмотрел и говорит:

— Добра шапка. А ну, дай и мени помирять.

Надел на себя шапку, подошел к осколку зеркальца, вправленному в досточку, оклеенную яркою пестрою бумажкою, тряхнул седою головой и опять говорит:

— А до лиха, бачь и справди така добрая шапка, що хоть бы и мени, то было б добре в ии ходыти.

— А ничего соби, добре б було.

— И де ты ии, вражий сын, украв?

— Що вы, дядьку, на що я буду красты! — отвечал Агап, — нехай от сего бог бороныть, я зроду не крав.

— А де ж ты ии ухопыв?

Но Агап ответил, что он совсем шапки не хапал, а так себе, просто ее достал через полытыку.

Дукачу это показалось так смешно и невероятно, что он рассмеялся и сказал:

— Да ну, годи вже тебе дурню: де таки тоби робыть полытыку?

— А от же и сробыв.

— Ну, мовчи.

— Ей-богу, уделал.

Дукач только молча погрозил ему пальцем: но тот стоит на своем, что он «полытыку уделал».

— И де в черта, та пыха у тебя взялась в голови, — заговорил Дукач, — де же сему дилу буть, щобы ты, такий сельский квак, да в Нежине мог полытыку делать.

Но Агап стоял на своем, что он действительно уделал полытыку.

Дукач велел Агапу сесть и все как есть про сделанную им политику рассказывать, а сам налил себе в плошку сливяной наливки, запалил люльку и приготовился долго слушать. Но долго слушать было нечего. Агап повторил дяде весь свой отчет и говорит:

— Нема тут шапки?

— Ну, нема, — отвечал Дукач.

— А вот же тут и есть шапка!

И он открыл, что именно, сколько копеек и в какой расходной статье им присчитано, и говорил он все это весело, с открытою душою и с полною надеждою на туго намотанное на шее полотенце; но тут-то и случилась самая непредвиденная неожиданность: Дукач, вместо того чтобы побить племянника по шее, сказал:

— Ишь ты и справди якый полытык: украв, да и шию закрутыв, щоб не больно було. Ну так я же тоби дам другую полытыку, — и с этим он дернул клок волос, замерший у него в руке.

Так кончилась эта политическая игра дяди с племянником и, сделавшись известной на селе, укрепила за Дукачом еще более твердую репутацию, что этот человек «як каминь» — ничем его не возьмешь: ни прямотою, ни политикою.

IV

Дукач всегда жил одиноко: он ни к кому не ходил, да и с ним никто не хотел близко знаться. Но Дукач об этом, по-видимому, нимало и не скорбел. Может быть, ему это даже нравилось. По крайней мере он не без удовольствия говаривал, что в жизнь свою никому не кланялся и не поклонится — и случая такого не чаял, который мог бы заставить его поклониться. Да и в самом деле и из-за чего он стал бы кого-нибудь заискивать? Волов и всякої худобы много; а если этим бог накажет, — волы попа́дают или что пожаром сгорит, так у него вволю и земли и лугов — все в порядке, все опять снова уродится, и он снова разбогатеет. А хоть бы и не так, то он хорошо знал в дальнем лесу один приметный дуб, под которым закопан добрый казанок с старыми рублевиками. Стоит его достать оттуда, так и без всяких хлопот можно целый век жить, и то не прожить. Что же значили ему люди? Детей, что ли, ему с ними крестить, — но у него детей не было. Или для того чтобы утешить свою Дукачиху, которая по бабьей прихоти приставала:

— Что, мол, нас все боятся да нам завидуют — лучше бы сделать, чтобы нас кто-нибудь любить стал.

Но стоило ли это бабье нытье казачьего внимания.

И вот шли годы за годами, пронося над головою Дукача безвредно всякие житейские случайности и невзгоды, а случай, который мог заставить его поклониться людям, все-таки его не облетел мимо: теперь люди ему понадобились, чтобы дитя крестить.

Всякому иному, не такому гордому человеку, как Дукач, это, разумеется, ничего бы не составляло, но Дукачу ходить, звать, да еще упрашивать, было не под стать. Да еще кого звать и кого «упрашивать»? — Уж, разумеется, не кого-нибудь, а самых первых людей: молодую поповну-щеголиху, которая ходила в деревне в полтавских шляпках, да судового паныча, что гостил об эту пору у отца диакона. Положим, это компания хорошая, но что-то страшно: ну как они откажут? Дукач помнил, что ведь не обращал внимания он не только на простых людей, но не уважал и отцу Якову, а с диаконом прямо один раз на гребле «бился» за то, что тот, едучи ему навстречу, не хотел с дороги в грязь своротить. Чего доброго, и они этого не позабыли и теперь, — когда гордому казаку пришла в них нужда, — они ему это, пожалуй, и вспомнят. Делать, однако, было нечего. Дукач поднялся на хитрость: избегая самолично встретить отказ, он послал звать кумовьев Агапа. А чтобы и тому было поваднее, снабдил его зваными дарами деревенского припасения, которые вынул из заветной скрыни: панночке высокий черепаховый гребень «с огородом», а панычу золоченую склянку петухом с немецкою подписью. Но все это вышло напрасно: кумовья отказались и даров не приняли; да еще, по словам Агапа, и в глаза ему насмеялись: что, дескать, чего Дукач и заботится: разве детей таких злодеев, как он, можно крестить? А когда Агап заметил, что неужто дитя целую неделю останется не крещено, то будто сам поп — отец Яков прямо пророковал: что не неделю, а целый век ему оставаться некрещеным.

Услыхав это, Дукач сложил правою рукою дулю, сунул ее племяннику в нос и велел поднести это за пророчество отцу Якову. А чтобы Агапу веселее было идти, — повернул его другою рукою и выпроводил по потылице.

V

Агап, разумеется, не считал этого за самый худший исход, какого он мог ожидать за свое неудачное посольство, и, закатясь с дядиных глаз в корчму, успел рассказать бывшее так хорошо, что через полчаса об этом знало все селение, и все, от мала до велика, радовались тому, что отец Яков «в книгах вычитал, як Дукачонку на роду писано остаться некрещеным». И если бы теперь старый Дукач забыл всю свою важность и стал звать последнего из последних на селе, то он наверно бы никого не дозвался, но Дукач это знал: он знал, что находится в положении того волка, который всем чем-нибудь нагадил, и что ему потому некуда деться и не от кого искать защиты. Он пошел напролом: сунув к носу Агапа дулю, адресованную отцу Якову, он решил обойтись не только без содействия всех своих односельчан, но и без услуг самого отца Якова.

Назло всем, но, может быть, особенно отцу Якову, Дукач решил окрестить сына в чужом приходе, в селе Перегудах, которое отстояло от Парипс не более как на семь или на восемь верст. А чтобы не откладывать спешного дела в долгий ящик, — окрестить сына немедленно, именно нынче же, — чтобы завтра об этом и разговоров не было; а напротив, чтобы завтра же все знали, что Дукач настоящий казак, который никому в насмешку не дается и может без всех обойтись. Кум у него уже был избран — самый неожиданный, — это Агап. Правда, что такой выбор многих мог удивить, но на то у Дукача был отвод: он брал простых кумовьев — «встречных», как на то есть поверье, что таких бог посылает. Агап и взаправду был первый «встречник», на которого богатый казак на первого взглянул при известии о новорожденном; а первая «встречница» была бабка Керасивна. Ее взять в кумы было немножко неловко, потому что Керасивна имела не совсем стройную репутацию: она была самая несомненная ведьма; столь несомненная, что этого не отрицал даже сам ее муж, очень ревнивый казак Керасенко, из которого эта хитрая жинка весь дух и всю его нестерпимую ревность выбила. Обратя его в самого битого дурня, жила она на всей своей вольной воле — немножко шинкуя, немножко промышляя то повитушеством, то продажею паляниц, то, наконец, просто «срывая цветы удовольствий».

VI

Ведьмовство ее знали и стар и мал, — потому что случай, обнаруживший это, был самый гласный и скандальный. Керасивна еще в дивчинах была бесстрашная самовольница — жила в городах и имела какую-то мудреного вида склянницу с рогатым чертом, которую ей подарил рогачевский дворянин с Покоти, отливавший такие чертовщины в соседней гуте. И Керасивна пила себе на здоровье из этой склянницы и была здорова. И, наконец, мало всего этого — она показала самую невозможную отвагу, добровольно согласясь выйти замуж за Керасенка. Этого никто не мог сделать кроме женщины, которая ничего не боится, потому что Керасенко заведомо уже уморил своею ревностью двух жен, и когда нигде в окрестности не мог найти себе третьей, то тогда эта окаянная Христя сама ему набилась и вышла за него, только такое условие сделала, что он ей всегда будет верить. Керасенко на это согласился, а сам думал:

«Дура баба: так я тебе и стану верить! — дай женюсь, — я тебя и на шаг от себя не отпущу».

Всякая бы на месте Христи это предвидела, но эта шустрая дивчина словно оглупела: и не только ничего не побоялась и вышла за ревнивого вдовца, да еще взяла и совсем его переделала, так что он вовсе перестал ее ревновать и дал ей жить на всей ее вольной воле. Вот это-то и было устроено самым коварным ведьмовством и при несомненном участии черта, которого соседка Керасивны, Пиднебесная, сама видела в образе человеческом.

Это было вскоре же после того, как Керасенко женился на бойкой Христе, и хоть тому теперь прошел уже добрый десяток лет, однако бедный казак, конечно, и о сю пору хорошо помнил этот чертовский случай. Было это зимою, под вечер, на праздниках, когда никакому казаку, хоть бы и самому ревнивому, невмочь усидеть дома. А Керасенко и сам «нудил свитом» и жену никуда не пускал, и произошла у них из-за этого баталия, при которой Керасивна сказала мужу:

— Ну, як ты выйшов на своем слове невирный, то я же тебе зроблю лихо.

— Як лихо! як ты мени лихо зробишь? — заговорил Керасенко.

— А зроблю, да и усе тут буде.

— А як я тебе з очей не выпущу?

— А я на тебе мару напущу.

— Як мару? — хиба ты видьма?

— А от побачишь, чи я видьма, чи я ни видьма.

— Добре.

— От побачишь: дивись на мене, держись за мене, а я свое зроблю.

И еще срок назначила:

— Три дня, — говорит, — не пройдет, как сделаю.

Казак сидит день, сидит два, просидел и третий до самого до вечера и думает: «Срок кончился, а щоб мене сто чортиев сразу взяли, як дома скучно... а Пиднебеснихин шинок як раз против моей хаты, из окон в окна: мини звидтиль все видно будет, як кто-нибудь пойдет ко мне в хату. А я тем часом там выпью две-три або четыре чвертки... послухаю, що люди гомонят що в городу чуть... и потанцюю — позабавлюся».

И он пошел — пошел и сел, как думал, у окна, так что ему видно всю свою хату, видно, как огонь горит; видно, как жинка там и сям мотается. Чудесно? И Керасенко сел себе да попивает, а сам все на свою хату посматривает; но откуда ни возьмись сама вдова Пиднебесная заметила эту его проделку, да и ну над ним подтрунивать: эх, мол, такой-сякой ты глупый казак, — чего ты смотришь, — в жизнь того не усмотришь.

— Ну, добре — ще побачим!

— Ничого и бачить, — де за нами, жинками, больше смотрят, там нам, жинкам, сам бис помогае.

— Говори-ка, говори себе, — отвечал казак, — а як я сам на жинку дивитимусь, то коло ии и черт ничего не зробыть.

Тут все и закивали головами.

— Ах, нехорошо так, Керасенко, ах, нехорошо! — или ты некрещеный человек, или ты до того осатанел, что и в самого беса не веруешь.

И все этим так возмутились, что даже кто-то из толпы крикнул:

— Да що еще на него смотреть: дать ему такого прочухана, щоб вин тричи перевернувся и на добру виру став.

И его действительно чуть не побили, к чему, как он заметил, особенное стремление имел какой-то чужой человек, о котором Керасенку вдруг ни с того ни с сего вздумалось, что это не кто иной, как тот самый рогачевский дворянин, который подарил его жене склянку с чертом и из-за которого у них с женою перед самою свадьбою было объяснение, окончившееся условием, чтобы об этом человеке больше уже не разговаривать.

Условие было заключено страшной клятвой, что если Керасенко хоть раз вспомнит про дворянина, то будет он тогда за это у черта в зубах. И Керасенко это условие помнил. Но только теперь он был пьян и не мог снесть своего замешательства: зачем тут явился рогачевский дворянин? И он поспешил домой, но дома не застал жены, и это ему показалось еще несообразнее.

«Не вспоминать-то, — думал он, — это точно мы условились о нем не вспоминать, а на что же он тут вертится, — и зачем моей жены дома нет?»

И когда Керасенко находился в таких размышлениях, ему вдруг показалось, что у него в сенях за дверью кто-то поцеловался. Он встрепенулся и стал прислушиваться... слышит еще поцелуй и еще, и шепот, и опять поцелуй. И все как раз у самой у двери...

— Э, до ста чертей, — сказал себе Керасенко, — или это я с отвычки горилки так славно наугощался у Пиднебеснихи, что мне черт знает что показывается; или это моя жинка пронюхала, что я про рогачевского шляхтича с нею хочу спорить, и вже успела на меня мару напустить? Люди мне уже не раз прежде говорили, что она у меня ведьма, да только я этого доглядеться не успел, а теперь... ишь, опять целуются, о... о... о... вот опять и опять... А, стой же, я тебя подкараулю!

Казак спустился с лавки, подполз тихо к двери и, припав ухом к пазу, стал слушать: целуются, несомненно целуются — так губами и чмокают... А вот и разговор, и это живой голос его жены; он слышит, как она говорит:

— Що тиби мой муж, такий-сякий поганец: я его прожену, а тебе в хату пущу.

«Ого! — подумал Керасенко, — это она еще меня хвалится выгнать, а в мою хату кого-то впустить хочет... Ну уж этого не будет».

И он поднялся, чтобы сильным толчком распахнуть дверь, но дверь сама растворилась, и на пороге предстала Керасивна — такая хорошая, спокойная, только немножко будто красная, и сразу же принялась ссориться, как пристойно настоящей малороссийской жинке. Назвала она его чертовым сыном, и пьяницей, и собакой, и многими другими именами, а в заключение напомнила ему об их условии, чтобы Керасенко и думать не смел ее ревновать. А в доказательство своего к ней доверия сейчас же пустил бы ее на вечерници. Иначе она ему такую штуку устроит, что он будет век помнить. Но Керасенко был малый не промах, пустить на вечерници сейчас после того, как он своими глазами видел у Пиднебеснихи рогачевского дворянина и сейчас слышал, как его жена с кем-то целовалась и сговаривалась кого-то пустить в хату... это ему, разумеется, представилось уже слишком очевидною глупостью.

— Нет, — сказал он, — ты поищи такого дурня в другом месте, а я хочу лучше тебя дома припереть да спать лечь. Так оно надежнее будет: тогда я и твоей мары не испугаюсь.

Керасивна, услыхав эти слова, даже побледнела; муж с нею первый раз заговорил в таком тоне, и она понимала, что это настал в ее супружеской политике самый решительный момент, который во что бы то ни стало надо выиграть: или — все, что она вела до сих пор с такою ловкостью и настойчивостью, пропало бесследно и, пожалуй, еще обратится на ее же голову.

И она вспрянула — вспрянула во весь свой рост, ткнула казаку в нос самую оскорбительную дулю и хотела, не долго думая, махнуть за дверь, но тот отгадал ее намерение и предупредил его, замкнув дверь на цепочку, и, опустив ключ в бесконечный карман своих широчайших шаровар, с возмутительным спокойствием сказал:

— Вот тебе и вся твоя дорога, от печи да до порога.

Положение Керасивны обозначилось еще решительнее: она приняла вызов мужа и впала в такое неописанное и страшное экстатическое состояние, что Керасенко даже испугался. Христя долго стояла на одном месте, вся вздрагивая и вытягиваясь как змея, причем руки ее корчились, кулаки были крепко сжаты, а в горле что-то щел-

кало, и по лицу ходили то белые, то багровые пятна, меж тем как устремленные в упор на мужа глаза становились острее ножей и вдруг заиграли совсем красным пламенем.

Это показалось казаку так страшно, что он, не желая видеть жены в этом бешенстве, крикнул:

— Цур тоби, проклятая видьма! — и, дунув на огонь, сразу погасил светло.

Керасивна только топнула впотьмах и прошипела:

— Так будешь же ты знать мене, видьму! — И потом вдруг, как кошка, прыгнула к печке и звонко-презвонко крикнула в трубу:

— У-г-у-у! души его, свинью!

VII

Казак, правда, еще больше струсил от этого нового неистовства, но чтобы не упустить жену, которая, очевидно, была ведьма и имела прямое намерение лететь в трубу, он изловил ее и, сильно обхватив ее руками, бросил на кровать к стенке и тотчас же сам прилег с краю.

Керасивна, к удивлению мужа, нимало не сопротивлялась — напротив, она была тиха, как смирный ребенок, и даже не бранилась. Керасенко был этому очень рад и, зажав одною рукою спрятанный в карман ключ, а другою взяв жену за рукав рубахи, заснул глубоким сном.

Но недолго длилось это его блаженное состояние: только что он отхватал половину первого сна, в котором переполненный винных паров мозг его размяк и утратил ясность представлений, как вдруг он получил толчок в ребра.

«Что такое?» — подумал казак и, почувствовав еще новые толчки, пробормотал:

— Чего ты, жинка, толкаешься?

— А то як же не толкаться: слухай-ко, что на дворе робится?

— Что там робится?

— А вот ты слухай!

Керасенко поднял голову и слышит, что у него на дворе что-то страшно визгнуло.

— Эге, — сказал он, — а ведь это, пожалуй, кто-то нашу свинью волокет.

— А разумеется, так..Пусти меня скорее, я пойду посмотрю: хорошо ли она заперта?

— Тебя пустить?.. Гм... гм...

— Ну дай же ключ, а то украдут свинью, и будем мы сидеть все святки и без ковбас и без сала. Все добрые люди будут ковбасы есть, а мы будем только посматривать... Ого-го-го... слушай, слушай: чуешь, як ее волокут... Аж мне его жаль, как оно, бедное порося, завизжало!.. Ну, пусти меня скорее: я пойду ее отниму.

— Ну да: так я тебя и пущу! Где это видано, чтобы баба на такое дело ходила — свинью отнимать! — отвечал казак, — лучше я встану и сам пойду отниму.

А на самом деле ему лень было вставать и страх не хотелось идти на мороз из теплой хаты; но только и свинью ему было жалко, и вот он встал, накинул свитку и вышел за двери. Но тут и произошло то неразгаданное событие, которое несомненнейшими доказательствами укрепило за Керасивною такую ведьмовскую славу, что с сей поры всяк боялся Керасивну у себя в доме видеть, а не только в кумы ее звать, как это сделал надменный Дукач.

VIII

Не успел осторожно шагавший казак Керасенко отворить хлев, где горестно завывала недовольная причиняемым ей беспокойством свинья, как на него из непроглядной темноты упало что-то широкое да мягкое, точно возовая дерюга, и в ту же минуту казака что-то стукнуло в загорбок, так что он упал на землю и насилу выпростался. Удостоверившись, что свинья цела и лежит на своем месте, Керасенко припер ее покрепче и пошел к хате досыпать ночь.

Но не тут-то было: не только самая хата, но и сени его оказались заперты. Он туда, он сюда — все заперто. Что за лихо? Стучал он, стучал; звал, звал жинку:

— Жинка! Христя! отопри скорее.

Керасивна не откликалась.

— Тпфу ты, лихая баба: чего это она вздумала запереться и так скоро заснула! Христя! ей! жинка! Отчини!

Ничего не было: словно все замерло; даже и свинья спит, и та не хрюкает.

«Вот так штука! — подумал Керасенко, — ишь как заснула! Ну да я вылезу через тын на улицу да подойду к окну; она близко у окна спит и сейчас меня услышит».

Он так и сделал: подошел к окну и ну стучать, но только что же он слышит? — жена его говорит:

— Спи, человиче, спи: не зважай на то, що стучит: се чертяка у нас ходыт!

Казак стал сильнее стучать и покрикивать:

— Сейчас отчини, или я окно разобью.

Но тут Христя рассердилась и отозвалась:

— Кто это смеет в такую пору к честным людям стучаться?

— Да это я, твой муж.

— Какой мой муж?

— Известно какой твой муж — Керасенко.

— Мой муж дома, — иди себе, иди, кто ты там есть, не буди нас: мы с мужем вместе обнявшись спим.

«Что это такое? — подумал Керасенко, — неужели я все сплю и во сне вижу, или это взаправду деется?»

И он опять застучал и начал звать:

— Христя, а Христя! да отопри на божию милость.

И все пристает, все пристает с этим; а та долго молчит — ничего не отвечает и потом опять отзовется:

— Да провались ты совсем, — кто такой привязался; говорю тебе, мой муж дома, со мною рядом обнявшись лежит, — вот он.

— Это тебе, Христя, може показывается?

— Эге! спасиби тебе на том! Що же, хиба я така дурна, чи совсем нечувствительна, що ни в чем толку не знаю? Нет, мне это лучше знать, що показывается, а що не показывается. Вот он, вот мой чоловик, у меня совсем близенько... вот я его и перекрещу: господи Иисусе, а вот и поцелую: и обниму и опять поцелую... Так добре нам вместе, а ты, недобрый потаскун, иди себе сам до своей жинки — не мешай нам спать и целоваться. Добра ничь — иди с богом.

«Фу ты, сто чертов твоему батькови: что это за притча! — пожимая плечами, рассуждал Керасенко. — Чего доброго, я, перелезши через тын, не обознался ли хатою. Только нет: это моя хата».

Он отошел на другую сторону широкой деревенской улицы и стал считать от колодца с высоким журавлем.

— Первая, вторая, третья, пятая, седьмая, девятая... Вот это и есть моя девятая.

Пришел: опять стучит, опять зовет, и опять та же история: нет-нет отзовется женский голос, и все раз от раза с бо́льшим неудовольствием и все в одно́м и том же смысле:

— Иди прочь: мой муж со мною.

А голос Христи — несомненно ее голос.

— А ну, если твой чоловик с тобою, — пусть о́н заговорит.

— Чего ему со мною говорить, як мы уже все обговорили.

— Да я хочу послушать: есть ли там у тебя чоловик?

— А вже же есть: вот ты слухай, як мы станем целоваться.

— Тпфу, пропасти на них нет: в самом деле целуются, а меня уверяют, что я — не я, и куда-то совсем прочь домой посылают. Но погоди же: я не совсем глупый — я пойду соберу людей, и пусть люди скажут: мой это дом или нет, и я или кто другой муж моей жинки. — Слушай, Христя: я пойду людей будить.

— Да иди, иди, — отвечает голос, — только от нас отчепысь: мы вот двоечко нацеловались и смирненько обнявшись лежим, и хорошо нам. А до других ни до кого и дела нет.

Вдруг и другой, несомненно мужской голос то же самое утверждает:

— Мы двоечко нацеловались и теперь смирненько обнявшись лежим, а ты ступай к черту!

Ничего больше не оставалось делать: Керасенко убедился, что в его звании под бок к Христе подкатился кто-то другой, и он пошел будить соседей.

IX

Долго или коротко это шло, пока очумевший Керасенко успел добудиться и собрать к своему дому десятка два казаков и добровольно последовавших за мужьями любопытных казачек, — а Керасивна оставалась в своем поло-

жении и все уверяла всех, что со всеми с ними мара, а что ее муж с нею дома, лежит у нее на руке, и в доказательство не раз заставляла всех слушать, как она его целует. И все казаки и казачки это внимали и находили, что это никак не может быть фальшь, потому что поцелуи были настоящие, и притом из-за окна, хотя не особенно внятно, а все-таки хорошо слышался мужской голос, который, по уверению Керасивны, принадлежал ее мужу. И все слышали, как этот голос один раз приблизился к самому окну и оттуда, всех ужасая, сказал:

— Що вы, дурни, за марою ходите? — я дома лежу со своею жинкою; а это вас мара водит. Дайте ей всякий по одному доброму прочухану наотмашь, — она враз и рассыпется.

Казаки перекрестились, и кто из них ближе стоял к Керасенке, тот первый и съездил его изо всей силы по потылице, — но сам тотчас же дал тягу: а его примеру последовали другие. И Керасенко, получив от каждого по тумаку наотмашь, в одну минуту был жестоко исколочен и безжалостно брошен у порога своей заколдованной хаты, где какой-то коварный демон так усердно замещал его на супружеском ложе. Он более уже не пытался облегчить своего горя, а только, сидя на снежку, горько плакал, как совсем бы казаку и не пристало, и все как будто слышал, что его Керасивна целуется. Но, к счастью, все мучения человеческие имеют конец, — и это терзание Керасенки кончилось, — он заснул, и ему снилось, будто его жена взяла его за шиворот и перенесла на хорошо ему знакомую теплую постель, а когда он проснулся, в самом деле увидел себя на своей постели, в своей хате, а перед ним у припечки хлопотала, стряпая клецки с сыром, его молодцеватая Керасивна. Словом, все как следует — точно ничего необыкновенного и не случилось: ни про поросенка, ни про мару и помина не было. Керасенко же хотя и очень желал об этом заговорить, но не знал: как за это взяться?

Казак на все только рукою махнул и с тех пор жил с своею Керасивною в мире и согласии, оставляя ее на всей ее воле и просторе, которыми она и пользовалась как знала. Она и торговала и ездила, куда хотела, и домашнее счастие ее от этого не страдало, а благосостояние и опытность увеличивались. Но зато в общественном мне-

нии Керасивна была потеряна: все знали, что она ведьма. Хитрая казачка против этого никогда не спорила, так как это давало ей своего рода апломб: ее боялись, чествовали и, приходя к ней за советами, приносили ей либо копу яиц, либо какой другой пригодный в хозяйстве подарок.

X

Знал Керасивну и Дукач, и знал ее, разумеется, за женщину умную, с которою, окромя ее ведовства, во всяком причинном случае посоветоваться не лишнее. И как Дукач сам был человек нелюбимый, то он Керасивною не очень-то и брезговал. Люди говорили, будто не раз видали их стоявшими вдвоем под густою вербою, которая росла заплетенная в плетень, разделявший их огороды. Иные даже думали, что тут было немножко и какого-то греха, но это, разумеется, были сплетни. Просто Дукач и Керасивна, имевшие в своей репутации нечто общее, были знакомы и находили о чем поговорить друг с другом.

Так и теперь, в том досадительном случае, который последовал по поводу неудачного позыва кумовьев, Дукач вспомнил о Керасивне и, призвав ее на совет, рассказал ей причиненную ему всеми людьми досаду.

Выслушав это, Керасивна мало подумала и, тряхнув головою, прямо отрезала:

— А що же, пане Дукач: зовить меня кумою!

— Тебя кумою звать, — повторил в раздумье Дукач.

— Да, или вы верите, що я видьма?

— Гм!.. говорят, будто ты видьма, а я у тебя хвоста не бачив.

— Да и не побачите.

— Гм! тебя кумою... а що на то все люди скажут?

— Се якие люди?.. те, що вам в хату и плюнуть не хотят идти?

— Правда, а що моя Дукачиха заговорит? Ведь она верит, що ты видьма?

— А вы ее боитесь?

— Боюсь... Я не такой дурень, як твой муж: я баб не боюсь и никого не боюсь: а тилько... ты вправду не ведьма?

— Э, да, я бачу, вы, пане Дукач, такий же дурень! Ну так зовите же кого хотите.

— Гм! ну стой, стой, не сердись: будь ты взаправду кумою. Только смотри, станет ли с тобою перегудинский поп крестить?

— А отчего не станет!

— Да бог его знает: он який-с такий ученый — все от писания начинает, — скажет: не моего прихода.

— Не бойтесь — не скажет: он хоть ученый, а жинок добре слухае... Начнет от писания, а кончит, як все люди, — на том, що жинка укажет. Добре его знаю и была с ним в компании, где он ничего пить не хотел. Говорит: «В писании сказано: не упивайтеся вином, — в нем бо есть блуд». А я говорю: «Блуд таки блудом, а вы чарочку выпейте», — он и выпил.

— Выпил?

— Выпил.

— Ну так се добре: только смотри, щобы вин нам, выпивши, не испортил хлопца, — не назвал бы его Иваном або Николою.

— Ну вот! так я ему и дам, щоб христианское дитя да Николої назвать. Хиба я не знаю, что это московськое имя.

— То-то и есть: Никола самый москаль.

Дело стояло еще за тем, что у Керасивны не было такой теплой и просторной шубы, чтобы везти дитя до Перегуд, а день был очень студеный — настоящее «варва́рское время», но зато у Дукачихи была чудная шуба, крытая синею нанкою. Дукач ее достал и отдал без спроса жены Керасивне.

— На, — говорит, — одень и совсем ее себе возьми, только долго не копайся, щобы люди не говорили, що у Дукача три дня было дитя не хрещено.

Керасивна насчет шубы немножко поломалась, но, однако, взяла ее. Она завернула далеко вверх подбитые заячьим мехом рукава, и все в хуторе видели, как ведьма, задорно заломив на затылок пестрый очипок, уселась рядом с Агапом в сани, запряженные парою крепких Дукачевых коней, и отправилась до попа Еремы в село Перегуды, до которого было с небольшим восемь верст. Когда Керасивна с Агапом отъезжали, любопытные люди видели, что и кум и кума были достаточно трезвы. Что хотя

у Агапа, который правил лошадьми, была видна в коленях круглая барилочка с наливкою, но это, очевидно, назначалось для угощения причта. У Керасивны же за пазухою просторной синей заячьей шубы лежало дитя, с крещением которого должен был произойти самый странный случай, — что, впрочем, многие опытные люди живо предчувствовали. Они знали, что бог не допустит, чтобы сын такого недоброго человека, как Дукач, был крещен, да еще через известную всем ведьму. Хороша бы после этого вышла и вся крещеная вера!

Нет, бог справедлив: он этого не может допустить и не допустит.

Того же самого мнения была и Дукачиха. Она горько оплакивала ужасное самочинство своего мужа, избравшего единственному, долгожданному дитяти восприемницею заведомую ведьму.

При таких обстоятельствах и предсказаниях произошел отъезд Агапа и Керасивны с Дукачевым ребенком из села Парипс в Перегуды, к попу Ереме.

Это происходило в декабре, за два дня до Николы, часа за два до обеда, при довольно свежей погоде с забористым «московським» ветром, который тотчас же после выезда Агапа с Керасивною из хутора начал разыгрываться и превратился в жестокую бурю. Небо сверху заволокло свинцом; понизу завеялась снежистая пыль, и пошла лютая метель.

Все люди, желавшие зла Дукачеву ребенку, видя это, набожно перекрестились и чувствовали себя удовлетворенными: теперь уже не было никакого сомнения, что бог на их стороне.

XI

Предчувствия говорили недоброе и самому Дукачу; как он ни был крепок, а все-таки был доступен суеверному страху и — трусил. В самом деле, с того ли или не с того сталося, а буря, угрожавшая теперь кумовьям и ребенку, точно с цепи сорвалась как раз в то время, когда они выезжали за околицу. Но еще досаднее было, что Дукачиха, которая весь свой век провела в раболепном

безмолвии перед мужем, вдруг разомкнула свои молчаливые уста и заговорила:

— На старость нам, в мое утешенье, бог нам дытину дал, а ты его съел.

— Это еще що? — остановил Дукач, — как я съел дитя?

— А так, що отдал его видьме. Где это по всему христианскому казачеству слыхано, чтобы видьми давали дитя крестить?

— А вот же она его и перекрестит.

— Никогда того не было, да и не будет, чтобы господь припустил до своей христианской купели лиходейскую видьму.

— Да кто тебе сказал, що Керасивна ведьма?

— Все это знают.

— Мало чего все говорят, да никто у нее хвоста не видел.

— Хвоста не видели, а видели, как она мужа оборачивала.

— Отчего же такого дурня и не оборачивать?

— И от Пиднебеснихи всех отворотила, чтобы у нее паляниц не покупали.

— Оттого, что Пиднебесная спит мягко и ночью тесто не бьет, у нее паляницы хуже.

— Да ведь с вами не сговоришь, а вы кого хотите, всех добрых людей спросите, и все добрые люди вам одно скажут, что Керасиха ведьма.

— На что нам других добрых людей пытать, когда я сам добрый человек.

Дукачиха вскинула на мужа глаза и говорит:

— Как это... Это вы-то добрый человек?

— Да; а что же по-твоему, я разве не добрый человек?

— Разумеется, не добрый.

— Да кто тебе это сказал?

— А вам кто сказал, что вы добрый?

— А кто сказал, что я не добрый?

— А кому же вы какое-нибудь добро сделали?

— Какое я кому добро сделал!

— Да.

«А сто чертей... и правда, что же это я никак не могу припомнить: кому я сделал какое-нибудь добро?» — подумал непривычный к возражениям Дукач и, чтобы не

слышать продолжения этого неприятного для него разговора, сказал:

— Вот того только и недоставало, чтобы я с тобою, с бабою, стал разговаривать.

И с этим, чтобы не быть более с женою с глаза на глаз в одной хате, он снял с полка отнятую некогда у Агапа смушковую шапку и пошел гулять по свету.

XII

Вероятно, на душе у Дукача было уже очень тяжело, когда он мог пробыть под открытым небом более двух часов, потому что на дворе стоял настоящий ад: буря сильно бушевала, и в сплошной снежной массе, которая тряслась и веялась, невозможно было перевести дыхание.

Если таково было близ жилья, в затишье, то что должно было происходить в открытой степи, в которой весь этот ужас должен был застать кумовьев и ребенка? Если это так невыносимо взрослому человеку, то много ли надо было, чтобы задушить этим дитя?

Дукач все это понимал и, вероятно, немало об этом думал, потому что он не для удовольствия же пролез через страшные сугробы к тянувшейся за селом гребле и сидел там в сумраке метели долго, долго — очевидно, с большим нетерпением поджидая чего-то там, где ничего нельзя было рассмотреть. Сколько Дукач ни стоял до самой темноты посредине гребли, — его никто не толкнул ни спереди, ни сбоку, и он никого не видал, кроме каких-то длинных-предлинных привидений, которые, точно хоровод водили вверху над его головою и сыпали на него снегом. Наконец это ему надоело, и когда быстро наступившие сумерки увеличили темноту, он крякнул, выпутал ноги из засыпавшего их сугроба и побрел домой.

Тяжело и долго путаясь по снегу, он не раз останавливался, терял дорогу и снова ее находил. Опять шел, шел и на что-то наткнулся, ощупал руками и убедился, что то был деревянный крест — высокий, высокий деревянный крест, какие в Малороссии ставят при дорогах.

«Эге, — это я, значит, вышел из села! Надо же мне взять назад», — подумал Дукач и повернул в другую

сторону, но не сделал он и трех шагов, как крест был опять перед ним.

Казак постоял, перевел дух и, оправясь, пошел на другую руку, но и здесь крест опять загородил ему дорогу.

«Что он, движется, что ли, передо мною, или еще что творится», — и он начал разводить руками и опять нащупал крест, и еще один, и другой возле.

— Ага; вот теперь понимаю, где я: это я попал на кладбище. Вон и огонек у нашего попа. Не хотел ледачий пустить ко мне свою поповну окрестить детину. Да и не надо; только где же тут, у черта, должен быть сторож Матвейко?

И Дукач было пошел отыскивать сторожку, но вдруг скатился в какую-то яму и так треснулся обо что-то твердое, что долго оставался без чувств. Когда же он пришел в себя, то увидал, что вокруг него совершенно тихо, а над ним синеет небо и стоит звезда.

Дукач понял, что он в могиле, и заработал руками и ногами, но выбраться было трудно, и он добрый час провозился, прежде чем выкарабкался наружу, и с ожесточением плюнул.

Времени, должно быть, прошло добрая часина — буря заметно утихла, и на небе вызвездило.

XIII

Дукач пошел домой и очень удивился, что ни у него, ни у кого из соседей, ни в одной хате уже не было огня. Очевидно, что ночи уже ушло много. Неужели же и о сю пору Агап и Керасивна с ребенком еще не вернулись?

Дукач почувствовал в сердце давно ему не знакомое сжатие и отворил дверь нетвердою рукою.

В избе было темно, но в глухом угле за печкою слышалось жалобное всхлипывание.

Это плакала Дукачиха. Казак понял, в чем дело, но не выдержал и таки спросил:

— А неужели же до сих пор...

— Да, до сих пор видьма еще ест мою дытину, — перебила Дукачиха.

— Ты глупая баба, — отрезал Дукач.

— Да, это вы меня такою глупою сделали; а я хоть и глупая, а все-таки не отдавала видьми свою дытину.

— Да провались ты со своею ведьмою: я чуть шею не сломал, попал в могилу.

— Ага, в могилу... ну то она же и вас навела в могилу. Идите лучше теперь кого-нибудь убейте.

— Кого убить? Что ты мелешь?

— Подите хоть свцу убейте, — а то недаром на вас могила зинула — умрете скоро. Да и дай бог: что уже нам таким, про которых все люди будут говорить, что мы свое дитя видьми отдали.

И она пошла опять вслух мечтать на эту тему, меж тем как Дукач все думал: где же в самом деле Агап? Куда он делся? Если они успели доехать до Перегуд прежде, чем разыгралась метель, то, конечно, они там пережидали, пока метель улеглась, но в таком случае они должны были выехать, как только разъяснило, и до сих пор могли быть дома.

— Разве не хлебнул ли Агап лишнего из барилочки?

Эта мысль показалась Дукачу статочною, и он поспешил сообщить ее Дукачихе, но та еще лише застонала:

— Что тут угадывать, не видать нам свое дитя: заела его видьма Керасивна, и она напустила на свет эту погоду, а сама теперь летает с ним по горам и пьет его алую кровку.

И досадила этим Дукачиха мужу до того, что он, обругав ее, взял опять с одного полка свою шапку, а с другого ружье и вышел, чтобы убить зайца и бросить его в ту могилу, в которую незадолго перед этим свалился, а жена его осталась выплакивать свое горе за припечком.

XIV

Огорченный и непривычным образом взволнованный казак в самом деле не знал, куда ему деться, но как у него уже сорвалось с языка про зайца, то он более машинально, чем сознательно, очутился на гумне, куда бегали шкодливые зайцы; сел под овсяным скирдом и задумался.

Предчувствия томили его, и горе кралось в его душу, и шевелили в ней терзающие воспоминания. Как ни неприятны были ему женины слова, но он сознавал, что она права. Действительно, он во всю свою жизнь не сделал никому никакого добра, а между тем многим причинил много горя. И вот у него, из-за его же упрямства, гибнет единственное, долгожданное дитя, и сам он падает в могилу, что, по общему поверью, неминучий злой знак. Завтра будут обо всем этом знать все люди, а все люди — это его враги... Но... может быть, дитя еще найдется, а он, чтобы не скучать, ночью подсидит и убьет зайца и тем отведет от своей головы угрожающую ему могилу.

И Дукач вздохнул и стал всматриваться: не прыгает ли где-нибудь по полю или не теребит ли под скирдами заяц.

Оно так и было: заяц ждал его, как баран ждал Авраама: у крайнего скирда на занесенном снегом вровень с вершиною плетне сидел матерый русак. Он, очевидно, высматривал местность и занимал самую бесподобную позицию для прицела.

Дукач был старый и опытный охотник, он видал много всяких охотничьих видов, но такой ловкой подставки под выстрел не видывал и, чтобы не упустить ее, он недолго же думая приложился и выпалил.

Выстрел покатился, и одновременно с ним в воздухе пронесся какой-то слабый стон, но Дукачу некогда было раздумывать — он побежал, чтобы поскорей затоптать дымящийся пыж, и, наступив на него, остановился в самом беспокойном изумлении: заяц, до которого Дукач не добежал несколько шагов, продолжал сидеть на своем месте и не трогался.

Дукач опять струхнул: вправду, не шутит ли над ним дьявол, не оборотень ли это пред ним? И Дукач свалял ком снега и бросил им в зайца. Ком попал по назначению и рассыпался, но заяц не трогался — только в воздухе опять что-то простонало. «Что за лихо такое», — подумал Дукач и, перекрестясь, осторожно подошел к тому, что он принимал за зайца, но что никогда зайцем не было, а было просто-напросто смушковая шапка, которая торчала из снега. Дукач схватил эту шапку и при свете звезд увидал мертвенное лицо племянника, облитое чем-то темным, липким, с сырым запахом. Это была кровь.

Дукач задрожал, бросил свою рушницу и пошел на село, где разбудил всех — всем рассказал свое злочинство; перед всеми каялся, говоря: «прав господь, меня наказуя, — идите откопайте их всех из-под снегу, а меня свяжите и везите на суд».

Просьбу Дукача удовлетворили; его связали и посадили в чужой хате, а на гуменник пошли всем миром откапывать Агапа.

XV

Под белым ворохом снега, покрывавшего сани, были найдены окровавленный Агап и невредимая, хотя застывшая Керасивна, а на груди у нее совершенно благополучно спавший ребенок. Лошади стояли тут же, по брюхо в снегу, опустив понурые головы за плетень.

Едва их немножечко поосвободили от замета, как они тронулись и повезли застывших кумовьев и ребенка на хутор. Дукачиха не знала, что ей делать: грустить ли о несчастии мужа или более радоваться о спасении ребенка. Взяв мальчика на руки и поднеся его к огню, она увидала на нем крест и тотчас радостно заплакала, а потом подняла его к иконе и с горячим восторгом, глубоко растроганным голосом сказала:

— Господи! за то, что ты его спас и взял под свой крест, и я не забуду твоей ласки, я вскормлю дитя — и отдам его тебе: пусть будет твоим слугою.

Так дан был обет, который имеет большое значение в нашей истории, где до сих пор еще не видать ничего касающегося «некрещеного попа», меж тем как он уже есть тут, точно «шапка», которая была у Агапа, когда казалось, что ее будто и нет.

Но продолжаю историю: дитя было здорово; нехитрыми крестьянскими средствами скоро привели в себя и Керасивну, которая, однако, из всего вокруг нее происходившего ничего не понимала и твердила только одно:

— Дытина крещена, — и зовите его Савкою.

Этого было довольно для такого суматошного случая, да и имя к тому же было всем по вкусу. Даже расстроенный Дукач, и тот его одобрил и сказал:

— Спасибо перегудинскому попу, що вин не испортил хлопца и не назвал его Николою.

Тут Керасивна уже совсем оправилась и заговорила, что поп было хотел назвать дитя Николою: «так, говорит, по церковной книге идет», только она его переспорила: «я сказала, да бог с ними, сии церковные книги: на що воны нам сдалися; а это не можно, чтобы казачье дитя по-московськи Николою звалось».

— Ты умная казачка, — похвалил ее Дукач и наказал жене подарить ей корову, а сам обещал, если уцелеет, и еще чем-нибудь не забыть ее услуги.

На этом пока и покончилось крестное дело, и наступала долгая и мрачная пора похоронная. Агап так и не пришел в себя: его густым столбом дроби расстрелянная голова почернела прежде, чем ее успели обмыть, и к вечеру наступившего дня он отдал богу свою многострадавшую душу. Этим же вечером три казака, вооруженные длинными палками, отвели старого Дукача в город и сдали его там начальству, которое поместило его как убийцу в острог.

Агапа схоронили, Дукач судился, дитя росло, а Керасивна хотя и поправилась, но все не «сдужала» и сильно изменилась, — все она ходила как не своя. — Она стала тиха, грустна и часто задумывалась; и совсем не ссорилась со своим Керасенко, который понять не мог, что такое подеялось с его жинкою? Жизнь его, до сих пор столь зависимая от ее настойчивости и своенравия, — стала самою безмятежною: он не слыхал от жены ни в чем ни возражения, ни попрека и, не видя более ни во сне, ни наяву рогачевского дворянина,— не знал, как своим счастьем нахвастаться. Эту удивительную перемену в характере Керасивны долго и тщетно обсуждали и на торгу в местечке: сами подруги ее — горластые перекупки говорили, что она «вся здобрилась». И впрямь, не только одного, а даже хоть двух покупщиков от ее лотка с паляницами отбей, она, бывало, даже ни одного черта не посулит ни отцу, ни матери, ни другим сродникам. Про рогачевского же дворянина был даже такой слух, что он будто два раза показывался в Парипсах, но Керасивна на него и смотреть не хотела. Сама соперница ее, пекарша Пиднебесная, — и та, не хотя губить своей души, говорила, что слышала, будто один раз этот паныч,

подойдя к Керасивне купить паляницу, получил от нее такой ответ:

— Иди от меня, щобы мои очи тебя никогда не бачили. Нет у меня для тебя больше ничего, ни дарового, ни продажного.

А когда паныч ее спросил, что такое ей приключилось? то она отвечала:

— Так — тяжко: бо маю тайну велыкую.

Перевернуло это дело и старого Дукача, которого, при добрых старых порядках, целые три года судили и томили в тюрьме по подозрению, что он умышленно убил племянника, а потом, как неодобренного в поведении односельцами, чуть не сослали на поселение. Но дело кончилось тем, что односельцы смиловались и согласились его принять, как только он отбудет в монастыре назначенное ему церковное покаяние.

Дукач оставался на родине только по снисхождению тех самых людей, которых он презирал и ненавидел всю жизнь... Это был ему ужасный урок, и Дукач его отлично принял. Отбыв свое формальное покаяние, он после пяти лет отсутствия из дому пришел в Парипсы очень добрым стариком, всем повинился в своей гордости, у всех испросил себе прощение и опять ушел в тот монастырь, где каялся по судебному решению, и туда же снес свой казанок с рублевиками на молитвы «за три души». Какие это были три души — того Дукач и сам не знал, но так говорила ему Керасивна, что чрез его ужасный характер пропал не один Агап, а еще две души, про которые знает бог да она — Керасивна, но только сказать этого никому не может.

Так это и осталось загадкою, за которую в монастыре отвечал казанок, полный толстых старинных рублевиков.

Меж тем дитя, которого появление на свет и крещение сопровождалось описанными событиями, подросло. Воспитанное матерью — простою, но очень доброю и нежною женщиною,— оно и само радовало ее нежностью и добротою. Напоминаю вам, что когда это дитя было подано матери с груди Керасивны, то Дукачиха «обрекла его богу». Такие «оброки» водились в Малороссии относительно еще в весьма недавнюю пору и исполнялись точно — особенно, если сами «оброчные дети» тому не противились. Впрочем, случаи противления если и бывали, то не часто, вероятно

потому — что «оброчные дети» с самого измальства уже так и воспитывались, чтобы их дух и характер раскрывались в приспособительном настроении. Достигая в таком направлении известного возраста, дитя не только не противоречило родительскому «оброку», но даже само стремилось к выполнению оброка с тем благоговейным чувством покорности, которая доступна только живой вере и любви. Савва Дукачев был воспитан именно по такому рецепту и рано обнаружил склонность к исполнению данных матерью за него обетов. Еще в самом детском возрасте при несколько нежном и слабом сложении он отличался богобоязненностью. Он не только никогда не разорял гнезд, не душил котят, не сек хворостиной лягушек, но все слабые существа имели в нем своего защитника. Слово нежной матери было для него закон, — сколько священный, столь же и приятный, — потому что он во всем согласовался с потребностями собственного нежного сердца ребенка. Любить бога было для него потребностью и высшим удовольствием, и он любил его во всем, что отражает в себе бога и делает его и понятным и неоцененным для того, к кому он пришел и у кого сотворил себе обитель. Вся обстановка ребенка была религиозная: мать его была благочестива и богомольна; отец его даже жил в монастыре и в чем-то каялся. — Ребенок из немногих полунамеков знал, что с его рождением связано что-то такое, что изменило весь их домашний быт, — и все это получало в его глазах мистический характер. Он рос под кровом бога и знал, что из рук его — его никто не возьмет. В восемь лет его отдали учить к брату Пиднебеснихи, Охриму Пиднебесному, который жил в Парипсах, в закоулочке за сестриным шинком, но не имел к этому заведению никакого касательства, а вел жизнь необыкновенную.

XVI

Охрим Пиднебесный принадлежал к новому, очень интересному малороссийскому типу, который начал обозначаться и формироваться в заднепровских селениях едва ли не с первой четверти текущего столетия. Тип этот к настоящему времени уже совсем определился

и отчетливо выразился своим сильным влиянием на религиозное настроение местного населения. Поистине удивительно, что наши народоведы и народолюбцы, копавшиеся во всех мелочах народной жизни, просмотрели или не сочли достойными своего внимания малороссийских простолюдинов, которые пустили совершенно новую струю в религиозный обиход южнорусского народа. — Здесь это сделать некогда, да и мне не по силам; я вам только коротко скажу, что это были какие-то *отшельники в миру:* они строили себе маленькие хаточки при своих родных домах, где-нибудь в закоулочке, жили чисто и опрятно — как душевно, так и во внешности. Они никого не избегали и не чуждались — трудились и работали вместе с семейными и даже были образцами трудолюбия и домовитости, не уклонялись и от беседы, но во все вносили свой, немножко пуританский, характер. Они очень уважали «наученность», и каждый из них непременно был грамотен; а грамотность эта самым главным образом употреблялась для изучения слова божия, за которое они принимались с пламенною ревностью и благоговением, а также с предубеждением, что оно сохранилось в чистоте только в одной книге Нового завета, а в «преданиях человеческих», которым следует духовенство, — все извращено и перепорчено. Говорят, будто такие мысли внушены им немецкими колонистами, но, по-моему, все равно — кем это внушено, — я знаю только одно, что из этого потом вышла так называемая *«штунда».*

Холостой брат Пиднебеснихи, казак Охрим, был из людей этого сорта: он сам научился грамоте и писанию и считал своею обязанностью научить всему этому и других. Учил он кого только мог, и всегда задаром — ожидая за свой труд той платы, которая обещана каждому, «кто научит и наставит». Учительство это обыкновенно ослабевало летом, во время полевых работ, но зато усиливалось с осени и шло неослабно во всю зиму до весенней пашни. Дети учились днем, а по вечерам у Пиднебесного собирались «вечерницы» — рабочие посиделки, — так, как и у прочих людей. Только у Охрима не пели пустых песен и не вели празднословия, а дивчата пряли лен и волну, а сам Охрим, выставив на стол тарелку меду и тарелку орехов для угощения «во имя Христово», просил за это потчевание позволить ему «поговорить о Христе».

Молодой народ это ему дозволял, и Охрим услаждал добрые души медом, орехами и евангельскою беседою и скоро так их к этому приохотил, что ни одна девица и ни один парень не хотели и идти на вечерницы в другое место. Беседы пошли даже и без меду и без орехов.

На Охримовых вечерницах также происходили и сближения, последствием которых являлись браки, но тут тоже была замечена очень странная особенность, необыкновенно послужившая в пользу Охримовой репутации: все молодые люди, полюбившиеся между собою на вечерницах Охрима и потом сделавшиеся супругами, — были, как на отбор, счастливы друг другом. Конечно, это всего вероятнее происходило оттого, что их сближение происходило в мирной атмосфере духовности, а не в мятеже разгульной страстности — когда выбором руководит желанье крови, а не чуткое влечение сердца. Словом, велось по писанию: «Господь вселял в дом единомысленные, а не преогорчевающие». Так все шло в пользу репутации Пиднебесного, который, несмотря на свою простоту и непритязательность, стал в Парипсах в самое почетное положение — человека богоугодного. К нему не ходили на суд только потому, что он никого не судил, а научиться у него желали все, «ожидавшие воскресения».

XVII

Таких людей, как Охрим Пиднебесный, в Малороссии в то время обозначилось несколько, но все они крылись без шуму и долго оставались незамеченными для всех, кроме крестьянского мира.

Спустя целую четверть столетия эти люди сами сказались, явясь в обширном и тесно сплоченном религиозном союзе, который называется «штундою». Я очень хорошо знал одного из таких вожаков: это был приветливый, добрый холостой казак-девственник. Как большинство его товарищей, он научился грамоте самоучкою и обучил один всех окрестных ребят и девушек. Последних он учил на вечерницах, или, по-великорусскому, на «посиделках», на которые они собирались к нему с работою. Девушки пряли и шили, а он рассказывал о Христе.

Толкования его были самые простые, совсем чуждые всякой догматики и богослужебных установлений, а имеющие почти исключительно цели нравственного воспитания человека по идеям Иисуса. Мой знакомый казак-проповедник жил, однако, *на левой* стороне Днепра, в местности, где еще нет штунды.

Впрочем, в то время, к которому относится рассказ, учение это еще не имело ничего сформированного и по правому днепровскому берегу.

XVIII

Хлопца Дукачева Савку отдали учить грамоте к Пиднебесному, а тот, заметив, с одной стороны, быстрые способности ребенка, а с другой, его горячую религиозность, очень его полюбил. Савва платил своему чистосердечному учителю тем же. Так между ними образовалась связь, которая оказалась до такой степени крепкою и нежною, что когда старый Дукач взял сына в монастырь, чтобы там посвятить его по материнскому обету на служение богу, то мальчик затосковал невыносимо, не столько по матери, сколько о своем простодушном учителе. И эта тоска так повлияла на слабую организацию нежного ребенка, что он скоро заболел, слег и наверно бы умер, если бы его неожиданно не навестил Пиднебесный.

Он понял причину недуга своего маленького друга и, вернувшись в Парипсы, сумел внушить Дукачихе, что жертва богу не должна быть детоубийством. А потому советовал не томить более дитя в монастыре, а устроить его в *«живую жертву»*. Пиднебесный указывал путь не совсем чуждый и незнакомый малороссийскому казачеству: он советовал отдать Савву в духовное училище, откуда он потом может перейти в семинарию — и может сделаться сельским священником, а всякий сельский священник может сделать много добра бедным и темным людям и стать через это другом Христовым и другом божиим.

Дукачиха убедилась доводами Охрима, и отрок Савка был взят из монастыря и отвезен в духовное училище. Это все одобряли, кроме одной Керасивны, в которую,

вероятно за ее старые грехи, — вселился какой-то сумрачный дух противоречия, сказывавшийся весьма неистовыми выходками, когда дело касалось ее крестника. Она его как будто и любила и жалела, а между тем бог знает как на его счет смущала.

Это началось еще с самого младенчества: понесут, бывало, Савку причащать — Керасивна кричит:

— Що вы робите! не надо; не носить его... се така дытына... неможна его причащать.

Не послушают ее — она вся позеленеет и либо смеется, либо просит народ в церкви:

— Пустите меня скорее вон, — щоб мои очи не бачили, як ему будут Христовой крови давать.

На вопросы: что это ее так смущает? — она отвечала:

— Так, мени тяжко! — из чего все и заключили, что с тех пор, как она поисправилась в своей жизни и больше не колдует, черт нашел в ее душе убранную хороминку и вернулся туда, приведя с собою еще несколько других *«бисов»,* которые не любят ребенка Савку.

И впрямь, *«бисы»* жестоко расхлопотались, когда Савку повезли в монастырь: они так поджигали Керасивну, что та больше трех верст гналась за санями, крича:

— Не губите свою душу — не везите его в монастырь, — бо оно к сему не сдатное.

Но ее, разумеется, не послушали, — теперь же, когда пошла речь об определении мальчика в училище, «откуда в попы выходят», — с Керасивной сделалась беда: ее ударил паралич, и она надолго потеряла дар слова, который возвратился к ней, когда дитя уже было определено.

Правда, что при определении Савки явилось было и еще одно маленькое препятствие, которое состояло в в том, что никак не могли найти его записанным в метрические книги перегудинской церкви, но это ужасное обстоятельство для школ гражданских — в духовных училищах принимается несколько мягче. В духовных училищах знают, что духовенство часто позабывает вписывать *своих* детей в метрики. Окрестивши, хорошенько подвыпьют — боятся писать, что руки трясутся; назавтра похмеляются; на третий день ходят без памяти, а потом так и забудут вписать. Случаи такие известны, и, конечно, так это было и здесь, а потому хотя смотритель руганул причет пьяницами, но мальчика принял, как он запи-

сан по исповедным росписям. А в исповедных росписях Савва был записан прекрасно: точно, и даже не по одному разу в год.

Этим все дело и исправили, — и пошел хороший мальчик Савка отлично учиться — окончил училище, окончил семинарию и был назначен в академию, но неожиданно для всех отказался и объявил желание быть простым священником, и то непременно в сельском приходе. Отец молодого богослова — старый Дукач к этому времени уже умер, но мать его, старушка, еще жила в тех же Парипсах, где как раз об эту пору скончался священник и открылась ваканция. Молодой человек и попал на это место. Неожиданная весть о таком назначении очень обрадовала парипсянских казаков, но зато совершенно лишила смысла остаревшую Керасивну.

Услышав, что ее крестник Савва ставится в попы, она без стыда разорвала на себе плахту и намисто; пала на кучу перегноя и выла:

— Ой земля, земля! возьми нас обоих! — Но потом, когда этот дух ее немножко поосвободил, она встала, начала креститься и ушла к себе в хату. А через час ее видели, как она вся в темном уборчике и с палочкой в руках шла большим шляхом в губернский город, где должно было происходить поставление Саввы Дукачева в священники.

Несколько человек встретили на этом шляхе Керасивну и видели, что она шла очень поспешаючи, — ни отдыхать не садилась и ни о чем не разговаривала, а имела такой вид, как бы на смерть шла: все вверх глядела и шепотом что-то шептала, — верно, богу молилась. Но бог и тут не внял ее молитве. Хотя она и попала в собор в ту самую минуту, когда дьяконы, наяривая ставленника в шею, крикнули «повелите», но никто не внял тому, что из толпы одна сельская баба крикнула: «Ой, не велю ж, не велю!» Ставленника постригли, а бабу выпхали и отпустили, продержав дней десять в полиции, пока она перестирала приставу все белье и нарубила две кади капусты. — Керасивна об одном только интересовалась: «чи вже Савка пип?» И, узнав, что он поп, она пала на колени и так на коленях и проползла восемь — десять верст до своих Парипс, куда этими днями уже прибыл и новый «пип Савка».

XIX

Парипсянские казаки, как сказано, были очень рады, что им назначили пана-отца из их же казачьего рода, и встретили попа Савву с большим радушием. Особенно их расположило к нему еще то, что он был очень почтителен с старой матерью и сейчас же, как приехал, спросил про свою «крестную», — хотя наверно слыхал, что она была и такая, и сякая, и ведьма. Он ничем этим не погнушался. Вообще всем показалось, что человек этот обещал быть очень добрым священником, и он таким и был на самом деле. Все его полюбили, и даже Керасивна ничего против него не говорила, а только порою супила брови да вздыхала, шепча:

— Усе бы добре, да як бы в сей юшке рыбка была.

Но рыбки в ухе, по ее мнению, не было, а без рыбы нет и ухи. Стало быть, как ни хорош поп Савва, а он ничего не стоит, и это непременно должно обнаружиться.

И впрямь — в нем начали замечаться странности: во-первых, он был беден, но совершенно равнодушен к деньгам. Во-вторых, вскоре овдовев, он не выл и не брал себе молодой наймычки; в-третьих, когда несколько женщин пришли ему сказать, что идут по обету в Киев, то он советовал заменить их поход обетом послужить больным и бедным, а прежде всего успокоить семью заботами о доброй жизни; а что касается данного обета, — он оказал неслыханную дерзость — вызвался разрешить его и взять ответ на себя. «Разрешить обет, данный угодникам...» Это многим показалось таким богохульством, которое едва ли возможно для человека крещеного. Но и на этом дело не остановилось — поп Савва вскоре же дал противу себя еще бо́льшие сомнения: в первый же великий пост, когда все прихожане перебывали у него на духу, оказалось, что он ни одному человеку не запретил есть, что ему бог послал, и никому не назначил епитимных поклонов, а если и были от него кому-нибудь епитимные назначения, то они показывали новые странности. Так, например, мельнику Гаврилке, который заведомо брал за помол очень глубоким ковшом, отец Савва настоятельно наказал сейчас же после исповеди сострогнуть в этом ковше края, чтобы не брать лишнего зерна. Иначе не хотел дать ему причастия — и привел ему на то доводы от писания,

что неправая мера бога гневает и может навлечь наказание. Мельник послушался, и все перестали им обижаться, и повалил на его мельницу помол без перерыва. Он всенародно признался, что так с ним Саввина епитимия сделала. Молодая, очень горячая бабенка, бывшая за вторым мужем, лютовала над первобрачными детьми. Отец Савва и в это дело вмешался, и после первого же своего говенья у него молодая мачеха как переродилась и стала добра к падчерицам и к пасынкам. Жертвы за грехи он хотя и принимал, — но не на ладан и не на свечи, а для двух бездомных и бесприютных сироток Михалки и Потапки, которые жили у попа Саввы в землянке под колокольней.

— Да, — скажет, бывало, поп Савва бабе или девушке, — дай бог, чтобы тебе это было прощено и чтобы ты вперед не согрешала, а ты для того поусердствуй: послужи господу.

— Радым рада, батечку, тильки не знаю: чим ему услуговать... хиба сходить у Кыев.

— Нет, никуда далеко ходить не надо, — дома трудись и не делай того, что делала, а теперь сейчас пойди смеряй божиих деток Михалку да Потапку и сшей им по порточкам, хоть по коротеньким, да по сорочке. А то велики стали — стыдятся голые пузеня людям казать.

Грешницы охотно несли и эту епитимию, и Михалка с Потапкой жили под опекою отца Саввы, как у самого Христа за пазушкой — и не только *«голых пузеней»* не показывали, но и всего своего сиротства почти не замечали.

И подобные епитимии о. Саввы были не только всем под силу, но и многим очень по сердцу — даже утешительны. Только, наконец, о. Савва выкинул такую штуку, которая ему обошлась дорого. Стали к нему, в его маленькую церковку ходить окольные люди из перегудинского прихода, где он был крещен и где теперь был уже другой поп — не тот, с которым выпивала в своей молодости Керасивна и к которому она возила по знакомству крестить Дукачева Савку. Это положило начало недружеству со стороны перегудинского попа к о. Савве, а тут произошел другой вредный случай: умер перегудинский прихожанин, богатый казак Оселедец, и, умирая, хотел завещать «копу рублей на великий дзвин», то есть на по-

купку большого колокола, но вдруг, поговорив перед самою смертью с отцом Саввою, круто отменил свое намерение и ничего не назначил на велыкий дзвин, а призвал трех хороших хозяев и объявил, что отдает им эту копу грошей с завещанием употребить их на ту «божу потребу, яку скаже пан-отец Савва». — Казак Оселедец умер, а пан-отец Савва указал построить за его копу грошей светлую хату с растворчатыми окнами и стал собирать в нее ребят да учить их грамоте и слову божию.

Казаки думали, что это, пожалуй, дело хорошее, но не знали: богоугодное ли оно дело; а перегудинский поп это им вытолковывал так, что дело выходит не богоугодное. Про то он обещал и донос писать, и написал. Отца Савву звали к архиерею, но отпустили с миром, и он продолжал свое дело: служил и учил и в школе, и дома, и на поле, и в своей малой деревянной церковке. Времени прошло несколько лет. Перегудинский поп, соревнуя отцу Савве, этою порою отстроил каменную церковь не в пример лучше парипсянской и богатый образ достал, от которого людям разные чудеса сказывал, но поп Савва и его чудесам не завидовал, а все вел свое тихое дело по-своему. Он в той же деревянной маленькой церкви молился и божие слово читал, и его маленькая церковка ему с людьми хоть порою тесна была, да зато перегудинскому попу в его каменном храме так было просторно, что он чуть ли не сам-друг с пономарем по всей церкви расхаживал и смотрел, как смело на амвон церковная мышь выбегала и опять под амвон пряталась. И стало это перегудинскому попу, наконец, очень досадно, но он мог лютовать на своего парипсянского соседа, отца Савву, сколько хотел, а вреда ему никакого сделать не мог, потому что нечем ему было под отца Савву подкопаться, да и архиерей стоял за Савву до того, что оправдал его даже в той великой вине, что он переменил настроение казака Оселедца, копа грошей которого пошла не на дзвин, а на школу. Долго перегудинский поп это терпел, довольствуясь только тем, что сочинял на Савву какие-нибудь нескладицы вроде того, что он чародей и его крестная матка была всем известная в молодости гулячка и до сих пор остается ведьмой, потому что никому на духу не кается и не может умереть, ибо в писании сказано:

«не хощет бог смерти грешника», но хочет, чтоб он обратился. А она не обращается, — говеет, а на дух не ходит.

Это таки и была правда: старая Керасивна, давно оставившая все свои слабости, хоть и жила честно и богобоязненно, но к исповеди не ходила. Ну и возродились опять толки, что она ведьма и что, может быть, и вправду пан-отец Савва хорош «за ее помогой».

Стал такой говор, а тут к делу подоспел другой пустой случай: стало у коров молоко пропадать... Кто этому мог быть виноват, как не ведьма; а кто еще бо́льшая ведьма, как не старая Керасивна, которая, всем известно, на целое село мару напускала, мужа чертом оборачивала и теперь пережила на селе всех своих сверстников и ровесников и все живет и ни исповедоваться, ни умирать не хочет.

Надо было довести ее до того и до другого, и за это взялись несколько добрых людей, давших себе слово: кто первый встретит старую Керасивну в темном месте, — ударить ее, — как надлежит настоящему православному христианину бить ведьму, — один раз чем попало *наотмашь* и сказать ей:

— Издыхай, а то еще бить буду.

И одному из тех богочтителей, которые взялись за такой подвиг, посчастливилось: повстречал он старую Керасивну в безлюдном закоулке и сподобился так угостить ее с одного приема, что она тут же кувырнулась ничком и простонала:

— Ой, умираю: зовите попа — исповедаться хочу.

Сразу ведьма узнала, за что ее ударили!

Но чуть перетащили ее домой и прибежал к ней в перепуге отец Савва, она опять передумала и начала оттягивать:

— Мне у тебя, — говорит, — нельзя исповедоваться, — твоя исповедь не пользует, — хочу другого попа!

Добрый отец Савва сейчас же на своей лошадке послал в Перегуды за своим порицателем — тамошним священником, и одного опасался, что тот закобенится и не приедет; но опасение это было напрасно: перегудинский поп приехал, вошел к умирающей и оставался с нею долго; долго; а потом вышел из хаты на крылечко, заложил дароносицу за пазуху и ну заливаться самым непристойным смехом. Так смеется, так смеется, что и унять его

нельзя, и люди смотрят на него и понять не могут: к чему это статочно.

— Да ну бо, — годи вам, пан-отче: что-то вы так смиетесь, що нам аж страшно, — говорят ему люди.

А он отвечает:

— О, то же оно так и надлежит, щобы вам було страшно; да щобы всим страшно було — на весь крещеный мир, бо у вас тут такое поганство завелось, якого от самого первого дня — от святого князя Владимира не було.

— О, да бог з вами, — не пужайте так страшно: идить, будьте ласковы швидче до отца Саввы — с ним поговорить: нехай вин що добре вздумае, — як помогты хрыстияньским душам.

А перегудинский поп еще больше расхохотался и вдруг весь позеленел, глаза выпучил и отвечает:

— Дурни вы вси — темны и непросвещенные люди: школу себе вывели, а ничего не бачите.

— Да того же мы вас и просим: идите до нашего отца Саввы, — вин вас у себя в хате дожида: сядьте с ним поговорить: вин все бачит.

— Бачит! — закричал перегудинский поп. — Ни; ничего вин не бачит: вин и того не зна: кто вин сам такий есть на свити!

— Се мы вси знаемо, що вин наш пан-отец — пип.

— Пип!

— А вже ж пип.

— А я вам кажу, що вин совсим и не пип!

— Як не пип?

— А так, не пип, да и не христианин.

— Як не христианин! годи бо вам: що се вы брешете?

— А ни: не брешу — он не христианин.

— А що ж вин таке?

— Що вин таке?

— Да!

— А бисяка его знае, що вин таке!

Люди даже отшатнулись и перекрестились, а перегудинский поп сел в сани и говорит:

— Вот я прямо от вас еду к благочинному и везу ему такую весть, що на весь мир христианский будет срам велыкий, и тогда вы побачите, що и пип ваш — не пип и не христианин, и дитки ваши не христиане, а кого он из вас венчав — те все равно что не венчаны, и те, которых схо-

ронил, — умерли яко псы, без отпущения, и мучатся там в пекле, и будут вик мучиться, и нихто их оттуда выратувать не может. Да; и все это, что я говорю, — есть великая правда, и с тем я до благочинного еду, а вы если мне не верите, — идите все зараз до Керасихи, и поки она еще дышит, — я приказал ей под страшным заклятием, чтобы она вам все рассказала: кто есть таков сей чоловик, що вы зовете своим попом Саввою. Да, годи уже ему людей портить: вон и сорока села у него на крыше и кричит: «Савка, скинь кафтан!» Ничего; скоро увидимся. — Хлопче! погоняй до благочинного, а ты, сорочка, чекочи громче: «Савка, скинь кафтан!» А мы с благочинным сейчас назад будем.

С этим перегудинский поп ускакал, а люди, сколько их тут было, — хотели все кучей валить в хатку Керасивны, — чтобы допытать ее: что такое она наговорила про своего крестника — отца Савву; но, мало подумавши, решили сделать еще иначе, послать к ней двух казаков, да чтобы с ними третий был сам поп Савва.

XX

Пришли казаки и отец Савва и застали Керасивну, что она лежит под образами и сама горько-прегорько плачет.

— Прости меня, — говорит, — мое серденько, мое милое да несчастливое, — заговорила она до Саввы, — носила я в своем сердце твою тайную причину, а свою вину больше як тридцать лет и боялась не только наяву ее никому не сказать, но шчоб и во сне не сбредила, и оттого столько лет и на дух не шла, ну а теперь, когда всевышнему предстать нужно, — все открыла.

Отец Савва, может быть, и струсил немножко чего-нибудь, потому что вся эта тайна его слишком сурово дотрогивалася, но виду не показал, а спокойно говорит:

— Да што таке за дило велыке?

— Грех велыкий я содеяла, и именно над тобою.

— Надо мною? — переспросил отец Савва.

— Да, над тобою: я тебе все в жизни испортила, потому что хотя ты и писанию научен и в попы поставлен,

а ни к чему ты к этому не годишься, потому что ты сам до сих пор нехрещеный человик.

Не мудрено себе представить, что́ должен был почувствозать при таком открытии отец Савва. Он сначала было принял это за болезненный бред умирающей — даже улыбнулся на ее слова и сказал:

— Полно, полно, крестниинькая: как же я некрещеный, когда ты моя крестная?

Но Керасивна обнаруживала полную ясность ума и последовательность в своем рассказе.

— Оставь про это, — сказала она. — Якая я тебе крестная? Никто тебя не крестил. И кто во всем этом виновать, — я не знаю и во всю жизнь не могла узнать: зробилось ли это от наших грехов или, может быть, больше от Николиной велыкой московськой хитрости. Но вот идет перегудинский пан-отец с благочинным — сиди и ты здесь, — я всем все расскажу.

Благочинный было не хотел, чтобы отец Савва и казаки слушали признания Керасивны, но она настояла на своем, под угрозою, что иначе не будет рассказывать.

Вот ее исповедь.

XXI

— Поп Савва, — говорит, — совсем и не поп и не Савва, а человек нехрещеный, и это дело я одна знаю на свете. Пошло это все с того, что его покойный отец, старый Дукач, был очень лют: все его не любили и все боялись, и когда у него родился сын, никто не хотел идти в кумовья, чтобы хрестить это дытя. Звал старый Дукач и судейского паныча и дочку нашего покойного пана-отца, да никто не пошел. Тогда старый Дукач еще больше разлютовался на весь народ и на самого пана-отца — и его самого не захотел крестить просить. «Обойдусь, говорит, без всего, без их звания». Кликнул племянника Агапку, что у него по сиротству в дурнях жил, да и велел пару коней запрячь и меня кумою позвал: «Поезжай, говорит, Керасивна, с Агапом в чужое село и нынче же окрестите мою дытину». И он мне шубу подарил, только бог с нею, — я ее после того случая и не надевала: вон она

как и теперь через все тридцать лет цела висит. И наказал мне Дукач одно, что «смотри, говорит, як Агап человек глупый, он ничего сделать не сумеет, то ты гляди, добре с попом уладьтесь, щобы он, чего боже борони, по якой ни есть злобе не дал хлопцу якого имени не христианского, трудного, або московського. На двори у нас Варварин день, а то очень опасно, — бо тут коло Варвары сряду близко Никола живет, а Никола и есть самый первый москаль, и он нам, казакам, ни в чем не помогает, а все на московськую руку тянет. Що там где ни случись, хоть и наша правда, — а он пойдет, так-сяк перед богом наговорит, и все на московськую руку сделает, и своих москалей выкрутит и оправит, а казачество обидит. Борони бог нам и детей в его имя называть. А вот тут же рядом с ним живет святый Савка. Этот из казаков и до нас дуже добрый. Якый он там ни есть, хоть и не важный, а своего казака не выдаст».

Я говорю:

«Се так: да маломочен вин, святый Савка!»

А Дукач говорит:

«Ничего, что маломочен, — зато вин дуже штуковатый: где его сила не возьмет, так на хитрость подымется и как-нибудь да отстоит казака. А мы ему в силе сами помочь дадим, станем свечи ставить и молебен споем: бог побачит, що и святого Савку люди добре почитают, и сам на его увагу поверне, а вин тогда и подсилится».

Я все, что Дукач просил, — ему обещала. И завернула малóго в шубу, крест его себе на шею надела, а в ноги барилочку с сливянкой поставили, и поехали. Но только мы с версту отъехали, как поднялась метель — просто ехать нельзя: зги никакой не видно.

Я говорю Агапу:

«Нельзя нам ехать, — воротимся!»

А он дяди боялся и ни за что не хотел воротиться.

«Бог даст, — говорит, — доедем. А мне чи замерзнуть, чи меня дядько убье — то все едыно».

И все коней погоняет, и как уперся, так на своем и стоит.

А тем временем стало темнеть, и сделалось не видно и следа. Едем мы, едем, и не знаем, куда едем. Кони туда-сюда вертят, крутятся, — и никуда не приедем. Перезябли мы страшно и, чтобы не застыть, взяли и сами потянули

из той барилочки, что перегудинскому попу везли. А я на дитя посмотрела: думала — борони бог, не задохло бы. Нет, тепленькое лежит и дышит так, что даже парок от него валит. Я ему дырочку над личиком прокопала — пусть дышит, и опять поехали, и опять ездили, ездили, видим, мы опять всё крутимся, и нет нам во тьме никакого просвета, а кони куда знают, туда и воротят. Теперь уже и домой вернуться, как раньше думали, чтобы переждать метель, и того нельзя, — нельзя уже стало и знать, куда ворочаться: где Парипсы, а где Перегуды. Я послала Агапа, чтобы встал да коней на поводу вел, а он говорит: «Якая ты умная! мне холодно». Обещаю ему, как домой вернемся, злот ему дать, а он говорит:

«На що мени ваш и злот, як мы оба тут издохнем. А если хотите мне что сделать от доброй души, так дайте мне еще хорошенько потянуть из барила». Я говорю: «Пей сколько хочешь», — он и попил. Попил и пошел вперед, чтобы брать коней за узду, да заместо того сейчас же сразу назад: вернулся и весь трясется.

«Что ты, — говорю, — что с тобою такое?»

А он отвечает:

«Да ишь вы, — говорит, — якая умная: разве я могу против Николы перти?»

«Что ты, глупый человек, говоришь: чего тебе против Николы перти?»

«А кто его знает, — говорит, — чего он там стоит?»

«Где, кто стоит?»

«А вон там, — говорит, — у самого запряга — впереди коней».

«Да цур тобе, дурню, — говорю, — ты пьян!»

«Эге, хорошо, — отвечает, — что пьян, а вот же твой муж был и не пьян, да мару видел, и я вижу».

«Ну вот, — говорю, — ты еще моего мужа вспомнил: что он видел — это я лучше тебя знаю, что он видел, а ты говори: что тебе показывается!»

«А стоит що-сь таке совсим дуже велике в московськой золотой шапци, аж с нее искры сыплются».

«Это, — говорю, — у тебя у самого из пьяных глаз сыпется».

«Нет, — спорит, — это Никола в московськой шапци. Он нас и не пуска».

Я и вздумала, что это, может быть, неправда, а может, и вправду за то, что мы не хотели хлопца Николою писать, а Савкою, и говорю:

«Нехай же по его буде: не пуска, и не надо — мы ему теперь уступим, а завтра по-своему сделаем. Пусти коней идти, куда хотят, — они нас домой привезут; а ты теперь зато хоть всю барилочку выпей».

Смутила я Агапа.

«Ты, — говорю, — выпей побольше и только знай помалчивай, а я такое брехать стану, что никому в ум не вступит, что мы брешем. Скажем, что детину охрестили и назвали его, как Дукач хотел, добрым казачьим именем — Савкою, — вот и крестик пока ему на шейку наденем; и в недилю (воскресенье) скажем: пан-отец велел дытину привезти, чтобы его причастить, и как повезем, тогда зараз и окрестим и причастим — и все будет тогда, как следует по-христианскому».

И открыла опять дытиночка, — оно такое живеньке, спит, а само тепленьке, даже снежок у него на лобике тает; я ему этой талої водицей на личике крест обвела и проговорила: во имя отца, сына, и крестик надела, и пустились на божию волю, куда кони вывезут.

Кони все шли да шли — то идут, то остановятся, то опять поїдут, а погода все хуже да хуже, стыдь все лютее. Агап совсем опьянел, сначала бормотал что-то, а после и голоса не стал подавать — свалился в сани и захрапел. А я все стыла да стыла и так и не пришла в себя, пока меня у Дукача в доме снегом стали оттирать. Тут я очнулась и вспоминала, что хотела сказать, и то самое сказала, что дитя будто охрещено и что будто дано ему имя Савва. Мне и поверили, и я покойна была, потому что думала все это поправить, как сказано, в первое же воскресенье. А того и не знала, что Агап был застреленный и скоро умер, а старого Дукача в острог берут; а когда узнала, я хотела во всем повиниться хоть старой Дукачихе, да никак не решалася, потому что в семье тогда большое горе было. Думала, расскажу это все после, да и после тяжело было это открывать, и так все это день ото дня откладывалось. А время шло да шло, а хлопец все рос; и все его Савкой звали, и в науку его отдали, — я все не собралась открыть тайну, и все мучилась, и все собиралась открыть, что он некрещеный, а тут, когда

вдруг услыхала, что его даже в попы ставят, — побежала было в город сказать, да меня не допустили и его поставили, и говорить стало не к чему. Зато с тех пор я уже и минуты покоя не знаю — мучусь, что через меня все христианство на моем родном месте с некрещеным попом в посмех отдается. Потом, чем старее становилась и видела, что люди его все больше любят, тем хуже мучилась и боялась, что меня земля не примет. И вот только теперь, в мой смертный случай, насилу сказала. Пусть простит мне все христианство, чьи души я некрещеным попом сгубила, а меня хоть живую в землю заройте, и я ту казнь приму с радостью».

Благочинный и перегудинский поп всё это выслушали, все записали и оба к той записи подписались, прочитали отцу Савве, а потом пошли в церковь, положили везде печати и уехали в губернский город к архиерею и самого отца Савву с собой увезли.

А народ тут и зашумел, пошли переговоры: что это такое над нашим паном-отцом, да откудова и с какой стати? И можно ли тому быть, как говорит Керасиха? Статочное ли дело ведьме верить?

И сгромоздили такую комбинацию, что все это от Николы и что теперь надо как можно лучше «подсилить» перед богом святого Савку и идти самим до архиерея. Отбили церковь, зажгли перед святцами все свечи, сколько было в ящике, и послали вслед за благочинным шесть добрых казаков к архиерею просить, чтобы он отца Савву и думать не смел от них трогать, «а то-де мы без сего пана-отца никого слухать не хочем и пойдем до иной веры, хоть если не до катылицкой, то до турецькой, а только без Саввы не останемся».

Вот тут-то архиерею и была загвоздка почище того, что «диакон ударил трепака, а трепак не просит: зачем же благочинный доносит?»

Керасивна умерла, подтвердив в своем порыве покаяния всем то, что мы знаем, и выборные казаки пошли к архиерею и всю ночь всё думали о том, что они сделают, если архиерей их не послушает и возьмет у них попа Савву?

И еще тверже решили, что вернутся они тогда на село — сразу выпьют во всех шинках всю горелку, чтобы

она никому не досталась, а потом возьмет из них каждый по три бабы, а кто богаче, тот четыре, и будут настоящими турками, но только другого попа не хотят, пока жив их добрый Савва. И как это можно допустить, что он не крещен, когда им крещено, исповедано, венчано и схоронено так много людей по всему христианству? Неужели теперь должны все эти люди быть в «поганьском положении»? Одно, что казаки соглашались еще уступить архиерею, — это то, что если нельзя отцу Савве попом оставаться, то пусть архиерей его у себя, где знает, тихонько окрестит, а только чтобы все-таки он его оставил... или иначе они... «удадутся до турецькой веры».

XXII

Это опять было зимою, и опять было под вечер и как раз около того же Николина или Саввина дня, когда Керасивна тридцать пять лет тому назад ездила из Парипсов в Перегуды крестить маленького Дукачева сына.

От Парипс до губернского города, где жил архиерей, было верст сорок. Отправившаяся на выручку отца Саввы громада считала, что она пройдет верст пятнадцать до большой корчмы жида Иоселя, — там подкрепится, погреется и к утру как раз явится к архиерею.

Вышло немножко не так. Обстоятельства, имеющие прихоть повторяться, сыграли с казаками ту самую историю, какая тридцать пять лет тому назад была разыграна с Агапом и Керасивной: поднялась страшная метель, и казаки всею громадою начали плутать по степи, потеряли след и, сбившись с дороги, не знали, где они находятся, как вдруг, может быть всего за час перед рассветом, видят, стоит человек, и не на простом месте, а на льду над прорубью, и говорит весело:

— Здорово, хлопцы!

Те поздоровались.

— Чего, — говорит, — это вас в такую пору носит: видите, вы мало в воду не попали.

— Так, — говорят, — горе у нас большое, мы до архиерея спешим: хотим прежде своих врагов его видеть, щобы он на нашу руку сделал.

— А что вам надо сделать?

— А чтобы он нам нехрещеного попа оставил, а то мы такие несчастливые, що в турки пидемо.

— Как в турки пидете! Туркам нельзя горелки пить.

— А мы ее всю вперед сразу выпьем.

— Ишь вы, какие лукавые.

— Да що же масм робить при такой обиде — як доброго попа берут.

Незнакомый говорит:

— Ну так расскажите-ка мне всё толком.

Те и рассказали. И так ни с того ни с сего, стоя у проруби, умно все по порядку сказали и опять дополнили, что если архиерей им не оставит того Савву, то они «всей веры решатся».

Тут им этот незнакомый и говорит:

— Ну, не бойтесь, хлопцы, я надеюсь, что архиерей хорошо рассудит.

— Да воно б так и нам, — говорят, — сдается, что такий великий чин маючи, надо добре рассудить, а бог его церьковный знае...

— Рассудит; рассудит, а не рассудит, так я помогу.

— Ты?.. а ты кто такой?

— Скажи: як тебя звать?

— Меня, — говорит, — звать Саввою.

Казаки друг друга и толкнули в бок.

— Чуете, се сам Савва.

А тот Савва им потом: «Вот, — говорит, — вы пришли куда вам следует, — вон на горке монастырь, там и архиерей живет».

Смотрят, и точно: виднеть стало, и перед ними за рекою на горке монастырь.

Очень казаки удивились, что под такою суровою непогодою без отдыха прошли сорок верст, и, взобравшись на горку, сели они у монастыря, достали из сумочек у кого что было съедобного и стали подкрепляться, а сами ждут, когда к утрене ударят и отопрут ворота.

Дождались, вошли, утреню отстояли и потом явились на архиерейское крыльцо просить аудиенции.

Хотя наши архипастыри и не очень охочи до бесед с простецами, но этих казаков сразу пустили в покои и поставили в приемную, где они долго, долго ждали, пока

явились сюда и перегудинский поп, и благочинный, и поп Савва, и много других людей.

Вышел архиерей и со всеми людьми переговорил, а с благочинным и с казаками ни слова, пока всех других из залы выпустил, а потом прямо говорит казакам:

— Ну что, хлопцы, обидно вам? Некрещеного попа себе очень желаете?

А те отвечают:

— Милуйте — жалуйте, ваше высокопреосвященство: як же не обида... такий був пип, такий пип, що другого такого во всем хрыстианстве нема...

Архиерей улыбнулся.

— Именно, — говорит, — такого другого нема, — да с этим оборачивается до благочинного и говорит:

— Поди-ка в ризницу: возьми, там тебе Савва книгу приготовил, принеси и читай, где раскрыта.

А сам сел.

Благочинный принес книгу и начал читать: «Не хощу же вас не ведети, братие, яко отцы наши *вси под облаком быша,* и вси сквозь море проидоша, и вси в Моисея *крестишася во облаце и в мори.* И вси тожде брашно духовное ядоша, и вси тожде пиво духовное пияху, бо от духовного последующего камене: камень же бе Христос».

На этом месте архиерей и перебил, говорит:

— Разумеешь ли, яже чтеши?

Благочинный отвечает:

— Разумею.

— И сейчас ли только ты это уразумел!

А благочинный и не знает, что отвечать, и так наобол-маш сказал:

— Слова сии я и прежде чел.

— А если чел, так зачем же ты такую тревогу допустил и этих добрых людей смутил, которым он добрым пастырем был?

Благочинный отвечал:

— По правилам святых отец...

А архиерей перебил:

— Стой, — говорит, — стой: иди опять к Савве, он тебе даст правило.

Тот пошел и пришел с новою книгою.

— Читай, — говорит архиерей.

— Читаем, — начал благочинный, — у святого Григо-

рия Богослова писано про Василия Великого, что он «был для христиан иереем до священства».

— Сие к чему? — говорит архиерей.

А благочинный отвечает:

— Я только по долгу службы моей, как оказался он некрещеный в таком сане...

Но тут архиерей как топнет:

— Еще, — говорит, — и теперь все свое повторяешь! Стало быть, по-твоему, сквозь облако пройдя, в Моисея можно окреститься, а во Христа нельзя? Ведь тебе же сказано, что они, добиваясь крещения, и влажное облако со страхом смертным проникали и на челе расталою водою того облака крест младенцу на лице написали во имя святой троицы. Чего же тебе еще надо? Вздорный ты человек и не годишься к делу: я ставлю на твое место попа Савву; а вы, хлопцы, будьте без сомнения: поп ваш Савва, который вам хорош, и мне хорош и богу приятен, и идите домой без сомнения.

Те ему в ноги.

— Довольны вы?

— Дуже довольны, — отвечают хлопцы.

— Не пойдете теперь в турки?

— Тпфу! не пидемо, батьку, не пидемо.

— И всю горелку сразу не выпьете?

— Не выпьемо от разу, не выпьемо, цур ий, пек!

— Идите же с богом и живите по-христиански.

И те уже готовы были уходить, но один из них для большего успокоения кивнул архиерею пальцем и говорит:

— А будьте, ваша милость, ласковы отойти со мною до куточка.

Архиерей улыбнулся и говорит:

— Ну хорошо, пойдем до куточка.

Тут казак его и спрашивает:

— А звольте, ваша милость: звиткиля вы все се узнали, допреже як мы вам сказали?

— А тебе, — говорит, — что за дело?

— Да нам таке дило, чи се не Савва ли вас всим надоумив?

Архиерей, которому все рассказал его келейник Савва, посмотрел на хохла и говорит:

— Ты отгадал, — мне Савва все сказал.

А сам с этим и ушел из залы.

Ну, тут хлопцы и поняли все, как хотели. И с той поры живет рассказ, как маломочный Савва тихенько да гарненько оборудовал дело так, что московський Никола со всей своей силою ни при чем остался.

— Такий-то, — говорят, — наш Савко штукуватый, як подсилился, то таке повыдумывал, что всех с толку сбил: то от писания покажет, то от святых отец в нос сунет, так что аж ни чого понять не можно. Бог его святый знае: чи он взаправду попа Савву у Керасивны за пазухою перекрестил, чи только так ловко все закароголыв, що и архиерею не раскрутить. А вышло все на добре. На том ему и спасыби.

О. Савва, говорят, и нынче жив, и вокруг его села кругом штунда, а в его малой церковке все еще полно народу... И хоть неизвестно, «подсиливают» ли там нынче св. Савка́ по-прежнему, но утверждают, что там по-прежнему во всем приходе никакие Михалки и Потапки *«голые пузеня»* не показывают.

ОДНОДУМ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В царствование Екатерины II, у некоторых приказного рода супругов, по фамилии Рыжовых, родился сын по имени Алексашка. Жило это семейство в Солигаличе, уездном городке Костромской губернии, расположенном при реках Костроме и Светице. Там, по словарю кн. Гагарина, значится семь каменных церквей, два духовные и одно светское училище, семь фабрик и заводов, тридцать семь лавок, три трактира, два питейные дома и 3665 жителей обоего пола. В городе бывают две годовые ярмарки и еженедельные базары; кроме того, значится «довольно деятельная торговля известью и дегтем». В то время, когда жил наш герой, здесь еще были соляные варницы.

Все это надо знать, чтобы составить понятие о том, как мог жить и как действительно жил мелкотравчатый герой нашего рассказа Алексашка, или, впоследствии, Александр Афанасьевич Рыжов, по уличному прозванию «Однодум».

Родители Алексашки имели собственный дом — один из тех домиков, которые в здешней лесной местности *ничего не стоят,* но, однако, дают кров. Других детей, кроме Алексашки, у приказного Рыжова не было, или по крайней мере о них мне ничего не сказано.

Приказный умер вскоре после рождения этого сына и оставил жену и сына ни с чем, кроме того домика, кото-

рый, как сказано, «ничего не стоил». Но вдова-приказничиха сама дорого стоила: она была из тех русских женщин, которая «в беде не сробеет, спасет; коня на скаку остановит, в горящую избу взойдет», — простая, здравая, трезвомысленная русская женщина, с силою в теле, с отвагой в душе и с нежною способностью любить горячо и верно.

Когда она овдовела, в ней еще были приятности, пригодные для неприхотливого обихода, и к ней кое-кто засылали свах, но она отклонила новое супружество и стала заниматься печеньем пирогов. Пироги изготовлялись по скоромным дням с творогом и печенкою, а по постным — с кашею и горохом; вдова выносила их в ночвах на площадь и продавала по медному пятаку за штуку. От прибыли своего пирожного производства она питала себя и сына, которого отдала в науку «мастерице»; мастерица научила Алексашку тому, что сама знала. Дальнейшую же, более серьезную науку преподал ему дьяк с косою и с кожаным карманом, в коем у него без всякой табакерки содержался нюхательный порошок для известного употребления.

Дьяк, «отучив» Алексашку, взял горшок каши за выучку, и с этим вдовин сын пошел в люди добывать себе хлеб-соль и все определенные для него блага мира.

Алексашке тогда было четырнадцать лет, и в этом возрасте его можно отрекомендовать читателю.

Молодой Рыжов породою удался в мать: он был рослый, плечистый, — почти атлет, необъятной силы и несокрушимого здоровья. В свои отроческие годы он был уже первый силач и так удачно предводительствовал *стеною* на кулачных боях, что на которой стороне был Алексашка Рыжов, — та считалась непобедимою. Он был досуж и трудолюбив. Дьякова школа дала ему превосходный, круглый, четкий, красивый почерк, которым он написал старухам множество заупокойных поминаний и тем положил начало самопитания. Но важнее этого были те свойства, которые дала ему его мать, сообщившая живым примером строгое и трезвое настроение его здоровой душе, жившей в здоровом и сильном теле. Он был, как мать, умерен во всем и никогда не прибегал ни к чьей посторонней помощи.

В четырнадцать лет он уже считал грехом есть материн хлеб; поминания приносили немного, и притом заработок этот, зависящий от случайностей, был непостоянен; к торговле Рыжов питал врожденное отвращение, а оставить Солигалич не хотел, чтобы не разлучаться с матерью, которую очень любил. А потому надо было здесь же промыслить себе занятие, и он его промыслил.

В то время у нас только образовывались постоянные почтовые сообщения: между ближайшими городами учреждались раз в неделю гонцы, которые *носили* суму с пакетами. Это называлась пешая почта. Плата за эту службу назначалась не великая: рубля полтора в месяц «на своих харчах и при своей обуви». Но для кого и такое содержание было заманчиво, те колебались взяться носить почту, потому что для чуткой христианской совести русского благочестия представлялось сомнительным: не заключается ли в такой пустой затее, как разноска бумаги, чего-нибудь еретического и противного истинному христианству?

Всякий, кому довелось о том слышать, — раздумывал, как бы не истравить этим душу и за мзду временную не потерять жизнь вечную. И тут-то вот общее сердоболие устроило Рыжовкина Алексашку.

— Он, — говорили, — сирота: ему больше господь простит, — особенно по ребячеству. Ему, если его на поноске дорогою медведь или волк задерет и он на суд предстанет, одно отвечать: «не разумел, господи», да и только. И в ту пору взять с него нечего. А если да он уцелеет и со временем в лета взойдет, то может в монастырь пойти и все преотлично отмолить, да еще не за своей свечой и при чужом ладане. Чего ему еще по сиротству его ожидать лучшего?

Сам Алексашка, которого это касалось всех более, был от мира не прочь и на мир не челобитчик: он смелою рукою взял почтовую суму, взвалил ее на плечи и стал таскать из Солигалича в Чухлому и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре: он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Борнса или Кольцова, но у Алексашки Рыжова

была другая складка, — не поэтическая, а философская, и из него вышел только замечательный чудак «Однодум». Ни даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали; почтовая сума до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой сумы, всегда носил с собою еще другую, серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние.

Книга эта была библия.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мне неизвестно, сколько лет он нес службу в пешей почте, беспрестанно таская суму и библию, но, кажется, это было долго и кончилось тем, что пешая почта заменилась конною, а Рыжову «вышел чин». После этих двух важных в жизни нашего героя событий в судьбе его произошел большой перелом: охочий ходок с почтою, он уже не захотел ездить с почтарем и стал искать себе другого места, — опять непременно там же, в Солигаличе, чтобы не расстаться с матерью, которая в то время уже остарела и, притупев зрением, стала хуже печь свои пироги.

Судя по тому, что чины на низших почтовых должностях получались очень не скоро, например лет за двенадцать, — надо думать, что Рыжов имел об эту пору лет двадцать шесть или даже немножко более, и во все это время он только ходил взад и вперед из Солигалича в Чухлому и на ходу и на отдыхе читал одну только свою библию в затрапезном переплете. Он начитался ее вволю и приобрел в ней большие и твердые познания, легшие в основу всей его последующей оригинальной жизни, когда он стал умствовать и прилагать к делу свои библейские воззрения.

Конечно, во всем этом было много оригинального. Рыжов, например, знал наизусть все писания многих пророков и особенно любил Исаию, широкое боговедение которого отвечало его душевной настроенности и составляло весь его катехизис и все богословие.

Старый человек, знавший во время своей юности восьмидесятипятилетнего Рыжова, когда он уже прославился и заслужил имя «Однодума», говорил мне, как этот старик вспоминал какой-то «дуб на болоте», где он особенно любил отдыхать и «кричать ветру».

— Стану, — говорит, — бывало, и воплю встречь воздуху:

«Позна вол стяжавшего и осел ясли господина своего, а людие мои неразумеша. Семя лукавое; сыны беззакония! Что еще уязвляетесь, прилагая неправды! Всякая глава в болезнь, — всякое сердце в плач. — Что ми множество жертв ваших: тука агнцов и крови юниц и козлов не хощу. Не приходите явитися ми. И аще принесете ми семидал — всуе; кадило мерзость ми есть. Новомесячий ваших, и суббот, и дне великого не потерплю: поста, и праздности, и новомесячий ваших, и праздников ненавидит душа моя. — Егда прострете руки ваши ко мне, отвращу очи мои от вас, и аще умножите моления, — не услышу вас. Измыйтесь, отымите лукавство от душ ваших. Научитеся добро творити, и приидите истяжемся, и аще будут грехи ваши яко багряное — убелю их яко снег. Но князи не покоряются, — общницы татем любяще дары, гонящие воздаяние — сего ради глаголет саваоф: горе крепким, — не престанет бо ярость моя на противныя».

И выкрикивал сирота-мальчуган это «горе, горе крепким» над пустынным болотом, и мнилось ему, что ветер возьмет и понесет слова Исаии и отнесет туда, где виденные Иезекиилем «сухие кости» лежат, не шевелятся; не нарастает на них живая плоть, и не оживает в груди истлевшее сердце.

Его слушал дуб и гады болотные, а он сам делался полумистиком, полуагитатором в библейском духе, — по его словам: «дышал любовью и дерзновением».

Все это созрело в нем давно, но обнаружилось в ту пору, когда он получил чин и стал искать другого места, не над болотом. Развитие Рыжова было уже совершенно закончено, и наступало время деятельности, в которой он мог приложить правила, созданные им себе на библейском грунте.

Под тем же дубом, над тем же болотом, где Рыжов выкрикивал словами Исаии «горе крепким», он дождался

духа, давшего ему мысль самому сделаться крепким, дабы устыдить крепчайших. И он принял это посвящение и пронес его во весь почти столетний путь до могилы, ни разу не споткнувшись, никогда не захромав ни на правое колено, ни на левое.

Впереди нас ожидает довольно образцов его задо́хнувшейся в тесноте удивительной силы и в конце сказания неожиданный акт дерзновенного бесстрашия, увенчавший его, как рыцаря, рыцарскою наградою.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В ту отдаленную пору, к которой восходит передаваемый мною рассказ о Рыжове, самое главное лицо в каждом русском городишке был городничий. Не раз было сказано и никем не оспорено, что, по понятию многих русских людей, каждый городничий был «третье лицо в государстве». Государственная власть в народном представлении от первоисточника своего — монарха разветвлялась так: первое лицо в государстве — государь, правящий всем государством; за ним второе — губернатор, который правит губерниею, и потом прямо за губернатором непосредственно следует третье — городничий, «сидящий на городу». Исправников тогда еще не было, и потому о них в разделении власти суждения не полагали. Так это оставалось, впрочем, и впоследствии: исправник был человек разъездной, и он сек только сельских людей, которые тогда еще не имели самостоятельного понятия об иерархии и, кто их ни сек, — одинаково ногами перебирали.

Введение новых судебных учреждений, ограничившее прежнюю теократическую полноправность сельских администраторов, попортило это, особенно в городах, где оно значительно содействовало падению не только городнического, а даже губернаторского престижа, поднять который на прежнюю высоту уже невозможно, — по крайней мере для городничих, высокий уряд которых заменен новшеством.

Но тогда, когда обдумывал и решал свою судьбу «Однодум», — все это было еще в своем благоустроенном

порядке. Губернаторы сидели в своих центрах, как царьки: доступ к ним был труден, и предстояние им «сопряжено со страхом»; они всем норовили говорить «ты», все им кланялись в пояс, а иные, по усердию, даже земно; протопопы их «сретали» с крестами и святою водою у входа во храмы, а подрукавная знать чествовала их выражением низменного искательства и едва дерзала, в лице немногих избранных своих представителей, просить их «в восприемники к купели». И они, даже когда соглашались снизойти до такой милости, держали себя царственно: они не ездили крестить сами, а посылали вместо себя чиновников особых поручений или адъютантов, которые отвозили «ризки» и принимали почет «в лице пославшего». Все тогда было величественно, степенно и серьезно, под стать тому доброму и серьезному времени, часто противопоставляемому нынешнему времени, не доброму и не серьезному.

Рыжову вышла прекрасная линия приблизиться к началу градской власти и, не расставаясь с родным Солигаличем, стать на четвертую ступень в государстве: в Солигаличе умер старый квартальный, и Рыжов задумал проситься на его место.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Квартальническое место, хотя и не очень высокое, несмотря на то, что составляло первую ступень ниже городничего, было, однако, довольно выгодно, если только человек, его занимающий, хорошо умел стащить с каждого воза полено дров, пару бураков или кочан капусты; но если он не умел этого, то ему было бы плохо, так как казенного жалованья по этой четвертой в государстве должности полагалось всего десять рублей ассигнациями в месяц, то есть около двух рублей восьмидесяти пяти копеек по нынешнему счету. На это четвертая особа в государстве должна была прилично содержать себя и свою семью, а как это невозможно, то каждый квартальный «донимал» с тех, которые обращались к нему за чем-нибудь «по касающемуся делу». Без этого «донимания» невозможно было обходиться, и даже сами вольтерианцы

против этого не восставали. О «неберущем» квартальном никто и не думал, и потому если все квартальные брали, то должен был брать и Рыжов. Само начальство не могло желать и терпеть, чтобы он портил служебную линию. В этом не могло быть никакого сомнения, и не могло быть о том никакой речи.

Городничий, к которому Рыжов обратился за квартальничьим местом, разумеется, не задавал себе никакого вопроса о его способности к взятке. Вероятно, он думал, что на этот счет Рыжов будет, как все другие, и потому у них особого договора на этот счет не было. Городничий принял в соображение только его громадный рост, осанистую фигуру и пользовавшуюся большою известностью силу и неутомимость в ходьбе, которую Рыжов доказал своим пешим ношением почты. Все это были качества, очень подходящие для полицейской службы, которой добивался Рыжов, — и он был сделан солигаличским квартальным, а мать его продолжала печь и продавать свои пироги на том самом базаре, где сын ее должен был установить и держать добрые порядки: блюсти вес верный и меру полную и утрясенную.

Городничий сделал ему только одно внушение:

— Бей без повреждения и по касающему моего не захватывай.

Рыжов обязался это исполнять и пошел действовать, но вскоре же начал подавать о себе странные сомнения, которые стали тревожить третью особу в государстве, а самого бывшего Алексашку, а ныне Александра Афанасьевича, доводить до весьма тягостных испытаний.

Рыжов с первого же дня службы оказался по должности ретив и исправен: придя на базар, он разместил там возы; рассадил иначе баб с пирогами, поместя притом свою мать не на лучшее место. Пьяных мужиков частию урезонил, а частию поучил рукою властною, но с приятностью, так хорошо, как будто им этим большое одолжение сделал, и ничего не взял за науку. В тот же день он отверг и приношение капустных баб, пришедших к нему на поклон по касающему, и еще объявил, что ему по касающему ни от кого ничего и не следует, потому что за все его касающее ему «царь жалует, а мзду брать бог запрещает».

День провел Рыжов хорошо, а ночь провел еще лучше: обошел весь город, и кого застал на ходу в поздний час, расспросил: откуда, куда и по какой надобности? С добрым человеком поговорил, сам его даже проводил и посоветовал, а одному-другому пьяному ухо надрал, да будошникову жену, которая под коров колдовать ходила, в кутузку запер, а наутро явился к городничему с докладом, что видит себе в деле одну помеху в будошниках.

— Проводят, — говорит, — они время в праздности и спросонья ходят без надобности, — людям по касающему надоедают и сами портятся. Лучше их от ленивой пустоты отрешить и послать к вашему высокоблагородию в огород гряды полоть, а я один все управлю.

Городничему это было не вопреки, а домовитой городничихе совсем по сердцу; одним будошникам могло не нравиться, да закону не соответствовало; но будошников кто думал спрашивать, а закон... городничий судил о нем русским судом: «закон — что конь: куда надо — туда и вороти его». Александр же Афанасьевич выше всего ставил закон: «в поте лица твоего ешь хлеб твой», и по тому закону выходило, что всякие лишние «приставники» — бремя ненужное, которое надо отставить и приставить к какому бы то ни было другому настоящему делу, — «потному».

И учредилось это дело, как указал Рыжов, и было оно приятно в очах правителя и народа, и обратило к Рыжову сердца людей благодарных. А Рыжов сам ходит по городу днем, ходит один ночью, и мало-помалу везде стал чувствоваться его добрый хозяйский досмотр, и опять было это приятно в очах всех. Словом, все шло хорошо и обещало покой невозмутимый, но тут-то и беда: не сва́рился народ — не кормил воевод,— ниоткуда ничто не касалося, и, кроме уборки огорода, не было правителю прибылей ни больших, ни средних, ни малых.

Городничий возмутился духом, вник в дело, увидал, что этак невозможно, и воздвиг на Рыжова едкое гонение.

Он попросил протопопа разузнать, нет ли в бескасательном Рыжове какого неправославия, но протопоп отвечал, что явного неправославия в Рыжове он не усматривает, а замечает в нем некую гордыню, происходящую, конечно, от того, что его мать пироги печет и ему отделяет.

— Пресечь советую оный торг, ей ныне по сыну не подобающий, и уничтожится тогда ему оная его непомерная гордыня, и он прикоснется.

— Пресеку, — отвечал городничий и сказал Рыжову: — Твоей матери на торгу сидеть не годится.

— Хорошо, — отвечал Рыжов и взял мать с ночвами с базара, а в укоризненном поведении остался по-прежнему, — не прикасался.

Тогда протопоп указал, что Рыжов не справлял себе форменного платья, и в пасхальный день, скупо похристосовавшись с одними ближними, не явился с поздравлением ни к кому из именитых граждан, на что те, впрочем, претензии не изъявляли.

Это находилось в зависимости одно от другого. Рыжов не ходил за праздничными, и потому ему не на что было обмундироваться, но обмундировка требовалась, и она была у прежнего квартального. Все видели у него и мундир с воротом, и ретузы, и сапоги с кисточкой, а этот как ходил с почтою, так и оставался в полосатом тиковом бешмете с крючками, в желтых нанковых штанах и в простой крестьянской шапке, а на зиму имел овчинный нагольный тулуп и ничего иного не заводил, да и не мог завести на 2 руб. 87 коп. месячного жалованья, на которое жил, служа верою и правдою.

К тому же произошел случай, потребовавший денег: умерла мать Рыжова, которой нечего было делать на земле после того, как она не могла на ней продавать пироги.

Александр Афанасьевич схоронил ее, по общему отзыву, «скаредно», чем и доказал свою нелюбовь. Он заплатил за нее причту по малости, но по самой-то пирожнице даже пирога не спек и сорокоуста не заказал.

Еретик! И это было тем достовернее, что хотя городничий ему не доверял и протопоп в нем сомневался, но и городничиха и протопопица за него горой стояли, — первая за пригон на ее огород бударей, а вторая по какой-то тайной причине, лежавшей в ее «характере сопротивления».

В этих особах Александр Афанасьевич имел защитниц. Городничиха сама ему послала от урожая земного две меры картофеля, но он, не развязывая мешков, принес картофель назад на своих плечах и коротко сказал:

— За усердие благодарю, а даров не приемлю.

Тогда протопопица, дама мнительная, поднесла ему две коленкоровые манишки своего древнего рукоделья от тех пор, когда еще протопоп был ставленником, но чудак и этого не взял.

— Нельзя, — говорит, — дары брать, да и, одеваясь по простоте, я никакой в сем щегольстве пользы не нахожу.

Тут и сказала протопопица мужу в злости задорное слово.

— Вот бы, — говорит, — кому пристало у алтаря стоять, а не вам, обиралам духовным.

Протопоп осердился, — велел жене молчать, а сам все лежал да думал:

«Это новость масонская, и если я ее услежу и открою, то могу быть в большом отличии и даже могу в Петербург переехать».

Так он этим забредил и с бреду составил план, как обнажить совесть Рыжова до разделения души с телом.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Подходил великий пост, и протопоп, как на ладонке, видел, каким образом он обнажит душу Рыжова до разделения и тогда будет знать, как поступить с ним по злобе его уклонения от истин православия.

С этою целью он прямо присоветовал городничему прислать к нему на дух полосатого квартального на первой же неделе. А на духу он обещал его хорошенько пронять и, гневом божиим припугнув, все от него выведать, что в нем есть тайного и сокровенного и за что он всего касающего чуждается и даров не приемлет. А затем сказал: «Увидим по открытому страхом виду его совести, чему он подлежать будет, и тому его и подвергнем, да спасется дух».

Помянув слова Павла, протопоп стал ждать покойно, зная, что в них кийждо своя отыскать может.

Городничий тоже сделал свое дело.

— Нам с тобой, Александр Афанасьевич, как видным лицам в городе, — сказал он, — надо в народе религии пример показать и к церкви сделать почтение.

Рыжов отвечал, что он согласен.

— Изволь же, братец, говеть и исповедаться.

— Согласен, — отвечал Рыжов.

— И как оба мы люди на виду у всех, то и на виду все это должны сделать, а не как-нибудь прячучись. Я к протопопу на дух хожу, — он всех в духовенстве опытнее, — и ты к нему иди.

— Пойду к протопопу.

— Да; и иди ты на первой неделе, а я на последней пойду, — так и разделимся.

— И на это согласен.

Протопоп выисповедал Рыжова и даже похвалился, что на все корки его пробрал, но не нашел в нем греха к смерти.

— Каялся, — говорит, — в одном, другом, в третьем, — во всем не свят по малости, но грехи все простые, человеческие, а против начальства особого зла не мыслит и ни на вас, ни на меня «по касающему» доносить не думает. А что «даров не приемлет», — то это по одной вредной фантазии.

— Все же, значит, есть в нем вредная фантазия. А в чем она заключается?

— Библии начитался.

— Ишь его, дурака, угораздило!

— Да; начитался от скуки и позабыть не может.

— Экий дурак! Что же теперь с ним сделать?

— Ничего не сделаешь: он уже очень далеко начитан.

— Неужели до самого до «Христа» дошел?

— Всю, всю прочитал.

— Ну, значит, шабаш.

Пожалели и стали к Рыжову милостивее. На Руси все православные знают, что кто библию прочитал и «до Христа дочитался», с того резонных поступков строго спрашивать нельзя; но зато этакие люди что юродивые, — они чудесят, а никому не вредны, и их не боятся. Впрочем, чтобы быть еще обеспеченнее насчет странного исправления Рыжова «по касающему», отец протопоп преподал городничему мудрый, но жестокий совет, — чтобы женить Александра Афанасьевича.

— Женатый человек, — развивал протопоп, — хотя и «до Христа дочитается», но ему свою честность соблюсти

трудно: жена его начнет нажигать и не тем, так другим манером так доймет, что он ей уступит и всю библию из головы выпустит, а станет к дарам приимчив и начальству предан.

Городничему совет пришел по мыслям, и он заказал Александру Афанасьевичу, чтобы тот как знает, а непременно женился, потому что холостые люди на политичных должностях ненадежны.

— Как хочешь, — говорит, — брат, а ты мне в рассуждении всего хорош, но в рассуждении одного не годишься.

— Почему?

— Холостой.

— Что же в том за укоризна?

— В том укоризна, что можешь что-нибудь вероломное сделать и сбежать в чужую губернию. Тебе ведь теперь что? — схватил свою бибель да и весь тут.

— Весь тут.

— Вот это и неблагонадежно.

— А разве женатый благонадежнее?

— И сравненья нет; из женатого я, — говорит, — хоть веревку вей, он все стерпит, потому что он птенцов заведет, да и бабу пожалеет, а холостой сам что птица, — ему доверить нельзя. Так вот — либо уходи, либо женись.

Загадочный чудак, выслушав такое рассуждение, нимало не смутился и отвечал:

— Что же, — и женитьба вещь добрая, она от бога показана: если требуется — я женюсь.

— Но только ты руби дерево по себе.

— По себе вырублю.

— И выбирай поскорее.

— Да у меня уже выбрана: надо только сходить посмотреть, не взяли ли ее другие.

Городничий над ним посмеялся:

— Ишь ты, — говорит, — греховодник, — будто за ним и греха никогда не водится, а он себе уже и жену высмотрел.

— Где грехам не водиться! — отвечал Александр Афанасьевич, — полон сосуд мерзости, а только невесту я еще не сватал, но действительно на примете имею и прошу позволения сходить на нее взглянуть.

— А где она у тебя, — не здешняя, верно, — дальняя?

— Да так, и не здешняя и не дальняя, — у ручья при болотце живет.

Городничий еще посмеялся, отпустил Рыжова и, заинтересованный, ждет: когда его чудак вернется и что скажет?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Рыжов действительно срубил дерево по себе: через неделю он привел в город жену — ражую, белую, румяную, с добрыми карими глазами и с покорностью в каждом шаге и движении. Одета она была по-крестьянски, и шли оба супруга друг за другом, неся на плечах коромысло, на котором висела подвязанная холщовым концом расписная лубочная коробья с приданым.

Бывалые торговые люди сразу узнали в этой особе дочь старой бабы Козлихи, что жила в одинокой избушке у ручья над болотом и слыла злою колдуньею. Все думали, что Рыжов взял себе колдуньину девку в работницы.

Это отчасти так и было, но только Рыжов, прежде чем привести эту работницу домой, — перевенчался с нею. Супружеская жизнь обходилась ему ничуть не дороже холостой; напротив, теперь ему стало даже выгоднее, потому что он, приведя в дом жену, тотчас же отпустил батрачку, которой много ли, мало ли, а все-таки платил рубль медью в месяц. С этих пор медный рубль был у него в кармане, а хозяйство пошло лучше; здоровые руки его жены никогда не были праздны: она себе и пряла и ткала, да еще оказалась мастерицею валять чулки и огородничать. Словом, жена его была простая досужая крестьянская женщина, верная и покорная, с которою библейский чудак мог жить по-библейски, и рассказать о ней, кроме сказанного, нечего.

Обращение с женою у Александра Афанасьевича было самое простое, но своеобразное: он ей говорил «ты», а она ему «вы»; он звал ее «баба», а она его Александр Афанасьевич; она ему служила, а он был ее господин; когда он с нею заговаривал, она отвечала, — когда он

молчал, она не смела спрашивать. За столом он сидел, а она подавала, но ложе у них было общее, и, вероятно, это было причиною, что у них появился плод супружества. Плод был один — единственный сын, которого «баба» выкормила, а в воспитание его не вмешивалась.

Любила ли «баба» своего библейского мужа или не любила — это в их отношениях ничем не проявлялось, но что она была верна своему мужу — это было несомненно. Кроме того, она его боялась, как лица, поставленного над нею законом божеским и имеющего на нее божественное право. Мирному житию ее это не мешало. Грамоте она не знала, и Александр Афанасьевич не желал пополнять этого пробела в ее воспитании. Жили они, разумеется, спартански, в самой строжайшей умеренности, но не считали это несчастием; этому, может быть, много помогало, что и многие другие жили вокруг не в большем довольстве. Чаю они не пили и не содержали его в заводе, а мясо ели только по большим праздникам — в остальное же время питались хлебом и овощами, квасными или свежими с своего огорода, а всего более грибами, которых росло в изобилии в их лесной стороне. Грибы эти «баба» летнею порою сама собирала по лесам и сама готовила впрок, но, к сожалению ее, заготовляла их только одним способом сушения. Солить было нечем. Расход на соль в потребном количестве для всего запаса не входил в расчет Рыжова, а когда «баба» однажды насолила кадочку груздей солью, которую ей подарил в мешочке откупщик, то Александр Афанасьевич, дознавшись об этом, «бабу» патриархально побил и свел к протопопу для наложения на нее епитимии за ослушание против заветов мужа, а грибы целою кадкою собственноручно прикатил к откупщикову двору и велел взять «куда хотят», а откупщику сделал выговор.

Таков был этот чудак, про которого из долготы его дней тоже рассказывать много нечего; сидел он на своем месте, делал свое маленькое дело, не пользующееся ничьим особенным сочувствием, и ничьего особенного сочувствия не искал; солигаличские верховоды считали его «поврежденным от библии», а простецы судили о нем просто, что он «такой-некий-этакой».

Довольно неясное определение это для них имело значение ясное и понятное.

Рыжов нимало не заботился, что̀ о нем думают: он честно служил всем и особенно не угождал никому; в мыслях же своих отчитывался единому, в кого неизменно и крепко верил, именуя его учредителем и хозяином всего сущего. Удовольствие Рыжова состояло в исполнении своего долга, а высший духовный комфорт — философствование о высших вопросах мира духовного и об отражении законов того мира в явлениях и в судьбах отдельных людей и целых царств и народов. Не имел ли Рыжов общей многим самоучкам слабости считать себя всех умнее — это неизвестно, но он не был горд, и своих верований и взглядов он никому никогда не навязывал и даже не сообщал, а только вписывал в большие тетради синей бумаги, которые подшивал в одну обложку с многозначительною надписью: «Однодум».

Что было написано во всей этой громаднейшей рукописи полицейского философа — осталось сокрытым, потому что со смертью Александра Афанасьевича его «Однодум» пропал, да и по памяти о нем много никто рассказать не может. Едва только два-три места из всего «Однодума» были показаны Рыжовым одному важному лицу при одном необычайном случае его жизни, к которому мы теперь приближаемся. Остальные же листы «Однодума», о существовании которого знал почти весь Солигалич, изведены на оклейку стен или, может быть, и сожжены, во избежание неприятностей, так как это сочинение заключало в себе много несообразного бреда и религиозных фантазий, за которые тогда и автора и чтецов посылали молиться в Соловецкий монастырь.

Дух же этой рукописи стал известен с наступающего достопамятного в хрониках Солигалича происшествия.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Не могу с точностью вспомнить и не знаю, где справиться, в котором именно году в Кострому был назначен губернатором Сергей Степанович Ланской, впоследствии граф и известный министр внутренних дел. Сановник этот, по меткому замечанию одного его современника, «имел сильный ум и надменную фигуру», и такая крат-

кая характеристика верна и вполне достаточна для представления, какое нужно иметь о нем нашему читателю.

Можно, кажется, добавить только, что Ланской уважал в людях честность и справедливость и сам был добр, а также любил Россию и русского человека, но понимал его барственно, как аристократ, имевший на все чужеземный взгляд и западную мерку.

Назначение Ланского губернатором в Кострому случилось во время чудаческого служения Александра Афанасьевича Рыжова солигаличским квартальным, и притом еще при некоторых особенных обстоятельствах.

По вступлении Сергея Степановича в должность губернатора он, по примеру многих деятелей, прежде всего «размел губернию», то есть выгнал со службы великое множество нерадивых и злоупотреблявших своею должностью чиновников, в числе коих был и солигаличский городничий, при котором состоял квартальным Рыжов.

По изгнании со службы негодных лиц новый губернатор не спешил замещать их другими, чтобы не попасть на таких же, а может быть, еще и на худших. Чтобы избрать людей достойных, он хотел оглядеться, или, как нынче по-русски говорят, «ориентироваться».

С этою целью должности удаленных лиц были поручены временным заместителям из младших чиновников, а губернатор вскоре же предпринял объезд всей губернии, затрепетавшей странным трепетом от одних слухов о его «надменной фигуре».

Александр Афанасьевич исправлял должность городничего. Что он делал на этом заместительстве отменного от прежних «сталых» порядков, — этого не знаю; но, разумеется, он не брал взяток на городничестве, как не брал их на своем квартальничестве. Образа жизни своей и отношений к людям Рыжов тоже не менял, — даже не садился на городнический стул перед зерцало, а подписывался «за городничего», сидя за своим изъеденным чернилами столиком у входной двери. Этому последнему упорству Рыжов имел объяснение, находящееся в связи с апофеозою его жизни. У Александра Афанасьевича и после многих лет его службы точно так же, как и в первые дни его квартальничества, *не было форменного платья,* и он правил «за городничего» все в том же про-

саленном и перештопанном бешмете. А потому на представления письмоводителя пересесть на место он отвечал:

— Не могу: хитон обличает мя, яко несть брачен.

Все это так и было записано им собственною рукою в его «Однодуме», с добавлением, что письмоводитель предлагал ему «пересесть в бешмете, но снять орла на зерцале», однако Александр Афанасьевич «оставил сию непристойность» и продолжал сидеть на прежнем месте в бешмете.

Делу полицейской расправы в городе эта неформенность не мешала, но вопрос становился совершенно иным, когда пришла весть о приезде «надменной фигуры». Александр Афанасьевич в качестве градоначальника должен был встретить губернатора, принять и рапортовать ему о благосостоянии Солигалича, а также отвечать на все вопросы, какие Ланской ему предложит, и репрезентовать ему все достопримечательности города, начиная от собора до тюрьмы, пустырей, оврагов, с которыми никто не знал, что делать.

Рыжов действительно имел задачу: как ему отбыть все это в своем бешмете? Но он об этом нимало не заботился, зато много забот причиняло это всем другим, потому что Рыжов своим безобразием мог на первом же шагу прогневить «надменную фигуру». Никому и в голову не приходило, что именно Александру-то Афанасьевичу и предстояло удивить и даже *обрадовать* всех пугавшую «надменную фигуру» и даже напророчить ему повышение.

Вообще заботливый Александр Афанасьевич нимало не смущался, как он явится, и совсем не разделял общей чиновничьей робости, через что подвергся осуждению и даже ненависти и пал во мнении своих сограждан, но пал с тем, чтобы потом встать всех выше и оставить по себе память героическую и почти баснословную.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Не излишне еще раз напомнить, что в те недавние, но глубоко провалившиеся времена, к которым относится рассказ о Рыжове, губернаторы были совсем не то, что в нынешние лукавые дни, когда величие этих сановни-

ков значительно пало, или, по выражению некоего духовного летописца, «жестоко подвалишася». Тогда губернаторы ездили «страшно», а встречали их «притрепетно». Течение их совершалось в грандиозной суете, которой работали не только все младшие начальства и власти, но даже и чернь и четвероногие скоты. Города к приезду губернаторов воспринимали помазание мелом, сажей и охрою; на шлагбаумы заново наводилась национальная пестрядь казенной трехцветки; бударям и инвалидам внушали «головы и усы наваксить», — из больниц шла усиленная выписка в «оздоровку». Во всеобщем оживлении участвовало все до конец земли; из деревень на тракты сгоняли баб и мужиков, которые по месяцам кочевали, чиня дорожные топи, гати и мосты; на станциях замедляли даже оглашенные курьеры и разные поручики, спешно едущие по бесчисленным казенным надобностям. Станционные смотрители в эту пору отмещивали неспокойному люду свои нестерпимые обиды и с непоколебимою душевною твердостию заставляли плестись на каких попало клячах, потому что хорошие лошади «выстаивались» под губернатора. Словом, не было никому ни проходу, ни проезду без того, чтобы он не осязал каким-нибудь из своих чувств, что в природе всех вещей происходит нечто чрезвычайное. Благодаря этому тогда без всякого пустозвонства болтливой прессы всяк, стар и млад, знали, что едет тот, кого нет на всю губернию больше, и все, кто как умел, выражали по этому случаю искреннему своему разнообразные свои чувства. Но самая возвышенная деятельность происходила в центральных гнездах уездного властелинства — в судебных канцеляриях, где дело начиналось с утомительной и скучной отметки регистров, а кончалось веселою операциею обметания стен и мытья полов. Поломойство — это было что-то вроде классических оргий в дни сбирания винограда, когда все напряженно ликовало, имея одну заботу: пожить, пока наступит час смертный. В канцелярии за небольшим конвоем кривых инвалидов доставляли из острога смертною скукою соскучившихся арестанток, которые, ловя краткий миг счастия, пользовались здесь пленительными правами своего пола — услаждать долю смертных. Декольте и маншкурт, с которыми они приступали к работе, столь возбудительно действовали

на дежуривших при бумагах молодых приказных, что последствием этого, как известно, в острогах нередко появлялись на свет так называемые «поломойные дети» — не признанного, но несомненно благородного происхождения.

В эти же дни в домах чернили парадные сапоги, белили ретузы и приготовляли слежавшиеся и поточенные молью мундиры. Это тоже оживляло город. Мундиры сначала *провешивали* в жаркий день на солнышке, раскидывая их на протянутых через двор веревках, что ко всяким воротам привлекало множество любопытных; потом мундиры *выбивали* прутьями, растянув на подушке или на войлочке; затем их *трясли,* еще позже их *штопали, утюжили* и, наконец, *раскидывали* на кресле в зале или другой парадной комнате, и в заключение всего — в конце концов их втихомолку кропили из священных бутылочек богоявленскою водой, которая, если ее держать у образа в заткнутой воском посудине, не портится от одного крещеньева дня до другого и нимало не утрачивает чудотворной силы, сообщаемой ей в момент погружения креста с пением «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое».

Исходя в сретение особ, чиновники облекались в окропленные мундиры и в качестве прочего божия достояния бывали спасаемы. Об этом есть много достоверных сказаний, но при нынешнем всеобщем маловерии и особенно при оффенбаховском настроении, царящем в чиновном мире, все это уже уронено в общем мнении и в числе многих других освященных временем вещей легкомысленно подвергается сомнению; отцам же нашим, имевшим настоящую, крепкую веру, давалось по их вере.

Ожидание губернатора в те времена длилось долго и мучительно. Железных дорог тогда еще не было, и поезда не подходили в урочный час по расписанию, подвозя губернатора вместе со всеми прочими смертными, а особо заготовлялся тракт, и затем никто не знал с точностью ни дня, ни часа, когда сановник пожалует. Поэтому истома ожидания была продолжительна и полна особенной торжественной тревожности, на самом зените которой находился очередной будочник, обязанный наблюдать тракт с самой высшей в городе колокольни. Он должен был не задремать, охраняя город от внезапного

наезда; но, конечно, случалось, что он дремал и даже спал, и тогда в таких несчастных случаях бывали разные неприятности. Иногда нерадивый страж ударял в малый колокол, подпустив губернатора уже на слишком близкую дистанцию, так что не все чиновники успевали примундириться и выскочить, протопоп облачиться и стать со крестом на сходах, а иногда даже городничий не успевал выехать, стоя в телеге, к заставе. Во избежание этого сторожа заставляли ходить вокруг колокольни и у каждого пролета делать поклон в соответственную сторону.

Это служило сторожу развлечением, а обществу ручательством, что бдящий над ним не спит и не дремлет. Но и эта предосторожность не всегда помогала; случалось, что сторож обладал способностью альбатроса: он спал, ходя и кланяясь, а спросонья бил ложный всполох, приняв за губернатора помещичью карету, и тогда в городе поднималось напрасное смятение, оканчивавшееся тем, что чиновники снова размундиривались и городническая тройка откладывалась, а неосмотрительного стража слегка или не слегка секли.

Подобные трудности встречались часто и преодолевались нелегко, и притом всею своею тягостью главным образом лежали на городничем, который вперед всех выносился вскачь навстречу, первый принимал на себя начальственные взоры и взрывы и потом опять, стоя же, скакал впереди губернаторской кареты к собору, где у крыльца ожидал протопоп во всем облачении с крестом и кропилом в чаше священной воды. Здесь городничий непременно собственноручно откидывал губернаторскую подножку и этим приемом, так сказать, собственноручно выпускал прибывшую высокую особу на родимую землю из путешественного ковчега. Теперь все это уже не так, все это попорчено, и притом едва ли даже без участия самих губернаторов, в числе коих были охотники «играть на понижение». Нынче они, может быть, и каются, но что уплыло, того не воротят: подножек им никто не откидывает, кроме лакеев и жандармов.

Но исправлявший эту обязанность прежний городничий этим не стеснялся и служил для всех первым пробным камнем; он первый изведывал: лют или благостен прибывший губернатор. И, надо правду сказать, от городничего многое зависело: он мог испортить дело вна-

чале, потому что одною какою-нибудь своею неловкостью мог разгневать губернатора и заставить его рвать и метать; а мог также одним ловким прыжком, оборотом или иным соответственным вывертом привести его превосходительство в благорасположение.

Теперь каждый, даже не знавший этих патриархальных порядков, читатель может судить, как естественна была тревога солигаличской чиновной знати, которой пришлось иметь своим представителем такого своеобычного, неуклюжего и упрямого городничего, как Рыжов, у которого, вдобавок ко всем его личным неудобным качествам, весь убор состоял в полосатом тиковом бешмете и кошлатой мужичьей шапке.

Вот что первое должно было ударить прямо в очи «надменной фигуре», о которой уже досужие языки довели до Солигалича самые страшные вести... Чего было ожидать доброго?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Александр Афанасьевич действительно мог привести кого хотите в отчаяние; он ни о чем не беспокоился и в ожидании губернатора держал себя так, как будто предстоявшее страшное событие его совсем не касалось. Он не сломал ни у одного жителя ни одного забора, ничего не перемазал ни мелом, ни охрою и вообще не предпринимал никаких средств не только к украшению города, но и к изменению своего несообразного костюма, а продолжал прохаживаться в бешмете. На все предлагаемые ему прожекты он отвечал:

— Не должно вводить народ в убытки: разве губернатор изнуритель края? он пусть проедет, а забор пусть останется. — Требования же насчет мундира Рыжов отражал тем, что у него на то нет достатков и что, говорит, имею, — в том и являюсь: богу совсем нагишом предстану. Дело не в платье, а в рассудке и в совести, — по платью встречают — по уму провожают.

Переупрямить Рыжова никто не надеялся, а между тем это было очень важно не столько для упрямца Рыжова, которому, может быть, и ничего с его библейской

точки зрения, если его второе лицо в государстве сгонит с глаз долой в его бешмете; но это было важно для всех других, потому что губернатор, конечно, разгневается, увидя такую невидаль, как городничий в бешмете.

Дорожа первым впечатлением ожидаемого гостя, солигаличские чины добивались только двух вещей: 1) чтобы был перекрашен шлагбаум, у которого Александр Афанасьевич должен встретить губернатора, и 2) чтобы сам Александр Афанасьевич был на этот случай не в полосатом бешмете, а в приличной его званию форме. Но как этого достигнуть?

Мнения были различные, и более склонялись все к тому, чтобы и шлагбаум перекрасить и городничего одеть в складчину. В отношении шлагбаума это было, конечно, удобно, но по отношению к обмундировке Рыжова никуда не годилось.

Он сказал: «Это дар, а я даров не приемлю». Тогда восторжествовало над всеми предложение, которое подал зрелый в сужденье отец протопоп. Он не видал нужды ни в какой складчине ни на окраску заставы, ни на форму градоправителя, а сказал, что все должно лечь на того, кто всех провиннее, а всех провиннее, по его мнению, был откупщик. На него все должно и пасть. Он один обязан на свой собственный счет не по неволе какой, а из усердия окрасить заставу, за что протопоп обещал, сретая губернатора, упомянуть об этом в кратком слове и, кроме того, помолиться о жертвователе в тайноглаголемой запрестольной молитве. Кроме того, отец протопоп рассудил, что откупщик должен дать заседателю, сверх ординарии, тройную порцию рому, французской водки и кизлярки, до которых заседатель охоч. И пусть заседатель за то отрапортуется больным и пьет себе дома эту добавочную ординарию и на улицу не выходит, а свой мундир, одной с полицейским формы, отпустит Рыжову, от чего сей последний, вероятно, не найдет причины отказаться, и будут тогда и овцы целы и волки сыты.

План этот тем более был удачен, что непременный заседатель ростом-дородством несколько походил на Рыжова, и притом, женясь недавно на купеческой дочери, имел мундирную пару в полном порядке. Следовательно, оставалось только упросить его, чтобы он для общего блага к приезду начальства слег в постель под видом

тяжкой болезни и сдал свою амуницию на этот случай Рыжову, которого отец протопоп, надеясь на свой духовный авторитет, тоже взялся убедить — и убедил. Не видя в этом ни даров, ни мзды, справедливый Александр Афанасьевич, для общего счастия, согласился надеть мундир. Произведена была примерка и пригонка форменной пары заседателя на Рыжова, и после некоторого выпуска со всех сторон всех запасов в мундире и в ретузах дело было приведено к удовлетворительному результату. Александр Афанасьевич хотя чувствовал в мундире весьма стеснительную связанность, но мог, однако, двигаться и все-таки был теперь сносным представителем власти. Небольшой же белый карниз между мундиром и канифасовыми ретузами положено было закрыть соответственною же канифасовою надшивкою, которою этот карниз был удачно замаскирован. Словом, Александр Афанасьевич был снаряжен так, что губернатор мог повернуть его на все стороны и полюбоваться им так и иначе. Но злому року угодно было все это осмеять и оставить Александру Афанасьевичу надлежащую представительность только с одной стороны, а другую совсем испортить, и притом таким двусмысленным образом, что могло дать повод к самым произвольным толкованиям его и без того загадочного политического образа мыслей.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Шлагбаум был окрашен во все цвета национальной пестряди, состоящей из черных и белых полос с красными отводами, и еще не успел запылиться, как пронеслась весть, что губернатор уже выехал из соседнего города и держит путь прямо на Солигалич. Тотчас же везде были поставлены махальные солдаты, а у забора бедной хибары Рыжова глодала землю резвая почтовая тройка с телегою, в которую Александр Афанасьевич должен был вспрыгнуть при первом сигнале и скакать навстречу «надменной фигуре».

В последнем условии было чрезвычайно много неудобной сложности, исполнявшей все вокруг беспокойной тревогой, которую очень не любил самообладающий

Рыжов. Он решился «быть всегда на своем месте»: перевел тройку от своего забора к заставе и сам в полном наряде — в мундире и белых ретузах, с рапортом за бортом, сел тут же на раскрашенную перекладину шлагбаума и водворился здесь, как столпник, а вокруг него собрались любопытные, которых он не прогонял, а напротив, вел с ними беседу и среди этой беседы сподобился увидать, как на тракте заклубилось пыльное облако, из которого стала вырезаться пара выносных с форейтором, украшенным медными бляхами. Это катил губернатор.

Рыжов быстро спрыгнул в телегу и хотел скакать, как вдруг был поражен общим стоном и вздохом толпы, крикнувшей ему:

— Батюшка, сбрось штанцы!

— Что такое? — переспросил Рыжов.

— Штанцы сбрось, батюшка, штанцы, — отвечали люди. — Погляди-ка, на коем месте сидел, так к белому весь шланбов припечатал.

Рыжов оглянулся через плечо и увидел, что все невысохшие полосы национальных цветов шлагбаума действительно с удивительною отчетливостью отпечатались на его ретузах.

Он поморщился, но сейчас же вздохнул и сказал: «Сюда начальству глядеть нечего» и пустил вскачь тройку навстречу «надменной особе».

Люди только руками махнули:

— Отчаянный! что-то ему теперь будет?

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Скороходы из этой же толпы быстро успели дать знать в собор духовенству и набольшим, в каком двусмысленном виде встретит губернатора Рыжов, но теперь уже всем было самому до себя.

Всех страшнее было протопопу, потому что чиновники притаились в церкви, а он с крестом в руках стоял на сходах. Его окружал очень небольшой причет, из коего вырезались две фигуры: приземистый дьякон с большой головой и длинноногий дьячок в стихаре с священною водою в «апликовой» чаше, которая ходуном

ходила в его оробевших руках. Но вот трепет страха сменился окаменением: на площади показалась борзо скачущая тройкою почтовая телега, в которой с замечательным достоинством возвышалась гигантская фигура Рыжова. Он был в шляпе, в мундире с красным воротом и в белых ретузах с надшитым канифасовым карнизом, что издали решительно ничего не портило. Напротив, он всем казался чем-то величественным, и действительно таким и должен был казаться. Твердо стоя на скачущей телеге, на облучке которой подпрыгивал ямщик, Александр Афанасьевич не колебался ни направо, ни налево, а плыл точно на колеснице как триумфатор, сложив на груди свои богатырские руки и обдавая целым облаком пыли следовавшую за ними шестериком коляску и легкий тарантасик. В этом тарантасе ехали чиновники. Ланской помещался один в карете и, несмотря на отличавшую его солидную важность, был, по-видимому, сильно заинтересован Рыжовым, который летел впереди его, стоя, в кургузом мундире, нимало не закрывавшем разводы национальных цветов на его белых ретузах. Очень возможно, что значительная доля губернаторского внимания была привлечена именно этою странностию, значение которой не так легко было понять и определить.

Телега в свое время своротила в сторону, и Александр Афанасьевич в свое время соскочил и открыл дверцу у губернаторской кареты.

Ланской вышел, имея, как всегда, неизменно «надменную фигуру», в которой, впрочем, содержалось довольно доброе сердце. Протопоп, осенив его крестом, сказал: «Благословен грядый во имя господне», и затем покропил его легонько священной водою.

Сановник приложился ко кресту, отер батистовым платком попавшие ему на надменное чело капли и вступил *первый* в церковь. Все это происходило на самом виду у Александра Афанасьевича и чрезвычайно ему не понравилось, — все было «надменно». Неблагоприятное впечатление еще более усилилось тем, что, вступив в храм, губернатор не положил на себя креста и никому не поклонился — ни алтарю, ни народу, и шел как шест, не сгибая головы, к амвону.

Это было против всех правил Рыжова по отношению к богопочитанию и к обязанностям высшего быть приме-

ром для низших, — и благочестивый дух его всколебался и поднялся на высоту невероятную.

Рыжов все шел следом за губернатором, и по мере того, как Ланской приближался к солее, Рыжов все больше и больше сокращал расстояние между ним и собою и вдруг неожиданно схватил его за руку и громко произнес:

— Раб божий Сергий! входи во храм господень не надменно, а смиренно, представляя себя самым большим грешником, — вот как!

С этим он положил губернатору руку на спину и, степенно нагнув его в полный поклон, снова отпустил и стал навытяжку.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Очевидец, передававший эту анекдотическую историю о солигаличском антике, ничего не говорил, как принял это бывший в храме народ и начальство. Известно только, что никто не имел отваги, чтобы заступиться за нагнутого губернатора и остановить бестрепетную руку Рыжова, но о Ланском сообщают нечто подробнее. Сергей Степанович не подал ни малейшего повода к продолжению беспорядка, а, напротив, «сменил свою горделивую надменность умным самообладанием». Он не оборвал Александра Афанасьевича и даже не сказал ему ни слова, но перекрестился и, оборотясь, поклонился всему народу, а затем скоро вышел и отправился на приготовленную ему квартиру.

Здесь Ланской принял чиновников — коронных и выборных и тех из них, которые ему показались достойными большего доверия, расспросил о Рыжове: что это за человек и каким образом он терпится в обществе.

— Это наш квартальный Рыжов, — отвечал ему голова.

— Что же он... вероятно, в помешательстве?

— Никак нет: просто всегда *такой*.

— Так зачем же держать *такого* на службе?

— Он по службе хорош.

— Дерзок,

— Самый смирный: на шею ему старший сядь, — рассудит: «поэтому везть надо» — и повезет, но только он много в библии начитавшись и через то расстроен.

— Вы говорите несообразное: библия книга божественная.

— Это точно так, только ее не всякому честь пристойно: в иночестве от нее страсть мечется, а у мирских людей ум мешается.

— Какие пустяки! — возразил Ланской и продолжал расспрашивать:

— А как он насчет взяток: умерен ли?

— Помилуйте, — говорит голова, — он совсем ничего не берет...

Губернатор еще больше не поверил.

— Этому, — говорит, — я уже ни за что не поверю.

— Нет; действительно не берет.

— А как же, — говорит, — он какими средствами живет?

— Живет на жалованье.

— Вы вздор мне рассказываете: такого человека во всей России нет.

— Точно, — отвечает, — нет; но у нас такой объявился.

— А сколько ему жалованья положено?

— В месяц десять рублей.

— Ведь на это, — говорит, — овцу прокормить нельзя.

— Действительно, — говорит, — мудрено жить — только он живет.

— Отчего же так всем нельзя, а он обходится?

— Библии начитался.

— Хорошо, «библии начитался», а что же он ест?

— Хлеб да воду.

И тут голова и рассказал о Рыжове, каков он во всех делах своих.

— Так это совсем удивительный человек! — воскликнул Ланской и велел позвать к себе Рыжова.

Александр Афанасьевич явился и стал у притолки, иже по подчинению.

— Откуда вы родом? — спросил его Ланской.

— Здесь, на Нижней улице родился, — отвечал Рыжов.

— А где воспитывались?

— Не имел воспитания... у матери рос, а матушка пироги пекла.

— Учились где-нибудь?

— У дьячка.

— Исповедания какого?

— Христианин.

— У вас очень странные поступки.

— Не замечаю: всякому то кажется странно, что самому не свойственно.

Ланской подумал, что это вызывающий, дерзкий намек, и, строго взглянув на Рыжова, резко спросил:

— Не держитесь ли вы какой-нибудь секты?

— Здесь нет секты: я в собор хожу.

— Исповедуетесь?

— Богу при протопопе каюсь.

— Семья у вас есть?

— Есть жена с сыном.

— Жалованье малое получаете?

Никогда не смеявшийся Рыжов улыбнулся.

— Беру, — говорит, — в месяц десять рублей, а не знаю: как это — много или мало.

— Это не много.

— Доложите государю, что для лукавого раба это мало.

— А для верного?

— Достаточно.

— Вы, говорят, никакими статьями не пользуетесь?

Рыжов посмотрел и промолчал.

— Скажите по совести: быть ли это может так?

— А отчего же не может быть?

— Очень малые средства.

— Если иметь великое обуздание, то и с малыми средствами обойтись можно.

— Но зачем вы не проситесь на другую должность?

— А кто же эту занимать станет?

— Кто-нибудь другой.

— Разве он лучше меня справит?

Теперь Ланской улыбнулся: квартальный совсем заинтересовал его не чуждую теплоты душу.

— Послушайте, — сказал он, — вы чудак; я вас прошу сесть.

Рыжов сел vis-à-vis[1] с «надменным».

— Вы, говорят, знаток библии?

— Читаю, сколько время позволяет, и вам советую.

— Хорошо; но... могу ли я вас уверить, что вы можете со мною говорить совсем откровенно и по справедливости.

— Ложь заповедью запрещена — я лгать не стану.

— Хорошо. Уважаете ли вы власти?

— Не уважаю.

— За что?

— Ленивы, алчны и пред престолом криводушны, — отвечал Рыжов.

— Да, вы откровенны. Благодарю. Вы тоже пророчествуете?

— Нет; а по библии вывожу, что ясно следует.

— Можете ли вы мне показать хоть один ваш вывод?

Рыжов отвечал, что может, — и сейчас же принес целый оберток бумаги с надписью «Однодум».

— Что тут есть пророчественного о прошлом и сбывшемся? — спросил Ланской.

Квартальный перемахнул знакомые страницы и прочитал: «Государыня в переписке с Вольтером назвала его вторым Златоустом. За сие несообразное сравнение жизнь нашей монархини не будет иметь спокойного конца».

На отлинсенном поле против этого места отмечено: «Исполнилось при огорчительном сватовстве Павла Петровича».

— Покажите еще что-нибудь.

Рыжов опять заметал страницы и указал новое место, которое все заключалось в следующем: «Издан указ о попенном сборе. Отныне хлад бедных хижин усилится. Надо ожидать особенного наказания». И на поле опять отметка: «Исполнилось, — зри страницу такую-то», а на той странице запись о кончине юной дочери императора Александра Первого с отметкою: «Сие последовало за назначение налога на лес».

— Но позвольте однако, — спросил Ланской, — ведь леса составляют собственность?

[1] Напротив *(франц.)*.

— Да; а греть воздух в жилье составляет потребность.

— Вы против собственности?

— Нет; я только чтобы всем тепло было в стужу. Не надо давать лесов тем, кому и без того тепло.

— А как вы судите о податях: следует ли облагать людей податью?

— Надо наложить, и еще прибавить на всякую вещь роскошную, чтобы богатый платил казне за бедного.

— Гм, гм! вы ниоткуда это учение не почерпаете?

— Из священного писания и моей совести.

— Не руководят ли вас к сему иные источники нового времени?

— Все другие источники не чисты и полны суемудрия.

— Теперь скажите в последнее: как вы не боитесь ни того, что пишете, ни того, что со мною в церкви сделали?

— Что пишу, то про себя пишу, а что в храме сделал, то должен был учинить, цареву власть оберегаючи.

— Почему цареву?

— Дабы видели все его слуг к вере народной почтительными.

— Но ведь я мог с вами обойтись совсем не так, как обхожусь.

Рыжов посмотрел на него *«с сожалением»* и отвечал:

— А какое же зло можно сделать тому, кто на десять рублей в месяц умеет с семьей жить?

— Я мог велеть вас арестовать.

— В остроге сытей едят.

— Вас сослали бы за эту дерзость.

— Куда меня можно сослать, где бы мне было хуже и где бы бог мой оставил меня? Он везде со мною, а кроме его никого не страшно.

Надменная шея склонилась, и левая рука Ланского простерлась к Рыжову.

— Характер ваш почтенен, — сказал он и велел ему выйти.

Но, по-видимому, он еще не совсем доверял этому библейскому социалисту и спросил о нем лично сам несколько простолюдинов.

Те, покрутя рукой в воздухе, в одно слово отвечали:

— Он у нас такой-некий-этакой.

Более положительного из них о нем никто не знал.

Прощаясь, Ланской сказал Рыжову:

— Я о вас не забуду и совет ваш исполню — прочту библию.

— Да только этого мало, а вы и на десять рублей в месяц жить поучитесь, — добавил Рыжов.

Но этого совета Ланской уже не обещал исполнить, а только засмеялся, опять подал ему руку и сказал:

— Чудак, чудак!

Сергей Степанович уехал, а Рыжов унес к себе домой своего «Однодума» и продолжал писать в нем, что изливали его наблюдательность и пророческое вдохновение.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Со времени проезда Ланского прошло довольно времени, и события, сопровождавшие этот проезд через Солигалич, уже значительно позабылись и затерлись ежедневною сутолокою, как вдруг нежданно-негаданно, на дивное диво не только Солигаличу, а всей просвещенной России, в обревизованный город пришло известие совершенно невероятное и даже в стройном порядке правления невозможное: квартальному Рыжову был прислан дарующий дворянство владимирский крест — первый владимирский крест, пожалованный квартальному.

Самый орден приехал вместе с предписанием возложить его и носить по установлению. И крест и грамота были вручены Александру Афанасьевичу с объявлением, что удостоен он сея чести и сего пожалования по представлению Сергея Степановича Ланского.

Рыжов принял орден, посмотрел на него и проговорил вслух:

— Чудак, чудак! — А в «Однодуме» против имени Ланского отметил: «Быть ему графом», — что, как известно, и исполнилось. Носить же ордена Рыжову было *не на чем*.

Кавалер Рыжов жил почти девяносто лет, аккуратно и своеобразно отмечая все в своем «Однодуме», который, вероятно, издержан при какой-нибудь уездной реставрации на оклейку стен. Умер он, исполнив все христианские требы по установлению православной церкви, хотя православие его, по общим замечаниям, было «сомнительно». Рыжов и в вере был человек такой-некий-этакой, но при всем том, мне кажется, в нем можно видеть кое-что кроме «одной дряни», — чем и да будет он помянут в самом начале розыска о «трех праведниках».

ШЕРАМУР

(ЧРЕВА-РАДИ ЮРОДИВЫЙ)

ГЛАВА ПЕРВАЯ

По некоторым, достаточно важным причинам выставленная кличка должна заменять собственное имя моего героя — если только он годится куда-нибудь в герои.

Если бы я не опасался выразиться вульгарно в самом начале рассказа, то я сказал бы, что Шерамур есть *герой брюха,* в самом тесном смысле, какой только можно соединить с этим выражением. Но все равно: я должен это сказать, потому что свойство материи лишает меня возможности быть очень разборчивым в выражениях, — иначе я ничего не выражу. Герой мой — личность узкая и однообразная, а эпопея его — бедная и утомительная, но тем не менее я рискую ее рассказывать.

Итак, Шерамур — *герой брюха;* его девиз — *жрать,* его идеал — *кормить других;* в этом настроении он имел похождения, достойные некоторого внимания. Я опишу кое-что из них в коротких отрывках: это единственная форма, в которой можно передать что-нибудь о лице, не имевшем никакой последовательности и не укладывающемся ни в какую форму.

Начинаю с того самого случая, как он показался первому человеку, который обнаружил в нем нечто достойное наблюдения.

Летом 187* года в Париж прибыл из Петербурга литературный Nemo.[1] Он поселился в небольшой комнатке,

[1] Никто *(лат.)*.

против решетки Люксембургского сада, и жил тут тихо и смирно несколько дней, как вдруг однажды входит к нему консьерж и говорит, что пришел «некто» и требует, чтобы monsieur вышел к нему — на лестницу.

Nemo имел основания не любить таинственности и с неудовольствием спросил:

— Кто это такой и что ему нужно?

— Я думаю, это некто из ваших, — отвечал француз.

— Это мужчина или женщина?

— Во всяком случае мне кажется, что *это* скорее мужчина.

— Так попросите его сюда.

— Да, но мне кажется, что ему неудобно войти.

— Разве он пьян?

— Нет; он... раздет.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На узенькой спиральной лестнице с крошечным окном в безвоздушный канал, образовываемый тремя сходящимися острым углом стенами, стояла очень маленькая, но преоригинальная фигура. Первое, что бросилось в глаза Nemo, были полудетские плечи и курчавая голова с длинными волосами, покрытая истасканною бандитскою шляпою.

Сначала казалось, что это костюмированный тринадцати- или четырнадцатилетний мальчик, но чуть он оборотился, вид изменяется: перед вами прежде всего два яркие, черные глаза, которые горят диким, как бы голодным огнем, и черная борода замечательной величины и расположения. Она заросла по всему лицу почти под самые глаза и вниз закрывает грудь до пояса. Такую бороду, по строгановскому лицевому подлиннику, указано писать только преподобному Моисею Мурину, вероятно ради особенности его мадьярского происхождения и мучительной пылкости темперамента этого святого, которому зато и положено молиться «от неистовой страсти».

Nemo подошел к незнакомцу и спросил:

— С кем я имею честь...

— Никакой нет чести, — отвечал незнакомец не натуральным, а искусственным баском, как во время óно

считали обязанностью хорошего тона говорить кадеты выпускного класса. Nemo понимал некоторый толк в людях и сам переменил манеру.

— Что же вам надо? — спросил он гостя.

— Имею дело.

— Так войдите в комнату.

— У вас нет никого?

— Никого.

— Могу.

И незнакомец пошел за хозяином важно и неспешно, переставляя свои коротенькие ножки, а когда взошел, то сел и, не снимая шляпы, сейчас же спросил:

— Нет ли у вас работы?

— Работы!

— Да, нет ли у вас какой работы?

— Да какая же у меня работа?

— Разве я знаю, какая?

— Вы мастеровой?

— Нет, не мастеровой, а мне говорили, что вы романы пишете.

— Это правда.

— Так я — переписывать.

— Но теперь я ничего не пишу.

— Вот как! Значит — сыты.

Он встал и, немного насупясь, добавил:

— А деньги есть у вас?

Хозяин невольно посторонился и спросил:

— Что это значит?

— Значит, что я три дня не жрал.

— Сколько же вам нужно?

— Мне нужно много, но я у вас хочу взять два франка.

— Извольте.

Турист опустил руку в портмоне и подал своему гостю пятифранковую монету.

— Здесь больше, — сказал тот.

— Это все равно.

— Да, разумеется, — вы сдачи получите.

С этим он завернулся и вышел тем же ровным шагом, с тою же неизменною важностью. Во время разговора можно было видеть, что у него некрепко держатся ретузы и под блузою нет рубашки.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Nemo рассказал историю землякам: те сразу узнали.

— Это, — говорят, — Шерамур.

— Кто он?

— Неизвестно.

— Во всяком случае он русский.

— О да! русский: у него какая-то таинственная история.

— Политическая?

— Кто его разберет! но, кажется, политическая.

— По какому делу он сюда сбежал?

— Право, не знаю, да и знает ли он сам об этом — сомневаюсь.

— Он не сумасшедший?

— Разве с точки зрения доктора Крупова.

— И не плут?

— Нет, он по-своему даже очень честен: да вот вы сами в этом убедитесь.

— Каким образом?

— Он занял у вас денег?

— А вы почему так думаете?

— Если он приходил, значит или долг принес, или умирает с голоду и в долг просит.

— Я ему очень мало дал.

— Все равно: он принесет.

— Я этого вовсе не требую.

— Мало ли что! А вы если хотите у него заискать, то сведите его пожрать.

— Он не обидится?

— Нимало; он человек натуральный; только не ведите в хорошее место: этого он терпеть не может, а куда-нибудь погрязнее.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

На другое утро спит Nemo и слышит:

— Проснитесь!

Тот открыл глаза и увидал перед собою Шерамура. Он был по-вчерашнему в блузе без рубашки и в бандитской шляпе. Только яркий, голодный блеск черных

глаз его немножко смягчился, и в них даже как будто мелькало что-то похожее на некоторый признак улыбки. Он протянул к хозяину руку и проговорил:

— Получайте.

— Что это?

— Три франка сдачи.

— Присядьте, — я сейчас встану, и мы пойдем вместе завтракать.

Шерамур сел и, положив деньги на стол, проговорил:

— Могу.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Они пили и ели именно так, как хотел того Шерамур, даже не у Дюваля, а пошли по самому темному из закоулков Латинского квартала и приютились в грязненьком кабачке дородной, богатырского сложения нормандки, которую звали Tante Grillade. Это была единственная женщина в Париже, которую Шерамур знал по имени и при встречах с которою он кивал ей своею горделивою головою. Она этого стоила, потому что имела историческую репутацию высокой пробы. Если она не лгала, то она в самом цвете своей юности была предметом внимания Луи Бонапарта и очень могла бы ему кое-что напомнить, но с тех пор, как он сделался Наполеоном Третьим, Grillade его презирала и жила, содержа грязненькую съестную лавку.

Было ли это все правда, или только отчасти, — это оставалось на совести Танты, но Шерамур ей верил: ему нравилось, что она презирает «такого барина». За это он ее уважал и доказывал ей свое уважение, перед ней одной снимая свою ужасную шляпу. Притом же она и ее темный закоулок составляли для Шерамура очень приятное воспоминание. Здесь, в этой трущобе, к нему раз спускалось небо на землю; здесь он испытал самое высокое удовольствие, к которому стремилась его душа; тут он, вечно голодный и холодный нищий, один раз давал пир — такой пир, который можно было бы назвать «пиром Лазаря». Шерамур самыми удивительными путями получил по матери наследство в триста или четыреста франков и сделал на них «пир Лазаря».

Он отдал все эти деньги Танте и велел ей «считать», пока он проест.

С того же дня он ежедневно водил сюда по нескольку voyou[1] и всех питал до тех пор, пока Танта подала ему счет, в котором значилось, что *все съедено*.

Теперь он сюда же привел своего консоматера. Им подали скверных котлет, скверного пюре и рагу из обрезков да литр кислого вина. Шерамур ел все это сосредоточенно и не обращая ни на кого никакого внимания, пока отвалился и сказал:

— Буде!

С этого у Nemo и Шерамура завязалось знакомство, которое поддерживалось «жратвою» у Tante Grillade и с каждым днем выводило наружу всё новые странности этого Каинова сына.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Nemo мог определить, что Шерамур был чрезвычайно горд, потому что он был очень застенчив, но понятия о самой гордости у него были удивительные. Так, например, корм он принимал от всякого без малейшего стеснения и без всякой благодарности. Кормить — это, по его мнению, для каждого было не только долг, но и удовольствие. В том, что его кормят, он не только не усматривал никакого одолжения, но даже находил, что это мало. И действительно — сам он при тех же средствах сделал бы гораздо больше. При тех же средствах он накормил бы несколько человек. Жратва была пункт его помешательства: он о ней думал сытый и голодный, во всякое время — во дни и в нощи.

Приходит он, например, и видит банку с одеколоном. Тотчас намечает ее своим сверкающим взглядом и, показывая на нее пальцем, с презрением спрашивает:

— Это что?

— Одеколон.

— Зачем нужен?

— Обтираюсь им.

---

[1] Оборванцев *(франц.)*.

— Гм! Обтираетесь. Разве прелое место есть?

— Нет; прелого места нет.

— Так зачем же такая низость!

— Кому же это вредно?

— Еще и спрашиваете: лучше бы сами пожрали да другого накормили.

— Пойдемте, — накормлю.

— Что же одного-то кормить... сказали бы, так я бы еще человек пять позвал.

Другой раз он застает на комоде белье, принесенное прачкою, и опять тычет пальцем:

— Чьи рубашки?

— Разумеется, мои.

— Сколько тут?

— Кажется, четыре.

— Зачем столько?

— А по-вашему, сколько рубашек можно иметь человеку?

— Одну.

— И будто у вас всего одна?

— Нет; у меня ни одной.

— Без шуток, ни одной?

— Какие шутки, мы не такие друзья, чтобы шутить шутки.

С этим он расстегнул блузу и показал нагое тело.

— Вот вам и шутки.

— Возьмите у меня рубашку.

— Могу.

Он взял поданную ему рубашку, пошел за занавес, а оттуда кричит:

— Нож!

— Вы не зарежетесь?

— Это не ваше дело.

— Как не мое дело! Я не хочу, чтобы вы здесь у меня напачкали кровью.

— Эка важность!

— Нет, не режьтесь у меня.

— Не зарежусь — я нынче пожравши.

— Нате вам нож.

Послышался какой-то треск, и что-то шлепнуло.

— Что это вы сделали?

Он вместо ответа выбросил отрезанные от обоих ру-

кавов манжеты и появился сам в блузе, из-под обшлагов которой торчали обрезки беспощадно оборванных рукавов рубашки.

Этак ему казалось лучше, но тоже не надолго, — завтра он явился опять без рубашки и на вопрос: где она? — отвечал:

— Скинул.

— Для какой надобности?

— У другого ничего не было.

Таков он был в бесконечном числе разных проявлений, которые каждого в состоянии были убедить в его полнейшей неспособности ни к какому делу, а еще более возбудить самое сильное недоразумение насчет того: какое он мог сделать политическое преступление? А между тем это-то и было самое интересное. Но Шерамур на этот счет был столь краток, что сказания его казались невероятны. По его словам, вся его история была в том, что он однажды «на двор просился».

Как и что? Это всякого могло удивить, но он очень мало склонен был это пояснять.

— Бунт, — говорит, — был. Мы все, техноложцы, в институт пришли — вороты заперты, не пущают. Мы стали проситься на двор пустить, — пихать начали. Меня взяли.

— Ну а потом?

— А потом — я ушел.

— Зачем?

— Да что же ждать — неизвестно бы куда засудили.

И больше ничего не добьетесь, да и сомнительно, есть ли чего добиваться.

До сих пор говорю с чужих слов — теперь перехожу к личным наблюдениям, которые были счастливее.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Я о нем в мою последнюю поездку за границу наслышался еще по дороге — преимущественно в Вене и в Праге, где его знали, и он меня чрезвычайно заинтересовал. Много странных разновидностей этих каиновых детей встречал я на своем веку, но такого экземпляра не

видывал. И мне захотелось с ним познакомиться — что было и кстати, так как я ехал с литературною работою, для которой мне был нужен переписчик. Шерамур же, говорят, исполнял эти занятия очень изрядно.

Его адреса никто не знал, но я взял адрес Tante Grillade, и он мне помог. По письму, оставленному в этом кабачке, Шерамур ко мне явился, совершенно таким, каким я его описал выше: маленький, коренастый, с крошечным носиком и огромной бородой Черномора.

Здесь, кстати, замечу, что кличка Шерамур была не что иное, как испорченное на французский лад Черномор, а происхождение этой клички имеет свою причину, о которой будет упомянуто в своем месте.

Я не торопил Шерамура сближением, а просто дал ему работу, и в первый визит он со мною не говорил почти ни слова, а только кивал в знак согласия, но, принеся через три дня назад переписанную тетрадь, разговорился.

— Все ли вы, — спрашиваю, — разобрали в моей рукописи, — не трудно ли было?

— Ничего нет трудного, а только одно трудно понять: зачем вы это пишете?

— Печатать буду.

— Очень нужно.

— Вам это не нравится?

— Не не нравится, а зачем всякую юрунду. (Он именно говорил юрунду.)

— Добрые люди купят, прочтут, посмеются и бросят.

— Ну да; только и всего. Стоит того дело. Могли бы что-нибудь лучше написать.

— Да что лучше-то? — Не умею.

— Ну да; не умеете! Нет, вы, я вижу, не совсем глупый!

— Да не знаю, — говорю, — что же такое надо писать?

— Полезное что-нибудь.

— Например?

— Я ведь не писатель, — что меня спрашивать. Если бы я был писатель, — я бы написал.

— Статью?

— Не знаю, может быть и статью.

— О чем?

— О том, чтобы всем было что жрать, — вот о чем.
— Как же это надо написать?
— Не знаю, — пишут.
— Где?
— Я не знаю; а пишут.
— Да все, — говорю, — мало куда годится.
— Оттого, что не дописывают.
— А отчего не дописывают?
— А черт их знает.
— Ума мало или смелости недостает?
— Да я не знаю.
— Вы революционер?
— Ну вот еще! Жрать всем надо, вот революция. В революцию хорошо, кто большого роста.
— Это почему?
— Потому что маленького никто не послушает.
— А вот Наполеоны-то, — ведь они оба были небольшого роста, а их слушались.
— Так это у французов; они на рост не глядят; а у нас надо, чтоб дылда был и ругаться умел.
— А вы разве этого не можете?
— Нет, не могу.
— А жрать?
Он улыбнулся, но только удивительно странно, сначала одним, а потом другим глазом, точно он не смел сразу обоими улыбнуться, и отвечал:
— Могу.
— Ну, идемте.

И он ходил со мною раз и два, и, наконец, за обычай взял со мною питаться, и освоился до того, что раз сказал:
— А я еще и другую штуку могу.
— Какую?
— Подвыть.
— Как же это?
— Здесь нельзя — страшно.
Я об этом и позабыл, но потом мы с ним как-то пошли за город в Нельи. Это был хороший вечер; мы всё бродили, бродили, сели на бережку ручья и незаметно осмеркли.
Он так же незаметно от меня отлучился и где-то

исчез. Я задумался и совсем про него позабыл, но вдруг вздрогнул и вскочил в ужасном испуге, и было чего: в самом недалеком от меня расстоянии громко и протяжно провыл голодный волк... И прежде чем я мог оправиться, — он завыл снова.

Надо было опомниться, что я всего в двух шагах от Парижа, которого грохот слышен и которого огни отражаются заревом, чтобы понять, как трудно было появиться здесь волку.

И пока я это сообразил, предо мною предстал Шерамур.

— Каково? — говорит.

— Это вы выли?

— Я. Разобрали, в чем дело?

— Какое же дело?

— Слушайте.

И он опять сел на корточки, сложил у рта ладошки и завыл: «Уаа-уаа-уаа».

— Разобрали?

— Нет; но вы действительно воете как настоящий волк.

— Еще бы! Мы, бывало, все этак хором воем.

— Кто, где?

— Технололожцы-то, в Петербурге, когда топить нечем и жрать нечего. Завоем, — хозяйка испужается и даст дров и поплеванник — чтобы замолчали. Ведь это слова.

Он опять опустился на корточки и еще раз завыл, но гораздо протяжнее, и в этот раз в этом вое я разобрал слова:

Холодно, странничек, холодно;
Голодно, родименький, голодно!

И мне стало жутко и больно, а он стал рассказывать, как им бывало холодно и как голодно, и как они, вымолив полено дров и «поплеванник», потом разогревались, прыгая вокруг пустой комнаты и напевая:

А лягушки по дорожке
Скачут, вытянувши ножки,
Ква-ква-ква-ква,
Ква-ква-ква-ква.

На него, кажется, действовала ночь, звезды и свобода открытого пространства. Он был в духе и в каком-то порыве на откровенность. Я этим воспользовался.

— Неужто вам, — говорю, — когда вы так бедствовали, никто не помогал?

— А кто мне станет помогать? со мною всё бедняки жили; все втроем редко жрали.

— Не все же технологи, или, по-вашему, «техноложцы», так бедны.

— Да, у кого есть отцы, — не бедны, разумеется, — им помогали.

— А ваш отец?

— У меня отца не было, — только родитель.

— Какая же тут разница?

— Отец жалеет, а родитель — родит и бросит.

— Кто же был ваш *родитель?*

— Мизантроп.

— Чем он занимался?

— Дворянин — развлекал свою ипохондрию.

— Ну, а мать, разве и она о вас не заботилась?

— Чем ей заботиться? — она из крепостных девок была.

— Так вы, значит, из податного звания?

— Нет; из благородного, — мизантроп ее за чиновника выдал.

— Вы всё путаете.

— Ничего не путаю: родитель был один, а отцом другой числился; муж матерн в казначействе служил.

— Да вы чью фамилию-то носите?

— Материного мужа.

— Ваша матушка, верно, была очень красива.

— Ну вот... Разумеется, не такая, как я. А у него всё равно были всякие: и красивые и некрасивые, и всех замуж выдавал.

— И приданое давал?

— Матери пятьсот рублей дал, за чиновника, а которых за своих — тем не давал.

— Значит, он вашу матушку больше других любил.

— Время такое пришло: эманцыпация. Крепостные не захотели без награждения. А он рассудил, что если с награждением, так уж все равно за благородного. Чиновник и взялся.

— Выходит, вы все-таки счастливее других.

— Не вижу, те наделы получили, а я нет.

— А чиновник вас не обижал, воспитывал?

— Мы у него не жили, он с матерью очень дрался; она назад убежала.

— К мизантропу?

— Да; меня швырнула ему, а сама утопиться хотела. Он нового суда побоялся и взял нас.

— Тут вам хорошо было?

— Ничего не было хорошего: меня к акушерке на воспитание в город отдали.

— Это добрая была женщина?

— Шельма; сама все с землемером кофей пила, а мне жрать не давала. И землемер очень бил.

— Зачем?

— Так; напьется и бьет по головешке. Я оттого и расти перестал — до двенадцати лет совсем не рос. В училище отдали: там начал жрать и стал подниматься. А пуще в пасалтыре морили.

— Что это такое за «пасалтырь»?

— Чулан, — землемер так называл. «Бросить, скажет, его в пасалтырь», — меня и бросят, да и позабудут без корму. А там еще тесно, все стена перед носом. Я от этого пасалтыря и зрение испортил, что все в стенку смотрел. В училище привели — за два шага доски не видел.

— Вы в каком были училище?

— В гимназии.

— Окончили курс?

— Нет; у меня от битья память глупая.

— А потом?

— В технологию.

— Что же тут, больше учились или больше читали?

— Больше всего опять жрать было нечего, а иногда и читали.

— А что читали?

— Много — не помню.

— Стихи или прозу?

— И стихи и прозу.

— И ничего не помните?

— Одни стихи помню, потому что много списывал их.

— Какие?

— Начало божественное, а потом политическое:

И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет,
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет.

— Это, — говорю, — «Властителям и судиям».
— Вот, вот, оно самое.
— Зачем же вы его списывали?
— Всем нравилось.
— Да ведь это державинское стихотворение: оно есть печатное.
— Ну, рассказывайте-ка.
— Не верите?
— Разумеется.
— Ну так знайте же, что это переложение псалма, и оно было в хрестоматии, по которой мы, бывало, грамматический разбор делали.
— Ну, а мы не делали.
— Бедняжки.
— Ничего не бедняжки.
— А когда вы окончили свою технологию?
— Я ее не кончал.
— Почему?
— Политическая история помешала.
— А какая же это была история?
— Наши студенты на двор просились.
— Для какой надобности?
— Как для какой надобности? Без двора разве можно? двор заперли, и некуда деться: мы проситься. Бударь говорит: нельзя на двор — от начальства не велено, а мы его отпихнули, и пошел бунт.
— Верно, прежде была какая-нибудь распря.
— Я тогда не ходил, у меня за ухом юрунда какая-то вспухла, и ее в тот день только распороли.
— Как же вы этим не оправдались?
— А как это оправдаться, стали нас показывать, — бударь на меня говорит: «Вот и этот черномордый тоже на двор просился». Меня отставили, а ему велели изложить. Он говорит: «Я не пущал, а он, как Спиноза, промеж ног проюркнул». Меня за это арестовали.

— За Спинозу?

— Да.

— Долго же вы были под арестом?

— Нет; я скоро в деревню уехал, — меня графиня выпросила.

Он, к крайнему моему удивлению, назвал одно из самых великосветских имен. Я впервые ему не поверил.

— Почему она вас знала?

— Ничего не знала, а у нас был директор Ермаков, которого все знали, и он был со всеми знаком, и с этой с графинею. Она прежде жила как все, — экозес танцевала, а потом с одним англичанином познакомилась, и ей захотелось людей исправлять. Ермаков за нас заступался, рассказывал всем, что нас «исправить можно». А она услыхала и говорит: «Ах, дайте мне одного — самого несчастного». Меня и послали. Я и идти не хотел, а директор говорит: «Идите — она добрая».

— И что же: вправду так вышло?

— Ничего не правда. Пустили к ней скоро — у нее внизу особый зал был. Там люди какие-то, — всё молились. Потом меня спросила: «Читал ли евангелие?» Я говорю: «Нет». — «Прочитайте, говорит, и придите». Я прочитал.

— Всё прочитали?

— Всё.

— Что же — понравилось вам?

— Разумеется, мистики много, а то бы ничего: есть много хорошего. Почеркать бы надо по местам...

— Вы так и графине отозвались?

— Не помню, — да ведь еще раньше генерал Дубельт говорил... Я читал об этом, а с графиней... не помню... Все равно она была дура. Она мне долбила все про спасение, только мне спать захотелось, а ничего не понял.

— Что же такое было непонятное?

— «Надо прийти ко Христу». Очень рад, — только как это сделать? Или будто я спасен... Почему я это знаю! Или про кровь там и все этакое: ничего по-настоящему нельзя понять. Я сказал, что я этого не понимаю и мне это не нужно. Она стала сердиться: «Оставим, говорит, до деревни, — вы там поймете». Дорогою хотела меня с собой посадить и читать, а потом во второй

класс послала; две девки, я да буфетчик. Мы и поссорились.

— Какое же вам до них дело было?

— Подлости говорят и бесстыдство: я это ненавижу; а потом с мужиком скандал вышел — все и пропало.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Вот в чем заключался этот эпизод — нелепый, курьезный и отрывочный, как все эпизоды своеобразной эпопеи Шерамура.

— Мы поехали, — начал он. — Графиня сама села в первый класс, и детей и старую гувернантку англичанку тоже там посадили, а две девки и я да буфетчик во втором сели. Буфетчик мне подал билет и говорит:

«Графиня вам тут велела».

Я говорю:

«Мне все равно». А как они стали разные глупости говорить, я и ушел в третий класс к мужикам.

— Какие же такие нестерпимые глупости они говорили?

— Всякие глупости, всё важных из себя передо мною представляли: одна говорит, что ее американский князь соблазнить и увезть хотел, да она отказалась, потому что на пароходе ездить не может, будто бы у нее от колтыханья морская свинка делается. Противно слушать, а на первой станции при нас большая история вышла: мужика возле нашего вагона бить стали. Я говорю: «За что?» А кондуктор говорит: «Верно, заслуживает». Я самого мужика спросил: за что? а он говорит: «Ничего!» Я подскочил к графине, говорю: «Видите, бесправие!» А она закричала: «Ах, ах!» и окно закрыла. Буфетчик говорит: «Разве можно беспокоить». Я говорю: «Если она христианка, она могла за бедного заступиться». А он: «С какой стати этак можете? — вы энгелист». А я говорю: «А ты дурак». И повздорили. Они и начали про студентов намеки. «Теперь, говорит, все взялись за этот энгелизм. Коим и не стоило звания своего пачкать, и те нынче счеты считают. У нас тоже теперь новый правитель — только вступил, сейчас счеты стал перемарывать. «Зачем, гово-

рит, пельсики пять с полтиной ставить, когда они по два рубля у Юлисеева? — Это воровство». Ах ты дрянь юная! Мы при твоем отце не такие счеты писали, и ничего, потому что то был настоящий барин: сам пользовался и другим не мешал; а ты вон что!

Девки так и ахают:

«Ишь, подлец! ишь, каналья!»

А тот говорит:

«Ну так я ему сейчас и ввернул, чего он и не думал: «Мало ли что, говорю, у Юлисеева, мы бакалейщика Юлисеева довольно знаем, что это одна лаферма, а продает кто попало, — со всякого звания особ». — «К чему мне это знать?» говорит. «А к тому-с, что там все продается для обыкновенной публики, а у нас дом, — мы домового поставщика имеем — у него берем».— «Вперед, говорит, у Юлисеева брать». — «Очень хорошо, говорю, только если их сиятельство в каком-нибудь фрукте отравят, так я не буду отвечать».

Девки визжат: «Ловко, ловко! Ожегся?»

«Страфил! и весь энгелизм спустил: «Бери, говорит, негодяй, у своего поставщика, а то ты и вправду за три целковых кого угодно отравишь».

А девки радостно подхватывают: «Очень просто, что так! — очень просто!» И сами что-то едят, а буфетчик мне очистки предлагает: «У вас, говорит, желудок крепкого характера, — а у меня с фистулой. Кушайте. А если не хотите, мы на бал дешевым студентам за окно выбросим». А потом вдруг все: хи-хи да ха-ха-ха, и: «точно так, как наше к вашему». Я этого уже слушать не мог и пересел к мужикам.

— Что же вас в этих словах особенно возмутило?

— Ну как же: цинизм: «наше к вашему». — Разве я не понимаю?

— Да я-то, — говорю, — не понимаю: что тут такого особенно циничного.

— Ну оставьте, пожалуйста, — очень это понятно.

— Извольте; оставляю, но все-таки где вы видите цинизм — не понимаю.

— Ну, а я понимаю: я даже в Петербург хотел вернуться и сошел, но только денег не было. Начальник станции велел с другим поездом в Москву отвезть, а в Петербург, говорит, без билета нельзя. А поезд подхо-

дит — опять того знакомого мужика, которого били, ведут и опять наколачивают. Я его узнал, говорю: «За что тебя опять?» А он говорит: «Не твое дело». Я приехал в Москву — в их дом, и все спал, а потом встал, а на дворе уже никого нет, —говорят: уехали.

— Вас бросили?

— Не взбудили. Я проспал — пошел на станцию за книгами — книги свои взять — и вижу, опять поезд подъехал, и опять того знакомого мужика бьют. Я думаю: вот черт возьми! — и захотел узнать: за что! А он, как его отбили, с платформы соскочил и прямо за вороты, — снял шапку и на все сорок сороков раскрещивается. Я говорю: «Ты бы, дурак, чем башкой по пустякам кивать, — шел бы к мировому». — «А мне чего, говорит, без мирового недостает?» — «Шея-то небось болит?» — «Так что же такое: у нас шея завсегда может болеть, мы мужики: а донес господь — я ему и благодарствую». — «А что били тебя — это ничего?» — «А какая важность, господа лише дрались, да мы терпели — и перетерпели: теперь они и сами обосели — стали смирные». — «Вот от этого, говорю, в тебе и нет человеческой гордости, а ты стал скотина». — «Через что такое, отвечает, скотина, когда я своих родителев знаю». — «Экое, говорю, животное: никаких чувств в тебе нет». А он начал сердиться: «Что ты, говорит, ко мне вяжешься: какое еще чувство, если мне так надобе». — «Отчего же это так надобе, чтобы тебя на всякой станции били?» — «Ан совсем, говорит, не на всякой». — «Я, говорю, видел». — «А мне, говорит, это еще лучше тебя известно: всего четыре раза за путину похлопали, только на бо́льших станциях, где билет проверяют. Какое же тут чувство? потолкают и вон, а я на другой поездок сяду, да вот бог дал, ничего не платя и доехал». Понимаете, какой отличный народ! Я его практическому смыслу подивился, и как у меня полтора рубля было, я ему помочь хотел. «Дальше, спрашиваю, куда-нибудь поедешь?» — «Дальше мне теперь все равно что рукой подать — всего в Тульскую губернию: мы с Москвой-то суседи». — «А все же ведь и тут опять чугунка». — «Простое дело, что чугунка». — «Так опять деньги надо». Он посмотрел и говорит: «Это не твое расположение». — «Да у тебя есть деньги или нет?» — «С чего так нет: мы мужики, а не то что, — мы работаем, а не

крадем, чтобы у нас не было. У нас что надобе есть». — «А то лучше, говорю, признайся: я тебе дам». — «Нам чужого не надо: у нас вот они свои, кровные». Вытащил кошель и хвалится: «Видишь, говорит, что есть названье от бога родитель, — вот я родитель: я побой претерпел, а на билет ничего не извел — без билета доехал. Все, что заработал, — вот все оно цело — деткам везу; а еще захочу, так и в церкву дам за свое здоровье. Понимаешь?» — «Глупо, говорю, в церковь давать». — «Ну, этого говорить ты не смей, а то вот что...» И кулак мне к носу. — Что за народ! что за народ! — воскликнул Шерамур и даже впотьмах весь расцветился. — Я, — говорит, — не вытерпел: «Молодец, говорю, пойдем, я тебя угощу в трактире». А он сейчас кошель скорей прятать и стал уходить. Я за ним, а он от меня еще шибче, да на углу хлоп, упал и растянулся. «Чего ты, говорю, дурак, бежишь?» — «А ты чего, говорит, меня гонишь: я ведь твоего не прошу». — «Чего же ты меня боишься?» — «Ты деньги увидал и скрасть хочешь», и с этим как дернет во всю мочь: «Каррраул!» Нас обоих и забрали.

— Куда?

— В часть.

— Выпустили?

— Да; на другой день пристав приехал, расспросил обо мне и послал к графине: действительно ли я с нею? Оттуда дворник их знакомого художника прислал, тот поручился, меня и отпустили. А у мужика там, в части, рубль пропал. Он после сказал мне: «Это твоя вина, — я за тебя заключался, — ты должен мне воротить», — я отдал...

— Вы, значит, на него не сердились?

— Нет, да ведь он умен, он мне сказал: «Я бы, говорит, от тебя и не бежал, да боялся, что у тебя вумственные книжки есть. А то, сделай милость, буду на угощении благодарен». Чай с ним вместе пили. Отличный мужик. «А если еще остача есть, говорит, купи моим деткам пряничного конька да рыбинку. Я свезу — скажу: дядька прислал, — детки малые рады будут». Хороший мужик. Мы поцеловались.

— Значит, он вас до грошика обобрал?

— Я сам отдал.

— А зачем?

— Отдал, да и все.

— А сами куда и с чем пошли?

Шерамур только рукой махнул.

— Тут, — говорит, — у меня началась самая тяжкая пора, я едва рассудок не потерял.

— Отчего же собственно?

— От ужасного божества... беда что такое было.

— Верно, опять графиня?

— Да; и другие, — если бы англичанка моего этого спасения верою не подкургузила, так я погиб бы от святости.

— Валяйте, валяйте, — говорю, — разве можно на таком интересном месте останавливаться: сказывайте, что такое было?

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В московском доме графини, где она провела сутки и уехала далее, по-видимому совсем позабыв о Шерамуре и не сделав на его счет никаких распоряжений, он нашел того профессора живописи, который за него поручился.

Это был единственный человек, к которому наш герой мог обратиться в своем положении. Он так и сделал. Считая имена недостойными человеческого внимания пустяками, Шерамур не знал, как звали художника, но, по его словам, это был человек пожилой и больной. Он жил со своим семейством, занимая один из флигелей в доме графа, который считал себя покровителем какого-то московского художественного учреждения. Остальной дом был пуст и оберегался одним старым лакеем. Лакей этот питал какие-то особенные чувства к профессору и свел к нему Шерамура. Тот выслушал чудака и говорит:

— По-моему, вам не стоит за графиней ехать.

— Я, — говорит Шерамур, — спросил, отчего? А он не отвечает. Большущее что-то пишет и все помазикает кистями и отскочит: высматривает.

«Я, — говорит, — не советую... — И опять мазикает. — Графиня, я думаю... вами тяготится».

«Сама, — говорю, — пригласила».

«Это ничего. — И опять помазикал, отскочил и смотрит в кулак на картину, и говорит: — Это ей все равно; они люди особенные, у них это ничего-с».

И еще помазикал, помазикал, а потом положил свои снасти, закурил трубочку и сел против картины.

«Вы, — спрашивает, — «Эмиля» Руссо читали?»

«Не читал, а слышал: опыт какой-то делали — воспитать человека».

«Вот, вот, вот! — вот и вы на этот опыт взяты: вы лучше удирайте».

«А что она мне сделает?»

«Да нехорошо, — говорит, — с ними возиться. Ведь ей делать нечего — вот ее забота. Ее отец, бывало, для собственной потехи все лечил собственных людей, а эта от нечего делать для своей потехи всех ко спасению зовет. Только жаль — собственных людей у них теперь нет, все искать надо, чтобы одной перед другой похвастать: какая кого в свою веру поймала. Всякая дрянь нынче их этою глупою потехою пользуется: «я, дескать, уверовал — дайте поесть», а вы студент, — вам это стыдно».

Я говорю:

«Мне это все равно, — я религии не признаю; а если можете пять рублей мне занять, так я поеду, потому что она мне сулила дать школу».

Он говорит:

«Нате вам пять рублей, а школы она вам не даст, а если даст, так вас оттуда скоро выгонит».

А когда я хотел расспросить, отчего не даст? — Он вдруг закашлялся и говорит:

«Ну вас совсем! Если вы такой бестолковый, — ступайте куда хотите: у меня чахотка; а вы... ничего не понимаете».

Шерамур взял пять рублей и отправился к месту своего призвания, где его осетили трагикомические случайности, которые имели на него роковое влияние и довели его до эмиграции.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Во-первых, его не ждали и, как художник отгадал, — не желали видеть в имении, куда он явился не то педагогом, не то Эмилем. Встречен он был сухо, как человек никому не нужный; даже помещения ему не дали, и бла-

годетельницы своей графини он не видал. В этом, по его словам, был виноват тот же враг студентов, буфетчик, способный за три целковых отравить кого угодно. Он сбил Шерамура сначала в чулан при конторе, а потом в каморку при прачечной. У его выломанного порога была ямина, а под окном зольная куча, на которую выбрасывали из кухни всякую нечисть, и тут, как говорил Шерамур, постоянно «ходили пешком три вороны и чьи-то птичьи кишки таскали». В самой же храмине здесь была такая жара и духота, что Шерамур, к великому своему удивлению и благополучию, — тяжко заболел: у него сделался карбункул, который он называл: злой чирей. Ему не дали умереть и прислали к нему фельдшера — молодого еврея, который здесь тоже был и врачом и религиозным Эмилем: графиня его второй год воспитывала к христианству. Главный труд обращения его уже был окончен, и по осени он назначался на короткое время на выставку в религиозные салоны Петербурга, а оттуда к отсылке за границу для крещения по наилучшему образцу какой-то из неизвестных сект. Еврей был такой же горький человек, как Шерамур, — он был вырван из солдатчины благодаря тому, что решился оказать склонность к христианству. Он уже второй год жил здесь неизвестно по какому праву и, чувствуя свое рискованное положение, пел стишки и читал «трактатцы», — но он был, разумеется, гораздо находчивее Шерамура и сделал ему важную услугу — спас ему жизнь.

Шерамур лежал без всякого присмотра — его дверь часто некому было затворить, и вороны заходили к нему пешком даже в самую комнату, но фельдшер нашел, что случай этот достоин иного внимания. Он доложил о больном графине и удостоверил ее, что болезнь опасна, но не заразительна. Он знал, что это был для нее бенефисный случай: она сейчас же пришла с книжечками и флаконом разведенной водою мадеры и читала Шерамуру о спасении верою. Он ничего не понял, а она ушла, оставив ему трактатцы, но флакон унесла. Еврей ему сделал выговор:

— Что вам такого, — говорит, — понимать, — спросит: «погиб?» — говорите: «погиб», — а если «спасен», так «спасен».

— А что это значит? — добивался Шерамур.

— Ничего не значит, — один разговор, а за то вам будут хорошую пищу присылать и мадеры, — а вы еще слабы. — Он взял оставленные трактатцы, посмотрел и говорит: — Вот по этой погиб, а по этой спасен. Я скажу, что вы читали и пошли на спасенье.

Прием оказался хорош. В тот день Шерамуру, наперекор всем проискам буфетчика, прислали супу и котлет, а после обеда пришла графиня и принесла новых трактатцев и флакон. Еврей сказал, что больной слаб, и графиня его не утруждала; она спросила его только: «Видите, что вы погибли...» Он отвечал: «Погиб». Она стала на колени и долго молилась. Шерамур из всей молитвы запомнил только: «еще молим тебя, господи, и еще молим тебя». Она спросила: имеет ли он сколько-нибудь Христа? Он поморщился, но сказал: «Немножко имею». Она еще помолилась, а потом ушла, но флакон оставила. С тех пор его стали отлично кормить, и графиня к нему приходила с трактатцами и флаконом, а также приводила раза два англичанку, и обе возле него молились. Он вел себя, как учил еврей: но все путал, говорил то «погиб», то имеет Христа.

Еврей заметил по своим приметам, что это долго стоит на лизисе, — вскрыл Шерамуру нарыв и сказал: «Ну, теперь скажите: «спасен». Шерамур так и сделал. Он был «спасен», графиня утешалась; она приобрела Христу первого нигилиста и велела Шерамуру по выздоровлении приходить к ней, чтобы петь с верными и учить детей писать и закону божию. И как с этих пор лично ей он уже был неинтересен, то она его бросила, а буфетчик опять стал ему посылать вместо «куричьего супу»— «свинячьи котлеты» и вместо «кокайского вина» — «подмадерный херес». Продолжали навещать Шерамура только фельдшер да англичанка, которая в эту пору и явилась изобретательницею его нынешней клички. Графиня при первом взгляде на него назвала его «Черномор» — что ему и очень шло, графинины горничные сделали из этого «черномордый»,— но и это было кстати, а англичанка по-своему все перековеркала в «Шерамур». Однако, впрочем, и это тоже имело свою стать, хотя в смысле иронии.

Впрочем, началось это без иронии. Никому не благодарный и ни на кого не жаловавшийся, Шерамур при воспоминании об этой даме морщил брови.

— С губкою, — говорит, — все приходила и с теплой водичкой, — чирей размывать. Я сяду на край кровати, а она стоит, — на затылке мне мочит, а лицо мое себе в грудь прижмет — ужасно неприятно; она полная и как зажмет лицо, совсем дышать нельзя, а она еще такие вопросы предлагает, что видно, какая дура.

— Какие же вопросы, Шерамур?

— «Приятно ли?» — «Разумеется, говорю, от теплой воды хорошо, а дышать трудно». Или: «Ти ни о чем не дюмаешь?» Говорю: «О чем мне думать?» — «А ти, говорит, дюмай, ти дюмай!» После было выдумала еще мне лицо губкой обтирать, но это я сразу отбил — говорю: «Уж это, пожалуйста, не надо: у меня здесь не болит».

— Да она, верно, в вас влюбилась?

— Ну вот еще! Просто дура.

— А чем же у вас с нею все кончилось?

— Еще что скажете!

— А что?

— Да никогда ничего и не начиналось; а просто как я выздоровел и сунулся в это божество — сейчас пошли отовсюду неприятности.

— Вы не умели петь или не умели преподавать?

— Я не пел, а там чай с молоком давали, так я просто ходил сидеть, чтоб чаю дали.

— Вам не нравилось, как графиня говорит?

— Глупости.

— Однако хуже попов или лучше, толковее?

— У попов труднее.

— Чем?

— У них, как тот мужик говорил, «вумственнее» — они подите-ка какие вопросы закатывают.

— Я, — говорю, — не знаю, о чем вы говорите.

— Ко мне раз поп пришел, когда я ребят учу: «Ну, говорит, отвечай, что хранилось в ковчеге завета!» Мальчик говорит: «расцветший жезл Аваронов, чашка с манной кашей и скрыжи». — «А что на скрыжах?» — «Заповеди», — и все отвечал. А поп вдруг говорил, говорил о чем-то и спрашивает: «А почему сие важно в-пятых?» Мальчонко не знает, и я не знаю: почему сие важно в-пятых. Он говорит: «Детки! вот каков ваш наставник — сам не знает: почему сие важно в-пятых?» Все и стали смеяться.

— Ученики ваши?

— Ребятишки отцам рассказали: «Учитель, мол, питерский, а не знает: почему сие важно в-пятых? Батюшка спросил, а он и ничего». А отцы и рады: «какой это, подхватили, учитель, это — дурак. Мы детей к нему не пустим, а к графинюшке пустим: если покосец даст покосить — пусть тогда ребятки к ней ходят, поют, ништо, худого нет». Я так и остался.

— Ни при чем?

— Да, так ходил, думал до осени, но тут... подвернулось...

— Новая история?

— Да, из-за пустого лакомства.

Понятно, нетерпение знать: как и какая сладость сей жизни соблазнила Шерамура? Почему сие было важно в-пятых?

Дело это содержалось в англичанке.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Пожилая дама, о которой заходит речь, была особа, описания которых не терпит английская литература, но которых зато с любовью разработывает французская. Смелейшие из английских писателей едва касаются одной стороны — их ипокритства, но Тэн обнаружил и другие свойства этих тартюфок. Их вкус мало разборчив, их выбор падает на то, что менее афиширует. В большинстве случаев это бывает собственный кучер или собственный лакей. Внешняя фешионабельность и гадкая связь идут, ничего не нарушая и ничему не препятствуя. Если нет собственного кучера и лакея, тогда хорош и католический монах. Эти лица пользуются очень хорошею репутациею во многих отношениях, особенно со стороны скромности. Вообще английский культ дорожит в таких обстоятельствах скромностью субъекта и таким его положением, которое исключало бы всякое подозрение. Шерамур был в этом роде. Но тут дело было несколько лучше: по тонким навыкам старой эксцентрички Шерамур ей даже нравился. Она была свободна от русских предрассудков и не смотрела на него презрительными глазами, какими глядела

«мизантропка», опрокидывающая свою ипохондрию, или ее камеристки, этот безвкуснейший род женщин в целой вселенной. Крепкий, кругленький, точно выточенный торс маленького Шерамура, его античные ручки, огневые черные глаза и неимоверно сильная растительность, выражавшаяся смолевыми кудрями и волнистою бородою, производили на нее впечатление сколько томное, столько же и беспокоящее. Он представлялся ей маленьким гномом, который покинул темные недра гор, чтобы изведать привязанность, — и это ничего, что он мал, но он крепок, как молодой осленок, о котором в библии так хорошо рассказано, как упруги его ноги и силен его хребет, — как бодро он несется и как неутомимо прыгает. Она знала в этом толк. Притом он был franc novice [1] — это возбуждало ее опытное любопытство, и, наконец, он молчалив и совершенно не подозрителен.

И вот мало-помалу, приучив его к себе во время его болезни, англичанка не оставляла его своим вниманием и тогда, когда он очутился без дела и без призора за то, что не знал: «почему сие важно в-пятых?»

Она была терпеливее графини и не покидала Шерамура, а как это делалось на основании какого-то текста, то графиня не находила этого нимало странным. Напротив: это было именно как следует, — потому что *они* не так как мы — примемся да и бросим, а *они* до конца держатся правила: fais ce que tu dois. [2]

И та действительно держалась этого правила: она учила Шерамура по-французски, употребляла его для переписки «стишков» и «трактатцев» и часто его подкармливала, спрашивая на его долю котлетку или давая ему каштаны или фисташки, которые он любил и ел презабавно, как обезьяна.

Все это шло в своем порядке, пока не пришло к развязке, самой неожиданной, но вполне соответственной дарованиям и такту Шерамура. Но это замечательнейшее из его приключений нельзя излагать в моих сокращениях, оно должно быть передано в дословной форме его собственного рассказа, насколько он сохранился в моей памяти.

---

[1] Добровольный послушник *(франц.)*.
[2] Исполняй свой долг *(франц.)*.

— Она, — говорит Шерамур, — раз взяла меня за бороду, — и зубами заскрипела. Я говорю: «Чего это вы?»

«Приходи ко мне в окно, когда все уснут».

Я говорю:

«Зачем?»

«Я, — говорит, — тебе сладости дам».

«Какой?»

Она говорит:

«Кис-ме-квик».

Я говорю:

«Это пряник?»

Она говорит:

«Увидишь».

Я и полез. Из саду невысоко: она руку спустила и меня вздернула.

«Иди, — говорит, — за ширмы, чтобы тень не видали».

А там, за ширмой, серебряный поднос и две бутылочки: одна губастая, а одна такая.

Она спрашивает:

«Чего хочешь: коньяк или шартрез?»

«Мне, — говорю, — все равно».

«Пей что больше любишь».

«Да мне все равно, — а вот зачем вы так разодеты?»

«А что такое?»

«То, — говорю, — что мне совестно — ведь вы не статуя, чтоб много видно».

— А она, — вмешиваюсь, — как была разодета?

— Как! скверно, совсем вполодета, рукава с фибрами и декольте до самых пор, везде тело видно.

— Хорошее тело?

— Ну вот, я будто знаю? Мерзость... по всем местам везде духами набрыськано и пудрой приляпано... как лишаи... «Зачем, говорю, так набрыськались, что дышать неприятно?»

«Ты, — говорит, — глупый мальчик, не понимаешь: я тебя сейчас самого набрыськаю», — и стала через рожок дуть.

Я говорю:

«Оставьте, а то уйду».

Она дуть перестала, а заместо того мокрую губку с одеколоном мне прямо в лицо.

«Это, — говорю, — еще что за подлость!»

«Ничего, — говорит, — надо... личико чисто делать».

«А, — говорю, — если так, то прощайте!» — Выскочил из-за ширмы, а она за мною, стали бегать, что-то повалили; она испугалась, а я за окно и спрыгнул.

— Только всего и было с англичанкой?

— Ну, понятно. А буфетчик из этого вывел, что я будто духи красть лазил.

— Как духи красть? Отчего он это мог вывесть?

— Оттого, что когда поймал, от меня пахло. Понимаете?

— Ничего не понимаю: кто вас поймал?

— Буфетчик.

— Где?

— Под самым окном: как я выпал, он и поймал.

— Ну-с!

— Начал кричать: «энгелиста поймал!» Ну тут, разумеется, люди в контору... стали графу писать: «пойман нигилист».

— Как же вы себя держали?

— Никак не держал — сидел в конторе.

— Сказали, однако, что-нибудь в свое оправдание?

— Что говорить — от нигилиста какие оправдания.

— Ну, а далее?

— Убежал за границу.

— Из-за этого?

— Нет; поп подбавил: когда графиня его позвала сочинять, что нигилисты в дом врываются и чтобы скорее становой приезжал, поп что-то приписал, будто я не признаю: «почему сие важно в-пятых?» Фельдшер это узнал и говорит мне: что это такое — «почему сие важно в-пятых?» Я говорю: «Не знаю».

«Может быть, это чего вышнего касается? Вам теперь лучше бежать».

Я и побежал.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Как он бежал? — Это тоже интересно.

— Пешком, — говорит, — до самой Москвы пер, даже на подметках мозоли стали. Пошел к живописцу, чтобы сказать, что пять рублей не принес, а ухожу, а он совсем

умирает, — с кровати не вставал; выслушал, что было, и хотел смеяться, но поманул и из-под подушки двадцать рублей дал. Я спросил: «На что?» А он нагнул к уху и без голосу шепнул:

«Ступайте!»

С этим я ушел.

— Куда же?

— В Женевку.

— Там были рады вам?

— Ругать стали. Говорят: «У англичанки, верно, деньги были, — а вы — этого не умели? Дурак вы».

— Неужто даже не приютили?

— Ничего не приючали: я им не годился, — говорят: «вы очень форменный, — нам надо потаенные».

— Тогда вы сюда?

— Да: здесь вежливо.

Он сказал это с таким облегченным сердцем, что даже мне легко стало. Я чувствовал, что здесь — *период;* что здесь замысловатая история Шерамура распадается, и можно отдохнуть.

Я его спросил только: уверен ли он, что ему в России угрожала какая-нибудь опасность? Но он пожал плечами, потянул носом, вздохнул и коротко отвечал:

— Все же уйти — безопаснее.

Мы встали с края оврага, в котором Шерамур начал волчьим вытьем, а кончил божеством. Пора было вернуться в Париж — дать Шерамуру жрать.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Если бы я не имел перед собой примера «старца Погодина», как он скорбел и плакал о некоем блуждавшем на чужбине соотчиче, то я едва ли бы решился сознаться в неодобрительном поступке: мне было жаль Шерамура, и я даже положил себе им заняться и довести его до какого-нибудь предела. Словом: я вел себя совсем как Погодин. Разбирая рапсодии Шерамура, я готов был иногда подозревать его в сумасшествии, но он не был сумасшедший; другой раз мне казалось, что он ленивый негодяй и

дармоед, но и это не так: он всегда ищет работы, и что вы ему поручите, — он сделает. Не плут он уже ни в каком случае, — он даже несомненно честен. Он так, какой-то заморух: точно цыпленок, который еще в яйце зачичкался. Таких самые сердобольные хозяйки, как только заметят, — обыкновенно «притюкивают» по головешке и выбросят, — и это очень милостиво; но Шерамур был не куриный выводок, а человек. Родись он в селе, его бы считали «ледащеньким», но приставили бы к соответственному делу — стадо пасти или гусей сгонять, и он все-таки пропитался бы и даже не был бы в тягость; но среди культурного общества — он никуда не годился.

Однако все-таки его лучше увезть в Россию, где хоть сытнее и много дармоедов не умирает с голоду. Поэтому самое важное было дознаться, тяготит ли над ним какое обвинение и нельзя ли ему помочь оправдаться?

Но как за это взяться? К счастию, однако, явился такой случай. Но прежде, чем дойти до него, надо сказать два слова о том, как Шерамур жил в Париже.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

С первого дня своего прибытия в Париж он был так же обеспечен, как нынче. *Никогда* у него не было ни определенного жительства, ни постоянных занятий. Он иногда что-то заработывал, нося что-то в гаре, иногда катал какие-то бревна. Что ему за это платили — не знаю, но знаю, что иметь столько денег, чтобы пообедать за восемьдесят сантимов и выспаться в ночлежном доме, — это было его высшее благополучие. В большинстве же случаев у него не было никакой работы, тем более что, перекатывая бревна, он сломал ногу, а от носки тяжестей протирал свои очень хорошенькие дамские плечи, пленившие англичанку. Очевидно, в работе у него ни на что недоставало сноровки. Отдыхал же он днем и ночью на бульварах. Это трудно, но можно в Париже, а по привычке Шерамуру даже не казалось трудно.

— Я, — говорил он, — ловко спать могу.

То есть, он мог спать сидя на лавочке, так, чтобы этого не заметил sergent de ville.[1]

— А если он вас заметит?

— Я на другую иду.

— Ведь и с другой сгонят?

— Не скоро,— с полчаса можно поспать. Надо только переходить на ту сторону, откуда он идет.

Но теперь обращаемся к *случаю*.

Раз, выйдя из русской церкви, я встретился в парке Монсо с моею давнею знакомою, г-жою Т. Мы сидели на скамеечке и говорили о тех, кого знали и которых теперь хотелось вспомнить. А нам было о ком побеседовать, так как знакомство наше с этою дамою началось еще во дни восторгов, пробужденных псковскою историею Гемпеля с Якушкиным и тверскою эпопеею «пяти дворян». Мы вместе перегорали в этих трепетаниях — потом разбились: она, тогда еще молодая дама с именем и обеспеченным состоянием, переселилась на житье в Париж, а я — мелкая литературная сошка, остался на родине испытывать тоску за различные мои грехи, и всего более за то, чего во мне никогда не было, то есть за какое-то *направление*.

С тех пор минуло без малого четверть столетия, и многое изменилось — одних не стало, другие очутились слишком далеко, а мы, которых здесь свел случай после долгой разлуки, могли не без интереса подвергнуть друг друга проверкам: что в ком из нас испарилось, что осталось и во что переложилось и окрасилось. Она в это время видела больше меня людей интересных, и притом таких, о которых я имел только одни книжные понятия. В дни ее отъезда я помню, что она горела одним постоянным и ни на минуту не охлажденным желанием стать близко к Гарибальди и к Герцену. О первом она писала, что ездила на Капреру, но Гарибальди ей не понравился: он не чуждался женского пола, но относился к дамам слишком реально. Он ей показался лучше издали, но почему и как — я ее о том не расспрашивал. Герцен тоже не выдержал критики: он сделался под старость «не интересен как тайный советник» и очень капризен и придирчив. Дама весьма хорошо умела представлять, как она крас-

[1] Полицейский *(франц.)*.

нела за него в одном женевском ресторане — где он при множестве туристов «вел возмутительную сцену с горчичницей» за то, что ему подали не такую горчицу. Он был подвязан под горло салфеткою и кипятился совершенно как русский помещик. Все даже оборачивались... И это был тот, чьи остроумные клички и прозвища так смешили либеральный Петербург шестидесятых годов! Это невозможно было снести: дама махнула рукой на подвязанного салфеткой старца и даже в виде легкой иронии отыгралась с ним на его же картах: она называла его «салфеточным». Затем ее внимание занимали Клячко, Лангевич, Пустовойтова, наконец, папа Пий IX, от которого она тогда только что возвратилась и была в восторге по причине его «божественного лица».

— Кротость, ласковость и... какое обхождение, — говорила она, — всякому он что-нибудь... Пусть его бранят, что он выдумал непогрешимость и зачатие, но какое мне дело! Это все в догматах... Боже мой! кто тут что-нибудь разберет, а не все ли равно, как кто верит. Но какая прелесть... В одном представлении было много русских: один знакомый профессор с двумя женами, то есть с законной и с романической, — и купец из Риги, раскольник, — лечиться ездил с дочерью, девушкою... Всех приняли — только раскольнику велели фрак надеть. Старик никогда фрака не надевал, но купил и во фраке пришел... И он со всеми, со всеми умел заговорить — с нами по-французски, а раскольнику через переводчика напомнил что-то такое, будто они государю говорили, что «в его новизнах есть старизна», или «старина». Говорят — это действительно так было. Раскольник даже зарыдал: «Батюшка, говорит, откуда износишь сие, отколь тебе все ведомо?» — упал в ноги и вставать не хочет. «Старина, старина», говорит... Мне это нравится: с одной стороны находчивость, с другой простота... Здесь теперь в моде Берсье: он изменил католичеству, сделался пастором и всё против папы... Я и его не осуждаю — у него талант, но он не прав, и я ему прямо говорю: вы не правы; папу надо видеть; надо на него глядеть без предубеждения, потому что с предубеждением все может показаться дурно, — а без предубеждения...

Но только что она это высказала, — на повороте аллеи как из земли вылупился Шерамур — и какой, — в ка-

ком виде и убранстве! Шершавый, всклоченный, тощий, весь в пыли, как выскочивший из-под грязной застрехи кот, с желтым листом в своей нечесаной бороде и прорехами на блузе и на обоих коленах.

При появлении его я просто вздрогнул, перервал оживленный рассказ моей дамы и, пользуясь правами короткого знакомства, взял ее за руку и шепнул:

— А вот посмотрите-ка без предубеждения.

— На кого? Вот на этого монстра?

— Да; я после расскажу вам, какое под этим заглавием содержание.

Она прищурилась, рассмотрела и... тоже вздрогнула.

— Это ужасно! — прошептала она вслед Шерамуру, когда он минул нас, не удостоив не единого взгляда, с понурою, совершенно падающею головою. Надо было думать, что нынешнюю ночь, а может быть и несколько ночей кряду, его мало пожалел sergent de ville.

Моя дама схватилась за карман, достала портмоне и, вынимая оттуда десять франков, сказала:

— Вы можете ему передать это?..

— О, да, — говорю, — с удовольствием. Но, позвольте, вот что мне пришло в голову: вы ведь, верно, знакомы с кем-нибудь из здешних наших дипломатов?

— Еще бы — даже очень дружески.

— Помогите же этому бедняку.

— В чем?

— Надо узнать: преступник он или нет?

— Охотно, только если они знают. Но они, кажется, о русских никогда ничего не знают.

— Они, — говорю, — могут узнать.

Она вызвалась поговорить с одним из близких ей людей в посольстве и через два дня пишет мне, чтобы я прислал к ней Шерамура: она хотела дать ему рекомендательную карточку, с которою тот должен пойти к г. N.N. Это был видный чиновник посольства, который обещал принять и выслушать Шерамура, и, если можно, помочь ему очистить возвратный путь в отечество.

— А тогда, — прибавила дама, — я беру на себя собрать ему средства на дорогу, буду просить в Петербурге... — и проч., и проч.

Думаю, чего же еще лучше надо?

Передаю все это Шерамуру и спрашиваю:

— Что вы на это скажете?
— Да я, — отвечает, — не понимаю: зачем это?
— Вы разве не хотите в Россию?
— Нет; отчего же — могу; там пищеварение лучше.
— Так идите к этой даме.
— Хорошо. Она дура?
— С какой же стати она будет дурою?
— Аристократка.
— А они разве все дураки?
— Да я не знаю, я так спросил: какая она?
— Это вам все равно, какая она, — она очень добрая, принимает в вас участие и в силах вам помочь, как никто другой. Вот все, что вам достаточно знать и идти.
— И ничего из этого не будет.
— Почему не будет?
— Ведь я сказал.
— Нет, не сказали.
— Аристократка.
— Так вы не пойдете?
Он помолчал, поводил носом и протянул:
— Ну, черт с ней, — пожалуй, схожу.
Он это делал совершенным grande signore[1] — чтобы отвязаться. Ну да и то слава богу, что хоть мало на лад идет. Моя знакомая женщина с душою — она его поймет и на его невежество не обидится.

Другое дело — как он аттестует себя в самом посольстве перед русским дипломатом, которого чувства, конечно, тоньше и который, по уставам своего уряда, «по поступкам поступает», а не по движению сердца.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Я ждал развязки дипломатических свиданий Шерамура с нетерпением, тем более что все это затеялось накануне моего отъезда, и вот мне не терпится: вечерком в тот день, как он должен был представиться своей патронессе, я еду к ней и не могу отгадать: что застану? Но застаю ее очень веселую и довольную.

---

[1] Важным синьором (*итал.*).

— Ваш Шерамур, — говорит, — презабавное существо. Как он ест! — как звереныш.

— Вы его кормили?

— Да; я его брала с собой...

— Вот как, я всегда знал, что у вас предоброе сердце, но это еще шаг вперед.

— Отчего?

— Оборвыш он этакой, а вы его водили и вместе обедали.

— Ах, это-то! Ну полноте, ведь здесь не Россия. Не беспокойтесь меня хвалить: в Петербурге я бы этого ни за что не сделала, а здесь что же такое... Я такая, как все, и могу делать, что хочу. Гарсоны на него только всё удивлялись. Я им сказала, что это дикий из русской Сибири, и они его всё рассматривали и были к нему очень вежливы. А кстати: вы заметили, как он кости грызет?

— Нет, — говорю, — что-то не заметил.

— Ах, это прелестно: он их грызет как будто какую-нибудь жареную вермишель и чавкает как поросеночек.

— Да, — говорю, — насчет изящества с ним нужна снисходительность.

Но она и приняла это снисходительно и даже рассказала оставшийся у меня в памяти анекдот о другом, еще более противном способе обращаться с костями. Дело шло об одном ее великосветском кузене Вово и состояло в том, что этот кузен, русский консерватор, удостоясь чести кушать за особым столиком с некоторою принцессою, ощутил неодолимое желание показать, как он чтит этот счастливый случай. Он остановил лакея, убиравшего тарелку с косточками птички, которую скушала принцесса, выбрал из них две или три, завернул в свой белый платок и сказал, что делает это с тем, чтобы «сберечь их как святыню». Но, к сожалению, все это было дурно принято: принцесса обиделась такою грубостью, и кузен Вово лишился вперед приглашений. Дама называла это «русским великосветским бебеизмом», который ставила без сравнения ниже шерамурова чавканья, — а я ее не оспаривал.

— Конечно, — говорю, — такой неделикатности Шерамур не сделает, но вот меня занимает: как он поведет себя с дипломатом? Предупредили ли вы того: какой это экземпляр?

— Как же — я все сказала.

— Ну, и что же он?

— Очень смеялся.

Я покачал головою и сомнительно спросил:

— Зачем же он очень смеялся?

— А что?

— Да так... Зачем это они все нынче любят *очень смеяться,* когда слышат о страдающих людях. Лучше бы *немножко* посмеяться и *больше* о них подумать.

И она вздохнула и говорит:

— Правда, правда, правда.

— А когда, — спрашиваю, — их rendez-vous? [1]

— Завтра.

— Ну, хорошо. А Шерамуру вы не дали никакого наставления, как ему себя держать?

— Нет.

— Это очень жаль.

— Да не могла, — говорит, — он так скоро убежал, что мы и не простились.

— Отчего же так?

— Не знаю; должна была на минуту выйти и предложила ему почитать книгу, а когда пришла опять в комнату,— его уже не было; девушка говорит: швырнул книгу и убежал, как будто за ним сам дьявол гнался.

— Что за чудак!

— Да.

— Что же это может значить?

— Я вас могла бы об этом спросить, вы его больше знаете.

— Так, — говорю, — но надо знать: что перед этим было?

— Перед этим? — перед этим он съел довольно много омлета с малиной.

— А, — говорю, — это тоже не шутка.

И мы оба, казалось нам, *поняли* и рассмеялись.

— Но, впрочем, — добавила она, — я надеюсь, что все будет хорошо.

А я, признаться, на это не надеялся, хотя сам не знал, почему все добрые надежды на его счет были мне чужды.

---

[1] Свидание *(франц.)*.

Затем, следующий день я провел в беготне и в сборах и не видал Шерамура. Консьерж говорил, что он приходил, узнал, что меня нет дома, и ушел, что-то написав на притолке.

Я долго разбирал и прочитал нечто несообразное и не отвечавшее главному интересу минуты. Надпись гласила: «Оставьте мне пузырянку глазных капель, что помогают от зубной боли».

Я знал, что он один раз, когда у него болели зубы, взял в рот бывшие у меня глазные капли и тотчас исцелел. Это меня тогда удивило и насмешило, и я отдал консьержу «пузырянку», чтобы передал Шерамуру, если он не застанет меня дома. Но он не приходил за глазными каплями — вероятно, зубы его прошли сами собою.

На следующий день он не явился, и еще день его тоже не было, а потом уже наступил и день моего отъезда. Шерамур как в воду канул.

Я был в затруднении; мне чрезвычайно хотелось знать: чем его бог через добрых людей обрадовал; но Шерамура нет и нет — как сквозь землю провалился.

Хоть неловко было докучать моей даме после прощания, но я урвал минутку и еду к ней, чтобы узнать: не был ли у ней мой несмысль или не слыхала ли о нем чего-нибудь от того, к кому его посылала.

Приезжаю и не застаю ее дома: говорят, она на целую неделю уехала к приятельнице за Сен-Клу.

Конечно, больше искать слухов было негде, и я помирился с той мыслью, что, вероятно, так завтра и уеду, ничего не узнав о Шерамуре. А потом, думаю, он, пожалуй, так и затеряется, и в сознании моем о нем останется какой-то рассучившийся обрывок... Будет и жалко и досадно всю жизнь воображать, что он по-прежнему все голоден и холоден и блуждает от одной скамьи до другой, не имея где выспаться.

Кто настоящий эгоист, кто с толком любит свой душевный комфорт, тот должен тщательно избегать таких воспоминаний. Вот почему, между прочим, и следует знакомиться только с порядочными людьми, у которых дела их всегда в порядке, и надо их бросать, когда фортуна поворачивается к ним спиною. Это подлое, но очень практическое правило.

И вот прошла последняя ночь, прошло утро; я сбегал позавтракать невозможными блюдами m-me Grillade, — все в чаянии встретить там Шерамура, и, наконец, за час до отхода поезда нанял фиакр, взял мой багаж и уехал.

Я знал, что приеду на амбаркадер рано; это мне было нужно, чтобы встретиться с земляком, с которым мы условились ехать в одном поезде, притом я хотел поправить свой желудок несколько лучшим завтраком.

О Шерамуре размышлять было уже некогда, но зато он сам очутился передо мною в самую неожиданную минуту, и притом в особенном, мало свойственном ему настроении.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Перед самым главным подъездом амбаркадера северной дороги есть небольшой ресторан с широким тротуаром, отененным пятью густыми каштанами, под которыми расставлено множество белых мраморных столиков. Здесь дают настоящее мясо и очень хорошее красное вино. Таких ресторанчиков тут несколько, и все они главным образом существуют на счет отъезжающих и провожающих; но самый лучший из них это тот ресторан с пятью каштанами, о котором я рассказываю. Тут мы условились встретиться с земляком, с которым хотели держать путь, и как сговорились, так и встретились. Комиссионер избавил нас от всяких трудов по сдаче багажа и покупке билетов, и мы имели добрый час досужего времени для последнего завтрака под тенью парижских каштанов. Мы заняли один столик, спросили себе бифштексы и вина и не успели воткнуть вилки в мясо, как на империале выдвинувшегося из-за угла омнибуса появился Шерамур, которого я издалека узнал по его волнующейся черноморской бороде и бандитской шляпе. Он и сам меня заметил и сначала закивал головою, а потом скоро соскочил с империала и, взяв меня за руку, сжал ее и не только подержал в своей руке, но для чего-то поводил из стороны в сторону и даже промычал:

— Ну!

— Да, — говорю, — вот я и уезжаю, Шерамур.

Он опять пожал и поводил мою руку, опять что-то промычал и стал есть бифштекс, который я велел подать для него в ту минуту, когда только его завидел.

— Пейте вино, Шерамур, — поднимайте прощальную чашу, — ведь мы с вами прощаемся, — пошутил я, заговорив in hoch romantischem Stile. [1]

— Могу, — отвечал он.

Я налил ему большой кубок, в который входит почти полбутылки, и спросил еще вина и еще мяса. Мне хотелось на расставанье накормить его до отвала и, если можно, напоить влагою, веселящею сердце.

Он выпил, поднял другой кубок, который я ему налил, сказал «ну», вздохнул, и опять поводил мою руку, и опять стал есть. Наконец все это было кончено, он выпил третий кубок, сказал свое «буде», закурил капоральную сигаретку и, опустив руку под стол, стал держать меня за руку. Он, очевидно, хотел что-то сказать или сделать что-то теплое, дружественное, но не знал, как это делается. У меня в груди закипали слезы.

Я воспользовался его рукожатием и тихо перевел в его руку двадцатифранковый червонец, которым предварительно подавил его в ладонь. Он почувствовал у себя в руке монету и улыбнулся, улыбнулся совершенно просто и отвечал:

— Могу, могу, — и с этим зажал деньги в ладонь с ловкостью приказного старых времен.

— Ну как же, — говорю, — расскажите, любезный Шерамур, каков вышел дебют ваш в большом свете?

— Где это?

— В посольстве.

— Да, был.

— Что же... какой вы там имели успех?

— Никакого.

— Почему?

— Я не знаю.

— Ну, шутки в сторону; рассказывайте по порядку: вы нашли кого нужно?

— Нашел. Я сначала попал было куда-то, где написано: «Извещают соотечественников, что здесь никаких

[1] В высоко романтическом стиле (*нем.*).

пособий не выдают». Там мне сказали, чтобы смотреть, где на дверях заплатка и на заплатке его имя написано.

— Ну, вы нашли заплатку и позвонили.

— Да.

— Вас приняли?

— Да, пустили.

— И вы рассказали этому дипломату всю вашу историю?

Шерамур посмотрел на меня, как делал всегда, когда ему не хотелось говорить, и отвечал:

— Ничего я ему не рассказывал.

Но я не мог позволить ему так легко от меня отделаться и пристал:

— Отчего же вы не рассказали? Ведь вы же с тем пошли...

— Да что ж, как ему рассказывать, если он не вышел.

— Что это за мучение с вами: «приняли», «не вышел», — говорите толком!

— Лакей пустил и велел пять минут подождать. Я подождал пять минут, а потом говорю: пять минут прошло. Лакей говорит: «Что делать, — monsieur,[1] верно, позабыл». А я говорю: «Ну так скажи же своему monsieur, что он свинья», — и ушел.

Я просто глаза вытаращил: неужто это и все, чем кончилась моя затея?

— А что же вам еще надо?

— Шерамур, Шерамур! Злополучное и бедное создание: да разве это так можно делать?

— А как еще надо делать?

— Да вы бы подумали — ведь мы из-за этого подняли целую историю: впутали сюда светскую даму...

— А ей что такое?

— Как что такое? Она вас рекомендовала, за вас старалась, просила, а вы пошли, обругали знакомого ей человека в его же доме и при его же слуге. Ведь это же так не водится.

— Отчего — не водится?

— Ну вот еще: «отчего?» — не водится, а вдобавок ко всему, может быть, вы поступили не только грубо, но и совершенно несправедливо.

---

[1] Господин *(франц.)*.

Шерамур сделал вид резкого недоумения и вскричал:

— Как это... я несправедливо сделал!

— Да; вы несправедливо сделали; этот чиновник в самом деле мог быть занят, мог и позабыть.

— Ну, перестаньте.

— Отчего?

— Какие у них занятия!

— У дипломатов-то?

— Да!

— А сношения?

— Всё глупости.

— Покорно вас благодарю.

— Разумеется; у них жрать всегда готовое. Я, батюшка, проходил, сам видел: внизу там повар в колпаке, и кастрюли кипели. Чего еще: жри пока не надо.

Я дольше не выдержал, рассмеялся и приказал подать еще вина.

Шерамур осветился; он почувствовал, что его пытка кончилась: он опять изловил мою руку, помял ее, поводил, вздохнул и сказал:

— Бросим... не надо ничего.

— Это дело о вашей судьбе бросить?

— Да; какая судьба... Ну ее!..

— А мне, — говорю, — ужасно даже это ваше равнодушие к себе.

— Ну вот — есть о чем.

«Русский человек, — думаю себе, — одна у него жизнь, и та — безделица». А он вдруг оказывает мне снисхождение.

— Вы, — говорит, — можете, если хотите, лучше в Петербурге.

— Что это такое?

— Да прямо Горчакову поговорите.

— А вы думаете, что я такая персона, что вижу Горчакова запросто и могу с ним о вас разговаривать и сказать, что в Париже проживает второй Петр Иванович Бобчинский.

— Зачем Бобчинский — сказать просто, так, что было.

— А вы думаете, я знаю, что такое с вами было?

— Разумеется, знаете.

— Ошибаетесь: я знаю только, что вас цыгане с девятого воза потеряли, что вас землемер в тесный пасалтырь запирал, что вы на двор просились, проскользнули, как Спиноза, и ушли оттого, что не знали, почему сие важно в-пятых.

— Вот, вот это все и есть, — больше ничего не было.

— Неужто это так — решительно все?

— Да, разумеется, так!

— И больше *ничего?*

— Ничего!

— Припомните?

Припоминал, припоминал и говорит:

— Я у одной дамы был, она меня к одному мужчине послала, а тот к другому. Все добрые, а помогать не могут. Тогда один мне работу дал и не заплатил — его арестовали.

— Вы писали, что ли?

— Да.

— Что же такое?

— Не знаю. Я середину писал — без конца, без начала.

— И политичнее этого у вас всю жизнь ничего не было?

— Не было.

— Ну так вот же вам последний сказ: как вы себя дурно ни держали в посольстве, ступайте опять к этой даме и расскажите ей откровенно все, что мне сказали, — и она сама съездит и попросит навести о вас справки: вы, верно, невинны и, может быть, никем не преследуетесь.

— Нет; к ней-то уж я не пойду.

— Почему?

Молчит.

— Что же вы не отвечаете?

Опять молчит.

— Шерамур! ведь мы сейчас расстаемся! говорите: почему вы не хотите опять сходить к этой даме?

— Она бесстыдница.

— Что-о?

Я от нетерпения и досады даже топнул и возвысил голос:

— Как, она бесстыдница?

— А зачем она черт знает что читать дает.

— Повторите мне сейчас, что такое она дала вам бесстыдное.

— Книжку.

— Какую?

— Нет-с, я этого не могу назвать.

— Назовите, — я этого требую, потому что я уверен, что она ничего бесстыжего сделать не могла, вы это на нее выдумали.

— Нет, не выдумал.

А я говорю:

— Выдумали.

— Не выдумал.

— Ну так назовите ее бесстыдную книжку.

Он покраснел и засмеялся.

— Извольте называть! — настаивал я.

— Так... вы по крайней мере — того...

— Чего?

— Отвернитесь.

— Хорошо — я на вас не гляжу.

— Она сказала...

— Ну!

Он понизил голос и стыдливо пролепетал:

— «Вы бы читали хорошие английские романы...» и дала...

— Что-о та-акое?!

— «Попэнджой ли он!»

— Ну-с!

— Больше ничего.

— Так что же тут дурного?

— Как что дурного?.. «Попэнджой ли он»... Что за мерзость.

— Ну, и вы этим обиделись?

— Да-с; я сейчас ушел.

Право, я почувствовал желание швырнуть в него что попало или треснуть его стаканом по лбу, — так он был мне в эту минуту досадителен и даже противен своею безнадежною бестолковостью и беспомощностью... И только тут я понял всю глубину и серьезность так называемого «петровского разрыва»... Этот «Попэнджой» воочию убеждал, как люди друг друга не понимают, но спорить и рассуждать о романе было некогда, потому что появился комиссионер и возвестил, что время идти в вагон.

Шерамур все провожал нас до последней стадии, — даже нес мой плед и не раз принимался водить туда и сюда мою руку, а в самую последнюю минуту мне показалось, как будто он хотел потянуть меня к себе или сам ко мне потянуться. По лицу у него скользнула какая-то тень, и волнение его стало несомненно: он торопливо бросил плед и побежал, крикнув на бегу:

— Прощайте; я, должно быть, муху сожрал.

Такова была наша разлука.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Париж давно был за нами.

По мере того как я освобождался от нервной усталости в вагоне, мне стало припоминаться другое время и другие люди, которых положение и встречи имели хотя некоторое маленькое подобие с тем, что было у меня с Шерамуром. Мне вспомянулся дерзновенный «старец Погодин» и его просветительные паломничества в Европу с благородною целию просветить и наставить на истинный путь Искандера, нежные чувства к коему «старец» исповедал в своей «Простой речи о мудрых вещах» (1874 г.). Потом представился Иван Сергеевич Тургенев — этот даровитейший из всех нас писатель — и «мягкий человек»; пришел на ум и тот рослый грешник, чьи черты Тургенев изображал в Рудине, — человек, которого Тургенев видел и наблюдал здесь же, в этом самом Париже, и мне стало не по себе. Это даже жалостно и жутко сравнивать. Там у всех есть вид и содержание и свой нравственный облик, а это... именно что-то цыганами оброненное; какая-то затерть, потерявшая признаки чекана. Какая-то бедная, жалкая изморина, которую остается хоть веретеном встряхнуть да выбросить... Что это такое? Или взаправду это уже чересчур хитро задуманная «загадочная картинка», из тех, которыми полны окна мелких лавчонок Парижа? Глупые картинки, а над ними прилежно трудят головы очень неглупые люди. Из этих головоломок мне особенно припоминалась одна: какой-то завиток — серая размазня с подписью: «Qu'est-ce que

c'est?»[1] Она более всех других интригует и мучит любопытных и сбивает с толку тех, которые выдают себя за лучших знатоков всех загадок. Они вертят ее на все стороны, надеясь при одном счастливом обороте открыть: что такое сокрыто в этом гиероглифе? и не открывают, да и не откроют ничего — потому что там нет ничего, потому что это просто пятно — и ничего более.

По возвращении в Петербург мне приходилось говорить кое-где об этом замечательном экземпляре нашей эмиграции, и все о нем слушали с любопытством, иные с состраданием, другие смеялись. Были и такие, которые не хотели верить, чтобы за видимым юродством Шерамура не скрывалось что-то другое. Говорили, что «надо бы его положить да поласкать каленым утюжком по спине». Конечно, каждый судил по-своему, но была в одном доме вальяжная няня, которая положила ему суд особенный и притом прорекла удивительное пророчество. Это была особа фаворитная, которая пользовалась в доме уважением и правом вступать с короткими знакомыми в разговор и даже делать им замечания.

Она, разумеется, не принадлежала ни к одной из ярко очерченных в России политических партий и хотя носила «панье» и соблюдала довольно широкую фантазию в «шнипе», но в вопросах высших мировых coterie[2] держалась взглядов Бежецкого уезда, откуда происходила родом, и оттуда же вынесла запас русских истин. Ей не понравилось легкомыслие и шутливость, с которыми все мы относились к Шерамуру; она не стерпела и заметила это.

— Нехорошо, — сказала она, — человек ничевошный, над ним грех смеяться: у него есть ангел, который видит лицо.

— Да что же делать, когда этот человек никуда не годится.

— Это не ваше дело: так бог его создал.

— Да он и в бога-то не верит.

— А господь с ним — глуп, так и не верит, и без него дело обойдется, ангел у него все-таки есть и о нем убивается.

---

[1] Что это такое? *(франц.)*.

[2] Ценностей *(франц.)*.

— Ну уж будто и убивается?

— Конечно! Он к нему приставлен и соблюдет. Вы как думаете: ведь чем плоше человек, тем ангел к нему умней ставится, чтобы довел до дела. Это и ему в заслугу.

— Ну да, вы как заведете о дураке, так никогда не кончите. Это у вас самые милые люди.

Она слегка обиделась, начала тыкать пальцем в рассыпанные детьми на скатерти крошки и с дрожанием в голосе докончила:

— Что они вам мешают, дурачки! их бог послал, терпеть их надо, может быть он определится к такой цели, какой все вы ему и не выдумаете.

— А вы этому верите?

— Я? почему же? верю и уповаю... А вот вам тогда и будет стыдно!

«Вот она, — думаю, — наша мать Федорушка, распредобрая, распретолстая, что во все края протянулася и всем ласково улыбнулася.

Украшайся добротою, если другим нечем».

Няня казалась немножко расстроена, и с нею больше не спорили и теплой веры ее не огорчали, тем более что никто не думал, что всей этой истории еще не конец и что о Шерамуре, долго спустя, получатся новейшие и притом самые интересные известия.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Прошло около двух лет; в Герцеговине кто-то встряхнул старые счеты, и пошла кровь. Было и не до Шерамура. У нас шли споры о том, как мы исполнили наше призвание. Ничего не понимая в политике, я не принимал в этих спорах никакого участия. Но с окончанием войны я разделял нетерпеливые ожидания многих, чтобы скорее начинала дешеветь страшно вздорожавшая провизия. Под влиянием этих нетерпеливых, но тщетных ожиданий я, бывало, как возвращаюсь с прогулки, сейчас же обращаюсь к этажерке, где в заветном уголке на полочке поджидает меня докучная книжка с постоянно возрастающей «передержкой». И вот раз, сунувшись в этот уголок,

я нахожу какую-то незнакомую мне вещь — сверток, довольно дурно завернутый в бумагу, — очевидно книга. На бумаге нет ничьего имени, но есть какие-то расплывшиеся письмена, писанные в самый край «под теснотку», как пишут неряхи. Начинаю делать опыты, чтобы это прочесть, и после больших усилий читаю: «долг и за процент ж. в. х.». Больше ничего нет.

Снимаю бумагу и нахожу книгу Ренана «St. Paul»,[1] но прежде, чем я успел ее развернуть, из нее что-то выпало и покатилось. Начинаю искать, шарить по всем местам: что бы это такое вывалилось? Зову служанку, ищем вдвоем, втроем, всё приподнимаем, двигаем тяжелую мебель и, наконец, находим... Но что? — Находим чистейшего золота двадцатифранковую французскую монету! Не может же быть, чтобы она валялась тут исстари: пол метут, натирают, и не могли бы ее не заметить... Нет; монета положительно сейчас только выпала из книги. Но что это такое? зачем и кто мог сделать мне такое приношение? Ломаю голову, припоминаю, не положил ли я ее сам, соображаю то и другое и не прихожу ни к какому результату. Опять разыскиваю оберточную бумагу и рассматриваю письмена, возлагая на них последнюю надежду узнать: что это за явление? Ничего более: «долг и за процент ж. в. х...» Характер почерка неуловим, потому что писано на протекучке, и все расплылось... Соображаю, что здесь *долг* и что — *процент*, или «за процент»: монета долг, а книга «за процент», или наоборот? И потом, что значат эти «ж. в. х.»? Нет сомнения, что это не первые буквы какого-либо имени, а совсем что-то другое... Что же это такое? Подбираю, думаю и сочиняю: все выходит как-то странно и некстати: «жму вашу руку», — но последняя буква не та: «жгу ваш хохол», тут все буквы соответствуют словам, но для чего же кому-нибудь было бы нужно написать мне такую глупость? Или это продолжение фразы: посылаю «долг и за процент» еще вот что, например, — «желтый ватошный халат» или «женский ватошный халат»... Все никуда не годится. Глупый водевильный случай, а интересует! Даже во сне соображаю и подбираю: «желаю вам хорошего». Вот, кажется, это пошло на дорогу! Еще лучше: «живу весьма хорошо»;

[1] «Святой Павел» *(франц.)*.

или... наконец, батюшки мои! батюшки, да это так и есть: не надлежит ли это читать... «жру всегда хорошо»? Решительно это так, и не может быть иначе. Но тогда что же это значит: неужто здесь был Шерамур? Неужто он появился в Петербурге именно теперь, в это странное время, и проскользнул ко мне? Какова отчаянность! Или, может быть, его простили и разрешили, и он ходит смело по вольному паспорту... Ведь, говорят, все возможно в природе.

Я припомнил, что девушка мне дня три-четыре назад сказывала о каком-то незнакомом ей господине, который приходил, спрашивал, просил позволения «обождать» и ждал, но не дождался, ушел, сказавши, что опять придет, но до сих пор не приходил.

Расспрашивал: каков был приходивший ростом, дородством, лицом — красотою? — ничего не добился. Все приметы описывают точно на русском паспорте: к кому хочешь приложи — всем одинаково впору будет.

Остается одно: книгу поставить на полку, золото спрятать, а незнакомца ждать. Я так и сделал, и ждал его терпеливо, с надеждою, что авось он и совсем не придет. Так минул день, два, неделя и месяц, и наконец, когда я совсем перестал ждать, — он вдруг и явился.

Звонок; девушка отпирает дверь и спешно бежит вперед гостя шепнуть:

— Это тот, который ждал.

Легкое волнение, и выхожу навстречу.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Входит человек средних лет, совершенно мне незнакомый и называет себя незнакомым же именем.

Прошу садиться и осведомляюсь: чем могу служить.

— Я, — говорит, — недавно из-за границы; жил два месяца в Париже и часто виделся там с одним странным земляком, которого вы знаете. Он дал к вам поручение — доставить посылочку. Я ее тут у вас и оставил, чтобы не носить, но позабыл сказать прислуге.

— Я, — отвечаю, — нашел какую-то посылочку; но от кого это?

Он назвал Шерамура.

— Как же, — говорю, — очень его знаю. Ну что он, как, где живет и все так же ли бедствует, как бедствовал?

— Он в Париже, но что касается бедствования, то в каком смысле вы это берете... Если насчет жены...

— Как, — говорю, — жены!.. Какая жена! Я спрашиваю: есть ли у него что есть?

— О, разумеется — он вовсе не бедствует: он «проприетер», женат, сидит grand mangeur'ом[1] в женином ресторане, который называет «обжорной лавкой», и вообще, говоря его языком, «жрет всегда хорошо», — впрочем, он это даже обозначил начальными буквами, в полной уверенности, что вы поймете.

— Понять-то я понял, но что же это... как же это могло случиться... Ангел... конечно, много значит... но все-таки...

Всматриваюсь в моего собеседника — думая, коего он духа, — не вышучивает ли он меня, сообщая такие нестаточные дела о Шерамуре? Нет; насколько мне дано наблюдательности и проникновения, господин этот производит хорошее впечатление — по-видимому, это экземпляр из новой, еще не вполне обозначившейся, но очень приятной породы бодрых людей, не страдающих нашим нервическим раздражением и беспредметною мнительностью, — «человек будущего», который умеет смотреть вперед без боязни и не таять в бесплодных негодованиях ни на прошлое, ни на настоящее. Люди прошлого ему представляются больными с похмелья; он на них не сердит и даже совсем их не судит, а словно провожает на кладбище, приговаривая: вам гнить, а нам жить.

Я люблю эту породу за то, что в ней есть нечто свежее, нечто уже не наше, нечто нам не свойственное, но живучее и сильное. Они взросли как осот на межах между гряд, и их уже не выполешь. Русь будет скоро не такая, как мы, а такая — как они, и слава богу, слава богу!

Поняв, что мой гость относится к этому сорту, я сейчас же усадил его в более покойное кресло, велел подать чай и бесцеремонно (как следует с такими людьми) по-

[1] Обжорой *(франц.)*.

просил его рассказать мне все, что ему известно о моем Шерамуре, — как он женился и сделался парижским «проприетером».

Гость любезно согласился удовлетворить мое любопытство.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Шерамуру помогла славянская война в Турции. Но как он мог вздумать воевать? Не противно ли это всей его натуре и всем доводам его бедного рассудка? И против кого и за кого он мужествовал и сражался? Все это было, как вся его жизнь, — бестолково.

Вот как шло дело: он *начитал* в газетах, что турки обижают *бедных* славян, отнимая у них урожай, стада и все, что надо «жрать». Этого было довольно: долго не рассуждая, он восстал и пошел по образу пешего хождения в Черногорию. Он попал в «Волдавию» или «Молдахию», где соединился с «доброходцами» и явился в Сербию, образцовые порядки которой делали нелишним здесь даже Шерамура. Он поступил куда-то, во что-то, о чем, по своему обыкновению, не умел дать никакого резонного отчета. На войне он «барабанил», чего я даже не мог ожидать от него, но потом нашел, что в Сербии у всех жратвы больше, чем он видел во весь свой век. «Даже вином прихлебывают». Никаких иных интересов, достойных борьбы на жизнь и смерть, Шерамур, разумеется, не признавал, но в этом его нельзя винить, потому что он не мог их чувствовать.

И вот он духом возмутился: за что он сражается: если у них есть что жрать, то чего же им еще надо? «Черти проклятые!.. с жиру бесятся! к нам бы их спровадить, чтобы в черных избах пожили да мякины пожевали!» Славянские претензии Шерамур все считал пустяками, которые Аксаков в Москве выдумал вместе с Кокоревым, и Шерамур рассердился и «вышел», то есть перестал барабанить. Некоторое время он слонялся без дела, но ощущал себя в полном довольстве: «везде, говорит, есть кукуруза и даже вином запивают, как в царстве небесном». Таково его понятие о царстве небесном. Но вот, переходя туда-сюда, с плохими и бестолковыми

расспросами, он был, наконец, приведен своим ангелом куда ему следовало; напал на таких людей, которые тоже подобно ему подвывали:

Холодно, странничек, холодно,
Голодно, родименький, голодно.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Шерамур здесь сейчас «определился». Опять как и под каким заглавием? это он, по непримиримой вражде ко всякой определенности, излагал не ясно; но можно было понять, что он в качестве человека черномордого и с «сербским квитом» был в числе санитаров. Кому-то где-то его отрекомендовал какой-то, по его словам, «очень добрый и вполне неверующий монах». Прозорливый инок уверил кого-то, что лучше Шерамура нет, чтобы «приставить к пище». И вот наш чудак в первый раз во всю жизнь попал на место по своему настоящему призванию. И зато, говорят, как же он действовал: крошке не позволял пропасть, все больным тащил. Сам только «хлёбово» ел, а свою порцию котлет солдатам дробил, выбирая, который ему казался «заморенней». Начальство, «сестры» — все им были довольны, а солдатики цены не слагали его «добродетели».

Даже которого, говорят, монах на смерть отысповедует, он и тому, мимо идя, еще кусочек котлетки в рот сунет — утешает: «жри». Тот и помирать остановится, а за ним глазом поведет.

И кончилось все это для Шерамура чем же? тем, что он сам не заметил, как, при его спартанстве, у него к концу службы собралась от жалованья «пригоршня золота». Сколько его там было — он не считал, но повез все в свою метрополию, к «швейцарцам», — чтобы делить. Привез к одному из митрополитов и «высыпал». Стали говорить и поспорили: тот *«всё»* хотел взять на «дело», но Шерамур не дал. Он настаивал, чтобы прежде всего «сотворить какую-то вселенскую жратву», то есть «пожрать и других накормить», и ограничился на этом так твердо, что «*тот* цапнул с краю и ушел». Сколько именно он у него взял — Шерамур не знал: «цапнул с

краю», да и баста. Деньги были не считанные, да и считать их незачем: «все равно не воротить».

Шерамур увидал, что здесь делят неладно, и уехал в Париж. Здесь он знал честную душу, способную войти во все его многопитательные виды и оказать ему самое непосредственное содействие; драгоценный человек этот была Tante Grillade.

Она приняла Шерамура и его золото совсем не так, как «швейцарские митрополиты».

Tante Grillade ввела Шерамура в свой arrière boutique,[1] что составляет своего рода «святая святых» еврейской скинии, и пригласила его всыпать там все золото в комод, запереть и ключ взять с собою. Voyou положили пока не собирать. Tante сказала, что знает нечто лучшее, — и назначила Шерамуру прийти к ней вечером, когда она будет свободна. Они вместе должны были обдумать, как лучше распорядиться таким богатством, которое в практичных руках нечто значило.

Шерамур, которому до сих пор никакие комбинации никогда не приходили, думал просто: оставить деньги у Танты и водить к ней голодных, пока она подаст счет и скажет: tout est fini.[2] Но Tante Grillade была гораздо дальнозорче и умнее Шерамура, и притом, на счастье его, она имела на него планы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Вечером, когда Шерамур пришел к Танте, он встречен был необыкновенно: «кормежная» зала, дальше которой и во дни благополучий не заходил Шерамур, теперь была свободна от гостей, подметена и убрана. В ней еще было влажно и пахло «картофелем и маркофелем», но в угле, шипя и потрескивая, горела маленькая угольная печечка и очищала воздух. Зато через открытую дверь виднелось настоящее чудо декоративного устройства. Arrière boutique, которая днем казалась отврати-

---

[1] Задняя комната за лавкой *(франц.)*.

[2] Все кончено *(франц.)*.

тельным колодезным днищем, куда никогда не проникал свет и где Tante Grillade едва поворачивалась, как черепаха в шайке, теперь представляла очень приютный уголок. Серая стена, которая заслоняла весь свет широкого, но совершенно бесполезного окна, теперь была заслонена пышною белою драпировкою с фестонами, подхваченными розовыми лентами. Вместо слабых, тщедушных рефлексов внешнего света комната была до изобилия освещена и согрета огнем двух ламп, стоявших по углам неизбежного мраморного камина. Вся эта комната была так мала, что представляла какой-то клубочек, в котором ничто не расходилось, а все сматывалось. На пространстве каких-нибудь четырех квадратных аршин тут были и двуспальная кровать Tante Grillade, и комод, где теперь хранилось Шерамурово золото, и камин с веселым огоньком, и круглый стол, на котором прекрасно дымилась чистая вазочка с бульоном из настоящего мяса. Кроме этого, тут же стояли литр красного вина и корзинка с лакомством «четырех нищих».

Сама Grillade тоже была в авантаже: седые крендели на ее висках были загнуты как-то круче и крепче обыкновенного и придавали ее опытному лицу внушительность и в то же время нечто пикантное.

Здесь у места сказать, что Шерамур в этот раз *впервые* вкушал хлеб и пил сок винограда tête-à-tête[1] с женщиной. И он не рассуждал, но чувствовал истину догмата, что для счастия недостаточно достать кусок хлеба, но нужно иметь с кем его приятно съесть.

Затрапезный разговор их никем не записан, но он был очень серьезен и шел исключительно о деньгах. Tante доказала Шерамуру, что если держать его деньги в ее комоде и кормить на них voyou, то этих денег хватит не надолго; они выйдут, и voyou опять будет не на что кормить.

Шерамур согласился и задумался, а Tante Grillade показала выход, который состоял в том, чтобы пустить деньги в оборот. Тогда эти деньги дадут на себя другие деньги, и явится неистощимая возможность всегда жрать и кормить других.

---

[1] С глазу на глаз *(франц.)*.

Шерамур захлопал руками: «Voilà,[1] — говорит, — voilà, это и нужно! Одна беда: как пустить деньги, кому доверить; кто не обманет?

Шерамур закивал головою: ему вспомнились его швейцарские митрополиты, и он как перепел забил: «Вуй, вуй, мадам, вуй, вуй, вуй».

А потом, когда вслед за тем Tante встала, чтобы подать compote des pommes,[2] Шерамур, глядя ей стыдливо в спину, вымолвил:

— Да возьмите вы эти деньги, Танта!

— На какой предмет, monsieur?

— Да делайте что знаете, наживайте.

Но Танта нашла это невозможным.

— Я наживу и умру, а вас выгонят.

— Гм... Да... подлость... А сколько бы человек можно постоянно кормить?

— Можно человека два кормить раза по два в неделю, или, еще лучше, троих каждое воскресенье. И кроме того, раз в год можно сделать особый пир, на котором никого не будет, кроме бездомных voyou.

У Шерамура даже сердце забилось от такой мысли, и когда Tante Grillade, вооружась щипчиками, принялась за noisettes,[3] он застенчиво приступил к ней.

— Ну так как же, Tante, — как это сделать? — а Tante, надавливая крепкий орех, посмотрела на него и дружески ответила:

— Надо жениться.

— Ну вот! Зачем?

— Затем, что у вас тогда все будет общее, и если жена наживет — это принадлежит и мужу. Тогда, например, будь это я: я отдаю вам весь мой ресторан, и мы никого сюда больше не пустим.

— Да, да, вот... это самое: никого, никого не пустим! — вскричал Шерамур, и в сладостном исступлении ума и чувств он схватил Tante за обе руки и мял их и водил из стороны в сторону, пока та, глядя на него, расхохоталась и напомнила ему, что пора убираться.

На другой день вечером его опять повлекли сюда и мысль о пире нищих и, может быть, приютный уголок при

[1] Вот *(франц.)*.
[2] Яблочный компот *(франц.)*.
[3] Орешки *(франц.)*.

камине, чего он, по своей непрактичности, не знал, как устроить даже с деньгами.

И вот он опять явился и говорил:

— Можно ли, чтобы опять... здесь... по-вчерашнему?

— Ага, я понимаю: ты, плутишка, верно нашел себе жену и хочешь со мной говорить? Хорошо, хорошо, — садись: вот вино и баранина.

— Да; а жены нет. Вот если бы вы... захотели...

— Найти тебе невесту?

— Нет, если бы... вы... сами...

— Что это? уж не хочешь ли ты сделать позднюю поправку к проступку третьего Наполеона?

— Именно это!

— Но едва ли *это* будет тебе по силам, мой бедный мальчик. Ведь тебе с чем-нибудь тридцать, а мне сорок восемь.

Видя простоту Шерамура, Tante Grillade решилась на этот случай сократить свою хронологию более чем на пятнадцать лет, но это было совершенно не нужно. Ни лета, ни наружность Танты не имели в глазах Шерамура никакого значения.

— Это ничего.

— А если так, то вот тебе моя рука и дружба до гроба.

Они обнялись, поцеловались и обвенчались, причем Танта безмерно возросла в глазах мужа через то, что получила какие-то деньги с какого-то общества, покровительствующего бракам.

Вечером у них был «пир нищих» — пир удивительный. Гости пришли даже из Бельвиля, и все один голоднее другого и один другого оборваннее. Шерамур, приодетый Тантой в какую-то куртку, был между ними настоящий король, и они с настоящею деликатностью нищих устроили ему королевское место.

Без всяких ухищрений с ним совершился святой обычай родной стороны: Шерамур был князем своего брачного вечера. Им занимались все: жена, гости и полиция, которая могла заподозрить здесь некоторое движение в пользу наполеонидов.

Особенно возбудителен был один момент, когда подали beignets aux pommes,[1] и три человека, подученные

[1] Оладьи из яблок *(франц.)*.

Tante Grillade, вынули из-под стола незаметно туда спрятанную корзинку; в корзинке оказался большой, немного увядший венок, дешево купленный Тантою у какого-то капельдинера. В венке были стоптаны несколько цветков, но зато его освежили ярким пучком румяных вишен и перевязали длинным пунцовым вуалем с надписью: «Bon oncle Grillade».[1]

Венок возложили на голову Шерамура и этим актом навсегда лишили его клички, данной ему англичанкою: с сей поры он сделался «теткин муж» и очень много утрачивал в своей непосредственности. Но он об этом не думал. К тому же историческая точность обязывает сказать, что добрый oncle Grillade в настоящую торжественнейшую минуту его жизни был пьян, и это не его вина, а вина доброй Танты, которая всеми мерами позаботилась облегчить все предстоящие ему задачи.

И, к чести ее, она с первых же шагов показала, что знает и тактику и практику. Когда sergent de ville постучал в дверь, чтобы честная компания разошлась, и довольные необыкновенным угощением voyou рассыпались, а jeunes mariés[2] остались одни, Tante Grillade, ни слова не говоря, взяла своего маленького мужа на руки, повесила его венок над кроватью, а самого его раздела, умыла губкою и положила к стенке. Шерамур все выдержал с стоицизмом своего звания и потребовал только одно, чтобы ему дали оставшийся в венке пучок вишен. И когда Tante его удовлетворила, он их немедленно «сожрал» и покорился своей доле.

Но не была ли эта доля слишком сурова? Вот небольшие сведения, которые позволяют кое-что умозаключать об этом.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Tante не злоупотребляла своими преимуществами: она была великодушна, как настоящая дочь бульвара. Единственное, что отравляло покой Шерамура, — опять-таки *губка* — это страшное орудие, которым повсюду ему

[1] «Доброму дяде Грильяд» *(франц.)*.
[2] Молодожены *(франц.)*.

угрожали женские руки. Но зато он из этого научился извлекать некоторые выгоды в пользу бедных. Если ему встречалась надобность помочь ближнему не в счет абонемента и Танта этому противилась, — он «не давался умывать» и всегда успевал настоять на своем.

Повествователь видел его в такой борьбе и уловил кое-что из ее сути. Он говорил, как они многие сообща хотели кому-то помочь и как к этому стремился дядя Грильяд, но ничего не принес и сам пропал. А потом, когда рассказчик зашел к нему вечером, чтобы увести его на прощальную пирушку, он застал дядю в стирке: Танта только что вытерла ему лицо губкою и обтирала его полотенцем.

Здороваясь с гостем, он сейчас же сунул ему в руку золотой и сказал:

— Передайте, я только сейчас у нее выпросил.

— Но я за вами, чтобы вместе попировать.

— Это теперь невозможно.

— Отчего?

— Я занят — видите: меня уже губкой вытерли.

— Тем лучше идти в гости.

— Нет, — как же в гости, — я говорю вам, что я занят. Надо же честно нести свой сакрифис.

И он остался в пользу бедных при своей Омфале.

Сообщил я об этом толстой няне в «панье» и со шнипом. Хлопнула себя она обеими руками по крутым бедрам и расхохоталась.

— Видишь,— говорит,— какое ему вышло определение.

— А как полагаете: счастлив он этим или нет?

— А отчего же не быть счастливым: как она женщина степенная и в виду, так и очень, может быть, счастлив.

И впрямь — все же это лучше, чем было ему во всю его прошлую жизнь.

Я боюсь, что мой Шерамур вам не совсем понятен, читатель, но это не моя вина; я его записал верно. Лично я, по долгому навыку с ним обращаться, все в нем нахожу простым и понятным. Это видовая, а не родовая особенность: он сын своего родителя, и мне в нем видны крупные родственные черты, сближающие его даже с обращавшею его в христианство графинею. Это не новая новинка, а только остатки давнего худосочия. Шерамур такой же «мизантроп, развлекающий свою фантазию», как его родитель и графиня; только он, разумеется, их без сравнения

сердечнее; но это взято им не от них, а принесено оттуда, откуда дух дышит — приходит и уходит, но никто его не узнаёт. Шерамур человек ни на что не нужный, точно так же, как и те, и он благополучно догниет в одно с ними время. Вся разница будет в том, что о первых скажут: «они скончались», а о Шерамуре, что он — «околел». Но, может быть, это не так серьезно, как некоторые полагают, или по крайней мере не составляет самого решительного для вечности с ее бесконечным путем.

Пьеса кончена, и читатель может меня теперь спросить: зачем она попала в одну книгу с рассказами о трех праведниках, с которыми у Шерамура, по-видимому, нет ничего общего в природе?

Такой вопрос очень возможен, и я, предвидя его, спешу дать мой ответ. Шерамур поставлен здесь по двум причинам: во-первых, я опасался, что без него в этой книжке не выйдет определенного числа листов, а во-вторых, если сам Шерамур не годится к праведным даже в качестве *юродивого,* то тут есть русская няня, толстая баба с шнипом, суд которой, по моему мнению, может служить выражением праведности всего нашего умного и доброго народа.

ЧЕРТОГОН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Это обряд, который можно видеть только в одной Москве, и притом не иначе как при особом счастии и протекции.

Я видел чертогон с начала до конца благодаря одному счастливому стечению обстоятельств и хочу это записать для настоящих знатоков и любителей серьезного и величественного в национальном вкусе.

Хотя я с одного бока дворянин, но с другого близок к «народу»: мать моя из купеческого звания. Она выходила замуж из очень богатого дома, но вышла уходом, по любви к моему родителю. Покойник был молодец по женской части и что намечал, того и достигал. Так ему удалось и с мамашей, но только за эту ловкость матушкины старики ничего ей не дали, кроме, разумеется, гардеробу, постелей и божьего милосердия, которые были получены вместе с прощением и родительским благословением, навеки нерушимым. Жили мои старики в Орле, жили нуждно, но гордо, у богатых материных родных ничего не просили, да и сношений с ними не имели. Однако, когда мне пришлось ехать в университет, матушка стала говорить:

— Пожалуйста, сходи к дяде Илье Федосеевичу и от меня ему поклонись. Это не унижение, а старших родных уважать должно, — а он мой брат, и к тому благочестив и большой вес в Москве имеет. Он при всех встречах

всегда хлеб-соль подает... всегда впереди прочих стоит с блюдом или с образом... и у генерал-губернатора с митрополитом принят... Он тебя может хорошему наставить.

А я хотя в то время, изучив Филаретов катехизис, в бога не верил, но матушку любил, и думаю себе раз: «Вот я уже около года в Москве и до сих пор материной воли не исполнил; пойду-ка я немедленно к дяде Илье Федосеичу, повидаюсь — снесу ему материн поклон и взаправду погляжу, чему он меня научит».

По привычке детства я был к старшим почтителен — особенно к таким, которые известны и митрополиту и губернаторам.

Восстав, почистился щеточкой и пошел к дяде Илье Федосеичу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Было так часов около шести вечера. Погода стояла теплая, мягкая и сероватая — словом, очень хорошо. Дом дяди известен, — один из первых домов в Москве, — все его знают. Только я никогда в нем не был и дядю никогда не видал, даже издали.

Иду, однако, смело, рассуждая: примет — хорошо, а не примет — не надо.

Прихожу на двор; у подъезда стоят кони-львы, сами вороные, а гривы рассыпные, шерсть как дорогой атлас лоснится, а заложены в коляску.

Я взошел на крыльцо и говорю: так и так — я племянник, студент, прошу доложить Илье Федосеичу. А люди отвечают:

— Они сами сейчас сходят — едут кататься.

Показывается очень простая фигура, русская, но довольно величественная, — в глазах с матушкой есть сходство, но выражение иное, что называется — солидный мужчина.

Отрекомендовался ему; он выслушал молча, тихо руку подал и говорит:

— Садись, проедемся.

Я было хотел отказаться, но как-то замялся и сел.

— В парк! — велел он.

Львы сразу приняли и понеслись, только задок коляски подпрыгивает, а как за город выехали, еще шибче помчали.

Сидим, ни слова не говорим, только вижу, как дядя себе цилиндр краем в самый лоб врезал, и на лице у него этакая что называется плюмса, как бывает от скуки.

Туда-сюда глядит и один раз на меня метнул глазом и ни с того ни с сего проговорил:

— Совсем жисти нет.

Я не знал, что отвечать, и промолчал.

Опять едем, едем; думаю: куда это он меня завозит? и начинает мне сдаваться, что я как будто попал в какую-то статью.

А дядя вдруг словно повершил что-то в уме и начинает отдавать кучеру одно за другим приказания:

— Направо, налево. У «Яра» — стой!

Вижу, из ресторана много прислуги высыпало к нам, и все перед дядею чуть не в три погибели гнутся, а он из коляски не шевелится и велел позвать хозяина. Побежали. Является француз — тоже с большим почтением, а дядя не шевелится: костью набалдашника палки о зубы постукивает и говорит:

— Сколько лишних людей есть?

— Человек до тридцати в гостиных, — отвечает француз, — да три кабинета заняты.

— Всех вон!

— Очень хорошо.

— Теперь семь часов, — говорит, посмотрев на часы, дядя, — я в восемь заеду. Будет готово?

— Нет, — отвечает, — в восемь трудно... у многих заказано... а к девяти часам пожалуйте, во всем ресторане ни одного стороннего человека не будет.

— Хорошо.

— А что приготовить?

— Разумеется, эфиопов.

— А еще?

— Оркестр.

— Один?

— Нет, два лучше.

— За Рябыкой послать?

— Разумеется.

— Французских дам?

— Не надо их!
— Погреб?
— Вполне.
— По кухне?
— Карту!
Подали дневное menue.[1]

Дядя посмотрел и, кажется, ничего не разобрал, а может быть, и не хотел разбирать: пощелкал по бумажке палкою и говорит:

— Вот это все на сто особ.

И с этим свернул карточку и положил в кафтан.

Француз и рад и жмется:

— Я, — говорит, — не могу все подать на сто особ. Здесь есть вещи очень дорогие, которых во всем ресторане всего только на пять-шесть порций.

— А я как же могу моих гостей рассортировывать? Кто что захочет, всякому чтоб было. Понимаешь?

— Понимаю.

— А то, брат, тогда и Рябыка не подействует. Пошел!

Оставили ресторанщика с его лакеями у подъезда и покатили.

Тут я уже совершенно убедился, что попал не на свои рельсы, и попробовал было попроститься, но дядя не слышал. Он был очень озабочен. Едем и только то одного, то другого останавливаем.

— В девять часов к «Яру»! — говорит коротко каждому дядя. А люди, которым он это сказывает, все почтенные такие, старцы, и все снимают шляпы и так же коротко отвечают дяде:

— Твои гости, твои гости, Федосеич.

Таким порядком, не помню, сколько мы остановили, но я думаю, человек двадцать, и как раз пришло девять часов, и мы опять подкатили к «Яру». Слуг целая толпа высыпала навстречу и берут дядю под руки, а сам француз на крыльце салфеткою пыль у него с панталон обил.

— Чисто? — спрашивает дядя.

— Один генерал, — говорит, — запоздал, очень просился в кабинете кончить...

— Сейчас вон его!

— Он очень скоро кончит.

---

[1] Меню *(франц.)*.

— Не хочу, — довольно я ему дал времени — теперь пусть идет на траву доедать.

Не знаю, чем бы это кончилось, но в эту минуту генерал с двумя дамами вышел, сел в коляску и уехал, а к подъезду один за другим разом начали прибывать гости, приглашенные дядею в парк.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ресторан был убран, чист и свободен от посетителей. Только в одной зале сидел один великан, который встретил дядю молча и, ни слова ему не говоря, взял у него из рук палку и куда-то ее спрятал.

Дядя отдал палку, нимало не противореча, и тут же передал великану бумажник и портмоне.

Этот полуседой массивный великан был тот самый Рябыка, о котором при мне дано было ресторатору непонятное приказание. Он был какой-то «детский учитель», но и тут он тоже, очевидно, находился при какой-то особой должности. Он был здесь столь же необходим, как цыгане, оркестр и весь туалет, мгновенно явившийся в полном сборе. Я только не понимал, в чем роль учителя, но это было еще рано для моей неопытности.

Ярко освещенный ресторан работал: музыка гремела, а цыгане расхаживали и закусывали у буфета, дядя обозревал комнаты, сад, грот и галереи. Он везде смотрел, «нет ли непринадлежащих», и рядом с ним безотлучно ходил учитель; но когда они возвратились в главную гостиную, где все были в сборе, между ними замечалась большая разница: поход на них действовал не одинаково: учитель был трезв, как вышел, а дядя совершенно пьян.

Как это могло столь скоро произойти, — не знаю, но он был в отличном настроении; сел на председательское место, и пошла писать столица.

Двери были заперты, и о всем мире сказано так: «что ни от них к нам, ни от нас к ним перейти нельзя». Нас разлучала пропасть, — пропасть всего — вина, яств, а главное — пропасть разгула, не хочу сказать безобразного, — но дикого, неистового, такого, что и передать не умею. И от меня этого не надо и требовать, потому что,

видя себя зажатым здесь и отделенным от мира, я оробел и сам поспешил скорее напиться. А потому я не буду излагать, как шла эта ночь, потому что *все* это описать дано не моему перу, я помню только два выдающиеся батальные эпизода и финал, но в них-то и заключалось главным образом *страшное*.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Доложили о каком-то Иване Степановиче, как впоследствии оказалось — важнейшем московском фабриканте и коммерсанте.

Это произвело паузу.

— Ведь сказано: никого не пускать, — отвечал дядя.

— Очень просятся.

— А где он прежде был, пусть туда и убирается.

Человек пошел, но робко идет назад.

— Иван Степанович, — говорит, — приказали сказать, что они очень покорно просятся.

— Не надо, я не хочу.

Другие говорят: «Пусть штраф заплатит».

— Нет! гнать прочь, и штрафу не надо.

Но человек является и еще робче заявляет:

— Они, — говорит, — всякий штраф согласны, — только в их годы от своей компании отстать, говорят, им очень грустно.

Дядя встал и сверкнул глазами, но в это же время между ним и лакеем встал во весь рост Рябыка: левой рукой, как-то одним щипком, как цыпленка, он отшвырнул слугу, а правою посадил на место дядю.

Из среды гостей послышались голоса за Ивана Степановича: просили пустить его — взять сто рублей штрафу на музыкантов и пустить.

— Свой брат, старик, благочестивый, куда ему теперь деваться? Отобьется, пожалуй, еще скандал сделает на виду у мелкой публики. Пожалеть его надо.

Дядя внял и говорит:

— Если быть не по-моему, так и не по-вашему, а по-божью: Ивану Степанову впуск разрешаю, но только он должен бить на литавре.

Пошел пересказчик и возвращается:

— Просят, говорят, лучше с них штраф взять.

— К черту! не хочет барабанить — не надо, пусть его куда хочет едет.

Через малое время Иван Степанович не выдержал и присылает сказать, что *согласен* в литавры бить.

— Пусть придет.

Входит муж нарочито велик и видом почтенен: обликом строг, очи угасли, хребет согбен, а брада комовата и празелень. Хочет шутить и здороваться, но его остепеняют.

— После, после, это все после, — кричит ему дядя, — теперь бей в барабан.

— Бей в барабан! — подхватывают другие.

— Музыка! подлитаврную.

Оркестр начинает громкую пьесу, — солидный старец берет деревянные колотилки и начинает в такт и не в такт стучать по литаврам.

Шум и крик адский; все довольны и кричат:

— Громче!

Иван Степанович старается сильнее.

— Громче, громче, еще громче!

Старец колотит во всю мочь, как Черный царь у Фрейлиграта, и, наконец, цель достигнута: литавра издает отчаянный треск, кожа лопается, все хохочут, шум становится невообразимый, и Ивана Степановича облегчают за прорванные литавры штрафом в пятьсот рублей в пользу музыкантов.

Он платит, отирает пот, усаживается, и в то время, как все пьют его здоровье, он, к немалому своему ужасу, замечает между гостями своего зятя.

Опять хохот, опять шум, и так до потери моего сознания. В редкие просветы памяти вижу, как пляшут цыганки, как дрыгает ногами, сидя на одном месте, дядя; потом как он перед кем-то встает, но тут же между ними появляется Рябыка, и кто-то отлетел, и дядя садится, а перед ним в столе торчат две воткнутые вилки. Я теперь понимаю роль Рябыки.

Но вот в окно дохнула свежесть московского утра, я снова что-то сознал, но как будто только для того, чтобы усумниться в рассудке. Было сражение и рубка лесов: слышался треск, гром, колыхались деревья, дев-

ственные, экзотические деревья, за ними кучею жались в углу какие-то смуглые лица, а здесь, у корней, сверкали страшные топоры и рубил мой дядя, рубил старец Иван Степанович... Просто средневековая картина.

Это «брали в плен» спрятавшихся в гроте за деревьями цыганок, цыгане их не защищали и предоставили собственной энергии. Шутку и серьез тут не разобрать: в воздухе летели тарелки, стулья, камни из грота, а те всё врубались в лес, и всех отважнее действовали Иван Степаныч и дядя.

Наконец твердыня была взята: цыганки схвачены, обняты, расцелованы, каждый — каждой сунул по сторублевой за «корсаж», и дело кончено...

Да; сразу вдруг все стихло... все кончено. Никто не помешал, но этого было довольно. Чувствовалось, что как без этого «жисти не было», так зато теперь довольно.

Всем было довольно, и все были довольны. Может быть, имело значение и то, что учитель сказал, что ему «пора в классы», но, впрочем, все равно: вальпургиева ночь прошла, и «жисть» опять начиналась.

Публика не разъезжалась, не прощалась, а просто исчезла; ни оркестра, ни цыган уже не было. Ресторан представлял полнейшее разорение: ни одной драпировки, ни одного целого зеркала, даже потолочная люстра — и та лежала на полу вся в кусках, и хрустальные призмы ее ломались под ногами еле бродившей, утомленной прислуги. Дядя сидел один посреди дивана и пил квас; он по временам что-то вспоминал и дрыгал ногами. Возле него стоял поспешавший в классы Рябыка.

Им подали счет — короткий: «гуртом писанный».

Рябыка читал счет внимательно и потребовал полторы тысячи скидки. С ним мало спорили и подвели итог: он составлял семнадцать тысяч, и просматривавший его Рябыка объявил, что это добросовестно. Дядя произнес односложно: «плати» и затем надел шляпу и кивнул мне за ним следовать.

Я, к ужасу моему, видел, что он ничего не забыл и что мне невозможно от него скрыться. Он мне был чрезвычайно страшен, и я не мог себе представить, как я останусь в этом его ударе с глазу на глаз. Прихватил он меня с собою, даже двух слов резонных не сказал, и вот таскает, и нельзя от него отстать. Что со мною будет?

У меня весь и хмель пропал. Я просто только боялся этого страшного, дикого зверя, с его невороятною фантазиею и ужасным размахом. А между тем мы уже уходили: в передней нас окружила масса лакеев. Дядя диктовал: «по пяти» — и Рябыка расплачивался; ниже платили дворникам, сторожам, городовым, жандармам, которые все оказывали нам какие-то службы. Все это было удовлетворено. Но все это составляло суммы, а тут еще на всем видимом пространстве парка стояли извозчики. Их было видимо-невидимо, и все они тоже ждали нас — ждали батюшку Илью Федосеича, «не понадобится ли зачем послать его милости».

Узнали, сколько их, и выдали всем по три рубля, и мы с дядей сели в коляску, а Рябыка подал ему бумажник.

Илья Федосеич вынул из бумажника сто рублей и подал Рябыке.

Тот повернул билет в руках и грубо сказал:

— Мало.

Дядя накинул еще две четвертки.

— Да и это недостаточно: ведь ни одного скандала не было.

Дядя прибавил третью четвертную, после чего учитель подал ему палку и откланялся.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Мы остались вдвоем с глазу на глаз и мчались назад в Москву, а за нами с гиком и дребезжанием неслась во всю скачь вся эта извозчичья рвань. Я не понимал, что им хотелось, но дядя понял. Это было возмутительно: им хотелось еще сорвать отступного, и вот они, под видом оказания особой чести Илье Федосеичу, предавали его почетное высокостепенство всесветному позору.

Москва была перед носом и вся в виду — вся в прекрасном утреннем освещении, в легком дымке очагов и мирном благовесте, зовущем к молитве.

Вправо и влево к заставе шли лабазы. Дядя встал у крайнего из них, подошел к стоявшей у порога липовой кадке и спросил:

— Мед?
— Мед.
— Что стоит кадка?
— На мелочь по фунтам продаем.
— Продай на крупное: смекни, что стоит.
Не помню, кажется семьдесят или восемьдесят рублей он смекнул.

Дядя выбросил деньги.

А кортеж наш надвинулся.

— Любите меня, молодцы, городские извозчики?
— Как же, мы завсегда к вашему степенству...
— Привязанность чувствуете?
— Очень привязаны.
— Снимай колеса.

Те недоумевают.

— Скорей, скорей! — командует дядя.

Кто попрытче, человек двадцать, слазили под козла, достали ключи и стали развертывать гайки.

— Хорошо, — говорит дядя, — теперь мажь медом.
— Батюшка!
— Мажь!
— Этакое добро... в рот любопытнее.
— Мажь!

И, не настаивая более, дядя снова сел в коляску, и мы понеслись, а те, сколько их было, все остались с снятыми колесами над медом, которым они колес верно не мазали, а растащили по карманам или перепродали лабазнику. Во всяком случае они нас оставили, и мы очутились в банях. Тут я себе ожидал кончину века и ни жив ни мертв сидел в мраморной ванне, а дядя растянулся на пол, но не просто, не в обыкновенной позе, а как-то апокалипсически. Вся огромная масса его тучного тела упиралась об пол только самыми кончиками ножных и ручных пальцев, и на этих тонких точках опоры красное тело его трепетало под брызгами пущенного на него холодного дождя, и ревел он сдержанным ревом медведя, вырывающего у себя больничку. Это продолжалось с полчаса, и он все одинаково весь трепетал, как желе, на тряском столе, пока, наконец, сразу вспрыгнул, спросил квасу, и мы оделись и поехали на Кузнецкий «к французу».

Здесь нас обоих слегка подстригли и слегка завили и причесали, и мы пешком перешли в город — в лавку.

Со мной все нет ни разговора, ни отпуска. Только раз сказал:

— Погоди, не все вдруг; чего не понимаешь, — с лета́м поймешь.

В лавке он помолился, взглянув на всех хозяйским оком, и стал у конторки. Внешность сосуда была очищена, но внутри еще ходила глубокая скверна и искала своего очищения.

Я это видел и теперь перестал бояться. Это меня занимало — я хотел видеть, как он с собою разделается: воздержанием или какой благодатию?

Часов в десять он стал больно нудиться, все ждал и высматривал соседа, чтобы идти втроем чай пить, — троим собирают на целый пятак дешевле. Сосед не вышел: помер скорописною смертью.

Дядя перекрестился и сказал:

— Все помрем.

Это его не смутило, несмотря на то, что они сорок лет вместе ходили в Новотроицкий чай пить.

Мы позвали соседа с другой стороны и не раз сходили, того-сего отведали, но все на́трезво. Весь день я просидел и проходил с ним, а перед вечером дядя послал взять коляску ко Всепетой.

Там его тоже знали и встретили с таким же почетом, как у «Яра».

— Хочу пасть перед Всепетой и о грехах поплакать. А это, рекомендую, мой племяш, сестры сын.

— Пожалуйте,— говорят инокини,— пожалуйте, от кого же Всепетой, как не от вас, и покаянье принять, — всегда ее обители благодели. Теперь к ней самое расположение... всенощная.

— Пусть кончится, — я люблю без людей, и чтоб мне благодатный сумрак сделать.

Ему сделали сумрак; погасили все, кроме одной или двух лампад и большой глубокой лампады с зеленым стаканом перед самою Всепетою.

Дядя не упал, а рухнул на колени, потом ударил лбом об пол ниц, всхлипнул и точно замер.

Я и две инокини сели в темном углу за дверью. Шла долгая пауза. Дядя все лежал, не подавая ни гласа, ни послушания. Мне казалось, что он будто уснул, и я даже сообщил об этом монахиням. Опытная сестра подумала,

покачала головою и, возжегши тоненькую свечечку, зажала ее в горсть и тихо-тихонько направилась к кающемуся. Тихо обойдя его на цыпочках, она возмутилась и шепнула:

— Действует... и с оборотом.

— Почему вы замечаете?

Она пригнулась, дав знак и мне сделать то же, и сказала:

— Смотри прямо через огонек, где его ножки.

— Вижу.

— Смотрите, какое борение!

Всматриваюсь и действительно замечаю какое-то движение: дядя благоговейно лежит в молитвенном положении, а в ногах у него словно два кота дерутся — то один, то другой друг друга борют, и так частенько, так и прыгают.

— Матушка, — говорю, — откуда же эти коты?

— Это, — отвечает, — вам только показываются коты, а это не коты, а искушение: видите, он духом к небу горит, а ножками-то еще к аду перебирает.

Вижу, что и действительно это дядя ножками вчерашнего трепака доплясывает, но точно ли он и духом теперь к небу горит?

А он, словно в ответ на это, вдруг как вздохнет да как крикнет:

— Не поднимусь, пока не простишь меня! Ты бо один свят, а мы все черти окаянные! — и зарыдал.

Да ведь-таки так зарыдал, что все мы трое с ним навзрыд плакать начали: господи, сотвори ему по его молению.

И не заметили, как он уже стоит рядом с нами и тихим, благочестивым голосом говорит мне:

— Пойдем — справимся.

Монахини спрашивают:

— Сподобились ли, батюшка, отблеск видеть?

— Нет, — отвечает, — отблеска не сподобился, а вот... этак вот было.

Он сжал кулак и поднял, как поднимают за вихор мальчишек.

— Подняло?

— Да.

Монахини стали креститься, и я тоже, а дядя пояснил:

— Теперь мне, — говорит, — прощено! Прямо с самого сверху, из-под кумпола, разверстой десницей сжало мне все власы вкупе и прямо на ноги поставило...

И вот он не отвержен и счастлив; он щедро одарил обитель, где вымолил себе это чудо, и опять почувствовал «жисть», и послал моей матери всю ее приданую долю, а меня ввел в добрую веру народную.

С этих пор я вкус народный познал в падении и в восстании... Это вот и называется *чертогон,* «иже беса чужеумия испраздняет». Только сподобиться этого, повторяю, можно в одной Москве, и то при особом счастии или при большой протекции от самых степенных старцев.

КАДЕТСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У нас не переводились, да и не переведутся праведные. Их только не замечают, а если стать присматриваться — они есть. Я сейчас вспоминаю целую обитель праведных, да еще из таких времен, в которые святое и доброе больше чем когда-нибудь пряталось от света. И, заметьте, все не из чернородья и не из знати, а из людей служилых, зависимых, коим соблюсти правоту труднее; но тогда были... Верно и теперь есть, только, разумеется, искать надо.

Я хочу вам рассказать нечто весьма простое, но не лишенное занимательности, — сразу о четырех праведных людях так называемой «глухой поры», хотя я уверен, что тогда подобных было очень много.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Воспоминания мои касаются Первого петербургского кадетского корпуса, и именно одной его поры, когда я там жил, учился и сразу въявь видел всех четырех праведников, о которых буду рассказывать. Но прежде позвольте мне сказать о самом корпусе, как мне представляется его заключительная история.

До воцарения императора Павла корпус был разделен на возрасты, а каждый возраст — на камеры. В каждой

камере было по двадцати человек, и при них были гувернеры из иностранцев, так называемые «аббаты», — французы и немцы. Бывали, кажется, и англичане. Каждому аббату давали по пяти тысяч рублей в год жалованья, и они жили вместе с кадетами и даже вместе и спали, дежуря по две недели. Под их надзором кадеты готовили уроки, и какой национальности был дежурный аббат, на том языке должны были все говорить. От этого знание иностранных языков между кадетами было очень значительно, и этим, конечно, объясняется, почему Первый кадетский корпус дал так много послов и высших офицеров, употреблявшихся для дипломатических посылок и сношений.

Император Павел Петрович как приехал в корпус в первый раз по своем воцарении, сейчас же приказал: «Аббатов прогнать, а корпус разделить на роты и назначить в каждую роту офицеров, как обыкновенно в ротах полковых». [1]

С этого времени образование во всех своих частях пало, а языкознание вовсе уничтожилось. Об этом в корпусе жили предания, не позабытые до той сравнительно поздней поры, с которой начинаются мои личные воспоминания о здешних людях и порядках.

Я прошу верить, а лично слышащих меня — засвидетельствовать, что моя память совершенно свежа и ум мой не находится в расстройстве, а также я понимаю слегка и нынешнее время. Я не чужд направлений нашей литературы: я читал и до сих пор читаю не только, что мне нравится, но часто и то, что не нравится, и знаю, что люди, о которых буду говорить, не в фаворе обретаются. Время то обыкновенно называют «глухое», что и справедливо, а людей, особенно военных, любят представлять сплошь «скалозубами», что, может быть, нельзя признать вполне верным. Были люди высокие, люди такого ума, сердца, честности и характеров, что лучших, кажется, и искать незачем.

Всем теперешним взрослым людям известно, как воспитывали у нас юношество в последующее, менее глухое

---

[1] Из «Краткой истории Первого кадетского корпуса», составленной Висковатовым, видно, что это произошло 16 января 1797 года. *(Прим. автора.)*

время; видим теперь на глазах у себя, как сейчас воспитывают. Всякой вещи свое время под солнцем. Кому что нравится. Может быть, хорошо и то и другое, а я коротенько расскажу, кто нас воспитывал и *как* воспитывал, то есть какими чертами своего примера эти люди отразились в наших душах и отпечатлелись на сердце, потому что — грешный человек — вне этого, то есть без живого возвышающего чувства примера, никакого воспитания не понимаю. Да, впрочем, теперь и большие ученые с этим согласны.

Итак, вот мои воспитатели, которыми я на старости лет задумал хвалиться. Иду по номерам.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

№ 1. *Директор, генерал-майор Перский* (из воспитанников лучшего времени Первого же корпуса). Я определился в корпус в 1822 году вместе с моим старшим братом. Оба мы были еще маленькие. Отец привез нас на своих лошадях из Херсонской губернии, где у него было имение, жалованное «матушкою Екатериною». Аракчеев хотел отобрать у него это имение под военное поселение, но наш старик поднял такой шум и упротивность, что на него махнули рукою и подаренное ему «матушкою» имение оставили в его владении.

Представляя нас с братом генералу Перскому, который в одном своем лице сосредоточивал должности директора и инспектора корпуса, отец был растроган, так как он оставлял нас в столице, где у нас не было ни одной души ни родных, ни знакомых. Он сказал об этом Перскому и просил у него «внимания и покровительства».

Перский выслушал отца терпеливо и спокойно, но не отвечал ему ничего, вероятно потому, что разговор шел при нас, а прямо обратился к нам и сказал:

— Ведите себя хорошо и исполняйте то, что приказывает вам начальство. Главное — вы знайте только самих себя и никогда не пересказывайте начальству о каких-либо шалостях своих товарищей. В этом случае вас никто уже не спасет от беды.

На кадетском языке того времени для занимавшихся таким недостойным делом, как пересказ чего-нибудь и вообще искательство перед начальством, было особенное выражение «подъегозчик», и этого преступления кадеты *никогда не прощали.* С виновным в этом обращались презрительно, грубо и даже жестоко, и начальство этого не уничтожало. Такой самосуд, может быть, был и хорош и худ, но он несомненно воспитывал в детях понятия чести, которыми кадеты бывших времен недаром славились и не изменяли им на всех ступенях служения до гроба.

Михаил Степанович Перский был замечательная личность: он имел в высшей степени представительную наружность и одевался щеголем. Не знаю, было ли это щегольство у него в натуре или он считал обязанностию служить им для нас примером опрятности и военной аккуратности. Он до такой степени был постоянно занят нами и все, что ни делал, то делал для нас, что мы были в этом уверены и тщательно старались подражать ему. Он всегда был одет самым форменным, но самым изящным образом: всегда носил тогдашнюю треугольную шляпу «по форме», держался прямо и молодцевато и имел важную, величавую походку, в которой как бы выражалось настроение его души, проникнутой служебным долгом, но не знавшей служебного страха.

Он был с нами в корпусе безотлучно. Никто не помнил такого случая, чтобы Перский оставил здание, и один раз, когда его увидали с сопровождавшим его вестовым на тротуаре, — весь корпус пришел в движение, и от одного кадета другому передавалось невероятное известие: «Михаил Степанович прошел по улице!»

Ему, впрочем, и некогда было разгуливать: будучи в одно и то же время директором и инспектором, он по этой последней обязанности четыре раза в день *непременно* обходил все классы. У нас было четыре перемены уроков, и Перский *непременно* побывал *на каждом уроке.* Придет, посидит или постоит, послушает и идет в другой класс. Решительно ни один урок без него не обходился. Обход свой он делал в сопровождении вестового, такого же, как он, рослого унтер-офицера, музыканта Ананьева. Ананьев всюду его сопровождал и открывал перед ним двери.

Перский *исключительно* занимался по научной части и отстранил от себя фронтовую часть и наказания за дисциплину, которых терпеть не мог и не переносил. От него мы видели только одно наказание: кадета ленивого или нерадивого он, бывало, слегка коснется в лоб кончиком безымянного пальца, как бы оттолкнет от себя, и скажет своим чистым, отчетливым голосом:

— Ду-ур-рной кадет!.. — И это служило горьким и памятным уроком, от которого заслуживший такое порицание часто не пил и не ел и всячески старался исправиться и тем «утешить Михаила Степановича».

Надо заметить, что Перский был холост, и у нас существовало такое убеждение, что он и не женится тоже *для нас*. Говорили, что он боится, обязавшись семейством, уменьшить свою о нас заботливость. И здесь же у места будет сказать, что это, кажется, совершенно справедливо. По крайней мере знавшие Михаила Степановича говорили, что на шуточные или нешуточные разговоры с ним о женитьбе он отвечал:

— Мне провидение вверило так много чужих детей, что некогда думать о собственных, — и это в его правдивых устах, конечно, была не фраза.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Жил он совершенно монахом. Более строгой аскетической жизни в миру нельзя себе и представить. Не говоря о том, что сам Перский не ездил ни в гости, ни в театры, ни в собрания, — он и у себя на дому никогда никого не принимал. Объясняться с ним по делу всякому было очень легко и свободно, но только в приемной комнате, а не в его квартире. Там никто посторонний не бывал, да и по слухам, разошедшимся, вероятно, от Ананьева, квартира его была неудобна для приемов: комнаты Перского представляли вид самой крайней простоты.

Вся прислуга директора состояла из одного вышеупомянутого вестового, музыканта Ананьева, который не отлучался от своего генерала. Он, как сказано, сопровождал его при ежедневных обходах классов, дортуаров, столовых и малолетнего отделения, где были дети от четырехлет-

него возраста, за которыми наблюдали уже не офицеры, а приставленные к тому дамы. Этот Ананьев и служил Перскому, то есть тщательно и превосходно чистил его сапоги и платье, на котором никогда не было пылинки, и ходил для него с судками за обедом, не куда-нибудь в избранный ресторан, а на общую кадетскую кухню. Там кадетскими же стряпунами готовился обед для бессемейных офицеров, которых в нашем монастыре, как бы по примеру начальника, завелось много, и Перский кушал этот самый обед, платя за него эконому такую же точно скромную плату, как и все другие.

Понятно, что, находившись весь день по корпусу, особенно по классам, где он был не для формы, а, имея хорошие сведения во всех науках, внимательно вникал в преподавание, Перский приходил к себе усталый, съедал свой офицерский обед, отличавшийся от общего кадетского обеда одним лишним блюдом, но не отдыхал, а тотчас же садился просматривать все журнальные отметки всех классов за день. Это давало ему средство знать всех учеников вверенного ему обширного заведения и не допускать случайной оплошалости перейти в привычную леность. Всякий, получивший сегодня неудовлетворительный балл, мучился ожиданием, что завтра Перский непременно его подзовет, тронет своим античным, белым пальцем в лоб и скажет:

— Дурной кадет.

И это было так страшно, что казалось страшнее сечения, которое у нас практиковалось, но не за науки, а только за фронт и дисциплину, от заведования коими Перский, как сказано, устранялся, вероятно потому, что нельзя было, по тогдашнему обычаю, обходиться без телесных наказаний, а они ему, несомненно, были противны.

Секли ротные командиры, из которых большой охотник до этого дела был командир первой роты Ореус.

Вечер свой Перский проводил за инспекторскими работами, составляя и проверяя расписания и соображая успехи учеников с непройденными частями программы. Потом он много читал, находя в этом большую помощь в знании языков. Он основательно знал языки французский, немецкий, английский и постоянно упражнялся в них чтением. Затем он ложился немного попозже нас, для того чтобы завтра опять встать немного нас пораньше.

Так проводил изо дня в день много лет кряду этот достойный человек, которого я рекомендую не исключить со счета при смете о трех русских праведниках. Он и жил и умер честным человеком, без пятна и упрека; но этого мало: это все еще идет под чертою простой, хотя, правда, весьма высокой честности, которой достигают немногие, однако все это *только честность*. А у Перского была и доблесть, которую мы, дети, считали *своею,* то есть нашею, кадетскою, потому что Михайло Степанович Перский был воспитанник нашего кадетского корпуса и в лице своем олицетворял для нас дух и предания кадетства.

ГЛАВА ПЯТАЯ

По некоторому стечению обстоятельств мы, ребятишки, сделались причастны к одному событию декабристского бунта. Фас нашего корпуса, как известно, выходил на Неву, прямо против нынешней Исаакиевской площади. Все роты были размещены по линии, а *резервная* рота выходила на фас. Я был тогда именно в этой резервной роте, и нам, из наших окон, было все видно.

Кто знает графически это положение, тот его поймет, а кто не знает, тому нечего рассказывать. Было так, как я говорю.

Тогда с острова прямо к этой площади был мост, который так и назывался Исаакиевским мостом. Из окон фаса нам видно было на Исаакиевской площади огромное стечение народа и бунтовавшихся войск, которые состояли из баталиона Московского полка и двух рот экипажа гвардии. Когда после шести часов вечера открыли огонь из шести орудий, стоявших против Адмиралтейства и направленных на Сенат, и в числе бунтовавших появились раненые, то из них несколько человек бросились бежать по льду через Неву. Одни из них шли, а другие ползли по льду, и, перебравшись на наш берег, человек шестнадцать вошли в ворота корпуса, и тут который где привалились, — кто под стенкой, кто на сходах к служительским помещениям.

Помнится, будто все это были солдаты бунтовавшего баталиона Московского полка.

Кадеты, услыхав об этом или увидав раненых, без удержа, но и без уговора, никого не слушая, бросились к ним, подняли их на руки и уложили каждого как могли лучше. Им, собственно, хотелось уложить их на свои койки, но не помню почему-то это так не сделалось, хотя другие говорят, что будто и так было. Однако я об этом не спорю и этого не утверждаю. Может быть, что кадеты разместили раненых по солдатским койкам в служительской казарме и тут принялись около них фельдшерить и им прислуживать. Не видя в этом ничего предосудительного и дурного, кадеты не скрывались с своим поступком, которого к тому же и невозможно было скрыть. Сейчас же они дали знать об этом директору Перскому, а сами меж тем уже сделали, как умели, раненым перевязку. А как бунтовщики стояли целый день не евши, то кадеты распорядились также их накормить, для чего, построившись к ужину, сделали так называемую «передачу», то есть по всему фронту передали шепотом слова: «Пирогов не есть, — раненым. Пирогов не есть, — раненым...» Эта «передача» [1] была прием обыкновенный, к которому мы всегда обращались, когда в корпусе были кадеты, арестованные в карцере и оставленные «на хлеб и на воду».

Делалось это таким образом: когда мы выстроивались всем корпусом перед обедом или перед ужином, то от старших кадет-гренадеров, которые всегда больше знали домашние тайны корпуса и имели авторитет на младших, «шло приказание», передаваемое от одного соседа к другому шепотом и всегда в самой короткой, лаконической форме. Например:

«Есть арестанты — пироги не есть».

Если по расписанию в этот день не было пирогов, то точно такой же приказ отдавался насчет котлет, и несмотря на то, что утаить и вынесть из-за стола котлеты было гораздо труднее, чем пироги, но мы умели это делать очень легко и незаметно. Да впрочем, начальство, зная наш в этом случае непреклонный ребячий дух и обычай, совсем к этому не придиралось. «Не едят, уносят, — ну и пускай уносят». Худа в этом не полагали, да его,

---

[1] Воспитанники корпуса позднейших выпусков говорят, что у них не было слова «передача», но я оставляю так, как мне сказано кадетом-старцем. *(Прим. автора.)*

может быть, и не было. Это маленькое правонарушение служило к созиданию великого дела: оно воспитывало дух товарищества, дух взаимопомощи и сострадания, который придает всякой среде теплоту и жизненность, с утратой коих люди перестают быть людьми и становятся холодными эгоистами, неспособными ни к какому делу, требующему самоотвержения и доблести.

Так было и в этот для некоторых из нас очень многопоследственный день, когда мы уложили и перевязали своими платками раненых бунтовщиков. Гренадеры дали передачу:

— Пирогов не есть, — раненым.

И все этот приказ исполнили по всей точности, как было принято: пирогов никто не ел, и все они были отнесены раненым, которые вслед за тем были куда-то убраны.

День кончился по обыкновению, и мы уснули, нимало не помышляя о том, какое мы сделали непозволительное и вредное для наших товарищей дело.

Мы могли быть тем спокойнее, что Перский, который всех более отвечал за наши поступки, не сказал нам ни одного слова охуждения, а напротив, простился с нами так, как будто мы не сделали ничего дурного. Он даже был ласков и тем дал нам повод думать, как будто он одобрил наше ребячье сострадание.

Одним словом, мы считали себя ни в чем не виноватыми и не ждали ни малейшей неприятности, а она была начеку и двигалась на нас как будто нарочно затем, чтобы показать нам Михаила Степановича в таком величии души, ума и характера, о которых мы не могли составить и понятия, но о которых, конечно, ни один из нас не сумел забыть до гроба.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Пятнадцатого декабря в корпус *неожиданно* приехал государь Николай Павлович. Он был очень гневен.

Перскому дали знать, и он тотчас же явился из своей квартиры и, по обыкновению, отрапортовал его величеству о числе кадет и о состоянии корпуса.

Государь выслушал его в суровом молчании и изволил громко сказать:

— Здесь дух нехороший!

— Военный, ваше величество, — отвечал полным и спокойным голосом Перский.

— Отсюда Рылеев и Бестужев! — по-прежнему с неудовольствием сказал император.

— Отсюда Румянцев, Прозоровский, Каменский, Кульнев — все главнокомандующие, и отсюда Толь, — с тем же неизменным спокойствием возразил, глядя открыто в лицо государя, Перский.

— Они бунтовщиков кормили! — сказал, показав на нас рукою, государь.

— Они так воспитаны, ваше величество: драться с неприятелем, но после победы призревать раненых, как своих.

Негодование, выражавшееся на лице государя, не изменилось, но он ничего более не сказал и уехал.

Перский своими откровенными и благородными верноподданническими ответами отклонил от нас беду, и мы продолжали жить и учиться, как было до сих пор. Обращение с нами все шло мягкое, человечное, но уже недолго: близился крутой и жесткий перелом, совершенно изменивший весь характер этого прекрасно учрежденного заведения.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Ровно через год после декабрьского бунта, именно 14 декабря 1826 года, главным директором всех кадетских корпусов вместо генерал-адъютанта Павла Васильевича Голенищева-Кутузова был назначен генерал-адъютант генерал-от-инфантерии Николай Иванович Демидов, человек чрезвычайно набожный и совершенно безжалостный. Его и без того трепетали в войсках, где имя его произносилось с ужасом, а для нас он получил особенное приказание «подтянуть».

Демидов велел собрать совет и приехал в корпус. Совет состоял из директора Перского, баталионного командира полковника Шмидта (человека превосходной честности) и ротных командиров: Ореуса (секуна), Шмидта 2-го, Эллермана и Черкасова, который перед тем долгое

время преподавал фортификацию, так что пожалованный в графы Толь в 1822 году был его учеником.

Демидов начал с того, что сказал:

— Я желаю знать имена кадет, которые дурно себя ведут. Прошу сделать им особый список.

— У нас нет худых кадет, — отвечал Перский.

— Однако же, конечно, непременно одни ведут себя лучше, другие хуже.

— Да, это так; но если отобрать тех, которые хуже, то в числе остальных опять будут лучшие и худшие.

— Должны быть внесены в список самые худшие, и они в пример прочим будут посланы в полки унтер-офицерами.

Перский никак этого не ожидал и, выразив непритворное удивление, возразил со всегдашним своим самообладанием и спокойствием:

— Как в унтер-офицеры! За что?

— За дурное поведение.

— Нам вверили их родители с четырехлетнего возраста, как вам известно. Следовательно, если они дурны, то в этом мы виноваты, что они дурно воспитаны. Что же мы скажем родителям? То, что мы довоспитали их детей до того, что их пришлось сдать в полки нижними чинами. Не лучше ли предупредить родителей, чтобы они взяли их, чем ссылать их без вины в унтер-офицеры?

— Нам об этом не следует рассуждать, а должно только исполнить.

— А! в таком случае не для чего было собирать совет, — отвечал Перский. — Вы бы изволили так сказать сначала, и что приказано, то должно быть исполнено.

Результат был тот, что на другой день, когда мы сидели за учебными занятиями, классы обходил адъютант Демидова Багговут и, держа в руках список, вызывал по именам тех кадет, у которых были наихудшие отметки за поведение.

Вызванным Багговут приказал идти в фехтовальную залу, которая была так расположена, что мы из классов могли видеть все там происходившее. И мы видели, что солдаты внесли туда кучу серых шинелей и наших товарищей одели в эти шинели. Затем их вывели на двор, рассадили там с жандармами в заготовленные сани и отправили по полкам.

Само собою разумеется, что паника была ужасная. Нам объявили, что если еще найдутся между нами кадеты, которые будут вести себя неудовлетворительно, то такие высылки станут повторяться. Для оценки поведения была назначена отметка *сто баллов* и сказано, что если кто будет иметь менее семидесяти пяти баллов, то такой будет немедленно отдан в унтер-офицеры.

Само начальство было в немалом затруднении, как располагать оценку поведения по этой новой, стобалльной системе, и мы слыхали об этом недоумении переговоры, которые окончились тем, что начальство стало нас щадить и оберегать, милостиво относясь к нашим ребячьим грешкам, за которые над нами была утверждена такая страшная кара. Мы же так скоро с этим освоились, что чувство минутного панического страха вдруг заменилось у нас еще большею отвагою: скорбя за исключенных товарищей, мы иначе не звали между собою Демидова, как «варвар», и вместо того, чтобы робеть и трястись его образцового жестокосердия, решились идти с ним в открытую борьбу, в которой хотя всем пропасть, но показать ему «наше презрение к нему и ко всем опасностям».

Случай представился к этому немедленно же, и очень трудно сказать, до чего бы дошло дело, если бы опять не подоспели нам на помощь находчивый ум и большой такт никогда не ходившего за словом в карман Перского.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Ровно через неделю после того, как от нас были отлучены и сосланы в унтер-офицеры наши товарищи, нам было приказано идти в ту же фехтовальную залу и построиться там в колонны. Мы исполнили приказание и ждали, что будет, а на душе у всех жутко. Вспомнили, что стоим на тех самых половицах, на которых стояли наши несчастные товарищи перед грудами приготовленных для них солдатских шинелей, и так вот варом и закипит на душе... Как они, сердечные, должно быть, были изумлены и поражены этою неожиданностью, и где-то и как они стали приходить в себя и проч. и проч. Словом сказать: душевная мука, — и стоим мы все, понурив головочки

уныло, и вспоминаем Демидова «варвара», но ни капли его не боимся. Пропадать, так всем заодно пропадать, — знаете, ступень такая... освоились. И в это-то время вдруг отворяются двери, и является сам Демидов вместе с Перским и говорит:

— Здравствуйте, деточки!

Все молчали. Ни уговора, ни моментальной «передачи» при его появлении не было, а так просто, от чувства негодования ни у одного уста не раскрылись отвечать. Демидов повторил:

— Здравствуйте, деточки!

Мы опять молчали. Дело переходило в сознательное упорство, и момент принимал самый острый характер. Тогда Перский, видя, что из этого произойдет большая неприятность, сказал Демидову громко, так что все мы слышали:

— Они не отвечают, потому что не привыкли к выражению вашему *«деточки»*. Если вы поздороваетесь с ними и скажете: «здравствуйте, *кадеты»,* они непременно вам ответят.

Мы очень уважали Перского и поняли, что, говоря эти слова так громко и так уверенно Демидову, он в то же время главным образом адресует их нам, доверяя себя самого нашей совестливости и нашему рассудку. Опять, без всякого уговора, все сразу поняли его едиными сердцами и поддержали его едиными устами. Когда Демидов сказал: «Здравствуйте, кадеты!», мы единогласно ответили известным возгласом: «Здравия желаем!»

Но это не был конец истории.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

После того как мы прокричали свое «здравия желаем», Демидов спустил с себя строгость, которою начал было набираться, когда мы не отвечали на его противную ласку, но сделал нечто, еще более для нас неприятное.

— Вот, — сказал он голосом, который хотел сделать ласковым и делал только приторным, — вот я хочу вам сейчас показать, как мы вас любим.

Он кивнул вестовому Ананьеву, который скорыми шагами вышел за двери и тотчас же возвратился в сопровождении нескольких солдат, несших большие корзины с дорогими кондитерскими конфектами в изукрашенных бумажках.

Демидов остановил корзины и, обратясь к нам, сказал:

— Вот тут целые пять пудов конфект (кажется, пять, а может быть, было и более) — это все для вас, берите и кушайте.

Мы не трогались.

— Берите же, — это для вас.

А мы тоже ни с места; но Перский, видя это, дал знак солдатам, державшим демидовское угощение, и те стали носить корзины по рядам.

Мы опять поняли, чего хочет наш директор, и не позволили себе против него никакой неуместности, но демидовское угощение мы все-таки есть не стали и нашли ему особое определение. В то самое мгновение, как первый фланговый из наших старших гренадеров протянул руку к корзине и взял горсть конфект, он успел шепнуть соседу:

— Конфекты не есть — в яму.

И в одну минуту «передача» эта пробежала по всему фронту с быстротою и с незаметностью электрической искры, и ни одна конфекта не была съедена. Как только начальство ушло и нас пустили порезвиться, мы все друг за другом, веревочкою, пришли в известное место, держа в руках конфекты, и все бросили их туда, куда было указано.

Так и кончилось это демидовское угощение. Ни один малыш не слукавил и не соблазнился конфектою: все бросили. Да иначе и нельзя было: дух дружества и товарищества был удивительный, и самый маленький новичок проникался им быстро и подчинялся ему с каким-то священным восторгом. Нас нельзя было подкупить и заласкать никакими лакомствами: мы так были преданы начальству, но не за ласки и подарки, а за его справедливость и честность, которые видели в таких людях, как Михаил Степанович Перский — главный командир, или, лучше сказать, игумен нашего кадетского монастыря, где он под стать себе умел подобрать таких же и старцев.

Впрочем, он ли их умел подбирать или они сами к нему под стать подбирались, дабы жить в отрадном согласии, — этого я не знаю, потому что мы малы были, чтобы вникать в такие вещи; но что знаю о сподвижниках Михаила Степановича, то тоже расскажу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Второй номер за игуменом в монастырях принадлежит *эконому*. Так было и у нас, в нашем монастыре. За Михаилом Степановичем Перским по важности значения следовал воспетый Рылеевым эконом в чине бригадира — Андрей Петрович *Бобров*.

Я ставлю его *вторым* только по подчиненности и потому, что нельзя всех поставить вместе в первых, но по достоинствам души, сердца и характера этот Андрей Петрович был такой же высоко замечательный человек, как сам Перский, и ни в чем не уступал ему, разве только в одной умственной находчивости на ответы. Зато сердцем Бобров был еще теплее.

Он, разумеется, был *холост,* как и надо по-монастырскому уставу, и детей любил чрезвычайно. Только не так любил, как иные любят, — теоретически, в рассуждениях, что, мол, «это будущность России», или «наша надежда», или же еще что-нибудь подобное, вымышленное и пустяковое, за чем часто нет ничего, кроме эгоизма и бессердечия. А у нашего бригадира эта любовь была простая и настоящая, которую не нужно было нам изъяснять и растолковывать. Мы все знали, что он нас любит и о нас печется, и никто бы нас в этом не мог разубедить.

Бобров был низенького роста, толстый, ходил с косицею и по опрятности составлял самый резкий контраст с Перским, а был похож в этом отношении на дедушку Крылова. Сколько мы его знали, он всегда носил один и тот же мундир, засаленный-презасаленный, и другого у него не было. Цвет воротника этого мундира определить было невозможно, но Андрей Петрович нимало этим не стеснялся. В этом самом мундире он был при деле и в нем же, когда случалось, предстоял перед старшими военными лицами, великими князьями и самим государем.

Говорили, будто бы император Николай Павлович знал, куда Бобров девает свое жалованье, и из уважения к нему не хотел замечать его неряшество.

У Боброва была Анна с бриллиантами на шее, которую он носил постоянно, а уж на какой ленте висела эта Анна, про то не спрашивайте. Лента была так же нераспознаваема, как цвет его воротника на мундире.

Он заведывал всей экономическою частью корпуса совершенно самостоятельно. Беспрестанно занятый научною частью, директор Перский совсем не вмешивался в хозяйство, да это было и не нужно при таком экономе, как бригадир Бобров. К тому же оба они были друзья и верили друг другу безгранично.

В ведении Боброва было как продовольствие, так и одежда всех кадет и всей прислуги без исключения. Сумма расходов простиралась до шестисот тысяч рублей ежегодно, а за сорок лет его экономского служения у него, значит, обратилось до двадцати четырех миллионов, но к рукам ничего не прилипло. Напротив, даже три тысячи рублей положенного ему жалованья он не получал, а только в нем расписывался, и когда этот денежный человек на сороковом году своего экономства умер, то у него не оказалось своих денег ни гроша, и его хоронили на казенный счет.

Я скажу в конце, куда он девал свое жалованье, на какую проматывал его необходимую страстишку, о которой, как выше замечено, будто бы и знал покойный император Николай Павлович.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

По обычаю своему Бобров был такой же домосед, как и Перский. Сорок кряду лет он буквально не выходил из корпуса, но зато постоянно ходил по корпусу и все учреждал свое дело, все хлопотал, «чтобы мошенники были сыты, теплы и чисты». *Мошенники* это были мы, — так он называл кадет, разумеется употребляя это слово как ласку, как шутку. Мы это знали.

Всякий день он вставал в пять часов утра и являлся к нам в шесть часов, когда мы пили сбитень; после этого

мы шли в классы, а он по хозяйству. Затем обед и всякую другую пищу мы получали непременно при нем. Он любил «кормить» и кормил нас прекрасно и очень сытно. Наш нынешний государь в отрочестве своем не раз кушивал с нами за общим кадетским столом и, вероятно, еще изволит помнить нашего «старого Бобра».[1] Порций, как это водится во всех заведениях, у нас при Боброве не было — все ели сколько кто хотел. Одевал он нас всегда хорошо; белье заставлял переменять три раза в неделю. Был очень жалостлив и даже баловник, что отчасти было, вероятно, известно Перскому и другим, но не всё: водились и такие вещи, которые Андрей Петрович по добросердечию своему не мог не сделать, но знал, что они незаконны, и он, бригадир, скрывался с ними, как школьник. Это больше всего касалось кадет, подвергнутых наказанию. Тут он весь вне себя был, сдерживался, но внутренно ужасно болел, кипятился, как самоварчик, и, наконец, не выдерживал, чтобы чем-нибудь не «утешить мошенника». Всякого наказанного он как-нибудь подзовет, насупится, будто какой-то выговор хочет сказать, но вместо того погладит, что-нибудь даст и отпихнет:

— Пошел, мошенник, вперед себя не доводи!

Особенная же забота у него шла о кадетах-арестантах, которых сажали на хлеб на воду, в такие устроенные при Демидове особенные карцеры, куда товарищи не могли доставить арестантам подаяние. Андрей Петрович всегда знал по счету пустых столовых приборов, сколько арестованных, но кадеты не опускали случая с своей стороны еще ему особенно об этом напомнить. Бывало, проходя мимо его из столовой, под ритмический топот шагов, как бы безотносительно произносят:

— Пять арестантов, пять арестантов, пять арестантов.

А он или стоит только, выпуча свои глазки, как будто ничего не слышит, или, если нет вблизи офицеров, дразнится, то есть отвечает нам тем же тоном:

— Мне что за дело, мне что за дело, мне что за дело.

Но когда посаженных на хлеб на воду выводили из арестантских на ночлег в роту, Андрей Петрович подсте-

---

[1] В «⟨Краткой⟩ истории Первого кадетского корпуса» (1832 г.) есть упоминания о том, что государь император Александр Николаевич в отрочестве посещал корпус и там кушал с кадетами. *(Прим. автора.)*

регал эту процессию, отнимал их у провожатых, забирал к себе в кухню и тут их кормил, а по коридорам во все это время расставлял солдат, чтобы никто не подошел.

Сам им, бывало, кашу маслит и торопится тарелки подставлять, а сам твердит:

— Скорее, мошенник, скорее глотай!

Все при этом часто плакали — и арестанты, и он, их кормилец, и сторожевые солдаты, участвовавшие в проделках своего доброго бригадира.

Кадеты его любили до той надоедливости, что ему буквально нельзя было показаться в такое время, когда мы были свободны. Если, бывало, случится ему по неосторожности попасть в это время на плац, то сейчас же раздавался крик:

— Андрей Петрович на плацу!

Больше ничего не нужно было, и все знали, что делать: все бросались к нему, ловили его, брали на руки и на руках несли, куда ему было нужно.

Это ему было тяжело, потому что он был толстенький кубик, — ворочается, бывало, у нас на руках, кричит:

— Мошенники! вы меня уроните, убьете... Это мне нездорово, — но это не помогало.

Теперь скажу о страстишке, по милости которой Андрею Петровичу никогда почти не приходилось получать своего жалованья, а только расписываться.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

У нас очень много было людей бедных, и когда нас выпускали, то выпускали на бедное же офицерское жалованье. А мы ведь были младенцы, о доходных местах и должностях, о чем нынче грудные младенцы знают, у нас и мыслей не было. Расставались не с тем, что я так-то устроюсь или разживусь, а говорили:

— Следите за газетами: если только наш полк будет в деле, — на приступе первым я.

Все так собирались, а многие и исполнили. Идеалисты были ужасные. Андрей Петрович сожалел о бедняках и безродных и хотел, чтобы и из них каждый имел что-нибудь приличное, в чем оно ему представлялось. Он давал

всем бедным приданое — серебряные ложки и белье. Каждый выпущенный прапорщик получал от него по три перемены белья, две столовые серебряные ложки, по четыре чайных, восемьдесят четвертой пробы. Белье давалось для себя, а серебро — для «общежития».

— Когда товарищ зайдет, чтобы было у тебя чем дать щей хлебнуть, а к чаю могут зайти двое и трое, — так вот, чтобы было чем...

Так это и соразмерялось — накормить хоть одного, а чайком напоить до четырех собратов. Все до мелочей и вдаль, на всю жизнь, внушалось о товариществе, и диво ли, что оно было?

Ужасно трогательный был человек, и сам растрогивался сильно и глубоко. Поэтически мог вдохновлять, и Рылеев, как я сказал, написал ему оду, которая начиналась словами:

О ты, почтенный эконом Бобров!

Вообще любили его поистине, можно сказать, до чрезвычайности, и любовь эта в нас не ослабевала ни с летами, ни с переменою положения. Пока он жил, все наши, когда случалось быть в Петербурге, непременно приезжали в корпус «явиться Андрею Петровичу» — «старому Бобру». И тут происходили иногда сцены, которых словами просто даже передать нельзя. Увидит, бывало, человека незнакомого с знаками заслуг, а иногда и в большом чине, и встретит официально вопросом: «Что вам угодно?» А потом, как тот назовет себя, он сейчас сделает шаг назад и одной рукой начнет лоб почесывать, чтобы лучше вспоминать, а другою отстраняет гостя.

— Позвольте, позвольте, — говорит, — позвольте!

И если тот не спешил вполне открыться, то он ворчал:

— У нас был... мошенник... не из наших ли?..

— Ваш, ваш, Андрей Петрович! — отвечал гость или же, порываясь к хозяину, показывал ему его «благословение» — серебряную ложечку.

Но тут вся сцена становилась какою-то дрожащею. Бобров топал ногами, кричал: «Прочь, прочь, мошенник!» и с этим сам быстро прятался в угол дивана за стол, закрывал оба глаза своими пухленькими кулачками или синим бумажным платком и не плакал, а рыдал, рыдал звонко, визгливо и неудержимо, как нервическая женщина,

так что вся его внутренность и полная мясистая грудь его дрожала и лицо наливалось кровью.

Удержать его было невозможно, а так как это не раз бывало с ним при таких крайне волновавших его встречах, то денщик его это знал и сейчас ставил перед ним на подносике стакан воды. Более никто ничего не предпринимал. Истерика восторга кончалась, старик сам выпивал воду и, вставая, говорил ослабевшим голосом:

— Ну... теперь поцелуй, мошенник!

И они целовались долго-долго, причем многие, конечно, без всякого унижения или ласкательства целовали у него руки, а он уже только с блаженством повторял:

— Вспомнил, мошенник, старика, вспомнил. — И сейчас же усаживал гостя и сам принимался доставать из шкафа какой-то графинчик, а денщика посылал на кухню за кушаньем.

Отказаться от этого никто не мог. Иной, бывало, отпрашивается:

— Андрей Петрович! я, — говорит, — зван и обещался к такому-то, или к такому-то, какому-нибудь важному лицу.

Ни за что не отпустит.

— Знать ничего не хочу, — говорит, — важные лица тебя не знали, когда я тебя на кухне кормил. Пришел сюда, так ты *мой,* — и должен из старого корыта почавкать. Без того не выпущу.

И не выпустит.

Рацей он никогда не читал, а только *жил* перед нами и остался жить после того, как его в конце сорокового года службы за недостаточностию на казенный счет похоронили.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Теперь *третий* постоянный инок нашего монастыря — наш корпусный доктор *Зеленский.* Он тоже был холост, тоже был домосед. Этот даже превзошел двух первых тем, что жил в лазарете, в последней комнате. Ни фельдшер, ни прислуга — никто никогда не могли себя предостеречь от внезапного его появления у больных: он был тут как днем, так и ночью. Числа визитаций у него не

полагалось, а он всегда был при больных. В день несколько раз обойдет, а кроме того еще навернется иногда невзначай и ночью. Если же случался труднобольной кадет, так Зеленский и вовсе его не оставлял — тут и отдыхал возле больного на соседней койке.

Этот доктор по опрятности был противоположность Перскому и родной брат эконому Боброву. Он ходил в сюртуке, редко вычищенном, часто очень изношенном и всегда расстегнутом, и цвет воротника у него был такой же, как у Андрея Петровича, то есть нераспознаваемый.

Он был телом и душою наш человек, как и два первые. Из корпуса он не выходил. Это, может быть, покажется невероятным, но это так. Никакими деньгами нельзя было его заставить выехать с визитом на сторону. Был один пример, что он изменил своему правилу, когда приехал в Петербург великий князь Константин Павлович из Варшавы. Его высочество посетил одну статс-даму, которую застал в страшном горе: у нее был очень болен маленький сын, которому не могли помочь тогдашние лучшие доктора столицы. Она посылала за Зеленским, который славился отличным знатоком детских болезней, в коих имел, разумеется, огромный навык, но он дал свой обыкновенный ответ:

— У меня на руках тысяча триста детей, за жизнь и здоровье которых я отвечаю и на стороны разбрасываться не могу.

Огорченная его отказом статс-дама сказала об этом великому князю, и Константин Павлович, будучи шефом Первого кадетского корпуса, изволил *приказать* Зеленскому поехать в дом этой дамы и *вылечить* ее ребенка.

Доктор повиновался — поехал и скоро вылечил больное дитя, но платы за свой труд не взял.

Одобряет ли кто или не одобряет этот его поступок, но я говорю, как происходило.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Зеленский был доктор отличный и, сколько я могу теперь понимать, вероятно, относился к новой медицинской школе: он был гигиенист и к лекарствам прибегал только в самых редких случаях; но тогда насчет медикаментов

и других нужных врачебных пособий был требователен и чрезвычайно настойчив. Что он назначил и потребовал, — это уже чтоб было, да, впрочем, и сопротивления-то некому было оказывать. О пище уж и говорить нечего: разумеется, какую порцию ни потребуй, Бобров не откажет. Он и здоровых «мошенников» любил кормить досыта, а про больных уже и говорить нечего. Но я помню раз такой случай, что доктор Зеленский для какого-то больного потребовал вина и назначил его на рецепте словами: «такой-то номер по прейскуранту Английского магазина».

Солдат понес требование эконому, и через несколько минут идет сам Андрей Петрович.

— Батенька, — говорит, — вы знаете ли, сколько этот номер вина за бутылку стоит? Он ведь стоит восемнадцать рублей.

А Зеленский ему отвечал:

— Я и знать, — говорит, — этого не хочу: это вино для ребенка нужно.

— Ну а если нужно, так и толковать не о чем, — отвечал Бобров и сейчас же вынул деньги и послал в Английский магазин за указанным вином.

Привожу это, между прочим, в пример тому, как они все были между собою согласны в том, что нужно для нашей выгоды, и приписываю это именно той их крепкой друг в друге уверенности, что ни у кого из них нет более драгоценной цели, как *наше* благо.

Имея на руках в числе тысячи трехсот человек двести пятьдесят малолетних от четырех до восьми лет, Зеленский тщательнейше наблюдал, чтобы не допускать повальных и заразительных болезней, и заболевавших скарлатиною сейчас же отделял и лечил в темных комнатах, куда не допускал капли света. Над этой системой позже смеялись, но он считал ее делом серьезным и всегда ее держался, и оттого ли или не оттого, но результат был чудесный. Не было случая, чтобы у нас не выздоровел мальчик, заболевший скарлатиною. Зеленский на этот счет немножко бравировал. У него была поговорка:

— Если ребенок умрет от горячки, доктора надо повесить за шею, а если от скарлатины — то за ноги.

Мелких чиновных лиц у нас в корпусе было очень мало. Например, вся канцелярия такого громадного учреждения состояла из одного бухгалтера Паутова — чело-

века, имевшего феноменальную память, да трех писарей. Только и всего, и всегда все, что нужно, было сделано, но при больнице Зеленский держал большой комплект фельдшеров, и ему в этом не отказывали. К каждому серьезному больному приставлялся отдельный фельдшер, который так возле него и сидел — поправлял его, одевал, если раскидывается, и подавал лекарство. Отойти он, разумеется, не смел и подумать, потому что Зеленский был тут же, за дверью, и каждую минуту мог выйти; а тогда, по старине, много не говоря, сейчас же короткая расправа: зуботычина — и опять сиди на месте.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Веруя и постоянно говоря, что «главное дело не в лечении, а в недопущении, в предупреждении болезней», Зеленский был чрезвычайно строг к прислуге, и зуботычины у него летели за малейшее неисполнение его гигиенических приказаний, к которым, как известно, наши русские люди относятся как к какой-то неосновательной прихоти. Зная это, Зеленский держался с ними морали крыловской басни «Кот и повар». Не исполнено или неточно исполнено его приказание — не станет рассуждать, а сейчас же щелк по зубам, и пошел мимо.

Мне немножко жаль сказывать об этой привычке скорого на руку доктора Зеленского, чтобы скорые на осуждение современные люди не сказали: «вот какой драчун или Держиморда», но чтобы воспоминания были верны и полны, из песни слова не выкинешь. Скажу только, что он не был Держиморда, а был даже добряк и насправедливейший и великодушнейший человек, но был, разумеется, человек *своего времени,* а время его было такое, что зуботычина за великое не считалась. Тогда была другая мерка: от человека требовали, чтобы «никого не сделать несчастным», и этого держались все хорошие люди, а в том числе и доктор Зеленский.

В видах *недопущения болезней,* прежде чем кадет вводили в классы, Зеленский проходил все классные комнаты, где в каждой был термометр. Он требовал, чтобы в клас-

сах было не меньше 13° и не больше 15°. Истопники и сторожа должны были находиться тут же, и если температура не выдержана — сейчас врачебная зубочистка. Когда мы садились за классные занятия, он точно так же обходил роты, и там опять происходило то же самое.

Пищу нашу он знал хорошо, потому что сам другой пищи не ел; он *всегда* обедал или с больными в лазарете, или с здоровыми, но не за особым, а за общим кадетским столом, и притом не позволял ставить себе избранного прибора, а садился где попало и ел то самое, чем питались мы.

Осматривал он нас каждую баню в предбаннике, но, кроме того, производил еще внезапные ревизии: вдруг остановит кадета и прикажет раздеться донага; осмотрит все тело, все белье, даже ногти на ногах оглядит — выстрижены ли.

Редкое и преполезное внимание!

Но теперь, оканчивая и с ним, я скажу, что́ у этого третьего известного мне истинного друга детей составляло его удовольствие.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Удовольствие доктора Зеленского заключалось в том, что, когда назначенные из кадет к выпуску в офицеры ожидали высочайшего приказа о производстве, он выбирал из них пять-шесть человек, которых знал, отличал за способности и любил. Он записывал их больными и помещал в лазарете, рядом с своей комнатой, давал им читать книги хороших авторов и вел с ними долгие беседы о самых разнообразных предметах.

Это, конечно, составляло некоторое злоупотребление, но если вникнуть в дело, то как это злоупотребление покажется простительно!

Надо только вспомнить, что было наделано с корпусами с тех пор, как они попали в руки Демидова, который, как выше было сказано, получил приказание их «подтянуть» и, кажется, слишком переусердствовал в исполнении. Думаю так потому, что графы Строганов и

Уваров, действуя в то же время, ничего того не наделали, что наделал Демидов с корпусами. Под словом «подтянуть» Демидов понял — *остановить образование*. Теперь уже, разумеется, не было никакого места прежней задаче, чтобы корпус мог выпускать таких образованных людей, из коих при прежних порядках без нужды выбирали лиц, способных ко всякой служебной карьере, не исключая и дипломатической. Наоборот, все дело шло о том, чтобы сузить наш умственный кругозор и всячески понизить значение науки. В корпусе существовала богатая библиотека и музеум. Библиотеку приказали *запереть*, в музеум не водить и наблюдать, чтобы никто не смел приносить с собою никакой книги из отпуска. Если же откроется, что, несмотря на запрещение, кто-нибудь принес из отпуска книгу, хотя бы и самую невинную, или, еще хуже, сам написал что-либо, то за это велено было подвергать строгому телесному наказанию розгами. Причем в определении меры этого наказания была установлена оригинальная постепенность: если кадет изобличался в прозаическом авторстве (конечно, смирного содержания), то ему давали двадцать пять ударов, а если он согрешил стихом, то вдвое. Это было за то, что Рылеев, который писал стихи, вышел из нашего корпуса. Книжечка всеобщей истории, не знаю кем составленная, была у нас едва ли не в двадцать страничек, и на обертке ее было обозначено: «Для воинов и для жителей». Прежде она была надписана: «Для воинов и *для граждан»* — так надписал ее ее искусный составитель, — но это было кем-то признано за неудобное, и вместо *«для граждан»* было поставлено «для жителей». Даже географические глобусы велено было вынести, чтобы не наводили на какие-нибудь мысли, а стену, на которой в старину были сделаны крупные надписи важных исторических дат, — закрасить... Было принято правилом, которое потом и выражено в инструкции, что *«никакие* учебные заведения в Европе не могут для заведений наших служить образцом» — они «уединоображиваются». [1]

---

[1] См. не действующее более «Наставление к образованию воспитанников военноучебных заведений», 24 декабря 1848 года, СПб, Типография военноучебных заведений. *(Прим. автора.)*

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Можно представить: как мы при таком учении выходили учены... А впереди стояла целая жизнь. Добрый и просвещенный человек, каким, несомненно, был наш доктор Зеленский, не мог не чувствовать, как это ужасно, и не мог не позаботиться если не пополнить ужасающий пробел в наших сведениях (потому что это было невозможно), то по крайней мере хоть возбудить в нас какую-нибудь любознательность, дать хоть какое-нибудь направление нашим мыслям.

Правда, что это не составляет предмета заботливости врача казенного заведения, но он же был человек, он *любил* нас, он желал нам счастия и добра, а какое же счастие при круглом невежестве? Мы годились к чему-нибудь в корпусе, но выходили в жизнь в полном смысле ребятами, правда, с задатками чести и хороших правил, но совершенно ничего не понимая. Первый случай, первый хитрец при новой обстановке мог нас сбивать и вести по пути недоброму, которого мы не сумели бы ни понять, ни оценить. Как к этому быть равнодушным!

И вот Зеленский забирал нас к себе в лазарет и подшпиговывал нас то чтением, то беседами.

Известно ли об этом было Перскому, я не знаю, но может быть, что и было известно, только он не любил знать о том, о чем не считал нужным знать. Тогда было строго, но формалистики меньше.

Читали мы у Зеленского, опять повторяю, книги самые позволительные, а из бесед я помню только одну, и то потому, что она имела анекдотическое основание и через то особенно прочно засела в голову. Но, говорят, человек ни в чем так легко не намечается, как в своем любимом анекдоте, а потому я его здесь и приведу.

Зеленский говорил, что в жизнь надо внесть с собою как можно более добрых *чувств,* способных порождать добрые *настроения,* из которых в свою очередь непременно должно вытечь доброе же *поведение.* А потому будут целесообразнее и все *поступки* в каждом столкновении и при всех случайностях. Всего предвидеть и распределить, где как поступить, невозможно, а надо все с добрым настроением и рассмотрением и без упрямства: приложить одно, а если не действует и раздражает, обра-

титься благоразумно к другому. Он все это из медицины брал и к ней приравнивал и говорил, что у него, в молодой поре, был упрямый главный доктор.

Подходит, говорит, к больному и спрашивает:

— Что у него?

— Так и так, — отвечает Зеленский, — весь аппарат бездействует, что-то вроде miserere.[1]

— Oleum ricini[2] давали?

— Давали.

И еще там что-то спросил: давали?

— Давали.

— A oleum crotoni?[3]

— Давали.

— Сколько?

— Две капли.

— Дать двадцать!

Зеленский только было рот раскрыл, чтобы возразить, а тот остановил:

— Дать двадцать!

— Слушаю-с.

На другой день спрашивает:

— А что больной с miserere: дали ему двадцать капель?

— Дали.

— Ну, и что он?

— Умер.

— Однако проняло?

— Да, проняло.

— То-то и есть.

И, довольный, что по его сделано, старший доктор начинал преспокойно бумаги подписывать. А что больной умер, до этого дела нет: лишь бы *проняло*.

Поскольку к чему этот медицинский анекдот мог быть приложим, он нам нравился и казался понятен, а уж насколько он кого-нибудь из нас воздерживал от вредного упрямства в выборе сильных, но вредно действующих средств, этого не знаю.

---

[1] Жалеть, иметь сострадание *(лат.);* здесь — безнадежное состояние больного.

[2] Касторовое масло *(лат.)*.

[3] Кротоновое масло *(лат.)*.

Зеленский служил в корпусе тридцать лет и оставил после себя всего богатства пятьдесят рублей.

Таковы были эти три коренные старца нашего кадетского скита; но надо помянуть еще четвертого, пришлого в наш монастырь с своим уставом, но также попавшего нашему духу под стать и оставившего по себе превосходную память.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Тогда был такой обычай, что для преподавания религиозных предметов кадетам высших классов в корпус присылался архимандрит из назначавшихся к архиерейству. Разумеется, это большею частию были люди очень умные и хорошие, но особенно дорог и памятен нам остался *последний*, который был у нас на этом назначении, и с ним оно кончилось. Решительно не могу вспомнить его имени, потому что мы звали их просто «отец архимандрит», а справиться о его имени теперь трудно. Пусть этот будет так, без имени. Он был сердового возраста, небольшого роста, сухощав и брюнет, энергический, живой, с звучным голосом и весьма приятными манерами, любил цветы и занимался для удовольствия астрономией. Из окна его комнаты, выходившей в сад, торчала медная труба телескопа, в который он вечерами наблюдал звездное небо. Он был очень уважаем Перским и всем офицерством, а кадетами был любим удивительно. Мне теперь думается, да и прежде в жизни, когда приходилось слышать легкомысленный отзыв о религии, что она будто скучна и бесполезна, — я всегда думал: «вздор мелете, милашки: это вы говорите только оттого, что на мастера не попали, который бы вас заинтересовал и раскрыл вам эту поэзию вечной правды и неумирающей жизни». А сам сейчас думаю о том последнем архимандрите нашего корпуса, который навеки меня облагодетельствовал, образовав мое религиозное чувство. Да и для многих он был таким благодетелем. Он учил в классе и проповедовал в церкви, но мы никогда не могли его вволю наслушаться, и он это видел: всякий день, когда нас выпускали в сад, он тоже приходил туда, чтобы с нами разговаривать. Все

игры и смехи тотчас прекращались, и он ходил, окруженный целою толпою кадет, которые так теснились вокруг него со всех сторон, что ему очень трудно было подвигаться. Каждое слово его ловили. Право, мне это напоминает что-то древнее апостольское. Мы перед ним все были открыты; выбалтывали ему все наши горести, преимущественно заключавшиеся в докучных преследованиях Демидова и особенно в том, что он не позволял нам ничего читать.

Архимандрит нас выслушивал терпеливо и утешал, что для чтения впереди будет еще много времени в жизни, но так же, как Зеленский, он всегда внушал нам, что наше корпусное образование очень недостаточно и что мы должны это помнить и, по выходе, стараться приобретать познания. О Демидове он от себя ничего не говорил, но мы по едва заметному движению его губ замечали, что он его презирает. Это потом скоро и высказалось в одном оригинальном и очень памятном событии.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Я выше сказал, что Демидов был большой ханжа, он постоянно крестился, ставил свечи и прикладывался ко всем иконам, но в религии был суевер и невежда. Он считал за преступление рассуждать о религии, может быть потому, что не мог рассуждать о ней. Нам он ужасно надоедал, кстати и некстати приставая: «молитесь, деточки, молитесь, вы ангелы, ваши молитвы бог слышит». Точно ему сообщено, чьи молитвы доходят до бога и чьи не доходят. А потом этих же «ангелов» растягивали и драли, как сидоровых коз. Сам же себя он, как большинство ханжей, считал полным, совершенным христианином и ревнителем веры. Архимандрит же был христианин в другом роде, и притом, как я сказал, он был умен и образован. Проповеди его были не подготовленные, очень простые, теплые, всегда направленные к подъему наших чувств в христианском духе, и он произносил их прекрасным звучным голосом, который долетал во все углы церкви. Уроки же, или лекции его отличались необыкновенною простотою и тем, что мы могли его обо всем спра-

шивать и прямо, ничего не боясь, высказывать ему все наши сомнения и беседовать. Эти уроки были наш бенефис — наш праздник. Как образец, приведу одну лекцию, которую очень хорошо помню.

«Подумаем, — так говорил архимандрит, — не лучше ли было бы, если бы для устранения всякого недоумения и сомнения, которые длятся так много лет, Иисус Христос пришел не скромно в образе человеческом, а сошел бы с неба в торжественном величии, как божество, окруженное сонмом светлых, служебных духов. Тогда, конечно, никакого сомнения не было бы, что это действительно божество, в чем теперь очень многие сомневаются. Как вы об этом думаете?»

Кадеты, разумеется, молчали. Что тут кто-нибудь из нас мог бы сказать, да мы бы на такого говоруна и рассердились, чтобы не лез не в свое дело. Мы ждали *его* разъяснения, и ждали страстно, жадно и затаив дыхание. А он прошелся перед нами и, остановясь, продолжал так:

«Когда я, сытый, что по моему лицу видно, и одетый в шелк, говорю в церкви проповедь и объясняю, что нужно терпеливо сносить холод и голод, то я в это время читаю на лицах слушателей: «Хорошо тебе, монах, рассуждать, когда ты в шелку да сыт. А посмотрели бы мы, как бы ты заговорил о терпении, если бы тебе от голода живот к спине подвело, а от стужи все тело посинело». И я думаю, что, если бы господь наш пришел в славе, то и ему отвечали бы что-нибудь в этом роде. Сказали бы, пожалуй: «Там тебе на небе отлично, пришел к нам на время и учишь. Нет, вот если бы ты промеж нас родился да от колыбели до гроба претерпел, что нам терпеть здесь приходится, тогда бы другое дело». И это очень важно и основательно, и для этого он и сошел босой и пробрел по земле без приюта».

Демидов, я говорю, ничего не понимал, но чувствовал, что это человек не в его духе, чувствовал, что это заправский, настоящий христианин, а такие ханжам хуже и противнее самого крайнего невера. Но поделать он с ним ничего не мог, потому что не смел открыто порицать доброе боговедание и рассуждение архимандрита, пока этот не дал на себя иного оружия. Архимандрит вышел из терпения и опять не за себя, а за нас, потому что Демидов

с своим пустосвятством разрушал его работу, портив наше религиозное настроение и доводив нас до шалостей, в которых обнаруживалась обыкновенная противоположность ханжества, легкомысленное отношение к священным предметам.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Демидов был чрезвычайно суеверен: у него были счастливые и несчастные дни; он боялся трех свечей, креста, встречи с духовными и имел многие другие глупые предрассудки. Мы со свойственною детям наблюдательностию очень скоро подметили эти странности главного директора и обратили их в свою пользу. Мы отлично знали, что Демидов ни за что не приедет ни в понедельник, ни в пятницу, ни в другой тяжелый день или тринадцатого числа; но главнее всего нас выручали кресты... Один раз, заметив, что Демидов, где ни завидит крест, сейчас крестится и обходит, мы начали ему всюду подготовлять эти сюрпризы; в те дни, когда можно было ожидать, что он приедет в корпус, у нас уже были приготовлены кресты из палочек, из цветных шерстинок или даже из соломинок. Они делались разной величины и разного фасона, но особенно хорошо действовали кресты вроде надмогильных — с покрышечками. Их особенно боялся Демидов, вероятно имевший какую-нибудь скрытую надежду на бессмертие. Кресты эти мы разбрасывали на полу, а всего больше помещали их под карнизы лестничных ступеней. Как, бывало, начальство за этим ни смотрит, чтобы этого не было, а уже мы ухитримся — крестик подбросим. Бывало, все идут, и никто не заметит, а Демидов непременно увидит и сейчас же отпрыгнет, закрестится, закрестится и вернется назад. Ни за что решительно он не мог наступить на ступеньку, на которой был брошен крестик. То же самое было, если крестик оказывался на полу посреди проходной комнаты, чрез которую лежал его путь. Он сейчас отскочит, закрестится и уйдет, и нам в этот раз полегчает, но потом начнется дознание и окончится или карцером для многих, или даже наказанием на теле для некоторых.

Архимандрита это возмущало, и хотя он нам ничего не говорил на Демидова, но один раз, когда подобная

шалость окончилась обширной разделкой на теле многих, он побледнел и сказал:

— Я запрещаю вам это делать, и кто меня хоть немножко любит, тот послушается.

И мы дали слово не метать больше крестиков, и не метали, а рядом с тем, в следующее же воскресенье, архимандрит по окончании обедни сказал в присутствии Демидова проповедь «о предрассудках и пустосвятстве», где только не называл Демидова по имени, а перечислял все его ханжеские глупости и даже упомянул о крестиках.

Демидов стоял полотна белее, весь трясся и вышел, не подойдя к кресту, но архимандрит на это не обратил никакого внимания. Надо было, чтобы у них сочинился особенный духовно-военный турнир, в котором я не знаю кому приписать победу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Через неделю, в воскресенье, следовавшее за знаменитою проповедью «о предрассудках», Демидов не сманкировал, а приехал в церковь, но, опоздав, вошел в половине обедни. Он до конца отстоял службу и проповедь, которая на этот раз касалась вещей обыкновенных и ничего острого в себе для него не заключала; но тут он выкинул удивительную штуку, на которую архимандрит ответил еще более удивительною.

Когда архимандрит, возгласив «благословение господне на вас», закрыл царские двери, Демидов вдруг тут же в церкви гласно с нами поздоровался.

Мы, разумеется, как привыкли отвечать, громко отвечали ему:

— Здравия желаем, ваше высокопревосходительство! — и хотели уже поворачиваться и выходить, как вдруг завеса, гремя колечками по рубчатой проволоке, неожиданно распахнулась, и в открытых царских дверях появился еще не успевший разоблачиться архимандрит.

— Дети! я *вам* говорю, — воскликнул он скоро, но спокойно, — в храме божием уместны только одни возгласы — возгласы в честь и славу живого бога и никакие другие. Здесь я имею право и долг запрещать и приказы-

вать, и я вам *запрещаю* делать возгласы начальству. Аминь.

Он повернулся и закрыл двери. Демидов поскакал жаловаться, и архимандрит от нас выехал, а с тем вместе было сделано распоряжение, чтобы архимандритов впредь в корпуса вовсе не назначали. Это был последний.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Я кончил, больше мне сказать об этих людях нечего, да, кажется, ничего и не нужно. Их время прошло, нынче действуют другие люди, и ко всему другие требования, особенно к воспитанию, которое уже не «уединоображивается». Может быть, те, про которых я рассказал, теперь были бы недостаточно учены или, как говорят, «не педагогичны» и не могли бы быть допущены к делу воспитания, но позабыть их не следует. То время, когда все жалось и тряслось, мы, целые тысячи русских детей, как рыбки резвились в воде, по которой маслом плыла их защищавшая нас от всех бурь елейность. Такие люди, стоя в стороне от главного исторического движения, как правильно думал незабвенный Сергей Михайлович Соловьев, *сильнее других делают историю*. И если их «педагогичность» даже не выдержит критики, то все-таки их память почтенна, и души их во благих водворятся.

ПРИБАВЛЕНИЕ К РАССКАЗУ О КАДЕТСКОМ МОНАСТЫРЕ

В долголетнюю бытность покойного Андрея Петровича экономом 1-го кадетского корпуса там состоял старшим поваром некий Кулаков.

Повар этот умер скоропостижно на своем поварском посту — у плиты, и смерть его была очень заметным событием в корпусе. Кулаков честный человек — не вор, и потому честный эконом Бобров уважал Кулакова при жизни и скорбел о его трагической кончине. После того

как Кулаков умер, «стоя у плиты», на смену ему долго не было мужа с такою же нравственною доблестию. Со смертью Кулакова, при всей строгости досмотра со стороны бригадира Боброва, «просел кисель» и «тертый картофель потерял свою густоту». Особенно повредился картофель, составлявший важный элемент при кадетском столе. После Кулакова картофель не полз меланхолически, сходя с ложки на тарелки кадет, но лился и «лопотал». Бобров видел это и огорчался — даже, случалось, дрался с поварами, но никак не мог добиться секрета стирать картофель так, чтобы он был «как масло». Секрет этот, быть может, навсегда утрачен вместе с Кулаковым, и потому понятно, что Кулакова в корпусе сильно вспоминали, и вспоминали добром. Находившийся тогда в числе кадет Кондратий Федорович Рылеев († 14-го июля 1826 года), видя скорбь Боброва и ценя утрату Кулакова для всего заведения, написал по этому случаю комическую поэму в двух песнях, под заглавием «Кулакиада». Поэма, исчислив заслуги и доблести Кулакова, описывает его смерть у плиты и его погребение, а затем она оканчивалась следующим воззванием к Андрею Петровичу Боброву:

Я знаю то, что не достоин
Вещать о всех делах твоих:
Я не поэт, я просто воин, —
В моих устах нескладен стих,
Но ты, о мудрый, знаменитый
Царь кухни, мрачных погребов,
Топленым жиром весь облитый,
Единственный герой Бобров!

Не осердися на поэта,
Тебя который воспевал,
И знай — у каждого кадета
Ты тем навек бессмертен стал.
Прочтя стихи сии, потомки,
Бобров, воспомнут о тебе,[1]
Твои дела воспомнут громки
И вспомнят, может быть, о мне.

Таков и есть Бобров на его единственном карандашевом портрете, «царь кухни, мрачных погребов», «топленым жиром весь облитый, единственный герой Бобров».

---

[1] Вариант: Воспомнут, мудрый, о тебе. *(Прим. автора.)*

И еще один анекдот.

Бобров ежедневно являлся к директору корпуса Михаилу Степановичу Перскому рапортовать «о благополучии». Рапорты эти, разумеется, чисто формальные, писались всегда на листе обыкновенной бумаги и затем складывались вчетверо и клались Боброву за кокарду треуголки. Бригадир брал шляпу и шел к Перскому, но так как в корпусе всем было до Боброва дело, то он по дороге часто останавливался для каких-нибудь распоряжений, а имея слабость горячиться и пылить, Бобров часто бросал свою шляпу или забывал ее, а потом снова ее брал и шел далее.

Зная такую привычку Боброва, кадеты подшутили над своим «дедушкой» шутку: они переписали «Кулакиаду» на такой самый лист бумаги, на каком у Андрея Петровича писались рапорты по начальству, и, сложив лист тем же форматом, как складывал Бобров свои рапорты, кадеты всунули рылеевское стихотворение в треуголку Боброва, а рапорт о «благополучии» вынули и спрятали.

Бобров не заметил подмена и явился к Перскому, который Андрея Петровича очень уважал, но все-таки был ему начальник и держал свой тон.

Михаил Степанович развернул лист и, увидав стихотворение вместо рапорта, рассмеялся и спросил:

— Что это, Андрей Петрович, — с каких пор вы сделались поэтом?

Бобров не мог понять, в чем дело, но только видел, что что-то неладно.

— Как, что изволите... какой поэт? — спросил он вместо ответа у Перского.

— Да как же: кто пишет стихи, ведь тех называют поэтами. Ну, так и вы поэт, если стали сочинять стихи.

Андрей Петрович совсем сбился с толку.

— Что такое... стихи...

Но он взглянул в бумагу, которую подал в сложенном виде, и увидал в ней действительно какие-то беззаконно неровные строчки.

— Что же это такое?!

— Не знаю, — отвечал Перский и стал вслух читать Андрею Петровичу его рапорт.

Бобров чрезвычайно сконфузился и взволновался до слез, так что Перский, окончив чтение, должен был его успокоивать.

После этого был найден автор стихотворения — это был кадет Рылеев, на которого добрейший Бобров тут же сгоряча излил все свое негодование, поскольку он был способен к гневу. А Бобров при всем своем бесконечном незлобии был вспыльчив, и «попасть в стихи» ему показалось за ужасную обиду. Он не столько сердился на Рылеева, как вопиял:

— Нет, за что! Я только желаю знать — за что ты меня, разбойник, осрамил!

Рылеев был тронут непредвидимою им горестью всеми любимого старика и просил у Боброва прощения с глубоким раскаянием. Андрей Петрович плакал и всхлипывал, вздрагивая всем своим тучным телом. Он был слезлив, или, по-кадетски говоря, был «плакса» и «слезомойка». Чуть бы что ни случилось в немножко торжественном или в немножко печальном роде, бригадир сейчас же готов был расплакаться.

Корпусные солдаты говорили о нем, что у него «глаза на мокром месте вставлены».

Но как ни была ужасна вся история с «Кулакиадою», Бобров, конечно, все-таки помирился с совершившимся фактом и простил его, но сказал при том Рылееву назидательную речь, что литература вещь дрянная и что занятия сю никого не приводят к счастию.

Собственно же для Рылеева, говорят, будто старик высказал это в такой форме, что она имела соотношение с последнею судьбою покойного поэта, которого добрый Бобров ласкал и особенно любил, как умного и бойкого кадета.

«Последний архимандрит», который не ладил с генералом Муравьевым и однажды заставил его замолчать, был архимандрит Ириней, впоследствии епископ, архиерействовавший в Сибири и перессорившийся там с гражданскими властями, а потом скончавшийся в помрачении рассудка.

НЕСМЕРТЕЛЬНЫЙ ГОЛОВАН

ИЗ РАССКАЗОВ О ТРЕХ ПРАВЕДНИКАХ

Совершенная любовь изгоняет страх.
Иоанн.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Он сам почти миф, а история его — легенда. Чтобы повествовать о нем — надо быть французом, потому что одним людям этой нации удается объяснять другим то, чего они сами не понимают. Я говорю все это с тою целию, чтобы вперед испросить себе у моего читателя снисхождения ко всестороннему несовершенству моего рассказа о лице, воспроизведение которого стоило бы трудов гораздо лучшего мастера, чем я. Но Голован может быть скоро совсем позабыт, а это была бы утрата. Голован стоит внимания, и хотя я его знаю не настолько, чтобы мог начертать полное его изображение, однако я подберу и представлю некоторые черты этого не высокого ранга смертного человека, который сумел прослыть *«несмертельным»*.

Прозвище «несмертельного», данное Головану, не выражало собою насмешки и отнюдь не было пустым, бессмысленным звуком — его прозвали несмертельным вследствие сильного убеждения, что Голован — человек особенный; человек, который не боится смерти. Как могло сложиться о нем такое мнение среди людей, ходящих под богом и всегда помнящих о своей смертности? Была ли на это достаточная причина, развившаяся

в последовательной условности, или же такую кличку ему дала простота, которая сродни глупости?

Мне казалось, что последнее было вероятнее, но как судили о том другие — этого я не знаю, потому что в детстве моем об этом не думал, а когда я подрос и мог понимать вещи — «несмертельного» Голована уже не было на свете. Он умер, и притом не самым опрятным образом: он погиб во время так называемого в г. Орле «большого пожара», утонув в кипящей ямине, куда упал, спасая чью-то жизнь или чье-то добро. Однако «часть его большая, от тлена убежав, продолжала жить в благодарной памяти», и я хочу попробовать занести на бумагу то, что я о нем знал и слышал, дабы таким образом еще продлилась на свете его достойная внимания память.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Несмертельный Голован был простой человек. Лицо его, с чрезвычайно крупными чертами, врезалось в моей памяти с ранних дней и осталось в ней навсегда. Я его встретил в таком возрасте, когда, говорят, будто бы дети еще не могут получать прочных впечатлений и износить из них воспоминаний на всю жизнь, но, однако, со мною случилось иначе. Случай этот отмечен моею бабушкою следующим образом:

«Вчера (26 мая 1835 г.) приехала из Горохова к Машеньке (моей матери), Семена Дмитрича (отца моего) не застала дома, по командировке его в Елец на следствие о страшном убийстве. Во всем доме были одни мы, женщины и девичья прислуга. Кучер уехал с ним (отцом моим), только дворник Кондрат оставался, а на ночь сторож в переднюю ночевать приходил из правления (губернское правление, где отец был советником). Сегодняшнего же числа Машенька в двенадцатом часу пошла в сад посмотреть цветы и势 кануфер полить, и взяла с собой Николушку (меня) на руках у Анны (поныне живой старушки). А когда они шли назад к завтраку, то едва Анна начала отпирать калитку, как на них сорвалась цепная Рябка, прямо с цепью, и прямо кинулась на грудцы Анне, но в ту самую минуту, как Рябка, опер-

шись лапами, бросился на грудь Анне, Голован схватил его за шиворот, стиснул и бросил в погребное творило. Там его и пристрелили из ружья, а дитя спаслось».

Дитя это был я, и как бы точны ни были доказательства, что полуторагодовой ребенок не может помнить, что с ним происходило, я, однако, помню это происшествие.

Я, конечно, не помню, откуда взялась взбешенная Рябка и куда ее дел Голован, после того как она захрипела, барахтаясь лапами и извиваясь всем телом в его высоко поднятой железной руке; но я помню момент... *только момент*. Это было как при блеске молоньи среди темной ночи, когда почему-то вдруг видишь чрезвычайное множество предметов зараз: занавес кровати, ширму, окно, вздрогнувшую на жердочке канарейку и стакан с серебряной ложечкой, на ручке которой пятнышками осела магнезия. Таково, вероятно, свойство страха, имеющего большие очи. В одном таком моменте я как сейчас вижу перед собою огромную собачью морду в мелких пестринах — сухая шерсть, совершенно красные глаза и разинутая пасть, полная мутной пены в синеватом, точно напомаженном зеве... оскал, который хотел уже защелкнуться, но вдруг верхняя губа над ним вывернулась, разрез потянулся к ушам, а снизу судорожно задвигалась, как голый человеческий локоть, выпятившаяся горловина. Надо всем этим стояла огромная человеческая фигура с огромною головою, и она взяла и понесла бешеного пса. Во все это время лицо человека *улыбалось*.

Описанная фигура был Голован. Я боюсь, что совсем не сумею нарисовать его портрета именно потому, что очень хорошо и ясно его вижу.

В нем было, как в Петре Великом, пятнадцать вершков; сложение имел широкое, сухое и мускулистое; он был смугл, круглолиц, с голубыми глазами, очень крупным носом и толстыми губами. Волосы на голове и подстриженной бороде Голована были очень густые, цвета соли с перцем. Голова была всегда коротко острижена, борода и усы тоже стриженые. Спокойная и счастливая улыбка не оставляла лица Голована ни на минуту: она светилась в каждой черте, но преимущественно играла на устах и в глазах, умных и добрых, но как будто немножко насмешливых. Другого выражения у Голована как будто не было, по крайней мере я иного не помню. К дополне-

нию этого неискусного портрета Голована надо упомянуть об одной странности или особенности, которая заключалась в его походке. Голован ходил очень скоро, всегда как будто куда-то поспешая, но не ровно, а с подскоком. Он не хромал, а, по местному выражению, «шкандыбал», то есть на одну, на правую ногу наступал твердою поступью, а с левой подпрыгивал. Казалось, что эта нога у него не гнулась, а пружинила где-то в мускуле или в суставе. Так ходят люди на искусственной ноге, но у Голована она была не искусственная; хотя, впрочем, эта особенность тоже и не зависела от природы, а ее устроил себе он сам, и в этом была тайна, которую нельзя объяснить сразу.

Одевался Голован мужиком — всегда, летом и зимою, в пеклые жары и в сорокаградусные морозы, он носил длинный, нагольный овчинный тулуп, весь промасленный и почерневший. Я никогда не видал его в другой одежде, и отец мой, помню, частенько шутил над этим тулупом, называя его «вековечным».

По тулупу Голован подпоясывался «чекменным» ремешком с белым сбруйным набором, который во многих местах пожелтел, а в других — совсем осыпался и оставил наружу дратву да дырки. Но тулуп содержался в опрятности от всяких мелких жильцов — это я знал лучше других, потому что я часто сиживал у Голована за пазухой, слушая его речи, и всегда чувствовал себя здесь очень покойно.

Широкий ворот тулупа никогда не застегивался, а, напротив, был широко открыт до самого пояса. Здесь было «недро», представлявшее очень просторное помещение для бутылок со сливками, которые Голован поставлял на кухню Орловского дворянского собрания. Это был его промысел с тех самых пор, как он «вышел на волю» и получил на разживу «ермоловскую корову».

Могучую грудь «несмертельного» покрывала одна холщовая рубашка малороссийского покроя, то есть с прямым воротом, всегда чистая как кипень и непременно с длинною цветною завязкою. Эта завязка была иногда лента, иногда просто кусок шерстяной материи или даже ситца, но она сообщала наружности Голована нечто свежее и джентльменское, что ему очень шло, потому что он в самом деле был джентльмен.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мы были с Голованом соседи. Наш дом в Орле был на Третьей Дворянской улице и стоял третий по счету от берегового обрыва над рекою Орликом. Место здесь довольно красиво. Тогда, до пожаров, это был край настоящего города. Вправо за Орлик шли мелкие хибары слободы, которая примыкала к коренной части, оканчивавшейся церковью Василия Великого. Сбоку был очень крутой и неудобный спуск по обрыву, а сзади, за садами, — глубокий овраг и за ним степной выгон, на котором торчал какой-то магазин. Тут по утрам шла солдатская муштра и палочный бой — самые ранние картины, которые я видел и наблюдал чаще всего прочего. На этом же выгоне, или, лучше сказать, на узкой полосе, отделявшей наши сады заборами от оврага, паслись шесть или семь коров Голована и ему же принадлежавший красный бык «ермоловской» породы. Быка Голован содержал для своего маленького, но прекрасного стада, а также разводил его в поводу «на подержанье» по домам, где имели в том хозяйственную надобность. Ему это приносило доход.

Средства Голована к жизни заключались в его удоистых коровах и их здоровом супруге. Голован, как я выше сказал, поставлял на дворянский клуб сливки и молоко, которые славились своими высокими достоинствами, зависевшими, конечно, от хорошей породы его скота и от доброго за ним ухода. Масло, поставляемое Голованом, было свежо, желто, как желток, и ароматно, а сливки «не текли», то есть если оборачивали бутылку вниз горлышком, то сливки из нее не лились струей, а падали как густая, тяжелая масса. Продуктов низшего достоинства Голован не ставил, и потому он не имел себе соперников, а дворяне тогда не только умели есть хорошо, но и имели чем расплачиваться. Кроме того, Голован поставлял также в клуб отменно крупные яйца от особенно крупных голландских кур, которых водил во множестве, и, наконец, «приготовлял телят», отпаивая их мастерски и всегда ко времени, например к наибольшему съезду дворян или к другим особенным случаям в дворянском круге.

В этих видах, обусловливающих средства Голована к жизни, ему было очень удобно держаться дворянских

улиц, где он продовольствовал интересных особ, которых орловцы некогда узнавали в Паншине, в Лаврецком и в других героях и героинях «Дворянского гнезда».

Голован жил, впрочем, не в самой улице, а «на отлете». Постройка, которая называлась «Головановым домом», стояла не в порядке домов, а на небольшой террасе обрыва под левым рядом улицы. Площадь этой террасы была сажен в шесть в длину и столько же в ширину. Это была глыба земли, которая когда-то поехала вниз, но на дороге остановилась, окрепла и, не представляя ни для кого твердой опоры, едва ли составляла чью-нибудь собственность. Тогда это было еще возможно.

Голованову постройку в собственном смысле нельзя было назвать ни двором, ни домом. Это был большой, низкий сарай, занимавший все пространство отпавшей глыбы. Может быть, бесформенное здание это было здесь возведено гораздо ранее, чем глыбе вздумалось спуститься, и тогда оно составляло часть ближайшего двора, владелец которого за ним не погнался и уступил его Головану за такую дешевую цену, какую богатырь мог ему предложить. Помнится мне даже, как будто говорили, что сарай этот был подарен Головану за какую-то услугу, оказывать которые он был большой охотник и мастер.

Сарай был переделен надвое: одна половина, обмазанная глиной и выбеленная, с тремя окнами на Орлик, была жилым помещением Голована и находившихся при нем пяти женщин, а в другой были наделаны стойла для коров и быка. На низком чердаке жили голландские куры и черный «шпанский» петух, который жил очень долго и считался «колдовской птицей». В нем Голован растил петуший камень, который пригоден на множество случаев: на то, чтобы счастье приносить, отнятое государство из неприятельских рук возвращать и старых людей на молодых переделывать. Этот камень зреет семь лет и созревает только тогда, когда петух петь перестанет.

Сарай был так велик, что оба отделения — жилое и скотское — были очень просторны, но, несмотря на всю о них заботливость, плохо держали тепло. Впрочем, тепло нужно было только для женщин, а сам Голован был нечувствителен к атмосферным переменам и лето и

зиму спал на ивняковой плетенке в стойле, возле любимца своего — красного тирольского быка «Васьки». Холод его не брал, и это составляло одну из особенностей этого мифического лица, через которые он получил свою баснословную репутацию.

Из пяти женщин, живших с Голованом, три были его сестры, одна мать, а пятая называлась Павла, или, иногда, Павлагеюшка. Но чаще ее называли «Голованов грех». Так я привык слышать с детства, когда еще даже и не понимал значения этого намека. Для меня эта Павла была просто очень ласковою женщиною, и я как сейчас помню ее высокий рост, бледное лицо с ярко-алыми пятнами на щеках и удивительной черноты и правильности бровями.

Такие черные брови правильными полукругами можно видеть только на картинах, изображающих персиянку, покоящуюся на коленях престарелого турка. Наши девушки, впрочем, знали и очень рано сообщили мне секрет этих бровей: дело заключалось в том, что Голован был зелейник и, любя Павлу, чтобы ее никто не узнал,— он ей, сонной, помазал брови медвежьим салом. После этого в бровях Павлы, разумеется, не было уже ничего удивительного, а она к Головану привязалась не своею силою.

Наши девушки всё это знали.

Сама Павла была чрезвычайно кроткая женщина и «все молчала». Она была столь молчалива, что я никогда не слыхал от нее более одного, и то самого необходимого слова: «здравствуй», «садись», «прощай». Но в каждом этом коротком слове слышалась бездна привета, доброжелательства и ласки. То же самое выражал звук ее тихого голоса, взгляд серых глаз и каждое движение. Помню тоже, что у нее были удивительно красивые руки, что составляет большую редкость в рабочем классе, а она была такая работница, что отличалась деятельностью даже в трудолюбивой семье Голована.

У них у всех было очень много дела: сам «несмертельный» кипел в работе с утра до поздней ночи. Он был и пастух, и поставщик, и сыровар. С зарею он выгонял свое стадо за наши заборы на росу и все переводил своих статных коров с обрывца на обрывец, выбирая для них, где потучнее травка. В то время, когда у нас

в доме вставали, Голован являлся уже с пустыми бутылками, которые забирал в клубе вместо новых, которые снес туда сегодня; собственноручно врубал в лед нашего ледника кувшины нового удоя и говорил о чем-нибудь с моим отцом, а когда я, отучившись грамоте, шел гулять в сад, он уже опять сидел под нашим заборчиком и руководил своими коровками. Здесь была в заборе маленькая калиточка, через которую я мог выходить к Головану и разговаривать с ним. Он так хорошо умел рассказывать сто четыре священные истории, что я их знал от него, никогда не уча их по книге. Сюда же приходили к нему, бывало, какие-то простые люди — всегда за советами. Иной, бывало, как придет, так и начинает:

— Искал тебя, Голованыч, посоветуй со мной.

— Что такое?

— А вот то-то и то-то: в хозяйстве что-нибудь расстроилось или семейные нелады.

Чаще приходили с вопросами этой второй категории. Голованыч слушает, а сам ивнячок плетет или на коровок покрикивает и все улыбается, будто без внимания, а потом вскинет своими голубыми глазами на собеседника и ответит:

— Я, брат, плохой советник! Бога на совет призови.

— А как его призовешь?

— Ох, брат, очень просто: помолись да сделай так, как будто тебе сейчас помирать надо. Вот скажи-ка мне: как бы ты в таком разе сделал?

Тот подумает и ответит.

Голован или согласится, или же скажет:

— А я бы, брат, умираючи вот как лучше сделал.

И рассказывает по обыкновению все весело, со всегдашней улыбкой.

Должно быть, его советы были очень хороши, потому что всегда их слушали и очень его за них благодарили.

Мог ли у такого человека быть «грех» в лице кротчайшей Павлагеюшки, которой в то время, я думаю, было с небольшим лет тридцать, за пределы которых она и не перешла далее? Я не понимал этого «греха» и остался чист от того, чтобы оскорбить ее и Голована довольно общими подозрениями. А повод для подозрений был, и повод очень сильный, даже если судить по видимости, неопровержимый. Кто она была Головану? —

чужая. Этого мало: он ее когда-то знал, он был одних с нею господ, он хотел на ней жениться, но это не состоялось: Голована дали в услуги герою Кавказа Алексею Петровичу Ермолову, а в это время Павлу выдали замуж за наездника Ферапонта, по местному выговору «Храпона». Голован был нужный и полезный слуга, потому что он умел все, — он был не только хороший повар и кондитер, но и сметливый и бойкий походный слуга. Алексей Петрович платил за Голована, что следовало, его помещику, и, кроме того, говорят, будто дал самому Головану взаймы денег на выкуп. Не знаю, верно ли это, но Голован действительно вскоре по возвращении от Ермолова выкупился и всегда называл Алексея Петровича своим «благодетелем». Алексей же Петрович по выходе Голована на волю подарил ему на хозяйство хорошую корову с теленком, от которых у того и пошел «ермоловский завод».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда именно Голован поселился в сарае на обвале, — этого я совсем не знаю, но это совпадало с первыми днями его «вольного человечества», — когда ему предстояла большая забота о родных, оставшихся в рабстве. Голован был выкуплен самолично один, а мать, три его сестры и тетка, бывшая впоследствии моею нянькою, оставались «в крепости». В таком же положении была и нежно любимая ими Павла, или Павлагеюшка. Голован ставил первою заботою всех их выкупить, а для этого нужны были деньги. По мастерству своему он мог бы идти в повара или в кондитеры, но он предпочел другое, именно молочное хозяйство, которое и начал при помощи «ермоловской коровы». Было мнение, что он избрал это потому, что сам был *молокан*. Может быть, это значило просто, что он все возился с молоком, но может быть, что название это метило прямо на его веру, в которой он казался странным, как и во многих иных поступках. Очень возможно, что он на Кавказе и знал молоканов и что-нибудь от них позаимствовал. Но это относится к его странностям, до которых дойдет ниже.

Молочное хозяйство пошло прекрасно: года через три у Голована было уже две коровы и бык, потом три, четыре, и он нажил столько денег, что выкупил мать, потом каждый год выкупал по сестре, и всех их забирал и сводил в свою просторную, но прохладную лачугу. Так лет в шесть-семь он высвободил всю семью, но красавица Павла у него улетела. К тому времени, когда он мог и ее выкупить, она была уже далеко. Ее муж, наездник Храпон, был плохой человек — он не угодил чем-то барину и, в пример прочим, был отдан в рекруты без зачета.

В службе Храпон попал в «скачки», то есть верховые пожарной команды в Москву, и вытребовал туда жену; но вскоре и там сделал что-то нехорошее и бежал, а покинутая им жена, имея нрав тихий и робкий, убоялась коловратностей столичной жизни и возвратилась в Орел. Здесь она тоже не нашла на старом месте никакой опоры и, гонимая нуждою, пришла к Головану. Тот, разумеется, ее тотчас же принял и поместил у себя в одной и той же просторной горнице, где жили его сестры и мать. Как мать и сестры Голована смотрели на водворение Павлы, — я доподлинно не знаю, но водворение ее в их доме не посеяло никакой распри. Все женщины жили между собою очень дружно и даже очень любили бедную Павлагеюшку, а Голован всем им оказывал равную внимательность, а особенное почтение оказывал только матери, которая была уже так стара, что он летом выносил ее на руках и сажал на солнышко, как больного ребенка. Я помню, как она «заходилась» ужасным кашлем и все молилась «о прибрании».

Все сестры Голована были пожилые девушки и все помогали брату в хозяйстве: они убирали и доили коров, ходили за курами и пряли необыкновенную пряжу, из которой потом ткали необыкновенные же и никогда мною после этого не виданные ткани. Пряжа эта называлась очень некрасивым словом «поплёвки». Материал для нее приносил откуда-то в кульках Голован, и я видел и помню этот материал: он состоял из небольших суковатых обрывочков разноцветных бумажных нитей. Каждый обрывочек был длиною от вершка до четверти аршина, и на каждом таком обрывочке непременно был более или менее толстый узелок или сучок. Откуда Голован брал эти обрывки — я не знаю, но очевидно, что

это был фабричный отброс. Так мне и говорили его сестры.

— Это, — говорили,— миленький, где бумагу прядут и ткут, так — как до такого узелка дойдут, сорвут его да на пол и *сплюнут* — потому что он в берда не идет, а братец их собирает, а мы из них вот тепленькие одеяльца делаем.

Я видал, как они все эти обрывки нитей терпеливо разбирали, связывали их кусочек с кусочком, наматывали образовывающуюся таким образом пеструю, разноцветную нить на длинные шпули; потом их трастили, ссучивали еще толще, растягивали на колышках по стене, сортировали что-нибудь одноцветное для каем и, наконец, ткали из этих «поплевок» через особое бердо «поплевковые одеяла». Одеяла эти с виду были похожи на нынешние байковые: так же у каждого из них было по две каймы, но само полотно всегда было мрамористое. Узелки в них как-то сглаживались от ссучивания и хотя были, разумеется, очень заметны, но не мешали этим одеялам быть легкими, теплыми и даже иногда довольно красивыми. Притом же они продавались очень дешево — меньше рубля за штуку.

Эта кустарная промышленность в семье Голована шла без остановки, и он, вероятно, находил сбыт поплевковым одеялам без затруднения.

Павлагеюшка тоже вязала и сучила поплевки и ткала одеяла, но, кроме того, она, по усердию к приютившей ее семье, несла еще все самые тяжелые работы в доме: ходила под кручу на Орлик за водою, носила топливо, и прочее, и прочее.

Дрова уже и тогда в Орле были очень дороги, и бедные люди отапливались то гречневою лузгою, то навозом, а последнее требовало большой заготовки.

Все это и делала Павла своими тонкими руками, в вечном молчании, глядя на свет божий из-под своих персидских бровей. Знала ли она, что ее имя «грех», — я не сведущ, но таково было ее имя в народе, который твердо стоит за выдуманные им клички. Да и как иначе: где женщина, любящая, живет в доме у мужчины, который ее любил и искал на ней жениться, — там, конечно, грех. И действительно, в то время, когда я ребенком

видал Павлу, она единогласно почиталась «Головановым грехом», но сам Голован не утрачивал через это ни малейшей доли общего уважения и сохранял прозвище «несмертельного».

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Несмертельным» стали звать Голована в первый год, когда он поселился в одиночестве над Орликом с своею «ермоловскою коровою» и ее теленком. Поводом к тому послужило следующее вполне достоверное обстоятельство, о котором никто не вспомнил во время недавней «прокофьевской» чумы. Было в Орле обычное лихолетье, а в феврале на день св. Агафьи Коровницы по деревням, как надо, побежала «коровья смерть». Шло это, яко тому обычай есть и как пишется в универсальной книге, иже глаголется *Прохладный вертоград:* «Как лето сканчевается, а осень приближается, тогда вскоре моровое поветрие начинается. А в то время надобе всякому человеку на всемогущего бога упование возлагати и на пречистую его матерь и силою честного креста ограждатися и сердце свое воздержати от кручины, и от ужасти, и от тяжелой думы, ибо через сие сердце человеческое умаляется и скоро порса и язва прилепляется — мозг и сердце захватит, осилеет человека и борзо умрет». Было все это тоже при обычных картинах нашей природы, «когда стают в осень туманы густые и темные и ветер с полуденной страны и последи дожди и от солнца воскурение земли, и тогда надобе на ветр не ходити, а сидети во избе в топленой и окон не отворяти, а добро бы, чтобы в том граде ни жити и из того граду отходити в места чистые». Когда, то есть в каком именно году последовал мор, прославивший Голована «несмертельным», — этого я не знаю. Такими мелочами тогда сильно не занимались и из-за них не поднимали шума, как вышло из-за Наума Прокофьева. Местное горе в своем месте и кончалось, усмиряемое одним упованием на бога и его пречистую матерь, и разве только в случае сильного преобладания в какой-нибудь местности досужего «интеллигента» принимались своеобычные

оздоровляющие меры: «во дворех огнь раскладали ясный, дубовым древом, дабы дым расходился, а в избах курили пелынею и можжевеловыми дровами и листвием рутовым». Но все это мог делать только интеллигент, и притом при хорошем зажитке, а смерть борзо брала не интеллигента, но того, кому ни в избе топленой сидеть некогда, да и древом дубовым раскрытый двор топить не по силам. Смерть шла об руку с голодом и друг друга поддерживали. Голодающие побирались у голодающих, больные умирали «борзо», то есть скоро, что крестьянину и выгоднее. Долгих томлений не было, не было слышно и выздоравливающих. Кто заболел, тот «борзо» и помер, *кроме одного*. Какая это была болезнь — научно не определено, но народно ее звали «пазуха», или «веред», или «жмыховой пупырух», или даже просто «пупырух». Началось это с хлебородных уездов, где, за неименьем хлеба, ели конопляный жмых. В Карачевском и Брянском уездах, где крестьяне мешали горсть непросевной муки с толченой корою, была болезнь иная, тоже смертоносная, но не «пупырух». «Пупырух» показался сначала на скоте, а потом передавался людям. «У человека под пазухами или на шее садится болячка червена, и в теле колотье почюет, и внутри негасимое горячество или во удесех некая студеность и тяжкое воздыхание и не может воздыхати — дух в себя тянет и паки воспускает; сон найдет, что не может перестать спать; явится горесть, кислость и блевание; в лице человек сменится, станет образом глиностен и борзо помирает». Может быть, это была сибирская язва, может быть, какая-нибудь другая язва, но только она была губительна и беспощадна, а самое распространенное название ей, опять повторяю, было «пупырух». Вскочит на теле прыщ, или по-простонародному «пупырушек», зажелтоголовится, вокруг зардеет, и к суткам начинает мясо отгнивать, а потом борзо и смерть. Скорая смерть представлялась, впрочем, «в добрых видах». Кончина приходила тихая, не мучительная, самая крестьянская, только всем помиравшим до последней минутки хотелось пить. В этом и был весь недолгий и неутомительный уход, которого требовали, или, лучше сказать, вымаливали себе больные. Однако уход за ними даже в этой форме был не только опасен, но почти невозможен, — человек, который сегодня

подавал пить заболевшему родичу, — завтра сам заболевал «пупырухом», и в доме нередко ложилось два и три покойника рядом. Остальные в осиротелых семьях умирали без помощи — без той единственной помощи, о которой заботится наш крестьянин, «чтобы было кому подать напиться». Вначале такой сирота поставит себе у изголовья ведерко с водою и черпает ковшиком, пока рука поднимается, а потом ссучит из рукава или из подола рубашки соску, смочит ее, сунет себе в рот, да так с ней и закостенеет.

Большое личное бедствие — плохой учитель милосердия. По крайней мере оно нехорошо действует на людей обыкновенной, заурядной нравственности, не возвышающейся за черту простого сострадания. Оно притупляет чувствительность сердца, которое само тяжко страдает и полно ощущения собственных мучений. Зато в этакие горестные минуты общего бедствия среда народная выдвигает из себя героев великодушия, людей бесстрашных и самоотверженных. В обыкновенное время они не видны и часто ничем не выделяются из массы: но наскочит на людей «пупырушек», и народ выделяет из себя избранника, и тот творит чудеса, которые делают его лицом мифическим, баснословным, *«несмертельным»*. Голован был из таких, и в первый же мор превзошел и затмил в народном представлении другого здешнего замечательного человека, купца Ивана Ивановича Андросова. Андросов был честный старик, которого уважали и любили за доброту и справедливость, ибо он «близко-помощен» был ко всем народным бедствиям. Помогал он и в «мору», потому что имел списанным «врачевание» и «все оное переписывал и множил». Списания эти у него брали и читали по разным местам, но понять не могли и «приступить не знали». Писано было: «Аще болячка явится поверх главы или ином месте выше пояса, — пущай много кровь из медианы; аще явится на челе, то пущай скоро кровь из-под языка; аще явится подле ушей и под бородою, пущай из сефалиевы жилы, аще же явится под пазухами, то, значит, сердце больно, и тогда в той стороне медиан отворяй». На всякое место, «где тягостно услышишь», расписано было, какую жилу отворять: «сафенову», или «против большого перста, или жилу спатику, полуматику, или жилу

базику» с наказом «пущать из них кровь течи, дондеже зелена станет и переменится». А лечить еще «левкарем да антелем, печатною землею да землею арменскою; вином малмозеею, да водкой буглосовою, вирианом виницейским, митридатом да сахаром монюс-кристи», а входящим к больному «держать во рте дягилева корьние, а в руках — пелынь, а ноздри сворбориновым уксусом помазаны и губу в уксусе мочену жохать». Никто ничего в этом понять не мог, точно в казенном указе, в котором писано и переписано, то туда, то сюда и «в дву потомуж». Ни жил таких не находили, ни вина малмозеи, ни земли арменской, ни водки буглосовой, и читали люди списания доброго старичка Андросова более только для «утоли моя печали». Применять же из них могли одни заключительные слова: «а где бывает мор, и в те места не надобе ходить, а отходити прочь». Это и соблюдали во множестве, и сам Иван Иванович держал тое ж правило и сидел в избе топленой и раздавал врачебные списания в подворотенку, задерживая в себе дух и держа во рту дягиль-корень. К больным можно было безопасно входить только тем, у кого есть оленьи слезы или *безоар*-камень; но ни слез оленьих, ни камня безоара у Ивана Ивановича не было, а в аптеках на Болховской улице камень хотя, может быть, и водился, но аптекаря были — один из поляков, а другой немец, к русским людям надлежащей жалости не имели и безоар-камень для себя берегли. Это было вполне достоверно потому, что один из двух орловских аптекарей как потерял свой безоар, так сейчас же на дороге у него стали уши желтеть, око одно ему против другого убавилось, и он стал дрожать и хоша желал вспотеть и для того велел себе дома к подошвам каленый кирпич приложить, однако не вспотел, а в сухой рубахе умер. Множество людей искали потерянный аптекарем безоар, и кто-то его нашел, только не Иван Иванович, потому что он тоже умер.

И вот в это-то ужасное время, когда интеллигенты отирались уксусом и не испускали духу, по бедным слободским хибаркам еще ожесточеннее пошел «пупырух»; люди начали здесь умирать «соплошь и без всякой помощи», — и вдруг там, на ниве смерти, появился с изумительным бесстрашием Голован. Он, вероятно, знал или думал, будто знает какую-то медицину, потому что

клал на опухоли больных своего приготовления «кавказский пластырь»; но этот его кавказский, или ермоловский, пластырь помогал плохо. «Пупырухов» Голован не вылечивал, так же как и Андросов, но зато велика была его услуга больным и здоровым в том отношении, что он безбоязненно входил в зачумленные лачуги и поил зараженных не только свежею водою, но и снятым молоком, которое у него оставалось из-под клубных сливок. Утром рано до зари переправлялся он на снятых с петель сарайных воротищах через Орлик (лодки здесь не было) и с бутылками за необъятным недром шнырял из лачужки в лачужку, чтобы промочить из скляницы засохшие уста умирающих или поставить мелом крест на двери, если драма жизни здесь уже кончилась и занавесь смерти закрылась над последним из актеров.

С этих пор доселе малоизвестного Голована широко узнали во всех слободах, и началось к нему большое народное тяготение. Имя его, прежде знакомое прислуге дворянских домов, стали произносить с уважением в народе; начали видеть в нем человека, который не только может «заступить умершего Ивана Ивановича Андросова, а даже более его означать у бога и у людей». А самому бесстрашию Голована не умедлили подыскать сверхъестественное объяснение: Голован, очевидно, что-то знал, и в силу такого знахарства он был *«несмертельный»*...

Позже оказалось, что это так именно и было: это помог всем разъяснить пастух Панька, который видел за Голованом вещь невероятную, да подтверждалось это и другими обстоятельствами.

Язва Голована не касалась. Во все время, пока она свирепствовала в слободах, ни сам он, ни его «ермоловская» корова с бычком ничем не заболели; но этого мало: самое важное было то, что он обманул и извел, или, держась местного говора, «изништожил» саму язву, и сделал то, не пожалев теплой крови своей за народушко.

Потерянный аптекарем безоар-камень был у Голована. Как он ему достался — это было неизвестно. Полагали, что Голован нес сливки аптекарю для «обыденной мази» и увидал этот камень и утаил его. Честно это или не честно было произвести такую утайку, про то строгой критики не было, да и быть не должно. Если не грех взять и утаить съедомое, потому что съедомое бог всем дар-

ствует, то тем паче не предосудительно взять целебное вещество, если оно дано к общему спасению. Так у нас судят — так и я сказываю. Голован же, утаив аптекарев камень, поступил с ним великодушно, пустив его на общую пользу всего рода христианского.

Все это, как я выше уже сказал, обнаружил Панька, а общий разум мирской это выяснил.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Панька, разноглазый мужик с выцветшими волосами, был подпаском у пастуха, и, кроме общей пастушьей должности, он еще гонял по утрам *на росу* перекрещиванских коров. В одно из таких ранних своих занятий он и подсмотрел все дело, которое вознесло Голована на верх величия народного.

Это было по весне, должно быть вскоре после того, как выехал на русские поля изумрудные молодой Егорий светлохрабрый, по локоть руки в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре, во лбу солнце, в тылу месяц, по концам звезды перехожие, а божий люд честной-праведный выгнал встреч ему мал и крупен скот. Травка была еще так мала, что овца и коза ею едва-едва наедались, а толстогубая корова мало могла захватывать. Но под плетнями в тенях и по канавкам уже ботвели полынь и крапива, которые с росой за нужду елися.

Выгнал Панька перекрещиванских коров рано, еще затемно, и прямо бережком около Орлика прогнал за слободу на полянку, как раз напротив конца Третьей Дворянской улицы, где с одной стороны по скату шел старый, так называвшийся «городецкий» сад, а слева на своем обрывке лепилось Голованово гнездо.

Было еще холодно, особенно перед зарею, по утрам, а кому спать хочется, тому еще холоднее кажется. Одежда на Паньке была, разумеется, плохая, сиротская, какая-нибудь рвань с дырой на дыре. Парень вертится на одну сторону, вертится на другую, молит, чтобы святой Федул на него теплом подул, а наместо того все холодно. Только заведет глаза, а ветерок заюлит, заюлит в прореху и опять разбудит. Однако молодая сила взяла свое:

натянул Панька свитку на себя совсем сверх головы, шалашиком, и задремал. Час какой не расслышал, потому что зеленая богоявленская колокольня далеко. А вокруг никого, нигде ни одной души человеческой, только толстые купеческие коровы пыхтят, да нет-нет в Орлике резвый окунь всплеснет. Дремлется пастуху и в дырявой свитке. Но вдруг как будто что-то его под бок толкнуло, вероятно зефир где-нибудь еще новую дыру нашел. Панька вскинулся, повел спросонья глазами, хотел крикнуть: «куда, комолая», и остановился. Показалось ему, что кто-то на той стороне спускается с кручи. Может быть, вор хочет закопать в глине что-нибудь краденое. Панька заинтересовался: может быть, он подстережет вора и накроет его либо закричит ему «чур вместе», а еще лучше, постарается хорошенько заметить похоронку, да потом переплывет днем Орлик, выкопает и все себе без раздела возьмет.

Панька воззрился и все на кручу за Орлик смотрит. А на дворе еще чуть серело.

Вот кто-то спускается с кручи, сошел, стал на воду и идет. Да так просто идет по воде, будто посуху, и не плескает ничем, а только костыльком подпирается. Панька оторопел. Тогда в Орле из мужского монастыря чудотворца ждали, и голоса уже из подполицы слышали. Началось это сразу после «Никодимовых похорон». Архиерей Никодим был злой человек, отличившийся к концу своей земной карьеры тем, что, желая иметь еще одну кавалерию, он из угодливости сдал в солдаты очень много духовных, между которыми были и единственные сыновья у отцов и даже сами семейные дьячки и пономари. Они выходили из города целой партией, заливаясь слезами. Провожавшие их также рыдали, и самый народ, при всей своей нелюбви к многоовчинному поповскому брюху, плакал и подавал им милостыню. Самому партионному офицеру было их так жалко, что он, желая положить конец слезам, велел новым рекрутам запеть песню, а когда они хором стройно и громко затянули ими же сложенную песню:

Архирей наш Никодим
Архилютый крокодил,

то будто бы и сам офицер заплакал. Все это тонуло в море слез и чувствительным душам представлялось злом,

вопиющим на небо. И действительно — как достигло их вопленье до неба, так в Орле пошли «гласы». Сначала «гласы» были невнятные и неизвестно от кого шли, но когда Никодим вскоре после этого умер и был погребен под церковью, то пошла явная речь от прежде его погребенного там епископа (кажется, Аполлоса). Прежде отшедший епископ был недоволен новым соседством и, ничем не стесняясь, прямо говорил: «Возьмите вон отсюда это падло, душно мне с ним». И даже угрожал, что если «падло» не уберут, то он сам «уйдет и в другом городе явится». Это многие люди слышали. Как, бывало, пойдут в монастырь ко всенощной и, отстояв службу, идут назад, им и слышно: стонет старый архиерей: «Возьмите падло». Всем очень желалось, чтобы заявление доброго покойника было исполнено, но не всегда внимательное к нуждам народа начальство не выбрасывало Никодима, и явно открывавшийся угодник всякую минуту мог «сойти с двора».

Вот не что иное, как это самое, теперь и происходило: угодник уходит, и видит его только один бедный пастушок, который так от этого растерялся, что не только не задержал его, но даже не заметил, как святой уже и из глаз у него пропал. На дворе же только чуть начало светать. Со светом к человеку прибывает смелости, с смелостью усиливается любознательность. Панька захотел подойти к самой воде, через которую только что проследовало таинственное существо; но едва он подошел, как видит, тут мокрые воротища к бережку шестом приткнуты. Дело выяснилось: значит, это не угодник проследовал, а просто проплыл несмертельный Голован: верно, он пошел каких-нибудь обезродевших ребятишек из недра молочком приветить. Панька подивился: когда этот Голован и спит!.. Да и как он, этакой мужичище, плавает на этакой посудине — на половинке ворот? Правда, что Орлик река не великая и воды его, захваченные пониже запрудою, тихи, как в луже, но все-таки каково это на воротах плавать?

Паньке захотелось самому это попробовать. Он стал на воротца, взял шестик да, шаля, и переехал на ту сторону, а там сошел на берег Голованов дом посмотреть, потому что уже хорошо забрезжило, а между тем Голован в ту минуту и кричит с той стороны: «Эй! кто мои ворота угнал! назад давай!»

Панька был малый не большой отваги и не приучен был рассчитывать на чье-либо великодушие, а потому испугался и сделал глупость. Вместо того чтобы подать Головану назад его плот, Панька взял да и схоронился в одну из глиняных ямок, которых тут было множество. Залег Панька в яминку и, сколько его Голован ни звал с той стороны, он не показывается. Тогда Голован, видя, что ему не достать своего корабля, сбросил тулуп, разделся донага, связал весь свой гардероб ремнем, положил на голову и поплыл через Орлик. А вода была еще очень холодна.

Панька об одном заботился, чтобы Голован его не увидал и не побил, но скоро его внимание было привлечено к другому. Голован переплыл реку и начал было одеваться, но вдруг присел, глянул себе под левое колено и остановился.

Было это так близко от яминки, в которой прятался Панька, что ему все было видно из-за глыбинки, которою он мог закрываться. И в это время уже было совсем светло, заря уже румянела, и хотя большинство горожан еще спали, но под городецким садом появился молодой парень с косою, который начал окашивать и складывать в плетушку крапиву.

Голован заметил косаря и, встав на ноги, в одной рубахе, громко крикнул ему:

— Малец, дай скорей косу!

Малец принес косу, а Голован говорит ему:

— Поди мне большой лопух сорви, — и как парень от него отвернулся, он снял косу с косья, присел опять на корточки, оттянул одною рукою икру у ноги, да в один мах всю ее и отрезал прочь. Отрезанный шмат мяса величиною в деревенскую лепешку швырнул в Орлик, а сам зажал рану обеими руками и повалился.

Увидев это, Панька про все позабыл, выскочил и стал звать косаря.

Парни взяли Голована и перетащили к нему в избу, а он здесь пришел в себя, велел достать из коробки два полотенца и скрутить ему порез как можно крепче. Они стянули его изо всей силы, так что кровь перестала.

Тогда Голован велел им поставить около него ведерце с водою и ковшик, а самим идти к своим делам,

и никому про то, что было, не сказывать. Они же пошли и, трясясь от ужасти, всем рассказали. А услыхавшие про это сразу догадались, что Голован это сделал неспроста, а что он таким образом, изболясь за людей, бросил язве шмат своего тела на тот конец, чтобы он прошел жертвицей по всем русским рекам из малого Орлика в Оку, из Оки в Волгу, по всей Руси великой до широкого Каспия, и тем Голован за всех отстрадал, а сам он от этого не умрет, потому что у него в руках аптекарев живой камень и он человек «несмертельный».

Сказ этот пришел всем по мысли, да и предсказание оправдалось. Голован не умер от своей страшной раны. Лихая же хвороба после этой жертвы действительно прекратилась, и настали дни успокоения: поля и луга уклочились густой зеленью, и привольно стало по ним разъезжать молодому Егорию светлохраброму, по локоть руки в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре, во лбу солнце, в тылу месяц, а по концам звезды перехожие. Отбелились холсты свежею юрьевой росою, выехал вместо витязя Егория в поле Иеремия пророк с тяжелым ярмом, волоча сохи да бороны, засвистали соловьи в Борисов день, утешая мученика, стараниями святой Мавры засинела крепкая рассада, прошел Зосима святой с долгим костылем, в набалдашнике пчелиную матку пронес; минул день Ивана Богословца, «Николина батюшки», и сам Никола отпразднован, и стал на дворе Симон Зилот, когда земля именинница. На землины именины Голован вылез на завалинку и с той поры мало-помалу ходить начал и снова за свое дело принялся. Здоровье его, по-видимому, нимало не пострадало, но только он «шкандыбать» стал — на левую ножку подпрыгивал.

О трогательности и отваге его кровавого над собою поступка люди, вероятно, имели высокое мнение, но судили о нем так, как я сказал: естественных причин ему не доискивались, а, окутав все своею фантазиею, сочинили из естественного события баснословную легенду, а из простого, великодушного Голована сделали мифическое лицо, что-то вроде волхва, кудесника, который обладал неодолимым талисманом и мог на все отважиться и нигде не погибнуть.

Знал или не знал Голован, что ему присвоивала такие дела людская молва, — мне неизвестно. Однако

я думаю, что он знал, потому что к нему очень часто обращались с такими просьбами и вопросами, с которыми можно обращаться только к доброму волшебнику. И он на многие такие вопросы давал «помогательные советы», и вообще ни за какой спрос не сердился. Бывал он по слободам и за коровьего врача, и за людского лекаря, и за инженера, и за звездоточия, и за аптекаря. Он умел сводить шелуди и коросту опять-таки какою-то «ермоловской мазью», которая стоила один медный грош на трех человек; вынимал соленым огурцом жар из головы; знал, что травы надо собирать с Ивана до полу-Петра, и отлично «воду показывал», то есть где можно колодец рыть. Но это он мог, впрочем, не во всякое время, а только с начала июня до св. Федора Колодезника, пока «вода в земле слышно как идет по суставчикам». Мог Голован сделать и все прочее, что только человеку надо, но на остальное у него перед богом был зарок дан за то, чтобы пупырух остановился. Тогда он это кровью своею подтвердил и держал крепко-накрепко. Зато его и бог любил и миловал, а деликатный в своих чувствах народ никогда не просил Голована о чем не надобно. По народному этикету это так у нас принято.

Головану, впрочем, столь не тягостно было от мистического облака, которым повивала его народная fama,[1] что он не употреблял, кажется, никаких усилий разрушить все, что о нем сложилось. Он знал, что это напрасно.

Когда я с жадностью пробегал листы романа Виктора Гюго «Труженики моря» и встретил там Жильята, с его гениально очерченной строгостью к себе и снисходительностью к другим, достигшей высоты совершенного самоотвержения, я был поражен не одним величием этого облика и силою его изображения, но также и тождеством гернсейского героя с живым лицом, которого я знал под именем Голована. В них жил один дух и бились самоотверженным боем сходые сердца. Не много разнились они и в своей судьбе: во всю жизнь вокруг них густела какая-то тайна, именно потому, что они были слишком чисты и ясны, и как одному, так и другому не выпало на долю ни одной капли личного счастья.

---

[1] Слух, молва *(лат.)*.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Голован, как и Жильят, казался «сумнителен в вере». Думали, что он был какой-нибудь раскольник, но это еще не важно, потому что в Орле в то время было много всякого разноверия: там были (да, верно, и теперь есть) и простые староверы, и староверы не простые, — и федосеевцы, «пилипоны», и перекрещиванцы, были даже хлысты и «люди божии», которых далеко высылали судом человеческим. Но все эти люди крепко держались своего стада и твердо порицали всякую иную веру, — особились друг от друга в молитве и ядении, и одних себя разумели на «пути правом». Голован же вел себя так, как будто он даже совсем не знал ничего настоящего о наилучшем пути, а ломал хлеб от своей краюхи без разбору каждому, кто просил, и сам садился за чей угодно стол, где его приглашали. Даже жиду Юшке из гарнизона он давал для детей молока. Но нехристианская сторона этого последнего поступка по любви народа к Головану нашла себе кое-какое извинение: люди пропикли, что Голован, задабривая Юшку, хотел добыть у него тщательно сохраняемые евреями «иудины губы», которыми можно перед судом отолгаться, или «волосатый овощ», который жидам жажду тушит, так что они могут вина не пить. Но что совсем было непонятно в Головане, это то, что он водился с медником Антоном, который пользовался в рассуждении всех настоящих качеств самою плохою репутациею. Этот человек ни с кем не соглашался в самых священных вопросах, а выводил какие-то таинственные зодии и даже что-то сочинял. Жил Антон в слободе, в пустой горенке на чердачке, платя по полтине в месяц, но держал там такие страшные вещи, что к нему никто не заходил, кроме Голована. Известно было, что Антон имел здесь план, рекомый «зодии», и стекло, которым «с солнца огонь изводил»; а кроме того, у него был лаз на крышу, куда он вылезал ночами наружу, садился, как кот, у трубы, «выставлял плезирную трубку» и в самое сонное время на небо смотрел. Приверженность Антона к этому инструменту не знала пределов, особенно в звездные ночи, когда ему видны были все зодии. Как только прибежит от хозяина, где работал медную работу, — сейчас проскользнет через свою горенку и уже лезет из слухового

окна на крышу, и если есть на небе звезды, он целые ночи сидит и все смотрит. Ему это могли бы простить, если бы он был ученый или по крайней мере немец, но как он был простой русский человек — его долго отучали, не раз доставали шестами и бросали навозом и дохлой кошкой, но он ничему не внимал и даже не замечал, как его тычут. Все, смеясь, звали его «Астроном», а он и в самом деле был астроном [1]. Человек он был тихий и очень честный, но вольнодумец; уверял, что земля вертится и что мы бываем на ней вниз головами. За эту последнюю очевидную несообразность Антон был бит и признан дурачком, а потом, как дурачок, стал пользоваться свободою мышления, составляющею привилегию этого выгодного у нас звания, и заходил до невероятного. Он не признавал седьмин Даниила прореченными на русское царство, говорил, что «зверь десятирогий» заключается в одной аллегории, а зверь медведица — астрономическая фигура, которая есть в его планах. Так же он вовсе неправославно разумел о «крыле орла», о фиалах и о печати антихристовой. Но ему, как слабоумному, все это уже прощалось. Он был не женат, потому что ему некогда было жениться и нечем было бы кормить жену, — да и какая же дура решилась бы выйти за астронома? Голован же был в полном уме, но не только водился с астрономом, а и не шутил над ним; их даже видали ночами вместе на астрономовой крыше, как они, то один, то другой, переменяясь, посматривали в плезирную трубку на зодии. Понятно, что́ за мысли могли внушать эти две стоящие ночью у трубы фигуры, вокруг которых работали мечтательное суеверие, медицинская поэзия, религиозный бред и недоумение... И, наконец, сами обстоятельства ставили Голована в несколько странное положение: неизвестно

---

[1] Я и мой товарищ по гимназии, нынче известный русский математик К. Д. Краевич, знавали этого антика в конце сороковых годов, когда мы были в третьем классе Орловской гимназии и жили вместе в доме Лосевых. «Антон-астроном» (тогда уже престарелый) действительно имел кое-какие понятия о небесных светилах и о законах вращения, но главное, что было интересно: он сам приготовлял для своих труб стекла, отшлифовывая их песком и камнем из донышек толстых хрустальных стаканов, и через них он оглядывал целое небо... Жил он нищим, но не чувствовал своей нищеты, потому что находился в постоянном восторге от «зодий». *(Прим. автора.)*

было — какого он прихода... Холодная хибара его торчала на таком отлете, что никакие духовные стратеги не могли ее присчитать к своему ведению, а сам Голован об этом не заботился, и если его уже очень докучно расспрашивали о приходе, отвечал:

— Я из прихода творца-вседержителя, — а такого храма во всем Орле не было.

Жильят, в ответ на предлагаемый ему вопрос, где его приход, только поднимал вверх палец и, указав на небо, говорил:

— Вон там, — но сущность обоих этих ответов одинакова.

Голован любил слушать о всякой вере, но своих мнений на этот счет как будто не имел, и на случай неотступного вопроса: «како веруеши?» — читал:

«Верую во единого бога-отца, вседержителя творца, видимым же всем и невидимым».

Это, разумеется, уклончивость.

Впрочем, напрасно бы кто-нибудь подумал, что Голован был сектант или бежал церковности. Нет, он даже ходил к отцу Петру в Борисоглебский собор «совесть поверять». Придет и скажет:

— Посрамите меня, батюшка, что-то себе очень не нравлюсь.

Я помню этого отца Петра, который к нам хаживал, и однажды, когда мой отец сказал ему к какому-то слову, что Голован, кажется, человек превосходной совести, то отец Петр отвечал:

— Не сомневайтесь; его совесть снега белей.

Голован любил возвышенные мысли и знал *Поппе,* но не так, как обыкновенно знают писателя люди, *прочитавшие* его произведение. Нет; Голован, одобрив «Опыт о человеке», подаренный ему тем же Алексеем Петровичем Ермоловым, знал всю поэму *наизусть.* И я помню, как он, бывало, слушает, стоя у притолки, рассказ о каком-нибудь новом грустном происшествии и, вдруг воздохнув, отвечает:

Любезный Болинброк, гордыня в нас одна
Всех заблуждений сих неистовых вина.

Читатель напрасно стал бы удивляться, что такой человек, как Голован, перекидывался стихами *Поппе.* Тогда было время жестокое, но поэзия была в моде, и ее вели-

кое слово было дорого даже мужам кровей. От господ это снисходило до плебса. Но теперь я дохожу до самого большого казуса в истории Голована — такого казуса, который уже несомненно бросал на него двусмысленный свет, даже в глазах людей, не склонных верить всякому вздору. Голован представлялся не чистым в каком-то отдаленном прошлом. Это оказалось вдруг, но в самых резких видах. Появилась на стогнах Орла личность, которая ни в чьих глазах ничего не значила, но на Голована заявляла могущественные права и обходилась с ним с невероятной наглостью.

Эта личность и история ее появления есть довольно характерный эпизод из истории тогдашних нравов и не лишенная колорита бытовая картинка. А потому — прошу минуту внимания в сторону, — немножко вдаль от Орла, в края еще более теплые, к тихоструйной реке в ковровых берегах, на народный «пир веры», где нет места деловой, будничной жизни; где все, *решительно все,* проходит через своеобычную религиозность, которая и придает всему свою особенную рельефность и живость. Мы должны побывать при открытии мощей нового угодника, что составляло для самых разнообразных представителей тогдашнего общества событие величайшего значения. Для простого же народа это была эпопея, или, как говорил один тогдашний вития,— «свершался священный пир веры».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Такого движения, которое началось ко времени открытия торжества, не может передать ни одно из напечатанных в то время сказаний. Живая, но низменная дела сторона от них уходила. Это не было нынешнее спокойное путешествие в почтовых экипажах или по железным дорогам с остановками в благоустроенных гостиницах, где есть все нужное, и за сходную цену. Тогда путешествие было подвигом, и в этом случае благочестивым подвигом, которого, впрочем, и стоило ожидаемое торжественное событие в церкви. В нем было также много поэзии, — и опять-таки особенной — пестрой и проникнутой разнообразными пе-

реливами церковно-бытовой жизни, ограниченной народной наивности и бесконечных стремлений живого духа.

Из Орла к этому торжеству отправилось множество народа. Больше всего, разумеется, усердствовало купечество, но не отставали и средней руки помещики, особенно же валил простой народ. Эти шли пешком. Только те, кто вез «для цельбы» немощных, тянулись на какой-нибудь клячонке. Иногда, впрочем, и немощных везли *на себе* и даже не очень тем тяготились, потому что с немощных на постоялых дворах за все брали дешевле, а иногда даже и совсем пускали без платы. Было немало и таких, которые нарочно на себя «болезни сказывали: под лоб очи пущали, и двое третьего, по переменкам, на колесеньках везли, чтобы имать доход жертвенный на воск, и на масло, и на другие обряды».

Так я читал в сказании, не печатанном, но верном, списанном не по шаблону, а с «живого видения», и человеком, предпочитавшим правду тенденциозной лживости того времени.

Движение было такое многолюдное, что в городах Ливнах и в Ельце, через которые лежал путь, не было мест ни на постоялых дворах, ни в гостиницах. Случалось, что важные и именитые люди ночевали в своих каретах. Овес, сено, крупа — все по тракту поднялось в цене, так что, по замечанию моей бабушки, воспоминаниями которой я пользуюсь, с этих пор в нашей стороне, чтобы накормить человека студенем, щами, бараниной и кашей, стали брать на дворах по пятьдесят две копейки (то есть пятиалтынный), а до того брали двадцать пять (или $7^1/_2$ коп.). По нынешнему времени, конечно, и пятиалтынный — цена совершенно невероятная, однако это так было, и открытие мощей нового угодника в подъеме ценности на жизненные припасы имело для прилегающих мест такое же значение, какое в недавние годы имел для Петербурга пожар мстинского моста. «Цена *вскочила* и такая и осталась».

Из Орла, в числе прочих паломников, отправилось на открытие семейство купцов С—х, людей в свое время очень известных, «ссыпщиков», то есть, проще сказать, крупных кулаков, которые ссыпают в амбары хлеб с возов у мужиков и потом продают свои «ссыпки» оптовым торговцам в Москву и в Ригу. Это прибыльное дело, которым после освобождения крестьян было не погнушались и дворяне;

но они любили долго спать и скоро горьким опытом дознали, что даже к глупому кулачному делу они неспособны. Купцы С. считались, по своему значению, первыми ссыпщиками, и важность их простиралась до того, что дому их вместо фамилии была дана возвышающая кличка. Дом был, разумеется, строго благочестивый, где утром молились, целый день теснили и обирали людей, а потом вечером опять молились. А ночью псы цепями по канатам гремят, и во всех окнах — «лампад и сияние», громкий храп и чьи-нибудь жгучие слезы.

Правил домом, по-нынешнему сказали бы, «основатель фирмы», — а тогда просто говорили *«сам»*. Был это мякенький старичок, которого, однако, все как огня боялись. Говорили о нем, что он умел мягко стлать, да было жестко спать: обходил всех словом «матинька», а спускал к черту в зубы. Тип известный и знакомый, тип торгового патриарха.

Вот этот-то патриарх и ехал на открытие «в большом составе» — сам, да жена, да дочь, которая страдала «болезнью меланхолии» и подлежала исцелению. Испытаны были над нею все известные средства народной поэзии и творчества: ее поили бодрящим девясилом, обсыпали пиониею, которая унимает надхождение стени, давали нюхать майран, что в голове мозг поправляет, но ничто не помогло, и теперь ее взяли к угоднику, поспешая на первый случай, когда пойдет самая первая сила. Вера в преимущество *первой силы* очень велика, и она имеет своим основанием сказание о силоамской купели, где тоже исцелевали *первые,* кто успевал войти по возмущении воды.

Ехали орловские купцы через Ливны и через Елец, претерпевая большие затруднения, и совершенно измучились, пока достигли к угоднику. Но улучить «первый случай» у угодника оказалось невозможным. Народу собралась такая область, что и думать нечего было протолкаться в храм, ко всенощной под «открытный день», когда, собственно, и есть «первый случай», — то есть когда от новых мощей исходит самая большая сила.

Купец и жена его были в отчаянии,— равнодушнее всех была дочка, которая не знала, чего она лишалася. Надежд никаких не было помочь горю, — столько было знати, с такими фамилиями, а они простые купцы, которые хотя в своем месте что-нибудь и значили, но здесь,

в таком скоплении христианского величия, совсем потерялися. И вот однажды, сидя в горе под своею кибиточкою за чаем на постоялом дворе, жалуется патриарх жене, что уже и надежды никакой не полагает достигнуть до святого гроба ни в первых, ни во вторых, а разве доведется как-нибудь в самых последних, вместе с ниварями и рыбарями, то есть вообще с простым народом. А тогда уже какая радость: и полиция освирепеет, и духовенство заморится — вдоволь помолиться не даст, а совать станет. И вообще тогда все не то, когда уже приложится столько тысяч уст всякого народа. В таковых видах можно было и после приехать, а они не того доспевали: они ехали, томились, дома дело на приказчицкие руки бросили и дорогою за все втридорога платили, и вот тебе вдруг какое утешение.

Пробовал купец раз и два достигнуть до дьяконов — готов был дать благодарность, но и думать нечего,—с одной стороны одно стеснение, в виде жандарма с белой рукавицею или казака с плетью (их тоже пришло к открытию мощей множество), а с другой — еще опаснее, что задавит сам православный народушко, который волновался, как океан. Уже и были «разы», и даже во множестве, и вчера, и сегодня. Шарахнутся где-нибудь добрые христиане от взмаха казачьей нагайки целой стеною в пять, в шесть сот человек, и как попрут да поналяжут стеной дружненько, так из середины только стон да пах пойдет, а потом, по освобождении, много видано женского уха в серьгах рваного и персты из-под колец верчены, а две-три души и совсем богу преставлялись.

Купец все эти трудности и высказывает за чаем жене и дочери, для которой особенно надо было улучить первые силы, а какой-то «пустошный человек», неведомо, городского или сельского звания, все между разными кибитками ходит под сараем да как будто засматривает на орловских купцов с намерением.

«Пустошных людей» тогда тоже собралось здесь много. Им не только было свое место на этом пиршестве веры, но они даже находили здесь себе хорошие занятия; а потому понахлынули сюда в изобилии из разных мест, и особенно из городов, прославленных своими воровскими людьми, то есть из Орла, Кром, Ельца и из Ливен, где славились большие мастера чудеса строить. Все сошед-

шиеся сюда пустошные люди искали себе своих промыслов. Отважнейшие из них действовали строем, располагаясь кучами в толпах, где удобно было при содействии казака произвести натиск и смятение и во время суматохи обыскать чужие карманы, сорвать часы, поясные пряжки и повыдергать серьги из ушей; а люди более степенные ходили в одиночку по дворам, жаловались на убожество, «сказывали сны и чудеса», предлагали привороты, отвороты и «старым людям секретные помочи из китового семени, вороньего сала, слоновьей спермы» и других снадобий, от коих «сила постоянная движет». Снадобья эти не утрачивали своей цены и здесь, потому что, к чести человечества, совесть не за всеми исцелениями позволяла обращаться к угоднику. Не менее охотно пустошные люди смирного обычая занимались просто воровством и при удобных случаях нередко дочиста обворовывали гостей, которые за неимением помещений жили в своих повозках и под повозками. Места везде было мало, и не все повозки находили себе приют под сараями постоялых дворов; другие же стояли обозом за городом на открытых выгонах. Тут шла жизнь еще более разнообразная и интересная и притом еще более полная оттенков священной и медицинской поэзии и занимательных плутней. Темные промышленники шныряли повсеместно, но приютом им был этот загородный «бедный обоз» с окружавшими его оврагами и лачужками, где шло ожесточенное корчемство водкой и в двух-трех повозках стояли румяные солдатки, приехавшие сюда в складчину. Тут же фабриковались стружки от гроба, «печатная земля», кусочки истлевших риз и даже «частицы». Иногда между промышлявшими этими делами художниками попадались люди очень остроумные и выкидывали штуки интересные и замечательные по своей простоте и смелости. Таков был и тот, которого заметило благочестивое орловское семейство. Проходимец подслушал их сетование о невозможности приступить к угоднику, прежде чем от мощей истекут первые струи целебной благодати, и прямо подошел и заговорил начистоту:

— Скорби-де ваши я слышал и могу помочь, а вам меня избегать нечего... Без нас вы здесь теперь желаемого себе удовольствия, при столь большом и именитом съезде,

не получите, а мы в таковых разах бывали и средства знаем. Угодно вам быть у самых первых сил угодника — не пожалейте за свое благополучие сто рублей, и я вас поставлю.

Купец посмотрел на субъекта и отвечал:

— Полно врать.

Но тот свое продолжал:

— Вы,— говорит,— вероятно, так думаете, судя по моему ничтожеству; но ничтожное в очах человеческих может быть совсем в другом расчислении у бога, и я за что берусь, то твердо могу исполнить. Вы вот смущаетесь насчет земного величия, что его много наехало, а мне оно все прах, и будь тут хоть видимо-невидимо одних принцев и королей, они нимало нам не могут препятствовать, а даже все сами перед нами расступятся. А потому, если вы желаете сквозь все пройти чистым и гладким путем, и самых первых лиц увидать, и другу божию дать самые первые лобызания, то не жалейте того, что сказано. А если ста рублей жалко и не побрезгаете компанией, то я живо подберу еще два человека, коих на примете имею, и тогда вам дешевле станет.

Что оставалось делать благочестивым поклонникам? Конечно, рискованно было верить пустошному человеку, но и случая упустить не хотелось, да и деньги требовались небольшие, особенно если в компании... Патриарх решился рискнуть и сказал:

— Ладь компанию.

Пустошный человек взял задаток и побежал, наказав семейству рано пообедать и за час перед тем, как ударят к вечерне в первый колокол, взять каждому с собой по новому ручному полотенцу и идти за город, на указанное место «в бедный обоз», и там ожидать его. Оттуда немедленно же должен был начинаться поход, которого, по уверениям антрепренера, не могли остановить никакие принцы, ни короли.

Таковые «бедные обозы» в больших или меньших размерах становились широким станом при всех подобных сборищах, и я сам видал их и помню в Коренной под Курском, а о том, о котором наступает повествование, слышал рассказы от очевидцев и свидетелей тому, что сейчас будет описано.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Место, занятое бедным становищем, было за городом, на обширном и привольном выгоне между рекою и столбовою дорогою, а в конце примыкало к большому извилистому оврагу, по которому бежал ручеек и рос густой кустарник; сзади начинался могучий сосновый лес, где клектали орлы.

На выгоне расположилось множество бедных повозок и колымаг, представлявших, однако, во всей своей нищете довольно пестрое разнообразие национального гения и изобретательности. Были обыкновенные рогожные будки, полотняные шатры во всю телегу, «беседки» с пушистым ковылем-травой и совершенно безобразные лубковые окаты. Целый большой луб с вековой липы согнут и приколочен к тележным грядкам, а под ним лежка: лежат люди ногами к ногам в нутро экипажа, а головы к вольному воздуху, на обе стороны вперед и назад. Над возлежащими проходит ветерок и вентилирует, чтобы им можно было не задохнуться в собственном духу. Тут же у взвязанных к оглоблям пихтерей с сеном и хрептугов стояли кони, большею частию тощие, все в хомутах и иные, у бережливых людей, под рогожными «крышками». При некоторых повозках были и собачки, которых хотя и не следовало бы брать в паломничество, но это были «усердные» собачки, которые догнали своих хозяев на втором, третьем покорме и ни при каком бойле не хотели от них отвязаться. Им здесь не было места, по настоящему положению паломничества, но они были терпимы и, чувствуя свое контрабандное положение, держали себя очень смирно; они жались где-нибудь у тележного колеса под дегтяркою и хранили серьезное молчание. Одна скромность спасала их от остракизма и от опасного для них крещеного цыгана, который в одну минуту «снимал с них шубы». Здесь, в бедном обозе, под открытым небом жилось весело и хорошо, как на ярмарке. Всякого разнообразия здесь было более, чем в гостиничных номерах, доставшихся только особым избранникам, или под навесами постоялых дворов, где в вечном полумраке местились в повозках люди второй руки. Правда, в бедный обоз не заходили тучные иноки и иподиаконы, не видать было даже и настоящих, опытных странников, но зато здесь были

свои мастера на все руки и шло обширное кустарное производство разных «святостей». Когда мне довелось читать известное в киевских хрониках дело о подделке мощей из бараньих костей, я был удивлен младенчеством приема этих фабрикантов в сравнении с смелостью мастеров, о которых слыхал ранее. Тут это было какое-то откровенное *неглиже с отвагой*. Даже самый путь к выгону по Слободской улице уже отличался ничем не стесняемою свободою самой широкой предприимчивости. Люди знали, что этакие случаи не часто выпадают, и не теряли времени: у многих ворот стояли столики, на которых лежали иконки, крестики и бумажные сверточки с гнилою древесною пылью, будто бы от старого гроба, и тут же лежали стружки от нового. Весь этот материал был, по уверению продавцов, гораздо высшего сорта, чем в настоящих местах, потому что принесен сюда самими столярами, копачами и плотниками, производившими самые важные работы. У входа в лагерь вертелись «носящие и сидящие» с образками нового угодника, заклеенными пока белою бумажкою с крестиком. Образки эти продавались по самой дешевой цене, и покупать их можно было сию же минуту, но открывать нельзя было до отслужения первого молебна. У многих недостойных, купивших такие образки и открывших их раньше времени, они оказались чистыми дощечками. В овраге же за становищем, под санями, опрокинутыми кверху полозьями, жили у ручья цыган с цыганкою и цыганятами. Цыган и цыганка имели тут большую врачебную практику. У них на одном полозе был привязан за ногу большой безголосый «петух», из которого выходили по утрам камни, «двигавшие постельную силу», и цыган имел кошкину траву, которая тогда была весьма нужна к «болячкам афедроновым». Цыган этот был в своем роде знаменитость. Слава о нем шла такая, что он, когда в неверной земле семь спящих дев открывали, и там он не лишний был: он старых людей на молодых переделывал, прутяные сеченья господским людям лечил и военным кавалерам заплечный бой из нутра через водоток выводил. Цыганка же его, кажется, знала еще бо́льшие тайны природы: она две воды мужьям давала: одну ко обличению жен, кои блудно грешат; той воды если женам дать, она в них не удержится, а насквозь пройдет; а другая вода магнитная: от этой воды жена неохочая во сне

страстно мужа обоймет, а если усилится другого любить — с постели станет падать.

Словом, дело здесь кипело, и многообразные нужды человечества находили тут полезных пособников.

Пустошный человек как завидел купцов, не стал с ними разговаривать, а начал их манить, чтобы сошли в овражек, и сам туда же вперед юркнул.

Опять это показалось страшновато: можно было опасаться засады, в которой могли скрываться лихие люди, способные обобрать богомольцев догола, но благочестие превозмогло страх, и купец после небольшого раздумья, помолясь богу и помянув угодника, решился переступить шага три вниз.

Сходил он осторожно, держась за кустики, а жене и дочери приказал в случае чего-нибудь кричать изо всей мочи.

Засада здесь и в самом деле была, но не опасная: купец нашел в овраге двух таких же, как он, благочестивых людей в купеческом одеянии, с которыми надо было «сладиться». Все они должны были здесь заплатить пустошному уговорную плату за проводы их к угоднику, а тогда он им откроет свой план и сейчас их поведет. Долго думать было нечего, и упорство ни к чему не вело: купцы сложили сумму и дали, а пустошный открыл им свой план, простой, но, по простоте своей, чисто гениальный: он заключался в том, что в «бедном обозе» есть известный пустошному человеку человек расслабленный, которого надо только поднять и нести к угоднику, и никто их не остановит и пути им не затруднит с болящим. Надо только купить для слабого болезный одрец да покровец и, подняв его, нести всем шестерым, подвязавши под одр полотенчики.

Мысль эта казалась в первой своей части превосходною, — с расслабленным носителей, конечно, пропустят, но каковы быть могут последствия? Не было бы дальше конфуза? Однако и на этот счет все было успокоено, проводник сказал только, что это не стоит внимания.

— Мы таковые разы,— говорит,— уже видали: вы, в ваше удовольствие, сподобитеся все видеть и приложиться к угоднику во время всенощного пения, а в рассуждении болящего, будь воля угодника,— пожелает он его исцелить — и исцелит, а не пожелает — опять его воля. Теперь

только скиньтесь скорее на одрец и на покровец, а у меня уж все это припасено в близком доме, только надо деньги отдать. Мало меня здесь повремените, и в путь пойдем.

Взял, поторговавшись, еще на снасть по два рубля с лица и побежал, а через десять минут назад вернулся и говорит:

— Идем, бра́тия, только не бойко выступайте, а поспустите малость очи побогомысленнее.

Купцы спустили очи и пошли с благоговением и в этом же «бедном обозе» подошли к одной повозке, у которой стояла у хрептуга совсем дохлая клячонка, а на передке сидел маленький золотушный мальчик и забавлял себя, перекидывая с руки на руку ощипанные плоднички желтых пупавок. На этой повозке под липовым лубком лежал человек средних лет, с лицом самих пупавок желтее, и руки тоже желтые, все вытянутые и как мягкие плети валяются.

Женщины, завидев этакую ужасную немощь, стали креститься, а проводник их обратился к больному и говорит:

— Вот, дядя Фотей, добрые люди пришли помочь мне тебя к исцеленью нести. Воли божией час к тебе близится.

Желтый человек стал поворачиваться к незнакомым людям и благодарственно на них смотрит, а перстом себе на язык показывает.

Те догадались, что он немой. «Ничего, — говорят, — ничего, раб божий, не благодари нас, а богу благодарствуй», — и стали его вытаскивать из повозки — мужчины под плечи и под ноги, а женщины только его слабые ручки поддерживали и еще более напугались страшного состояния больного, потому что руки у него в плечевых суставах совсем «перевалилися» и только волосяными веревками были кое-как перевязаны.

Одрик стоял тут же. Это была небольшая старая кроватка, плотно засыпанная по углам клоповыми яйцами; на кроватке лежал сноп соломы и кусок редкого миткалю с грубо выведенным красками крестом, копием и тростию. Проводник ловкою рукою распушил соломку, чтобы на все стороны с краев свешивалась, положили на нее желтого расслабленного, покрыли миткалем и понесли.

Проводник шел впереди с глиняной жаровенкой и крестообразно покуривал.

Еще они и из обоза не вышли, как на них уже начали креститься, а когда пошли по улицам, внимание к ним становилось все серьезнее и серьезнее: все, видя их, понимали, что это к чудотворцу несут болящего, и присоединялися. Купцы шли поспешаючи, потому что слышали благовест ко всенощной, и пришли с своею ношею как раз вовремя, когда запели: «Хвалите имя господне, раби го́спода».

Храм, разумеется, не вмещал и сотой доли собравшегося народа; видимо-невидимо людей сплошною массою стояло вокруг церкви, но чуть увидали одр и носящих, все загудели: «расслабого несут, чудо будет», и вся толпа расступилась.

До самых дверей стала живая улица, и дальше все сделалось, как обещал проводник. Даже и твердое упование веры его не осталось в постыжении: расслабленный исцелел. Он встал, он сам вышел на своих ногах «славяще и благодаряще». Кто-то все это записал на записочку, в которой, со слов проводника, исцеленный расслабленный был назван «родственником» орловского купца, через что ему многие завидовали, и исцеленный за поздним временем не пошел уже в свой бедный обоз, а ночевал под сараем у своих новых родственников.

Все это было приятно. Исцеленный был интересным лицом, на которого многие приходили взглянуть и кидали ему «жертовки».

Но он еще мало говорил и неявственно — очень шамкал с непривычки и больше всего на купцов исцеленною рукою показывал: «их-де спрашивайте, они родственники, они всё знают». И тогда те поневоле говорили, что он их родственник; но вдруг под все это подкралась неожиданная неприятность: в ночь, наставшую после исцеления желтого расслабленного, было замечено, что у бархатного намета над гробом угодника пропал один золотой шнур с такою же золотою кистью.

Дознавали об этом из-под руки и спросили орловского купца, не заметил ли он, близко подходя, и что такое за люди помогали ему нести больного родственника? Он по совести сказал, что люди были незнакомые, из бедного обоза, по усердию несли. Возили его туда узнавать место,

людей, клячу и тележку с золотушным мальчиком, игравшим пупавками, но тут только одно место было на своем месте, а ни людей, ни повозки, ни мальчика с пупавками и следа не было.

Дознание бросили, «да не молва будет в людях». Кисть повесили новую, а купцы после такой неприятности скорее собрались домой. Но только тут исцеленный родственник осчастливил их новой радостью: он обязывал их взять его с собою и в противном случае угрожал жалобою и про кисть напомнил.

И потому, когда пришел час к отъезду купцов восвояси, Фотей очутился на передке рядом с кучером, и скинуть его было невозможно до лежавшего на их пути села Крутого. Здесь был в то время очень опасный спуск с одной горы и тяжелый подъем на другую, и потому случались разные происшествия с путниками: падали лошади, переворачивались экипажи и прочее в этом роде. Село Крутое непременно надо было проследовать засветло, иначе надо заночевать, а в сумерки никто не рисковал спускаться.

Наши купцы тоже здесь переночевали и утром при восхождении на гору «растерялись», то есть потеряли своего исцеленного родственника Фотея. Говорили, будто с вечера они «добре его угостили из фляги», а утром не разбудили и съехали, но нашлись другие добрые люди, которые поправили эту растерянность и, прихватив Фотея с собою, привезли его в Орел.

Здесь он отыскал своих неблагодарных родственников, покинувших его в Крутом, но не встретил у них родственного приема. Он стал нищенствовать по городу и рассказывать, будто купец ездил к угоднику не для дочери, а молился, чтобы хлеб подорожал. Никому это точнее Фотея известно не было.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Не в долгих днях после появления в Орле известного и покинутого Фотея в приходе Михаила Архангела у купца Акулова были «бедные столы». На дворе, на досках, дымились большие липовые чаши с лапшой и чугуны с кашей, а с хозяйского крыльца раздавали по рукам

ватрушки с луком и пироги. Гостей набралось множество, каждый со своей ложкой в сапоге или за пазухой. Пирогами оделял Голован. Он часто был зван к таким «столам» архитриклином и хлебодаром, потому что был справедлив, ничего не утаит себе и основательно знал, кто какого пирога стоит — с горохом, с морковью или с печенкой.

Так и теперь он стоял и каждому подходящему «оделял» большой пирог, а у кого знал в доме немощных — тому два и более «на недужную порцию». И вот в числе разных подходящих подошел к Головану и Фотей, человек новый, но как будто удививший Голована. Увидав Фотея, Голован словно что-то вспомнил и спросил:

— Ты чей и где живешь?

Фотей сморщился и проговорил:

— Я ничей, а божий, обшит рабьей кожей, а живу под рогожей.

А другие говорят Головану: «Его купцы привезли от угодника... Это Фотей исцеленный».

Но Голован улыбнулся и заговорил было:

— С какой стати это Фотей! — но в эту же самую минуту Фотей вырвал у него пирог, а другою рукою дал ему оглушительную пощечину и крикнул:

— Не бреши лишнего! — и с этим сел за столы, а Голован стерпел и ни слова ему не сказал. Все поняли, что, верно, это так надобно, очевидно, исцеленный юродует, а Голован знает, что это надо сносить. Но только «в каком расчислении стоил Голован такого обращения?» Это была загадка, которая продолжалась многие годы и установила такое мнение, что в Головане скрывается что-нибудь очень бедовое, потому что он Фотея боится.

И впрямь тут было что-то загадочное. Фотей, скоро павший в всеобщем мнении до того, что вслед ему кричали: «У святого кисть украл и в кабаке пропил», с Голованом обходился чрезвычайно дерзко.

Встречая Голована где бы то ни было, Фотей заступал ему дорогу и кричал: «Долг подавай». И Голован, нимало ему не возражая, лез за пазуху и доставал оттуда медную гривну. Если же у него не случалось с собою гривны, а было менее, то Фотей, которого за пестроту его лохмотьев прозвали Горностаем, швырял Головану недостаточную дачу назад, плевал на него и даже бил его, швырял камнями, грязью или снегом.

Я сам помню, как однажды в сумерки, когда отец мой со священником Петром сидели у окна в кабинете, а Голован стоял под окном и все они втроем вели свой разговор, в открытые на этот случай ворота вбежал ободранный Горностай и с криком «забыл, подлец!» при всех ударил Голована по лицу, а тот, тихонько его отстранив, дал ему из-за пазухи медных денег и повел его за ворота.

Такие поступки были никому не в редкость, и объяснение, что Горностай что-нибудь за Голованом знает, было, конечно, весьма естественно. Понятно, что это возбуждало у многих и любопытство, которое, как вскоре увидим, имело верное основание.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Мне было около семи лет, когда мы оставили Орел и переехали на постоянное житье в деревню. С тех пор я уже не видал Голована. Потом наступило время учиться, и оригинальный мужик с большой головою пропал у меня из вида. И слышал я о нем только раз, во время «большого пожара». Тогда погибло не только много строений и движимости, но сгорело и много людей — в числе последних называли Голована. Рассказывали, что он упал в какую-то яму, которой не видно было под пеплом, и «сварился». О семейных, которые его пережили, я не справлялся. После этого я вскоре уехал в Киев и побывал в родимые места уже через десять лет. Было новое царствование, начинались новые порядки; веяло радостной свежестью, — ожидали освобождения крестьян и даже поговаривали уже о гласном судопроизводстве. Все новое: сердца горели. Непримиримых еще не было, но уже обозначались нетерпеливцы и выжидатели.

На пути к бабушке я остановился на несколько дней в Орле, где тогда служил совестным судьею мой дядя, который оставил по себе память честного человека. Он имел много прекрасных сторон, внушавших к нему почтение даже в тех людях, которые не разделяли его взглядов и симпатий: он был в молодости щеголь, гусар, потом садовод и художник-дилетант с замечательными способностями; благородный, прямой, дворянин, и «дворянин au

bout des ongles».[1] Понимая по-своему обязательство этого звания, он, разумеется, покорствовал новизне, но желал критически относиться к эмансипации и представлял из себя охранителя. Эмансипации хотел только такой, как в Остзейском крае. Молодых людей он привечал и ласкал, но их вера, что спасение находится в правильном движении вперед, а не назад, — казалась ему ошибкой. Дядя любил меня и знал, что я его люблю и уважаю, но во мнениях об эмансипации и других тогдашних вопросах мы с ним не сходились. В Орле он делал из меня по этому поводу очистительную жертву, и хотя я тщательно старался избегать этих разговоров, однако он на них направлял и очень любил меня «поражать».

Дяде всего более нравилось подводить меня к казусам, в которых его судейская практика обнаруживала «народную глупость».

Помню роскошный, теплый вечер, который мы провели с дядею в орловском «губернаторском» саду, занимаясь, признаться сказать, уже значительно утомившим меня спором о свойствах и качествах русского народа. Я несправедливо утверждал, что народ *очень* умен, а дядя, может быть еще несправедливее, настаивал, что народ *очень* глуп, что он совершенно не имеет понятий о законе, о собственности и вообще народ *азият,* который может удивить кого угодно своею дикостью.

— И вот, — говорит, — тебе, милостивый государь, подтверждение: если память твоя сохранила ситуацию города, то ты должен помнить, что у нас есть буераки, слободы и слободки, которые черт знает кто межевал и кому отводил под постройки. Все это в несколько приемов убрал огонь, и на месте старых лачуг построились такие же новые, а теперь никто не может узнать, кто здесь по какому праву сидит?

Дело было в том, что, когда отдохнувший от пожаров город стал устраиваться и некоторые люди стали покупать участки в кварталах за церковью Василия Великого, оказалось, что у продавцов не только не было никаких документов, но что и сами эти владельцы и их предки считали всякие документы совершенно лишними. Домик и местишко до этой поры переходили из рук в руки без вся-

[1] До кончика ногтей *(франц.).*

кого заявления властям и без всяких даней и пошлин в казну, а все это, говорят, писалось у них в какую-то «китрать», но «китрать» эта в один из бесчисленных пожаров сгорела, и тот, кто вел ее, — умер; а с тем и все следы их владенных прав покончились. Правда, что никаких споров по праву владения не было, но все это не имело законной силы, а держалось на том, что если Протасов говорит, что его отец купил домишко от покойного деда Тарасовых, то Тарасовы не оспаривали владенных прав Протасовых; но как теперь требовались *права,* то прав нет, и совестному судье воочию предлежало решать вопрос: преступление ли вызвало закон или закон создал преступление?

— А зачем всё это они так делали? — говорил дядя. — Потому-с, что это не обыкновенный народ, для которого хороши и нужны обеспечивающие право государственные учреждения, а это *номады, орда,* осевшая, но еще сама себя не сознающая.

С тем мы заснули, выспались, — рано утром я сходил на Орлик, выкупался, посмотрел на старые места, вспомнил Голованов домик и, возвращаясь, нахожу дядю в беседе с тремя неизвестными мне «милостивыми государями». Все они были купеческой конструкции — двое сердовые в сюртуках с крючками, а один совершенно белый, в ситцевой рубахе навыпуск, в чуйке и в крестьянской шляпе «гречником».

Дядя показал мне на них рукою и говорит:

— Вот это иллюстрация ко вчерашнему сюжету. Эти господа рассказывают мне свое дело: войди в наше совещание.

Затем он обратился к предстоящим с очевидною для меня, но для них, конечно, с непонятною шуткою и добавил:

— Это мой родственник, молодой прокурор из Киева, — к министру в Петербург едет и может ему объяснить ваше дело.

Те поклонились.

— Из них, — видишь ли, — продолжал дядя, — вот этот, господин Протасов, желает купить дом и место вот этого, Тарасова; но у Тарасова нет никаких бумаг. Понимаешь: *никаких!* Он только помнит, что его отец купил домик у Власова, а вот этот, третий, — есть

сын господина Власова, ему, как видишь, тоже уже немало лет.

— Семьдесят, — коротко заметил старик.

— Да, семьдесят, и у него тоже нет и не было никаких бумаг.

— Никогда не было, — опять вставил старик.

— Он пришел удостоверить, что это так именно было и что он ни в какие права не вступается.

— Не вступаемся — отцы продали.

— Да; но кто его «отцам» продал — тех уже нет.

— Нет; они за веру на Кавказ усланы.

— Их можно разыскать, — сказал я.

— Нечего искать, там им вода нехороша, — воды не снесли, — все покончились.

— Как же вы, — говорю, — это так странно поступали?

— Поступали, как мощно было. Приказный был лют, даней с малых дворов давать было нечего, а была у Ивана Ивановича китрать, в нее и писали. А допреж его, еще не за моей памяти, Гапеев купец был, у него была китрать, а после всех Головану китрать дали, а Голован в поганой яме сварился, и китрати сгорели.

— Это Голован, выходит, был у вас что-то вроде нотариуса? — спросил дядя (который не был орловским старожилом).

Старик улыбнулся и тихо молвил:

— Из-за чего же мотариус! — Голован был справедливый человек.

— Как же ему все так и верили?

— А как такому человеку не верить: он свою плоть за людей с живых костей резал.

— Вот и легенда! — тихо молвил дядя, но старик вслушался и отвечал:

— Нет, сударь, Голован не лыгенда, а правда, и память его будь с похвалою.

Дядя пошутил: и с путаницей. И он не знал, как он этим верно отвечал на всю массу воспрянувших во мне в это время воспоминаний, к которым при тогдашнем моем любопытстве мне страстно хотелось подыскать ключ.

А ключ ждал меня, сохраняясь у моей бабушки.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Два слова о бабушке: она происходила из московского купеческого рода Колобовых и была взята в замужество в дворянский род «не за богатство, а за красоту». Но лучшее ее свойство было — душевная красота и светлый разум, в котором всегда сохранялся простонародный склад. Войдя в дворянский круг, она уступила многим его требованиям и даже позволяла звать себя Александрой Васильевной, тогда как ее настоящее имя было Акилина, но думала всегда простонародно и даже без намерения, конечно, удержала некоторую простонародность в речи. Она говорила «ехтот» вместо «этот», считала слово «мораль» оскорбительным и никак не могла выговорить «бухгалтер». Зато она не позволила никаким модным давлениям поколебать в себе веру в народный смысл и сама не расставалась с этим смыслом. Была хорошая женщина и настоящая русская барыня; превосходно вела дом и умела принять всякого, начиная с императора Александра I и до Ивана Ивановича Андросова. Читать ничего не читала, кроме детских писем, но любила обновление ума в беседах, и для того «требовала людей к разговору». В этом роде собеседником ее был бурмистр Михайло Лебедев, буфетчик Василий, старший повар Клим или ключница Маланья. Разговоры всегда были не пустые, а к делу и к пользе, — разбиралось, отчего на девку Феклушку мораль пущена или зачем мальчик Гришка мачехой недоволен. Вслед за таким разговором шли свои меры, как помочь Феклуше покрыть косу и что сделать, чтобы мальчик Гришка не был мачехой недоволен.

Для нее все это было полно живого интереса, может быть совершенно непонятного ее внучкам.

В Орле, когда бабушка приезжала к нам, дружбой ее пользовались соборный отец Петр, купец Андросов и Голован, которых для нее и «призывали к разговору».

Разговоры, надо полагать, и здесь были не пустые, не для одного препровождения времени, а, вероятно, тоже про какие-нибудь дела, вроде падавшей на кого-нибудь морали или неудовольствий мальчика с мачехой.

У нее поэтому могли быть ключи от многих тайностей, для нас, пожалуй, мелких, но для своей среды весьма значительных.

Теперь, в это последнее мое свидание с бабушкой, она была уж очень стара, но сохраняла в совершенной свежести свой ум, память и глаза. Она еще шила.

И в этот раз я застал ее у того же рабочего столика с верхней паркетной дощечкой, изображавшей арфу, поддерживаемую двумя амурами.

Бабушка спросила меня: заезжал ли я на отцову могилу, кого видел из родных в Орле и что поделывает там дядя? Я ответил на все ее вопросы и распространился о дяде, рассказав, как он разбирается со старыми «лыгендами».

Бабушка остановилась и подняла на лоб очки. Слово «лыгенда» ей очень понравилось: она услыхала в нем наивную переделку в народном духе и рассмеялась:

— Это, — говорит, — старик чудесно сказал про лыгенду.

А я говорю:

— А мне, бабушка, очень бы хотелось знать, как это происходило на самом деле, не по лыгенде.

— Про что же тебе именно хотелось бы знать?

— Да вот про все это: какой был этот Голован? Я его ведь чуть-чуть помню, и то все с какими-то, как старик говорит, лыгендами, а ведь конечно же дело было просто...

— Ну, разумеется, просто, но отчего вас это удивляет, что наши люди тогда купчих крепостей избегали, а просто продажи в тетрадки писали? Этого еще и впереди много откроется. Приказных боялись, а своим людям верили, и все тут.

— Но чем, — говорю, — Голован мог заслужить такое доверие? Мне он, по правде сказать, иногда представляется как будто немножко... шарлатаном.

— Почему же это?

— А что такое, например, я помню, говорили, будто он какой-то волшебный камень имел и своею кровью или телом, которые в реку бросил, чуму остановил? За что его «несмертельным» звали?

— Про волшебный камень — вздор. Это люди так присочинили, и Голован тому не виноват, а «несмертельным» его прозвали потому, что в этаком ужасе, когда над землей смертные фимиазмы стояли и все оробели, он один бесстрашный был, и его смерть не брала.

— А зачем же, — говорю, — он себе ногу резал?

— Икру себе отрезал.

— Для чего?

— А для того, что у него тоже прыщ чумной сел. Он знал, что от этого спасенья нет, взял поскорее косу, да всю икру и отрезал.

— Может ли, — говорю, — это быть!

— Конечно, это так было.

— А что, — говорю, — надо думать о женщине Павле? Бабушка на меня взглянула и отвечает:

— Что же такое? Женщина Павла была Фрапошкина жена; была она очень горестная, и Голован ее приютил.

— А ее, однако, называли «Головановым грехом».

— Всяк по себе судит и называет; не было у него такого греха.

— Но, бабушка, разве вы, милая, этому верите?

— Не только верю, но я это *знаю.*

— Но как можно это *знать?*

— Очень просто.

Бабушка обратилась к работавшей с нею девочке и послала ее в сад набрать малины, а когда та вышла, она значительно взглянула мне в глаза и проговорила:

— Голован был *девственник!*

— От кого вы это знаете?

— От отца Петра.

И бабушка мне рассказала, как отец Петр незадолго перед своей кончиною говорил ей, какие люди на Руси бывают неимоверные, и что покойный Голован был девственник.

Коснувшись этой истории, бабушка вошла в маленькие подробности и припомнила свою беседу с отцом Петром.

— Отец Петр, — говорит, — сначала и сам усумнился и стал его подробнее спрашивать и даже намекнул на Павлу. «Нехорошо, говорит, это: ты не каешься, а соблазняешь. Не достойно тебе держать у себя сию Павлу. Отпусти ее с богом». А Голован ответил: «Напрасно это вы, батюшка, говорите: пусть лучше она живет у меня с богом, — нельзя, чтобы я ее отпустил». — «А почему?» — «А потому, что ей головы приклонить негде...» — «Ну так, говорит, женись на ней!» — «А это, отвечает, невозможно», — а почему невозможно, не сказал, и отец Петр долго

насчет этого сомневался; но Павла ведь была чахоточная и недолго жила, и перед смертью, когда к ней пришел отец Петр, то она ему открыла всю причину.

— Какая же, бабушка, была эта причина?

— Они жили по любви *совершенной*.

— То есть как это?

— Ангельски.

— Но, позвольте, для чего же это? Ведь муж Павлы пропал, а есть закон, что после пяти лет можно выйти замуж. Неужто они это не знали?

— Нет, я думаю, знали, но они еще кое-что больше этого знали.

— Например, что?

— А например то, что муж Павлы всех их пережил и никогда не пропадал.

— А где же он был?

— В Орле!

— Милая, вы шутите?

— Ни крошечки.

— И кому же это было известно?

— Им троим: Головану, Павле да самому этому негодивцу. Ты можешь вспомнить Фотея?

— Исцеленного?

— Да как хочешь его называй, только теперь, когда все они перемерли, я могу сказать, что он совсем был не Фотей, а беглый солдат Фрапошка.

— Как! это был Павлы муж?

— Именно.

— Отчего же?.. — начал было я, но устыдился своей мысли и замолчал, но бабушка поняла меня и договорила:

— Верно, хочешь спросить: отчего его никто другой не узнал, а Павла с Голованом его не выдали? Это очень просто: другие его не узнали потому, что он был не городской, да постарел, волосами зарос, а Павла его не выдала жалеючи, а Голован ее любячи.

— Но ведь юридически, по закону, Фрапошка не существовал, и они могли ожениться.

— Могли — по юридическому закону могли, да по закону своей совести не могли.

— За что же Фрапошка Голована преследовал?

— Негодяй был покойник, — разумел о них как прочие.

— А ведь они из-за него все счастие у себя и отняли!

— Да ведь в чем счастье полагать: есть счастье праведное, есть счастье грешное. Праведное ни через кого не переступит, а грешное все перешагнет. Они же первое возлюбили паче последнего...

— Бабушка, — воскликнул я, — ведь это удивительные люди!

— Праведные, мой друг, — отвечала старушка.

Но я все-таки хочу добавить — и удивительные и даже невероятные. Они невероятны, пока их окружает легендарный вымысел, и становятся еще более невероятными, когда удается снять с них этот налет и увидать их во всей их святой простоте. Одна одушевлявшая их *совершенная* любовь поставляла их выше всех страхов и даже подчинила им природу, не побуждая их ни закапываться в землю, ни бороться с видениями, терзавшими св. Антония.

МЕЛОЧИ АРХИЕРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

(КАРТИНКИ С НАТУРЫ)

Нет ни одного государства, в котором бы не находились превосходные мужи во всяком роде, но, к сожалению, каждый человек собственному своему взору величайшей важности кажется предметом.

(«Народная гордость», Москва, 1788 г.)

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

В течение 1878 года русскою печатью сообщено очень много интересных и характерных анекдотов о некоторых из наших архиереев. Значительная доля этих рассказов так невероятна, что человек, незнакомый с епархиальною практикою, легко мог принять их за вымысел; но для людей, знакомых с клировою жизнью, они имеют совсем другое значение. Нет сомнения, что это не чьи-либо измышления, а настоящая, живая правда, списанная с натуры, и притом отнюдь не со злою целью.

Сведущим людям известно, что среди наших «владык» никогда не оскудевала непосредственность, — это не подлежит ни малейшему сомнению, и с этой точки зрения рассказы ничего не открыли нового, но досадно, что они остановились, показав, как будто умышленно, только одну сторону этих интересных нравов, выработавшихся под осо-

бенными условиями оригинальной исключительности положения русского архиерея, и скрыли многие другие стороны архиерейской жизни.

Невозможно согласиться, будто все странности, которые рассказываются об архиереях, напущены ими на себя произвольно, и я хочу попробовать сказать кое-что в *защиту* наших владык, которые не находят себе иных защитников, кроме узких и односторонних людей, почитающих всякую речь о епископах за оскорбление их достоинству.

Из моего житейского опыта я имел возможность не раз убеждаться, что наши владыки, и даже самые непосредственнейшие из них, по своим оригинальностям, отнюдь не так нечувствительны и недоступны воздействиям общества, как это представляют корреспонденты. Об этом я и хочу рассказать кое-что, в тех целях, чтобы отнять у некоторых обличений их очевидную односторонность, сваливающую непосредственно все дело на одних владык и не обращающих ни малейшего внимания на их положение и на отношение к ним самого общества. По моему мнению, наше общество должно понести на себе самом хоть долю укоризн, адресуемых архиереям.

Как бы это кому ни показалось парадоксальным, однако прошу внимания к тем примерам, которые приведу в доказательство моих положений.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Первый русский архиерей, которого я знал, был орловский — Никодим. У нас в доме стали упоминать его имя по тому случаю, что он сдал в рекруты сына бедной сестры моего отца. Отец мой, человек решительного и смелого характера, поехал к нему и в собственном его архиерейском доме разделался с ним очень сурово... Дальнейших последствий это не имело.

В доме у нас не любили черного духовенства вообще, а архиереев в особенности. Я их просто боялся, вероятно потому, что долго помнил страшный гнев отца на Никодима и пугавшее меня заверение моей няньки, будто

«архиереи Христа распяли». Христа же меня научили любить с детства.

Первый архиерей, которого я узнал лично, был Смарагд Крижановский, во время его управления орловскою епархиею.

Это воспоминание относится к самым ранним годам моего отрочества, когда я, обучаясь в орловской гимназии, постоянно слышал рассказы о деяниях этого владыки и его секретаря, «ужасного Бруевича».

Сведения мои об этих лицах были довольно разносторонние, потому что, по несколько исключительному моему семейному положению, я в то время вращался в двух противоположных кругах орловского общества. По отцу моему, происходившему из духовного звания, я бывал у некоторых орловских духовных и хаживал иногда по праздникам в монастырскую слободку, где проживали ставленники и томившиеся в чаянии «владычного суда» подначальные. У родственников же с материной стороны, принадлежавших к тогдашнему губернскому «свету», я видал губернатора, князя Петра Ивановича Трубецкого, который терпеть не мог Смарагда и находил неутолимое удовольствие везде его ругать. Князь Трубецкой постоянно называл Смарагда не иначе, как «козлом», а Смарагд в отместку величал князя «петухом».

Впоследствии я много раз замечал, что очень многие генералы любят называть архиереев «козлами», а архиереи тоже, в свою очередь, зовут генералов «петухами».

Вероятно, это почему-нибудь так следует.

Губернатор князь Трубецкой и епископ Смарагд невзлюбили друг друга с первой встречи и считали долгом враждовать между собою во все время своего совместного служения в Орле, где по этому случаю насчет их ссор и пререканий ходило много рассказов, по большей части, однако же, или совсем неверных, или по крайней мере сильно преувеличенных. Таков, например, повсеместно с несомненною достоверностию рассказываемый анекдот о том, как епископ Смарагд будто бы ходил с хоругвями под звон колоколов на съезжую посещать священника, взятого по распоряжению князя Трубецкого

в часть ночным обходом в то время, как этот священник шел с дароносицею к больному.

На самом деле такого происшествия в Орле вовсе не было. Многие говорят, что оно было будто бы в Саратове или в Рязани, где тоже епископствовал и тоже ссорился преосвященный Смарагд, но не мудрено, что и там этого не было. Несомненно одно, что Смарагд терпеть не мог князя Петра Ивановича Трубецкого и еще более его супругу, княгиню Трубецкую, рожденную Витгенштейн, которую он, кажется не без основания, звал «буесловною немкою». Этой энергической даме Смарагд оказывал замечательные грубости, и в том числе раз при мне сделал ей в церкви такое резкое и оскорбительное замечание, что это ужаснуло орловцев. Но княгиня снесла и ответить Смарагду не сумела.

Епископ Смарагд был человек раздражительный и резкий, и если ходящие о его распрях с губернаторами анекдоты не всегда фактически верны, то все они в самом сочинении своем верно изображают характер ссорившихся сановников и общественное о них представление. Князь Петр Иванович Трубецкой во всех этих анекдотах представляется человеком заносчивым, мелочным и бестактным. О нем говорили, что он «петушится», — топорщит перья и брыкает шпорою во что попало, а покойный Смарагд «козляковал». Он действовал с расчетом: он, бывало, некое время посматривает на петушка и даже бородой не тряхнет, но чуть тот не поостережется и выступит за ограду, он его в ту же минуту боднет и назад на его насест перекинет.

В кружках орловского общества, которое не любило ни князя Трубецкого, ни епископа Смарагда, последний все-таки пользовался лучшим вниманием. В нем ценили по крайней мере его ум и его «неуемность». О нем говорили:

— Сорванец и молодец — ни бога не боится, ни людей не стыдится.

Такие люди в русском обществе приобретают авторитет, законности которого я и не намерен оспаривать, но я имею основание думать, что покойный орловский дерзкий епископ едва ли на самом деле «ни бога не боялся, ни людей не стыдился».

Конечно, если смотреть на этого владыку с общей точки зрения, то, пожалуй, за ним как будто можно при-

знать такой авторитет; но если заглянуть на него со стороны некоторых мелочей, весьма часто ускользающих от общего внимания, то выйдет, что и Смарагд не был чужд способности стыдиться людей, а может быть даже и бояться бога.

Вот тому примеры, которые, вероятно, одним вовсе неизвестны, а другими, может быть, до сих пор позабыты.

Теперь я сначала представлю читателям оригинального человека из орловских старожилов, которого чрезвычайно боялся «неуемный Смарагд».

В то самое время, когда жили и враждовали в Орле кн. П. И. Трубецкой и преосвященный Смарагд, там же, в этом «многострадальном Орле», в небольшом сереньком домике на Полешской площади проживал не очень давно скончавшийся отставной майор Александр Христианович Шульц. Его все в Орле знали и все звали его с титулом: «майор Шульц», хотя он никогда не носил военного платья и самое его майорство некоторым казалось немножко «апокрифическим». Откуда он и кто такой, — едва ли кто-нибудь знал с полною достоверностию. Шутливые люди решались даже утверждать, что «майор Шульц» есть вечный жид Агасфер или другое, столь же таинственное, но многозначащее лицо.

Александр Христианович Шульц с тех пор, как я его помню, — а я помню его с моего детства, — был старик, сухой, немножко сгорбленный, довольно высокого роста, крепкой комплекции, с сильною проседью в волосах, с густыми, очень приятными усами, закрывавшими его совершенно беззубый рот, и с блестящими, искрившимися серыми глазами в правильных веках, опушенных длинными и густыми темными ресницами. Люди, видевшие его незадолго до его смерти, говорят, что он таким и умер. Он был человек очень умный и еще более — очень приятный, всегда веселый, всегда свободный, искусный рассказчик и досужий шутник, умевший иногда ловко запутать путаницу и еще ловчее ее распутать. Он не только был человек доброжелательный, но и делал немало добра. Официальное положение Шульца в Орле выражалось тем, что он был бессменным старшиною дворянского клуба. Никакого другого места он не занимал и жил неизвестно чем, но жил

очень хорошо. Небольшая квартира его всегда была меблирована со вкусом, на холостую ногу; у него всегда кто-нибудь гостил из приезжих дворян; закуска в его доме подавалась всегда обильная, как при нем, так и без него. Домом у него заведовал очень умный и вежливый человек Василий, питавший к своему господину самую верную преданность. Женщин в доме не было, хотя покойный Шульц был большой любитель женского пола и, по выражению Василия, «страшно следил по этому предмету».

Жил он, как одни думали, картами, то есть вел постоянную картежную игру в клубе и у себя дома; по другим же, он жил благодаря нежной заботливости своих богатых друзей Киреевских. Последнему верить гораздо легче, тем более что Александр Христианович умел заставить любить себя очень искренно. Шульц был человек очень сострадательный и не забывал заповеди «стяжать себе друзей от мамоны неправды». Так, в то время, когда в Орле еще не существовало благотворительных обществ, Шульц едва ли был не единственным благотворителем, который подавал больше гроша, как это делало и, вероятно, доселе делает орловское православное христианство. Майора хорошо знали беспомощные бедняки Пушкарской и Стрелецкой слобод, куда он часто отправлялся в своем куцем коричневом сюртучке с запасом «штрафных» денег, собиравшихся у него от поздних клубных гостей, и здесь раздавал их бедным, иногда довольно щедрою рукою. Случалось, что он даже покупал и дарил рабочих лошадей и коров и охотно хлопотал об определении в училище беспомощных сирот, что ему почти всегда удавалось благодаря его обширным и коротким связям.

Но, помимо этой пользы обществу, Шульц приносил ему еще и другую, может быть не менее важную услугу: он олицетворял в своей особе местную гласность и сатиру, которая благодаря его неутомимому и острому языку была у него беспощадна и обуздывала много пошлостей дикого самодурства тогдашнего «доброго времени». Тонкий и язвительный юмор Шульца преследовал по преимуществу местных светил, но преследование это велось у него с таким тактом и наивностью, что никто и думать не смел ему мстить. Напротив, многие из преследуемых бичом его сатиры нередко сами помирали со смеху от насмешек майора, а боялись его *все*, по крайней мере все,

имевшие в городе вес и значение и потому, конечно, желавшие не быть осмеянными, лебезили перед не имевшим никакого официального значения клубным майором.

Шульц, конечно, это знал и мастерски пользовался почтительным страхом, наведенным им на людей, не желавших почитать ничего более достойного почтения.

Шульцу было известно все, что́ происходило в городе. Сам он, по преимуществу и даже исключительно, держался компании в «высшем круге», где его и особенно боялись, но он не затворял своих дверей ни перед кем, и оттого все сколько-нибудь интересные или скандальные вести стекались к нему всяческими путями. Шульц был принят и у князя Трубецкого и у архиерея Смарагда, распрями которых он тешился и рачительно ими занимался, то собирая, то сочиняя и распуская об этих лицах повсюду самые смешные и в то же время способные усиливать их ссору вести. Мало-помалу Шульц до такой степени увлекся этой травлею, что предался ей с исключительным жаром и, можно сказать, некоторое время просто как бы ею только и жил. Он всеми мерами старался разогреть и раздуть страсти этих борцов до того непримиримого пламени, в котором они с неукротимою энергиею старались испепелить друг друга.

Почти всякий день Шульц приходил к дяде моему, дворянскому предводителю (потом совестному судье и председателю палат) Л. И. Константинову и помирал со смеху, рассказывая, что ему удалось настроить, чтобы архиерей с губернатором лютее обозлились друг на друга, или же предавался серьезной скорби, что они «устают действовать», — в последнем случае он не успокоивался, пока не приходил к счастливым соображениям, чем их раздразнить и стравить наново. И он отменно достигал этих целей, о которых мы в доме дяди всегда больше или меньше знали и из коих об иных стоит, кажется, рассказать для характеристики лиц и того *солидного* времени, которое так часто противопоставляется нынешнему времени — легкомысленному и несолидному.

Смарагд по прибытии в Орел очень скоро узнал о Шульце и оценил его значение. Он, разумеется, не только не пренебрег майором, но отнесся к нему с самою лест-

ною внимательностью. Долго он всё зазывал Шульца к себе через Киреевских и заигрывал с ним через других, поручая попенять ему, что он не хочет «навестить бедного монаха». Шульц не шел, но как бы благоволил к архиерею и похваливал его насчет губернатора. Наконец они встретились с Смарагдом, кажется на обеде в с. Шахове, и майор здесь совсем очаровал скучавшего епископа своими едкими сарказмами над Трубецким и доктором Лоренцем, а также и над другими видными орловскими гражданами. Знавший толк в людях, Смарагд тут же постарался подметить слабость самого майора: он заметил, что Шульц любил хорошо покушать и притом был тонкий ценитель «доброго винца», в чем довольно сведущ был и покойный епископ. И вот «бедный монах» пригласил Зоила к себе в город запросто и угостил его, что называется, «по-знатоцки».

С тех пор они стали знакомы и, как люди очень умные, не много чинясь друг с другом, скоро сблизились. Но Смарагду, конечно, не удалось закормить Шульца до того, чтобы он совсем положил печать молчания на свои уста, и хотя многим казалось, будто майор как бы щадил архиерея и даже нападал за него на князя, но весьма вероятно, что это происходило оттого, что Смарагд без сравнения превосходил губернатора в уме, а Шульц был любитель ума, в ком бы ни встречал его. Однако послабление епископу длилось недолго: раз, когда Шульцу стали замечать, что он щадит архиерея, он ответил:

— Не могу же я, господа, не делать разницы между Трубецким, у которого мне подают блюдо его лакеи, и архиереем, который всегда сам меня потчует.

Это было передано Смарагду и послужило началом владычного неудовольствия, которое вскоре затем усилилось еще одним обстоятельством, после которого между владыкою и Шульцем произошел разрыв. Причиною тому был приезд в Орел какого-то важного чиновника центрального духовного учреждения. Может быть, это был директор синодальной канцелярии, а может быть, что-нибудь даже еще более достопримечательное. Смарагд чествовал заезжего гостя в своем архиерейском доме вечернею трапезою, а Шульц был в числе возлежавших и, по обыкновению, один оживлял пир своим веселым и злым остроумием.

Благодаря ему зашла беседа за ночь, и «недоставшу вину» владыка восплескал руками, что у него было призывным знаком для слуг; но слуги, не чая позднего дополнения к столу, отлучились. Тогда архиерей живо встал и, чтобы не распустить компанию, подобрав свою бархатную рясу, побежал с такою резвостию, что, чрезвычайно удивленный этою прыткостию епископа, Шульц на другой же день начал рассказывать, как резво умеют наши владыки бегать перед чиновниками.

Смарагду это совсем не понравилось. Он нашел, что Шульц «нехорош в компании», но, однако, его высокопреосвященство никак не мог освободиться от довольно тяжкого нравственного влияния майора: Шульц ни за что не хотел спускать с глаз архиерейскую распрю с губернатором и придумал такую штуку, чтобы обнародовать положение их фондов во всеобщее сведение.

Это имеет особенный интерес, потому что тут мы можем получить довольно ясное указание, как несправедливы некоторые нарекания на архиереев, будто бы нимало не дорожащих общественным мнением.

Нижеследующий случай покажет, что даже и Смарагд был чуток к совету Сираха «пещись об имени своем».

На светлом окне серого домика на Полешской площади «сожженного» города Орла в один прекрасный день совершенно для всех неожиданно появились два чучела: одно было красный петух в игрушечной каске, с золочеными игрушечными же шпорами и бакенбардами; а другое — маленький, опять-таки игрушечный же козел с бородою, покрытый черным лоскутком, свернутым в виде монашеского клобука. Козел и петух стояли друг против друга в боевой позиции, которая от времени до времени изменялась. В этом и заключалась вся штука. Смотря по тому, как стояли дела князя с архиереем, то есть: кто кого из них одолевал (о чем Шульц всегда имел подробные сведения), так и устраивалась группа. То петух клевал и бил взмахами крыла козла, который, понуря голову, придерживал лапою сдвигавшийся на затылок клобук; то козел давил копытами шпоры петуха, поддевая его рогами под челюсти, отчего у того голова задиралась кверху,

каска сваливалась на затылок, хвост опускался, а жалостно разинутый клюв как бы вопиял о защите.

Все знали, чтó это значит, и судили о ходе борьбы по тому, «как у Шульца на окне архиерей с князем дерутся».

Это был первый проблеск гласности в Орле, и притом гласности бесцензурной.

Не знаю, как интересовался этим князь Петр Иванович. Может быть, что этот губернатор, по приписываемым ему словам «сильно занятый поджогами», за недосугами и не знал, чтó изображали шульцевы манекены; но преосвященный это знал и очень следил за этим делом. Особенно с тех пор, когда фонды Смарагда в Петербурге совсем пали, бедный старец очень интересовался: как разумеют о нем люди? — и частенько, говорят, посылал некоего, поныне еще, кажется, здравствующего в Орле мужа «приватно пройтись и посмотреть, чтó представляют у Шульца на окне *фигуры:* какая какую борет?» [1]

Муж ходил, смотрел и доносил — не знаю, все ли сполна. Когда у Шульца на окне козел бодал петуха и сбивал с него каску, — владыку это куражило, и он веселел, а когда петух щипал и шпорил козла, то это производило действие противоположное.

Не наблюдать за *фигурами,* впрочем, было и невозможно, потому что бывали случаи, когда козел представал очам прохожих с аспидною дощечкою, на которой было крупно начертано: «П-р-и-х-о-д», а внизу, под сим заголовком, писалось: «такого-то числа: взял сто рублей и две головы сахару» или что-нибудь в этом роде. Говорили, что эти цифры большею частию имели живое отношение к действительности, и потому за них жутко доставалось всем, кто мог быть заподозрен в нескромности. Но предпринять против этого ничего нельзя было, так как против устроенного майором Шульцем органа гласности не действовала ни предварительная цензура, ни расширившая свободу печати система предостережений, до благо-

---

[1] О значении Смарагда в Орле ходили преувеличенные толки, будто он «близок ко двору», потому что «был законоучителем цесаревича» (императора Александра II), но в сущности все это ограничивалось тем, что Смарагд случайно занимался некоторое время «по болезни Павского». *(Прим. автора.)*

деяний которой, впрочем, еще и поныне не дожил издающийся в моем родном городе «Орловский вестник».

Сколь счастливее его были оные приснопамятные шутовские органы гласности, изобретенные Шульцем! И зато они сравнительно сильнее действовали. По крайней мере то несомненно, что крутой из крутых и смелый до дерзости архиерей их серьезно боялся. Можно думать, что если бы не они, то анекдоты о Смарагде, вероятно, имели бы еще более жесткий и мрачный характер, от которого владыку воздерживало только одно шутки ради устроенное пугало.

Надеюсь, что рассказанными мелочами из моих отроческих воспоминаний об архиерее, которого я знал в оную безгласную пору на Руси, я в некоторой степени показал примером, что и самые крутые из архиереев не остаются безучастными к общественному мнению, а потому такое нарекание на них едва ли справедливо. Теперь же я на том же самом Смарагде представлю другой пример, который может показать, что и обвинение архиереев в безучастии и жестокости тоже может быть не всегда верно.

Но пусть вместо наших рассуждений говорят сами маленькие «события».

ГЛАВА ВТОРАЯ

На долю Орла выпало довольно суровых владык, между коими, по особенному своему жестокосердию, известны Никодим и опять-таки тот же Смарагд Крижановский. О жестокостях Никодима я слыхал ужасные рассказы и песню, которая начиналась словами:

Архиерей наш Никодим
Архилютый крокодил.

Но многие жестокости Смарагда я сам лично видел и сам оплакивал моими ребячьими слезами истомленных узников орловской Монастырской слободы, где они с плачем глодали плесневые корки хлеба, собираемые милостыней. Я видал, как *священники целовали руки* некоего жан-

дармского вахмистра, ростовщика, имевшего здесь дом и огород, на коем бесплатно работали должные и не должные ему подначальные попы и дьяконы, за то только, чтобы этот вахмистр «поговорил о них секретарю», деньгами которого будто бы оперировал этот воин.

У меня на этой Монастырской слободке жил один мой гимназический товарищ, сын этапного офицера, семья которого мне в детстве представлялась семьею тех трех праведников, ради которых господь терпел на земле орловские «проломленные головы». Это в самом деле была очень добрая семья, состоявшая из отца, белого, как лунь, коротенького старичка, который два раза в неделю с огромною «валентиновскою» саблею при бедре садился верхом на сытую игренюю кобылку и выводил за кромскую заставу арестантские этапы. Арестанты его любили и, как был слух, не бегали из-под его конвоя только потому, что им «было жалко его благородие». Он был совсем старец и, давно потеряв все зубы, кушал лишь одну манную кашку. Жена его, золотушная старушка, тоже была в детском состоянии: она питала безграничную и ничем не смущаемую доверчивость ко всем людям, любила получать в подарок игрушечные фарфоровые куколки, которые она расставляла в минуты скуки и уныния, посещавшие ее при появившихся под старость детских болезнях. У нее обыкновенно делались то свинка, то корь, то коклюш, а незадолго перед смертью появились какие-то припадки вроде родимца. Оба этапные супруга были добры до бесконечности. Их сын — мой гимназический товарищ, постоянно читавший романы Вальтер Скотта, и дочь, миловидная девушка, занимавшаяся вышиваньем гарусом, — тоже были олицетворением простоты и кротости. И вот у этих-то добрых людей на дворе, по сеням и закуткам всегда проживали «духовенные» из призванных «под начал» или «ожидавших резолюции». С них в этом христианском доме ничего не брали, а держали их просто по состраданию, «Христа ради». Изредка разве, и то не иначе как «по усердию», кто-нибудь из подначальных бедняков, бывало, прометет двор или улицы, или выполет гряды, или сходит на Оку за водою, необходимою сколько для хозяйского, столько же и для собственного употребления самих подначальных.

В кромешном аду, который представляла собою орловская Монастырская слободка, уютный домик этапного офицера и его чистенький дворик представляли самое утешительное и даже почти сносное место. Сострадательные хозяева жалели злополучных «подначальников» и облегчали их тяжкую участь без рассуждения, которое так легко ведет к осуждению. Но, однако, и здесь, кроме приюта, «духовенным» ничего не давали, потому что не имели, что им дать. Им дозволяли только дергать в огороде чрезвычайно разросшийся хрен, который угрожал заглушить всякую иную зелень и не переводился, несмотря на самое усердное истребление его «духовенными».

Домом этим дорожили «духовенные» и, прощаясь с офицерским семейством, всегда молили «паки их не отвергнуть, если впадут в руце Бруевича и паки сюда последуют». Дорожил этими добрыми людьми и я, не только потому, что мне всегда было приятно в этой простой, доброй семье, но и потому, что я мог здесь встречать многострадальных «духовенных», с детства меня необыкновенно интересовавших. Они располагали меня к себе их жалкою приниженностию и сословной оригинальностию, в которой мне чуялось несравненно более жизни, чем в тех так называемых «хороших манерах», внушением коих томил меня претензионный круг моих орловских родственников. И за эту привязанность к орловским духовенным я был щедро вознагражден: единственно благодаря ей я с детства моего не разделял презрительных взглядов и отношений «культурных» людей моей родины к бедному сельскому духовенству. Благодаря орловской Монастырской слободке я знал, что среди страдающего и приниженного духовенства русской церкви не все одни «грошевики, алтынники и блинохваты», каких выводили многие повествователи, и я дерзнул написать «Соборян». Но в тех же хранилищах моей памяти, из коих я черпал типичные черты для изображения лиц, выведенных мною в названной моей хронике, у меня остается еще много клочков и обрезков или, как нынче говорят по-русски, «купюров». И вот один из этих «купюров» герой моего наступающего рассказа — молодой сельский дьячок Лукьян, или в просторечии Лучка, а фамилии его я не помню. Это был человек очень длинный и от своей долготы сгорбленный, худой, смуглый, безбородый, со впалыми щеками, несораз-

мерно маленькою головкою «репкою» и желтыми лукавыми глазками. Он был «беспокойного характера», постоянно имел разнообразные стычки с разными лицами, попал за одну из них под начало и сделался мне особенно памятным по своей отважной борьбе с Смарагдом, которого он имел удивительное счастие и растрогать и одолеть — во всяком случае, по собственным его словам, он «победил воеводу непобедимого».

Дьячок Лукьян появился в офицерском доме на Монастырской слободке летом, перед ученическим разъездом на каникулы. Род вины его был оригинальный: он попал сюда *«по обвинению в кисейных рукавах»*. Подробнее этого о своем преступлении Лукьян вначале ничего не сообщал, и я так и уехал на каникулы в деревню с одними этими поверхностными и скудными сведениями о его виновности. Известно было только, что преступление с «кисейными рукавами» стряслось на Троицу и что виновный в нем был взят и привезен в Орел, по его словам, как-то «нагло», так что он даже оказался без шапки. Это я очень хорошо помню, потому что бедняк попервоначалу чрезвычайно стеснялся быть без шапки и все хлопотал отыскать «оказию», чтобы выписать из «своих мест» какую-то, будто бы имевшуюся у него, другую шапку. По своему легкомысленному ребячеству я почему-то все сближал Лукьяна с тогдашним романсом:

Ах, о чем ты проливаешь
Слезы горькие тайком
И украдкой утираешь
Их кисейным рукавом.

Я думал: не он ли сочинил этот романс, или не запел ли он его ошибкою, где не следует. Но дело заключалось совсем в ином.

По возвращении с каникул я застал Лукьяна в прежней позиции, то есть на этой же Монастырской слободке, в офицерском доме, но только уже не простоволосого, а в желтом кожаном картузе с длинным четырехугольным козырем. Это меня очень обрадовало, и я при первой же встрече выразил ему свое удовольствие, что он нашел хорошую оказию вытребовать себе шапку. Но Лукьян только

махнул головою и, сняв с себя свой оригинальный картуз, отвечал, что оказии он еще не нашел, а что носимый им теперь на голове снаряд добыт им «по случаю». При этом, осматривая картуз с глубоким пренебрежением, как вещь, не соответствующую его духовному званию и употребляемую только по крайности, он сказал:

— Колпачок этот, чтобы покуда накрываться, мне царских жеребцов вертинар[1] за регистры подарил, — и при этом Лукьян добавил, что колпак этот «дурацкий» и что как только он вскорости возвратится домой, то сейчас же этот «колпачок» сдаст на скворешню и скворца в него посадит, чтобы тот научился в ней по-немецки думать: «кому на Руси жить хорошо».

Однако ни один скворец не дождался этой чести, потому что немецкий колпачок успел разрушиться на голове самого Лукьяна, прежде чем он уехал восвояси. Он гулял в нем все лето, осень и зиму до Алексея божия человека, когда в судьбе моего страдальца неожиданно произошла счастливая перемена.

За этот термин страданий я узнал от Лукьяна в подробности о кисейных рукавах и о прочем, — о чем теперь, вероятно, без всяких для него последствий могу сказать в воспоминание: какие важные дела иногда судят наши владыки.

Лукьян был человек холостой и состоял дьячком в очень бедном приходе, в селе, которое, кажется, называлось Цветынь и было где-то неподалеку от известного над Окою крутого Ботавинского спуска. При Лукьяне жила мать, которую он очень любил, но более всего он, по своему кавалерскому положению, любил нежный пол и по этому случаю часто попадал в «стычки». В этих случаях Лукьян нередко был «мят», но все это ему, однако, не приносило всей той пользы, какую должно приносить «телесное научение». Увлечение страсти и слабости сердца заставляли его забывать все былое, и вскоре опять где женщины — там и Лукьян, а затем невдалеке его и колотят,

---

[1] «Царскими жеребцами» в Орле тогда звали заводских жеребцов случной конюшни императорского коннозаводства. Она помещалась против Монастырской слободы. *(Прим. автора.)*

и — что всего удивительнее — колотят иногда при помощи тех же самых женщин, у которых он благодаря крутым завиткам на висках и обольстительному духовному красноречию имел замечательные успехи. Но, на его несчастие, он был слишком непостоянен и притом слишком находчив. В таком роде было и его последнее преступление, за которое он теперь томился в Орле. Удостоенный внимания пожилой постоялой дворничихи, он был у нее на «кондиции», а в то же самое время воспылал страстию к другой, молодой и более красивой женщине и тут так «попутался», что во время одного визита к дворничихе «скрыл» у нее и «потаенно вынес» пышные кисейные рукава, которые немедленно же и презентовал соблазнительной красавице. Сердце красавицы он этим преклонил на свою сторону, но сам за это «двукратно пострадал». Во-первых, когда молодая женщина появилась в «скрытых» Лукьяном кисейных рукавах на Троицын день под качелями, то она тем привела в неистовство обиженную дворничиху. Последствием этого было, что обе бабы произвели сначала взаимную потасовку, а потом, увидя желавшего их разнять Лукьяна, соединили свои силы и *обе* принялись за него: его они жестоко растрепали и исцарапали, а еще более «пустили молву», вследствие чего об этом было «донесено репортом», который, к удовольствию всех друзей нерушимости духовно-судебных порядков, предстал на архиерейский суд.

Но суд был еще далек: обвиняемый томился, а Смарагду о нем, вероятно, или совсем не докладывали, или же владыка не считал дело «о кисейных рукавах» подлежащим немедленному разбирательству и хотел нарочно потомить духовного волокиту. На огороде офицера отцвел и свернулся наперенный Лукьяном «по усердию» горох и посинели тучные бобы, в буйной ботве которых, бывало, спрятавшийся Лукьян громко и приятно наигрывал что-то на зеленой ракитовой дудке. Он пленял этою чудесною игрою и нас с товарищем, слушавших его с чердака, куда мы забирались читать Веверлея, и многих соседок офицерского домика, старавшихся открыть через частокол, где кроется в своем желтом картузе пострадавший за любовь трубадур? Все это отошло: огороды опустели, Лукьян убрал офицерше, по усердию, и картофель и репу и нарубил с батрачкою большие наполы капусты,

а собственное его дело о кисейных рукавах нимало не подвигалось.

Настала суровая, холодная осень, а он все еще сидел на опустелом огороде и спал в нетопленном курятнике. Питался он *хреном,* сам готовя себе из этого фрукта и кушанье и напиток. Кушанье это было — скобленый хрен с сальными «шкварками», которые выбрасывали из кухни, а напиток делался из тертого хрена с белым квасом — «суровцом».

Шутя над своею нуждою, Лукьян называл свое блюдо из хрена «лимонад-буштекц», а напиток «лимонад-бышквит».

Кажется, если бы не только самого узловатого немца, но даже самого сильного из древних русских могучих богатырей покормить этим «лимонад-буштекцем» и попоить «лимонад-бышквитом», то и он не замедлил бы задрать ноги, но тщедушный Лукьян жив и здрав бывал. Однако, наконец, вся эта истома и его пересилила: он заскучал и стал убиваться о том, как бы к кому-нибудь подольститься и найти протекцию», чтобы «подвинуть свое дело». И он этого достиг и «подольстился» к кому-то такому, кто попросил о нем жандармского вахмистра, который, как сказано, имел сношения с случайными людьми архиерейского дома. Все эти люди явили Лукьяну благостыню, по началу судя, весьма странную, но по последствиям, как оказалось, чрезвычайно полезную.

У полнокровного и тучного Смарагда бывали тяжелые припадки, надо полагать геморроидального свойства. В эту пору у него, по рассказам, болела поясница и было «тяготение между крыл». Архиерейское *междукрылие* находится на спине, в том месте, где у обыкновенных людей движутся лопатки. Поэтому «тяготение между крыл», попросту говоря, значило, что у епископа набрякла спина между лопатками, и от этой опухоли, причинявшей больному тяжесть, доктор (кажется, Деппиш) советовал Смарагду полечиться активной гимнастикой. Но какие же гимнастические упражнения удобны и приличны для человека такого высокого, и притом священного, сана? Нельзя же архиерею метать шарами или подскакивать на трапеции. Но Смарагд был находчив и выдумал нечто

более солидное и притом патриархальное, а вдобавок и полезное: он пожелал *пилить дрова* с подначальными, которые в его бытность постоянно исполняли при архиерейском доме черные дворовые работы и между прочим пилили и кололи дрова для архиерея и его домовых монахов.

Дьячок Лукьян был при чем-то в сторожах и искал «протекции», чтобы попасть в пильщики, дабы таким образом иметь случай не только встретиться со своим владыкою, но, так сказать, стать с ним лицом к лицу. Этим способом он надеялся обратить на себя владычное внимание и извлечь из того для себя некоторую существенную пользу. Жандармский вахмистр, силою своих связей с архиерейским домом, все это устроил.

Смарагд избрал для своих упражнений во врачебной гимнастике послеобеденные часы. Прямо из-за стола он шел в сарай, где труждались за топорами и пилою подначальные, и с очередными из пильщиков перепиливал три-четыре, а иногда и пять плах. Так шло уже несколько времени, и хотя епископ неопустительно продолжал свои занятия, но они, вероятно, не оказывали желаемого воздействия на его владычные междукрылия: он все ходил пригорбясь и насупясь и бе, яко Исав, «нрава дикого, угрюмого, ко гневу склонного и мстительного».

Дьячок Лукьян, наблюдая все это, впадал от такого архиерейского вида в неописанный страх, который потом вдруг стал переходить в раздражение. Все горести Лукьяна разом точно поднялись у него из сердечной глубины, и он стал так свирепо ругаться, что делалось за человека страшно. Позже он даже начал угрожать чем-то нестаточным, и от его возбужденности действительно можно было ожидать какого-нибудь очень нехристианского поступка.

— Отек очень с сытости, — говорил он непочтительно о своем владыке, — оттого ничего и не чувствует, а отцы наши все подделываются: самые тоненькие да сухие плашки ему пилить подкладывают. Низкое их обхождение так научает, но дай срок, пусть он первый раз меня за пилою, а не за топором застанет, я его таким поленом разуважу, что будет он меня век помнить.

Мы с товарищем пожелали узнать, что такое именно Лукьян придумал подстроить своему архиерею, и узнали, что подначальный дьячок, полный кипящего мщения к Смарагду, желает подложить ему самые толстые коряги, над которыми бы его преосвященство «хорошенько пропыхтелся». Я и мой товарищ, по своему отроческому легкомыслию, находили эту мысль чрезвычайно счастливою и достойною тех представлений, какие мы имели о Смарагде, но сильно боялись за предприимчивого Лукьяна, чтобы это не обошлось ему дороже, чем он рассчитывает.

Лукьян, однако, был на такой возвышенной степени воодушевления, что не хотел слушать никаких доводов.

— Ребра он мне, — говорит, — не сокрушит, а что ежели он меня костылем отвозит, то я этого только и желаю, потому что он опосля битья, говорят, иногда сдабривается.

Так он и пошел неуклонно на эту желанную меру сближения с своим архипастырем; а мы всё не забывали интересоваться ходом его истории, которая, впрочем, не замедлила принять оборот самый краткий и самый решительный. Лукьян сделал, как намеревался, и в укромном месте, под стеною, в пильном сарае, припас для своего владыки десятка полтора самых толстых суковатых плах. Он тщательно берег этот отбор до того случая, когда Смарагд застанет его за работою и возьмется с ним за другой конец пилы, чтобы разминать свои междукрылия. Случай этот не замедлил. Дня через два после того, как Лукьян сообщил нам о своем смелом предприятии, он явился домой в невыразимом отчаянии и, бросив под кухонную лавку свой желтый шлык, объявил, что «наделал себе беды, какой не ожидал».

— Приходит, — говорит, — владыка, а я пилю с кромской округи попом стареньким; владыка попа прогнали: «пошел прочь», говорят, потому он им не по талии, а мне приказали: «клади плаху». Я было оробел и хотел, подобно как и другие-прочие, положить плаху какая собою поделикатнее, но раздумался, что этак я себя долго ни к чему счастливому не произведу, и, благословясь, выхватил из своего амбара штуку самую безобразную. Владыка взглянули на меня и ничего не сказали, стали резать, два ряда прошли и ряску сняли, говорят: «повесь на колок». А еще ряд отпилили и совсем стали, а я им другую, еще

коряжистее, на козлы положил. Тут он на меня уж таким святителем взглянул, что у меня и в животе захолодело. «Ничего, говорит, ничего, я и эту перепилю, а уж зато ты у меня, скотина, еще целый год в пильщиках останешься». С тем и ушли.

Мы спросили Лукьяна: что же он теперь думает делать? А он в отчаянии отвечал, что и сам не знает, но что, кажется, ему лучше всего продолжать свой термин держать — потому что, так он надеялся, может быть ему бог поможет на сем тяготении своего владыку раньше года постоянством «преодолеть и замучить».

И точно, прошло не более недели, как «державший свой термин» Лукьян возвратился с веселым видом и объявил, что он «архиерея замучил» и дело о кисейных рукавах, кажется, поправляется.

— Как же это так счастливо обернулось? — спрашиваем.

— А так, — отвечает, — оно обернулось, что я его преосвященство совсем заморил и от болезни их совершенно этими толстыми поленьями выпользовал.

— А по чему, — говорим, — это видно?

— Рассердился и ныне меня, слава богу, так костылем отвозил, что и сейчас загорбок больно.

— За что же это?

— Досадно стало, что характер имею большие плахи класть, и сам мне наклал.

— Что же, — говорим, — тут хорошего?

— Теперь сдобрится.

— А как нет?

— Нет, сдобрится: все, которые опытные, завидуют, говорят: «Экое счастие тебе от святителя! теперь, как сердце отойдет, он твое дело потребует и решит».

Приходит Лукьян на другой день и еще веселее.

— Вчера же, — сказывает, — дело к себе потребовали.

А еще через день после этого наш Лукьян как вбежал на двор в калитку, так прямо ни с того ни с сего и пошел на руках колесом.

— Отпустил, — кричит, — отпустил, ко двору благословил идти.

— А какое же, — спрашиваем, — было наказание?

— Вовсе без наказания, кроме того, как третьего дня костылем поблагословлял, ничего другого не вменено.

— Да ведь костылем это было не за кисейные рукава, а за другое.

— Ну что там разбирать, что́ за что́ выпало! Одно слово: иду благополучный, все равно как плетьми да на выпуск. Чего еще надо?

«Плетьми на выпуск» в то время на Руси за большую неприятность не считалось. Нынче русские люди на этот счет немножко избаловались.

Итак, не поучает ли нас этот приснопамятный Лукьян приведенным случаем своей судьбы, что никогда не должно отчаиваться в милосердии русских владык, ибо хотя иные из них и гневны, но и их гневности бывает порою ослабление. И не достоин ли тоже этот, по-видимому как будто маловажный, случай особенного внимания именно потому, что он был не с каким-нибудь слабохарактерным лицом, а со Смарагдом, о котором в Орле говорили, что он никого не боится и единственно лишь тем уступает московскому митрополиту, что тот «ездит на шести животных, с двумя человеками на запятке». Другой же, менее Смарагда нравный архиерей, конечно, может оказаться еще податливее, если только случай сведет его с человеком, который поведет свою линию как надо. А без сноровки, конечно, ничего не поделаешь не только с архиереями, но даже и со своими собственными детьми.

В подтверждение же моих слов о способности архиереев переходить от гневной ярости к благоуветному добродушию расскажу еще один такой случай о другом архиерее, тоже вспыльчивом и гневном, но укрощавшемся еще легче и проще.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Одна из моих теток была замужем за англичанином Шкоттом, который управлял огромными имениями у гр. Перовского, в восточной полосе России. Англичанин Шкотт был человек очень благородный и добрый, но своеобычный. Он был очень вежлив, но если встречал с чьей-либо стороны грубость и наглость, то не спускал их никому. Еще в молодости он имел в Орловской губернии историю с

одним кавалерийским полковником, которого Шкотт просто-напросто прибил за нахальство. Не изменился он в этом отношении и под старость. Когда я жил в П⟨ензен⟩ской губернии, он тогда, имея уже шестьдесят лет от роду, вызывал на дуэль губернского предводителя дворянства Арапова, и тот струсил. Шкотт не разделался с ним иначе только потому, что умер. Теперь они оба уже покойники.

Раз летом, не помню теперь которого именно года, дядя Шкотт, строивший *первую* в П⟨ензен⟩ской губернии паровую мельницу, купил для нее в селе К. огромные штучные французские жернова, которые были уже скованы крепкими шинами и которых нам очень не хотелось разбирать и сковывать заново. Мы решили катить их целиком и послали приготовленную для того снасть, лошадей и людей; но вдруг получаем известие, что камни наши, едва отъехав десять верст от К., *проломили мост* и засели в сваях.

Мы с Шкоттом сейчас же поехали на место крушения и, приехав в К. довольно поздно вечером, остановились в доме тамошнего священника, тогда еще очень молодого человека, который был нам и рад и не рад. По личным добрым отношениям к Шкотту он встретил нас весьма радушно, но был встревожен и смущен тем, что преосвященный В⟨арлаам⟩, объезжавший в ту пору епархию, ночевал всего в десяти верстах от К. и завтра должен был нагрянуть со всею ордою провожатых, коих Петр Великий в своем регламенте именовал «несытыми скотинами». Священнику, конечно, было о чем позаботиться: надо было и накормить и разместить «оных несытых скотин». Особенно его затрудняло последнее, так как его сельский домик был очень невелик, а поврежденный мост с застрявшими в сваях камнями не подавал никакой надежды скоро переправить «обонпол потока» архипастырскую карету.

Мы были некоторым образом виновниками тягостных для батюшки осложнений и чувствовали это, но помочь ему не могли ничем, кроме того, что, не претендуя на его гостеприимство в доме, приготовленном «под владыку», легли спать на сеновале. Мы встали утром чем свет и отправились к изломанному мосту, о поправке которого нельзя было и думать, прежде чем мы найдем какое-нибудь средство снять камень, засевший в проломе настилки, между сваями.

Снять камень оказалось, однако, совершенно невозможно, и мы, после многих соображений, решили рассечь шины, которые его связывали в одно целое, после чего он должен был разделиться на штуки и упасть в ручей, откуда уже его предстояло после вытащить и перевезти на колеснях.

Распорядясь этою работою и оставив людей при деле, мы около десяти часов утра возвратились в дом священника, выкупались в реке, съели яичницу и, усталые, кувырнулись на сеновал и заснули. Но только что мы разоспались, как внезапу бысть шум: мы были разбужены разливавшимся над поповкою оглушительным трезвоном колоколов и криком: «Едет! едет! Архиерей едет!»

Было очень любопытно посмотреть, как *он едет?*

С неубранными спросонья головами, заспанными лицами и в сыром, не отчищенном от грязи дорожном платье мы вышли к калитке и увидали, что *он ехал* неважно — на своих на двоих. Попросту говоря, *он шел пешком,* потому что его карета не могла переехать через мост. Зато шел святитель окруженный толпою, состоявшею человек из двадцати духовных и недуховных людей, между которыми особенно замечательны были две бабы. Одна из этих православных христианок все подстилала перед святителем полотенце, на которое тот и наступал для ее удовольствия, а другая была еще благочестивее и норовила сама лечь перед ним на дорогу, — вероятно с тем, чтобы святитель по самой по ней прошелся, но *он* ей этого удовольствия не сделал. Сам он представлял из себя особу с красноватым геморроидальным лицом, на котором светились маленькие, сердитые серые глазки, разделенные толстым, дубоватым носом. Во всей фигуре владыки не было не только ничего «святолепного», но даже просто ничего внушительного. Он казался только разгневанным и «преогорченным». Тревожный взор его как будто вопрошал всех и каждого: «Что это такое? Отчего это я могу ходить пешком?»

Дядя Шкотт был человек религиозный и даже езжал в русскую церковь, к которой принадлежала его жена и дети, но, на несчастие, он о ту пору был сердит на архиереев. Это вышло по одному, незадолго перед тем случив-

шемуся, случаю с дочерью его великобританского друга, мисс Сп—нг. Дело это состояло в том, что мисс Сп—нг, гостя у своих и у наших друзей в Орловской губернии, заболела и, как девушка религиозная, позвала к себе единственное духовное лицо в деревне — приходского священника. А добрый сельский батюшка не только помазал ее миром и причастил, но и примазал ей это в ее документе, то есть сейчас же «учинил о сем надпись на ее паспорте».

Между тем умиравшая мисс Сп—нг после совершенного над нею тайнодействия не только выздоровела, но вскоре же была помолвлена за сына известного московского английского коммерсанта г. Л—ви. И тут, когда дело дошло до венчания, московский английский пастор набрел на самый неожиданный сюрприз: невеста значилась *«православною»*. Обе английские семьи и весь московский английский приход, не сумев достойно оценить это обстоятельство, пришли в непонятное смятение и ужас. И вот пастор с моим дядею отправились к митрополиту Филарету Дроздову «отпрашивать» присоединенную по неведению англичанку, но митрополит им отказал. Тогда дело поправили иначе — гораздо легче и проще. Горю помог в этом случае один московский квартальный, указавший средство переписать оправославленную невесту снова в ее прежний еретический англиканизм. Секрет, сколько припоминаю, состоял в том, что паспорт англичанки с надписью о ее присоединении *утратили* и вытребовали ей новый, на котором никакой надписи о присоединении не было. Так ее и перевенчали как *будто англиканку,* хотя благодать православия на ней, разумеется, осталась и до сего дня. Но все-таки московских англичан Леонтьевского переулка все эти хлопоты сердили, и дядя Шкотт был, по его словам, «зол на архиереев» и дал слово не иметь с ними никаких дел. Однако нижеследующий случай заставил его нарушить это слово.

О местном п⟨ензен⟩ском архиерее В⟨арлааме⟩ мы коечто знали, но по преимуществу только смешное. Он отличался независимостью в расправе с подчиненными и вообще разнообразно чудесил. Так, например, он целую зиму клал у себя в спальной соборного протоиерея О — на для того, чтобы отучить этого старичка от нюхания табаку

даже в ночное время. Впрочем, некрологисты этого архиерея говорят о нем разно, но в П⟨ен⟩зе он слыл за человека грубого, самочинного и досадительного.

Мы им, разумеется, особенно нимало не интересовались, но тут нам захотелось посмотреть, не покажет ли он при настоящем случае какое-либо чудодейство? И вот мы с дядею Шкоттом вошли вслед за процессиею в церковь, конечно никак не ожидая, что его преосвященство постарается показать себя именно насчет одного из нас.

Когда мы вошли в церковь, недовольный путешествием архиерей жестоко шумел на кого-то в алтаре и покрикивал так интересно, что мы постарались подойти поближе и стали на левом клиросе. Царские врата были открыты, и до нас свободно долетали слова: «пес, дурак, болван», которые, кажется, главным образом выпадали на долю отца-настоятеля, но, может быть, по частям доставались и другим лицам освященного сана. Но вот, наконец, епископ, все обозрев и сделав все распорядки в алтаре, вышел на солею, у которой стояли ктитор и еще человека два-три не из духовных. Здесь же находилась и «матушка» отца-настоятеля, пришедшая просить его преосвященство на чай.

Преосвященный все супился и, раздавая всем по рукам благословение, спрашивал каждого: «чей такой?» или «чья ты?» и, раздав эти благословения, на низкий поклон и привет матушки ответил:

— Ступай, готовься, — приду.

И затем он вдруг неожиданно обратился к нам, смиренно стоявшим на левом клиросе, и громко крикнул:

— А вы что? Чьи вы? Чего молчишь, старик?

Англичанин мой замотал головою, что́ у него обыкновенно бывало признаком неудовольствия, и неожиданно для всех ответил:

— А ты чего кричишь, старик?

Архиерей даже покачнулся и вскрикнул:

— Как? Что́ ты такое?

— А ты что́ такое?

Шумливый епископ как будто совсем потерялся и, ткнув по направлению к нам пальцем, крикнул священнику:

— Говори: кто этот грубец? (sic).[1]

— Грубец, да не глупец, — отвечал Шкотт, предупредив ответ растерявшегося священника.

Архиерей покраснел, как рак, и, защелкав по палке ногтями, уже не проговорил, а прохрипел:

— Сейчас мне доложить, *что это* такое?

Ему доложили, что *это* А. Я. Шкотт, главноуправляющий имениями графов П⟨еров⟩ских.

Архиерей сразу стих и вопросил:

— А для чего он в таком уборе? — но, не дождавшись на это никакого ответа, направился прямо на дядю.

Момент был самый решительный, но окончился тем, что архиерей протянул Шкотту руку и сказал:

— Я очень уважаю английскую нацию.

— Благодарю.

— Характерная нация.

— Ничего: хороша, — отвечал Шкотт.

— А что здесь случилось, прошу покорно, пусть остается между нас.

— Пусть остается.

— Теперь же прошу к священнику: откушать вместе моего дорожного чаю.

— Отчего не так? — отвечал дядя, — я люблю чай.

— Значит, обруселн?

— Нет, — значит — чай люблю.

Преосвященный хлопнул дядю по-товарищески по плечу и еще раз воскликнул:

— Ишь, какая характерная нация! Полно злиться!

А затем он оборотился ко всем предстоявшим и добавил:

— А вы ступайте по своим местам.

И наговорившие друг другу комплиментов англичанин и архиерей долгонько кушали чай и закусывали «из дорожных запасов» владыки, причем его преосвященство в это время не раз принимался хлопать Шкотта по плечу, а тот, не оставаясь в долгу, за каждую такую ласку в свою очередь дружески хлопал его по стомаху. Оба они остались друг другом столько довольны, что на прощанье братски расцеловались, причем Шкотт так сильно сжал

[1] Так (*лат.*).

поданную ему архиереем руку, что тот сморщился и еще раз вскрикнул:

— Ох, какая здоровая нация!

Так все это мирно и приятно кончилось в мимолетном свидании этого архипастыря с англичанином, а между тем этого самого архиерея иные его современники представляли человеком и злым и желчным, да и позднейшие некрологисты не могут согласиться в его оценке. Я же более согласен с тем из них, который старается доказать, что преосвященный В⟨арлаам⟩ имел очень доброе сердце. По крайней мере я не вижу причины, которая не позволила бы мне заключить, что этот человек владел золотою способностью делаться очень незлобивым, *если* чувствовал, что имеет дело с человеком, принадлежащим к «здоровой нации». А в таком случае очень возможно, что те, которым он казался неукротимым, вероятно, только не умели себя с ним держать. Не надо забывать старого правила: «кто хочет, чтобы с ним уважительно обходились другие, тот прежде всего должен уважать себя сам».

Мне кажется даже, что его преосвященство имел несколько высокий для русского человека идеал гражданского общества, и потому-то именно он и раздражался презренным низкопоклонством и лестью окружающих. Он хотел видеть людей более стойких и потому, встретясь с человеком «здоровой нации», сейчас же пришел в отрадное состояние удовлетворения. Если бы он ранее встречал подобное со стороны русских людей, то, наверно, и они могли бы привести его в такое же доброе расположение. И это, может быть, самый удачный вариант, которым, мне кажется, напрасно не воспользовался духовный апологет преосвященного В⟨арлаама⟩.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Были также не раз высказываемы жалобы, будто архиереи порою обнаруживают *неодолимую* упорность в невнимании к жалобам прихожан на неудовлетворяющее сих последних приходское духовенство. Было говорено именно так, что упорство этого рода бывает *«неодолимо»*. Мне, с моей точки зрения, и это кажется преувеличенным,

и я постараюсь представить на это пример в пользу моего мнения.

На этот раз мы будем вести речь об особе очень большой, особе, ездившей «на шести животных с двумя человеками на запятках», об особе, имевшей видную роль в истории, известной во всех родах литературы и во всех подвигах веры, не исключая строжайшего постничества.

Об этом владыке злые языки говаривали (что даже где-то было и напечатано), будто он «ел по одной просфоре, но целым попом закусывал». Эта злобная выходка так при нем и осталась. А между тем один маленький случай, который я хочу здесь рассказать, может свидетельствовать, что владыка едва ли имел приписываемый ему странный аппетит «целым попом закусывать». И он, как увидим, иногда стоял за своих попов, и даже очень твердо.

У графини В⟨исконти⟩, дочери известного партизана Дениса Давыдова, в свое время очень изящной и бойкой светской дамы, в одной ее М—ской деревне завелся не в меру деньголюбивый поп. Он притеснял крестьян графини до того, что те вышли из терпения и не раз уже на него жаловались, но или жалобы крестьян не доходили по назначению, или же у попа при владыке, как говорят, была «своя рука». Но как бы там ни было, а только приход никак не мог избавиться от своего грабителя. О том же, чтобы унять его нестерпимое корыстолюбие, не могло быть и речи, так он «в сем заматорел, будучи в летах преклонных».

Но вот приехала из-за границы навестить свои маетности графиня, обыкновенно постоянно проживавшая в Париже. Крестьяне тотчас же пали ей в ноги, умоляя ее сиятельство «стать за отца за матерь: ослобонить их от ворога», причем, разумеется, рассказали все, или по крайней мере многие, проделки «ненасытного» пастыря.

Графиня вскипела и позвала к себе «ненасытного», но тот не только не покаялся, а еще оказался искусным ответчиком и нагрубил барыне вволю.

Пылкая и тогда еще очень молодая дама сейчас же написала обо всем этом самое энергическое письмо вла-

дыке и была уверена, что его преосвященство непременно обратит внимание на ее справедливую просьбу, а может быть, даже и сам ей ответит с галантною вежливостью монсиньора Дарбуа. Но русский владыка, конечно, был не того духа, как архиепископ парижский. Наш владыка был обременен безмерною мудростию, тяжесть которой не позволяла ему быть скороподвижным, а внимательностью к просьбам он никого не баловал. Будучи мудр от младых ногтей, он, по преданиям, еще в юности употреблял поговорку: «скорость потребна только блох ловить». Он не делал исключения даже для спасения утопающих, где тоже «потребна» скорость. Тяжелая медлительность этого Фабия Кунктатора была чертою его расчетливого и осторожного характера, а теперь ее, кажется, хотят сделать даже стимулом его святости.

Судя по отзывам панегиристов покойного, можно думать, что он не изменил бы этому своему правилу даже в том случае, если бы миру угрожал новый потоп и от его преосвященства зависело бы заткнуть дыру в хлябях небесных. Он и тогда не ускорил бы движения перста, и тогда он продолжал бы в самоуглублении созерцать

...вдали козни горького зла,
Тартар, ярящийся пламень огня, глубину вечной ночи,
Скрытое ныне во тьме, явное там в срамоте.[1]

Некто, знавший его более других, сказал, что владыка был «прежде всего и после всего *монах*», и притом самый строгий, *«истовый»* монах, ставивший свой аскетизм выше всех своих обязанностей духовного администратора. И вот с этакою-то нерушимою скалою аскетизма предстояло вступить в состязание молодой, красивой женщине, полупарижанке, избалованной своими успехами в свете, где поклонялись ее веселому остроумию, красоте и очень оригинальной независимости характера.

Бой мог быть интересным, но с первого же шага обещал быть неравным. Владыка не отвечал графине: он или совсем не удостоил внимания ее письмо, или же ее хлопоты о каких-то притеснениях, чинимых попом каким-то крестьянам, казались ему «суетными». А может быть,

---

[1] «Увещательная песнь св. Григория Богослова», стихотворный перевод митрополита Филарета Дроздова. *(Прим. автора.)*

и самое нетерпение крестьян представлялось ему «малодушеством», к которому он стоически относил все человеческие скорби и несчастия. Но графиня, привыкшая к иному с нею обхождению, обиделась и послала его преосвященству другое письмо, за другим третие, четвертое, пятое, десятое... Владыка все не отвечал ни одним словом, и ни о каком распоряжении к удовлетворению просьбы графини вести не было.

Не оставалось сомнения, что владыка так и преодолеет даму, покрыв пыл ее светского негодования своим молчаливым безучастием «истового монаха».

Но на этот раз нашла коса на камень. Оскорбленная невниманием владыки, графиня не хотела ему «подарить» этого, и, как только приспел час ее отлету с милого севера к своим сезонным удовольствиям в Париж, она призвала безутешных крестьян и дала им слово «сама быть у владыки и не уйти от него до тех пор, пока поп будет смещен».

Крестьяне откланялись графине на ее ласковом слове, но едва ли верили в возможность его исполнения.

Судьба, однако, определила иначе.

Графиня повела дело своих крестьян с свойственною ей энергиею и нетерпеливостью. Она и мысли не допускала, чтобы это смело задержать ее в городе более трех-четырех часов, которые она могла пожертвовать крестьянам в ожидании поезда, приближавшего ее к границе. Поэтому она тотчас же с дороги переоделась в черное платье и в ту же минуту полетела к владыке.

Время было неурочное: владыка *никого* не принимал в эти часы, но келейник, очутясь перед такою ослепительною в свою пору дамою, с громким титулом и дышащим негодованием энергическим лицом, оплошал и отворил перед ней двери.

Ей только и надо было.

Графиня смело взошла в зал и, сев у стола, велела *«попросить* к себе владыку».

— Попросить!.. — Келейник только руки развел... — Будто же так говорят! — но гостья стояла на своем: «сию же минуту *попросить к ней* владыку, так как она приехала к нему *по делу церкви»*.

— По церковному делу пожалуйте завтра, — упрашивал ее шепотом келейник.

— Ни за что на свете: я сейчас, сию минуту должна видеть владыку, потому что мне некогда; я через полтора часа уезжаю и могу опоздать на поезд.

Келейник увидал спасение в том, что графиня не может долго ожидать, и с удовольствием объявил, что теперь владыку решительно нельзя видеть.

— Это ложь, он меня примет. Я требую, чтобы вы сейчас обо мне доложили.

— Помилуйте, спросите у кого угодно, принимает ли кого-нибудь владыка в эти часы? и вы изволите убедиться...

— Нет, это вы изволите убедиться, что вы говорите ложь! Сейчас прошу обо мне доложить, или вы увидите, как я сумею вас заставить делать то, что составляет вашу обязанность.

— Воля ваша, но я не могу.

— Не можете?

— Не могу-с, не смею.

— Хорошо!

С этим графиня быстро поднялась с места, сбросила с плеч мантилью и, подойдя к висевшему над столом зеркалу, стала развязывать ленты у своей шляпки.

Келейник смешался и уже умоляющим голосом заговорил:

— Что это вам угодно делать?

— Мне угодно снять мою шляпу, чтобы было спокойнее, и терпеливо ожидать, пока вы пригласите ко мне вашего владыку.

— Но я... извините... я не имею права вас здесь оставить...

Но на это графиня уже совсем не отвечала: она только обернулась к келейнику и, смерив его с головы до ног презрительным взглядом, повелительно сказала:

— Отправляйтесь на свое место! Я устала вас слушать и хочу отдыхать.

— Отдыхать?!

Послушник совсем опешил: сатаны в таком привлекательном и в то же время в таком страшном виде он еще не видал во всю свою аскетическую практику, а гра-

финя между тем достала бывший у нее в кармане волюмчик нового французского романа и села читать.

Что бы решился предпринять еще далее против этого наваждения неопасливый келейник, — это неизвестно. Но, к его счастью, затруднительному его положению *поспешил* на помощь сам дипломатический владыка.

По рассказу графини, только что она раскрыла свою книгу, как келейник стих, а в противоположном конце зала *что-то зашуршало.*

— Я, — говорит графиня, — догадалась, что это, может быть, *сам он* идет на расправу с моим сорванством, но притворилась, что не замечаю его появления, и продолжала смотреть в книгу. Это его, конечно, немножко затрудняло, и я этим пользовалась. Он не дошел до меня на кадетскую дистанцию, то есть шагов на шесть, и остановился. Я все продолжаю сидеть и гляжу в мою книгу, а сама вижу, что он все стоит и тихо потирает свои как будто зябнущие руки... Мне стало жалко старика; и я перевернула листок и как бы невзначай взглянула в его сторону. Посмотрела на него, но не тронулась с места, делая вид, как будто я не подозреваю, что это сам он. Это было для меня тем более удобно, что он был в одной легкой ряске и каком-то колпачке.

Увидав, что я смотрю на него (продолжаю словами графини), он пристально вперил в меня свои проницательные серые глазки и проговорил мягким, замирающим полушепотом:

«Чем могу вам служить?»

«Мне нужно видеть владыку», — отвечала я, по-прежнему не оставляя своего места и своей книги.

«Я тот, кого вы желаете видеть».

«А, в таком случае я прошу у вашего высокопреосвященства благословения и извинения, что я вас так настойчиво беспокою».

И, бросив на стол свой волюм, я подошла под благословение: он благословил и торопливо спрятал руку, как бы не желая, чтобы я ее поцеловала; но на мое извинение не ответил ни слова, а продолжал стоять столбушком.

«О, нет же, — подумала я себе, — так в свете не водится: объяснение в подобной позиции мне неудобно», — и я, отодвинув от стола свое кресло, пригласила его преосвященство сесть на диван.

Он моргнул раза два глазами и проговорил:

«Я вас слушаю».

— «Нет, — отвечала я, — вы извините меня, владыко: я не могу так с вами говорить. Это неудобно, чтобы я сидела, а вы меня слушали стоя. Усердно вас прошу присесть и сидя меня выслушать».

При этом я, как бы опасаясь за его слабость, позволила себе подвести его за локоть к дивану.

Он не сопротивлялся и сел на диван, а я на кресло.

Мы оба, казалось, были изрядно взволнованы — я его невниманием, а он моим нахальством, и оба несколько времени молчали.

Я начала первая и, скоро овладев собою, рассказала ему, кажется, о всех главнейших обидах, какие терпят от его попа мои крестьяне; я просила во что бы то ни стало взять от нас этого обиралу и дать вместо него в мое село лучшего человека.

Во время всего моего рассказа я наблюдала владыку и видела, что он решил себе ни за что не исполнить моей просьбы. И тут моя врожденная отцовская вспыльчивость сказалась во мне до того решительно, что я способна была наговорить ему таких вещей, о которых, конечно, сама после бы жалела. Но я собрала все свои силы и ждала ответа, который последовал неспешно и, по моим понятиям, в высшей степени возмутительно.

Он опять начал потирать свои руки, взмахнул веками, а потом опять их опустил и опять взмахнул, и тогда только заговорил с медлительными расстановками:

«Я получил... ваши письма...»

Воспользовавшись первою паузою, я заметила, что «сомневалась в судьбе моих писем и очень рада, что они дошли по назначению». А в сущности это меня еще более бесило.

«Да, они дошли, — продолжал он, — я опасаюсь, что вы вовлечены в заблуждение...»

«О, будьте покойны, владыко, я не заблуждаюсь: все, что я вам писала и что теперь говорю, — это сущая правда».

«На духовенство... часто клевещут».

«Очень может быть, но я сама была свидетельницею многих поступков этого нечестного человека».

При словах «нечестный человек» владыка опять взмахнул веками и, остановив на мне свои серые глаза, укоризненно молчал. Но видя, что я смотрю ему в упор, и, может быть, заметив, что во мне хватит терпения пересмотреть и перемолчать его, он произнес:

«И при собственном видении... все еще возможна... ошибка».

«Нет, извините, владыко, я знаю, что в том, о чем я вам говорю, нет ошибки».

Он опять замолчал и потом произнес:

«Но я должен быть... в этом удостоверен».

«Что же вам угодно будет считать достаточным удостоверением?»

«Я велю спросить благочинного... и тогда распоряжусь».

«Но это будет не скоро, и, вы простите меня, я не думаю, чтобы благочинный, его родственник, был более достоверным свидетелем, чем я, дочь человека, известную правдивость которого ценил государь, или чем мои крестьяне, страдающие от попа-лихоимца».

От последнего слова владыка пошевелился и, как бы желая встать, прошептал:

«Я чту память вашего родителя, но... дела должны идти в своем порядке».

«Так дайте хотя средство унять его как-нибудь, пока это дело будет переходить свои несносные порядки!» — сказала я, чувствуя, что более не могу, да и не хочу владеть собою.

«Прикажите сказать ему... моим именем, что мне... о нем доложено».

«Для него ничего не значит ваше имя».

Владыка остановил свои ручки, но терпеливо ответил:

«Это... не может быть».

«Нет, извините: я не приучена лгать, и если я вам это говорю, то это именно так и есть. Я ему давно говорила, что буду вам жаловаться, но он отвечал: «Владыка нам ни шьет, ни порет, а нам пить-есть надо».

И только что я это проговорила, как тихий голос владыки исчез и угасший взгляд его загорелся: он пристально воззрился на меня во все глаза и, точно вырастая с дивана, как выдвижной великан в цирке, произнес звучным, сильным и полным голосом:

«Он вам это сказал?!»

«Да, — отвечала я, — он сказал: «владыка нам ни шьет, ни порет...»

И не успела я повторить всей фразы, как в дрожащей руке владыки судорожно зазвенел серебряный колокольчик, и... я через полчаса могла со станции железной дороги послать в деревню известие, что корыстолюбивый поп от нас уже взят.

Этот незначительный случай, я думаю, может показать, с одной стороны, что наши владыки очень осторожны в своих расправах с духовенством и склонны к решительным мерам только тогда, когда узнают о недостатке субординационной почтительности в иерархии. С другой же стороны, отсюда можно видеть, что при всей прозорливости наших епископов, каковою, по мнению многих, особенно отличался сейчас упомянутый святитель, и они, эти высокоблагодатные люди, все-таки могут погрешать и быть жертвами своей доверчивости. Так это и случилось в рассказанном мною случае. Корыстолюбивый поп, виновный во множестве дурных поступков, не виноват был только в том, что ему навязала приведенная в азарт графиня: *он никогда не говорил погубивших его слов, что «владыка ему ни шьет, ни порет».*

ГЛАВА ПЯТАЯ

Однако, если бы предшествовавший случай был поставлен в вину владыке, который так незаметно попал в женские сети, то не надо забывать, что этих опасных сетей иногда не избегали даже и такие святые, которые творили чудеса еще заживо. Но зато у нас известны и другие епископы, которых никакие жены не могли уловить в свои сети. Один из таковых, например, достойный Иоанн Смоленский, о котором ходит следующий анекдот.

Вскоре по прибытии его в Смоленск, даже едва ли не после первой совершенной им там службы, две местные «аристократки» пожаловали в его приемную и приказали о себе доложить.

Архиерей между тем уже успел снять рясу и сел с стаканом чая к своему рабочему столу, на котором, вероятно, написаны многие из его вдохновенных и глубоких сочинений.

Услыхав доклад о посетивших его дамах, Иоанн удивился их желанию его видеть и, не оставляя своего места, приказал докладчику спросить их, что им нужно.

Тот вышел и через минуту возвратился с ответом, что дамы пришли «за благословением».

— Скажи им, что я сейчас всех благословил в церкви.

Келейник пошел с этим ответом, но опять идет и докладывает, что «дамы желают особо благословиться».

— Скажи им, что моего одного благословения на всех достаточно.

Келейник пошел разъяснять беспредельность расширяемости архиерейского благословения, но снова идет назад с неудачею.

— Требуют, — говорит, — чтобы их *особенно благословили.*

— Ну, скажи им, что я их и особо благословляю и посылаю им это мое особое благословение чрез твое посредство.

Но келейник пошел и опять возвращается.

— Они, — докладывает, — и теперь не уходят.

— Чего же им еще нужно?

— Говорят, что желают поучения.

— Попроси извинить, я устал, а поучение им в церкви скажу.

Но келейник опять возвращается.

— Еще что? — спрашивает епископ.

— Недовольны, говорят: «мы для домашней беседы пришли».

Преосвященный, продолжая оставаться за рабочим столом, протянул руку к полке, на которой у него складывались получаемые им газеты, и, взяв два нумера «Домашней беседы» г. Аскоченского, сказал келейнику:

— Дай им поскорее «Домашнюю беседу» и скажи, что я тебе не позволяю мне о них более докладывать.

Дамы удалились и никогда более не возвращались для домашней беседы с епископом, который зато с этой поры стал слыть у некоторых смолян нелюдимым и даже грубым, хотя он на самом деле таковым не был. По крайней

мере люди, знавшие его ближе, полны наилучших воспоминаний о приятности его прямого характера, простоты обхождения, смелого и глубокого ума и настоящей христианской свободы мнений.

Повторяемый же в рассказах о нем вышеприведенный анекдот с двумя смоленскими дамами, кажется, нет нужды относить к *нелюдимству* покойного епископа. Его, может быть, скорее надо отнести к тому чувству, какое должны были возбуждать в этом умном человеке праздные докуки так называемых «архиерейских барынь», которые, к сожалению и к унижению своего пола, еще и до сих пор в изобилии водятся повсюду, где есть владыки, склонные напрасно баловать таких особ своим вниманием и тем поощрять и развивать в них суетность, не распознающую благочестия от святошества.

Этот анекдот также должен относиться не к укоризне нашим епископам, а, напротив, к похвале их проницательности, и он, по моему мнению, прекрасно поясняет собою анекдот о приеме, которого достигла графиня В⟨исконти⟩. Смоленские дамы, докучавшие епископу, так сказать, по ханжеской *рутине,* встретили твердый отпор и были отосланы к «Беседе» г. Аскоченского, а графиня В⟨исконти⟩, настойчиво действовавшая *по вдохновению,* была принята и удовлетворена, как требовало дело.

Кто бы что ни говорил, но такая способность отстранить с твердостию мертвящую рутину и отдать должное живому вдохновению, конечно, говорит в пользу, а не во вред того высокого представления, какое нам приятно иметь о наших иерархах, положение коих часто бывает очень трудно и очень неприятно. В обществе этого и не воображают, потому что в обществе не знают множества тягостных мелочей архиерейского обихода.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Дамы, даже очень благочестивые, не исключая принявших сан «ангельский», имеют удивительную способность доводить наших святителей до прегрешений, которых те, по своей известной солидности, конечно, ни за что бы без женской докуки не сделали. Так, например, о покойном

«русском Златоусте» Иннокентии Таврическом (Борисове) известно, что он был человек не только умный и даровитый, но и до того свободомысленный, что, бывши киевским ректором, прощал и покрывал грубые кощунственные выходки В. И. Аскоченского, а в письмах своих к Максимовичу, даже прежде Флуранса, вступался за «душу бедных животных». Анекдотов о его либерализме было много, и они достоверны, хотя добрая их половина свидетельствует, что этот замечательный человек был несвободен от некоторого, в своем роде хлыщеватого фатовства.[1] Однако все это можно совместить и помирить с многосторонностию увлекавшейся художественной натуры Иннокентия. Но вот чему совершенно трудно поверить, — это что высокопросвященный либерал Иннокентий мог хоть раз в жизни драться, и притом драться весьма демократически, сердитее и азартнее прославившегося в этом деле Смарагда или блаженной памяти уфимского Августина, который, говорят, бивал архимандрита Филарета Амфитеатрова, бывшего впоследствии киевским митрополитом. И что же: кто довел до такого поступка нашего даровитейшего витию Иннокентия? Женщина, и вдобавок инокиня, и даже игуменья.

Один сотрудник преподобного Иннокентия по переводу богослужебных книг на зырянский язык рассказывал мне и многим другим следующую энергическую расправу «русского Златоуста». Владыка Иннокентий служил как-то в вологодском или в устюжском женском монастыре, сестры которого вместе с своею игуменьею поднесли ему за это довольно ценный образ. Зная скудость средств бедной обители, Иннокентий не захотел принять этого ценного и притом ему совершенно ненужного подарка. Он усердно поблагодарил мать игуменью и сестер, но икону просил их

[1] Так, например, едва ли многие знают, что изумлявшая современников *разносторонность* сведений знаменитого Иннокентия часто почерпалась им на краткосрочное подержание из карманной французской «Энциклопедии мыслей». «Русский Златоуст», отправляясь куда-либо, где ему предстояло блеснуть, подготовлялся по этой книжке, которая, говорят, и найдена в столе преосвященного после его смерти. «Воспитаньем, слава богу, у нас немудрено блеснуть». *(Прим. автора.)*

оставить у себя. Верно, он думал, что они найдут как-нибудь средство реализировать произведенные на нее затраты: поступок, конечно, благоразумный и вполне достойный памяти Иннокентия. Послушайся благочестивые сестры обители своего доброго и рассудительного архипастыря — все бы прекрасно и обошлось. Но им это пришлось не по обычаю, и они таки доставили образ в архиерейский дом, где одна из именуемых петровским регламентом «несытых архиерейских скотин» за известную мзду взялась передать тот образ владыке и якобы это и исполнила. Благочестивые сестры добились своего и успокоились.

Прошло немало времени; владыка занимается своими учеными трудами и сверяет с сотрудником зырянские книги, как вдруг однажды ему понадобился его келейник, который, как на грех, на ту пору отлучился и не явился по владычному зову. Сотрудник хотел пойти и позвать его, но скорый Иннокентий предупредил и сам прошел в келейницкую, где думал застать своего служку спящим. Но келейника он тут не нашел, а зато нашел на его стене знакомый образ, сооружения сестер вологодской обители. Владыка вскипел и, призвав келейника, сию же минуту *избил* его не только руками, но и *ногами*. Раздраженный епископ бил взяточника до изнеможения сил и, престав от сего делания, сейчас же послал сию самую «несытую скотину» отнести игуменье образ, которым эта назойливая женщина, по своему непослушанию и упрямству, довела своего владыку до такого гнева, что он, по словам очевидца, «несмотря на свой досадительно малый рост, являл энергию и силу Великого Петра».

Поступок, конечно, горячий и не архипастырский, но не нужно и не должно забывать, что все это происходило в оные, относительно недавние, времена, когда считалось неблаговидным, чтобы духовный правитель имел у себя даже для чистки сапог и других домашних услуг простого наемного человека, который удобнее тем, что он привычнее к лакейскому делу и не пользуется в глазах невежд авторитетом лакея монашествующего. Тогда архиерей непременно должен был терпеть при себе если не ту, так другую «несытую скотину», облеченную в долгую одежду и препоясанную по чреслам поясом усменным. Этого требовал закорузлый этикет владычных домов, об упраздне-

нии которого, впрочем, еще и поныне скорбят иные ханжи и пустосвяты.

Теперь все это уже отошло в область минувшего: нынче уже не слыхать, чтобы архиереи дрались; вероятно, они не дерутся, да и не будут драться. [1] И в этом опять нельзя не видеть их важного преимущества перед всеми обыкновенными смертными: обыкновенные люди на Руси, по общим приметам, посмирнели со времени введения мировых учреждений, — говоря простым языком, они «испугались мирового», но архиерею мировой не страшен. Если бы случилось, что нынче кого-нибудь прибил бы архиерей, то побитый напрасно пошел бы жаловаться к мировому — мировой архиерею не судья. Архиерей превыше суда мирского и потому страхов его не страшится и не боится. [2] Всеобщий русский укротитель, наш мировой, несомненно не укрощал ни одного архиерея — архиерей сам себя укротил и засмирел. Отчего же это! Что так благодетельно подействовало на архиерейские нравы? Некоторые указывают как на причинное в этом событие на соборную историю калужского епископа Григория, которого кинулся бить недовольный им дьячок. Но это, очевидно, такое же случайное происшествие, как и другая соборная история киевская, когда была провозглашена анафема епископу Филарету Филаретову (впоследствии епископу рижскому), и третья история в петербургском соборе с викарием Добронравиным, в которого был брошен камень. Все это происшествия чисто случайного характера, каковые бывали и прежде, но на архиереев не производили нынешнего отрадного влияния. [3] А потому

---

[1] Слова эти, к крайнему моему удивлению, вызвали самое неожиданное опровержение из Москвы, где, как нарочно, на этот грех один из тамошних святителей в октябре месяце 1878 г. «избил в кровь какого-то монаха, отца Меркурия». — Такая опрометчивость с моей стороны поставлена газетами мне на вид («Новости», 4 ноября 1878 г., № 282), и я должен повиниться, что никаких оправданий принести не могу. Я думал, что архиереи не будут более драться, но вышло, что я ошибся. *(Прим. автора.)*

[2] Происшествие с московским о. Меркурием это подтвердило. О. Меркурий, как писано о нем, не нашел никакой справы на избившего его святителя. Известие это в органе св. синода, сколько я знаю, не опровергнуто. *(Прим. автора.)*

[3] Охотники видеть во всякой такой случайности что-то «систематическое» забывают харьковский случай, когда анафему архиерею хватил посреди собора в день православия его же соборный

в заметном нынешнем самоукрощении особ этого сана, я думаю, нельзя считать виновниками раздражительных маньяков, возглашающих архиереям анафемы или мечущих в них камни. Мне кажется, что, может быть, гораздо основательнее видеть здесь влияние общего *духа времени*, который, как бы он кем ни понимался и ни истолковывался, но, по прекрасному выражению И. С. Тургенева, оказывает на всех неодолимое давление, побуждая всякое величие *опрощаться*. Правда, что некоторые из особ гражданских и военных до сих пор еще как бы этого не чувствуют и, опять по выражению того же Тургенева, продолжают в военном генеральстве «хрипеть», а в статском «гундосить»: но архиереев и нельзя ставить с этими на одну доску; так как между архиереями, несмотря на их владычное своенравие, всегда были и есть люди по преимуществу умные, и потому нимало не удивительно, что направление времени ими почувствовано сильнее, чем другими. Тот бы глубоко заблуждался, кто хотел бы настаивать, будто архиереи изменились поневоле и с напуга. У них не может быть никакого напуга. Живой русский такт, присущий этим людям, выросшим на русских поповках и погостях, дает им верную оценку всяких событий, в которых, несмотря на их порою заносчивый характер, нет ничего способного напугать настоящего русского человека, знающего Русь, как она есть. Нет, архиереи *опростились* просто потому, что все живое и все желающее еще жить теперь опрощается, по неодолимому закону событий, которых никакие тайные гундосы не могут ни остановить, ни направить по иному направлению. Так называемый *престиж* потерялся в заботах тяглой жизни, и его не только не для чего искать, но даже и не у кого более искать. Даже те, которые были окутаны этим *престижем* с ног до головы, и тем «сие оружие оскудеша вконец». Остается еще какое-то русско-татарское кочевряженье, но и оно уже никому не внушает ни почтения, ни

протодиакон. Но тут систематического было только то, что прежде чем хватить анафему своему архиерею, отец протодиакон хватил дома что-то другое, без чего будто бы этим особам «нельзя выкричать большое служение». Епископ Филарет Гумилевский (историк церкви), которого это всех ближе касалось, однако, очевидно, не считал это ни за что систематическое: он хотя и наказал виновного, но не строго и не мстительно. *(Прим. автора.)*

страха. «Жизнь — по выражению поэта (И. С. Никитина) — изнывает в заботе о хлебе».

Русь хочет *устраиваться, а не великатиться,* и изменить ее настроение в противоположном духе *невозможно.* Кто этого не понимает, о том можно *только жалеть...*

Понимать свое время и уметь действовать в нем сообразно лучшим его запросам — это не значит раболепствовать воле масс; нет, это значит только чувствовать потребность «одной с ними жизнью дышать и внимать их сердец трепетанью». И наши лучшие архиереи этого хотят. Откидывая насильственно к ним привитой и никогда им не шедший византийский этикет, они сами хотят *опроститься* по-русски и стать людьми народными, с которыми по крайней мере отраднее будет ждать каких-либо *настоящих* мер, способных утолить нашу религиозную истому и возвратить изнемогшей вере русских людей дух животворящий.

Затем снова продолжаем передвигать нашу портретную галерею, открывая новое ее отделение лицами иного «благоуветливого» характера.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Самая неукротимая, желчная раздражительность оных «бывых» епископов никак не может быть строго осуждаема без внимания к некоторым тяжким условиям их, по-видимому, счастливого и даже будто бы завидного положения. Теперь, когда, благодаря новому порядку вещей, в судах резонно и основательно ищут снисхождения, а иногда и полного оправдания преступных деяний, совершенных в состоянии болезненного раздражения, вызванного ненормальностию функций организма, несправедливо и жестоко было бы не применить этого, хотя в некоторой степени, к людям, осужденным вести жизнь самую вредную для своего здоровья, от которого, по уверениям ученых врачей, весьма много зависит и расположение духа и сила самообладания.

Я смею думать, что такое внимание было бы со стороны общества только справедливостью, в которой оно не должно отказывать никому, в каком бы он ни находился

звании. И причину думать таким образом я имею на основании слов одного очень умного и прямодушного архиерея, о котором мы сейчас будем беседовать.

Но прежде скажу два слова о нелепом представлении, существующем у многих людей, о так называемом «архиерейском счастии» и о «привольностях владычной жизни», которая на самом деле гораздо тягостнее, чем думают.

Надо признаться, что русские миряне, часто ропща и негодуя на своих духовных владык, совсем не умеют себе представить многих тягостей их житейской обстановки и понять значение тех условий, от которых владыки *не могут освободиться,* какова бы ни была личная энергия, их одушевляющая. Так называемые «светские люди» видят только одну сторону епископского житья — так сказать, «казовый его конец», а никогда не промеряли всей материи. В некоторых мирских кружках, где суждения особенно неразборчивы, но смелы, считают «архиерейское житье» верхом счастия и блаженства. Простолюдины, например, говорят обыкновенно о том, «какие важные рыбы архиереи едят, и как, поевши, зобов не просиживают». А между тем какая мука и досада хоть бы с этим «счастием» «есть» и съеденного «не просиживать». [1]

Один из наших молодых епископов, известный уже своими литературными трудами, усердно возделывал сад

---

[1] Впрочем, в самом сказании об архиерейских рыбах тоже немало преувеличенного и даже баснословного. Так, например, рассказывают в народе, будто на «коренную» ярмарку (под Курском) съезжаются архиерейские повара и отбирают для своих владык «всю головку», то есть весь первый сорт проковой копченой и вяленой рыбы, преимущественно белужьего и осетрова балыка; но, разумеется, все это вздор. Встарь, говорят, что-то такое бывало, но уже давно минуло. Встарь, как видно и из записок Гавр. Добрынина, между архиереями действительно бывали не только любители, но и знатоки тонкого рыбного стола; но в наше время и этот след иноческого аристократизма исчез. Нынешние епископы плохие гурмандисты: настоящий архиерейский вкус к тонким рыбам у них утрачен, и, живя по простоте, они и кушать стали простую, но более здоровую пищу, какую вкушают все люди здравого ума и скромного достатка. Дорогие рыбные столы у архиереев теперь бывают редко, и то только для дорогих гостей, — сами же они, в своем уединении, рыбы себе не заготовляют, а кушают большею частию одно... грибное. Некоторые епископы теперь даже берут для себя стол попросту из кухмистерских, где питается всякий «разночинец». *(Прим. автора.)*

при своем архиерейском доме. Гостя лето в том городе и часто посещая его преосвященство, я почти всегда заставал его или за граблями, или за лопатой и раз спросил: с каких пор он сделался таким страстным садоводом?

— Ничуть не бывало, — отвечал он, — я вовсе не люблю садоводства.

— А зачем же вы всегда трудитесь в саду?

— Это по необходимости.

Я полюбопытствовал узнать: по какой необходимости?

— А по такой, — отвечал он, — что с тех пор, как, учинившись архиереем, я лишен *права двигаться,* то начал страдать невыносимыми головными болями; жирею, как каплун, и того и гляжу, что меня кондрашка стукнет.

Взаправду: кто из всех смертных, не исключая даже колодников, может считать себя лишенным такого важного и необходимого права, как *«право двигаться»*? Кажется, никто... кроме русского архиерея. Это его ужасная привилегия: *ему нельзя выйти* за ворота своего двора, а позволяется только *выехать,* и то не на одном и даже не на двух, а непременно на четырех животных, да еще, пожалуй, под трезвон колоколов.

Надо пожить в таком положении, чтобы понять, до чего оно тягостно и как вредно оно отзывается на всем организме. Сколько сил и способностей, может быть, погибло жертвою одной этой привилегии? И как тяготятся этою привилегиею многие из тех, которым завидуют люди, считающие блаженством «есть и не просиживать зоба».

Мой родной брат, довольно известный врач, *специалист по женским болезням,* живет в г. Киеве, в собственном доме, бок о бок с Михайловским монастырем, где имеет пребывание местный викарный епископ. По своей акушерской практике брат мой никаких сношений с своими черными соседями не имел и не надеялся практиковать у них, но вот однажды темною осеннею ночью (несколько лет тому назад) к нему звонится монах и во что бы то ни стало просит его поспешить на помощь к преосвященному Порфирию. [1]

Доктор подумал, что монах ошибся дверями, и приказал слуге разъяснить иноку, что он врач-акушер и для

---

[1] Пр. Порфирий Успенский, известный писатель о Востоке. Скончался в Москве на покое. *(Прим. автора.)*

епископа не годится. Но слуга, вышедший к монаху с этим ответом, возвращается назад и говорит, что монах не ошибся, что он именно прислан к моему брату, которого владыка просит прийти как можно скорее, потому что ему очень худо.

— Что же такое с ним? — спрашивает доктор.

— Очень худо, — говорит: — в животе что-то разнесло.

«Ну, — думает акушер, — если дело в животе, так это уже недалеко от моей специальности», — и пошел, как всегда ходит к требующим его помощи, с мешком своих акушерских снастей и снарядов. Мы было отсоветовали ему не заносить в монастырь этого духа, но он не послушался.

— Надо взять, — говорит, — я без них как без рук.

И он отлично сделал, что настоял на своем.

Возвращается он назад перед самым утром, с ароматною сигарою в зубах, и смеется.

Расспрашиваем его: где был?

— Да, действительно, — говорит, — был у архиерея.

— А кому же ты у него помогал?

— Да ему же и помогал.

— Неужели, — спрашиваем, — и инструменты недаром брал?

— Да, — говорит, — одна инструментина пригодилась, — и рассказывает вообще следующее.

— Прихожу, — говорит, — в спальню и вижу — архиерей лежит и стонет:

«Ох, доктор! как вы медлите... мне худо».

Я ему отвечаю: «Извините, владыка, ведь я акушер и лечу специально одних женщин». А он говорит:

«Ах, полноте, пожалуйста: есть ли когда теперь это разбирать, — да у меня, может быть, и болезнь-то женская».

«Что же у вас такое?»

«Брюхо вспучило — совсем задыхаюсь».

— И вижу, — говорит доктор, — он действительно так тяжело дышит, что даже весь побагровел и глазами нехорошо водит; а в брюхе, где ни постучу, все страшно вздуто.

«У вас, — говорю, — все это газами полно — и ничего более».

«Да я и сам, — отвечает, — думал, что в ином-то ни в чем вы меня не обличите, а только помогайте».

«Желудок надо скорее очистить», — сказал доктор.

«И не трудитесь: все напрасно: одеревенел и не чистится».

И архиерей назвал самые сильнейшие слабительные, которые он (сам изрядный знаток медицины) употреблял, но все бесполезно.

«Худо», — молвил акушер.

«Да-с, — отвечал епископ, — совсем весь свой аппарат испортил. Хоть ничего не ешь и не пей, а все его не убережешь в этой нечеловеческой жизни. Но теперь... умоляю... хоть какую-нибудь струменцию, что ли, в ход пустить, только бы полегчало».

Тут-то и пригодилась инструментина из акушерского ридикюля, а после принесенного ею быстрого облегчения настал приятный разговор, начавшийся с того, что врач сказал облегченному святителю, что он ему не будет ничего прописывать, потому что болезнь его не от случайной неумеренности, а от недостатка воздуха и движения, но что состояние его, обусловливаемое этими причинами, очень серьезно и угрожает его жизни.

«Ах, я с вами согласен, — отвечал пр. Порфирий. — Но что же вы мне посоветуете?»

«Больше ходить по воздуху, преимущественно по горкам, которых у нас так много».

«Как же, как же... прекрасно; да еще бы, может быть, часа полтора в сутки верхом на коне поездить?»

«Это бы очень полезно».

«Сядьте же, дорогой сосед, поскорее к моему столу и напишите мне все это, по старой формуле, «cum deo». [1]

«Зачем же это писать, когда я вам это так ясно сказал».

«Да мало ли что вы мне сказали. Я и сам без вас все это знаю. Нет, а вы мне это напишите, а я попробую в синод просьбу послать и приложу ваш рецепт: не разрешат ли мне, хоть *ради спасения жизни, часа два в день по улицам пешком ходить?* Но нет, впрочем, не хочу вас напрасно и затруднять, не пишите. И св. синод мне такой льготы не разрешит, да и благочестивые люди

[1] С богом *(лат.)*.

мне не дадут пешком ходить: все под благословение будут становиться. Другое бы дело верхом ездить, я это и люблю, и когда-то много на Востоке на коне ездил, и тогда никаких этих припадков не знал, но на Востоке наш брат счастливее, там при турках проще можно жить и свободнее можно двигаться».

«Ну, вы бы, — говорит доктор, — как-нибудь у себя дома устроили себе моцион».

«Летом, когда сад открыт, я хожу по саду. Хоть и скучно все по одному месту топотать, но топочу. А вот как придет осень с дождями, так и сел. Куда же в топь-то лезть? А на дворе на мощеные дорожки выйти — опять благословляться пристанут. И сижу в комнате. Зима, все дни дома, и весь весенний ранок тоже дома. Вот вы и посчитайте: много ли архиерею по воздуху-то можно ходить?»

«У вас по монастырскому двору зимою дорожки есть?»

«Как же, есть; только мне-то по ним ходить нельзя».

«Отчего же?»

«Сан велик ношу; монахи будут стесняться со мною гулять, да и мне, скажут, непристойно с ними панибратствовать; а потом благочестивцы прознают, что архиерей наружи ходит, за благословением одолеют. Словом, беспокойство поднимется: даже мой монастырский журавль и конюшенный козел, которые нынче имеют передо мною привилегию разгуливать по той дорожке, — и они почувствуют стеснение от моего появления на воздух. Какой же вы мне иной, более подвижный образ жизни можете указать?»

Врач развел руками и отвечал:

«Никакого».

«А вот то-то и есть, что «никакого». Я давно говорю, что мы, архиереи, самые, может быть, беспомощные и даже совсем пропащие люди, если за нас медицина не заступится».

«Медицина? — повторил врач, — ну, ваше преосвященство, вряд ли вы от нас этого дождетесь».

«А почему?»

«Да ведь мы не набожны... Скорее набожные люди пусть за вас заступятся».

«Так-то и было! Эк вы куда хватили! — набожные-то это и есть наши губители. Перед ними архиерей, наевшись

постной сырости, рыгнет, а тот это за благодать принимает — говорит, будто «душа с богом беседует», когда она совсем ни с кем не беседует, а просто от тесноты на двор просится! Нет! медицина, государь мой, одна медицина может нас спасти, и она тут не выйдет из своей роли. Медицина должна нами заняться не для нас и не для благочестия, а для обогащения науки».

«Какую же услугу может оказать медицине занятие архиереями? Это очень интересно».

«Очень интересно-с! Медицина через нас может обогатить науку открытиями. Я вот за столько лет моих кишечных страданий очень зорко слежу за всеми новыми медицинскими диссертациями и все удивляюсь: что они за негодные и неинтересные темы берут! Тот пишет о лучистом эпителии, другой — о послеродовом последе, словом, все о том, что выплевывается да извергается, а нет того, чтобы кто-нибудь написал диссертацию, например, «об архиерейских запорах». А это было бы и ново, и оригинально, и вполне современно, да и для человечества полезно, потому что мы, освежившись, сделались бы добрее... намекнуть бы только об этом надо где-нибудь в газетах, а то наверное найдется умный медик, который за это схватится. И уж какая бы к нему отборная духовная публика на диспут съехалась, и какую бы он себе выгодную практику приготовил, специализовавшись по этому предмету. А наше начальство, увидав из этого рассуждения доказательства, отчего род преподобных наиболее страждет и умаляется, может быть смилостивилось бы и позволило бы нам ходить пешком по улице. И, может быть, тогда и люди-то к нам больше привыкать бы стали, и начались бы другие отношения — не чета нынешним, оканчивающимся раздаянием благословений. Право, так! Я или другой архиерей, ходя меж людьми, может быть кого-нибудь чему-нибудь доброму бы научили, и воздержали бы, и посоветовали. А то что в нас кому за польза? Пожалуйста, доктор, поверните нас на пользу науки и пустите об этом, промежду своими, словечко за нас — *запорников*».[1]

И больной с доктором, пошутив, весело расстались.

---

[1] Лица, имеющие какие-либо сношения с специальными медицинскими органами, может быть действительно принесли бы неко-

А между тем подумайте, читатель: сколько горького в этой шутке, которою отводил свою досаду очень умный русский человек духовного чина? сколько в том, что он осмеивал, чего-то напрасного, обременяющего и осложняющего жизнь невыносимыми условиями, которые чуть не целые века стоят неизменными только потому, что никто не хочет понять их тяжесть и снять с людей «бремена тяжкие и неудобоносимые»...

Положим, что наше облагодатствованное духовенство невозможно ставить на одну доску с какими-нибудь совсем безблагодатными протестантскими пасторами, которые ходят повсюду, куда можно ходить частному человеку; но если даже сравнить положение нашего епископа с положением лица соответственного сана римской церкви, то насколько свободнее окажется в своих общественных отношениях даже римский епископ? Этот не только может проехать к знакомому мирянину без звона и на простом извозчике, но он посещает безвредно для себя и для церкви музеи, выставки, концерты, сам покупает для себя книги, а с одним из таковых, еп. Г—м, большим любителем старинного искусства, я даже не раз хаживал к букинистам на петербургский Апраксин двор, и все это не вредило ни сану епископа, ни его доброй репутации, ни римской церкви.

Почему же наш епископ лишен этой свободы, и почему лишение это идет, например, так далеко, что когда один из русских епископов, человек весьма ученый и литературный, пожелал заниматься наряду с другими людьми в залах публичной библиотеки, то говорили, будто это было найдено некоторыми широко расставленными людьми за непристойность и даже за «фанфаронскую браваду» (два слова, и оба не русские)... Мы так не привыкли, чтобы наши епископы пользовались хотя бы самою позволительною свободою, что приходим в недоумение, если встречаем их где-нибудь запросто. Я помню, как однажды покойный книгопродавец Николай Петрович Кораблев (вместо которого, по газетным известиям, ве-

торую пользу человечеству, если бы не пренебрегли точно мною передаваемым мнением епископа об особенном характере их, так сказать, сословного недуга. Может быть, гг. медики убедили бы общество и начальство, что так людям жить нельзя. *(Прим. автора.)*

роятно из вежливости, преждевременно был зачислен умершим его товарищ Сиряков) встретил меня в самом возбужденном состоянии и с живостью и смущением возвестил, что к ним в магазин *заходил епископ!* Но и то это было еще во время óно; да и епископ тот был краса нашей церковной учености, трудолюбивый Макарий литовский, впоследствии митрополит московский...

В обществе о таком «укрывательстве архиереев» думают различно: одни находят, что этого будто «требует сан», а другие утверждают, что сан этого не требует. Люди сего последнего мнения, ссылаясь на простоту и общедоступность «оных давниих архиереев», склонны винить в отчуждении архиереев от мира так называемую «византийскую рутину» или, наконец, кичливость самых архиереев, которым будто бы особенно нравится сидеть во свете неприступнем и ездить на шести животных.

Может быть, что все это имеет место в своем роде и склоняет дело к одному положению. Кто хоть раз бывал в архиерейском доме, тот знает, как там все нелюдимо, дико и как-то бесприютно, и кто видал много владычных домов, тот знает, что нелюдимость и бесприютность — это неотъемлемое качество сих жилищ; а всякое жилище, говорят, будто бы выражает своего хозяина. Еще одно общее архиерейским домам отличительное и притом удивительное свойство, это необъяснимый запах *старыми фортепианами,* который очень легко чувствовать, но причину его отгадать трудно, ибо фортепиан в архиерейских домах не бывает, но этот *скучный запах* там есть, точно в зале старого нежилого помещичьего дома, где заперты фортепианы, на которых никто не играет. Есть и еще *нечто,* как мне кажется, еще более действенное. Довольно общее и притом небезосновательное убеждение таково, что православные любят пышное велелепие своих духовных владык и едва ли могли бы снести без смущения их «опрощение». Об этом даже писано в газете «Голос» по поводу неприятности, случившейся с епископом Гермогеном Добронравиным в Исаакиевском соборе. Однако, впрочем, по игре случая сказано это было в том же самом нумере, где говорилось, что в оное время все газеты будто бы писали не то, что думали. Но на самом деле

православные действительно до того любят велелепие владык, что даже при расписывании своих храмов, на изображаемых по западной стене картинах Страшного суда, настойчиво требуют, чтобы в разинутой огненной пасти геенны цепью дьявола, обнимающего корыстолюбивого Иуду, было непременно прихвачено и несколько архиереев *(в полном облачении)*.[1] Любовь к пышности, мне кажется, несомненна, и она не ограничивается требованием пышности только в служении. Есть православные, которым как будто нужно, чтобы их архиереи и вне храма вели себя поважнее — чтобы они ездили не иначе, как «в пристяж», по крайней мере четверкою, «гласили томно» и «благословляли авантажно», и чтобы при этом показывались не часто, и чтобы доступить до них можно было не иначе, как «с подходцем». А в доме у них все стояло бы чинно в ряд, без всякого удобства — словом, не так, как у людей. Напрасно было бы оспаривать, что все это действительно так; но едва ли можно было бы доказать, что такое «любление» пышности выражает любовь к лицам, от которых она требуется, и укрепляет уважение к их высокому сану. Совсем нет; в этом желании православных «превозвышать» своих архиереев есть живое сродство с известным с рыцарских времен «обожанием женщин», которое отнюрь не выражало собою ни любви, ни уважения рыцарей к дамам: дамы от этого «обожания» только страдали в томительной зависимости. Мертвящая пышность наших архиереев, с тех пор как они стали считать ее принадлежностию своего сана, не создала им народного почтения. Народная память хранит имена святителей «про́стых и препростых», а не пышных и не важных. Вообще «непро́стых» наш народ никогда не считает ни праведными, ни богоугодными. Русский народ любит глядеть на пышность, но уважает *простоту,* и кто

---

[1] Когда в Орле в дни моего отрочества расписывали церковь Никития и я ходил туда любоваться искусством местных художников, то один из таковых, высоко разумея о своем даровании, которое будто бы позволяло ему «одним почерком написать двенадцать апостолов», говорил, что будто ему раз один церковный староста дал десять целковых на шабашку, чтобы он поставил в аду за цепь к Иуде Смарагда, и что он будто бы это отлично исполнил. «Сходства, — говорит, — лишнего не вышло, а притом все, однако, понимали, что это наш Тигр Евфратович». *(Прим. автора.)*

этого не понимает или небрежет его уважением, тем и он платит неуважением же. Не говоря о скверных песнях и сказках, сложенных русскими насчет архиереев, и не считая известных лубочных карикатур, где владыки изображаются в унижающем их виде, одни эти церковные картины Страшного суда с архиереями, связанными неразрывною цепью с корыстолюбивым Иудою, показывают, что «любление» пышности архиерейской стóит не высокой цены и выражает совсем не то, что думают некоторые стоятели за эту пышность. Она скорее всего просто следствие привычки и, может быть, вкуса, воспитанного византизмом и давно требующего перевоспитания *истинным христианством*. Тот же самый народ, которому будто бы столь нужна пышность, узнав о таком «простом владыке», как живший в Задонске Тихон, еще при жизни этого превосходного человека оценил его дух и назвал его *святым*. Этот самый народ жаждал слова Тихона и слушался этого слова более, чем всяких иных словес владык пышных.

Небезызвестен и другой подобный же пример и нынче, но только мы не назовем этого современного нам епископа, из уважения к его скромности и тщательному старанию, с коим он таится от мира в незначительном Ш—ке. Стало быть, не пышность и не велелепие, а еще более не важность и не неприступность служат лучшим средством доброго влияния архиереев на их паству, а, напротив, — качества совсем иные — качества, не только не утверждающиеся на пышности, но даже совсем с нею не сродные: уважается *простота*.

Есть, однако, люди, которые утверждают, что пленительная простота, отличавшая Тихона, возможна только для епископов, отказавшихся от дел управления. Правящий же епископ будто бы не может вести себя так просто — ибо «наш-де народ еще не достиг того понятия, чтобы чтить простоту».

Помимо отвратительного и горького чувства, внушаемого сим подобными словами, которые дышат и невежеством и предательством, они совершенно несправедливы. В подкрепление моей мысли я приведу примеры двух недавно скончавшихся архиереев, кои были младенчески просты, а правили епархиями ничуть не хуже самых «великатных».

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Первый из двух непорочных «младенцев в митрах» был усопший киевский митрополит Филарет Амфитеатров, о милой простоте которого я уже рассказывал в моей книжечке «Владычный суд», но еще и здесь сообщу нечто в воспоминание о его теплой и чисто-детской душе. Это интересно уже по одному тому, что народ вменял Филарету его простоту в *святость*. Посмотрим же, что это был за характер и каким он родился обычаем.

То, что я ниже буду рассказывать, известно мне со слов моего умершего друга, художника Петербургской академии художеств, Ивана Васильевича Гудовского, которого, вероятно, еще очень многие не забыли в Киеве. Он был хороший мастер своего дела и очень добрый, честный и прямой, правдивый человек, которого каждому слову можно было смело и несомненно верить.

Ив. В. Гудовский — сын казака из г. Пирятина. Он еще в отрочестве своем был привезен в Киево-Печерскую лавру и, во внимание к замеченным в нем художественным наклонностям, отдан для научения живописи в лаврскую иконописную мастерскую. Мастерскою этою (пришедшею при митрополите Арсении в совершенный упадок) тогда заведовал иеромонах Иринарх, художественные способности которого многих не удовлетворяли. Иринарху ставили в вину, что «кисть его над смертными играла»; он имел удивительное несчастие всех писать «на одно лицо». И на самом деле, отец Иринарх был не очень большой искусник, но человек очень рачительный и очень полезный. Он оставил в лавре множество памятников своего удивительного мастерства «писать *всех на одно лицо»*. Замечательнейшие из произведений этого рода представляют иконо-портреты святых, почивающих в ближних и дальних пещерах, размещенные над их гробницами. Во всех этих лицах отцом Иринархом соблюдено удивительное «сходство на одно лицо», даже мужчины и женщины у него все схожи между собою, и не только par expression,[1] — что еще кое-как возможно было бы объяснить однородностью одушевлявшего их религиозного настроения, но все они схожи par trait,[2] что уже

[1] Общим выражением *(франц.)*.
[2] Отдельными чертами *(франц.)*.

может быть объяснено только феноменальнсю своеобразностию благочестивой кисти отца Иринарха, которая давала всему теплый колорит *родства святости.* Митрополит Филарет Амфитеатров считал иеромонаха Иринарха хорошим мастером по иконописанию, и едва ли митрополит не был правее многих заезжих знатоков, смущавшихся тем, что у отца Иринарха «все шло на одно лицо». У него зато не было неприятной *головастости* академика Солнцева (который не избежал своего порока даже в изданном теперь М. О. Вольфом дорогом и изящном «Молитвослове») и не было сухой *вытянутости* фигур Пешехонова. Пешехонов, по моему мнению, гораздо стильнее г. Солнцева, но он всегда «клонил к *двоеперстию»* в «благословящих ручках», что, как известно, в православии терпимо быть не может. Этим Пешехонов навлек на себя такое подозрение митрополита Филарета, что считался одно время неблагонадежным, а при реставрациях даже и *«опасным»*. Особенно это усилилось с того случая, как Пешехонов в одной из стенописных картин собора вздумал открыть контуры двуперстного сложения и, доверясь старинным очертаниям, прописал было ручки по этим абрисам. Но, к счастию для киевских святынь, Пешехонов не укрылся с этим от внимания досужих людей, которые довели о том до ведома митрополита, и дело было поправлено: антикварные вольности Пешехонова были отстранены, и святые отцы древнего собора сложили свои ручки троеперстно.

С отцом Иринархом не могло быть никаких беспокойств подобного рода: умея писать «всех на одно лицо», он еще аккуратнее всем давал одинаковые ручки, с верным троеперстием. Да и вообще он писал в иконном роде довольно приятно, строгоньким, но довольно округлым монастырским рисунком, в мягких тонах и нежными лассировками, что, бесспорно, приличествует иконописному роду живописи и очень нравилось митрополиту Филарету.[1] Но всего более о. Иринарх был отличный

[1] Два современника: Филарет московский (Дроздов) и Филарет киевский (Амфитеатров), между множеством отличавших их различий, несходно относились и к иконописному искусству. Филарет Дроздов, по собственному его признанию (см. письма, изд. А. Н. Муравьевым), не знал толку в этом деле и даже, судя по тону письма, относился к этому как будто равнодушно; но Фила-

школьмейстер, что совершенно основательно ценил в нем покойный владыка. Лаврская школа при о. Иринархе была относительно в таком цветущем состоянии, что надо было удивляться мастерству киево-печерских правителей, которые потом умели привести ее в самое жалкое состояние, в каком я ее в последний раз видел незадолго до кончины митрополита Арсения, многообразные услуги коего киевской пастве не оценены ее историком. При Иринархе здесь не только «тонко» работали, но и недурно держали учеников, так что у них был свой товарищеский *дух* и предания, несколько напоминавшие дух школ старинных монастырских маэстро. Некоторые ученики о. Иринарха переходили из его школы в академию и там оказывались хорошо подготовленными по рисунку и отличались добрым, чисто художественным настроением, делавшим их хорошими товарищами и приятными людьми в дальнейшей жизни. Все это творил о. Иринарх — довольно строгий монах, но большой любитель своего рукомесла и заботливый укоренитель его в тех, кого судьба давала ему в ученики.

Художник Гудовский *пришел* в Петербург, в академию, из этой же школы о. Иринарха, о которой до своей трагической кончины говорил всегда с одушевлением, как о «милых годах своей юности»; в этих же рассказах он не раз упоминал следующий анекдотический случай, лично касающийся митрополита Филарета Амфитеатрова.

— Раз, — говорил Гудовский, — мы работали летом, внизу, под митрополичьими покоями,[1] и там после обеда и отдыхали. Отец Иринарх, бывало, пообедавши, остается

рет киевский любил иконописное дело и считал себя в нем сведущим. Он смело вмешивался в работы по реставрации стенописи киевских соборов, пока (как рассказывали за достоверное) получил чувствительные для него неприятности от покойного государя Николая Павловича, желавшего правильной реставрации Софийского собора Ярослава. По правде судя, кажется, добрый старец более любил искусство, чем понимал его, и если там в фресках что излишне «замалевано», — то едва ли этого не следует хотя долею относить на его *милую память. (Прим. автора.)*

[1] Я уже не помню, была ли тут временная мастерская, или работы шли в нижней домовой церкви митрополичьего дома, или все это было в Голосееве, где киевские митрополиты проводят дачное время. *(Прим. автора.)*

уснуть в своей келье, а мы, ребятишки, находили, что нам лучше тут, потому что здесь было прохладнее, да и присмотра за нами не было; а самое главное — что отсюда из окон можно было лазить в митрополичий сад, где нас соблазняли большие сочные груши, называемые в Киеве «принц-мадамы», которые мы имели сильное желание отрясти.

После долгих между собою советов и обсуждения всех сторон задуманного нами предприятия полакомиться митрополичьими принц-мадамами мы пришли к убеждению, что это сладкое дело хотя и трудно, но не невозможно. Надежно огороженный сад никто не караулил, а единственный посетитель его был сам митрополит, который в жаркие часы туда не выходил. Стало быть, надо было только обеспечить себя от зоркого глаза отца Иринарха, чтобы он не пришел в ту пору, как мы спустимся в сад красть груши. А потому мы в один прекрасный день разметили посты, поставили на них махальных и затем один по одному всею гурьбою спустились потихоньку в угольное окно, выходившее в темное, тенистое место у стены, и, как хищные хорьки, поползли за кустами к самым лучшим деревьям.

Все шло хорошо; работа кипела, и пазухи наших блуз тяжело нависали. Но вдруг на одном дереве появилось разом два трясуна, из которых один был, вероятно, счастливее другого, и у них тут же, на дереве, произошла потасовка, но в это самое время *кто-то* крикнул:

«Отец Иринарх идет!»

Не разбирая, *какой из наших махальных* это крикнул, мы ударились бежать, рассыпая по дороге значительную долю наворованных принц-мадам. А те двое, которые подрались на дереве, с перепугу оборвались и оба разом полетели вниз. И все мы, столпившись кучею у окна, чрез которое спускались друг за другом веревочкою, смялись и, плохо соображая, что нам делать, зашумели. Каждому хотелось спастись поскорее, чтобы не попасться отцу Иринарху, и оттого мы только мешали друг другу, обрывались и падали. А *где-то* сверху над нами *кто-то* весело смеялся спокойным и добрым старческим смехом.

Это все мы заметили, но в суетах не обратили на это внимания, тем более что когда мы успели взобраться назад в окно и попрятать принесенные с собою ворован-

ные запасы, то мы обнаружили, что один из дравшихся на дереве был из числа наших махальных, которому надлежало стоять на самом опасном пункте и наблюдать приближение отца Иринарха...

Все часы своей послеобеденной работы мы об этом перешептывались за своими мольбертами, а вечернею шабашкою тотчас же приступили к дознанию: как это могло случиться, и решили виновника «отдуть». Но чуть только мы хотели привести это решение в исполнение, как тот струсил и, желая спастись от наказания, выдал ужасную тайну: он сказал нам, что не он один, а все три наши махальные не выдержали искушения и, покинув свои посты, вместе с нами сбежали в сад за краснобокими принц-мадамами.

Ночью, поев все накраденные груши, юные артисты решили больше не воровать; но назавтра забыли это решение и снова выступили в сад в том же порядке, только с назначением новых сторожей, которые, однако же, за исключением одного, оказались не исправнее прежних. Не успели воришки приняться за свое дело, как и лакомки-сторожа появились между ними — все, за исключением одного. Но и этот один был плохой и злой сторож: оставшись при своем месте, он умыслил жестокое коварство.

— Не успели мы, — говорил Гудовский, — приняться за работу по деревьям, как этот хитрец приложил руки трубкою к губам и крикнул:

«Отец Иринарх идет!»

Все мы, сколько нас там было, услыхав это, как пули попадали сверху на землю и... не поднимались с нее... Не поднимались потому, что к одному ужасу прибавился другой, еще больший: мы опять услыхали голос, которого уже не могли не узнать. Этот голос был тот самый, который нас вчера предупреждал насчет приближения Иринарха, но нынче он не пугал нас, а успокоивал. Слова, им произнесенные, были:

«Неправда, рвите себе, Иринарх еще не идет!»

Это был голос митрополита Филарета, которого дети узнали и, приподняв из травы свои испуганные головенки, оцепенели... И как иначе — они увидели самого его, вла-

дыку киевского и галицкого, стоявшего для них на страже у косяка своего окошечка и весело любовавшегося, как они обворовывают его сад...

Как же приняли эти дурно воспитанные дети такое странное и, может быть, с точки зрения всякого сухого педагога, конечно, очень неодобрительное отношение к их плохой шалости?

— Мы, — говорил Гудовский, — потеряли все чувства от стыда; мы все как бы окаменели и не могли двинуться, пока заменявший нам махального митрополит крикнул:

«Ну, теперь бегите, дурачки, — теперь Иринарх идет!»

Тут мы брызнули: опять по-вчерашнему взобрались на свое место, но были страшно смущены и более красть митрополичьи груши не ходили.

Прошел день, два, три — мы все были в страхе: не призовет ли митрополит о. Иринарха и не откроет ли ему, какие мы негодяи? Но ничего подобного не было, хотя «милый дидуся», очевидно, о нас думал и, догадываясь, что мы беспокоимся, захотел нас обрадовать.

На четвертый день после происшествия вдруг нам принесли целое корыто разных плодов и большую деревянную чашу меду и сказали, что это нам владыка прислал.

«По какому же это случаю?» — допытывались мы, радостно и робко принимая щедрый подарок. — Но *случая* никакого не было, кроме того, о котором мы одни знали и крепко о нем помалчивали.

Посланный сообщил только, что владыка просто сказал:

«Сошлите живописцам-мальчишкам медку и всяких яблочек... Дурачки ведь они, им хочется... Пусть поточат».

— Мы эти его груши и сливы, — честное слово говорю, — со слезами ели и потом, как он первый раз после этого служил, окружили его и не только его руки, а и ряску-то его расцеловали, пока нас дьякона по затылкам не растолкали.

Так он их наказал, и, прибавлю, наказание его было столь памятно, что лет через пятнадцать после этого, когда мы с Гудовским жили в доме, выходившем на Софийскую улицу, этот, тогда уже пожилой, художник, бывало, ни разу не пропустит мимо митрополичьей кареты, чтобы не крикнуть вслед с детскою радостью:

— Здоров будь, милый дидуню!

И более того: этот человек здорового и острого ума, вращавшийся в свое время в различных кружках Петербурга, не сохранил всей веры, в которой был наставлен своею церковью. Он был религиозен, но, к сожалению, долго жил с монахами, хорошо знал их и относился недружелюбно и даже враждебно к духовенству вообще, и к черному в особенности; но на предложенный ему однажды вопрос: «где же, однако, в какой церкви самое лучшее духовенство?» — отвечал:

— В русской, бо из него выйшов наш старый дидуся Филарет, дуже добрый.

И бог весть, когда пала в эту художественную душу любовь к «дуже доброму дидусе». Может быть, именно тогда, когда превосходный старец покрывал своею превосходною добротою *ребячье баловство,* которое любой педагог и моралист не усумнились бы теперь назвать *воровством* и даже, пожалуй, признаком социалистического взгляда на собственность, а какой-нибудь либеральный перевертень с прокурорского кресла потребовал бы за все это самую строгую кару. Но, к счастью, не так смотрит на вещи не направленская, а настоящая добродетель, одним из прекрасных представителей которой может быть назван Филарет Амфитеатров, о коем, право, кажется можно сказать, как о Моисее, что он «смирен бе паче всех человек».

Но чтобы сказать все, что мне, случайно конечно, известно об истинном, неподдельном смиренстве этого истинного человека, а с тем вместе чтобы и не дать пропасть анекдоту, который может пригодиться для характеристики простой, но замечательной личности митрополита Филарета, запишу еще следующее событие, известное мне от очевидцев — родного дяди моего, профессора С. П. Алферьева, и бывшего генерал-штаб-доктора крымской армии Н. Я. Чернобаева.

Когда юго-западный генерал-губернатор Дмитрий Гаврилович Бибиков возвратился в последний раз из Петербурга, где он был назначен на должность министра внутренних дел, то он посетил митрополита Филарета и, рассказывая ему новости, какие считал уместным сообщить

его смирению, привел слова императора Николая Павловича о церковном управлении.

Слова эти, очень верно сохраняемые моею памятью, были таковы, что будто покойный государь, разговаривая с Дмитрием Гавриловичем о разных предметах, сказал:

— О церковном управлении много беспокоиться нечего: пока живы Филарет мудрый да Филарет благочестивый, все будет хорошо.

Услыхав это от министра, митрополит смутился и поник на грудь головой, но через секунду оправился, поднял лицо и радостно проговорил:

— Дай бог здоровья государю, что он так ценит заслуги митрополита московского.

— И ваши, ваше высокопреосвященство, — поправил Бибиков.

Филарет наморщил брови.

— Ну, какие мои заслуги?.. ну что... тут... государю наговорили... Все «мудрый» Филарет московский, а я... что — пустое.

— Извините, владыка: это не вам принадлежит ваша оценка!

Но митрополит замахал своею слабою ручкою.

— Нет... нет, уж позвольте... какая оценка: все принадлежит мудрости митрополита московского. И это кончено, и я униженно прошу ваше высокопревосходительство мне больше не говорить об этом.

И при этом он, говорят, так весь покраснел и до того сконфузился, что всем стало жалко «милого старика» за потрясение, произведенное в нем неосторожным прикосновением к его деликатности.

Так детски чист и прост был этот добрейший человек, что всякая мелочь из воспоминаний о нем наполняет душу приятнейшею теплотою настоящего добра, которое как будто с ним родилось, жило с ним и... с ним умерло... По крайней мере для людей, знавших Филарета, долго будет казаться, что органически ему присущее добро умерло с ним в том отношении, что их глаз нигде не находит другого такого человека, который был бы так подчинен кроткому добротолюбию, не по теории, не в силу морали воспитания и, еще более, не в силу сухой и несостоятельной

морали направления, а именно подчинялся этому требованию самым сильным образом *органически*. Он родился с своею добротою, как фиалка с своим запахом, и она была его природою.

Но как он, с таким характером и в самых преклонных летах, мог править такою первоклассною епархиею, как киевская? Полагают, что его, вероятно, обманывали какие-нибудь свои «гаврилки» (то есть родственники) и, пользуясь его добротою, под его руку вершили кривду над правдою. Но в том-то и дело, что он не терпел при себе ни одного «гаврилки» и им никто не правил, кроме его собственного сердца. Ветхий и немощный Филарет имел прекрасных викариев и замечательного наместника Иоанна, впоследствии епископа полтавского, который, может быть, более сделал *для духа* монашества лаврского, чем старательно прославленный наместник Сергиевской лавры Антоний — *для архитектуры;* но все эти лица сотрудничали митрополиту Филарету, а не верховодили им. Во всех делах, требовавших от него самостоятельности, он действовал самостоятельно и до конца жизни правил сам и везде его доставало (только в университет он перестал ездить, потому что «не хотел слышать о конкубинах»). [1] Даже где нужна была строгость и наибольшая энергия, он и тут не устранялся от дела, а только всегда боялся быть жестоким.

---

[1] Преосвященный Филарет приехал на защищение диссертации, в которой разбиралась разница прав детей, прижитых от сожительства connubium и concubinatum [в законном и незаконном браке — *лат.*]. Митрополит долго крепился и слушал, но, наконец, не выдержал и встал. Насилу упросили его «не смущать диспутанта». Он это уважил, но жаловался.

— Что же, — говорит, — я монах, а только и слышу connubium да concubinatum. Не надо было звать меня.

И в этом он был прав. Но замечательно: это так осталось у него в памяти, что он, когда речь касалась университетов, всегда любил за них заступаться, но шутливо прибавлял:

— Одно в них трудно монаху, что все «connubium» да «concubinatum», — а больше все хорошо.

Впрочем, из всех так называемых «светских» наук мне известно определительное отношение митрополита Филарета только к медицине. Тяжко страдая мочевыми припадками, он беспрестанно нуждался в помощи врача З—го и, получив облегчение от припадка, говорил со вздохом:

— Медицина — божественная наука. *(Прим. автора.)*

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Один из памятных случаев в самостоятельном роде устроил ему бывший парадный архидиакон монастыря, о. Антоний. Богатырь, красавец и жуир, диакон этот пользовался большими льготами в монастыре, где дорожили его громоподобным голосом и спускали ему многое, чего, может быть, не следовало бы спускать. Все это его до такой степени избаловало, что он стал не знать меры своим увлечениям и, придя раз летнею ночью в исступление ума, вышел из кельи на житний двор, где на ту пору стояли волы приехавших с вечера мужиков. Исступленному иеродиакону пришла мысль сесть на вола верхом и начать разъезжать на нем по монастырю.

Он так и сделал: отвязал от ярма самого рослого полòвого вола, замотал ему на рога налыгач (ремень) и взмостился ему на спину. Непривычный к верховой езде, бык пошел реветь, прыгать и метаться, а богатырь-диакон сидит на нем, как клещ на жужелице, и, жаря его каблуками в ребра, кричит: «врешь, — не уйдешь».

И вол ревет, и седок ревет; сон мирной обители нарушен — она встревожена; спавшие покатом по всему двору странники в переполохе мятутся, думают, что видят беса, — и впопыхах никто не разберет, кто кого дерет. Словом, смятение произошло ужасное: шум, гвалт, суматоха, и в заключение, когда дело объяснилось, — скандал и соблазн, утаить который было так же трудно, как сберечь секрет Полишинеля. Нынешней газетной гласности, питающейся от скандалов, при тогдашней тесноте еще не было, но слух, которым земля полнится, на другой же день распространился из монастыря в монастырь, оттуда по приходским причтам и, наконец, дошел до мирян, между коими редко кто не знал чудака архидиакона Антония. Он, с его нелепым басом, гигантским сложением, завитыми кудрями и щегольскими черными бархатными рясами, то на желтом, то на голубом атласном подбое, слишком бил в глаза каждому. Я никогда не слыхал, чтобы инок Антоний был особенно прославляем за свое благочестие, как аскет, но его любили, как простяка, за его наивную и бестолковую, а часто даже комическую удаль, с которою он, например, сам рассказывал, что он «изны-

вает от силы», потому что, по ужасно крепкому своему телосложению, он более не монах, а *паразит*.

После этого не должно показаться удивительным, что весть о ночном путешествии лаврского «паразита» верхом на быке казалась занятною и многих интересовало: какие это будет иметь для него последствия? Но дни проходили за днями, а паразит оставался на своем месте, и строгие люди стали смущаться, что же это митрополит: он ослабел, он слишком стар, или, наконец, от него все это скрыли? Возможно ли, чтобы за все это бесчинное вольтижерство такого видного инока ему совсем ничего не было?

Но все эти люди смущались напрасно: происшествие не осталось безызвестным владыке, да это было и невозможно, так как разгоряченный вол или сам занес наездника к митрополичьим покоям, или же паразит нарочно его сюда направил. Владыка стал на высоте своего призвания: он взыскал с вольтижера, и взыскал, по-своему, не только справедливо, но даже строго.

Управлявший тогда лаврскою типографиею очень образованный монах, к которому я часто хаживал учиться гальванопластике, рассказывал мне по секрету всю сцену разбирательства этого дела у Филарета.

Митрополит, имея, как я сказал, превосходного наместника в лавре, не захотел даже ему доверить разбора этого необычайного дела, а решил сам его разобрать и наказать виновного *примерно*.

Как инок строгой жизни, он, разумеется, был сильно возмущен и разгневан произведенным беспорядком и собирался быть так строг, что даже опасался, как бы не дойти до жестокости.

Приступая к открытию судьбища, он все обращался к одному из приближенных к нему монахов, благочинному Варлааму (впоследствии наместнику) и говорил ему:

— Боюсь, что я буду жесток, — а?

Покойный Варлаам его успокоивал, говоря, что виновный сто́ит сильного наказания.

— Да, разумеется, он, дурак, сто́ит, но я боюсь, что я буду уже очень жесток, — а? — повторял митрополит.

— Ничего, ваше высокопреосвященство! Он снесет.

— Снесет-то снесет, но ведь это нехорошо, что я буду очень жесток.

Настал час суда — разумеется, суда *келейного,* происходившего только в присутствии двух-трех почетных старцев.

Виновный, думавший, что им очень дорожат за голос, мало смущаясь, ожидал в передней, а владыка, весьма смущенный, сел за стол и еще раз осведомился у всех приближенных, как все они думают: не будет ли он очень жесток? И хотя все его успокоивали, но он все-таки еще попросил их:

— А на случай, если я стану жесток, то вы мне подговорите за него что-нибудь подобрее.

Открылся суд: ввели подсудимого, который как переступил порог, так и стал у двери.

«Жестокий» судья для внушения страха принасупился, завертел в руках свои беленькие костяные четки с голубою бисерною кисточкою и зашевелил беззвучно губами.

Бог его знает: изливал ли он в этом беззвучном шепоте самые жестокие слова, которые намеревался сказать виновному, или... молился о себе и, может быть, о нем же. Последнее вернее... Но вот он примерился говорить вслух и произнес протяжно:

— Ишь, кавалерист!

Дьякон упал на колени.

Филарет привстал с места и, строго хлопнув рукою по столу, зашиб палец. Это, кажется, имело влияние на дело: владыка долго дул, как дитя, на свой палец и, получив облегчение, продолжал живее:

— Что, кавалерист!

Виновный упал ниц и зарыдал.

Митрополит изнемог от своей жестокости: он опять подул на палец, повел вокруг глазами и, опустясь на место, закончил своим добрым баском:

— Пошел вон, кавалерист!

Суд был кончен; последствием его было такое незначительное дисциплинарное монастырское взыскание, что сторонние люди, как я сказал, его даже вовсе и не заметили; но митрополит, говорят, еще не раз возвращался к обсуждению *своего* поступка. Он все находил, что он «был

жесток», и когда его в этом разуверяли, то он даже тихонько сердился и отвечал:

— Ну как же я не жесток: а отчего же он, бедный, плакал?

Атлет-черноризец, которого терпел и о котором так соболезновал «добрый дидуня», однако, погиб. По его собственным словам, он «за свои грехи пережил своего благодетеля», но не пережил своей слабости.

Много лет спустя, в одну из своих побывок в Киеве, я ездил с моими родными и друзьями погулять в лесистую пустынь Китаев. Обходя монастырь со стороны пруда, над белильным током, где выкладывают на солнце струганый воск с свечного завода, я увидал у св. брама колоссальную фигуру монаха с совершенно седою головою и в одном подряснике.

Он разговаривал с известною всем китаевцам бродяжкою, «монашескою дурочкою», а возле него, бесцеремонно держа его за рукав, стоял послушник (по-киевски *слимак*) и урезонивал его идти домой.

Я всмотрелся в лицо богатыря и узнал его: это был оный давний «паразит», давший мне много красок для лица, выведенного мною в «Соборянах», — диакона Ахиллы.

Я заговорил с ним, но он меня не узнал, а когда я ему напомнил кое-что прошлое, он вспомнил, осклабился, но сейчас же понес какой-то жалкий, нескладный и бесстыдный вздор.

Это был человек уже совершенно погибший: в нем умерло все человеческое — все, кроме того, что не умирает в душе даже самого падшего человека: он сохранил редкую способность — *добро помнить.*

При одном имени покойного Филарета он весь съежился, как одержимый, и, страшно стукнув себя своим могучим кулачищем в самое темя, закричал:

— Подлец я, подлец! я огорчал его, моего батьку! — и с этим он так ужасно зарыдал, что слимак, сочтя это неприличным, повернул его за плечи к браме, пихнул в калитку и сказал:

— Уже годи, идить до дому. Це у в вас опьять водка плачет.

Паразит пошел: крепость его, видно, уже ослабела, и он привык повиноваться, но плакала в нем, мне кажется, все-таки *не одна водка.*

Но возможен вопрос: где же доказательство, что добряк Филарет не портил служебного дела своею младенческою простотою и правил епархиею не хуже самых непростых?

Доказательства есть, хотя их надо взять не из сухих цифр официального отчета, а из живых сравнений, как говорится, *«от противного»*.

Что оставил митрополит Филарет в наследие своим наступникам? Сплошное, одноверное население, самым трогательным образом любившее своего «старесенького дидусю», и обители, в которых набожные люди осязали дух схимника Парфения — этого неразгаданного человека, тихая слава которого была равна его смирению, даже превосходившему смирение его владыки.

Митрополит Исидор правил киевскою епархиею недолго, так что его управление не для чего и сравнивать; но отличавшийся «признанным тактом» митрополит Арсений управлял ею много лет, и наследие, переданное им митрополиту Филофею, замечательно. Он оставил епархию расторгнутою чуждым учением (штундою), с которым борьба трудна, а исход ее неизвестен. Из иноков же времени Арсения самою широкою известностию пользовался на всю Русь распубликованный племянник его высокопреосвященства, архимандрит Мельхиседек, которого митрополит Арсений поставил начальником монастыря, имевшего несчастие долго скрывать в своих стенах возмутительные бесчинства этого до мозга костей развращенного насильника. Деяния этого срамника и дебошира, позорившего русскую церковь, закончились тем, что он утонул, катаясь с женщинами. Старик Днепр был исполнителем суда божия: он опрокинул ладью, в которой носилось оставленное митрополиту Арсением гулевое сокровище, и только тут и Мельхиседек и его спутницы «погибоша аки обре». Так суд божий поправил грехи бессудия, хранившего этого «гаврилку» на соблазн людям, из коих многие от одного этого бесстыдного видения спешили перебегать в тихую штунду.

Какой урок всем, имеющим при себе таких «гаврилок», которые приносят видимое бесславие церкви! Подвергать ее всем ударам, в изобилии падающим на нее за этих «гаврилок», — значит не любить ее или по крайней мере не дорожить ее спокойствием более, чем спокойствием своего «гаврилки».

Митрополит Филарет Амфитеатров ничего в этом роде дурного не оставил церкви, а оставил совершенно иное: он завещал ей «дитя своего сердца» (племянника) преосвященного Антония, почившего архиепископа казанского, у которого, может быть, и были свои недостатки, но который тем не менее, конечно небезосновательно, пользовался уважением и любовью очень многих людей в России, ожидавших от него больших услуг церкви. Но он так и умер *не в фаворе*.

А посему можно думать, что Русь судит о церковном правительстве митрополита Филарета Амфитеатрова правильно: она держится в этом слов своего божественного учителя: *«дерево узнается по плодам»* (Мф. XII, 33).

Не мне одному, а многим давно кажется удивительным, почему так много говорится об «истинном монашестве» митрополита Филарета московского и при этом *никогда* не упоминается об *истиннейшем* монахе Филарете киевском.[1] Не дерзая ни одного слова сказать против

---

[1] Строки эти были уже набраны, когда на страницах журнала «Русский архив» появились бесценные известия, восполняющие нравственный облик митрополита Филарета Амфитеатрова и характеризующие отношения к нему императора Николая Павловича.

Когда возобновляли великую церковь Киево-Печерской лавры, местные художники закрыли старинные фрески новою живописью масляными красками. Это считалось и тогда преступлением, а потому была назначена комиссия, и синод постановил митрополиту Филарету сделать выговор. Государь написал на докладе: «Оставить старика в покое; мы и так ему насолили».

В первый за тем приезд государя в лавру митрополит Филарет после обычного молебствия, указав на группу чернецов, сказал:

— Вот, ваше величество, художники, расписывавшие храм.

— Кто их учил? — спросил государь.

— Матерь божия, — отвечал простодушно владыка.

— А! в таком случае и говорить нечего, — заметил император.

Судя по времени, к которому относится этот рассказ, нельзя сомневаться, что в числе художников, получивших непосредствен-

первого, я все-таки имею право сожалеть, что его монашество как будто совсем застилает того, кого еще при жизни звали не иначе, как *«наш ангел»*. Вся жизнь митрополита Филарета Амфитеатрова может быть поистине названа *самою монашескою* в самом наилучшем понятии этого слова... Но, кажется, и об этих высоких людях надо сказать то, что Сократ сказал о женщинах, то есть что «лучше всех из них та, о которой нечего рассказывать», — или по крайней мере нечего рассказывать в апологиях, а достаточно вспомнить ненастным вечером, у домашнего очага, где тело согревается огоньком, а душа тихою беседою о *добром человеке*.

Память подобных людей часто не имеет места в истории, но зато она легко переходит в *жития* — эти священные саги, которые благоговейно хранит и *чтит* память народа.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

От милостивого Филарета киевского перейдем к другому, тоже очень доброму старцу, епископу Н⟨еофи⟩ту. Этот был в ином — гораздо более веселом роде, но тоже чрезвычайно прост, а при всем этом правил епархиею так, что оставил ее своему наступнику ничуть не хуже иных прочих.

В отдаленной восточной епархии, где недавно «окончил жизнь свою смертию» пр. Н—т, находятся большие имения г-на N., очень богатого и чрезвычайно набожного человека, устроившего себе житницу от винных операций.[1] Набожность г-на N. так велика, что близкие люди

ные уроки от матери божией, был представлен и знаменитый отец Иринарх, написавший «на одно лицо» всех киевских святых. *(Прим. автора.)*

[1] Известный автор сочинения о том, каким святым в каковых случаях надо молиться, пермский протоиерей Евгений Попов напечатал, будто весь наступающий рассказ, конечно очень несправедливый, касается одного *пермского* епископа и *пермского* же помещика г-на П. Д. Дягилева. Пусть это так и остается, как постарался выяснить правдивый протоиерей Евгений Попов. *(Прим. автора.)*

этого праведника, не будучи в состоянии оценить это настроение, готовы были принять ее за требующую лечения манию. Это, впрочем, кажется было необходимо потому, что г-н N. хотел *все* нажитое с русского народа отдать в жертву монастырям и таким способом примириться с богом и «спасти души детей своих нищетою». Монахи обещали ему все это устроить и работали около этого человека очень сильно, но чиновники все-таки их пересилили и устроили ограничение прав N. раздаривать святым отцам то, что годится еще собственным детям.

Иноческое фанатизирование довело этого человека до того, что он совсем очудачел. Он не только «целоденно молился», но даже спал в какой-то освященной «срачице», опоясанный пояском с мощей св. Митрофана, в рукавичках св. Варвары и в шапочке Иоанна Многострадального, а проснувшись, занимался химией: дробил «херувимский ладан» из пещеры гроба и гомеопатически рассиропливал св. елей и воду для раздачи несчастным.

Эти благочестивые занятия, однако, ему тоже были вменены в вину и отнесены к научению монашескому, хотя, может быть, химик получил пристрастие к подобным занятиям гораздо ранее. Таким этот замечательный человек остался до смерти: он был строитель церквей, постник и ненасытный любитель странников, монахов, а наипаче чтитель архиереев, с которыми неустанно искал сближения — желая от них *освятиться.* Когда он долго не сподоблялся архиерейского благословения натурою, он испрашивал оного письменно. В обширных поместьях N., соединенных в той же отдаленной глухой местности, при нем всегда водились «пустынники», которых он скрывал от нескромных очей мира и особенно от полицейских властей. Это разведение и сбережение пустынников обходилось дорого, и вдобавок N. немало претерпевал от них и за них, так как они порою по искушению попадались в делах непустыннических. В собственных селах N. были самые лучшие церкви, в которых всегда все было в исправности: чистота, порядок, книжный обиход, утварь и ризница — словом, все благолепие в велелепии. А в селе, где жил сам N., «храм сиял», при нем два штата и ежедневное служение, которое измученные г-ном N. священнослужители называют «бесчеловечным», оттого что при нем

не присутствовало *ни одного человека*. Таков был устав благочестивого владельца, которому, конечно, не смел и подумать возражать вполне от него зависимый причт духовенства.

К лицам белого духовенства N. был строг до немилосердия и докучлив более, чем покойный Андрей Николаевич Муравьев, которого, как известно, звали в шутку то «несостоявшимся обер-прокурором», то «генерал-инспектором пономарства». Впрочем, при огромном их сходстве по ревности к храму и по лютости к храмовым служителям, они совсем не похожи друг на друга в том отношении, что покойный Андрей Николаевич был знаток церковных уставов и порядков и мог в них наставить иного настоятеля, а у г. N. такого знания не было. Кроме познаний в химии и гомеопатических делениях освященных твердых тел и жидкостей, он во всем церковном уставе был человек темный, и оттого у него не было той решительности и смелости, которыми был одержим А. Н. Муравьев, дерзавший произносить осуждение не только священникам и священноинокам, но даже преосвященнейшим владыкам и всему их святейшему собору. N. не был повинен в таких знаниях, но зато он не виноват и в продерзостях, за кои А. Н. Муравьев, вероятно, порядком посудится с обработанными им чернецами. [1] Г-н N. был про-

---

[1] До чего покойный Андр. Ник. Муравьев негодовал на высших представителей церкви, могут знать только те, кто видал его в последний год его жизни, когда он контрировал, бог весть из-за чего, с митрополитом Арсением. Раздражение против сего владыки приводило Андрея Николаевича в состояние величественного пафоса, в котором он даже пророчествовал, предсказывая, какою смертию будут вскоре скончаваться не нравившиеся ему синодальные члены и обер-прокурор граф. Дм. А. Толстой. Но предусмотрительный митрополит Арсений, до которого, вероятно, доходили отголоски этого пророчества, повел дело так тонко, что пережил Андрея Николаевича и успел ему хоть мертвому сделать самую чувствительную неприятность: он затруднил его вынос и погребение в Андреевской церкви и чуть не успел совсем лишить его права почивать под сводами храма. Остальные пророчества, которых я был слушателем, тоже не все исполнились. Но если он неверно пророчествовал, то вознаградил это удивительною законченностью своего собственного жизненного пути. Целую жизнь инспектируя священнодействия, он умер в этих же самых занятиях. Накануне смерти он пожелал особороваться. Таинство это, во главе других лиц, совершал

стец и брал все от одного вдохновения, — отчего ему угодить было трудно и даже невозможно, если блюсти свое правило и хоть немножко хранить свое достоинство, о коем позволяет заботиться Сирах. Составляя себе придворный штат духовных, N. обыкновенно собирал кондуит человека из архива всех четырех ветров и вообще менял лиц до тех пор, пока находился искусник ему по обычаю. Тут бывал отпуст, пока под ловкача не подберется мастер еще ловчее. Игра идет, бывало, до тех пор, пока увидят, что севший на место новый священнослужитель основательно овладел своим господином. Для этого были нужны: во-первых, чувствительность в служении; во-вторых, любовь к «таинственным уединениям» в лесах или на верхней горнице; в-третьих, равнодушие и сухость к жене и, в-четвертых, под секретом сообщенный тайный обет монашества. Всё это ловкие люди находили возможность проделывать вполне удовлетворительно, а когда N. такими заслугами его вкусу, бывало, расположится в их пользу, тогда и ему начинают открываться их заслуги перед небом: он сподоблялся видеть сияние или около лица самого священника, или вокруг потира, который тот износил. С этих пор дело священнослужителя становилось крепко, и если бы N. после этого даже сам увидал такового дивотворца, в часы уединения играющего в верхней горнице в карты или сидящего зимою, под вечерок, у печки, обнявшись с женою, то все это ему не только про-

---

Филарет (Филаретов), бывший викарий уманский, а после епархиальный архиерей рижский. Больной во время соборования был уже так слаб, что не подавал голоса. Но когда служба была окончена и архиерей стал разоблачаться, умирающий, ко всеобщему удивлению, совсем неожиданно произнес:

— Благодарю: таинство совершено по чину.

Таковы были его последние слова на земле.

Этою как нельзя более отвечающею всегдашнему его настроению фразою Муравьев окончил свою генерал-инспекторскую службу русской церкви и доказал, что он был один из редких, типических, последовательных и вполне законченных характеров. По крайней мере его не могут превзойти ни старый Домби у Чарльза Диккенса, ни та старушка у Тургенева, которая сама хотела заплатить рубль за свою отходную. Эта последняя черта, по моему мнению, непременно должна бы украсить биографию «несостоявшегося обер-прокурора», которая вообще могла бы быть очень интересною. *(Прим. автора.)*

щал, но даже и не вменял в вину, а относил к «искушению», от которого праведному человеку укрыться трудно. Для того «преобладающу греху и преизбыточествует благодать».

Из того, что мною вкратце сказано, знатокам церковно-бытовой жизни, конечно, будет довольно понятно, коего сорта набожность и благочестие была у самого г. N. и коего духа люди могли уживаться с ним и угождать *его благочестию*... Для несведущих же пояснять это долго и, может быть, опасно — «да не соблазнится ни един от малых сих». Но весь этот отменный подбор отменных духовных не мог умолить провидение, чтобы все женатые сыновья и замужние дочери г. N. овдовели и ушли в монастырь, куда он сам очень желал уйти, чтобы там «помириться с богом».

Из всех своих родных N. сподобился устроить в монашество только одного запутавшегося в делах свояка, но и то неудачно. Тот оказался до такой степени легкомысленным, что даже из монастыря давал поводы к соблазну младшим. Так, например, получив однажды письмо от племянницы, институтки, он написал ей: «не адресуй мне *его благородию:* я уже монах, а монах благородным быть не может». И этот бедный инок хотя и был скоро поставлен в иеромонахи Коневецкого монастыря, но не выдержал, запил и умер.

Вся очень многочисленная семья N. тоже не тяготела к иночеству. Молодые люди, осемьянившись, нежно любили свои семейства и религиозны в свою меру, по-русски; съезжаясь летом к отцу, они даже прекрасно пели на клиросе сельской церкви и никаких религиозных сомнений и споров не любили. Если же промежду их случайно являлся беспокойный совопросник, то такового отсылали обыкновенно «переговорить с батюшкой»; а этого, сколько известно, всякий еретик боится и продолжительного разговора о религии с русским батюшкою не выдержит. Словом, все дети N. были простые, добрые, очень милые люди, без всякой *ханжеской претенциозности.*

Преосвященный Н—т поступил из г. Вятки в г. П‹ермь› после архиерея сурового, большого постника, с которым старый N. был в наилучших отношениях и

желал точно такие же отношения учредить с Н. Но при первом же визите у них дело пошло неладно.

N. явился к новому владыке с некогда знаменитым цензором г. Z ⟨Н. В. Елагиным⟩, святошество которого весьма известно. Владыка, добрый, весьма почтенный старичок, еще не совсем отдохнул и к тому же был еще расстроен тем, что доставшийся ему двухэтажный дом в г. П. был гораздо хуже одноэтажного дома в г. Вятке, а поправлять его было *не на что.* Да, буквально не на что!.. Архиерей был *беден,* и хотя у него было триста рублей, которые он, по его словам, «заработал честным трудом», но он поэтому-то и не хотел отдать их на поправку архиерейского дома. Притом же ему было досадно, что его *повысили,* — при переводе произвели из епископов в архиепископы, — а более существенного ничего не дали. Он этим обижался, находя, что ему «позолотили пилюлю». Вдобавок ко всему, владыка отдыхал от своего весьма дальнего пути и не совсем хорошо себя чувствовал, а нетерпеливые благочестивцы в это время на него набежали. Усталый архиерей начал позевывать и замечать:

— Не к дождю ли? что-то морит...

И действительно, пошел дождик, сначала маленький, а потом и большой.

— Эге, да вам надо зонт, — сказал владыка и велел подать зонтик, с которым он имел привычку гулять по саду.

Оба святоши встали, но вот новая беда: оба они считали слишком большою для себя честью «идти под *владычным* зонтиком» и стали перекоряться.

— Нет, я не могу, я чувствую, что я недостоин идти под владычным зонтиком.

— А нет, уже идите вы — я еще менее достоин держать владычный зонтик.

И все это у самого крыльца, под окнами у владыки, а дождь их так и поливает.

В это время откуда ни возьмись какой-то балда и говорит:

— Оба вы недостойны ходить с владычным зонтиком, а потому я его у вас беру.

И с этим хвать! да и был таков, а глядевший на все это владыка, вместо того чтобы рассердиться и послать погоню, расхохотался и говорит:

— А что же такое: это резент! он умно рассудил! Что за святыня, взаправду, в моем зонтике?

N. и Z. долго ломали головы: как мог так опрометчиво сказать владыка и не есть ли это своего рода нигилистическая ересь?

Вскоре за тем епископ стал собираться летом сделать объезд части своей обширной епархии. Узнав об этом, N. тотчас же просил его не лишить своего посещения его «пустынку» и благословить его детей, которые обыкновенно съезжаются к старику на лето из Петербурга.

Владыка едва ли считал нужным быть в «пустынке», где, как он достаточно знал, благодаря усердию помещика не только все внешним образом исправно, но даже великолепно: однако, по доброте своей и по отличавшему его неумению говорить слово «нет», он склонился на просьбу N. и дал ему обещание быть у него в гостях около Петрова дня.

К Петрову дню молодые люди, живущие обыкновенно в столице, всегда приезжали на отдых к отцу в «пустынку», и потому обещание архиерея было во всех отношениях удобно и приятно для благочестивого хозяина. Загодя еще об этом было возвещено местным причтам, которые сейчас же и взялись за «божие дело», то есть начали тщательно перетирать все вещи в храме и мыть стекла, а сам N. в это время блаженствовал за хлопотами по приготовлению помещения для владыки. Ему, разумеется, устраивали покои в доме, а во флигелях — для его свиты, которая у прежних здешних архиереев всегда была очень обширна. В покои владыки наставили икон и наслали перед ними ковров, чтобы его преосвященству «не грубо было кланяться», а в свитских покоях, во флигеле, учредили «столы», так чтобы все, могущее здесь произойти, произошло *скромно.* N. был уверен, что, когда здесь вся челядь будет питаться, он с владыкою поведет целонощную Никодимову беседу и сподобится сам прочесть его высокопреосвященству полунощницу.

Затем оставалось только ждать этой радости, и притом недолго: около Петрова дня, в самую веселую сельскую пору уборки покосов, в «пустынку» прискакал за десять верст выставленный N. нарочный с известием, что владыка едет.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

N. тотчас же сел в экипаж и поскакал навстречу «дорогому гостю».

Помещик выехал один, потому что не считал удобным представлять владыке детей на дороге, и к тому же он не знал, «как его преосвященство с ним обойдется». После происшествия «с владычным зонтиком» N. несколько сомневался насчет владыки, и сомневался даже до такой степени, что не был уверен, удостоит ли владыка пересадить его к себе в карету, как это делали все его предшественники, или же оставит его скакать по-полицмейстерски, спереди или сзади. Это и в самом деле могло серьезно озабочивать N., потому что он очень любил почет, и все прежние п—ские владыки обыкновенно сажали его с собою в карету. Отчего же было его этим не утешить, особенно после такой *двусмысленной* истории с «владычным зонтиком», которую человек более решительный назвал бы просто «владычным нигилизмом»?

И вот, с небольшим через полчаса, на пологом косогоре, далеко видном с верхнего этажа дома, показался быстро несшийся столб пыли, а в нем архиерейский поезд, который, однако, оказался очень малым. К храму подскакали только троечные дрожки, в которых сидел несколько недовольный или смущенный N., а в карете очень простой старичок с добродушным лицом, в черном клобучке, за ним же, в заднем кабриолете за каретою, человек, который один и составлял *всю свиту* архиерея. Это, между прочим, было одною из причин заметного на лице хозяина смущения. N. не привык к такой простоте и считал ее новым признаком всюду проникающего нигилизма, который мог иметь дурное влияние не только на крестьян, но и на детей владельца и на самое духовенство. К тому же эта столь желанная и столь благодетельная для бедного сельского духовенства простота оставляла без употребления многое из приготовленного к угощению предполагаемой обширной компании и портила весь эффект встречи. Даже и «исполлаети деспота» некому было грянуть при входе владыки. Как хотите судите, а добрый православист не мог оставаться спокоен и доволен, видя такое «разорение отеческого обычая».

Но, кроме того, N. имел еще сугубое огорчение в том,

что владыка не только не посадил его в карету, а даже «уязвил его» за усердие. А именно, он просто раскланялся с N. в окно и спросил:

— Куда поспешаете? верно, по делу хозяйственному? Резент! Дела прежде всего, а я и без вас справлюсь.

— Нет, как можно, владыко! Я нарочно выехал навстречу вашему преосвященству.

— А для какой причины?

N. смешался; он не ожидал такого странного вопроса и отвечал:

— Так... хотел засвидетельствовать вам мое почтение.

— Ну вот! эко дело какое! Это и дома бы можно.

— Хотел благословения, владыко...

— Ага! благословения; ну, боже вас благослови, — отвечал владыка, — а теперь садитесь же поскорей на свое место да погоняйте. Жарынь, я устал, в холодок хочется.

И, усадив N. на его прежнее местечко, владыка прикатил, как доселе ехал, один в своей карете и затем непосредственно начал ряд крайне смущавших благочестивого хозяина «странных поступков в нигилистическом штиле».

Во-первых, епископ ходил скоро, и когда, при вступлении его в церковь, дети помещика (между коими один был в мундире кавалерийского офицера) пропели «Достойно есть» и «исполатие», то он остановился и слушал их с большим вниманием и удовольствием, а потом похвалил их и, скоро обойдя храм, опять принялся хвалить их стройное пение. Узнав же от молодых людей, по выходе из церкви, что они составляют домашний хор, которым исполняют оперное хоровое пение, пожелал послушать их *светское пение*. Это старому N. казалось уже совсем соблазнительно, а молодые люди с удовольствием спели для епископа несколько мест из «Жизни за царя» и из «Руслана», а также из «Фауста» и из «Пророка».

Владыка все слушал и все одобрял. Затем, усмотрев, что недалеко перед домом на лужайке убирают сено, он захотел пройтись на покос и был так прост, что взял из рук одной девушки грабли и сам прогреб ряд сухого сена. А на обратном пути с сенокоса к дому, повстречав возы

с сеном, он до того увлекся мирскими воспоминаниями, что проговорил из козловского «Чернеца»:

Вот воз, укладенный снопами,
И на возу, среди снопов,
Сидит в венке из васильков
Младенец с чудными глазами.

И опять все простое, человеческое, а ничего ни о попах, ни о дьяконах и о просвирнях. К вечеру же владыка даже пожелал половить в местном пруду карасей, смотрел на эту ловлю с большим удовольствием и не раз ее похваливал, приговаривая:

— Старинная работка — апостольская! Надо быть ближе к природе — она успокоивает. Иисус Христос все моря да горки любил да при озерцах сиживал. Хорошо над водою думать.

И так он провел весь день совсем без всяких разговоров о странниках и юродивых и, покушав чаю, отказался от ужина и попросил себе только «Христова кушанья», то есть *печеной рыбки*. Затем он ушел в отведенные ему комнаты, но от услуг N., который его сопровождал и просил позволения прочитать ему полунощницу, отказался, сказавши:

— До полунощи еще далеко; я тогда сам почитаю, а пока пришлите-ка мне какой-нибудь журнальчик.

— Какой прикажете, владыка: «Странник» или «Православный собеседник»?

— Ну, эти я дома прочту, а теперь нет ли — где господин Щедрин пишет?

Старый N. этого не понял, но молодые поняли и послали владыке «Отечественные записки», которые тот и читал до тех самых пор, пока ему приспел час становиться на полунощницу. Своего дела он, несмотря на всю усталость, не опустил — огонь в его окнах светился далеко за полночь, а рано утром на другой день епископ уже дал духовенству аудиенцию, но опять очень странную: он все говорил с духовенством на *ходу* — гуляя по саду, и потом немедленно стал собираться далее в путь, в город О.

Бенефис, который готовил себе в архиерейском посещении N., совершенно не удался, и только «высокое почтение к сану» воздерживало хозяина от критики «не по

поступкам поступающего» гостя. Зато младшее поколение было в восторге от милой простоты владыки, и владыка в свою очередь, по-видимому, чувствовал искренность сердечно возлюбившей его молодежи.

Это можно было видеть из всего его поведения, и особенно из того, что, не соглашаясь оставаться обедать по просьбе самого N., он не выдержал и сдался, когда к нему приступили с этою просьбою кавалерист, два студента и молодые девушки и дамы. Он их только спросил:

— Но для какой же причины я должен еще остаться?

— Да нам, ваше преосвященство, хочется с вами побыть.

— А по какой причине вам так хочется?

— Так... с вами как-то очень приятно.

— Вот тебе раз!

Владыка улыбнулся и добавил:

— Ну, если приятно, так резент: я остаюсь — только вы мне за это хорошенько попойте.

И он остался, попросив хозяина не беспокоиться особенно о его обеде, потому что он все «предлагаемое» кушает.[1] Просидев почти все дообеденное время в зале, владыка опять слушал, как ему, под аккомпанемент фортепиано, пропели лучшие номера из «Жизни за царя», «Руслана» и многих других опер.

---

[1] Кушать «предлагаемое» без строгой критики, кажется, не только позволительно, но даже полезно, а несоблюдение этого, напротив, ведет иногда к соблазнам, и притом таким, которые после никак нельзя разъяснить. Так, например, епископ Л., посетив в г. Минске известного епископа Михаила (из униатов), остался у него кушать с некоторым страхом, потому что был *предубежден,* будто владыка Михаил кушает мясное. Но как к столу были званы и другие гости, то преосвященный Л. думал, что при людях этого не случится. Но предубежденность преосвященного Л. довела его до того, что все подаваемые к столу блюда стали ему казаться *мясными!*

— Не могу, владыка, — сказал гость хозяину, отведав одну ложку, — это говяжий бульон.

— Успокойтесь, ваше преосвященство: это такая уха.

— Какая же это уха?

— Уха, я вам докладываю, и прошу кушать.

Но преосвященный Л. не поверил и кушал хотя не без аппетита, но со смущением, а через то, разумеется, предубежденность его еще более увеличилась. И вот подают второе блюдо, сделанное *вперекладку,* и хозяин спрашивает гостя:

— Какой рыбы позволите вам положить, этой или этой?

Откушав же, он тотчас стал собираться ехать, и карета его была подана во время кофе. Он как приехал один с своим слугою «Сэмэном», так с ним же одним хотел и уезжать, но три молодые брата N. явились к нему с просьбою позволить им проводить его до г. О.

— А по какой причине меня надо провожать? — спросил владыка.

— Здесь глухая дорога, ваше преосвященство.

— А я не боюсь глухой дороги: у меня денег только триста рублей, и те честным трудом заработаны.

— Да нам хочется вас провожать, владыка.

— А если хочется... это резонт, — сопровождайте.

И поездка состоялась с провожатыми. Архиерей сел, как приехал, в свою карету, а впереди его курьерами снарядились в большом казанском тарантасе три рослые молодца: мировой посредник, офицер и университетский студент. Сам хозяин, видя, что его владыка не приглашает, остался дома. Он удовольствовался только тем, что проводил поезд за рубеж своих владений и, принимая здесь прощальное благословение от архиерея, выразил ему свою о нем заботливость.

— В О. там ничего нельзя достать, владыка, так вы меня не осудите.

— А по какой причине я вас могу осуждать?

— Я велел кое-что сунуть вашему слуге под сиденье.

— А что именно вы под моего Сэмэна подсунули?

— Немножко закусочек и... шипучего.

— А для чего шипучего?

— Пусть будет.

— Ну, резонт; пусть будет. Сэмэн, сохрани, друг, под тебя подложенное.

И с тем хозяин возвратился, а поезд тронулся далее.

От «пустынки» до города О. на хороших разгонных конях ездят одною большою упряжкою, и владыка, вы-

---

Но предубежденный гость уже совсем на блюде рыбы не видит, а видит только рябчиков вперекладку с индейкой!..

И предубежденному епископу Л. все это было так трудно скушать, что у него сделалась отрыжка, на которую он не переставал жаловаться даже до самого недавнего времени, когда епископ Михаил уже был удален на покой и должен был сократить свое хлебосольство до крайнего minimum'а. *(Прим. автора.)*

ехавший после раннего обеда, должен был приехать в город к вечеру. Время стояло погожее и грунтовые дороги были в порядке, а потому никаких «непредвиденностей» не предвиделось, и оба экипажа пронеслись доброе полпути совершенно благополучно и даже весело. Веселости настроения, конечно, немало содействовало и то, что путники, скакавшие впереди в тарантасе, молодые люди, тоже выехали не без запаса и притом не закладывали его очень далеко. Но они не совсем верно разочли и раньше времени заметили, что оживлявшая их возбудительная влага исчезла прежде, чем путь пришел к концу. Достать же восполнение оскудевшего дорогою негде было... кроме как у архиерея, которому хлебосольный старец предупредительно сунул что-то под его Сэмэна.

И вот расшалившаяся молодежь немножко позабылась и пришла к дерзкой мысли воспользоваться архиерейским запасом. Весь вопрос был только в том: как это сделать? Просто остановиться и попросить у архиерея вина из его запаса казалось неловко, обратиться же за этим к Сэмэну — еще несообразнее. А между тем вина достать хотелось во что бы то ни стало, и желание это было исполнено.

Ехавший впереди тарантас вдруг остановился, и три молодые человека в самых почтительных позах явились у дверец архиерейской кареты.

Владыка выглянул и, увидав стоявшего перед ним с рукою у козырька кавалериста, вопросил:

— По какой это причине мы стали?

— Здесь, ваше преосвященство, в обычае: на этом месте все останавливаются.

— А по какой причине такой обычай?

— Тут, кто имеет с собою запас, всегда тосты пьют.

— Вот те на! А по какой же это причине?

— С этого места... были замечены первые месторождения руд, обогативших отечественную промышленность.

— Это резент! — ответил владыка, — если сие справедливо, то я такому обычаю не противник. — И, открыв у себя за спиною в карете форточку, через которую он мог отдавать приказания помещавшемуся в заднем кабриолете Сэмэну, скомандовал:

— Сэмэн, шипучего!

Сэмэн открыл свои запасы, пробка хлопнула, и компания, распив бутылку шампанского, поехала далее.

Но проехали еще верст десять, и опять тарантас стал, а у окна архиерейской кареты опять три молодца, предводимые офицером с рукою у козырька.

Владыка снова выглянул и спрашивает:

— Теперь по какой причине стали?

— Опять важное место, ваше преосвященство.

— А по какой причине оно важно?

— Здесь Пугачев проходил, ваше преосвященство, и был разбит императорскими войсками.

— Резонт, и хотя факт сомнителен, чтобы это было здесь, но тем не менее, Сэмэн, шипучего!

Прокатили еще, и опять тарантас стоит, а молодые люди снова у окна кареты.

— Еще по какой причине стали? — осведомляется владыка.

— Надо тост выпить, ваше преосвященство.

— А по какой причине?

— Здесь, ваше преосвященство, самая высокая сосна во всем уезде.

— Резонт, и хотя факт совершенно не достоверен, но, Сэмэн, шипучего!

Но «Сэмэн» не ответил, а звавший его владыка, глянув в форточку, всплеснул руками и воскликнул:

— Ахти мне! мой Сэмэн отвалился!

Происшествие случилось удивительное: за каретою действительно не было не только Сэмэна, но не было и всего заднего кабриолета, в котором помещалась эта особа со всем, что под оную было подсунуто.

Молодые люди были просто поражены этим происшествием, но владыка, определив значение факта, сам их успокоил и указал им, что надо делать.

— Ничего, — сказал он, — это событие естественно. Сэмэн отвалился по той причине, что карета и вся скоро развалится. Поищите его поскорее по дороге, не зашибся ли!

Тарантас поскакал назад искать отвалившегося Сэмэна, которого и нашли всего версты за две, совершенно целого, но весь бывший под ним запас шипучего исчез, потому что бутылки разбились при падении кабриолета.

Насилу кое-как прицепили этот кабриолет на задние долгие дроги тарантаса, а Сэмэна усадили на козлы

и привезли обратно к владыке, который тоже не мог не улыбаться по поводу всей этой истории и, тихо снося довольно грубое ворчание отвалившегося Сэмэна, уговаривал его:

— Ну, по какой причине так гневаться? Кто виноват, что карета *напьянилась*.

По таком финале поезд достиг города, где сопровождавшие владыку молодые люди озаботились тщательно укрепить кабриолет Сэмэна к карете и здесь, прощаясь с преосвященным Н—м, испросили у него прощения за свою вчерашнюю шалость.

— Бог простит, бог простит, — отвечал владыка. — Ребята добрые, я вас полюбил и угощал за то, что согласно живете.

— Но, владыка... вы сами так снисходительны и добры... Мы вас никогда не забудем.

— Ну вот! петушки хвалят кукука за то, что хвалит он петушков. Меня помнить нечего: умру — одним монахом поменеет, и только. А вы помните того, кто велел, чтобы все мы любили друг друга.

И с этим молодежь рассталась с добрым старцем навсегда.

Кажется, по осени того же года старший из этих трех братьев, необыкновенно хорошо передававший manière de parler[1] епископа Н—та, войдя с приезда в свой кабинет, где были в сборе короткие люди дома, воскликнул:

— Грустная новость, господа!

— Что такое?

— Сэмэн больше уже не даст петушкам шипучего! — сказал он, подражая интонации преосвященного Н—та.

— А по какой причине? — вопросили его в тот же голос.

— Милый старичок наш умер — вот нумер газеты, читайте.

В газете действительно стояло, что преосвященный Н—т скончался, и скончался в дороге. Вероятно, при нем был его «Сэмэн», но как о малых людях, состоящих при таких особах, не говорится, то о нем не упоминалось. Впрочем, хотя все это было сказано по-казенному, но, однако, не обошлось без теплоты, вероятно совсем не зависевшей от хроникера. Сказано было о каком-то сопро-

---

[1] Манеру разговора *(франц.)*.

вождавшем владыку протоиерее, которому добрый старец, умирая, устно завещал употребить на доброе дело всё те же пресловутые триста рублей, «нажитые им честным трудом» и составлявшие *все* оставленное этим архиепископом наследство. Деньги эти он всегда носил при себе, и они оказались в его подряснике.

Как он их «нажил честным трудом», это остается не выяснено, но некто, знавший покойника, полагает, что, вероятно, он получил их за сделанный им когда-то перевод какой-то ученой греческой книги.

Наступник этого ласкового и снисходительного епископа, ездившего в ветхой карете и читавшего на сон грядущий сатиры Щедрина, кажется, не имел никаких поводов жаловаться, что предместник его сдал ему епархию в беспорядке. Она, подобно многим частям русского управления, умела прекрасно управляться сама собою, к чему русские люди, как известно, отменно способны, если только тот, кто ими правит, способен убедить их, что он им верит и не хочет докучать им на всякий шаг беспокойною подозрительностию.

За сим, сказав мир праху и добрую память доброму старцу, перейдем к лицам тоже добрым, но гораздо более тонким и политичным.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Есть очень распространенное, но совершенно ложное мнение, будто наши архиереи все зауряд люди крутые и неподатливые, будто они совсем безжалостны к скорбям и нуждам мирских человеков. Такое давно сложившееся, но, как я смею думать, неосновательное или по крайней мере слишком одностороннее мнение особенно раздражительно выразилось в последнее время, то есть именно в то время, когда представительство церкви, по-видимому, как будто начало сознавать необходимость не раздражать более против себя русское общество, и без того раздраженное до весьма искренней неприязни к духовенству.

Новый повод к самым сильным раздражениям был дан в 1878 году, и причиною к нему было так называемое в газетах неожиданное «фиаско брачного вопроса в св. синоде».

Синодальные суждения по этому *ноющему* вопросу русской жизни далеко не вполне известны всему обществу, которое должно было довольствоваться только краткими «резюме», а в них для него не было ничего утешительного. Люди, несчастливые в браке, опять остались в безотрадном и безвыходном положении — тянуть целую жизнь тяжкое и неудобоносимое бремя несносного сожительства при взаимных неладах и ненависти. Выходы остались прежние: или смерть, или клятвопреступническая процедура нынешнего развода, или преступление вроде того, какое нам являет судебная хроника в харьковском деле об убийстве доктора Ковальчукова. Желать смерти даже ненавистного человека отвратительно; искать союза с клятвопреступниками, содействие которых необходимо при нынешних законах о разводе, не менее отвратительно и притом стóит очень дорого. Это возможно только людям богатым, а семейное счастие желательно и потребно каждому, — бедному оно даже нужнее, чем богатому. Третий способ разделаться с ненавистным союзом есть преступление, на которое, к счастию человечества, способны очень немногие относительно всего числа несчастливых супругов. Далее, выходя из всякого терпения, люди, при какой-нибудь доле благоразумия, предпочитают то, что, по господствующим понятиям, хотя и составляет позор, но при всем том дает людям какой-нибудь призрак семейного счастия: у нас все более и более распространяется безбрачное сожительство поневоле. Люди эти несут некоторое тяжкое отчуждение и, страдая от него, конечно не благословляют и никогда не благословят тех, кого они считают виновниками своих несчастий, то есть защитников тягостнейших и невыносимых условий нерасторжимого брака при несходстве нрава и характеров.

Понятно, что когда, при таких обстоятельствах, обществу стало известно, что брачный вопрос, поднятый в синоде по почину бывшего об.-прок. гр. Толстого, лица светского чина, «потерпел полнейшее фиаско» по неподатливости лиц чина духовного, то это не содействовало притуплению чувства раздражения, питаемого многими против епископов, но, напротив, рожон, против которого

решились прать представители церкви, еще более обострился. Послышались речи памятные и страшные, которые можно извинить только тем состоянием ужасной намученности, от которой впадали в отчаяние люди, потерявшие в этом «фиаско» всякую надежду поправить свою несчастную жизнь. Говорили: «Наши епископы, верно, сами хотят доводить нас до клятвопреступничества и даже до преступлений еще более тяжких! Пусть же будет так, но тогда мы знать не хотим этой церкви, у которой такие жестокие предстоятели».

И было это раздраженное, но неосновательное слово так внятно и так жестоко, что оно, кажется, должно бы проникнуть и за те высокие стены, которыми ограждали себя неподатливые устроители этого фиаско. И было бы непонятно и ужасно, как этот стон не тревожил их сна и не вредил их аппетиту, если бы... *если бы они могли поступить иначе.* Но дело именно таково, что при данном ему направлении они, *как люди духовного чина,* не могли поступить иначе: они не могли руководиться ни чувствами, ни логикою явлений, которые решительно становят нас на сторону лиц, считающих пересмотр и реформу брачного вопроса в России настоятельно необходимыми. Их действиями правила и должна была править логика иных начал, от которых они не могли и не могут оступить своею властию. Но общество наше, или вовсе не знающее церковной истории, или знающее ее только по учебникам, одобренным св. синодом, никаких подобных вопросов не может здраво обсуждать, а умеет только раздражаться. Оно *так воспитано.*

Но здесь не место разбирать интереснейший и самый животрепещущий брачный вопрос, с непостижимым и, можно сказать, предосудительным равнодушием оставляемый нынче без внимания нашей печатью. [1] Тронув его, надо тронуть очень большую и важную материю, для чего потребовалось бы не только много времени и места, но и много знания и обстоятельности, а моя задача иная, более легкая и более общая. Я не пишу исследования причин

[1] Очень замечательно, что печать довольно усердно и довольно основательно трогала этот вопрос, когда он совсем не циркулировал в правительственных сферах (см. статьи г. Филиппова в «Современнике»); но когда вопрос поступил на очередь и подлежал решению, печать не оказала ему сравнительно самой малой доли

фиаско брачного вопроса в св. синоде в 1878 году и не обязан представлять критике воззрений, руководивших устроителями этого фиаско. Я хочу только показать живыми очерками архиерейских отношений к людям, страдавшим от пут этого рокового вопроса, что об архиереях несправедливо заключать по этому «фиаско». Многие (если не все) епископы в душе совсем не так жестки и бессердечны, как это думают озлобленные мученики семейного ада, и я приведу тому небезынтересные и характерные примеры в наступающих рассказах. Они, как я надеюсь, могут показать, что нашим архиереям вовсе не чужды доходящие до них скорби мирских человеков, нуждающихся в милосердном снисхождении к их брачным затруднениям. Мы увидим, что архиереи иногда делают для облегчения этих затруднений не только все, что могут, но даже порою идут в своем соболезновании гораздо далее.

Первый случай такого рода я знаю в моем собственном родстве.

Некто А. Т⟨иньков⟩, довольно родовитый и крупный помещик О⟨рлов⟩ской губернии, был женат на своей ку-

---

того внимания, на которое надлежало бы, кажется, рассчитывать в интересах общества. Потеря от этого для общества произошла большая. Конечно, нет никакого основания думать, что даже самая энергическая поддержка со стороны печати могла изменить сущность решения, которое можно было предвидеть и которое не могло быть иным при данном этому делу направлении. Но печать, несомненно, могла придать вопросу всю важность его общественного значения и указать другие основания, на коих вопрос о браке может быть и должен быть рассмотрен в сферах, властных дать ему исход более надежный и более удовлетворяющий положению самому мучительному и невыносимому. Печать в этом случае не была связана *ничем,* кроме разве изобилия более интересных материалов, постоянно накопляющихся в деловых портфелях русских редакций. Мне, однако, достоверно известно, что лучший компромисс, при котором можно было ожидать самого удовлетворительного решения нашего брачного вопроса, был предложен не публицистами и не юристами, а епископом Филаретом Филаретовым (ум. в Риге), очень умное неофициальное заявление которого обер-прокурору Д. А. Толстому, к сожалению, оставлено без внимания. Не мудрено, что, когда мучительный вопрос о брачной реформе снова появится на сцене, это резонное мнение будет уже слишком прочно позабыто и дело опять пойдет не лучшим путем и опять завалится в долгий ящик. *(Прим. автора.)*

зине. Несмотря на их непозволительный по степени родства брак, они были обвенчаны и жили так благополучно, как будто на союз их самым законным образом низошло самое полнейшее божеское благословение, которого, казалось бы, ничто не в состоянии нарушить. И муж и жена были известны за очень хороших людей, каковыми, вероятно, считал их и местный преосвященный Поликарп, очень строгий монах и чудак, но очень добрый человек, неоднократно посещавший супругов Т—вых в их родовом селе Х⟨омут⟩ах, на берегу реки Оки. У Т—вых было уже несколько детей, и вдруг над ними грянул гром, и притом, что называется, грянул не из тучи, а из навозной кучи. Божие благословение, благоуспешно призванное на это семейство церковью и, видимо, на нем опочившее, захотел снять и снял пьяный дьячок. Это был изрядный забулдыга, который повадился ходить к А. Т. «кучиться», то есть просить у него то дровец, то соломы. Он страшно надоедал этим попрошайством, которое вдобавок обратил в промысел: что выпрашивал, то не довозил до дому, а переводил в кабаке на вино.

Узнав об этом, Т. прекратил отпуск дьячку яровой соломы, и когда тот опять стал докучать и попал под руку во время крайней досады, причиненной прорвою мельничной плотины, то Т. прогнал его не совсем вежливо и, по былой дворянской распущенности, не придал этому особенного значения. Велика ли важность велеть людям вытолкать пьяного дьячка из дому? Но дьячок был на сей раз с амбициею: он почел причиненную ему обиду за важное и отмстил за себя знатно и чисто по-дьячковски.

Неделю или две спустя после этого домашнего события в селе Х—х Т. получил от домашнего секретаря покойного еп. Поликарпа приглашение немедленно пожаловать в город к владыке по самому важному делу.

Таинственное дело это был донос, присланный обиженным дьячком, на незаконность брака Т—ых, повенчанных в недозволенной степени родства.

Еп. Поликарп вызвал Т—ва только для того, чтобы сообщить ему об этом неприятном событии, которого архиерей никак не мог оставить без последствий, и реко-

мендовал Т—ву по дружбе спешить в Петербург, где назвал дельца, способного уложить все дело о расторжении брака «под сукно, до умертвия».

Т. запасся знатною и, по его соображениям, достаточною для удовлетворения дельца суммою, простился с детьми и с опечаленною женою и прикатил в Петербург.

Я его постоянно видел у себя в эту пору и знаю все перипетии дела до мельчайших подробностей. Оно началось, как говорят, «с удавки». Хорошо аттестованный преосвященным Поликарпом делец даже и состоятельному Т—ву приходился не под силу. Не за то, чтобы опровергнуть донос и утвердить брак двоюродного брата с сестрою, а только за то, «чтобы уложить дело до умертвия», он, не обинуясь, запросил русскую сказочную цену «до полцарства» и ни о чем меньшем не хотел и разговаривать. «Полцарства» — это был его прификс.

Дело это происходило лет двадцать пять — двадцать шесть тому назад, и учреждение, от которого оно зависело, было не в нынешнем составе; но, однако, уже и тогда в нем появлялись новые отважные люди, заменившие старинных подьячих, бравших «помельче да почаще». Преосвященный Поликарп, конечно, и не знал этого нового типа облагороженных взяточников, перед которыми прежние «хапунцы аки бы кроткие агнцы». Притом же делец стоял на почве законности и, стало быть, мог никого не бояться. Что было делать? «Отдать до полцарства», как он просил с остроумною шутливостью, конечно было жалко, да и жирно. Это составляло тысяч около тридцати. Но остановиться на одних переговорах и не дать этих денег значило явно погубить дело самым решительным и притом безотлагательным способом. Делец слыл за человека сколько смелого и ловкого, столько же корыстолюбивого, злого и мстительного.

Все это Т—в соображал и обсуждал, бродя целых три месяца в Петербурге, между тем как в О‹рле› дело его было уже решено как нельзя для него хуже.

Думал, думал бедный Т—в и, наконец, истерзанный мучениями жены и раздраженный тоскою и огромными упущениями по хозяйству, решился дать алчному чиновнику «до полцарства». Но как такой наличной суммы у помещика в руках не было и реализовать ее тогда было

еще труднее, чем нынче, делец же был, разумеется, человек осторожный и не шел ни на какие сделки, а требовал наличность, то ввиду всего этого Т. послал жене распоряжение немедленно запродать все свое имение прицепившемуся к нему богачу М—ву, а деньги доставить как можно скорее в Петербург для вручения их дорогому благодетелю.

Молодая дама, конечно, не прочь была исполнить требование мужа, но, по свойственной большинству дам бережливости, не могла расстаться с своим добром, по крайней мере хоть не оплакав его. Ей хотелось спасти свой брак, но нестерпимо жаль было сразу лишиться «до полуцарства».

И вот, по непростительному, но опять весьма свойственному некоторым дамам радикализму, расстроенной молодой женщине вдруг стало представляться, что вся эта игра не стоит такой дорогой свечки.

«Бросить все, да и конец сразу со всеми дьячками и попами и теми, кто еще их повыше», — вот что внезапно пришло ей в ее расчетливую головку.

Она с большим трудом удержалась отписать в этом тоне мужу и еще с бо́льшим усилием заставила себя съхать в г. О. с тем, чтобы начать там переговоры о желании продать родовое имение, которое злополучные супруги надеялись передать детям.

В горе, почти близком к отчаянию, прибыла Т—ва в О. и послала человека за некиим «Воробьем», мещанином, исполнявшим тогда в этом городе всякие маклерские комиссии, но посол не застал знаменитого «Воробья» дома; огорченная же дама, чтобы не сидеть одной вечер с своим горем, вздумала проехать к кому-нибудь из своих посоветоваться. Но дело было летом, когда О., представлявший тогда, по выражению близко знавшего его романиста, «дворянское гнездо», был пуст: вся его родовая знать жила в эту пору в своих маетностях, и советоваться было не с кем, с местными же деловиками дама не хотела говорить, да и не видала в том никакой для себя пользы.

В таком положении, грустная и одинокая, не видя ни в ком из людей помощи и защиты, она вспомнила о самом

последнем помощнике, призываемом как бы из-за штата, — она вспомнила о боге. Мысль отдать праздный и тяготящий своею пустотою час молитве показалась ей такою утешительною и счастливою, что она немедленно же привела ее в исполнение.

Случай благоприятствовал молитвенному настроению огорченной дамы: в то самое время, как она пожелала обратиться к «последнему защитнику», в церквах ударили ко всенощной, и люди потянулись к храмам. В это время в О. была «болезнь на людях», и все население города было настроено построже, почутче и побогобоязнее. Т—ва вспомнила об уютном уголке в домовой церкви преосвящ. Поликарпа и немедленно же отправилась туда «выплакаться: не просветит ли бог, что ей сделать?»

Таковы, по ее собственным словам, были ее мысли, которым она намерена была просить услышания.

Вздумано и сделано: Т—ва приехала в монастырь и застала домовую церковь довольно отдаленного архиерейского дома почти совсем пустою. Всенощную служил простой иеромонах, а архиерея не было видно: как после оказалось, он стоял у себя в комнате, из которой, по довольно общему архиерейским домам обычаю, было проделано в церковь окно, занавешенное голубою марлею.

Т—ва стала на колени в уголке, за левым клиросом, и молилась жарко, сама не помня откуда взяв для своей молитвы слова:

«Боже! по суду любящих имя твое, спаси нас!»

Иного она ничего не могла ни собрать в своем уме, ни сложить на устах и, как ветхозаветная Анна, только плакала и шептала:

— Спаси нас, по суду любящих твое имя, — и в том была услышана.

Выплакавшись вволю, молодая женщина даже не заметила, как окончилось служение и немногие богомольцы, бывшие в церкви, стали выходить. И она встала с колен и хотела идти вон, но вдруг к ней подходит архиерейский служка и от имени владыки просит ее завернуть на минутку к преосвященному Поликарпу.

Т—ва почитала о. доброго Поликарпа и в другой раз

была бы рада его зову, но теперь она чувствовала себя слишком расстроенною и отказалась.

— Поблагодарите владыку, — сказала она,— я очень бы рада услыхать его слово, но я очень, очень расстроена...

И она пошла далее, но не успела сделать несколько шагов, как ее снова остановил запыхавшийся келейник и говорит, что владыка потому-то и просит ее к себе, что он видел в окно, как она расстроена.

— Их преосвященство и сами не совсем хорошо себя чувствуют, — добавил келейник, — желудком недомогают, но они непременно хотят говорить с вами.

Дама подумала, что архиерей, может быть, скажет ей что-нибудь полезное по ее делу, и пошла за провожатым.

Едва она вошла в зал, как тотчас была встречена самим архиереем, который ласково протягивал ей обе руки.

Наблюдая бедную женщину в церкви и заметив ее сильное расстройство, он, очевидно, и сам растрогался.

— Что за горе печальное с вами? — заговорил преосвященный участливо, переводя даму в гостиную, где усадил ее на диван и, приказав подать чай, попросил гостью рассказать «все по порядку».

Дама рассказала все, что мы уже знаем из верхних строк нашего повествования.

Архиерей закачал головою, встал и молча начал ходить.

Пройдясь несколько раз по комнате, он остановился перед гостьею и произнес:

— Дорого.

— Ужасно, владыка.

— Дорого... очень, весьма дорого!

— И посудите, владыка, где же я могу так скоро взять столько денег? — продолжала сквозь слезы дама.

— Где взять столько денег? Негде взять столько денег! Нет, это дорого.

— Но что же делать, владыка? Я должна исполнить, что приказывает муж...

— Должны, должны исполнить; мужняя воля прежде всего для хорошей жены... Но только очень дорого!

— Но как же нам быть, владыка?

— Как быть, как быть? Право, не знаю, как вам быть, но только это дорого.

— Я уже не знаю, что и предпринять...

— Да и не мудрено... Ишь как дорого!

— Не подадите ли вы, владыка, какого-нибудь совета?

— Да какие же мои советы? Я ведь вот указал на этого деловитого мужа, думал, хорошо выйдет, а он, видите, как дорого. Нет, вам надо с кем-нибудь из умных людей подумать.

— Но когда думать, владыка, и где этих умных людей теперь искать?

— Да, это правда: умные люди везде редки, а у нас даже очень редки, и кои есть еще, очень извертелись и на добро не сродни. Ишь как дорожится... подай ему «до полуцарства». А самому с чем оставаться?

— С половиною только, владыка.

— Как говорите?

— Я говорю: самим нам придется оставаться с половиною.

— С половиною-то это бы еще ничего...

— Как ничего?

— Так, половины вашей еще бы, пожалуй, достаточно, чтобы поднять детей на ноги, но... Вы, право, лучше бы обо всем этом с каким-нибудь умным человеком поговорили: умный человек мог бы вас *одним* словом на полезное наставить.

— Ах, боже! да где я его сейчас возьму, владыка, такого умного человека? вы же сами изволите говорить, что они очень редки.

— Правда, правда, умные люди очень редки, но все-таки они есть где-нибудь в черном углу.

— Я не знаю, куда за ними — в какой угол метаться?.. Да и в моем теперешнем положении, я думаю, и никакой умник ничего для меня полезного не скажет, кроме как: вынь да положь деньги, сколько требуют.

— Ох, не говорите этого; умник не то скажет.

— Право, то же скажет, владыка.

— Нет, умник иначе скажет.

Дама посмотрела на архиерея и думает:

«Что же это, твое преосвященство хитрит или помочь мне хочет», — и спрашивает его:

— А например: какое «одно слово» мог бы мне сказать умный человек?

— Умный человек умно и скажет.

— Да, ваше преосвященство, но что же бы он мог мне сказать? Какое он может знать *«одно слово»?*

— Ну, ведь это вам у него надо спросить.

— Да, но вы предположите, что я его спросила и жду его ответа... Что же он мне проговорит? Вы простите меня, ваше преосвященство, я так растерялась, что совсем бестолковая сделалась, и думаю, что в помощь мне никакой мудрец ничего изречь не может.

— Да, конечно, с вас требуют очень дорого, но мудрец все-таки мог бы порассудить...

— Но что же такое, владыка, он будет рассуждать?

— Что такое? Ну, например, будем говорить так...

— Я вас слушаю, владыка.

— Если он мудр и к тому же добр и сострадателен...

— Добр и сострадателен, как вы, владыка.

— Нет, не так, как я, а гораздо меня более, то... отчего бы ему, например, не рассуждать так...

— Как же, как, владыка? — вопросила нетерпеливая дама.

— Ну, положим, хоть вот как, — продолжал с расстановками архиерей, — положим, что он, как умник, мог бы знать, как этого петербургского жадника безо всего оставить: он бы вам это ясно и вывел, а вы бы и успокоились.

Т—ва заплакала.

— Ах, бедная! Но чего же вы плачете?

— Владыка! вы ко мне немилостивы, это вы делаете, что я плачу.

— Я это делаю! но чем я это делаю?

— Конечно, вы, владыка! Я и так исстрадалась, но уже привыкла к мысли, что нам нет спасения, а вы оживили во мне надежду, а не хотите сказать, что же мне может присоветовать очень умный человек?

— Ну вот! разве я это знаю.

— Знаете.

— Да откуда же я знаю?

— Знаете.

Дама улыбнулась, и архиерей тоже.

— Позвольте,— сказал он,— я уже давно ни с одним умным человеком не говорил, но разве для вас... переговорить.

— Ах, переговорите, владыка! — воскликнула, всплеснув руками, дама и хотела броситься целовать его руки.

Архиерей ее удержал, посадил опять на кресло и молвил:

— Переговорить... да... переговорить... надо бы переговорить, но только...

На этом слове он неожиданно сморщился и сказал:

— Ну, извините, пожалуйста, я должен вас на минутку оставить...

С этим он повернулся к гостье спиною и быстрою походкою удалился в свои внутренние покои, откуда через неплотно притворенную дверь послышалось торопливое щелканье повернувшегося в пружинном замке ключа, и затем все стихло.

Молодая дама внезапно очутилась в полном недоумении: она решительно не могла понять, что́ так неожиданно отозвало от нее доброго и, по-видимому, принимавшего в ней живое участие архиерея. Но, к счастию ее, в эту минуту появился келейник с подносом, на котором стояли две чашки чаю, сухари и варенье.

— Куда вышел владыка? — спросила тихонько дама; но келейник, несмотря на то, что имел в ухе серебряную сережку, сделал вид, будто не слышит.

— Где теперь владыка? — переспросила гостья.

Келейник более не отмалчивался, но, в тоне вопрошавшей, так же тихо ответил:

— Извините — этого я объяснить вам не могу.

— Но, однако, он дома?

— О, совершенно дома-с. Они скоро выйдут.

И, как бы для большего успокоения гостьи, что внезапно покинувший ее хозяин действительно скоро вернется,— служитель его преосвященства поставил на стол большую голубую севрскую фарфоровую чашку, из которой архиерей всегда кушал, и сам скрылся.

Дама снова осталась одна, но уже гораздо в более оживленном настроении. Ей, во-первых, думалось, что архиерей выйдет или не с пустыми руками, а с нужными

ей тысячами, которые и предложит ей немедленно взаймы, или же он принесет ей то «одно слово» умного человека, которое может обуздать и сделать безвредным петербургского жадника.

Конечно, вынести деньги было бы всего лучше, да притом и всего легче, так как, по мнению наших дам, у всех архиереев десятки и даже сотни тысяч всегда так и лежат готовые, на всякий случай, в шкатулке: стоит только его преосвященству щелкнуть ключом, опустить туда руку, вынуть пачки да отсчитать, — вот и дело в шляпе. Ключом уже она сама слышала как его преосвященство щелкнул, а теперь он, очевидно, занят только отсчитыванием — поэтому келейник и не смел сказать, где владыка находится и чем он занят, — но сейчас он отложит, сколько ей нужно, денег и придет прежде, чем остынет чай в его севрской чашке. Конечно, ей будет немножко совестно брать, но что делать? — если он предложит ей, она, хоть это и конфузно немножечко, все-таки возьмет, а потом она ему отдаст. Какая же в этом беда?

И вот даме стало все легче и легче смотреть на свет и думать о своем деле. Легкий, игривый ум ее теперь уж только для забавы занимался разгадкою, какое это могло быть *«одно слово»,* которое стоило только сказать — и все дело поправится. Разумеется, архиерей только для политики отсылал ее расспрашивать о таком слове умного человека, а в существе никакой другой человек тут не нужен, потому что владыка сам и есть человек умный и нужное гостье магическое слово он сам же и знает. Конечно, может быть ему нельзя, неловко выговорить это слово по его монашеским обетам или по чему-нибудь другому, но надо его к этому вынудить: надо вырвать у него это слово или *подловить* его на слове, как был подловлен известный своею тонкостью министр, которого она видела в театре, в прекрасно исполняемой Самойловым пьеске «Одно слово министру». Она вспомнила и Самойлова и то слово, которое он так художественно ловит. В пьесе это слово было: *«молчать»,* — но какое же должно быть то слово, не в театральной пьесе, а в русском деле «о расторжении незаконного брака

и о прекращении безнравственного сожительства»? Это, конечно, не мешает знать.

И только что отвлеченная всем этим дама немножко порассеялась и даже утешилась, до слуха ея долетела опять звучная пружина замка какой-то отдаленной двери какого-то таинственного архиерейского покоя, и преосвященный Поликарп, с несколько изменившимся и как бы озабоченным лицом, появился на пороге. Он шел медленно и, конечно не без причины, держал свою правую руку за пазухою видневшегося из-под черной рясы шелкового коричневого подрясника.

Нечего было сомневаться, что он бережет тут отсчитанные им деньги.

Милой даме, имеющей *общие* понятия об архиерейских богатствах, конечно и в голову не приходило, что преосвященный Поликарп, как о нем говорили, «был не богаче церковной мыши»: этот архиерей был до такой степени беден, что сам занимал у своих подчиненных по «четвертной ассигнации».

Но в таком случае, что же он так бережно нес в руке, спрятанной за пазуху? Неужто «одно слово умного человека»? Но где же он нашел так скоро этого умного человека? Или у него есть свой «черный угол», где такой человек спрятан? Но тогда зачем же он посылал ее разыскивать умного человека, если такой, как Святогоров конь, у него всегда наготове под замком, удила грызет и бьет от нетерпенья копытом об измраман пол?

Все это было невыразимо любопытно и раздражительно.

Преосвященный молча сел к столу, положил себе в свою голубую чашку ложечку варенья и молча же начал ее долго и терпеливо размешивать.

Вежливая гостья не прерывала хозяина — она только искоса поглядывала на него, стараясь проникнуть, принес ли он ей нужные для взятки деньги, или он принес только одно могучее слово очень умного человека, с которым, как ей казалось, владыка удалялся для совещания.

И ей было крайне досадно на застенчивость архиерея, который, очевидно, был чем-то смущен и как бы не решался возобновлять прерванного разговора.

Она допила свою чашку, поставила ее на стол и сделала решительное движение, как будто готовясь встать и распроститься.

Архиерей это заметил и, тронув ее слегка за руку, произнес:

— Не торопитесь.

Она осталась. Владыка опять мешкал, работая в чашке ложечкою, и, наконец, отпив чайку, начал, покряхтывая и морщась:

— Все так и идет, поветриями... то такая болезнь, то другая... У меня на сих днях проездом из Петербурга генерал был... тоже дела имеет и тоже досадует и жалуется: «совсем, говорит, умные люди у нас переводятся; прежде будто были, а потом стало все менее и менее, и теперь совсем нет». Как бывает годами от ветров неурожай на груши или на яблоки, так теперь недород на умы. Отчего бы это?

— Я не знаю, владыка.

— И я не знаю. Я ему только сказал, что неужели уже мы стали такое сплошь дурацкое соборище? «Не встречали ли, говорю, хоть проездом кого потолковее?»— «Да удивительно, говорит: едешь по дорогам, беседуешь, все будто умные люди — обо всем так хорошо судят, а дойдут до дела, ни в ком деловитости нет». Вот не в том ли, говорю, и есть наше поветрие, что деловитые-то умы у нас все по путям ходят, а при делах заместо них приставлена бестолочь?

— К чему же это мне, владыка?

— А к тому, что умных людей действительно остается искать только в глупом месте, куда мы их забили, точно какую непотребность. Вот отчего все и трудно и нудно.

Архиерей опять остановился, а дама обнаружила новое намерение встать, но он придержал ее.

— Это очень дорого с вас хотят, — заговорил владыка.

— Уже мы в этом, ваше преосвященство, согласились. Но как это ни дорого, а все-таки я понимаю так, что надо скорее давать деньги.

— Из чего же это явствует?

— А из того, что нет другого спасения.

— Да; а в этом-то разве есть спасение?

— Мм... по крайней мере обещают, тогда как, — добавила она, улыбнувшись, — вы, владыка, даже не хотите

мне сказать, что́ думает о моем несчастии очень умный человек.

Архиерей поглядел на нее с некоторым недоумением и в свою очередь спросил:

— Кого вы под сим разумеете?

Дама пошла на риск и ответила напрямик, что она говорит о том, с кем владыка выходил поговорить, оставляя ее в своей гостиной.

Архиерей посмотрел на нее еще с бо́льшим недоумением, но потом сию же минуту улыбнулся, махнул рукою и заговорил:

— Ах, так вы об этом!.. Куда я выходил... а что же? Пусть так. Ну, извольте: я от вас не скрою, что оный умник думал. Он тех мыслей, что деньги, разумеется, пустяки, помет в сравнении с семейным счастием, но для иной свиньи и помета жалко. По его мыслям, деньги давать не следует, ибо через то ваше семейное спокойствие не устроится.

— А как же оно может устроиться?

— Это другой вопрос.

— Но умный человек, может быть, и об этом вопросе имеет мысли?

— Имеет.

— И как же он рассуждает?

— Сократически.

— Помилуйте, владыка: что же? Я ничего в этом не понимаю. Сократ был философ, а я простая женщина.

— Это ничего не значит, Сократа все понимать могут.

— Ну, позвольте — я попробую.

— Извольте. В мыслях умного человека предлагается такое суждение, как я сказал, почти в сократической форме. По какому поводу возникла вся эта история, простирающаяся ныне до половины вашего царства?

— Она возникла потому, что я и мой муж между собою двоюродные брат и сестра.

— Изрядно сказано: иначе она не могла возникнуть. Но если бы об этом никто не доносил, то не могла ли бы эта история не подниматься?

— Конечно, она никогда бы не поднялась.

— Да, возможно допустить, что она не поднялась бы, хотя это всегда подвержено случайности.

— Какой, например?

— Такой, например, что кто-нибудь из родственников вашего мужа после его смерти мог претендовать на родовое наследство и доказывать незаконность вашего брака.

— Нам это и в голову не приходило.

— Верю. Теперь, продолжая держаться того же сократического метода, основательному человеку представляется нужным определить: не был ли причиною всего донос?

— Да, разумеется донос, владыка! Я не знаю даже, зачем на этом так долго путаться?

— Позвольте, позвольте! Причиною был донос — и кем же сделан тот донос?

— Вы отлично изволите это знать: донос сделан дьячком.

— Дьячком! Действительно, донос сделал дьячок. Но человеку рассудительному может прийти в голову: одни ли только дьячки способны делать доносы, или же этим могут заниматься и другие?

— Разумеется, не одни дьячки, ваше преосвященство, могут доносить. Вы всё это изволите знать.

— Верно, так: я это знаю; но дело не во мне. Умный человек далее судит: доносы могут делать не одни дьячки, а кто же еще может делать доносы?

— Разные гадкие люди.

— Гадкие... — вам непременно хочется назвать их «гадкими»... Что же... конечно... разумеется... но, может быть... гм!.. дело ничего не потеряет, если мы нравственную оценку доносчиков отбросим. Для умного человека достаточно просто установить тот факт, что доносы могут делать *разные люди.* Согласны ли вы с ним на этот счет?

— С кем, владыка?

— Как — с кем?.. ну, с этим человеком, который так рассуждает?

— Да, я с ним во всем согласна.

— Прекрасно! Теперь, если так, — рассмотрите же с ним: не следует ли допустить, что в числе различных людей, способных делать доносы, могут быть и некоторые пономари?

— Конечно, допускаю, владыка.

— Прекрасно! Но как вы думаете: не могут ли делать доносы также и некоторые дьяконы?

— Верно, могут и дьяконы.

— Могут; но проследим далее. Если это могут делать дьяконы, то уверены ли вы, что это совершенно не по силам иным священникам?

— Ах, им все по силам! [1]

— И им это по силам, — так. Ну теперь, выше восходя: что же вы скажете об иных отцах благочинных? Не благонадежны ли и они в рассуждении способностей доносить?

— То же самое скажу и о них, ваше преосвященство.

— Выше отцов благочинных нам подниматься уже не для чего. Уяснив себе все сказанное, толковый человек знает, что доносы могут поступать не от одного дьячка, а еще и от дьякона, и от попа, и от благочинного. Теперь обследуем другую сторону. По каким побуждениям сделал свой донос дьячок?

— Ему понадобился воз соломы; он пришел не вовремя, ему не дали; он рассердился и донес.

— Так; а не допускаете ли вы возможности, что пономарю может когда-нибудь понадобиться воз мякины, дьякону воз ухоботья, попу и отцу благочинному — возы овса и сена, да еще мешок крупчатки?

— Это все возможно, владыка.

— Да, сведущему человеку может показаться, что все такие случайности возможны, и он смотрит, какое каждое из них может иметь для вас последствие.

— То же самое, к какому привел донос дьячка.

— Вы хорошо судите, очень хорошо судите. Следовательно, если дьячок достигает «даже до полуцарства», то того же самого могут достигнуть и поп и дьякон?

— Все равно.

— И всякий так должен судить, что это все равно; ну, а в вашем царстве сколько половин?

— Конечно, две только.

— Непременно две. Каждому известно, что во всяком целом бывают только две половины. Как же тогда быть,

---

[1] Ниже мы будем иметь случай убедиться, что рассуждавших таким образом архиерея и даму нельзя винить в голословности и пристрастии. *(Прим. автора.)*

если половины всего две, а охотников уничтожить их множество? Не опасно ли, что таким образом из всего целого для себя не останется ни одной половины?

— То есть как это, владыка?..

— Да так; это человеку деловитому очень просто представляется. Если дьячков донос обойдется до полуцарства, и вы не успеете отдохнуть, как на вас уже пономарь донесет, — подавай другую половину. Отдадите, а затем, когда дьякон съябедничает, вам уже и давать больше нечего. Так или нет?

— Совершенно так, владыка.

— Думается, что так, потому что третьей половины уже нет; и тогда что же? Тогда сукно-то вскроется, и все, под него упрятанное, выскочит на свет. И не будет тогда у вас ни всего царства, ни законнобрачия, которого вас лишают доносы. А посему благоразумный человек думает: не лучше ли сберечь себе по крайней мере свое царство и притом не повреждать с ожесточением нравов ближних!

— Каких же это ближних, владыка?

— А духовенства.

— Помилуйте, они так сформированы, что мы ничего не можем повредить в них!

— Очень многое; увидав такую доходную статью, они станут еще более искушаться в доносах и во всем сами себя превзойдут.

— Ах, что мне до них!

— Да, это вам, светским людям, нипочем, но обстоятельные люди сана духовного так судить не могут. О нас ныне никто не печется, и потому наш долг самим предусматривать вредное и полезное и оберегать свое звание от искушений. Поверьте мне, что настоящий умный человек непременно вам это скажет. Пощадите, господа, бедное русское духовенство: дайте ему, если имеете милость, сенца и соломки, но сделайте милость, не давайте ему повода думать, что вы его на какой-нибудь случай боитесь. Пожалуйста, их к этому не поваживайте!

— Да позвольте, что мне до них за дело, владыка?

— Как что? Разве вы не русская?

— Русская я, русская, — я это знаю, но потому-то я и не хочу ни о ком думать, а только боюсь доносов.

— А вы их не бойтесь.

— Да как же их не бояться?

— Так, не бойтесь; разве вы не знаете, что кто холеры не боится, того сама холера боится?

— Но ведь, однако, нас с мужем по доносу развели.

— Ну и что же: какая от сего беда?

— Та, что детей наших признали незаконными.

— А хуже этого что?

— Что же еще хуже, владыка? Я уж и сама не помню, что́ я там читала: вы ведь сами изволили это утвердить.

— Утвердил, согласился — не мог не согласиться: решенье по закону правильно.

— Ужасно, ужасно!

— Да то-то: что же такое?

— Там что-то еще «предать покаянию», «возбранить безнравственное сожительство»... Одно слово страшнее другого.

— Да, вы правы, страшные слова, страшные слова, а вы им... не того...

— «Не чего», владыка?

— *Не доверяйте.*

Дама поняла, что *это* и есть *одно слово умного человека,* и спросила:

— И это все?

Но архиерей вместо ответа опять сморщился, задвигал рукою, которая была у него под рясою, и проговорил:

— Да, уж извините... я должен уйти... опять поветрие.

И с этим он быстро убежал, даже не затворив за собою двери. Очевидно, что на этот раз он особенно спешил уединиться с «умным человеком».

Верно или нет поняла молодая дама *одно слово* своего епископа, но только она не возвратилась в дом свой, в деревню, а прикатила прямо в Петербург и потребовала от мужа подробного объяснения о ходе дела.

Тот ей рассказал.

— Ну так это все надо бросить, — решила дама.

— Как бросить? — удивился муж.

— А так, что теперь на нас донес дьячок, и за это мы отдадим половину состояния; потом на нас донесет дьякон, и мы должны будем отдать другую половину; а после донесет поп, и нам уже и давать будет нечего. И тогда

нас разведут, и дети наши будут и без прав и без состояния. А потому надо сберечь им что-нибудь одно. Надо дорожить существенным: сбережем им состояние.

— А права?

— Они их получат по образованию.

— А мы сами?

— Что же о нас?

— Мы не будем более мужем и женою.

— Мы будем тем, чем мы есть друг для друга и для наших детей, к которым нам пора возвратиться.

— Но... меня все тревожит...

— Что тебя еще тревожит?

— Что о нас будут говорить? Тебя будут называть не женою моею, а...

Но дама не дала мужу договорить тяжелого слова: она закрыла его губы своею ручкою и с доброю лаской проговорила:

— Мы будем этому *не доверять*.

Муж поцеловал ее руку, и оба они обняли друг друга и заплакали слезами, в которых смешались и горе и радость.

Так эта Ева без больших затруднений склонила своего Адама *«не доверять»* тому, что о них писали в губернских и столичных инстанциях, и оставила петербургского жадника без куша. Полцарства своего они никому не дали и ныне сидят на нем и преблагополучно господствуют. Их, разумеется, развели, и подписку с них взяли, и покаяние их, где надо, значилось. Все меры к прекращению их безнравственного сожительства были приняты, все страшные слова проговорены и прописаны, но разведенные супруги, держась совета, который ими, может быть, неверно и понят, все-таки никаким этим страстям «не доверяли» и поныне не доверяют, и бог их на доброй русской земле терпит. Семья их и до сих пор сохраняет свой прежний счастливый состав и мирное благоденствие, а недоверие их имеет столько заразительного, что все, их знающие, продолжают их посещать по-старому и даже сами совершенно не доверяют, что тут что-либо кем-нибудь изменено. Словом, все, что где-то, когда-то было постановлено об этих супругах, общественным доверием

не пользуется. Только дьячка, по доносу которого возникла эта поучительная история, преосвященный Поликарп убрал в другое место, прежде чем сам скончался от того самого поветрия, которое мешало его этюдам в сократической форме. Одно, что изменилось, это то, что с тех пор разведенная семья увеличилась несколькими детьми, но это никому не мешает: местный сельский батюшка, в своей деревенской простоте, приходит их и молитвовать и крестить. Его сельскому необразованию и в голову не приходит показать свою важность, как умел это сделать, например, расхваленный «образцовый священник» петербургской Знаменской церкви, Александр Тимофеевич Никольский. Этот «образцовый священник», как повествует изданная о нем похвальная книга, в похожих обстоятельствах упорно отказался помолиться над незамужнею родильницею. (Имя этой злополучной петербургской дамы, занесенное в записи о. Никольского, *целиком пропечатано* его усердными друзьями.) Он не только отказался идти к родильнице на двукратное приглашение, но не сдался в этом ни консистории, ни своему епископу. Это ему и поставлено в заслугу, хотя в деле этой дамы или девицы не только преосвященный митрополит Исидор, но даже его консисторские чиновники, конечно, были несравненно снисходительнее и человеколюбивее о. Никольского. Ему, очевидно, помешала его слишком большая начитанность: «представитель нового типа» уперся в своем противлении потому, что знал сочинения Василия Кесарийского, где вычитал, будто «молитва назначена только для родильниц, состоящих в честном браке и в законе». Осуждать «представителя нового типа» не будем: известно, что «многие книги в неистовство прелагают» (Деян., XXVI, 24) и за то «мертвецы суд приимут от написанных в книгах» (Апок., XX, 12).[1] Только, к счастию нашему, обыкновенные наши священники, «семинарские простецы», не имеющие широкой известности «представителей нового типа», мало знают отеческие писания, в которых весьма легко запутаться. Зато они бывают проще и покладливее, что нам, при

---

[1] Драгоценнее всего то, что о. Никольский вел это дело, пока добился себе порицания; но зато он и даму подвел под «епитимию по 22 правилу Василия Великого»... *(Прим. автора.)*

наших строгих на все правилах, весьма необходимо. Они у нас в своей священной простоте молятся над всякою родильницею, которая их позовет, и даже совсем как бы «не доверяют», что есть рождения незаконные. Может быть, это и большой грех, как настаивал на том о. Никольский, но надо надеяться, что бог простит им этот грех их неведения, а духовное начальство, как видно из книги об отце Никольском, давно этой ошибки духовенству в фальшь не ставит. А посему, читатель, если вы имеете неосторожность разделять довольно общее мнение, будто наши епископы по собственной охоте стремятся отяготить лежащие на нас бремена тяжкие и неудобоносимые, то поверьте, что это неосновательно. Поверьте, что, может быть, ни в какой другой русской среде, особенно в среде так называемых *«особ»,* вы не встретите такого процента людей светлых и вполне доброжелательных, как среди епископов, которые, к сожалению, большинству известны только с сухой, официальной их стороны. Человек же, как известно, *наилучше познается в мелочах.*

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Показав отношение одного архиерея к мирянам, находившимся в затруднении по случаю расторжения их брака, я теперь покажу другого архиерея и других мирян в еще более трудном и строгом моменте в брачном деле.

В некотором большом городе жил и теперь живет крупный чиновник, Н. А. Е—в, человек почтенных лет, но с юношеским сердцем. Н. А. Е—ва любили все, кто его знал, и не любить его было трудно, так как он чрезвычайно обязательный и милый добряк. У него только два порока, или две слабости, из коих одну можно ему поставить даже и в добродетель: он большой *хлопотун.* Всю свою жизнь он за кого-нибудь просил или за кого-нибудь ручался, кого-нибудь вызволял из разного рода напастей, получая за это сам нередко более или менее чувствительные неприятности. Великое множество разнообразных несчастливцев считает его своим благодетелем, а он скорбит, что не может вызволить всех, потому что фонды его понизились и курс пал. Его беспрестанные за

всех просьбы и поруки одним наскучили, а у других потеряли вес и значение. Лядащая мораль наших прожженных дней такой сердечной докуки не терпит и не переносит.

В городе этого чудака прозвали: «Мать Софья о всех сохнет», а в семейном кружке его зовут — *«дядя Никс»,* и мы удержим для него это последнее имя в нашем рассказе.

Дядя Никс был женат первым браком очень рано, на девице очень хорошего семейства, из рода владетельных князей К. Он был как нельзя более счастлив в этом браке, — жена его разделяла общую к нему симпатию и уважение и нежно его любила, но счастие их было непродолжительно: молодая женщина умерла родами, оставив мужу маленького сиротку.

Вдовец очутился в грустном и трудном положении — один с маленьким ребенком, которого ни за что не хотел отдать из дома. Но бог о добрых людях печется: семья покойницы, принимая живое участие в осиротевшем добряке, прислала к нему пожить и заняться им и ребенком младшую сестру умершей — тоже недавно потерявшую мужа, молодую и очень симпатичную женщину, имевшую о ту пору двадцать два или двадцать три года и двух своих сироток, которых она тоже привезла к дяде Никсу.

Прекрасная вдовица обладала душою самою нежною и была религиозна. Она имела весьма разностороннее образование и довольно замечательный музыкальный талант, а дядя Никс, вдобавок ко всему о нем сказанному, был «поэт в душе» и любил музыку.

Вдовцы зажили дружно, душа в душу: дитя одного нашло в тетке нежность утраченной матери, а дети другой обрели в попечительности дяди Никса самого заботливого отца.

Сводная семья в самое короткое время совсем слилась воедино, как родная, и глубокий траур, который все носили в этом милом *живом доме,* скоро совсем утратил свой суровый характер. Его как бы забыли замечать.

Целую зиму все знакомые люди охотно хаживали посидеть вечерок у дяди Никса и охотно предпочитали его тихие вечерки всяким иным, более шумным собраниям. Но вдруг, под исход великого поста, приятные беседы расстроились. Причиною тому было, что хозяйка

стала часто прихварывать, и хотя болезнь никому не казалась опасною, но она как-то сверх меры озабочивала всегда милого и веселого дядю Никса.

Грубые мужчины, по своей тяжеломысленности, не знали, как объяснить и чему приписать эту непостижимую и грустную перемену, но всепроницающие очи и всезнающий ум женщин скоро разгадали тайну и объяснили ее кратким определением: милый дядя Никс, по женским приметам, очень основательно утешился.

Утешительница была в положении, которое не могло оставаться без компрометирующего ее вдовство результата.

Все это происходило в то недавнее безалаберное, но живое время, когда мы, по выражению нынешних безнатурных благоразумцев, *«захлебывались либерализмом»*, или, попросту сказать, бурлили, не зная сами, «что льзя, и то, чего не можно».

В том из «больших центров», где невзначай произошел такой случай с утешительною дамою, это неведение ходило бесшабашными волнами и проницало всю глубь нашего мелкого житейского моря, которое не хитро на глазомер взять от гребня его валов до самого дна. И на высоте и в преисподних творились разные чудеса. О том, как околесили маленькие люди, мы более или менее знаем, а что в этом же роде натворено людьми высших положений, это еще едва-едва вылезает на свет. Во главе местной администрации нашего «центра» тогда стоял высокородовитый генерал, самой необъятной непосредственности. Его непосредственность была так велика, что он, например, мог судить о книгах, не читая их, и притом судить очень оригинально. Так, например, выдавая себя другом литературы, он говорил, что запретил бы только одну вышедшую тогда книгу, — именно: «Историю конституций» А. В. Лохвицкого, но и то запретил бы ее потому, что «все это уже старо и узко». В государственном устройстве сановник метил гораздо дальше, чем брала эта книга. В семье он желал видеть, чтобы дети росли на свободе без всякого «воспитания», и достиг этого вполне в своих собственных детях, *таскающих* его имя где попало и с кем попало. Между множеством анекдотов его административной свистопляски были известны

его слова, что он «не только терпеть не может низкопоклонников, но даже *любит, чтобы ему грубили»*.

Находились люди, которые пробовали доставлять ему такое удовольствие, и, к чести его сказать, он *иногда* сносил это довольно терпеливо. Впрочем, после стал обижаться. Но еще более, чем грубиянов, он любил людей *неподзаконных,* то есть таких совершенных людей, которые любят становиться выше закона, будучи сами себе закон. В таких людях на Руси, как известно, недостатка нет, и сам высокий сановник тоже был из таких совершенных людей; но он заблуждался, думая, что таковы же и все остальные современные ему правители отдельных частей управления. Особенно же он ошибался в местном владыке, которого всегда очень хвалил, говоря:

— C'est un brave homme, у него нет ni foi, ni loi. [1]

Что касается архиерейской foi, то этого высокого вопроса мы поверять не будем, но что до loi, то на этот счет генерал ошибался и получил за то распеканцию.

Узнав как-то от состоявших при его важной особе сплетников по особым поручениям об анекдоте, случившемся при утешении дяди Никса его свояченицею, генерал сейчас же его пожалел, назвал pauvre diable'м [2] и возымел намерение уладить это дело.

— Что же такое, что она сестра его жены? Это не беда... Ведь та, первая ее сестра, уже умерла?

— Умерла, — отвечают.

— Ну, а умерла, так эта и должна занять ее место. Она кто такая урожденная?

— Такая-то.

— А сестра ее?

— То же самое.

— А он какой урожденный?

Ему назвали фамилию.

— Ну вот, видите: у них совсем и фамилии разные. Это можно. Что такое за важность!

— Конечно, — говорят, — но по-нашему, по-православному...

— Ах, полноте, пожалуйста, что это такое за право-

---

[1] Это смелый человек; у него нет ни веры, ни закона *(франц.)*.

[2] Бедняк *(франц.)*.

славие и в чем оно состоит, я не знаю, кроме как «Господи помилуй», да «Тебе господи с подай господом». Но я знаю, что это можно, потому ведь та его жена уже умерла. Так или нет?

— Так.

— Ну, и можно. Если бы они обе живы были, — ну, тогда, конечно... могли быть соображения, ну, а теперь... Скажите ему, чтобы он мне повинился и попросил помочь, — я очень рад и сам съезжу к нашему бонзе. Старик мне не откажет, — сейчас подмахнет разрешение.

Кто-то выразил было некоторое сомнение насчет такой податливости владыки, но правитель совсем обелил его преосвященство.

— Полноте, пожалуйста; я, — говорит, — вам ручаюсь, что он ни во что не верит и не имеет ni foi, ni loi.

Близкие последствия показали, что оба эти мнения о владыке были неверны.

Генерал взялся за дело не только с ловкостью, но и с отвагою настоящего военного человека.

Горячность его была такова, что он, при первом же свидании с дядей Никсом, сам расспросил его в шутливом тоне: «как это вышло?» — и, узнав о справедливости смущавшего Никса анекдота, сразу же его ободрил.

— Вы не смущайтесь, — сказал он, — все это в наше время сущие пустяки. Теперь, когда, можно сказать, уже никто из порядочных людей не живет с своими женами, на эти дела смотрят иначе. А вы, если хотите еще держаться старины, чтобы надевать «узы Гименея», так можете свободно жениться вторым браком на сестре вашей жены. Зачем и не побаловать даму: они ведь только егозят, будто стремятся к свободной любви, а в самом деле — все очень любят выходить замуж. Им это нравится: «закон принимать», — точно они все кухарки. Ну, да это ваше дело. Женитесь, я вас благословляю; и сегодня же съезжу к нашему бонзе и привезу вам от него разрешение. Он на этот счет бесподобен: что вам нужно, все разрешит.

Дядя Никс не отказал генералу в праве ходатайствовать, и тот поскакал с этим полномочием к владыке, но оттуда возвратился чрезвычайно скоро и такой рассер-

женный, что сразу же начал перед дядею Никсом бранить «бесподобного» *толстоносым невежею, тупым бонзою и упрямым козлом.*

— Никогда себе этого не прощу, что взялся с ним об этом говорить, — пылил генерал. — Помилуйте, я всегда был уверен, что он прекрасный старик, что у него ni foi, ni loi, а он, выходит, прехитрый мужичонко! Он все от меня выслушал и улыбался, а потом вдруг давай ахать:

«Ай-ай-ай! — говорит, — какое ужасное дело! Беременна родная сестра его жены. Боже, какая безнравственность!»

Я хотел в шутку — говорю:

«Ну, полноте, ваше преосвященство: что за важность!»

А он скроил этакую благочестивую мину и отвечает:

«Как что за важность! Ай-ай-ай! Беременна... родная сестра его жены... и он хочет на ней жениться... на родной сестре своей жены... И вы, верховный сановник и правитель, изволите сообщать об этом мне, вашему епархиальному архиерею, и требуете, чтобы я вам дал на это разрешение! Ай-ай-ай! Ай-ай-ай! Как вы могли за это взяться!»

Я говорю:

«Просят меня, ну и я прошу».

«Да помилуйте, мало ли о чем иногда просят! Нет, это ужасно, ужасно, ужасно! Я, разумеется, не удивляюсь вашей всем известной доброте, притом же, хотя вы и должны знать законы, но вы в военной службе служили и законов не изучали».

Я говорю:

«Черт их знает, — я их действительно не знаю!»

«Ну, — он говорит, — это вас, конечно, и извиняет, но тот, кто вас об этом просил, не извинителен. Удивляюсь, много удивляюсь, как он, зная законы, мог решиться позволить себе беспокоить особу столь высокого, как вы, звания такою беззаконною просьбою! Статочно ли это, чтобы вы, в вашем положении, просили меня, архиерея, разрешить известному человеку жениться на родной сестре его покойной жены! Ай-ай-ай! Надо его пощунять, да, пощунять его, пощунять. Пожалуйста, ко мне его пришлите, — пришлите: я его у себя сам погоняю.

Ишь какой дерзкий, как он смел вас так подводить под такую глупость! Пришлите! Этого без штрафа оставить нельзя».

И, передав с точностию речь архиерея, сановник отмахнул по-военному рукою и добавил:

— Так вот, что теперь изволили заварить, то и извольте расхлебывать: отправляйтесь к нему и извольте объясняться с ним сами, а я более — пас. Да-с, я пас, пас, хоть бы у вас не одна свояченица, а полный дом женщин сделались беременными.

Переконфуженный дядя Никс попробовал было отговориться, что уже лучше, мол, все это бросить и не просить и не ехать объясняться, но сановник был не так настроен.

— А нет-с, покорно вас благодарю, — отвечал он, — нет-с, извините, ведь это я тут замешан, а я не хочу, чтобы это на мне и оставалось. Начали, так надо доделывать. Он теперь еще, пожалуй, пойдет рассказывать, что я приезжал по такому делу... Нет-с, вы начали — вы и кончайте: извольте ехать, да-с, и даже немедленно извольте ехать. Завтра именно извольте ехать и объясняйтесь с ним как знаете, только чтобы я тут был ни при чем. Он мне, может быть, сто раз повторил, чтобы вас прислать, и я вас посылаю, да, сейчас извольте ехать, сейчас!

— Завтра, — говорит дядя Никс.

— Нет-с, сейчас, сейчас, сию минуту! Я имею основание не хотеть, чтобы такое скандальное дело за мною числилось, и я вас прошу, я вам, наконец, *приказываю* от этого скандального дела меня очистить.

Дядя Никс насилу мог отпроситься отложить свою явку владыке до завтра. Он провел самую беспокойную ночь, скрывая от семейных причину своей тревоги, но открыл ее одному из близких друзей и все у него допытывался мнения, как тот думает: «съест или не съест его завтра разгневанный епископ?»

Но вопрошаемый знал об этом столько же, как вопрошавший, и рассуждал, что «пожалуй, съест, а пожалуй, и не съест».

Шутя, они даже по пальцам гадали, но ничего не угадали: раз выходит, что съест, а другой — не съест.

Не добьешься толку: ворожба тайных дум освященного лица не раскрывала. Так, ничего не зная, что́ будет, дядя Никс на следующий день, в подходящий час, отправился с стесненным сердцем к его высокопреосвященству, от которого ожидал услыхать невесть какие неприятные для себя напрягаи и строгости.

Архиерей не забыл о дяде Никсе и даже, вероятно, ждал его. По крайней мере, как только его ввели в зал и доложили о нем, владыка сам распахнул двери гостиной и приветливо заговорил:

— Прошу покорно, добро пожаловать, добро пожаловать. Сердечно рад вас видеть.

И, усадив дядю Никса на диван, он продолжал в том же мягком и приветливом тоне:

— Давно и очень давно желал с вами познакомиться. Много наслышался о вас хорошего. Благо тому, о ком так говорят, как о вас, особенно у нас, где ни за ум, ни за доброту хвалить не любят.

Дядя Никс кланяется, а архиерей продолжает:

— Мало у нас, очень мало умных, и еще менее добрых и благонамеренных людей на общественной деятельности, а вы не такой, не такой... Да, вы не недотрога.

Дядя Никс опять кланяется, а архиерей снова продолжает:

— Я давно интересовался вашими хлопотами о народном образовании. Могу сказать, не для вида одного занимаетесь, а действительную пользу делаете. За это вам за наш бедный темный народ поклон до земли. Но вы ведь, кроме того, и еще во многих комитетах.

— Точно так, ваше преосвященство.

— Усердны, очень усердны.

— Что делать, избирают.

— Да, да, где ни прочитаю, всё вы сидите. Хвалю, очень хорошо, очень хорошо делают, что такого доступного добру человека избирают. Ну и что же у вас, например, по такому-то комитету делается?

Дядя Никс опять отвечает. А владыка далее любопытствует: как идут дела в третьем, в пятом и в десятом из тех бесчисленных комитетов, при посредстве которых

таким живым ключом кипит наша смелая и оригинальная административная деятельность.

Дядя Никс обстоятельно, по всем пунктам, удовлетворил любознательность владыки и успел ему показать в этом разговоре свою сведущность, искреннее добросердечие и приятный ум. Владыка с удовольствием его слушал и не раз принимался похвалять словом.

— Одобряю вас, весьма одобряю.

А потом и сам высказал несколько замечаний, поразивших гостя не только своею глубиною и меткостью, но и благородным свободомыслием, в котором, впрочем, у русских людей не бывает недостатка, пока они не видят необходимости согласовать свои слова с делом.

Дядя Никс, конечно, знал эту черту наших нравов и не обольщался ее проявлениями у владыки.

«Знаю я вас, — думал он, — широко ты, брат, расписываешь в том, что до тебя не касается, а небось, в чем дело к тебе клонит, так ты мне жениться не позволил, а про закон запел, да вот и о сю пору все виляешь, а о моем деле ни слова не говоришь!»

А владыка как бы прочел эти мысли на его лице и говорит:

— Ну, приятно, очень мне приятно было с вами побеседовать, а теперь позвольте же мне, ваше превосходительство, спросить: что такое у вас дома случилось неловко по женской части?

— Да, владыка... извините, что я осмелился...

— Сшалили?

— Виноват, владыка.

— Да, вчера князь налетел с этим на меня, как с ковшом на брагу, — говорит, что будто вы его просили со мною на этот счет переговорить. Да ведь он на гулянках много празднословит, — я, признаюсь, ему не поверил.

— Нет, это точно так, владыка.

— Вы его просили?!

— Просил, владыка.

Владыка пожал плечами и закачал головою.

— Для чего же вы это сделали?

Дядя Никс молчал.

— Ведь вы, кажется, без шуток... имеете *серьезное* намерение жениться на сестре вашей покойной первой жены?

— Да, то есть... я имею это желание, я имею в этом нужду... потому что у меня есть сиротка, который в этой женщине только мог бы найти вторую мать, но если это нельзя...

— Позвольте, позвольте, вы совершенно справедливо и совершенно основательно судите: действительно, кто же сироте по женской линии ближе тетки; но ведь такой брак у нас недозволителен.

— Я думал, что как у всех других, например у католиков и у лютеран, это не считается препятствием, так, может быть, теперь уже и у нас...

— Нет, опять позвольте... Во-первых: что такое значит это ваше *«теперь»?* В рассуждении духа времени — это так, но в рассуждении правил соборных постановлений это *«теперь»* и тогда и всегда будет одно и то же. Указываете, что у инославных это позволяется, но ведь мы с вами не инославные, а православные, и, родясь в лоне православной церкви, должны знать, что этого нельзя. Зачем же вы о такой невозможности просите?

— Извините великодушно, владыка; я вижу, что сделал непростительную глупость, и умоляю вас, не гневайтесь и простите.

— Простить — извольте, прощу, потому что просящему прощения и бог прощает, а извинить — не извиню. Другому, менее вас умному человеку, я охотно бы это извинил, но вам не могу. Как, помилуйте, возможно, чтобы по этакому деликатному делу прислать ко мне, монаху, этакого бесстыжего петуха, который и без того везде орет во все горло, что у меня нет ни foi, ни poi (sic), и давно на грудь мне наступает, чтобы я закона не почитал. Помилуйте вы меня! Да к чему же мне это, и для чего нам, бедным людям, такая роскошь? Я ведь не в корпусе на Садовой улице учился, а Эврипида читал:

Nam si violandum est jus, regnandi gratia
Violandum est, aliis rebus pietatem colas.[1]

Нарушить закон *«для того, чтобы царствовать»,* — это и умные люди делали, но нарушать его для того, чтобы один действительный штатский шалун с моего разреше-

[1] Ибо если есть у тебя право нарушать закон, нарушай его для того, чтобы царствовать, а в прочих случаях будь благочестен (*лат.*).

ния на своей свояченице женился, это уже никакого резона нет.

Владыка встал с места и подал руку дяде Никсу, но не выпустил ее, а тепло придержал своею другою рукою и добавил:

— Нет, напрасно вы, напрасно прямо сами ко мне не пожаловали: я бы вам разрешения, разумеется, все равно не дал, но зато прямо бы вам объяснил, что вам мое разрешение вовсе и не нужно.

— А без разрешения ничего нельзя сделать, владыка.

— Да и я бы так думал, но мне говорили, что именно *так только и можно,* как вы сказали: «без разрешения». Я не знаю, где это, но только не раз слыхал, будто тут есть такие попы, что за пятьсот рублей вас не только на свояченице, а хоть на родной матери перевенчают. Нам ведь этого в точности не доведут, но вам-то, чай, скажут. Для чего же при таких тайностроителях в эти дела епископов путать, да еще через важных русских либералов это делать? Помилуйте... Сей род самый опасный и ничим же изымается; с ними надо очень, очень опасливо: они сами подзадорят да сами же первые и выдадут хуже школьников. До свидания. Поеду вашему покровителю визит отдать.

— Сделайте милость, владыка, посетите его: он рад будет.

— Знаю... Чудак! а то подумает, что я на него сержусь, и «предупреждать» пойдет повсюду. Свистун, а мужик добрый. Будьте покойны; я сейчас ему либерального елея на самый главный винтик капну и до дна его смаслю. Бог с ним. Таких разболтаев тоже надо беречь. Он еще, может, пригодится вам на всякий случай. Храни бог доноса, тогда умом уж ничего не возьмешь, а этакой цыцарь как раз «цыц» и выхлопочет... Прощайте, и желаю вам счастливого успеха.

Гость тронулся, но хозяин его опять придержал и добавил:

— А говорят, если здесь неустойка, то к единоверам в Молдавию хорошо съездить: там будто, говорят, никаких затруднений не знают — за деньги эти православные молахи и валдахи не только на матери, а даже и на отце родном женят. Невероятно, а впрочем, чего на свете не бывает! Прощайте!

С тем дядя Никс и вышел от владыки, а через неделю после этого разговора он уже был обвенчан со своею свояченицею, и притом даже несколько меньше, чем за пятьсот рублей, и в Молдавию не ездил.

Читателя может поинтересовать: как все это сделалось и как это вообще делается? А потому я в конце моих очерков расскажу, что́ мне на этот счет известно, теперь же еще два последние портрета.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В Москве за несомненное рассказывают следующий характерный случай, имевший место с одним полицейским генералом у покойного митрополита Филарета Дроздова.

Генерал, обязанный блюсти благочиние столицы, не всегда хорошо знал пределы своей власти и, случалось, вмешивался куда не следовало. На это иногда жаловались или пробовали дать ему сдачи собственными средствами, но, к общему огорчению, все это выходило малоуспешно. Генерал же от ряда таких беспрестанных удач делался смелее, и без оглядки «забывая задняя — на передняя простирался», и в таком неуклонном стремлении наскочил на митрополита Филарета.

Случай этот возник с следующего повода. Довелось беспокойному генералу быть на чьих-то похоронах или по другому какому случаю заглянуть в одну из приходских церквей столицы, где его превосходительство не ждали и служили попросту, «как для христиан», то есть пели кое-как «олилюй и господи помилюй». Служение генералу страшно не понравилось — особенно со стороны козлогласующих певцов.

Разумеется, все это могло быть совершенно основательно, потому что в приходских церквах Москвы служение часто бывает поистине *ужасное,* — что и отталкивает в значительной мере раскольников, любящих уставное пение и чтение истовое. Генерал счел, что все это надо исправить, и обозначил в самом вежливом письме к митрополиту Филарету, которое и было послано по адресу без лишнего раздумья. Отправляя такое послание, генерал, конечно,

был как нельзя более доволен собою, потому что делал владыке сообщение, которое того не могло не интересовать, так как касалось самых живых вопросов церковного благочиния. Генерал, знавший, быть может, очень многое в петербургском свете, — откуда недавно пришел, — не знал вовсе неприступной щекотливости того лица, к которому он обращался, и за то поплатился очень досадительным уроком.

Митрополит Филарет, получив генеральское письмо, возымел себя совсем не так, как предполагал и неверно рассчитывал автор. Указание на то, что где-то в московской церкви не благочинно служат и не хорошо поют, обидело владыку; он усмотрел в этом дерзость. Такие вещи он если и терпел, скрепя сердце, от Андрея Николаевича Муравьева, то это была милость без образца, и затем он уже никак не хотел этого терпеть ни от кого другого — тем более от человека военного и занимающего полицейский пост. В его глазах это имело такой вид, как будто полиция начинает вмешиваться в церковное дело, для которого в Москве не упразднена еще своя настоящая власть, сосредоточенная в крепко ее державших руках митрополита Филарета.

И вот владыка, отложив письмо на угол стола, переслушал все другие поданные ему в этот день бумаги, — а потом, отпуская секретаря, указал на генеральское послание и сказал своим бесстрастным и беззвучным голосом:

— Это положить в конверт... и надписать генерал-губернатору.

Секретарь спросил, как отправить, — то есть при каком содержания письме или бумаге? Но митрополит был недоволен этим расспросом и отвечал:

— Без всякой бумаги, послать просто.

Так и было послано.

Дело родилось и назревало в тиши, но вдруг и забурлило.

Генерал-губернатор (который именно, я этого не знаю), [1] вскрыв поданный ему конверт и достав оттуда ге-

---

[1] Во всяком случае это не был Закревский, которому представлялось, что митрополит Филарет сочинил и велел читать в церквах молитву *об избавлении Москвы от лютого положения,* то есть от

неральское письмо к митрополиту, стал искать в пакете какого-нибудь препроводительного писания от самого владыки. По всему он имел основание предполагать, что такое писание непременно есть, но его, однако, не было. Тогда родилось другое, тоже весьма естественное в сем случае предположение, что препроводительное писание, по недосмотру или иной какой оплошности секретаря, не положено в конверт и осталось где-нибудь в митрополичьей канцелярии.

Поэтому генерал-губернатор пометил на письме карандашом: «справиться у секретаря, где бумага, при которой прислано».

Справка была сделана немедленно, и притом не письменная, а личная, через посредство одного из чиновников генерал-губернаторской канцелярии. Но тот, побывав с пакетом у митрополичьего секретаря, привез назад этот пакет без всякого восполнения и притом с странным ответом, что никакого препроводительного письма от митрополита не будет.

Опять доложили генерал-губернатору, и опять отряжен старший по чину и званию посол с посольством, имевшим прямою целию узнать: «что его высокопреосвященству угодно?» Но это новое посольство было не удачнее первого: не легко секретарь поддался просьбе спросить владыку: «что ему угодно?» через посылку упомянутого письма, да не привело ни к чему и вопрошание.

Филарет посмотрел на секретаря долгим, укоризненным взглядом и тихо молвил:

— Мне ничего не угодно.

Он был всеблажен и вседоволен, а в гражданской канцелярии генерал-губернатора от всего этого смущение только возрастало. По чиновничьему скудоверию, там находили невозможным удовлетвориться таким безмятежным ответом и считали неотразимо нужным добиться: для чего вседовольный владыка прислал это письмо и чего ему хочется? Делая такие и иные соображения, нашли наконец, что удивительное событие это всех более обязан разъяснить не кто иной, как сам полицейский

управительства Закревского. Об этом было официальное дознание, память о котором уберег будущему историку митрополит Исидор. См. список рукописей, пожертвованных высокопреосвященным Исидором Петербургской духовной академии. (*Прим. автора.*)

генерал, который заварил всю эту кашу, бог знает зачем и для чьего удовольствия.

И, как это часто водится, прежде чем хваткий генерал успел показаться и дать какие-нибудь разъяснения об этом беспокойном обстоятельстве, про самое обстоятельство уже меньше говорили, чем про его вздорливый нрав и его зливость, с которою он беспрестанно надоедает то одному, то другому, то пятому и десятому. И всем уже становилось радостно и мило, что вот таки он нарвался. И с чем пристал? «Не хорошо поют!» Да ты регент, что ли, — тебе какое дело? Не нравится — выйди, не слушай, ступай к цыганам, там хорошо поют. А чего лезть, зачем надоедать?.. Ведь это не какой-нибудь простой митрополит, а Филарет; он тайны знает; его боятся... Его только тронь, так и сам не обрадуешься. Вот и наскочил, — так тебе, сорванцу, и надо! Радовались не только люди русские, которым, по справедливому замечанию Пушкина, «злорадство свойственно», но даже некий немецкий чиновник, имевший за свою солидность особый вес у начальства. Он ведал это дело, и он же сказал о нем: «нашла коза на камень», и с этою немножко измененною русскою пословицею сделал такое обобщение, что быть за все в разделке самому беспокойному полицейскому генералу.

Так и сталось.

Во утрий день, когда полицейский генерал стал в урочный час по обычаю перед генерал-губернатором, сей последний сразу сморщился и заговорил скороговоркою и в недовольном тоне:

— Очень рад вас видеть... Вчера, почти только что вы от меня уехали, я получил конверт от митрополита. Вот он: возьмите его, пожалуйста; он здесь прислал ко мне ваше письмо, и кто его знает: зачем он его прислал? Я посылал узнавать, но ничего не узнали... Столкновение с ним всегда чрезвычайно неприятно... Кончите это, пожалуйста, как-нибудь сами.

Генерал сконфузился, и даже не на шутку, но подбодрился и, чтобы выдержать спокойный тон, спрашивает:

— Что же... мне самому прикажете съездить?

— Как хотите... Да впрочем, я не знаю, как же иначе, лучше съездите.

— Хорошо-с, я сейчас съезжу и сейчас же заеду вам сказать, если угодно.

— Пожалуйста... Как-нибудь...

— Да ведь это такие пустяки!

— Ну, однако... все-таки... пожалуйста, кончите и заезжайте.

Генерал поехал, но неудачно: вместо того чтобы получить возможность успокоить начальника, он заехал с самым коротким, но неприятным ответом, что митрополит его *не принял.*

— Ну вот видите!

— Да он, говорят, действительно болен.

— Положим, а все-таки неприятно. Вы уже сделайте милость... постерегите... когда он выздоровеет.

— Непременно-с, непременно.

— Вы там... келейника...

— Да... я уже все сделал и *просил.*

(Вот он уже начал *просить!*)

— Но и сами... наведайтесь, когда он может.

— Я заеду, заеду.

Он два раза повторил свое «заеду», а довелось ему заехать несколько раз, потому что владыка все недомогал, а генерал-губернатор скучал, что это еще не разъяснено и не кончено.

Генералу это так надоело, что он говорил, будто уже «готов хоть пять молебнов у Иверской отпеть, лишь бы отвязаться от этого письма и от всей этой истории». И бог, который, по изъяснению Иоанна Златоустого, «не только деяния приемлет, но и намерения целует», — внял нужде утесненного этими событиями генерала и воздвиг владыку с одра болезни. Под вечер одного дня дали генералу с подворья весть, что владыке лучше, а на другой день, едва его превосходительство собрался на Самотек, как через подлежащих чинов полиции пришло дополнительное известие, что Филарет нынче утром раненько совсем выехал на лето за город к Сергию и затем в Новый Иерусалим.

Крепкий, непокладистый человек был генерал, но это уже и его вымотало. Теперь хоть и не говори ни слова, а отправляйся туда же вслед за ним к Сергию и в Новый

Иерусалим. А примет ли еще он там? — это опять бог весть. Скажут: устал с дороги, отдохнуть нужно, беспокоить не смеем; или говеет, к причастию готовится; или с отцом наместником заняты... Да вообще конца нет претекстам. И это такому-то человеку, который и сам кипит и любит, чтобы вокруг него все кипело и прыгало!..

Черт знает, что за глупое положение, и все из-за чистейших пустяков, и притом в правде, потому что служение он видел нехорошее, пение безобразное и хотел обратить на это внимание, так как это у него в городе.

Генерал давно уже был не рад, что он все это поднял: крепкий и крупный во всех своих неразборчивых поступках, он ослабел и обмелел от этой святительской гонки, которая так не так, еще пока и до объяснения не дошла, а уже внушала ему необходимость известной разборчивости. Даже ухарская бодрость его подалась и спесь поспустилась до того, что он стал панибратственно спрашивать людей малых: как они думают, что́ лучше — немедленно ли ему ехать вслед за владыкой или подождать — пусть он отдохнет, начнет служить, и тогда... прямо к обедне, да от обедни под благословение, — подделаться на чашку чаю и объясниться.

Как мышь могла оказать великую услугу льву, так и тут случилось нечто малопозволительное: у мелкого человека нашлось ума и сообразительности больше, чем у крупного.

Малый советник сказал, что прямо от обедни генералу к митрополиту являться нехорошо, раз — потому, что его высокопреосвященство в такую пору бывает уставши, а во-вторых, что и дело-то требует свидания тихого и переговора с глаза на глаз, «чтобы если и колкость какую выслушать, то по крайней мере не при публике».

Это было первое упомянутие о колкости, но оно было принято без удивления и без спора. Очевидно, все иначе и думать не хотели, что без колкости дело обойтись не может. Вопрос мог быть только в том: какая?

— У него ведь это все применяется, — говорили советники, — что простецу, что ученому, что духовному, а что военному человеку... Особенно ученым строго; он вон

иерея Беллюстина вызвал, посмотрел на него, да опять пешком в Калязин прогнал.

— Господи!.. это черт знает что такое... И что за мысль попа пешком гонять!

— А-а, он ученый, статьи пишет.

— Да хоть бы и какие угодно статьи писал, все же ведь он не скороход или не пехотинец.

— А Голубинского еще хуже: прямо по руке ударил; он к ученым лют.

— Ну а к военным каков, а?

Собеседники плечами пожали и говорят:

— Про военных не знаем; военных, пожалуй, не смеет.

— Ведь не может же он меня заставить идти от Сергия пешком за покаяние — а? что? Я его не послушаю: сяду, да и уеду... что?

— Да, конечно нет: не смеет.

— Еще бы! пускай попов гоняет, а я не поп.

На самом же деле все это приводило генерала в большую нервность, и он, волнуясь, кипятился и попеременно призывал то бога, то черта, не зная, к кому плотнее пристать.

— Господи, что такое!.. черт бы все это драл... С коронованной особой, кажется, легче бы объясниться!

Но малый советник, до беседы с которым генерал не напрасно унизился, вывел его на хороший путь: он присоветовал генералу «сочинить» к владыке письмо и «поискательнее» просить его высокопреосвященство дозволить представиться по нужному делу, «когда он прикажет». И при всех этих варварских фразах о сочинении, искательности и приказании особенно настаивал, чтобы последняя фраза была употреблена в точности.

— А то иначе, — говорит, — он прошепчет секретарю: «напиши, я готов выслушать», а когда и где — опять не доберетесь. Нет, уж лучше пусть «прикажет».

Генерал, в досаде, уже ни за что не стоял и готов был испросить себе и «приказание», но только «сочинять» ему не хотелось.

— Сделайте милость, — говорит, — черт бы все это побрал... Господи! напишите, пожалуйста, как это по-вашему нужно, я все подпишу.

— Нет, — говорят, — тут нельзя «подписать», а надо своею рукою написать, или переписать, да еще почище — хорошенько.

— Да у меня, — говорит, — почерк скверный.

— Надо постараться.

— Ах ты господи!.. ну да черт с ними, со всеми этими делами; сочините мне, пожалуйста, я перепишу.

И он сдержал свое слово — переписал. Он взял черновое домой и хотя вначале сильно его критиковал и называл «хамским», но дома переписал его сполна и очень хорошо: буквы были все аккуратно дописаны, строчки прямы, — очевидно, выведены по транспаранту, а внизу подпись со всяким почтением, покорною преданностью, поручением себя отеческому вниманию и архипастырским молитвам и просьбою о его владычном благословении. Словом, сделано как подобает.

Письмо, в видах наибольшей аттенции, а может быть, и ради вернейшего получения скорого ответа, послано не по почте, а с нарочным, из сорока тысяч курьеров, готовых скакать во все стороны по манию каждого начальника в России.

Ждут ответа. Ждет сам генерал, поминая то бога, то черта. Ждут и его подчиненные, которым казалось, что он им уже «протопотал голову вдоволь».

Здесь, среди этих форменных людей, в которых, несмотря на всю строгость их служебного уряда, все-таки билось своим боем настоящее «истинно русское сердце», шли только тишком сметки на свойском жаргоне: «как тот нашего: вздрючит, или взъефантулит, или пришпандорит?»

Слова эти, имеющие неясное значение для профанов, — для посвященных людей содержат не только определительную точность и полноту, но и удивительно широкий масштаб. Самые разнообразные начальственные взыскания, начиная от «окрика» и «головомойки» и оканчивая не практикуемыми ныне «изутием сапога» и «выволочки», — все они, несмотря на бесконечную разницу оттенков и нюансов, опытными людьми прямо зачисляются к соответственной категории, и что составляет не более как «вздрючку», то уже не занесут к «взъефантулке» или «пришпандорке». Это нигде не писано законом, но преданием блюдется до такой степени чинно и

бесспорно, что когда с упразднением «выволочки» и «изутия» вышел в обычай более сообразный с мягкостью века «выгон на ять — голубей гонять», то чины не обманулись, и это мероприятие ими прямо было отнесено к самой тяжкой категории, то есть к «взъефантулке». Владыка, однако, не мог же иметь такого влияния, чтобы «сверзнуть» генерала или сделать ему другую какую-нибудь неприятность, а он просто его не более как «вздрючит», но, конечно, в лучшем виде.

Посол возвратился на другие сутки. Ему довелось переночевать у Сергия, но зато он привез ясный ответ на словах, что его высокопреосвященство может принять генерала.

— Когда же?

— Когда угодно.

— Я поеду завтра.

Так и решено было ехать завтра.

Генерала проводили, и когда поезд отъехал, то, смеясь в кулак, проговорили:

— Напрасно ты, брат, перемены белья с собой не захватил.

Между тем, ко всеобщему удивлению, генерал возвратился в Москву раньше вечера и был очень жив, скор и весел. Он тотчас же поспешил успокоить генерал-губернатора, что они с митрополитом объяснились, и дело это теперь кончено.

— Я доказал ему, что я прав, и он согласился и просил вам кланяться.

Тот был доволен, но подчиненные, которым никак не хотелось такого окончания, не верили, чтобы дело обошлось без вздрючки. Краткое сказание: «я доказал ему, что я прав, и он согласился», малодушным людям казалось как-то неподходящим. Выходило это как-то очень уж кратко и не имело на себе, так сказать, никакого облика живой правды. Как он это доказывал, что поп дурно служил и дьячки нехорошо пели? Разве попа и дьячков туда тоже выписывали? Нет, этого не было и не могло быть, во-первых, потому, что это дало бы делу такое положение, что митрополит все-таки придал какое-нибудь значение письму генерала, а во-вторых,

этого не могло быть просто потому, что владыка не знал, когда прискачет к нему генерал с своим объяснением. Не мог же он содержать при себе упомянутого попа и дьячков, про всякий случай, по вся дни. Да и все это было бы совсем не по-филаретовски. Нет, молодшие люди имели крепкое подозрение, что генерал митрополиту ничего не доказывал, потому что ему еще никто никогда не доказал ничего такого, что́ он сам не хотел считать доказанным, а просто генерал вытерпел у него неприятную минуту, но как ею кончается вся эта долгая возня, то он и рад, и опять прыгает и носится. А доказать митрополиту нельзя, — нельзя потому, что он такие дарования и способы имеет — сразу самого доказательстного человека взять и отсадить от его доказательств. И отсадить в самый дальний угол, где тот даже и сам себя не сразу узнает.

И вот эти-то приемы его очень интересны, как он это выведет так, что прав — неправ, а сказать нечего. И все это непременно было с генералом, но как же это было? как владыка его вздрючил и как тот извивался? Это положили узнать. А взялся за это некто близкий по своим связям с какою-то «профессориею», а та профессория знала еще кого-то, через которого доходили прямо до самого близкого человека. И когда весь этот порядок был ловко и ухищренно пройден, то результат превзошел все ожидания.

Вот верное сказание о том, как объяснялся генерал с митрополитом.

Владыка, зазвав гостя в отдаленные палестины, был внимателен к его приезду и не заставил его ожидать. Пожаловал генерал, доложили митрополиту, он и вышел: по обычаю своему не велик, нарочито худ, а из глаз, яко мнилося, «семь умов светит».

Разговор у них вышел недолгий, и все объяснение, до которого генерал достиг с таким досадительным трудом, свертелося вкратце.

— Чем позволите служить? — начал шепотом владыка.

Генерал отвечал обстоятельно:

— Так и так, ваше преосвященство, я был случайно месяц тому назад в такой-то церкви и слышал служение...

оно шло очень дурно, и даже, смею сказать, соблазнительно, особенно пение... даже совсем не православное. Я думал сделать вам угодное — довести об этом до вашего сведения, и написал вам письмо.

— Помню.

— Вы изволили отослать это письмо для чего-то к генерал-губернатору, но ничего не изволили сказать, что вам угодно, и мы в затруднении.

— О чем?

— Насчет этого письма, оно здесь со мною.

Генерал пустил палец за борт и вынул оттуда свое письмо. Митрополит посмотрел на него и сказал:

— Позвольте!

Тот подал.

Филарет одним глазом перечитывал письмо, как будто он забыл его содержание или только теперь хотел его усвоить, и, наконец, проговорил вслух следующие слова из этого письма:

— «Пение совершенно не православное».

— Уверяю вас, ваше высокопреосвященство.

— А вы знаете православное пение?

— Как же, владыка.

— Запойте же мне на восьмой глас: «Господи, воззвах к тебе».

Генерал смешался.

— То есть... ваше высокопреосвященство... Это чтобы я запел.

— Ну да... на восьмой глас.

— Я петь не умею.

— Не умеете; да вы, может быть, еще и гласов не знаете?

— Да — я и гласов не знаю.

Владыка поднял голову и проговорил:

— А тоже мнения свои о православии подаете! Вот вам ваше письмо и прошу кланяться от меня генерал-губернатору.

С этим он слегка поклонился и вышел, а генерал, опять спрятав свое историческое письмо, поехал в Москву, и притом в очень хорошем расположении духа: так ли, не так ли, противная докука с этим письмом все-таки кончилась, а мысль заставить его, в его блестящем мундире, петь в митрополичьей зале на восьмой глас

«Господи, воззвах к тебе, услыши мя» казалась ему до такой степени оригинальною и смешною, что он отворачивался к окну вагона и от души смеялся, представляя себе в уме, что бы это было, если бы эту уморительную штуку узнали друзья, знакомые и особенно дамы? Это очень легко могло дойти до Петербурга, а там какой-нибудь анекдотист расскажет ради чьего-нибудь развлечения и шутя сделает тебя гороховым шутом восьмого гласа.

И он не раз говорил «спасибо» митрополиту за то, что при этом хоть никого не было.

Но, однако, как «нет тайны, которая не сделалась бы явною», то нерушимое слово писания и здесь оправдалось. Вскоре же все в Москве могли видеть независтную гравюрку, которая изображала следующее: стоит хиленький старичок в колпачке, а перед ним служит на задних лапах огромнейший пудель и держит на себя в зубах хлыст. А старец ему говорит:

«Служи (собачья кличка), но на мой двор не смей лаять. А то я заставлю тебя визжать на восьмой голос».

Такова или сей подобна была подпись под картинкою, которая вначале показалась многим совсем неостроумною и даже бессмысленною; а потом, когда разведали, в чем тут соль, тогда уже немногие экземпляры картинки сделались в большой ценности.

Когда именно, в каких городах и при каких правительственных лицах имело место это происшествие, — не знаю. Филарет Дроздов на московской кафедре пропустил мимо себя не одного генерал-губернатора, а полицейских генералов еще более, но сказание это надо считать несомненно верным, потому что о нем мне и другим приходилось слышать от нескольких основательных людей, да и картинка тоже даром появиться не могла.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Был кавалерийский генерал Яшвиль. Он умер после окончания последней турецкой войны, которую тоже делал. Это был замечательный человек по складу ума, складу привычек и складу фигуры; он же обладал и крас-

норечием, притом таким, какому в наше стереотипное время нет подобного. Он был человек большой, сутуловатый, нескладный и неопрятный. Лицо имел самое некрасивое, монгольского типа, хотя происходил из татар. По службе считался хорошим генералом и шел в повышения, но в отношении образованности был очень своеобразен: литература для него не существовала, светских людей он терпеть не мог и на этом основании избегал даже родственников по жениной линии. Особенно же не любил балов и собраний, на которых притом и не умел себя вести. Рассказывали случай, что однажды, подойдя к вазам с вареньем, он преспокойно выбрал себе пальцами самую приглядную ягоду, пальцами же положил ее себе в рот и отошел от стола, не обращая ни на кого внимания. Быть с ним в обществе одни считали мучением, другие же хотя и переносили его, но более ради того, чтобы за ним подмечать его «деликатности». Но в своем в военном деле он был молодец, хотя тоже все с экивоками. Подчиненные его ни любили, ни не любили, потому что сближение с ним было невозможно, а солдаты его звали «татарином». Но мы имеем дело только до его красноречия.

Военное красноречие генерала Яшвиля, как выше сказано, было оригинально и пользовалось широкою и вполне заслуженною известностью. Оно и в самом деле, как сейчас убедится читатель, имело очень редкие достоинства. У меня есть один образец речей этого военного оратора — притом образец наилучший, ибо то, что я передам, было сказано при обстоятельствах, особенно возбуждавших дух и талант генерала Яшвиля, а он хорошо говорил только тогда, когда бывал потрясен или чем-нибудь взволнован.

Генерал Яшвиль занимал очень видное место в армии. У него было много подчиненных немелкого чина, и особенно один такой был в числе полковых командиров, некто Т., человек с большими светскими связями, что Яшвиля к таким людям не располагало.

Неизвестно, каких он любил, но таких положительно не любил.

Была весна. — Хорошее время года, а тем больше на юге. Генерал предпринял служебное путешествие с целию осмотреть свои «части». Он ехал запросто и с одним адъютантом.

Приехали в город, где стоял полк Т., и в тот же день была назначена «выводка».

Дело происходило, разумеется, на открытом месте, невдалеке за конюшнями. Офицеры стоят в отдалении — на обозревательном пункте только трое: генерал Яшвиль, у правого его плеча — его адъютант, а слева, рядом с ним, полковой командир Т.

Выводят первый эскадрон: лошади очень худы.

Яшвиль только подвигал губами и посмотрел через плечо на адъютанта.

Тот приложил почтительно руку к фуражке и общей миной и легким движением плеч отвечал, что «видит и разумеет».

Выводят второй эскадрон — еще хуже.

Генерал опять полковому командиру — ни слова, но опять оглядывается на адъютанта и на этот раз уже не довольствуется мимикой, а говорит:

— Одры!

Адъютант приложился в знак согласия.

Полковник, разумеется, как на иголках, и когда вывели третий эскадрон, где лошади были еще худее, он не выдержал, приложился и говорит:

— Это удивительно, ваше сиятельство... никак их нельзя здесь ввести в тело...

Яшвиль молчал.

— Я уже, — продолжал полковник, — пробовал их кормить и сечкою, и даже... морковь...

При слове «морковь», в смысле наилучшего или целебного корма для лошадей, генералу показалось, что это идет как будто из Вольного экономического общества или другого какого-нибудь подобного оскорбительного учреждения, и генерал долее не выдержал. Его тяжелый, но своеобразный юмор и красноречие начали действовать — он обернулся снова к командиру и сказал:

— Морковь... это так... А я вам еще вот что, полковник, посоветую: попробуйте-ка вы их овсом покормить.

И с этим он повернулся и ушел, не желая смотреть остальных «одров», но на завтра утром назначил смот-

реть езду. Лег он недовольный и встал недовольный, а при езде пошли такие же неудовлетворительности. Генерал и закипел и пошел все переезжать с места на место — что у него выражало самую большую гневность, которой надо было вылиться в каком-нибудь соответственном поступке: изругать кого, за пуговицу подергать или же пустить такой цвет красноречия, который забыть нельзя будет.

Дела пошли так, что командир сам подал ему повод к последнему, и живой дар генерала начал действовать.

Как вчера полковник пустил себе на выручку морковь, так теперь он хотел найти оправдание в молодости эскадронных командиров. Генералу всякого повода к речам было довольно, а этого даже с излишком. Услыхав, что вся беда в том, что молоды офицеры, — он отскочил на своей лошади в сторону, сделал свою обыкновенную в гневном времени гримасу и страшным громовым голосом, долетавшим при расстановках до последнего фурштата, заорал:

— Вздор говорить изволите!.. Что это еще за манера друг на друга ссылаться-я-я!.. Полковой командир должен быть за все в ответе-е-е! Вы развраты этакие затеваете-е-е-е!.. По-о-лковой командир на эскадронных!.. А эскадронные станут на взводных. А... взво-одные на вахмистров, а вахмистры на солдат... А солдат-ты на господа бога!.. А господь бог скажет: «Врете вы, мерзавцы, — я вам не конюх, чтобы ваших лошадей выезжать: сами выезжайте!»

Это было начало и конец краткой, но, как мне кажется, очень энергической речи. Генерал уехал, а офицеры долго еще были в недоумении: как же это возможно, до чего стал доходить в своем гневе Яшвиль? Особенно этим был поражен один молодой офицер из немцев, у которого хранились добрые задатки религиозных чувств. Ему казалось, что после такой выходки Яшвиля он, как христианин, не может более оставаться на службе под его начальством.

Он думал об этом всю ночь и утром, чисто одевшись, поехал потихоньку к архиерею, чтобы ему, как самому

просвещенному духовному лицу в городе, рассказать все о вчерашней речи и просить его мнения об этом поступке.

Архиерей принял и терпеливо выслушал корнета, но с особенным вниманием слушал воспроизведение офицером на память генеральской речи. И по мере того как офицер, передавая генеральские слова, все возвышал голос и дошел до «господа бога», то архиерей, быстро встав, взял офицера за обе руки и проговорил:

— Видите, как прекрасно! И как после этого не сожалеть, что духовное ораторство у нас не так свободно, как военное! Почему же мы не можем говорить так вразумительно? Отчего бы на текст «просящему дай» так же кратко не сказать слушателям: «Не говори, алчная душа, что «бог подаст». Бог тебе не ключник и не ларешник, а сам подавай...» Поверьте, это многим было бы более понятно, чем риторическое пустословие, которого никто и слушать не хочет

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

К сказанному не излишним будет прибавить о том, как иные из наших владык внимательны к политике, литературе, новым открытиям и проч. Хороший материал для этого мы имеем в «Списке рукописей, пожертвованных его высокопреосвященством митрополитом Исидором в библиотеку С.-Петербургской духовной академии». Об этом митрополичьем даре было довольно говорено газетами в свое время, — причем было объяснено, что подаренные рукописи не могут быть предметом исследования и критики по жизнь их жертвователя. Но и самое содержание рукописей, даже по заглавиям, оставалось до сих пор неизвестным, хотя это, с одной стороны, очень интересно, а с другой — нимало не нарушает условий жертвователя, ибо не может быть почитаемо за разработку. Поэтому, встретив редкий список (отлитографированный только в числе пятидесяти экземпляров), я не захотел расстаться с ним, не сделав из него небольших выписок, которые, мне кажется, должны заинтересовать любителей русской давней и недавней старины. Должны

они быть любопытны также и для таких людей, которым небезынтересно само лицо дарителя.

Вот из чего, судя по списку, состоит, между прочим, дар митрополита Исидора Петербургской духовной академии:

Уроки профессора академии архимандрита Иннокентия (архиепископа херсонского) по общему богословию —293 л.

Его же, уроки по догматическому богословию — 188 л.

Его же, уроки по практическому богословию — 327 л.

Его же, учение о таинствах церкви — 139 л. (Возможно думать, что это те самые знаменитые лекции, которыми когда-то хвалились слушатели Иннокентия. Их ждали видеть в собрании сочинений этого автора, но этому что-то помешало.)

Сорок шесть писем князя Голицына к архимандриту Фотию и двенадцать писем к графине А. А. Орловой-Чесменской. (Материал никогда не ослабевающего интереса.)

Донесение Нила, архиепископа ярославского, в св. синод о чудесном поднятии крышки у раки преподобного Сильвестра Обнорского, с просьбою совета по этому случаю и разрешения крестного хода и канонизации службы святому. (Вдвойне интересный материал, как по самому чудесному происшествию с поднимающеюся крышкою, так и по отношению к этому делу знаменитого в своем роде архиепископа Нила — автора исследования «О буддизме».)

Краткое изложение хранящихся в Белогородском монастыре подлинных записок о чудотворениях Иоасафа. (По народной молве, усопший Иоасаф Горленко есть тот очередной святой, мощи которого должны быть открыты первыми после мощей преподобного Тихона Задонского. Отсюда понятно, какой интерес для церкви должно сосредоточивать в себе это «изложение».)

Донесение Христофора, высокопреосвященного вологодского, о необыкновенном приключении с крестьянкою-девицею Агафьею, — летаргическом сне, принятом за чудо.

Ответное письмо протоиерея Иосифа Васильева на вопросы, предложенные ему графом Павлом Дмитриевичем N. по поводу присоединения аббата Гетте. (Снова интереснейшее обстоятельство, в оценке которого до сих пор нет чего-то самого важного.)

Рассказ дедушки Алексея Васильевича Первого, почти современника св. Тихона, о некоторых частных фактах из жизни св. Тихона.

Оправдательное письмо М. П. Погодина к министру народного просвещения по поводу признания его статьи во 2 № газеты «Парус» неблагонамеренною и прекращения издания.

Сведения об убийствах евреями христиан для добывания крови.

Мнение председателя цензурного управления о распространении у нас брошюры о непорочном зачатии девы Марии (1830 года).

Список сочинениям богословского и отчасти политического содержания, привезенным из Варшавы в 1833 и 1834 годах.

Приказ новороссийского генерал-губернатора жителям, называемым духоборцами, о возвращении в лоно православной церкви или о переселении в другие места жительства.

Судебный допрос некоторых из сектантов «Общей» секты (из молокан).

О сектаторе Лукьяне Петрове — писано собственноручно митрополитом Исидором.

Донесение подполковника Граббе о новопоявившейся секте, отвергающей храмы, посты, праздники, таинства и не признающей власти. (Это особенно интересно в том отношении, что, по мнению людей, знающих толк в русских ересях и расколах, у нас нет ни одной секты, которая бы «не признавала властей», что, впрочем, и невозможно для христианина какого бы то ни было толка.)

Мысли о народе, называемом ингилайцами, которых предки были христиане.

Сведения о евангелиях, записанные (митрополитом Исидором) после разговора с сыном владетельного князя Сванетии Мих. Дадишкилиани.

Высшая администрация русской церкви, сочинение архиепископа Агафангела — о незаконности и ошибочности принципов, положенных в основание церковно-административных учреждений. (Это тот самый архиепископ, который один решился открыто противодействовать церковно-судебной реформе, как ее проводил обер-прокурор гр. Д. А. Толстой.)

О влиянии светской власти на дела церковные.

Продолжение сочинения архиепископа Агафангела: в чем должно состоять высшее управление отечественной церкви. (Эти труды преосвященного Агафангела непременно должны быть подвергнуты обстоятельной критике, так как автор их, при отличавшей его односторонности, был, однако, знаток этого еще не успокоившегося вопроса, и, — что не часто случается с духовными писателями нашего времени, — он, будучи архиереем, в последние годы своей жизни говорил прямо и откровенно, не преклоняясь ни семо, ни овамо.)

Записка обер-прокурора синода графа А. П. Толстого о подчинении церкви контролю в хозяйственном отношении. Писано собственноручно митрополитом Исидором.

Рассмотрение записки под заглавием «Вдовство священников». (Самый больной вопрос вдовствующих клириков.)

Отношение обер-прокурора графа Д. А. Толстого к митрополиту Исидору о назначении последнего членом комиссии по вопросу о порядке разрешения жалоб на решения св. синода по делам, подлежащим его ведению. (Жалобы на синод, единолично приносимые митрополиту, состоящему членом того же самого синода!.. Невозможно уразуметь: какой это должно обозначать порядок?)

Записка «по вопросу возражений (!) на предположенное учреждение в Петербурге православного братства».

Выписка из отношения министра внутренних дел о неудобстве вышеуказанного братства.

Выписка из отношения главного начальника III отделения собственной его императорского величества канцелярии о неудобстве того же братства. (Все эти три документа получают особенный интерес ввиду нынешнего протестантского настроения общества, при котором союзы православных уже дозволяются, но, быть может, уже несколько поздно.)

Письмо нантского епископа Жаконэ к протоиерею Иос. Васильеву по вопросу о зависимости русской церкви от императора.

О тождестве бежавшего в Нью-Йорк иеродиакона Агапия с автором (какого-то) письма. Подробные сведения об иеромонахе Агапии.

Секретное донесение архиерею рядового С. Кулышева о заказе ему типографского станка для печатания противоправительственных сочинений и о снабжении его неизвестными ему лицами сочинениями такого же характера: «Что нужно народу», «О сокращении расходов царского величества» и т. п. (Это дело, интересное само по себе, не менее интересно в том отношении: почему солдат, которому сделали упомянутый заказ, обратился с своим доносом не к гражданским властям и не к жандармскому офицеру, а к местному епископу? Все это возбуждает интерес к личному составу властей, которые тогда правили в Перми.)

«Объяснение с публикой». Программа действий революционного кружка.

О влиянии светской власти на дела церковные.

«Тайна», или секретная апология архимандрита Фотия императору Александру I (рукопись на 158 л.).

Письмо протоиерея М. Ф. Раевского (из Вены) к митрополиту Исидору по поводу замеченного сближения сербских и болгарских воспитанников в Киеве с поляками и о вредных следствиях этого сближения (М. Ф. Раевский, наш венский священник, которому приписывают много политических дел между славянскою молодежью, — лицо, небезынтересное на краткий час для историка, а быть может, еще более для сатирика. О. Раевский был обильно прославляем за тонкость, что до сих пор и составляет самую выступающую черту его священства.)

Славянофилы на Востоке.

Письмо архимандрита Леонида о духовном состоянии русских богомольцев в Иерусалиме.

Письмо с препровождением жесткой статьи одной греческой газеты против вселенского патриарха.

Донесение подробное о болгарском вопросе.

Письмо посланника французского по поводу брака его слуги.

Письмо Тишендорфа с препровождением его труда VII édition de Nouveau Testament.[1]

Письмо его величества императора русского к султану турецкому о венгерских мятежниках, бежавших в Турцию.

[1] VII издание Нового завета *(франц.)*.

Речь государя Николая Павловича к епископам польским и русским, приглашенным из Польши в Петербург. Писано собственноручно митрополитом Исидором.

Изложение некоторых обстоятельств, обнаруживающих невыгодное отношение закубанцев к русскому правительству. Писано собственноручно митрополитом Исидором.

Последствия неблагоразумного управления генерала Пулло и особенно генерала Засса — восстание чеченцев, черкесов, бегство многих в горы, даже таких, которые более пятидесяти лет были верны русскому правительству. Писано высокопреосвященным Исидором.

Стихотворение Кукольника в виду Крымской войны.

Письмо генерала Муравьева к генералу Ермолову из крепости Грозной о положении края и мысли о началах управления.

О чрезмерной жадности греческого духовенства и симонии (1860 г.).

Заметка, содержащая недовольство кавказцев, особенно войска, на письмо Муравьева к Ермолову. Писано высокопреосвященным Исидором.

Особенно замечательные случаи действия благодати божией чрез митрополита московского Филарета, бывшие при его жизни. (Известно, что на надгробии митрополита Филарета Дроздова выставлено «св.» или «свят.» — это в сокращении должно выражать святитель, но как народ мало употребляет слово «святитель» и оно ему не приходит в голову, то большинством это неудачное сокращение признается за сокращение слова «святой». Для других же, каковы, например, наши спириты, почти повсеместно чествующие митрополита Филарета Дроздова, — неловкость в сокращении здесь признается за «знак воли божией», которая таким проявлением предупредила замедляющуюся канонизацию покойного. По народным толкованиям, которые так не так надо считать мнениями, прежде Филарета могут быть открыты мощи только одного Иоасафа белогородского, а почивающий в Киево-Печерской лавре Павел, епископ тобольский (Конюшкевич), должен уступить свой ряд Филарету и стать на дальнейшую очередь. В одном Новгороде только надеются, что прежде всех должны быть открыты мощи Фотия, но этому будто сильно мешает то, что нельзя различить:

от кого идут чудеса — от Фотия или от почивающей с ним рядом графини Орловой? Отличить это трудно, потому что чудеса совершаются при обоих гробах, стоящих рядом, а разъединить их — нельзя, и потому надо ждать особого знамения, которого и ждут. Впрочем, сильное распространение в последние годы св. писания, обратившее внимание простонародья от людей, о которых им много натолковано, прямо ко Христу, — о котором они до сих пор были только слегка наслышаны, — до того сильно изменило религиозное настроение русских умов, что в спорах о канонизации новых святых замечается гораздо менее страстности. Мысль о Христе начинает преобладать даже над почивающими в сребропозлащенных гробах Фотии и его послушной графини.)

Много писем митрополита Филарета Дроздова, из коих некоторые писаны по общеинтересным вопросам, а два приводят в некоторое недоумение. Это, во-первых, не письмо, а «список с отношения к московскому генерал-губернатору по поводу слуха, что в церквах Москвы читается особая молитва об избавлении от того положения, в котором она находится». А второе письмо «о незаконном, причиняющем соблазн действовании духовного цензора в Петербурге». (Первое, вероятно, относится к тому времени после закрытия библейского общества, когда прозорливым умам казалось кстати поприсмотреть за митрополитом Филаретом, — как бы он, при окружавшем его народном уважении, не воспользовался этим и не «воздвиг чего-нибудь чрез церковь». Это чрезвычайно интересно уже потому, что мысль о возможности такого поступка долго не оставляла многих людей самого первого сорта.)

Легко может быть, что не лишены общего исторического интереса и другие нумера этого митрополичьего дара, которые мы здесь не поименовали единственно потому, что заглавия их показались нам менее интересными. Но, кроме ценности, какую имеет весь этот дар сам по себе, он очень дорог и для характеристики самого дарителя. Жизнь наших владык течет так «прикровенно», что едва о некоторых из них можно узнать и сберечь для истории что-нибудь образное и живое. В древности их жизнеописания были похожи более на жития, а позже стали походить на послужные списки, из которых ничего

или почти ничего не извлечешь для истории. Не больше того усматриваем и в самых поздних некрологах, где уже, впрочем, стали иногда на что-то намекать. Был больше суров или меньше суров владыко, постился ли он и молился больше или меньше — и в этом почти все. Исключения очень редки, но и эти исключения не обильны фактами. Биографии даже таких людей, как Платон Левшин, Евгений Болховитинов и Иннокентий Борисов, скудны: нет в них именно тех мелочей жизни, в которых человек наиболее познается как живой человек, а не формулярный заместитель уряда — чиновник, который был, да и умер, а потом будет другой на его место — все равно какой. Правильно и основательно говоря, надо сознаться, что русские своих архиереев совсем не знают: в городе с владыкой знакомы некоторые власти, среди коих не всегда находятся люди самые теплые к вере, да духовенство, у которого отношение к архиерею особое. Народ же совсем архиерея не знает, да им и не интересуется, потому что ему давно стало «все равно», что делается в церкви, и он выразил это в присловии: «нам что ни поп, тот и батька» (это у наших лицемеров и ханжей называется «богоучрежденным порядком».) Между тем в числе наших архиереев есть люди замечательного ума и иногда удивительного сердца. (Припомним архиепископа Димитрия Муретова и состоящего не у дел епископа Ф.)[1] Знать о таких и им подобных людях возбудительнее, чем читать иные старые сказания, риторическая ложь которых давно обличена и не перестает обличать себя во всяком слове. Чтобы изолгавшиеся христопродавцы не укорили нас в легкомыслии и «подрывании основ», скажем, что это не наша мысль или не исключительно наша: мы встречаем ее, например, даже у Эбрарда (Апологетика, перевод протоиерея Заркевича 1880 г., стр. 598). «Если предложить вопрос о том, что служит доказательством (христианства), то это доказательство можно заимствовать собственно не из истории христианских обществ, а исключительно только из жизнеописаний частных лиц в христианстве, в которых евангелие проявило себя как силу божию». А где же, кажется, и искать бы проявления этой силы, как не между теми, которые первенствуют в церкви? И вот тут-то, как нарочно, и приложена превосходно кем-то подмеченная манера «манервирования»

святителей, то есть манера представлять их получившими все совершенства, не возрастая и не укрепляясь, — они будто так прямо и являются полными всех добродетелей «от сосцу матерне». Некоторые из них даже не сосали по средам и пятницам материнской груди... Результат этого перед нами налицо...

Где всему легко верят, там легко и утрачивают *всякую веру*.

Литературный дар высокопреосвященного Исидора до известной степени иллюстрирует особу нашего петербургского митрополита, которого вообще считают человеком опытным в жизни и благожелательным. Рассматривая этот список, мы проникаем, так сказать, в некую сокровенную сень и узнаем, чтó наиболее интересовало и занимало высокопреосвященного Исидора, — узнаем, что он не пренебрегал весьма разнообразными сведениями и даже, очевидно, думал об очень многом, не составляющем его прямых обязанностей. О нем всегда говорили, что он неутомимый читатель. Значительное количество времени митрополита берет ежедневное чтение газет, в которых он следит за обсуждением разных вопросов, и между прочим церковного. Было известно, что он не остается равнодушным к заявлениям печати и настолько терпим ко мнениям, что очень в редких случаях жалуется на печать. Сколько известно в литературном кружке, такой, едва ли не первый и не последний, случай был не так давно по поводу диссертации одного молодого университетского профессора, разбиравшего легенду о св. Георгии. Диссертация была из наилучших и составляет дорогой и самостоятельный вклад в нашу литературу, но, разумеется, взгляд ученого, основанный на неопровержимых фактах, и взгляд лица, обязанного во что бы ни стало защищать предания, хотя и освященные временем, но совершенно рассыпавшиеся под методическою силою настоящей, научной критики, сойтись не могли, и наш митрополит протестовал, но совершенно безвредно и даже беспоследственно. Замечательное исследование молодого ученого о легенде св. Георгия напечатано в министерском журнале, а в науке неудовольствие митрополита не получило значения. Но во многих случаях, когда печать указывает что-либо дурное в церковном управлении, митрополит не пренебрегает это поправить, притом всегда без

шума и непременно без резкостей, которых не одобряет его благожелательное настроение. Но из того, что высокопреосвященный Исидор имел охоту и удивительное терпение собственноручно списать, можно заключить, что его внимание особенно часто было привлекаемо делами политики, прямого касательства к которой он по сану святителя не имел и, стало быть, занимался ею прямо con amore.[1] Некоторые списки, сделанные его рукою, заставляют еще более удивляться трудолюбию его высокопреосвященства, потому что их оригиналы сохранены нам печатью. Таковы, например, значащиеся под № 232 «Выписка из газеты: «Kurier Wilenski»[2] о собрании раввинов во Франкфурте-на-Майне». № 233, «Заметка о числе и составе европейского народонаселения в Алжире, из «Morning Chronicle».[3] «О числе жителей по всей земле по верам», из газеты «Золотое руно» аббата Лакордера, об увеличивающемся в Париже числе самоубийств, найденышей и умалишенных, из газеты «Correspondant».[4] «Россия и Запад», из газеты «Indépendence Belge».[5] Есть даже списки статей русских газет, например статьи «Московских ведомостей» из № 11, 1855 года. Владыку, как надо судить по выпискам, занимали также и другие вопросы: его занимали труды Песталоцци, Нимейера, Ковердау и Дистервега, а также пресловутый в свое время Шедо-Ферротти, «неправильные действия австрийского главнокомандующего Гайнау» и «удивительные действия зерен белой горчицы», а потом вопрос Кобдена: «Что же далее?» Словом, необыкновенная пестрота, в которой своя доля внимания дана вопросам самым разносторонним...

Говоря об этом списке, который хотя отчасти открывает перед нами кабинетную жизнь первого духовного сановника русской церкви, которого удается видеть только в сакосе и митре или в запряженной цугом карете, — мы должны упомянуть и о том, что в большинстве случаев архиерейские бумаги обыкновенно тотчас после кончины их владельца «обеспечиваются», и рука исследо-

---

[1] Из любви к искусству *(лат.)*.
[2] «Виленский курьер» *(польск.)*.
[3] «Утренняя хроника» *(англ.)*.
[4] «Корреспондент» *(франц.)*.
[5] «Независимая Бельгия» *(франц.)*.

вателя до них добирается очень не скоро, а до иных даже и вовсе не добирается. А потому, если бумаги, подаренные митрополитом Исидором академии, составляют (как надо думать) только часть его архива, то и тогда следует быть ему благодарным, что он сам, по собственному почину, устроил так, чтобы они стали доступны истории и критике без напрасной траты многого времени. Но пока что (дай бог еще многих лет жизни митрополиту Исидору) одно поверхностное знакомство с его литературным даром, конечно, многих должно удивить: сколько наш ныне уже ветхий и достопочтенный старец хранил в себе постоянно живой способности интересоваться предметами, которые интересуют не всякого из лиц его положения. Это во всяком случае значит жить со своим веком и аскетическое неведение о нем не считать лучшим достоинством церковного правителя. В таком взгляде, кажется, нет ни малейшей ошибки.

Таким образом, при этих слабых данных мы все-таки находим некоторую возможность дать самому отдаленному читателю некоторое свободное очертание лица, имеющего несомненно историческое значение, потому что митрополит Исидор давно стоит во главе управления нашей церкви, и притом в ту пору, когда она — и лиходеям и доброжелателям — стала часто представляться в состоянии, похожем на разложение, или, точнее сказать, — в *кризисе,* который, впрочем, переживает все церковное христианство.

АРХИЕРЕЙСКИЕ ОБЪЕЗДЫ

Нельзя, не видя океана,
Себе представить океан.

Напечатанные в 1878 году очерки *«Мелочи архиерейской жизни»* вызвали несколько заметок, написанных духовными лицами, между которыми были и два архиерея.

Между письмами почтивших меня корреспондентов есть несколько выражающих мне укоризну за «погоню за простотою». В этом писавшие усматривают «влияние протестантского духа».

Я хотел бы остановиться на этом странном и неуместном замечании; я хотел бы сказать по крайней мере, сколько несправедливого и прискорбного заключается в той неосторожности, с которою наши охотники до важности и пышности уступают протестантам такое прекрасное свойство, как *простота;* но пройду это молчанием и коснусь только *одной частности* в вопросах об упрощении отношений архиереев к подначальному им духовенству.

Мне пишут: «хорошо ли, если наши архиереи, объезжая приходы, будут трястись в тарантасиках да кибиточках, в коих их иной примет, пожалуй, за странствующих купцов, тогда как католические епископы будут кататься шестернями» и т. п.

Там мешал протестантизм, здесь — католичество...

Я ничего не могу отвечать на такой трудный церковный вопрос, но я никак не думал, чтобы нам был очень важен пример католических епископов! Как бы они ни

катались, — им свой путь, а нашим — своя дорога, а притом никто и не добивается, чтобы русские епископы «тряслись» в тарантасах и кибитках. Об этом известен какой-то анекдотический разговор митрополита Платона (Левшина) и больше ничего. Дело вовсе не в экипаже, а в том, кто в нем едет. Можно и в карете ехать с мирною простотою и в кибитке приближаться с большою и обременительною требовательностию. Об этой-то требовательности и идет речь у благонамеренных людей, желающих установления лучших, более искренних и более полезных для церкви отношений епархиальных начальников к сельскому духовенству.

Некто, бывший простым священником и потом достигший «степеней», пишет: «Ожидание епископа очень благоприятно действовало на духовенство именно тем, что это было событие важное, которого ждали и к которому подготовлялись. Тут, бывало, все подберется и подтянется в струнку. Иной, слабый человек, годы храмлющий на оба колена, заслышав об архиерейском приезде, позадумается и исцелеет. Другой, беспокойный и сварник, — сходит к мирянам и примирится и вообще поочистится в своем поведении, а иной, давно отупевший и все позабывший, возьмется за ум и поучится, как отвечать на вопросы владыки, а от того сделается опытнее. Наконец, самое это ожидание бывает полно прекрасных минут для собравшегося духовенства, которое, совокупясь вместе ко встрече, ближе ознакомливается друг с другом и притом научается полезной солидности, как держать себя, сообразно достоинству своего духовного сана, серьезность которого порою, в мелочах житейских, позабывается. Вообще это напоминало что-то вроде сошествия ангела, прилетающего возмутить и сделать снова целебными застоявшиеся воды сельской купели».

Поистине — прекрасная картина, к которой, главным образом, и пригодится тот *приклад,* который я имею возможность предложить ниже, в виде дополнительной иллюстрации.

Но проследим еще за тем, что говорит опытный корреспондент.

Начертав приведенные заметки, он заключает их словами: «Мирянин этого знать не может. Как бы искусно он ни наблюдал быт и нравы духовенства, он не может

дать оценки тому, что в этих случаях творится в душе ожидающих. Это невозможно для стороннего наблюдателя именно потому, что происходит *внутри* человека. Это знают только те, кто сам подобное испытывал».

Может быть, все это правда. Вообще я не стану опровергать моего корреспондента пункт за пунктом. Хотя мне кажется, это не особенно трудно было бы сделать, по крайней мере в отношении некоторых из его доводов. Так, например, можно бы попытаться доказать ему, что если бы епископы ездили почаще и попроще — без больших сборов и торжественных оповещений о том, что они «скоро будут и непременно прибудут», то завязывающиеся у духовенства распри с мирянами не тянулись бы до тех пор, пока им угрожал *ожидаемый* наезд. При опасении неожиданности дела могли идти иначе, и «отупевших» и «храмлющих на оба колена» тоже могло быть меньше. Но «оставим все это астрономам доказывать», а обратимся к одному последнему обстоятельству, которое могут доказывать не астрономы, а благочестивые отцы наши, на самих себе испытавшие все влияние торжественного снисхождения ангела, приходящего «возмутить и сделать целебными застоявшиеся воды сельской купели».

Хотя мой почтенный корреспондент, обладая живым красноречием, так *заговорил* дело, что мне, не имевшему в указанных обстоятельствах личного опыта, не оставалось бы ничего иного, как поверить ему во всем на слово и умолкнуть, но благому случаю и доброй услуге некоторых друзей угодно было меня выручить. Ими доставлена мне возможность рассказать нечто небезынтересное о серьезных впечатлениях, производимых на духовенство в ожидании архиерейской встречи.

В моих руках находится очень редкая вещь — это выписка из дневника, который в течение довольно многих лет вел недавно скончавшийся сельский священник и благочинный. Я называю это вещью *редкою* потому, что до сих пор не встречал еще ни одного русского сельского священника, который бы вел записки изо дня в день во всю свою жизнь. То, что издано под подобным заглавием гг. Ливановым и кн. Владимиром Мещерским, — есть, кажется, плод собственной фантазии этих авторов, из которых первый хотя и знал быт духовенства, но был

очень односторонен, а другой нигде не обнаруживал ни малейшего знакомства ни с каким бытом и притом страдал односторонностью еще больше Ливанова.

На самом деле наши сельские священники совсем не склонны к писанию дневника, и очень немногие из них способны вести заметки с правдивостью и в то же время с живым юмором. Между тем всем этим отличается действительный дневник, которым я пользуюсь для моих иллюстраций. Тут мы без всяких прикрас увидим, что на самом деле происходит у собравшихся духовных лиц во время торжественного ожидания ими своих владык, «обтекающих свои области».

Во главе этого повествования да позволено будет мне сказать два слова о самом авторе дневника. — Это совершенно необходимо для того, чтобы вперед опровергнуть всякое подозрение в вымысле.

Автор дневника — о. Фока Струтинский, священник села Гореничи, в двадцати верстах от города Киева. Он был человек умный, опытный, наблюдательный и немножко юморист, что читатель и не преминет увидать из следующих за сим отрывков его дневника. Журнал свой о. Фока вел во все время своего служения, сначала простым сельским священником, а потом благочинным. За это время (с 1829 по 1854 год) он исписал десять объемистых томов, имеющих весьма разнообразный интерес и немалое значение для истории сельского духовенства в России. Дневник этот, может быть, составил бы не менее интересное чтение, чем известные «Записки Добрынина», но, к сожалению, все содержание десяти томов покойного отца Фоки теперь не может быть предметом нашего рассмотрения. Мы возьмем из него только то, что им записано об архиерейских встречах, которые он справлял за свою жизнь, пока скончался, 15-го декабря 1854 года. Внешние хлопоты и внутренние ощущения ожидателей здесь представлены с достаточною наглядностью человеком, которого никак нельзя укорить ни в малосведущности, ни в тенденциозности.

За сим начнем ab ovo.[1]

---

[1] С начала *(лат.)*.

«1841 г., 2-го июня. Располагали сегодня ехать в Киев, но в семь часов утра — новость! Завтра в Белогородке ожидают митрополита (Филарета Амфитеатрова). Розалия В. вчера вечером послала в Вольшку, а сегодня к нам за рыбою. К счастию, Косьма обещает дать с полпуда вчера пойманной рыбы; я предполагаю после обеда поехать и узнать, что там делается. Протоиерея застал только что приехавшего и чрезвычайно хлопочущего — особенно, что не дали окончить следственного дела. Указ получен, что митрополит отправится для обозрения уездов Киевского, Радомысльского, Махновского, Сквирского и Васильковского. По предписанию земского исправника Волкова, станция должна заготовить для подъема экипажей девятнадцать лошадей. Завтра и мне должно явиться для встречи его высокопреосвященства».

«Июня 3-го, вторник. Очевидно — чем слишком занят, то и во сне снится. Уже послал через дьячка свое облачение, вот покушаю и еду. Прощай, жена! Прощайте, детки! Еду в путь хоть недалекий, но, впрочем, несколько опасный».

«Не удивляйтесь, братия мои возлюбленные, что я, отправляясь навстречу владыке, поставил в своем журнале три звезды. Страху я боюся. Я легко мог воображать, что, может быть, случится и долгое отсутствие мое от моего прихода и от журнала, но, слава богу, — возвратился домой вечером — цел, жив, здоров, невредим и даже весел». [1]

«По предписанию о. протоиерея, нас собралось подведомственных семь иереев и почти что столько же в стихарях дьячков, для встречи высокопреосвященного. Все возлежали на муравке подле церкви. Некоторые, подобно Ионе, уже и храпляху... Вдруг раздается тревога и производится колокольный звон, мы стремглав летим к облачениям, выстраиваемся в должном порядке и продолжаем Андреево стояние с добрые полчаса. Наконец узнаем, что это передовой отряд диаконов и певчих. Звон умолк,

[1] Достойно замечания, что сердце автора сжималось таким страхом в ожидании добрейшего из людей — митрополита Филарета Амфитеатрова, простосердечие и мягкость которого в киевской епархии были всем известны. *(Прим. автора.)*

облачение снято, и мы опять принялись за рассказы, которые продолжались часа два. Но в три часа пополудни опять суматоха прежняя — и не по-пустому, желанная минута настала: святитель встречен громогласным «Достойно есть» и «Многие лета». Преподав нам мир и благословение, он порознь расспрашивал: из каковых кто?» (После некоторых обычных действий.) «Расспрашивал об урожае, говорим ли проповеди? Я отвечал, что, со времени получения указа, говорю по одной в месяц. Советовал составлять и по четыре. Из дома шествовал в сопровождении всех нас к мельницам: пил чай у откупщика Александра Якимовича Барского и, преподав нам *в десятый раз* свое пастырское благословение, уехал в Мотыжин».

В этой первой выписке, кажется, не видим ничего, кроме «страха» да легкого подшучивания исподтишка, — ничего, возвышающего дух и сознание, нет.

За этим следует другая встреча. На сей раз отец Фока встречает опять того же митрополита Филарета, но уже довольно много лет спустя, именно в 1845 году, — а отец Фока теперь уже не простой молодой священник, а *благочинный.*

В дневнике сначала отмечено довольно сложное «движение» отца Фоки, по случаю проезда императора Николая Павловича. Это свое «движение» отец Фока тоже описывает, мешая важность и даже некоторую восторженность с благопристойною шутливостью.

«В 3³/₄ часа пополудни тихо, чинно, стройно переменили лошадей. Экипаж закрытый со спящим гением России помчался далее. К нему навстречу шел зарумяненный восток, а сзади катился смиренный экипажец отца благочинного, Струтинского, который прибыл на всходе солнечном домой и разбудил нециих, еще спавших».

И тотчас после этой отметки идет следующая. Благочинный Струтинский встречает другого гостя.

«Мая 23-го (1845). Надобно ожидать другого гостя — митрополита. Опять хлопоты, суета — за хозяйство некогда и подумать. Вчера, впрочем, посеяно три меры проса и малость лёну, а сегодня роздано жалованье, и прихватом слепил проповеденку на неделю св. отец и на

случай прибытия владыки, о котором неизвестно еще, где предполагает литургисать. Послан нарочный уведать».

«24-го мая. Получив обстоятельное описание выезда нашего пастыря, из которого видно, что он будет литургисать в Радомысле, — я побывал в Белогородке для совета».

«25-го мая. В полдень завез Анну В. в Белогородку и узрел там животрепещущих щук, заготовляемых на фриштык для владыки, имеющего завтра служить литургию и завтракать».

«26-го мая. Еще сущу ми на одре, утром получен с почты пакет, из которого усмотрено, что митрополит отправится из Киева в воскресенье. Вот и расстройство: священство съехавшееся разъедется, и я тоже».

«27-го, неделя и новолуние. В служении изморился и мокрую рубаху переменил. Сплю... Гремит — сплю; проливной дождь — сплю... Снится встреча... сплю... и думаю, что владыка в такую пору не осмелится отправиться. Ergo [1] — еще больше сплю и храплю не хуже Ионы. Наконец в три часа пробуждаюсь — солнце на небе сияет, а грязь в моих сенях воняет. Собравшись, прибыли к Белгородку и застали восемь священников в облачении. Через час и владыко со свитою на тридцати лошадях. Ревилы (ревуны — басы, дьяконы, певчие), прибывшие вперед, испугали мою Липушку, наговорив, что Соколовский (помещик с. Горенички) просил владыку на ночлег; но я себе думаю: брешете, дорога нисколько в провале не исправлена, да и его нет в доме... А тут пристав объявил уже мне, что владыка намерен далее ехать и велел заготовлять лошадей... Вот тут я, по правде сказать, окаменел, не зная сам, что мне и делать?»

Но обстоятельства, поставившие отца Фоку в такое положение, что он «окаменел», изменяются, благодаря участию отца ключаря, которому было передано, что у отца Фоки «расстройство», — после чего ключарь «обещал все уладить».

«Идя из церкви, — вследствие предложения отца ключаря, — владыка решился остановиться в Белогородке на ночлег, а после изъявил согласие посетить гореницкий храм... Я бегал... или, лучше, — я стоял... меня *гоняли,* —

---

[1] Следовательно *(лат.).*

шептали: «скорей, скорей, у вас владыка будет пить чай!» Певчие и дьяконы приставали: «просите, просите владыку, чтобы у вас остался ночевать на покое». А я себе, запыхавшись, думаю: где там просить ночевать, когда у меня полны сени грязи, и на дворе грязь, и в комнатах теснота и неисправность? Касательно же приема: что и было в запасе, то все перевезено на тракт».

В этом отчаянном положении отец Фока являет новую черту своего характера и своего веселого юмора. Заручившись обещанием ключаря «все уладить», отец Фока суетится, когда его «гоняют», и со всех сторон ему «шепчут» и тормошат его до того, что он уже не может разобрать, «бегает» он или «стоит», а все-таки он знает, ему же верует и на кого надеется. Но когда вся эта докука его одолевает, то он уже не в силах ни стоять, ни бегать и отвечает в лапидарном стиле:

«Как себе хотите, так и делайте, а мне не мешайте по крайней мере сопты (то есть сопеть) да вытирать пот с чела».

И дело не обошлось без того, что митрополит побывал у отца Фоки. К счастию, его высокопреосвященство всем остался доволен и обласкал дочь хозяина, а угощение было не нужно. При простоте и невзыскательности покойного митрополита Филарета все сошло с рук хорошо, но, однако, мук и тревог бедному отцу Фоке все-таки, как видим, было немало. Затем гости уезжают, и благочинный с сотрудниками могут вспомнить и о себе.

«По выезде свиты (продолжает дневник) мы принялись доставать бутылку мадеры и чай с пуншем».

Подкрепясь, отец Фока пустился вслед за митрополитом в Мотыжин. Приехав туда «и зашевелив всех, (он) принялся переписывать набело свою вчерашнюю проповедку, которую и удалось, за благословением архипастырским, сказать в мотыжинской церкви».

Как он мог во всей этой бестолковой суете обдумывать, сочинять и набело переписывать свою «проповедку», — это достойно удивления. Именно, разве бог помогал. Но не легче ему было прийти в себя и собраться с духом, чтобы произнести эту «проповедку» в присутствии своего маститого начальника.

«Встреча (в Мотыжине) была сделана только двумя священниками: отц. Тихоном и Вознесенским. Первый из них тотчас начал литургию. Певчие пели, а я шатался и хлопотал о чае и фриштыке, но успел неробко произнести слово».

«Сопты и отирать с чела пот» более было не нужно. Дневник далее повествует: (владыка) «уехал с довольно веселым к нам благорасположением. Тут-то мы, отощавшие, принялись в двенадцать часов в доме отца Иакова подкрепляться, где был и священник Ч—ский, приехавший просить духовенство на погребение жены священника Г—ва, вчера скончавшейся. Напились до избытка и, дремля, в шесть часов вечера уехали».

Этим заключено описание второй архиерейской встречи, которою труждался в своем благочинническом житии отец Фока Струтинский. Впечатление, производимое его характерным очерком, опять очень цельно и способно надолго оставить в памяти всю эту комическую суматоху, где не отличишь серьезное от смешного. Я, конечно, не берусь определять, насколько деятели описанной суматошной истории повысились или понизились после того, как чрез их места проследовал владыка, и они тотчас же за его отъездом, — не знаю, с горя или с радости, — «напились до избытка», причем под эту же стать попал и скорбный посол смерти — священник, приехавший просить духовенство на погребение жены другого священника, «вчера скончавшейся»... Вот и все возвращение «целебных свойств застоявшимся водам сельской купели!» Живыми и мертвыми здесь обладает какая-то жуть, от которой даже бедной покойнице беспокойно. Будь это все проще и не вызывай такой суеты, разумеется, было бы лучше; тогда перед нами, может быть, прошло бы течение более чистое, в котором мы могли бы разглядеть что-нибудь более достойное внимания и забот благочестивого человека вообще, а христианина в особенности.

Но и это не все, что можно сказать. Никак не надо забывать, что все открываемое нам дневником отца Фоки происходило при митрополите Филарете Амфитеатрове — человеке очень простом и добром, которого из духовенства мало кто боялся. Отец Фока его если и трусил немножко, то только вначале, при первой встрече,

да и то как будто «в нарошну», а потом только хотел «сопты да пот отирать». Но совсем не то производил владыка, которому предтекала молва, что он нетерпелив и взыскателен. Тогда «притрепетность» — это особая болезнь, сопровождающая встречальщиков путешествующих владык, — сообщается лицам сельского духовенства с заразительною силою, и начинается ряд сцен, представляющих для мало-мальски наблюдательного глаза удивительную смесь низкопоклонства, запуганности и в то же самое время очезримой лицемерной покорности, при мало прикровенном, комическом, хотя и добродушном, цинизме.

Дневник отца Фоки Струтинского дает очень интересный образчик и в этом забавном роде.

Другой архиерей, беспокоивший своими встречами отца Фоку, был викарий Филарета Амфитеатрова, епископ чигиринский Аполлинарий. Этот святитель далеко не слыл за такого добряка, как покойный митрополит, и хотя по значению своему был гораздо меньше митрополита, но страха и «притрепетности» умел наводить гораздо больше.

В дневнике отца Фоки отмечены две визитации этого владыки (тоже уже скончавшегося) — одна вкратце и вскользь, а другая поспокойнее и попросторнее.

Тревоги по первому наезду начинаются 14-го мая 1847 года.

«*14-го мая, суббота.* Указ получен, что 16-го преосвященный Аполлинарий выедет из Киева для обозрения по нашему пути церквей. — Новые хлопоты!»

«*16-го мая.* Погода ясная, но ветер столько холодный, что пришлось ехать в теплой шубе. В Мотыжине долго скучали, ожидая; он прибыл часу в пятом или в шестом. Встретили благополучно, только за записку книг, за почистки и проч. несколько пожурил. Впрочем, обходился довольно ласково. При встрече были священники В—в, Р—ский и дядя Г—с с клирами».

«Когда его преосвященство изъявил согласие пить чай, то я, испросив у него благословение, пустился во всю прыть в Фасову, а за мною в погоню дьяконы и

певчие в двух экипажах, за обычным ялмужным (нищенским) побором, которое и получили от меня».

Как шибко ни гнал отец Фока от этих обирох, но не спасся от них даже полученным благословением. Они нагнали и обработали благочинного на той самой дороге, по которой *всего в четверти часа* расстояния ехал за ними их епископ, человек довольно строгий и взыскательный.

«Через четверть часа (продолжает отец Фока) прибыл и владыка Аполлинарий. Здесь при встрече были отцы В—ский, О—ский и Г—лов, *с пьяными бездельниками клириками...»*

Здесь упоминается тот самый отец Г—лов, у которого скончалась жена во время вышеописанной митрополичьей встречи, когда на погребение ее приглашали духовенство, «по трудех своих подкрепившееся до зела».

«Преосвященный велел конторщику сделать замечания о том, что нашел в книгах... что сей и учинил: а что из того выйдет — почуем, хто живой дижде.

Преосвященный давно уговаривал Г—лова к себе в монастырь. У дьякона заметил полуштоф на окне, с жидкостью. С улыбкой допрашивал:

— Что это?

— Уксус, ваше преосвященство.

— Да ну — точно ли?

— Ни... уксус, уксус... да еще и добрый уксус. Ось понюхайте, владыка.

Чудак отец Калиник — смешит владыку всякий проезд.

При захождении солнца, — преподав нам из кареты благословение, а отцу Г—лову подтверждение одуматься и явиться в Михайловский монастырь, преосвященный отправился в Ружин, а я в сумерки выехал из Фасовы и ночевал у отца Т—на без чаю... Така-то честь благочинным; а трудись и отвечай за грешки подведомственных».

«17-го мая. Зато утром выпил три стакана и узнал, что в Белогородке еще более гонял за книги, чем у нас. Следовательно, всем досталось на калачи».

Но эта ревизия преосвященного Аполлинария, с получением от него «на калачи», оставила, по-видимому, у сельского духовенства довольно сильное впечатление

и значительно усугубила «притрепетность», которую совсем не имел таланта возбуждать «старичок божий» Филарет Амфитеатров. Узнав, что викарий значительно строже епарха, сельские отцы при следующем новом его объезде подтянулись, и зато описание второго ожидания преосвященного Аполлинария в дневнике отца Фоки вышло всех живее и интереснее.

«6-го сентября (1849 г.). Вечером ехавший с Киева отец В—ский потревожил нас несколько *уведомлением, полученным в Бузовской корчме,* будто бы владыку ожидают на ночь в Ясногородку».

«9-го сентября. Протоиерей выехал из дому *высматривать преосвященного,* а я окрестил младенца его прихода. Мужики пьянствуют и до крови дерутся между собою, — какая несносная картина! Жиды не вправе ли упрекать христиан? Увы! увы! увы!»

«11-го сентября, неделя на новолуние. После отдыха, вечером, навещал белогородских и узнал, что отец протоиерей ездил в Бышев и в Ясногородку, но ничего не слышно там о приближении епископа, — и бог ведает, когда он будет в нашем ведомстве и когда мы сделаем ему встречу? Чаяние наших духовных ослабело, хотя я и предписывал являться».

«12-го сентября. Однако же и 12-го еще никто не явился. Ночи холодноваты и морозцы проявляются, а тут-то гречиха еще у меня не скошена. Через разные хлопоты не знаешь, за что и приняться. Во время праздника издохла сивая корова, купленная в Княжичах, а прежде двое телят».

«14-го сентября, среда. Поклонников было до полсотни, и мы после литургии отправились в Крюковщину, где застали духовенства довольно — кажется, с восемь священников. Обедали, самоварствовали и, наконец, по причине мрачной ночи и росившего дождика, остались ночевать».

«15-го сентября. В часу первом после обеда уехали и достигли благополучно дома. Опять застали издохшую телушку. И у крестьян тоже гибнет скот. Беда!»

Но зато при этой беде сейчас же следует долгожданное событие, заставляющее отца Фоку забыть беду ско-

топадения и полагающее конец его долгим странствиям с целию «высматривать преосвященного».

«В сумерки летит ко мне из Белогородки записка, писанная рукою плисецкого священника, отца Иоанна Колтоновского, который уведомляет, что преосвященный уже к Плисецкому приближается... Я узнал, что отец протоиерей против ночи (то есть на ночь) отправился в Ясногородку, а я, устроив тогда же порядок в своей церкви и *умолив* Косьму Иващенка, чтобы до света ехал в Киев за покупками для принятия гостей, спокойно проспал до рассвета».

Это был последний спокойный сон благочинного в его собственном доме. С этих пор начинается все бо́льшая и бо́льшая суета, а за нею и «притрепетность», постоянно возрастающая от приходящих грозных известий.

«*16-го сентября.* Рано пустился в легонькой повозочке, при кучерстве Кобченка, в Княжичи и часу в восьмом достигох иерейской квартиры. Только хотя отец Александр и оспаривал, что о епископе нет никаких слухов, однако же я понудил его идти в церковь и пока что приводить в порядок. Сам же остался в доме и подготовлял кое-какие приказания и распоряжения, вследствие чего и послан сидящий на костылях В—ский, в повозочке, в Новоселки, с требованием тамошнего причета и для разведывания.

Во время деланного распоряжения мать отца Александра, прибывшая к сыночку из Бердического и Сквирского уездов, пересказывала чудеса о весьма и весьма строгом обращении епископа и, можно сказать, умлевала (sic) — дай только, чтобы и мы не испытали *жезла строгости...* Умилительно просила меня, — как можно, и себя поберечь и ее сынуня от того, чтобы лядвия наша не наполнилась поругания, яко же в знаемых ею местах и лицах... Что тут делать? Поневоле струсишь. Хотел бы я уже, наслушавшись красноречивых: *«Ох, таточку ж мий риднисенький! Да отец же благочинный!..»* и проч. сладкоглаголивых слов, — восхотел бы и аз уехать за тридевять земель, в тридесятое царство; но, увы, — Кобченок уже кони позаводыв в конюшню, а сам потащился выпивать канунного княжицкого меду. Пый, пый, сыну,

по́ки со́лодко, але як буде гирко, — от тоди що будемо робыты?..

Та вже ж чы то сяк, чы то так, — пиду, лышень, и я до храму божого и побачу порядкив...»

Лишь отец Фока переступает за порог «храму божого», как видит такие «порядки», что весь страх за свои «лядвия», готовые пострадать от владычного «жезла строгости», у него пропадает, и благочинным овладевает его веселый юмор, предавшись которому он продолжает писать по-малороссийски:

«Колы ж я туды вийду (то есть в храм)... Го́споды мылостывый!.. Жино́к (баб) тро́ха не з десять стоят ра́ком, попидтыкованных, и мыют в церкви пидлогу (полы), а чоловиков (мужчин) мабут з чотыри — хто з виныком, а кто з крылом птычым, ходят меж жинками, да все штурхають да обмитають то порох (пыль), то паутыну... Побачивши таке безладье, я подумав соби, гришный: ну що як владыка до нас рум (сейчас нагрянет) и застане в цыркви нас с пидтыкаными жинками?.. От-то реготу (хохоту) богацко буде!..

Тым часом все сдиялось до ладу, и мы, взгромоздывши на колокольню старого слипого сторожа, щоб на окуляры дывивсь (в очки смотрел) на дви дорози: Ясногородску и Музыцку, хто буде дуже шпа́рко котыться по дорози. Але ж то, отцове, як був тоди вельми велыкий и холодный витер, то раз сторож збунтовав нас, що катыться брыль по дорози, зирванный з головы Пылипона Крупчатника... Другий раз нас сполошыв, як побачив, що пид корчмою на самисинькой дорози покатывься соцький, як иого сперещив москаль по потылицы (солдат съездил по затылку). Третий раз усе-таки наш слипый сторож крычав на дзвиницы як дурный, побачивши, що гончар перекунывсь, идучи (едучи) з Ясногородки, и горшки з воза (телеги) покотылись... А в четвертый раз... да вже совсим не до ладу, та що же маете работы... оглашенный дид крычыт, що *котыця овечка!* Тпфу ты пропасть! Ходым до хаты, да вин, старый дурень, ще не так буде нас дурыть.

Ото мы пошли в комнату вдовой госпожи, не успели там натощак выпить по стакану канунного меду, как уви-

дели запыхавшись бегущих мужичков и уверяющих, что два экипажа от Ясногородки уже приближаются к селу.

Тут можно было и в самом деле ошибиться, ибо два экипажа — коляски, впряженные по четыре хороших лошади с фурманами и лиокаями,[1] — але ж то ехали подле церкви паны якись-то и покатылись по гребли.

Мы опять возвратились в комнату госпожы, колы глядь, аж наш сторож полиз уже в свый погребнык и каже:

— Я поснидаю, — та, надивши кожух, вылизу на дзвоныцю, то певне вже як засну, то мени во сни щонибудь прывидится.

— Ей, гляды ж, диду, гляды, а мы пойдем снидати, або вжей обидати до прыкащика, г. Сотничевского — Амфилохия Петровича».

«Это было уже в часу втором пополудни, и то дай бог здоровье его жене (то есть Сотничевского, Амфилохия Петровича), подкрепились сперва водочкой и маринованною рыбкою, а потом чаем и рябиновым пуншиком, к которому приехал и отец Стефан с нетрезвым Н—м. Испив в заключение кружку очень приятного хлебного квасу, мы, в часу пятом, опять пошли к госпоже М—ой. Тут является наш хромоногий курьер из Ясногородки и уверяет, что сейчас только возвратился посланник из Плисецкого в Ясногородку с известием, что должно всенепременно владыку ожидать на следующих за сим двух днях, и что он уже неотменно будет.

Итак, слыша уверения хромоногого гонца и видя приближающееся к закату солнце, мы уже решились идти на подкрепление и ночлег к отцу Александру; но вдруг бегущие дают знать нам, что епископ едет на плотине, и мы едва-едва успели выйти к нему навстречу. Я подошел к самой карете, и первое слово его было: «Давно ли я приехал в Княжичи!»

Когда вошли с ним, при пении запыхавшегося и слабого клира, в алтарь, тогда только загорелся серничек в руках ктитора и начали зажигаться свечи».

Столько отец Фока употребил предусмотрительности и самых опытных предосторожностей, чтобы владыка был «высмотрен», но вот как оно вышло мизерно и жа-

---

[1] Лакеями *(укр.)*.

лостно: хор поет запыхавшись, архиерей проходит в алтарь впотьмах, и тогда только еле-еле «загорается серничек в руках ктитора».

Так эти злополучные встречальщики с их хромыми курьерами, слепыми махальными и «раком» ползающими по церкви и «подтыкованными жинками», выбились из сил и сбились с толку гораздо ранее, чем их толк и сила потребовались на настоящее, полезное служение отечественной церкви.

Осмотрев антиминс и св. дары, архиерей пошел посмотреть, как живет священник.

«Там (пишет отец Фока) я застал преосвященного, пересказывающего, что в иных местах (конечно, киевской же епархии) священство не в пример хуже имеет квартиры, и повествовал нам о ночлеге своем у одного пастыря, как там дули в окна ветры, а под окнами хрюкали целую ночь свиньи».

Засим приходит какой-то «пьяный пан К—ский» — это епископу не нравится, и он уезжает скорее, чем ожидали.

Проезжая через село Гореничи, где настоятельствовал сам автор дневника, преосвященный был ласков; разговаривал с женою отца Фоки и его дочерями; хвалил вышитую икону, выпил стакан чаю, «покушал ушички и свежейщего ляща и проч. и запил мадерою».

«По моей просьбе, — продолжает о. Фока, — обещал зайти в храм господень, который весь тотчас же *превратился в иллюминацию*».

У отца Фоки эта часть, как видно, была в таком порядке, что он мог ее смело репрезентовать своему епископу. Но архиерей был, очевидно, утомлен обилием почетных церемоний и «просил, чтобы не делать никакой встречи и пения».

«Войдя в церковь не прямыми дверями, а прейдя инуде через пономарню», его преосвященство «несколько сконфузился», заметив в храме десятка три прихожан, и приложился к иконе божией матери».

Дневник не объясняет, чего именно «сконфузился» владыка, «заметив десятка три прихожан», — показалось ли ему, что три десятка людей мало для его приезда и

«иллюминации», в которую «превратился» по этому случаю храм; или ему уже до такой степени надоели сбегавшиеся ему навстречу люди, что один их вид приводил его в смущение? Дневник также ничего не сообщает, сказал ли что-нибудь архипастырь этому «малому стаду» верных? Видно только, что он «приложился» к иконе и осмотрел «превратившийся в иллюминацию» храм. А это очень жалко, потому что, как справедливо кем-то замечено, наши простолюдины особенно любят «вероучительное слово», просто и прямо обращенное к ним от высших лиц церковной иерархии, и некоторые из нынешних архиереев, нраву которых не претит это простосердечное желание, стараются не отказывать в этом (таков, например, преосвященный Модест, стяжавший себе своею беседностию aura popularis[1] на Подлясье). Но любители пышности смотрели на эти вещи иначе, и потому сношения архипастыря с «малым стадом» в Гореничах, может быть, были бессловесные. Иначе аккуратный записчик всего происходящего, отец Фока, не преминул бы отметить это в своих записях. Но он заключает сказание о сей встрече кратко словами: «простился, благословил и уехал». А затем следует неинтересная роспись «фургонов», на которых повезли конторщика, дьяконов и иподиаконов, в числе коих поименован отец Адий, с пояснительною аттестациею: «всеми презираемый». Маленьких певчих отец Фока пожалел, оставил у себя ночевать и уложил «всех покотом», а утром супруга отца Фоки накормила этих утомленных мальчиков «горячими пирогами с говядиной», за что они, оправясь от усталости, в благодарность хозяйке «запели несколько кантиков», а она им дала на орехи по «злотому» (то есть по пятнадцати копеек).

Потом и этих ребят запаковали в фургоны и отправили.

«Певчие остались нашим угощением довольны, как заметно было», — отмечает практический отец Фока, не пренебрегавший, по-видимому, и единым от малых сих, часто видящих лицо его преосвященства. И эта заботливость о ребятках, по правде сказать, представляет самое теплое место в интересном дневнике отца Фоки.

[1] Народную любовь *(лат.)*.

Затем финал, по обычаю: «Выпроводивши их, мы порядочно принялись отдыхать и проспали до того времени, как приехала к нам Анна Федоровна на поклонение».

Ничьи «лядвии» не пострадали, и все кончилось «простенько, но мило», — только много было хлопот и шуму, и притом чуть-чуть не из-за пустяков.

Но бывали хлопоты и совсем из-за пустяков.

Всем изобильный дневник отца Фоки сообщает небольшую историйку и в этом роде.

Выписываем еще одно последнее сказание из летописи отца Фоки, и очерк наш кончен.

«13-го августа (1851 года). Застал дома указы о проезде епископа по епархии с 16-го августа. Труды и заботы, писания. Хлопоты и ниоткуда пособия. Всего уродило 28 коп.

15-го, среда. После обеда, по моему приказанию, прибирают в храме, ибо владыка будет ехать, — чтобы не заехал в Гореничи... А у меня дел по хозяйству пропасть, но об них некогда и подумать.

16-го. Посланец донес, что владыка Аполлинарий уже в Рубежевке, и мы вечером в Копылове.

Духовенство стало начеку, и даже прозвонили (на колокольне) какой-то карете, в которой (как после оказалось) ехал не архиерей, а сидела помещица, генеральша Данилевская... В сумерки еще, сидя за самоваром, прислушивались приезда, а после ужина я преспокойно уснул.

17-го. До двенадцати часов постничали, а после прекрасно покушали свежей рыбы и пирогов и прекрасно заснули, по обычаю предков. По захождении солнца настояли нарядить гонца для рекогносцировки (высматривать архиерея), но после ужина довольно поздно положились отдыхать с о. Василием и Стефаном... Долго я не мог уснуть, ожидая вестника; наконец, едва только вздремнул, как послышалось громогласное пение: *«Слава в вышних богу»,* раздающееся на подворье. Мне вообразилось, что это архиерейские певчие, и я вышел, но к немалому моему удовольствию узнал, что это хор отца протоиерея с провожатыми».

Архиерей, за различными путевыми неурядицами, заставлявшими его «сердиться и кричать», проехал мимо. По этому случаю и была пропета на дворе ангельская песнь: *«Слава в вышних богу»*. А если бы владыка приехал, то, конечно, отцы воспели бы: *«Днесь благодать святого духа нас собра...»* Вообще довольно трудно разобрать: что они, искреннее поют или вопиют, взывают или глаголят? И винить их строго нельзя, они так спозаранок натасканы.

Одна московская газета («Современные известия»), рассуждая о явлениях, которые составляют «потрясающую сатиру на растление нашего общества», весьма справедливо говорит: «то, чему мы теперь осуждены быть печальными свидетелями, есть прямой плод разлада слов, мыслей и дела: лицемерие благочестия обращается в лицемерие атеизма». Это верно, и следы этого ясны во всем, к чему бы мы ни обратились ab imo pectore.[1] Надо иметь бесстыдство людей, для коих служит поводом поговорка «après nous le déluge»,[2] чтобы еще и теперь стоять за какое бы то ни было укоренившееся лицемерие, в какой бы то ни было форме. Во всякой форме оно ведет к одному: *к деморализации...*

Corruptio optimi pessima.[3]

---

[1] От глубины сердца *(лат.)*.
[2] После нас хоть потоп *(франц.)*.
[3] Хуже нет — портить лучшее *(лат.)*.

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СУД

От меня произойдет закон, и правду мою я выставлю светом для народов.

Исаия, LI, 4

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В обширной и многосторонней полемике, возбужденной в печати выходом в отставку бывшего министра народного просвещения и обер-прокурора святейшего синода, графа Толстого, далеко не последнее место занимает спор о заслугах этого сановника по духовному ведомству. Одна из петербургских газет — именно, «Новое время», — делая общую оценку заслугам графа, пришла к тем заключениям, что по духовному ведомству его распоряжения были во многих отношениях лучше и целесообразнее его распоряжений по министерству народного просвещения. Это подало повод к замечательному спору, который, по моему мнению, до сих пор не выяснен и не окончен. Между тем это очень интересно не для того только, чтобы сойтись на одном мнении о графе Толстом, а тут есть дело гораздо более важное.

Я не имею никакой нужды входить в оценку справедливости высказанного мнения, но должен заметить, что оно довольно распространено и было поддержано в Петербурге «Церковно-общественным вестником», газетою очень здравомыслящею и в церковных вопросах сведущею. Зато в Москве это мнение показалось очень обидным и несправедливым, и одна из тамошних газет, «Современные известия», выступила с резкими замеча-

ниями против такой оценки заслуг графа Д. А. Толстого по святейшему синоду. Московская газета вспомянула об оскудении плодов веры и, как на особенную вредность для церкви, — указала на неудачную попытку графа Толстого ввести, вместо нынешнего бесконтрольного консисторско-архиерейского суда, — суд в другой форме — более правильной и более защищающей личность от произвола.

На этом разыгралось дело, доведенное только до того, что поспорившие стороны высказались и замолчали; московская газета осталась при своем мнении, а петербургские — при своем; дело же не подвинулось ни на волос, да даже едва ли и уяснилось для публики, которой, однако, необходимо иметь о нем верное понятие. Правда, «Церковно-общественный вестник», возражая «Современным известиям», дал хороший ответ на нападки московской газеты и указал, что нынешний закрытый консисторско-архиерейский суд не только во всех отношениях неудовлетворителен, но и не согласен с древнею церковною практикою; но все эти доказательства, — убедительные и веские для людей сведущих, — большинству публики почти совсем недоступны. Кто у нас знает каноны? кто знаком с старою церковною практикою? Таких людей очень немного в духовенстве и почти совсем нет в публике. А между тем то, что мы, по обыкновению, называем публикою, есть, в известном смысле, та же *церковь*, то есть собрание людей, связанных единством духовных интересов, и ради этих-то интересов *всем нам* пристойно знать об этом деле и иметь свое мнение о значении нынешнего нашего духовного суда, так как от него зависит клир, а от хорошего или дурного клира зависит развитие духовной жизни народа, до сих пор еще весьма мало и весьма неудовлетворительно наставленного в христианском учении. Поэтому, мне кажется, не напрасно будет предложить общественному вниманию вопрос о духовном суде еще в одной простейшей и понятнейшей форме, в которой всякому и незнакомому с канонами человеку станут понятны выдающиеся недостатки нынешнего консисторско-епископского суда. Тогда и враги реформ в этом вопросе и враги всего вообще нового судопроизводства в состоянии будут сравнить то, за что они стоят, с тем, что они гонят, — и, может быть,

совесть и здравый смысл и им вложат что-нибудь другое в сердце. К счастию и благодаря небольшой дозе внимания, какое мне всегда внушало мое неравнодушие к церковным делам, я имею возможность предложить об этом небольшую, но документальную беседу; а непререкаемым документом, на который я буду ссылаться, мне будут служить ведомости одной епархии, издающиеся не совсем так, как издаются ведомости прочих епархий. Я говорю о «Новгородских епархиальных ведомостях», в которых принято не делать секрета из судебных решений, постановляемых епархиальною властью о преступлениях и проступках местного духовенства.

Находя эти краткие отметки самым живым и интересным материалом для суждений о достоинствах нынешнего духовного суда, отстаиваемого людьми, для которых благосостояние церкви и всего духовенства стоят ниже каких-нибудь привилегий епископской власти (хотя бы даже привилегий, не принадлежащих ей по точному смыслу канонов), я имел терпение четыре года кряду следить за этим соломоновым судом в Великом Новгороде и дождался, что теперь мои заметки могут пригодиться в дело. Я желаю в коротких и ясных словах представить вниманию публики, что̀ за дела судит наш нынешний консисторски-епископский суд и как он их решает.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Пропуская бесконечные штрафовки духовных за пьянство, берем только те случаи, которые нам кажутся более замечательными и характерными, как по роду вины, так и по форме наказаний.

Рясофорная послушница Горицкого женского монастыря Августа, за неодобрительное поведение, уволена из обители и обращена в первобытное звание. Диакон Дворецкой церкви Крутяков запрещен за нетрезвость. Боровичского уезда священник Василий Знаменский запрещен за нетрезвость, неисправность и неблагочиние.

Таким образом, простая нетрезвость и нетрезвость, соединенная с неисправностью и неблагочинием, при всей совокупности преступлений, наказываются *одинаково*.

Почему это так — объяснений, конечно, нет. *Благочинный,* старорусский протоиерей Федор Барсов, по делу о недоставлении им 21 процента сбора в размере 809 рублей, удален от благочиннической должности. Здесь уже надо заметить, что преступлением является *растрата,* за что удаление от должности не есть надлежащее наказание по русским законам.

Пономарь черновского собора Вознесенский отрешен за крайнюю нетрезвость. Благочинный Устюженского уезда, священник Алексей Владимирский, за нетрезвость и оскорбление помещика, отрешен от должности благочинного и послан в Моденский монастырь, а потом опять на прежнее место. Счел ли обиженный помещик это достаточным возмездием за свою обиду — не видно. Но во всяком случае ясно, что монастырь здесь заменяет тюрьму, — что совсем с учреждением монастырей несогласно, да никак и не отвечает их назначению.

Однако впереди мы с этим фактом будем встречаться очень часто.

Священник В. Быстров, за служение молебнов иногда в нетрезвом виде, за отказы в требоисправлениях и нетрезвость, — в Клопский монастырь, а потом опять на место. Дьячок Константин Богословский, за самовольное израсходование братских доходов, нетрезвость, упущения по службе и разгульную жизнь в сообществе крестьян и женщин неодобрительного поведения, назначен к отрешению. Священник Александровский, за нетрезвость, — в Кириллов монастырь, а потом обратно на место. Дьячок Н. Косинский за то, что, несмотря на присужденное наказание и сделанную милость (отсрочку наказания), вновь предался нетрезвости и *учинил в церкви во время богослужения бесчиние,* — в монастырь, а потом — на прежнее место. Если бы «учинил в церкви бесчиние» мирянин, то он едва ли не был бы лишен прав состояния и сослан; но духовному лицу наказание меньше. Церковник, который должен подавать мирянину пример благочестия, за буянство в церкви наказывается только одним пребыванием в монастыре... Этого уж никак понять нельзя и обыкновенным рассуждением невозможно признать ни за справедливое, ни за целесообразное. Но есть впереди нечто еще более невероятное: этот же церковный дебошир после пребывания

в монастыре *возвращается «на прежнее место»...* Хотелось бы спросить у настойчивых друзей этого непостижимого суда: может ли все это не служить к соблазну бедных прихожан, безобразному пьянству которых часто дивуются, забывая, что их первые в том учители — *духовенство.*

Дьячок Усердов, за нетрезвость, многократные оскорбления священника, сопровождавшиеся *грубою бранью,* — в монастырь и на прежнее место — конечно, опять при том же самом священнике. Иначе, конечно, нельзя думать, так как сместить священника было бы еще высшею несообразностию. Но не угодно ли кому-нибудь представить себе, каково было потом положение этого оскорбленного священника, которого опять свели вместе с его обидчиком — дьячком... Кому, для чего и в каких целях это могло казаться необходимым и наилучшим?

Но продолжаем наши сухие выписки: иеродиакон Кирилловского монастыря Савватий, за нетрезвость и *бесчинство, произведенное в церкви во время богослужения,* — запрещен до раскаяния и послан в другой монастырь. Дьячок Литовский, за нетрезвость, в каковой иногда присутствовал при богослужении, — в монастырь и на прежнее место. Псаломщик Бальзаминов, за крайнюю нетрезвость и *неприличное ведение себя в храме, «сопровождавшееся прекращением богослужения»,* — в монастырь и на другое место (1876 год).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Благословивши венец нового 1877 года благости господней, духовенство продолжает новое делание, а епархиальный суд старое суждение на непонятный лад.

Вот случай из новгородских епархиальных хроник 1879 года.

Пономарь Волков, за бродяжничество, грубости и неисправность, отрешен, с правом искать другого места. Бродяга «с правом» искать места церковника — это уже что-то феноменальное и едва ли сообразное с каким бы то ни было понятием о правах, достоинствах, законе и чести.

Диакон Виктор Орлов, за нарушение долга подчиненности, порядка и благочиния «принародно» в храме, во время литургии, и за насильственное держание у себя церковных документов, — в причетники, впредь до раскаяния. Пономарь Светлов, за распространение ложных слухов, обман и по подозрению в похищении документов, — в монастырь с переходом на другое место.

Наказание *«по подозрению»* в новейшее время — вещь невероятная. Средневековая инквизиция и наша жестокая юрисдикция XVIII века — и те добивались доказательств или сознания, хотя бы *вымученного*. Оставляемых же в подозрении по XV т. св. зак. *не наказывали*. А потому здесь прибавка «и по подозрению» не кажется ли просто оскорблением самой идеи правосудия?

Священник Быстров (о котором выше, в хрониках 1876 года, сказано, что он служил молебны в нетрезвом виде и отказывал в исполнении треб, за что и был в монастыре) после исправления его в монастыре вновь священнодействует и вновь судится «за пролитие св. даров, сопровождавшееся притом явным невниманием к величайшей святыне». Какое же наказание положено этому рецидивисту храмовых бесчинств? Он «удален от места в Блазнихе с предоставлением права искать себе другого священнического места...» Суди об этом кто как умеет!

Исправляющий должность псаломщика Земляницын, за нетрезвость, неисправность, неприличное поведение себя в храме, «как и прежде сего неоднократно судимый за предосудительные поступки», отрешен от места с предоставлением права приискивать себе другое (!). Св. Любаньской церкви священник отец Травлинский, за повенчание князя Дондукова-Корсакова с Ильиною без соблюдения предбрачных предосторожностей, за допущение неправильностей при других браках и «оскорбление благочинного при исполнении *им* обязанности своей в *нетрезвом виде»* (не совсем ясно: идет ли речь о нетрезвости отца Травлинского или отца благочинного, которого оскорблял этот венчальный батюшка), на полтора месяца в монастырь. Просвирня Екатерина Пальмова, за небрежное печение просфор, неумеренное расходование церковной муки на них, непокорность и непочтительность к священнику, уволена, и вакансия ее закрыта, с возложением обязанности заготовления просфор на местного

священника. Священник Любомудров, за служение молебна в нетрезвом состоянии, — на две недели в монастырь. Священник гор. Новгорода Александр Троицкий, за жестокое обращение с женою, сопровождавшееся то непристойною бранью, то нанесением побоев, и *за разбитие икон,* — на два года в причетники.

За что и с какою целью отец Троицкий разбивал св. иконы — в краткой хронике «Новгородских епархиальных ведомостей» не объяснено, но очевидно, что отец Троицкий не принадлежал ни к штунде, ни к иконоборству и ни к какой иной предосудительной ереси, а содержал чистое православие. Может быть, он просто имел какое-нибудь личное неудовольствие на св. иконы, которое и вымещал на них «разбитием». Это в православном мире неоднократно случалось. Еретики, вроде штундистов, отвергающие поклонение иконам, обыкновенно выносят их из домов в церкви или «пускают на воду», по текучим рекам, но повреждать их избегают. Православных же мирян, которым приходит такая фантазия, за это лишают прав состояния и ссылают; но священник, который подает такой пример, как видим, оставляется при храме церковником и потом может опять священнодействовать. (Во II томе сборника г. Любавского есть интересное в этом роде дело о рядовом Карпе Орлове, который тоже, возымев личность к иконам и взойдя в церковь села Перелет, начал стрелять по иконостасу из казенного ружья. Он пришел для этого с большим запасом патронов в сумке. Происшествие это, как видно из книги г. Любавского, считалось делом особой важности. Кишиневский епископ писал об этом светским властям, и началось «секретное» дело, которое окончилось тем, что рядовой Орлов оказался сумасшедшим и посажен в дом умалишенных.)

Дьячок Вл. Сперанский, за отметку в исповедных росписях такого лица, которое не исповедывалось и не причащалось, за упрек священника в присвоении двадцати пяти рублей и «за чтение однажды апостола довольно безобразно», — на один месяц в монастырь. В чем заключается безобразие — не объяснено,[1] но отметка по

[1] Иногда этого рода духовные выходки бывают очень курьезны. Давненько, недалеко от моей родины, один находчивый дьячок,

росписям того, чего не было, есть *подлог по службе,* а за подлог ни на каком суде нельзя отделаться месяцем пребывания в монастыре. Случай этот имеет такой вид, как будто одному духовенству принадлежит какое-то исключительное право делать подлоги почти безответственно.

Дьячок Ловцов, за «название пономаря неприличными словами *принародно,* в бытность за вечерней в не совсем трезвом виде и вообще за употребление спиртных напитков», — на один месяц в монастырь.

Замечательно, что за подлог и за простую пьяную перебранку в этих двух рядом стоящих случаях назначено одинаковое наказание!..

Дьячок Вихров, «за оскорбление священника *грубобранными* словами в нетрезвом виде», — в монастырь на один месяц. Пономарь Цветков, за крайнюю нетрезвость, утайку братских и церковных денег, «проматывание собственных вещей» (такого преступления, как «проматывание *собственных* вещей», нет в уголовном кодексе; вероятно, это отнесено к *расточительству)* и как не подающий надежды на исправление, отрешен навсегда. Дьячок Ставровский, неоднократно подвергавшийся суду и вновь уличенный в тех же поступках, как рекомендуемый, поведения *только хорошего* (надо иметь отметку *«препохвального»* или *«постоянно тщательного»),* — отставке в заштат. Но при этом достойно внимания, что и товарищ дьячка Ставровского, аттестовавшегося в поведении довольно хорошем, дьячок Фортунатов, был тоже отменный молодец и одновременно послан на полтора месяца в монастырь «за личные оскорбления священника»... Можно себе представить положение священника,

---

имея неудовольствие на помещицу, устроил ей великим постом такой скандал. Совершая «исходя чтение», он прочел: «и призва Фараон бабы и рече: бабы, бабы, — *все вы, бабы, б..ди, срамовщицы и пагубницы».* В оное время это прошло беспоследственно, или, как говорил чтец: «на ней, как на собаке, присохло». Барыня только стала говеть в чужом приходе. Но и то очень удивительно, что она могла отличить эту прибавку от настоящего текста. Обученная религии по-русски, то есть без чтения библии, она легко могла думать, что все это действительно наговорил про баб царь Фараон, — тем более что тогда и в акафисте читали еще: «оставиша Ирода яко *блядива».* Нынче читают «лжива», что, впрочем, не одно и то же. *(Прим. автора.)*

который один в селе должен был служить с этакими двумя хватами «довольно одобрительного поведения»!.. И чтобы это лучше понять, мы увидим скоро, на что был способен один из этих церковников, — именно: дьячок Фортунатов.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Продолжаем, однако, выписки: священник Новоденский, за нетрезвость, буйство и драку, — в монастырь и снова на свое место. Бедный приход! Меж тем залихватский дьячок Фортунатов, о котором мы только что говорили, успел уже исправиться, и притом так наглядно, что немедленно поспешил совершить «нанесение тяжких побоев разным лицам». За такой прогресс он уже смещен с этого места, но «с дозволением приискать другое». Удовлетворены или нет этим те, кого удалой дьячок «тяжко побил», — это как им угодно. Наш духовный суд, — как суд самосовершенный, суд без апелляции, об этом, кажется, не заботится. Дьячка Фортунатова, который так успешно побивал «разных лиц», даже и в монастырь не посылали, да в этом и беды нет, потому что сряду стоит такой случай: «иеродиакону Николо-Беседного монастыря (куда назначаются пьянствующие лица белого духовенства) Палладию, за нетрезвость, самовольные отлучки из монастыря и оскорбление настоятеля, запрещено священнослужение, ношение монашеской одежды, и он послан в другой монастырь (тоже такой, где бес пьянства не давал братии покоя). Таким образом, белые, приходя в Николо-Беседный монастырь, значит, может быть, были встречаемы известным в монашестве приветом: «Наш еси брате Исаакий, — воспляшь же с нами!» И кто кому был здесь соблазном, а кто назидателем, про то только ты, господи, веси...

Но вот опять сряду же с этой пьянственной мелкотою выступает человек крупных способностей — человек, не уступающий, может быть, разбивателю икон отцу Троицкому, — это дьячок Геннадий Егротов; он послан в монастырь, с правом перехода на другое место, за пьянство, за которое уже и прежде судился, а также

за произнесение угрозы произвести поджог, за разбитие стекол и рам в доме крестьянки Силиной, за непристойную брань и обиду действием... Будь этот г. Егротов мирянин, подлежащий суду по общим уголовным законам, он подлежал бы очень серьезному наказанию, но как лицо клировое — в некотором роде священное — этот буйный дьячок с самыми явными разбойничьими наклонностями, при совокупности всех наделанных им гадостей, посылается в монастырь, где он, по указанию начальства, потрудится, и нанесенные им обиды, побои и убытки тем как будто вознаградятся.

Таков этот *духовный* суд, за который откликнулось несколько противников графа Дм. А. Толстого. А об угрозах поджогами и говорить не стоит: тот, кого дьячок имел желание поджечь, пусть хорошенько стережется.

Заштатный и запрещенный священник Молчанов, *для прекращения учиняемых им безобразий (?!)* — на шесть месяцев в монастырь.

Этим кончается хроника 1877 года, и наступает еще более близкий год, 1878.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Летопись 1878 года начинается с лица женского пола. Монахине Хионии, за подачу безымянного доноса, заключающего в себе оскорбительные выражения для чести вновь избранной игуменьи, запрещено (временно) ношение мантии и клобука. Иеромонах св. Духова монастыря (куда, может быть, также посылают пьяниц из белого духовенства) Варлаам, за нетрезвость, сопровождающуюся *соблазном для монастырской братии и для жителей города,* запрещен на один месяц и перемещен в Перекомский монастырь (куда опять-таки иногда посылают пьяных людей из белого духовенства). Причетник Тихомиров, по поводу *тяжкого оскорбления* священника в храме, и притом *в церковном облачении,* — устранен от исполнения обязанностей, «ввиду *неудовольствий* со священником, которые зашли слишком далеко, и в предотвращение на будущее время *скандалов в церкви*». Каждый знает, какое тяжкое нака-

зание ожидало бы того мирянина, который поднял бы руку в церкви на священника в облачении, но дьячку и такая расправа по епархиальному суду сто́ит не тяжеле «устранения, в предотвращение скандалов».

Этим можно не возмущаться только с нашею русскою привычкою ничем не возмущаться, но стоять за таковые решения, кажется, решительно невозможно. Исправлявший должность псаломщика Лебедев, за похищение денег, собранных в пользу герцеговинцев, — в монастырь на 1½ месяца. Такому же самому наказанию подвергнут дьякон Локотский — «за наклонность к винопитию», а пономарь Виноградов — «за недоставление на проскомидию просфор, за употребление хмельных напитков, за дозволение себе бушевать в своем доме и за произнесение скверноматерных слов».

Все эти очень разнохарактерные провинности как будто одинаково весят на весах духовного правосудия: воровство, мошенничество и винопийство! Иеродиакон Нилосорской пустыни (где тоже, кажется, немало сосланных запойцев белого духовенства), как неблагонадежный для монастырской жизни по своему поведению, — исключается. Священник Морев, за ссору в церкви, *недопущение одного крестьянина приложиться ко кресту* и за употребление грубых, ругательных слов — на один месяц в монастырь. (Недопущение ко кресту — это одно из самых эффектных видов отместки за какую-нибудь недодачу или иную досаду. Батюшка обыкновенно при всем честном народе отнимает крест от подходящего крестьянина и возглашает: «Ты недостоин!» Прежде, говорят, это приводило людей в отчаяние, но ныне ко всему такому уже замечается повсеместное равнодушие.) Священник Тюльпанов, за служение молебнов и хождение с иконами в нетрезвом виде, а также (тут только и начинается) за допущение в служении *неприличий (?!)* и за то, что «потерял мирницу» и «совершил крещение двух младенцев в нетрезвом виде, и притом без миропомазания и с опущением некоторых обрядов», — в монастырь на три месяца. Весьма интересный представляется отсюда вопрос: поправлено ли, и каким именно образом, священное тайнодействие, совершенное этим пьяным тайностроителем? — Это не объяснено. А между тем возможно, что несчастный христиа-

нин, у купели которого иерей Тюльпанов произвел описанные упущения и бесчинства, придя в возраст, услышит на это насмешки и попреки и позовет к суду *кого-то*, не озаботившегося своевременно исправить его крещеную репутацию. Это уже было в церковной практике и еще *может повториться* (напоминаю историю о *некрещеном попе*).

Исправляющий должность дьячка Лавров, за нанесение побоев одному лицу, стреляние из ружья, прибытие в храм *в одной рубашке* и проч. и проч., — уволен от должности, и только!.. Знаменитому протопопу Аввакуму подобный фарс обошелся гораздо дороже.

Исправляющий должность псаломщика Добряков, «за неблагоповедение», отрешен от места. Таким образом, простое «неблагоповедение» и «стреляние» пошли по одной категории?[1] Священник, за повенчание вторым браком прежде расторжения первого, — в монастырь на три месяца, а с иеромонаха Иосафа, за пьянство, снята на время монашеская одежда.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Столько интересных для судебных соображений случаев, сколько мы выписали, дает всего за четыре года только *одна* епархия, и притом не самая многолюдная. Все более мелкие случаи, подряд состоящие в одном пьянстве и «неблагоповедении», — я не выписываю и не считаю; нет в моем счете и проступков, вроде кражи коров, и мошенничеств, учиненных духовными лицами, но подпавшими за эти дела светскому суду, причем суд духовного ведомства обыкновенно только спешит сбыть с рук виноватого посредством исключения его из духовного звания. Об этих двух категориях скажем лишь вообще, что случаев соблазнительного пьянства чрезвычайно много, а подсудимость у светских судов —

[1] Мне кажется, что 1878 год, может быть, начинается с этого места. В моих выписках это неаккуратно отмечено: годы 1877 и 1878 немножко смешаны, но факты, разумеется, верны. *(Прим. автора.)*

довольно редка. Кажется, она имеет место только как явление исключительное, при таких случаях, когда, например, духовное лицо прямо изловлено мирскою властью на воровстве коровы. Если же что-нибудь подобное попадет на суд духовный, то, несмотря на уголовный характер, едва ли не кончится монастырем. Из приведенных примеров явствует, что множество случаев с подлогами в документах, святотатством, буйством, нарушением благочиния и порядка в храмах, а также с нанесением побоев равным и старшим и убытков кому попало — в противность русским законам, обязательным для всех русских подданных, для дебоширов, пьяниц и мошенников духовного звания обходятся более или менее продолжительными молитвами и благоугодными трудами в мирных обителях. Давнишние просьбы и воздыхания многих настоятелей о том, чтобы перестали считать их монастыри исправительными заведениями острожного характера, ни к чему не повели и не ведут.

«Не слышат, — видят и не знают!»

А если все это так идет по одной новгородской епархии — по епархии самой близкой к столице и имеющей с нею неразрывную связь в лице главного епархиального начальника, то, кажется, вполне позволительно предположить, что и во всех других епархиях на все подобные дела едва ли существует лучший взгляд и более совершенные порядки. Если же допустить то, что и следует допустить, то есть что новгородская епархия, подведомая с.-петербургскому митрополиту, не хуже всех прочих епархий в России и что обнаруженный здесь порядок имеет свое место повсюду, то мы получим возможность судить о рассмотренных нами случаях *как об образце явлений, общих всей современной России.* И тогда станет ясно, что порядок этот нельзя признать удовлетворительным, а затем, что нельзя не сожалеть и о том, что в недавней поре вопрос о церковно-судебной реформе у нас был так бесцеремонно смят и торопливо стерт с очереди, как нечто несвоевременное и для нас совершенно излишнее.

Тут и выдвигается на вид сошедшая с первого плана личность синодального обер-прокурора гр. Д. А. Толстого, и становится необходимым сделать некоторую характеристику общих отношений к делу духовного суда,

недостатки коего бывший обер-прокурор гр. Толстой, конечно, понимал и настойчиво желал учредить иной суд, где было бы менее места произволу и более законности.

Это имеет свою занимательную историю, которую, при самых небольших дарованиях, со временем можно будет рассказать, как одну из забавных затей в духе «человеческих трагикомедий» Шерра.

С самого первого движения графа Толстого к пересмотру духовного вопроса он не встретил ни сочувствия, ни поддержки; *все* им были недовольны: одни за то, что граф «подбирается под епископов», — другие за то, что *он* взялся за это дело. В том, что за дело это взялся *«он»*, а не кто иной, видели верное ручательство, что оно «провалится».

Так, разумеется, и вышло, и этому безрассудно радовались — только уже не все: были люди, которые понимали дело серьезнее и начинали сожалеть, что личные чувства к графу Толстому получили слишком большое значение.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Лучшие люди в нашем духовенстве, не стоя на стороне графа Д. А. Толстого, — который сделал, кажется, все, от него зависевшее, чтобы его не укоряли в искании людского расположения, — в этом деле глубоко сожалели о том, как далеко зашла враждебность, какую возбудил против себя этот сановник, говоря о котором можно припоминать пословицу: «гнул не парил, сломал не тужил». В духовенстве пророчили и не ошибались, что вопрос о судебной реформе погибнет именно потому, что его проводит нелюбимый гр. Дмитрий Андреевич Толстой. Но все знали, что правда была на его стороне, что нынешний духовный суд не удовлетворяет и не может удовлетворять требований справедливости. В знаменитых в свое время возражениях волынского архиепископа Агафангела, в которых светские клерикалы усматривали манну небесную, — духовные видели более непосредственности, чем полноты, разносторонности и беспристрастия. Правда, ответы архиепископа Агафангела

одобряли и в духовенстве, но не из сочувствия мыслям пр. Агафангела, а из радости, что нашелся хоть один человек, который противоречит графу Толстому, смиряя тем всем надокучившее его «колкое самовластие». И, таким образом, в этом неосмотрительном злорадстве люди, вовсе не сочувствовавшие неподвижности духовного суда, дали своим зложеланием перевес идеям этой неподвижности: реформа настоятельной надобности была отвергнута, и это было большою радостию для людей, у которых любовь к родине и ее вере и церкви не могла возобладать над их личными чувствами к гр. Толстому.

Нет спора, что в постановке дела, как за него взялся граф Д. А. Толстой, кажется, было не без ошибок, и даже весьма больших; но все они могли быть поправлены, а вместо того все дело было отвергнуто.

Это было, конечно, хуже, чем все ошибки графа в его предположениях о реформе. Наконец об этом вспомнили при отставке графа Толстого; но вспомнят и еще не один раз. Самое недалекое время покажет, сколько в отстранении этого вопроса кроется вредного и даже зловещего для церкви. Такое бессудье или произвол, какие мы видим в нынешнем духовном суде, вредны прежде всего для самих клировых людей. Завися не от точных законов, а от «благоусмотрения», как мы сейчас читали, часто необъяснимого с точки зрения общественной морали, духовные люди до сих пор ищут оправданий «пролазами» и «пекуниею», а это, конечно, не может не влиять дурно на их нравы. Между тем церковь в лице самых разнообразных ее представителей давно указывает на неудовлетворительность клира и, утратив надежду быть услышанною, прямо обнаруживает повсеместно замечаемую склонность к отпадениям во всякие ереси мужичьего или барственного измышления. Это явление — самое зловещее, и оно не пройдет даром. Этому не поможет не только союз священников при петербургской Сергиевской церкви, но не поможет этому даже столь страстно ожидаемая свобода совести, которая, при нынешнем положении русского духовенства, даст только возможность людям откровеннее распрощаться с своими духовными отцами...

Теперь говорить обо всем этом, кажется, можно только в интересах исторических, как о любопытном и

прискорбном явлении, характеризующем то десятилетие, когда у нас, после охоты к реформам, возобладала безумная страсть перечить всяким улучшениям; но поднять этот вопрос и довести его до того положения, в которое он был уже поставлен графом Д. А. Толстым, в ближайшем будущем едва ли не безнадежно. Однако не следует забывать, что вопрос этот жив, — что он не только существует, но постоянно напоминает о себе явлениями самого неблагоприятного свойства.

Его не взбивает или не «взмыливает» литература, — как это хочется доказать иным друзьям противоапостольского византиизма, — но вопрос этот поминутно сам является всем на глаза. Не видать его не только трудно, но невозможно, и те, которые негодуют за всякое слово об этом, — напрасно думают служить этим церкви.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Так называемый консерватизм, чаще всего у нас сходящийся с полною косностию, недавно дошел было до того, что наши пустосвяты были склонны видеть зло в самом возрастающем внимании мирян к делам церкви. Людям этого образа мыслей и гораздо более нравится то время, когда в светском обществе ни о чем церковном не рассуждали и истории церковной не знали, — архиереев угощали ананасным вареньем, архимандритов — вишневым, а попов — поили чаем в конторе или даже в передней. Но все эти сетования напрасны; пробудившееся внимание к церковным делам уже не может быть остановлено, да и не добром помянет христианский мир усилия тех, которые считают полезным остановить это внимание. Оно достойно поддержки, а не противодействия, потому что оно истекает из самого чистого источника — из любви к родине и ее вере. Вера же наша, несомненно, страдает и подвергается самым ужасным, почти неслыханным в христианстве порицаниям не по влиянию «заносных учений», на которые мы охочи всё сваливать, а по причинам, зависящим от устройства нашей церкви. Причем немалого удивления достойно, что порицания эти приходится не только

выслушивать от жителей стран образованных, которые имеют показать нечто благоуспешно развиваемое и совершенствуемое в их церковной жизни, но и от простодушных невежд, усматривающих, конечно по нашей вине, некоторый, весьма для них осязательный, вред в христианстве, *как в культе*. Примеров тому бездна, и я не стану приводить их в том изобилии, в каком они очень легко могут быть собраны из самых достоверных хроник, но укажу на последний, недавно обнаруженный случай — по моему мнению, чрезвычайно тяжелый и мучительный для сознания христианина. Императорское Русское географическое общество недавно издало исследование одного своего члена-сотрудника, г. Кузнецова, о черемисах, где мы находим следующие удивительные вещи. Мы читаем в этой книжечке, что наши давно окрещенные черемисы и в 1878 году были такие же язычники, какими были до крещения... Им было как-то проповедано евангелие; у них настроены церкви, в которых есть штаты духовенства; это духовенство совершает крещение младенцев и ведет, конечно, исповедные росписи, в которые надо вписаться, чтобы не подпасть ответственности, а христианства все нет как нет... И это еще не самая большая беда, что крещеные черемисы до сих пор не сделались христианами: это у нас случалось и с татарами и с мордвой, у которой до сих пор во весь развал идет эпоха двоеверия, но вот в чем беда, — что окрещенные черемисы *стали нравственно хуже, чем были;* что всякий, вынужденный иметь с ними дело, — старается отыскать старого, некрещеного черемиса (из тех, кои отбежали крещения), потому что, по общему наблюдению, у некрещеных больше совестливости... Этого оскорбления святейшей религии Христа не может не поставить нам в вину вселенское христианство! О своем же крещеном поколении черемисы самого невыгодного мнения; да иначе не может и быть. Это окрещенное, но ничему в христианстве не наставленное поколение, как свидетельствует та же книга, изданная императорским Русским географическим обществом (стр. 6), «относительно христианства столь же невежественно, как их отцы и деды, а к язычеству оно успело охладеть, потому что представители его редеют. Теперь можно из подросшего поколения встретить таких, которые *не при-*

держиваются никакой религии...» Вот положение, которое едва ли нельзя назвать *водворением религиозного нигилизма посредством крещения.* А это заявлено твердо и никем не опровергнуто, и, хотя или не хотя, ему, очевидно, приходится верить и с ним соображаться. Принимая же в расчет, что такое явление далеко не единично, его надо считать важным и требующим самых скорых и самых энергических мер к всестороннему поправлению церковного дела. И *скорого* непременно потому, что церковная беда не ждет. Мнение это есть едва ли не общее мнение всей церкви, кроме тех, которые свои вкусы предпочитают истинам евангелия. Литература, во всех ее органах, которых нельзя считать противонародными и противоверными, неустанно твердит об этом почти в одно слово. Недавно еще все мы читали ряд правдивых и талантливых статей г. Евгения Маркова о нашем «крещеном язычестве», а теперь, когда уже дописывается эта статья, получаем июньскую книгу журнала «Русская речь», где с религиозными вопросами обращаются почтительно и бережно. И здесь, в интересном этюде о духовенстве, снова читаем, что вопрос о нем «нельзя откладывать, так как от этого зависит подъем того жалкого состояния, в каком находится большинство нашего духовенства. Вопрос о свободе совести тоже не ждет, и горе, если он решится ранее преобразования духовенства». «Оно, — говорит «Русская речь», — окажется бессильным бороться против множества сект, и православная церковь погибнет не в силу собственной немощи или несостоятельности, а только потому, что продолжительное существование неестественного порядка вещей вынудило ее служителей заглушить в себе познание ее сущности» (стр. 301).

Это положение страшное, но оно верно.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Какие же меры в этом положении могут казаться самыми надежными и действительными? Их, кажется, две: 1) лучшее обеспечение православного духовенства, при котором оно не было бы вынуждено прибегать

к унизительным поборам, роняющим его во мнении прихожан, и 2) более совершенный суд, при коем правый человек мог бы бестрепетно доказывать свою правоту, а виновный — принять наказание, сообразное действительной мере его вины, как следует по закону, а не по произволу.

Улучшение быта, конечно, требует очень больших средств, в изыскании которых *на дело* мы бываем особенно несчастливы. Духовное ведомство очень богато, — но оно скопидомно и любит неприкосновенность своих капиталов. А потому вопрос об обеспечении служащего духовенства есть вопрос очень сложный и очень трудный для удовлетворения. Ему, вероятно, долго еще будет мешать наша бедность, почти неизбежная при нашей системе государственного хозяйства, в котором господствует сильное смешение в понятиях о нужном и ненужном. Но судебная реформа гораздо удобоисполнимее, так как ее можно произвести при несравненно меньших капитальных затратах, — для этого нужны только здравый ум и *добрая воля* вывести дело из нынешнего вполне непригодного положения. А между тем одна уже эта реформа, произведенная удовлетворительно, помогла бы духовенству стать независимее от принижающего его произвола не только от тех особ, которые, по удачному замечанию «Русской речи» (301), «отреклись от мира для того, чтобы повелевать им, чтобы властвовать, чтобы управлять всем обширным епархиальным духовенством — их женами и детьми», но и от тех, коих великий Петр в духовном регламенте назвал «несытыми архиерейскими скотинами». А они все не без участия на так называемый *доклад,* из коего духовное остроумие делает «оклад, клад, лад и ад» (просителю — *ад*). Судебная реформа помогла бы духовенству очистить свою среду от тех людей, которые своим поведением не только роняют все духовное звание, но даже унижают имя человека, и, несмотря на все это, терпимы в духовенстве к соблазну всех прихожан, стремящихся бежать от таких пастырей в какое-нибудь разноверие. А в то же время сознание свободы от нынешнего произвола привлекло бы к служению церкви многих благороднейших молодых людей духовного звания, которые нынче до такой степени шибко бегут от своей среды, что потребовались особые и, оче-

видно, совершенно бесполезные меры к удержанию их в духовном звании.

К чему приведет подобная мера, — понять нетрудно: вакантные места будут замещены, но кем, какими людьми? Конечно, теми, которые, по их словам, «рвались из этого омута, да не вырвались». Вот приобретение!..

Много доброй службы наслужат они церкви, которой теперь только и остается пополнять свои кадры этими «невольниками», да «плохенькими», которые всюду готовы, «лишь бы кормиться»...

Таково-то наше положение, которое устроили разные неподвижные, будто бы «богоучрежденные» порядки нашего церковного управления, и между ними едва ли не более всего наш духовный суд, не согласный с древнею практикою и вовсе не отвечающий современным потребностям.

Указание на эти вещи наглые люди нынче приравнивают к нигилизму и даже к «бунтарству». Пусть так, пусть ханжеское лицемерие или глупость говорят, что позволяет им их бедный смысл и прожженная совесть; но им никогда не удастся убедить рассудительных людей, что сдавленность, в которой наше духовенство утрачивает свои человеческие достоинства, есть наилучшая форма, навсегда необходимая для нашей церкви. Пусть они считают русскую церковь обреченною окаменеть, на чем она раз стала, но мы имеем право считать ее еще живою и способною возродиться и исполнять свое духовное служение русскому народу, а потому и говорим о ее нуждах, с кем бы нас за это ни сравнивали изолгавшиеся христопродавцы. Здесь нами приведены не рассуждения, а *факты,* и эти факты говорят, что духовный суд судит неудовлетворительно, что он гораздо погрешимее суда светского. Пусть друзья этого суда приведут в соответственном количестве факты иного значения и восторжествуют.

РУССКОЕ ТАЙНОБРАЧИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Тайнобрачие в России несомненно существует, и притом в довольно значительных размерах. Едва ли в каком-либо общественном кружке не известно хотя одно супружество, сочетание которого не вполне законно или даже совсем противозаконно. А между тем все эти браки кем-то повенчаны и где-то записаны и терпятся «ради слабости человеческой» и ради страха суровой строгости неподатливого закона. Наше положение таково, что мы как бы не можем обходиться, не обходя закона. Оттого, кажется, у нас так и велика народная терпимость. Но тем не менее наше тайнобрачие не представляет собою чего-нибудь совершенно бесшабашного и безнравственного. Напротив, в нем заметно даже уважение русского человека к границам свободы в пределах нравственности и эстетики. Это всего удобнее можно наблюдать в интересной практике, которую выработало русское тайнобрачие, до сих пор удивительным образом пренебрегаемое исследователями нашего народного духа в самых глубоких и смелых его проявлениях. Между тем такое явление, как тайнобрачие, более, чем многое иное, открывает в нашем народе изобилие здоровых элементов, ручающихся за его способность к широкому и свободному развитию жизни в несколько иных формах.

За «обилием материалов», упорно скопляющихся в наших повременных изданиях, исследованиям такого

рода нет еще места, и потому приходится касаться их только слегка и издали, и притом по какому попало случаю и в какой попало форме.

Я расскажу, что мне известно об этом интересном предмете, именно по поводу свадьбы дяди Никса, которая, в связи с другим случаем тайнобрачия в нашем литературном кружке, дала мне возможность ознакомиться с удивительным механизмом этого своеобразного тайностроительства в русской церкви.

Несколько лет тому назад мне довелось быть в одном гостеприимном доме, где собралось много разного звания людей.

Это относилось уже к последнему времени, которое некто удачно называет временем «реставрации упадка нравов». Охота ко всякого рода трактаментам и прениям тогда уже прошла, и так называемые образованные люди не находили более удовольствия в обмене мыслей. Мысли были изгнаны из обращения, и все, от прыткого поручика до авантажного тайного советника, обратились к универсальному русскому средству «убивать время» — *сели за карты*. Литераторы и ученые не отставали от явных поручиков и тайных советников: и они садились за ломберные столы без всякого зазрения совести и резались с теми самыми чиновниками, на которых недавно еще изливали жгучий яд своих обличительных сарказмов.

Об эту пору литературный старовер, не приручивший себя к картам, уже составлял для хозяев известное бремя. Он это чувствовал и, сознавая свою отсталость от современного общественного прогресса, прятался куда-нибудь «к чудакам». Если же случай застигал его врасплох среди «новейших» людей, он спешил сокращаться и исчезать, не нарушая господствующего строя занятий.

В таком положении очутился и я на том вечере, с которого начинаю мое повествование.

Драгоценными сведениями в области этих не имеющих письменной истории событий я обязан духовнику моего гостеприимного хозяина, столичному протоиерею,

внушительную фигуру которого описать дано не моему перу.

Он появился на пиршестве как раз в то время, когда я собирался оттуда удалиться восвояси, и был виновником, что мне это не удалось, — о чем я, однако, не жалею. Так как все столики уже были заняты и для преподобного отца не находилось пристойной партии, то хозяева были в затруднении, к чему им пристроить своего почтенного духовника, и решили принести ему в жертву мое бесприкаянное недостоинство.

С этою целью меня немилосердно придержали и представили протоиерею с рекламирующею аттестациею, как автора «дьякона Ахилки».

Но преподобный отец сначала был неутешен: подав мне руку, он поправил у себя на груди важные кавалерии и обратился к хозяевам с словами горького упрека:

— Ахилку мы читали, и кто оного автор — знаем, а чтобы своего духовного и венчального отца в святой день без пульки оставить, так это можно сделать только совсем забывши закон и религию.

Но, однако, потом дело обошлось, и притом к неописанному моему удовольствию, потому что я встретил в отце протоиерее человека чрезвычайно приятного: умного, доброго и большого практика.

Как только хозяева устроили его за одним столом «в мо́тью», он перестал негодовать и, усевшись в мягком кресле, позволил мне заговорить с ним об одном, некогда сильно меня интересовавшем, церковном деле.

Поводом к развившейся у нас интересной беседе послужило одно чрезвычайно казусное событие, о котором в свое время много говорили в русской печати, но никогда не коснулись того, что в этом было самого возмутительного и самого интересного и прямо било в глаза.

Один довольно известный в свое время литератор принимал к себе в дом тоже довольно известного педагога. Они были друзья, но потом поссорились, и педагог поступил непедагогично: он сделал на своего гостеприимного товарища донос с целью доказать, что особа, почитаемая за жену этого писателя, совсем ему не жена, и дети их не могут считаться детьми признающего их отца.

Ежедневные газеты занимались этим делом с одной общедоступной стороны — именно, со стороны «скандала в благородном семействе», и притом в таком семействе, глава которого принадлежал не к фаворитному из тогдашних направлений. Более достойного внимания в этом деле печать ничего не усмотрела, но я позволю себе теперь, в запоздалый след, указать то, что тут составляло самый важный интерес и было пропущено.

Супружество, о котором сделал донос педагог, действительно было не из законных, но оно, во всяком деле, было супружество венчанное, или, как говорят иные, «в церкви петое». А между тем когда, вследствие доноса, представилась надобность доказать венчание, то об этом нигде не оказалось никаких записей и никакого следа.

Стояла на земле церковь, в которой все сие «пета бяху», жил и наслаждался полным благоденствием батюшка, который призывал на брачившихся божие благословение, даже и дьячок играл на гитаре точно в тот день, когда новобрачный записывал у него в церковной квартире свой «обыск», но теперь выходило, что всего этого никогда не было, что ни батюшка, ни дьячок этих супругов никогда не венчали и, что всего важнее, в обыскной книге действительно *ничего не записано.*

Приняты были самые энергические и настойчивые попытки разоблачить эту таинственнейшую проделку и доказать факт венчания, но все оказалось безуспешно. Между тем брак действительно был венчан, — в этом со всею искренностию ручались оба супруга и очень престарелая мать одного из них, *лично сидевшая* во время совершения брачного обряда в церкви. Но куда же это исчезло из обыскных книг церкви и где брачное свидетельство, которое должно быть у каждой обвенчанной пары?

Его не было.

Почему?

Жена в этом случае ссылалась на мужа, а муж на свою оплошность.

Все это было как-то темно и маловероятно.

В родстве у супругов оказался очень проницательный и ловкий адвокат московской заправки, которого так и звали «московский пекарь». Пекаря выписали и пустили

в ход, но он месил, месил в этой деже и ничего не вымесил... Концы были так похоронены, что ни одного из них нельзя было отыскать.

Долго адвокат рылся в архивах, много рыскал по разным местам, отыскивая свидетелей, которые подписывали поручительные записи в обыскной книге, но ни одного из них нигде не отыскал. Обращались, помнится, к содействию особых властей, но и те ничего не помогли, что, впрочем, было и неудивительно, потому что ни муж, ни жена не знали свидетелей, подписавших их обыскную книгу. Супруги уверяли только, что свидетели были и подписывались, но что они были поставлены самим батюшкою, который взялся за их дело *аккордом,* то есть что и свидетели и певцы — все будет *от него.*

— Мы, — говорили супруги, — считали это за самое удобное, а оно вышло вот как... неудобно.

Добиться подтверждения от батюшки — нечего было и думать: он раз навсегда наотрез отрезал, что он «лично таковых супругов не помнит», а потом особым властям довел, что он и не может помнить всех, кого он венчал, тем более что, по словам самих этих людей, — если они не лгут, — их венчание происходило десять лет назад, а в десять лет воды утечет много.

— Если я их венчал, — отвечал батюшка, — то брак их должен быть записан в обыскную книгу, и у них должно быть свидетельство. Это порядок всем известный, даже не исключая и таких безбожников, как писатели. А если в обыскных книгах записей нет и свидетельства нет, так, значит, венчал их не поп вокруг аналоя, а заяц вокруг ракитового куста. Опять и это тоже по-литературному, но только пусть они теперь туда и идут справки брать. А я, — говорит, — если мне с этим докучать еще будут, за шиворот их да к прокурору стащу за оклеветание.

Ясно было, что батюшка крепко кован и ничего не боится.

Но что выходило всего хуже, так это то, что ветхая старушка, мать одного из супругов, во всей этой сумятице совсем сбилась с толку и стала говорить самый бессвязный вздор. Московский софист до того изнурил ее, заставляя подробно припоминать все детали события, что она совсем все позабыла.

Старушка уверяла, будто хорошо помнит, что, едучи в церковь, она чуть не выпала из саней и так прозябла, что сидела в церкви не снимая шубы, тогда как, по показанию супругов, выходило, что брак их происходил в июне. Потом супруги говорили, что они перевенчались за несколько дней до рождения их старшего сына, который появился на свет 2-го июля, а матушка их помнила, что она тогда будто очень спешила к внучку.

Словом, выходила путаница, которая только прибавляла досаду к досаде.

Старушка, которую всем этим мучили, думала, думала, как ей согласить свою шубу и сани с июльской жарой и ее поспешливость к внуку прежде его рождения, и, наконец, объявила, что ей забило памороки.

— Теперь, — божилась она, — хоть к присяге идти — ничего не понимаю, что в самом деле было и что мне только кажется. Может быть, — говорит, — я в санях-то точно ехала, а про свадьбу вашу мне только так кажется. А может быть, я никуда и не ездила. Где это помнить!

Твердыми в своем оставалися одни супруги, которых все их знающие считали за людей очень правдивых и честных. Но их показание в своем собственном деле не представляло никакого юридического доказательства, да притом и оно, ввиду всех других несообразностей, начало казаться странным. Даже московский адвокат, по близкому родству с супругами, первый готов был заподозрить основательность их свидетельства, а его примеру последовали другие. И пока газеты потешались насчет злополучных супругов с бестактною злобою, которой те нимало не заслуживали, судьба супругов и их детей была решена: дело было проиграно не только в надлежащих инстанциях, но и в общественном мнении людей, имеющих несчастие подчиняться давлению всякой печатной строчки.

Правда, что добрые знакомые супругов после всей этой передряги от них не отшатнулись, а, напротив, даже еще более о них соболезновали; но что касается недоказанного венчания, то ему уже положительно более не верили и даже ставили в упрек: зачем они так упорно стоят на своей неискусной выдумке?

Но могли ли так нагло и так упорно лгать эти люди, безусловно честные и безусловно правдивые, какими я их считал и имею все основания таковыми же считать их и поныне.

Это меня не переставало занимать и дало мне повод вызвать скучающего отца протоиерея на разъяснение: может ли случиться, чтобы брак, обвенчанный в церкви и записанный в книги, исчез бесследно, или же все это невозможная ложь?

Батюшка все это мне и разъяснил, и притом так обстоятельно, как может разъяснить человек, стоящий на высоте своего пастырского призвания и имеющий ум тонкий и проницательный, а знание сердца человеческого самосовершеннейшее.

ГЛАВА ВТОРАЯ

На мой вопрос: возможно ли, чтобы бесследно исчез брак, «петый в церкви», мой собеседник отвечал:

— Возможно.

Я рассказал ему вкратце историю непостижимого венчания литератора Z. ⟨Е. Ф. Зарина⟩, который никак не мог доказать, что он был обвенчан.

— Слыхал, — проговорил отец протопоп, — хотя и не помню, где.

— Не в газетах ли читали?

— Вот именно дети в газетах где-то читали и мне рассказывали.

— Мне кажется — это удивительное и непонятное дело.

— Удивительного мало, а непонятного еще менее.

— Однако что же вы подумали: как это могло сделаться?

— Я подумал только: должно быть, их отец N. венчал.

Это действительно было так, как отгадывал мой собеседник, и потому я позволил себе предложить ему особый вопрос об отце N., венчания которого отличаются такою характеристическою непрочностью.

— Почему вы узнали, что это венчание трудов отца N?

— Вот странный вопрос: а по чему вы узнаете работу одного мастера от работы другого?

— По красоте исполнения, по прочности, иногда по фасону. Но ведь это совсем иное.

— То же самое. Отец N. это тоже своих дел портной без узелка...

— Извините, — говорю, — я этого не понимаю.

— Чего же вы не понимаете? Что значит «портной без узелка»? Значит, что у него нитка в шве не остается, а все насквозь проходит.

— И значит — шва совсем нет?

— Нет или есть — это уже как хотите, но только его шов не держится.

— Но какая же ему выгода так шить?

— Его выгода.

— Он рискует, с этакою манерою шва, остаться со временем без работы?

— Очень может быть, только это будет еще не скоро — не ранее как иже по просвещении.

— То есть когда это «по просвещении»?

— А когда в обществе распространятся настоящие понятия *о тайне брачия* и люди не будут вертеть этого дела как попало и с кем попало, лишь бы скорее да подешевле.

— Да неужто вы полагаете, что тут дело в цене?

— А разумеется; по плате и шитво: дешевая цена — такая и работа. Нынче, знаете, время такое базарное, ну и предложение по запросу: теперь человек и любит как-нибудь и венчается как-нибудь; берет для этого попишку какого-нибудь, а тот его свяжет тоже как-нибудь. А там, глядишь, оно и развязалось.

— Вы, — замечаю, — батюшка, кажется, расположены в пользу старины.

— Нет-с, не особенно, а впрочем — как в чем и насчет чего. Если насчет того, будто бы древле было все лучше и дешевле, так я не старовер. А что насчет любви и склонности, а также серьезности брачных отношений, так тут я действительно люблю старинных людей. Они, конечно, кое-чего такого, что мы знаем, не знали, а уж что касается любить, то это они посерьезнее нас умели.

— Так ли? — говорю.

— Да уж так-с. Вы ведь — я знаю — сейчас готовы

небось заговорить про рыцарей. А что за кушанье рыцари? — Это чушь. Нет, а вы в глубь веков погрузитесь, отколе ключ жизни идет: там настоящую прелесть любви и найдете.

— Где же это?

— В библии. Страстная книга: оттого ею многие иноки соблазняются. У меня ее раз инспектор из рук вырвал: «начитаешься, говорит, жениться захочешь». А он хлопотал, чтобы я в монахи пошел. Вот там любовь так любовь. Дочери-то человеческие каково описаны: голенькие, без всяких нарядов, исполинов пленяли.

— Это, — говорю, — все доисторическое.

— А в историческом-то еще лучше: начнем хоть с отца нашего Иакова. Посмотрите, пожалуйста, что это за молодчина был по сердечной части! Вот настоящий месопотамский рыцарь — влюбился в Рахиль и шесть лет за нее, сердега, прослужил ее отцу — да ведь как отслужил: не в прохладном магазине за прилавком, а на поле под палящим солнцем. И что же? Его надули, и надули самым подлым образом: ему дурнолиценькую Лию подложили, а он впопыхах не разобрал. Винить нельзя: разговоров, верно, не было, а впотьмах все кошки серые. Но ведь он не унялся: не потянул тестя в суд, а еще на шесть лет себя забатрачил, чтобы добыть-таки свою зазнобу, и добыл. Так вот это человек — во всем значении слова, значит, *любил*. И женщине-то, как ей этакого чудесного мужчину не полюбить, потому что хоть он загорелый пастух, а меж тем кавалер во весь рост и во всю силу. Ну а нынче что же?.. Все проходимцы — все приданого ищут, либо завертят девчонку и уговорят, будто ей стыдно, если муж на нее работать станет. «Сама, говорят, матушка, рук не покладай — работай». Это женское равноправие, видите, называется; хитрость все, чтобы самому легче было. Снизойдет к ней когда-нибудь вечерком, как Юпитер, на ложе, и то если деться некуда, — осчастливит ее, когда той, бедняге, уже с усталости и не до утех любовных вовсе, а потом, наутро, встряхнулся, да и пошел опять свои рацеи разводить. А она опять работай, да еще, глядишь, с шарманочкой. Вот ей и равноправие. А другой, если увозит девушку, будто ее крадет, одним словом — «тайно венчается», а сам черт его не разберет, что такое он этим

устраивает; даже, право, не разберешь, для чего это они делают: по любви, или по глупости, или еще того хуже — по подлости тайнобрачие ломают.

— Но по какой же подлости-то может быть нужно ломать тайнобрачие?

— По какой подлости?.. Эх, государь мой, еще какие, когда б вы знали, нынче являются на этот фасон выжиги и какие отхватывают коленца, так иной раз просто либо только диву дашься и расхохочешься или прямо вон от себя подлеца выгонишь.

— Скажите хоть один пример.

— А вот, например: подло или не подло сбить с толку дурочку, которую родные берегут и не дают обобрать? Ко мне явился раз с такою просьбою опекун, и в большом чине... ух, выжига!

— Вы их обвенчали?

— Нет, я-то не обвенчал. Я ему сказал: «Вы вельможа большая, да я не плут большой», а отец N. и их обвенчал.

— Он, по-видимому, отчаянный.

— Нет, куда там отчаянный! самый презренный трусишка, только ловок на выдумку.

— Но, однако, как же он: неужели всех, кого попало, венчает?

— Решительно кого попало, на это у него жадность, по привычке от отца, потому что его покойник отчаянный мастер на эти дела был; только я их не сравню: тот был благороден — дорого брал, но и знал, с кем поделиться. А этот как гиена: все ничком, сам с собою — один только всё новые штуки подлые выдумывает.

— Значит, и тут, в тайнобрачии, замечается понижение тона и измельчание типа?..

— Да ведь как же иначе. Все «идет со временем», — как говорит блаженный Августин, — «все, освещаемое солнцем, разделяет его движимость, все изнемогает под тяжестью веков». А уж нашего брата, попа, тяжести веков-то давили, давили, да еще и сейчас не дают ослабы. К тайнобрачию-то наши духовные знаете ли как приучались.

— Как?

— Сначала по-девичьи, со стыдом и с мукою вели-

кою, — все равно как первую песенку зардевшись спеть, а потом из сострадания это делали, потому что наш закон очень лют, а ныне и они уж так, под кадриль всему всероссийскому плутовству, до бесстыдства дошли.

— Но это может служить не во вред людям.

— Совершенно верно, и потому-то надо бы только, чтобы люди, которым в этом нужда, знали практику и не попадались вот таким...

— Портным, которые без узлов шьют?

— Именно-с. Наше общество ведь еще очень глупо. Сведали, что попы нынче тайно венчают без затруднения, и думают, что это всеми все равно одинаково делается. А это совсем не все равно: поп попу рознь. Иной прямо откажет, другой возьмется, но с осторожкою, и хорошо сделает, а третий так слукавит, что ничего не стоит, даром что венчаны.

— Интересная, — говорю, — история.

— Да, небезынтересная, и очень небезынтересная-с. И издавна она. В старину, например, тайнобрачие часто по страху делалось. Мне мой дед рассказывал, как он в царствование Екатерины одного помещика с насильно увезенной боярышней венчал. Взяли дедушку обманом, из дому вызвали, да первое дело, благослови господи, веревочную петлю ему на шею накинули и повели в церковь. Дедушка думал, разбойники, — грабить храм хотят, и ключи им выставляет: «Берите, дескать, все, что хотите — последнюю ризу с царицы небесной снимайте, только мою грешную душу пощадите». Но видит: помещик и его люди стоят в церкви и пучки розог держат. «Венчай, говорят, сию минуту, а то запорем или на колокольне повесим».

Дедушка был уже очень старый старичок и до беспамятства перепугался, но одно только вспомнил — про архиерея.

«Смилуйтесь, — говорит, — наш архиерей змей этакий безжалостный, он узнает, тогда меня расстрижет, и моя старуха попадья без хлеба околеет».

А помещик отвечает:

«Не блекочи, старый баран, о пустяках: кому он архиерей, а кому все равно что ничего. Сейчас надевай ризу да пой покороче, за нами погоня скачет. Успеешь обвенчать — я тебе за это выгон целины дам и до

смерти вашей с попадьею месячину давать буду, а не сделаешь по-моему, сейчас повешу».

Дедушка поклонился и стал облачаться, только просил, чтобы с него петли уже и не снимали, на тот конец, чтобы все-таки оправдание было.

— Так он и венчал их в петле?

— Так и венчал: впереди вокруг налою гайдук идет и деда ведет на обрывке, а он молодых ведет за руки.

— Что же — значит, дед ваш сделал дело невеликодушное.

— Чем-с?

— Способствовал насилию: вы же сами говорите, что невеста была взята насильно.

— Да разумеется, только ведь это дело-то, государь мой, все под петлей шло. Ишь вы, захотели еще при наших порядках геройства! Героев, сударь, вообще на свет родится не много, да много-то их и не нужно, а особенно на Руси их не требуется. У нас ведь их не жалуют. И знаете, через что?.. Хлопотно с ними. Право. Вот посмотри, например, на нас теперь откуда-нибудь честные люди — могут сказать, зачем это здесь всё в карты играют, а не занимаются чем-нибудь серьезным; а займись-ка серьезностью — скажут: что это они засерьезничали: о чем закручинились? Послать-ка к ним того, другого да третьего, разогнать им кручину... Ну их совсем, лучше шлепай картой да шлепай — покойнее. Или все говорят: мало правды на свете. И оно точно: ее мало. А начни-ка иному правдолюбцу всю правду-то сказывать, так он и слушать не станет, да еще «беспокойным» прозовет. Оттого и нет правды... А что до духовенства, то попишки наши, конечно, худы, но, поверьте, они по нашему времени такие и надобны. И это не от крови, а от тьмы века сего — от духов злобы поднебесной. Были бы у нас и не такие попы, да... говорить только не хочется. А то я, не выходя вот из этой же самой семейной моей, так сказать, хроники, имею тому доказательство, что попики с огоньком у нас бывали и есть, но только они нам не годятся, и ждет их конец часто бедственный.

Это касается родного брата моего отца и моего дяди, тоже сельского священника той же губернии, откуда

все мы родом, а начало тому делу восходит к двенадцатому году.

Дядюшка, отец Алексей, был старше моего отца и поступил на место того самого деда, который с веревкою на шее помещика венчал. А был он человек, по тогдашнему времени, нового поповского закала, что называлось, «платоновского» — разумеется, не по Платону-философу, а по митрополиту Платону Левшину, которым тогда по семинариям восторгалось немало пылких и благородных юношей и пламенно старались ему подражать в высоте мысли, в стойкости нрава, в достоинстве поведения и в благородстве чувств, да наставшая вскоре затем филаретовщина всех их свела и скорчила.

Вот такой был и дядя, от которого произошел на свет мой двоюродный брат, знаменитейший и самый благонамереннейший из наших нынешних тайнобрачных венчальников.

Священствовать дядя о. Алексей начал незадолго перед Отечественною войною, а в ту пору в одно село его прихода от французов прибежало из Москвы некое семейство чиновничье. Люди были бедные, беспристальные и бескровные — муж да жена с одним грудным сынишкой. Помещик, сын того же самого насильника Катерининых времен, почему-то знавал немножко этих можайских сирот и теперь, в их тяжкой беде, принял, но не на радость, а на новое горе. У чиновника жена была раскрасавица-красавица, из московского купеческого рода. Помещик чиновнику место где-то по карантинам достал, а жену у себя во флигелях поместил, да и воспользовался ее одиночеством. Не знаю уже, сталось это волею, или неволею, или своею охотою, а говорили только, будто она сделалась его добычею, хотя при этом всегда мужа любила.

Долго ее грех, разумеется, не утаился, потому что у помещика прежде этого свой крепостной гарем был и отставные наложницы всё скоро разведали и заныли. Особенно одна, как сейчас помню, — старухою ее мне еще показывали, — она в такое пришла неистовство, что, вероятно из мести, стала выкликать об этом в церкви за обеднею. Как херувимскую песнь запоют на клиросе, она ладан почует, и сейчас с ног хлоп на пол врастяжку,

и пойдет причитать обличения. Всю эту публицистику она вела от лица помещенного будто в нее беса... «Сижу, — выкликает, — у Афимьи в утробе, под горячим сердцем, — тоской ее мучу ревнивою, а сам все вижу. Вижу, как Самоха с Давыда пример взял: Урию на войну услал, а к его Вирсаве со грехом ходит. Я-то все знаю и тем Химкино сердце сушу». Кричит, кричит этак, а потом взвоет: «Ах, куда деться, куда деваться». Жуткость даже этими криками на весь приход навела, тем более что за нею, по ее примеру, и другие закликали, все про ту же бедную барыньку, которая, может быть, и сама не рада была, что такого прелестника у подобных соперниц отбила.

Шла эта бесцензурная гласность до тех пор, пока узнал про нее «сам Самоха» и расправился с обличительницами по силе своей божественной власти, то есть одних отечески перепорол, а самую главную зачинщицу замуровал в какой-то чулан и держал там чуть не целых десять лет. А в это время, разумеется, невольный грех барыньки все продолжался, или по крайности так о нем все полагали.

Дядя же, отец Алексей, больше всех знал, потому что и чиновник, и жена его, да и «сам Самоха» у него исповедовались и, как люди верующие, сами ему все на духу сказывали. А чиновник-то даже и не на духу, а так прямо, по приязни, не раз ему свое горе открывал и искал у него духовного утешения. В селах ведь попам сердечное горе и до сих пор сказывают, особенно если попик не жаден да прост.

Дядя же был человек добрый и в свою меру благочестивый; его все любили. Он и чиновника этого в его огорчении добрым словом пользовал: когда, бывало, ему что-нибудь из Евстафия Плакиды приведет или из другой трогательной книжечки прочитает, а другой раз вечерком с ним домашних наливочек попьет или в мушку от скуки поиграет, и такими разнообразными приемами доброго участия очень успел его успокоить и примирить с его положением. Так жили они все лет пятнадцать и всякий день, как ныне в удивление пишут, «втроем по утрам чай пили». Муж считался управителем и помещался на особой половине, а помещик вблизи к его супруге; утром же опять к чаю трое садятся. Ревности муж по привычке

уже никакой не чувствовал, но только стал, горький, запивать жестоко запоем и тогда опять, взволновавшись, плакался. Однако и это горе минуло; но настало новое, еще худшее, да и поучительное, поучительное в том смысле, что может показать вам, как иногда священник-то бывает высок и совестлив, да к тому же и сведущ в делах, ускользающих от всякого контроля не только высшей духовной власти, но и самого закона, который вотще все предузреть тщится.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

У чиновницы с тех пор, как она стала по утрам втроем чай пить, народилось много детей, и в числе оных была одна дочка, красавица-раскрасавица, не хуже матери. Помещик, лихо его ешь, глядел, глядел на нее, выбирал, выбирал ей женихов, да вдруг, в один прекрасный день, *сам* вздумал на ней жениться. Законные все претексты были к тому, что их можно было обвенчать, а только дядя отец Алексей больше всех законоведов знал: он, как духовник, знал грехи родительские. Да-с; он знал, что́ тут незаконного: девочка приходилась дочь жениху,— и как дело дошло до отца Алексея, он и уперся.

— Нет, — говорит, — не только не могу вас венчать, но обличаю вас. Бога убойтесь, сами ведь во грехе каялись, и мать ее каялась: эта девица есть ваша дочь.

Помещик рассвирепел и покатил к архиерею, а архиерей о ту пору был Г⟨авр⟩иил. Умный был человек, но любил пожить, а жить было не на что, и потому он не всегда себе господином выходил: попросту — взятки любил. Тут архиерей видит, что дело кормное, и сейчас вытребовал к себе в О⟨рел⟩ дядю, отца Алексея, и спрашивает:

— Почему ты такого-то помещика на такой-то девице не венчаешь? Какие к тому препятствия?

А отец Алексей отвечает:

— Так и так, ваше преосвященство, вот что мне, как духовному отцу, известно, и вот мои причины и основания не венчать.

Архиерей задумался, покряхтел и говорит:

— Ишь ты, как ты очень много знаешь! — и отослал дядю домой, а однако и помещику, должно быть, разрешения не дал, потому что тот в соседней епархии венчался.

— Что же, — говорю, — ваш дядюшка действительно показал своего рода героизм.

— То-то героизм, зато оно ему худо и вышло. Героизма-то, повторяю, у нас не жалуют. Так это прочитать где-нибудь о герое, который действовал при царе Горохе или хоть и недавно, да только не на нашей земле, — это мы любим; а если у себя на дворе что-нибудь хоть маломальски с характером заведется, так и согнем его сами в три погибели. То было и с дядею: вместо того чтобы его взять да перевести на другое место от разлютовавшегося помещика, его взяли да нарочно там и оставили. И что он только, бедный, вытерпел в этом загоне: и архиерей-то его ненавидел, и консистория-то его гнала, и помещик-то его гнал, на двор его помещичий не пускали, собаками псари не раз травили и, наконец, до того довели, что он с ума сошел и, точно как та баба Химка, все, бывало, сидит, как подстреленный голубь, и стонет:

«Куда деться? Куда деваться?»

Ужасное это было зрелище. Помню его: бывало, дни и ночи все сидит в батрацкой избе на холодной печке и все одно жалобно стонет:

«Куда деться? Куда деваться?»

В одну сторону метнется, голосит: «Куда деться?», и сейчас в другую повернет: «Куда деваться?» Все, видите, мерещились по одну руку архиерей, по другую барин. Насилу господь его вспомнил: дочернину свадьбу за дьячка справляли после крещения, да за суетами про него позабыли — он и замерз в холодной избе на нетопленной печке. Утром после свадьбы пришли к нему, а он лежит мертвый, скорчившись, и ручку крестом сложил: верно, в последнюю минуту в себя пришел и богу помолился о себе и о своих мучителях. Вот вам и пример нравственного, как вы говорите, героизма и того, чем он для нас на Руси увенчивается. Жестко, сударь, жестко на Руси геройствовать...

Рассказчик вздохнул и добавил:

— Так вот, с детства-то видев это направление и эту практику, молодое-то поколение наше и росло до того возраста, до которого нынче выросло, и выработало себе то, что у нас всего необходимее, а именно не героизм, а практицизм.

— В каком же роде?

— Да в роде некоторого, так сказать, самоуправления, или, пожалуй, если хотите, самоуправства, но только это, во-первых, вызвано необходимостию, а во-вторых, и не совсем безосновательно и не совсем бесчинно. Даже к чести духовенства сказать, оно во многих случаях действовало весьма человеколюбиво, а главное, практику выработало, которая хорошо рекомендует духовных и дает полную возможность полагаться на их ум и нравственное чувство.

— Но вот этого-то, — говорю, — я и не понимаю: в чем эта практика и ручательство?

— А в том, что кого не следует венчать, так будьте уверены — у нас не перевенчают.

— Не ошибаетесь ли вы, батюшка?

— Нет-с, я не ошибаюсь.

— Воздержусь от противоречия вам, а только в обществе об этом думают иначе.

— «В обществе»! Нашли на кого ссылаться! Что оно знает и чего ни болтает, это так называемое наше общество!

— Ну как, — говорю, — так... о всем обществе...

— А то как еще говорить о людях, которые судят и рядят о том, о чем и понятия не имеют! Или доказательств еще требуете, так они у вас налицо. Разберите-ка, венчан или не венчан этот писатель Z., с которого наш разговор пошел, — вот и не разберете. Да они даже и сами не разберут, потому что в церковь не ходят, служения никогда не видят и не знают, что над ними делают: крестят их, венчают или хоронят. Ей, право, одичали хуже диких!

И мой собеседник весело рассмеялся.

— Но позвольте, — возразил я, слегка уязвленный его насмешкою, которая мне все-таки не открывала интересовавших меня практических приемов тайнобрачия. — Надеюсь, вы, однако, допустите, что если общество непра-

вильно судит о духовенстве, то, например, архиереи наши имеют же о вас настоящие понятия?

— Ну что же такое? к чему этот вопрос?

— Да так. Вы скажите: имеют они или не имеют?

— Может быть, некоторые и имеют.

— «Некоторые» только?

— Да, некоторые.

— Да и то «может быть». Но пусть так, пусть будет по-вашему, а вот я знаю один случай, где архиерей прямо сказал, что у него попы за деньги кого угодно «хоть на родной матери перевенчают».

— Хватил греха на душу его преосвященство: на матери венчать не станут. Да кому это и интересно на мамаше жениться... Нет, это уже очень по-монашески. А впрочем, еще нельзя ли знать, какой святитель изрек сии словеса?

Я назвал архиерея.

Собеседник мой еще веселее расхохотался.

— Что же, — любопытствую, — тут смешного?

— Да ишь кого вы цитуете? Этот господин что хотите брякнет... Ему бы, по-моему, «Весельчака» издавать. Мы ведь с ним вместе на школьной скамье сидели всегда, — шутник был. А впрочем, и то еще надо знать: о ком дело-то шло? Секрет это или не секрет: про чье это венчанье?

— Нет, — отвечаю, — теперь это уже не секрет, потому что тот, кого это касается, уже женился и опять овдовел.

И я назвал дядю Никса.

Но едва я произнес это имя, как мой собеседник в третий раз покатился со смеху.

— Право, — говорю, — не могу понять, почему все это вас так смешит.

— Да как же не смешить-с! Так вот это вы этакую-то младенческую свадьбу считаете отчаянною смелостию? Ну, поздравляю вас с знанием русской жизни. Вот оттого-то у вас, господа, по большей части и в романах-то в ваших отвлеченнее, чем в Аристофановой комедии, — все «на облаках» происходит.

— Романы, — говорю, — отодвиньте в сторону; нынче на них и спроса нет, а вы разубедите меня, что свадьба

с родною сестрою первой жены не есть свадьба незаконная и рискованная.

— Что она незаконная, против этого я спорить не стану, а рискованного в ней нимало нет, да и венчал ее основательный священник, которого я как сам себя знаю. Он никогда и ни за какие благополучия рискованного дела делать не станет.

— Но вам, я думаю, надо бы подробнее знать эту пару, о которой мы говорим.

— Нечего мне о ней узнавать, когда я о ней все существенное знаю.

— Когда же вы это узнавали?

— Тогда, когда того надобность требовала. Не хотите ли поэкзаменовать: я все отлично помню, со всеми, можно сказать, деталями. Тут еще было нагажено тем, что разные большие лица были впутаны. Не правда ли?

— Да.

— И к тому же они владыку просили?

— Да, да, да.

— Помню. Брат у невесты был длинный-предлинный офицер с ученым значком.

— Был.

— Имени не помню, а по батюшке, кажется, Данилыч.

— Вы отлично помните.

— Вот он и приходил. Чудесный парень, все рассказал, по-военному: благородно и откровенно, и о своих неудачах у владыки открыл.

— И это не испугало священника?

— Нимало. Штраф, разумеется, на них маленький накину́л в цене, чтобы старших не беспокоили, и все тут.

— Однако я помню, — говорю, — что этот Данилыч не сразу как-то сговорился со священником, а было два-три дня томительных.

— Неправда, всего на все один день только их просили подождать, и то это совсем не для притеснения, а уже это всегда так, нарочно, «заминка» делается.

— Для чего?

— Чтобы давальцев не отпугнуть, а в то же время справки навести.

— Какие же справки?

— Есть или нет у брачущихся недвижимое имущество или значительное наследство.

— Но зачем это священнику?

— А это в тайных браках есть самое нужнейшее. Родство или что другое, идущее только против церковных уставов, — это пустяки, а вот имущество, из-за чего все люди ссорятся, — тут надо строго.

— Будто это так важно?

— Это только и важно. Если есть родовое имение, которое могут наследовать родственники, или если дети могут быть претендентами на какое-либо родовое наследство, тогда, будьте уверены, никакой порядочный священник такого брака венчать не станет.

— А как можно это узнать?

— В тонкости узнают.

— И скоро?

— Да смотря по людям и по делу: иногда сразу же, а иногда подольше.

— С недельку или с месяц?

— О, что вы! Нет — сутки, много двое.

— Каким же образом можно собрать так скоро такие щекотливые справки, о которых люди могут всё утаить и налгать?

— Надо иметь способного справщика и содержать его, иногда даже и терпеть от него кое-что, как вот, например, некоему ближнему доводилось терпеть от этого молодца, который о дядюшке Никсе обыск делал.

— Что же, он плохой человек?

— Ужасный негодяй, но талантлив, шельма, к этим делам бесконечно. Он сюда нарочно из Киева вывезен. Там подобных артистов рассадник. Практика их вырабатывает над богомольцами. И этот все у деревянненькой церкви на Старом городе сидел для перехвата, чтобы богомольцев из Печерска на Подол не перепускать. Должность в том, что как увидит кучку «богомулов» — сейчас к себе подманит и уговорит, чтобы на Подол не ходили, а у них молились. Отличный практик. Ну вот, одному батюшке с разным наследством от брата пришлось и его сюда взять.

— Какой же у этого дельца церковный чин?

— Чин у него — церковный сторож, а ходит он за причетника.

— И по особым поручениям?

— Да, преимущественно-то по особым поручениям. По

получении заказа сделаешь маленькую заминку, а он тем временем все и обследует.

— Но каким образом?

— А уж это по его усмотрению.

— А он не врет?

— Нет, для чего же? Да он всегда ведь и весь процесс и источники укажет, так что можете обсудить основательность и достоверность и того, и другого, и третьего.

— Ну, так вот, позвольте же, — говорю, — вас разочаровать.

— Сделайте милость, если удастся.

— При венчании дяди Никса решительно ни от кого ни из их родных, ни из знакомых никто таких справок не забирал.

— Верно. Наш дока свое имя недаром носит: он не так глуп, чтобы с родными жениха стал разговаривать. Он понимает, что это дело сердечное, и действует тонко — собирает источники чистые и достоверные. Ему было сказано, что вот так-то и так-то — вот этакий крупный человек желает жениться на сестре своей покойной жены, я на день заминку сделаю, а ты поди и удостоверь дело как нужно. А он отвечает: «Это можно кратко доследить, потому что у них старший дворник, Терешка, мoї приятель». Если вы все ведаете, то вы должны знать: был у них дворник Терешка или нет?

— Знаю: действительно был дворник Терешка.

— Ну вот видите. Справщик взял на три бутылки пива, посидел с этим Терешкой в низке и вернулся, говорит: «Терешка сказал: можно венчать».

— Но вероятно же при этом и какие-нибудь подробности дознания были представлены?

— Как же, разумеется, были: подробности необходимы, потому что по ним видишь и судишь: верно ли и благонадежно ли все дело?

— Ну а в отношении дяди Никса, например, в чем же заключались эти подробности?

— Помнится, он рассказал так: пришел, говорит, к воротам, Терешку вызвал, пошли в низок, две пары пива выпили, а Терешка сказывает: «Ничего — дело плевое — венчать можно, господа согласные. Она, говорит, барыня к нему ласковая и теперь от любви тяжела сделалась, а все ейные братья и сестры очень желают, чтобы она

с ним подзаконилась. А насчет состояния не сумлевайтесь: имениев у них нет, и что им по зиме мороженых индюшек присылали, так это от знакомых из чужой деревни. Скажи батюшке, что советую, чтобы крутил с богом».

— И это все?

— А вам что же еще надо?

— И вот *это-то,* вот эту болтовню с дворником вы называете справкою или сведением!

— А как же это, по-вашему, надо назвать?

— Да так и назвать, пустяками, вздором. Да вы, извините меня, я думаю, что вы шутите.

— Нет, не шучу.

— Не могу верить!

— Почему же?

— Да потому, что вы не можете не знать, что на слова таких людей, как мужик дворник, твердо полагаться нельзя.

— Нет, я этого не знаю и совсем другое думаю.

— Что же вы думаете?

— Я думаю, какие вы все жалкие, поврежденные люди, и как вы безнадежно повреждены в самом своем корне: в вере в ум и в доблесть русского человека. Кто, какой злой дух или какой лихой опыт дал вам право так низко судить о нашем умном и добром народе? И сторож-то вас обманет, и дворник обманет, и, наконец, уже и я, поп, вас обманываю, — шучу, видите, а не правду вам сказываю...

Батюшка закачал укоризненно головою и добавил снисходительно:

— Ах вы, господа, господа теоретики. Постыдились бы вы этого своего неверия в русского человека да не давали бы другим повадки утверждать, что мы сами собою ничего путного учредить не можем. Тьфу! что за гадость, что за недоверие к русскому человеку, даже в том случае, если он дворник, которому сама полиция верит больше, чем любому ученому и литератору.

Сказав это, батюшка опять плюнул, и плюнул так решительно, как мог плевать только известный Костанжогло, и затем тихо проворчал:

— Недоверие, везде недоверие, на всякое время и на всяк час это проклятое недоверие. Оттого и заводятся всякие портные, что́ без узла шьют.

— То есть вот этого-то я и не понимаю: отчего же они заводятся?

— Да от боязни живых сношений с людьми и от возни с одною бумажною хитростию. И как все это сложно, и непрочно, и какою хитрою механикой пахнет — вообразить гадко. Я уверен, что если я вам сейчас это разъясню, то вы увидите, какие преимущества имеет простота везде, не исключая и тайнобрачия, где она должна быть хвалима перед всеми иными хитростями, в которые теперь жалостно уловляется немало людей, имущих только образ венчания, но силы оного лишенных.

Я весь обратился во внимание, к которому усиленно приглашаю теперь и моего читателя.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Самое трудное и, может быть, единственно опасное в брачных делах теперь оказывается имение и наследство, а самое досадительное для духовенства — это «возня с мелкотою», к которой рассказчик, очевидно, причислял и сшитого без узла брачною нитью литератора Z.

— О тайном венчании таких людей, — говорил он, — прежде и помина не было. Венчались тайно, бывало, помещики, или гусары, или вообще люди значительные, о которых всегда можно, что надо, разузнать в рассуждении родства и наследства; но потом, как все это с отъемом крестьян перепуталось, — тут разночинец стал входить в силу и тоже полез тайнобрачиться. Разумеется, всему этому женщины виною: сейчас, сороки этакие, из верхних слоев всякую моду перенимают. Иная прежде уже лет несколько в простоте с человеком без венца тихо обращалась, и нимало не смущалась, — а тут прослышала, что в больших кружках все венчаются, и сама стала приставать, чтобы и ей подзакониться. Ну, разумеется, чего баба захочет, того достигнет: человек терпит, терпит и, наконец, плюнет: «будь ты совсем неладна!» Пойдет и просит батюшку: «Так мол и так, — не могу бабу усмирить: повенчайте!» Духовенство по нынешнему времени начало и таковых венчать, и уже, разумеется, не по-старинному, за помещичью или гусарскую цену, а так,

«что положат». И за две десятных певали, и даже менее, и, разумеется, уже в рассуждении справок стали обращаться с небрежью, потому что и хлопотать-то было не за что, а к тому же и трудно. Русский мужик дворник — ужасный ведь аристократ в душе, особенно если брюхо себе наест: он таким мелким народом, как разночинцы, не любит заниматься. Вот о жильце, начиная с чина статского советника, он любопытствует, из каких дошел, и какого роду и состояния, и из чьего имения ему мороженых индюшек присылают, ну а мелкотою он интересоваться не любит. Это уже его натура такая, — даже полиция его к этому приучить не может. Пристав наш мне не раз жаловался — говорит: «Хоть не спрашивай их, дураков, про подозрительных людей, — заведет такую катавасию: «Мы, мол, ваше скобродие, понимаем, что как эти люди малозначительные, так ими не антересуемся, а вот генерал у нас живут — это точно, и с своей экономкой они обращаются, из немок, а у той брат есть, при чужом грапе секлетарем служит». И пойдет, говорит, дурак, вверх все в аристократию лезть». И это справедливо: с этой стороны они нам неудобны, и это-то собственно и есть для браков небольших людей большое препятствие. А между тем, как вам докладываю, и эти в последнее время, по бабьему настоянию, всё туда же лезли, чтобы секретно венчаться, да еще и задешево, потому что и платить-то как следует они не могут. Тогда этот самый отец «венчальный батюшка» и выдумал фортелѐ, и такое фортелѐ, что долго его никак нельзя было понять, в чем оно заключается. Слышим только между собою, что он венчает и направо и налево и уже никаких справок не собирает. Да-с, и задешево: все прификсы сбил, а крутит за предложенную цену. Понять невозможно было, в чью это голову он содит и за что рискует, как вдруг оказывается, что он, плутяга, ничем и не рискует. И выплыло это дело самым нежданным манером, к которому я как раз могу подвести дело вашего тайнобрачного знакомца.

В летнее время семья моя на даче была, а я наезжал сюда чередное служение отбывать. На всю неделю для обеден я «раннего батюшку» за себя нанимал, а в субботу сам приезжал: служил всенощное и в воскресенье —

позднюю. Только что выхожу я после всенощной, — пройтись по набережной хотел, — а ко мне подходит какой-то господин с дамочкой и объясняют, что они жених с невестою и хотят повенчаться. Я отвечаю: «доброе дело, доброе дело»; а сам на него смотрю инквизитерски, потому что он мне что-то фертоват показался.

— А документы, — говорю, — в порядке?

— Да, документы, — отвечают, — есть.

— Рассмотреть, — говорю, — надо. Благоволите оставить. Завтра ответ дам.

Он утром занес всю свою герольдию в одном пакетике. Поглядел я — все в порядке, а только легковесность какая-то: у него указишко об отставке и чинишко шаршавенький, — губернский секретарь, а она — вдова учителя. Кто их тут разберет, в какой они друг к другу позиции?

Я велел своему доке-сторожу адрес их заметить и справиться, — справка вышла пустая. Приходит мой вестовщик и говорит:

— Так и так, — говорит, — живут они вместе третий год на одной квартире, и девочка маленькая у них есть, а прислугу одну держат и в мелочной берут на книжку, а мясник не дает в долг. Впрочем, — говорит, — пить не пьют, но знакомцев окромя писателев никого из достойных лиц у них не бывает, и ничего про них знать нельзя. Мое, — говорит, — такое мнение, что не надо их венчать, — что-то опасно. Пусть к своему приходскому батюшке идут.

А я ему в тонких делах верил, да и мне самому показалось, что это опасно. У нас, знаете, уж свой нюх на это есть. Дела по делам будто ничего, а своим верхним чутьем поведешь — и другое слышишь. Так и тут: бумажонки тощие, и людцы маленькие, и что-то не порядком отдает, да опять, самое главное, и дворник не ручается.

Подумал я, подумал: есть что-то сомнительное, а они еще и заплатить-то как следует не могут, и отказал. Свернул бумажки в его же конверт, подлепил клейком и отдал сторожу.

— Как придет, — говорю, — этот господин, — скажи ему, что, мол, батюшка уехали, и бумаги отдай. А вперед, мол, просили не приходить.

Так и сделалось, тот его отправил и еще в полезном разговоре узнал, что и авантаж от него мы потеряли самый незначительный: тридцатью рублями всего хотел осчастливить. Я рукою на это махнул и позабыл. Но господин этот, жених, был мстив и, встретивши раз где-то моего сторожа, как бы в веселии объявляет: «Вот, твой батюшка не хотел меня перевенчать, а отец такой-то (называет венчального батюшку) нас, — говорит, — перевенчал». Тот мне это передает, и даже с неудовольствием, как будто я лишил его доли от тридцати сребреников, а через малое время говорит, что он и сам желает перейти к тому, венчальному батюшке на «соответственную должность».

— На какую это? — спрашиваю.

— В певцы.

— Да ты петь не умеешь.

— Что ж такое, — говорит, — и не умевши поют.

— Да у тебя и голоса нет.

— Божественное, — отвечает, — можно петь и без голоса.

— Нет, ты, — говорю, — откройся: чем мальчик Гришка мачехою недоволен?

— Да что, — говорит, — батюшка, откровенно сказать, вы еще по старине: всё справляетесь. Теперь это надо оставить. — Там смелее крутят, и через то служить авантажнее.

— Ну, смотри, мол, не попадись с большим авантажем-то.

— Нет, — отвечает, — там придумана механика умная.

Я и полюбопытствовал, что́ это за механика и как он про нее проведал.

— А я, — говорит, — от этого же барина все проведал.

— Да у тебя, мол, какие же с ним сношения?

— За советами он ко мне приходил.

— А ты что за юрист-консульт такой, что к тебе за советами ходят?

— Нет, — отвечает, — я хотя не консул, а когда человека хорошенько нажгут, так он ко всякому лезет.

— Да, мол, если глуп, так лезет.

— Однако, — отвечает, — и у вас, как в прошлом году зубы хорошенько разболелись, так и вы вот, хоть не

глупы, а тоже на Моховую к цирюльнику заговаривать пошли.

— Да, — говорю, — это правда, — ходил.

— А вот то-то, — говорит, — и есть. А ведь он, этот цирюльник, ничего не знает: что-то пошепчет да обрывок человеку, как теленку, нацепит и велит не скидывать. И вам небось то самое вешал.

— Вешал — только с молитвою.

— Ну да, и вы, пожалуй, так и служили в обрывке?

— Служил, — только ведь это с молитвою же.

— Ну так это и я бы вам мог нацепить с молитвою, да стыд только не позволял. А баринок этот ко мне первый раз с весельем заговорил, чтобы через меня вас подзадорить, а потом, вчера, — гляжу, нарочно идет, и лица на нем нет.

«Что, — говорю, — вам такое?»

«Ужасная, — говорит, — неприятность: мне надо еще раз перевенчаться».

Я гляжу на него и думаю: не помешался ли он?

«Да ведь вы же, — говорю, — сказывали мне, что вас обвенчали».

«Да, — отвечает, — обвенчать-то обвенчали, да очень легко сделали: надо еще раз где-нибудь обвенчаться основательнее».

«Что же это за дело такое? Вы, — говорю, — если хотите от меня помощи, так в подробности объясните, потому что без этого и лекарь не лечит».

Он и стал объяснять.

«Батюшка, — говорит, — нас обвенчал, велел поцеловаться и благословил, а потом я пошел за свидетельством, — дома его не застал. И еще через день пошел, и опять не застал, и опять через неделю пошел, и тоже не сподобился видеть. И так ходил, ходил, и счет ходинкам потерял, а тем временем жена родила и надо крестить; брачное свидетельство уже необходимо».

Тут этот супруг уже не с коротким полез звониться, и дозвонился хоть не до самого батюшки, так до его причетника, и сообщил ему свою нужду и неудовольствие. А причетник проговорил:

«Что, господин, напрасно ходите и себя и нас напрасно затрудняете: никакого вам свидетельства не будет».

Барин вскипятился: как не будет?

«Что, — грозит, — вы думаете — я церковных порядков, что ли, не знаю! Я юрист — у нас на лекциях всё это преподавали, я сейчас к благочинному, да в консисторию, или к самому владыке?»

А дьячок-то у них очень умный. — Все чернило и марки у него на руках.[1] Он этому барину и отвечает:

«Не пужайте, господин, что вы так страшно пужаете? Идите не только к владыке, а хоть к самому господу богу, так мы стоим во всех делах чисты, — и никого не боимся».

«Да ведь я же, — говорит, — венчался».

«Спору нет, что венчались, — отвечает дьячок, — мало ли кто венчался, но не всякий же берет свидетельство. Вот наши мужички православные и знать этих пустяков никогда не знают. А нам совсем неизвестно: кому нужно такое свидетельство, а кому оно не нужно. Если вы венчались для уважения таинства, то и будет с вас, и оставайтесь тем довольны».

Барин вскипел:

«Что вы, разбойники, что ли, — говорит, — на что мне таинство!»

А дьячок свой шаг спокойно держит.

«Нет, — говорит, — мы не разбойники, а вы, господин, про таинство потише, да не ругайтесь, а то я сейчас и дверь захлопну, чтобы таких слов не слыхать, за кои к ответу потянуть могут. А вы тогда оставайтесь на улице и идите, куда вам угодно жаловаться».

Тут баринок видит, что имеет дело с человеком крепким: перестал пылить и говорит:

---

[1] Содержать «чернило на руках» значит вести письменную часть, а марками называются жестянки, выдаваемые священниками исповедникам, с каковыми последние подходят к записчикам, вносящим имена в исповедные росписи. Марки эти, наподобие простонародных банных билетов, должны служить доказательствами, что исповедник действительно был у священника на духу и получил разрешение в своих согрешениях, а не записывается в книги без исповеди. Впрочем, эти марки или бляшки теперь уже почти повсеместно выводятся из употребления, как не достигающие цели. К упразднению марок, говорят, повела «подставка», то есть наемщество, к коему прибегали люди, не желающие исповедоваться, но обязанные к тому служебными или иными требованиями. *(Прим. автора.)*

«Да нет, вы, милый друг, сами посудите... я этого себе даже уяснить не могу: в каком же я теперь положении?» — да при этом рублевый билетик ему в руку и сунул.

Тогда, разумеется, и дьячок к нему переменился.

«Давно бы, — говорит, — господин, вы этак... честью всегда все скорее узнаете. Вы к батюшке на дом больше не докучайте, потому что они дома никаких объяснений по неприятным делам не дают, а пожалуйста завтра, в воскресенье, за литургию и по отслужении вы в алтарь взойдете, — там и объяснитесь».

Тот спрашивает: ловко ли это в алтаре объясняться?

«Да уж где же, — отвечает, — еще ловче? Они всегда, если что-нибудь касающее сумнительного, только в алтаре и объясняют, потому что там их царство. Они у престола, в своей должности, от всякой неприятности закрыты. Знаете, у нас за престол как строго!..»

Тот так и учинил: пошел к обедне с пылом в сердце; за обеднею постоял, немножко поуморился и отмяк, а дождавшись времени, входит в алтарь и говорит:

«Так и так, до вас, батюшка, дело имею».

«Какое?»

«Свидетельство мне позвольте».

«В каком смысле?»

«Что я вами обвенчан с моею женою».

«А как ваша фамилия?»

«Так-то».

«Не помню. А когда я вас венчал?»

«Да вот месяца два тому назад».

«Месяца два назад... не помню. Но что же вы так долго не брали свидетельство?»

«Я, — говорит, — несколько раз приходил, да все дома вас не мог застать».

«Ничего не слыхал, а дома меня, точно, трудно застать, — у меня много уроков, закон божий в двух училищах и в домах преподаю. Впрочем, я сейчас здесь справлюсь».

Оборачивается к дьячку и говорит:

«Покажи мне, как их обыск записан».

Тот посмотрел на них на обоих и из алтаря вышел.

Долго, долго он где-то с этою справкою возился и, наконец, идет с обыскною книгою в руках и кладет ее перед батюшкой.

«Что же? — спрашивает тот, — на которой странице?»

«Ни на которой нет», — отвечает дьячок.

«Как так нет?»

Дьячок молчит.

«Должно быть, если венчали?»

«Не знаю», — отвечает дьячок, а сам налево кругом за двери.

А батюшка вручает книгу супругу и говорит:

«Вот вам, милостивый государь, самому книги в руки, отыщите вашу запись, пока я кончу, — и с этими словами становится к жертвеннику».

Супруг ищет, ищет и, разумеется, ничего не находит.

«Нет, здесь, — говорит, — не записано».

«Вот тебе и раз», — отвечает батюшка и начал сам листки перекидывать.

«Что же это может значить?»

«Значит: нет».

«Но ведь, помилуйте, — говорит, — я сам расписывался в такой книге».

«Но где же эта ваша роспись?»

«Да нет ее здесь».

«А нет, так и суда нет».

Да с этим хлоп — книгу закрыл и в шкаф запер.

Супруг взвыл не своим голосом.

«Что же это такое? У вас, верно, другая похожая книга есть?»

А батюшка говорит:

«Тс, милостивый государь, потише. Здесь церковь, а не окружный суд, что вы кричите, да еще не забудьте, что вы в алтаре, где мирянину и не место находиться. Не угодно ли попросить вас о выходе, а то ведь вы помните, — здесь за всякое неуместное слово ответственность по закону усугубляется».

Господин и спекся — милосердия запросил.

«Батюшка, — говорит, — помилуйте, ведь это же не может быть; ведь вы же, конечно, помните, что я к вам приходил, и вы меня венчали, и я вам, что было условлено, вперед заплатил».

«Еще бы, — говорит, — это уже такое правило — вперед отдавать».

«Ну так что же,— говорит, — за что же вы меня так обижаете?»

«Чем-с?»

«Да как же, помилуйте, я ведь это все не для себя, а для жены да для детей только и делал, а теперь не могу даже разобрать: в каких мы все отношениях? Это хуже, чем было».

«Напрасно вы так говорите, — отвечает батюшка, — чем же *хуже?* Ничего вы хуже не наделали. Во всяком случае, если вы взяли благословение в церкви, это безвредно и для супруги вашей хорошо — женщина должна быть религиозна. А в рассуждении прислуги от этого в доме гораздо спокойнее — прислуги закон брачный уважают и венчанную барыню лучше слушают. Что же тут худо?»

«Но мне не это нужно... мне свидетельство нужно!»

«Свидетельство-о-о?»

«Да!»

«А я вам разве его обещал?»

«М... н... то есть... мы об этом не говорили».

«Надеюсь, что не говорили. Вы пришли ко мне и просили вас повенчать и представили документики какие-то ледащенькие, темные, и говорите, что других достать не можете, и к тому же вы человек небогатый и заплатить много не в состоянии. Так это или нет?»

«Так-с».

«Ну что же, разве я вас обидел или притеснил? Ничуть не бывало: я вам, напротив, во-первых, добрый совет дал, я вам сказал: если вы человек незначительный, так для чего вам обо всем этом хлопотать! Вы ни граф, ни князь, ни полковник, — и живите себе, как жили. Но вы на своем стояли, что вам это нужно, — что *она* «пристает», что «надо от этого отвязаться». Что же — я и тут вас не огорчил: вас никто бы не стал венчать, а я вас пожалел. Я знаю, что барыни охочи венчаться, и вам на ваше слово поверил и обвенчал вас для ее утешения, и всего тридцать рублей за это взял, ничего более с вас не вымогал. А если бы вы мне тогда сказали, что вам не только венчание, а и свидетельство нужно, так я бы

понял, что это уже не для женской потехи, а для чего-то иного-прочего, и за это бы с вас трехсот рублей не взял. Да-с, не взял бы, и не возьму, потому что у меня и своя жена и свои дети есть. Прощайте».

«Но... позвольте.... как же... где же я и жена, в какую книгу мы себя записали?»

«А это, я вам скажу, не ваше дело».

«Нет, это мое дело: верно, у вас другая книга есть».

«Да, для таких супругов, как вы, есть другая книга».

«Но это не может быть».

«Вот тебе раз, почему это не может?»

«Консистория не выдает двух книг».

«А вы посмотрели в ту книгу: откуда она была выдана!»

«М... н... нет».

«А то-то и есть, что нет. Плохо, видно, вас на ваших лекциях учили, если пишете, не взглянув, на чем пишете».

— Так ведь это все подлог, фальшь...

«Нимало не фальшь, а просто предварительная чернетка, которая по миновании надобности посекается и в огонь вметается».

«Так я же найду, кто были свидетели...»

«Поищите, так они вам и объявятся».

«Ага! так вот зачем вы и сказали, что вам не надо моих свидетелей, а какую-то свою сволочь поставили».

«Да уже, конечно, так; только все же моя сволочь лучше вашей: они хоть сволочь, да я-то их знаю, а вы бы мне таких своих энгелистов привели, что каждый вместо крестного имени чужою чертовой кличкой назовется, а потом ни знать, где его и искать — в каком болоте. Нет, государь мой, мы, в наше умное время, от вашего брата тоже учены».

«Тьфу!»

«Здесь не плюйте, а то подтереть заставлю».

«Но что же мне делать: вы меня сгубили, так дайте хоть мне совет».

«Совет извольте: достаньте себе с супругою хорошие документы и ступайте, ничего не говоря, к приходскому священнику, — он вас обвенчает и даст вам свидетельство. А со мною все ваши объяснения кончены».

«И ничего более?»

«Да, ни одного слова более».

Как мне рассказал все это мой сторож,— продолжал собеседник, — я и руки растопырил.

Вот это, думаю, артист, так артист. Что за работа, что за милая работа! И просто все, и верно, и безопасно, и даже по-своему *юридически честно:* за что взялся — то и сделал, а неуговорного с него и не спрашивай. За что человек не брался, за то и не отвечает.

— Чудесно, — говорю, — спасибо тебе, брат, безголосый певец, что ты мне, глупому человеку, такие умные дела открыл. Хотя я сам их делать и не стану, но все-таки просвещеннее буду. — И отпустил его от себя к тому батюшке с миром, даже с наградою, на тот конец, чтобы не забывал ко мне заходить порою просвещать мое робкое невежество тем, что они, совокупив свою опытность, делать будут.

— И что же, — спросил я, — он к вам заходил?

— И сейчас иногда заходит.

— И интересные дела сказывает?

— Ох, сказывает, разбойник, сказывает.

— Удивляюсь, как теперь это стало откровенно.

— Действительно, откровенно; да ведь что еще и сокровенничать-то, когда — как мои дети на фортепиано куплет поют:

Расплясалась вся Россия
В ахенбаховщине мерзкой,
Лишь один Иеремия
Нам остался, — князь Мещерский!

А главное, заметьте, любо-дорого то, что все это хорошо практикуется. Откровенно, а комар носу ни подо что не подточит.

— Батюшка! — говорю, — будьте благодетель, познакомьте меня с этим интересным человеком.

— С певцом-то с безголосым?

— Да.

— Извольте. Давайте вашу карточку.

Я подал, а батюшка начертал на ней рекомендацию и наименовал меня «действительным статским советником», что мне показалось неудобным.

— Извините, — говорю, — это не годится, — у меня такого чина нет.

— Ну вот важность! нынче никого меньше не называют, а к тому же он стал гонорист и если узнает, что вы писатель, а не генерал, так, пожалуй, знакомиться не захочет.

— Да, а я, — говорю, — все-таки стесняюсь...

— Есть чем стесняться? суньте два пальца вместо руки — вот и сановник. Неужели у вас на это образования недостанет?..

ГЛАВА ПЯТАЯ

Однако я не был у безголосого певца, потому что это представляло слишком большие трудности: выходило, что для собеседования с этим интересным лицом мне не только надлежало выдать себя за действительного статского советника и тыкать два пальца человеку, который подает мне целую руку, но надлежало еще изобразить собою пред певцом жениха или по крайней мере тайнобрачного переговорщика. Я опасался, что не выдержу этих замысловатых ролей перед таким проницательным человеком, а к тому же думалось мне, что сам отец протоиерей открыл мне довольно, чтобы не гнаться за бо́льшим. Кроме того, певец мог сообщить мне только факты, разнообразие которых зависит от случайностей, а их природа почти неисследима, между тем как настоящий мой собеседник мог ввести меня в самую философию вопроса, в самую суть нравственных побуждений, руководящих духовенством в делах тайнобрачия. Это мне казалось интереснее, потому что некоторое знание нравов нашего духовенства внушало мне твердую надежду, что и здесь, в этом путаном деле, должен дышать тот дух простоты и практического добротолюбия, который присущ русскому человеку на всех ступенях его развития и деятельности.

И я не ошибся. Роковые случаи, представляющиеся на практике при венчании пар, которые не могут быть повенчаны с разрешения начальства, почти все совершенно не возмутительны, а некоторые из них так трогательны, что надо иметь мертвое, «почившее на законе» сердце, чтобы не оценить благодати, движущей сердцами живыми, которые ласково усыпляют закон, вместо того чтобы самим азартно уснуть на нем.

Такой случай мой собеседник рассказал мне, даже не отделив от него немножечко и самого себя.

Я продолжаю и доканчиваю его беседу, а с нею и мои очерки.

— Ко всему нынешнему тайнобрачию, — изрек он, — как к каждому историческому явлению, надо относиться беззлобно и с рассмотрением. И когда так станете смотреть, то и увидите, что оно потребно и отвечает времени. А по сему времени даже и самые залихватские «венчальные батюшки» тоже в своем роде нужны и полезны. Право, полезны: в большом хозяйстве все пригождается. И хотя я их методы без узлов шить в принципе и не одобряю, но знаю, что и это иным впрок пошло.

Я было обнаружил попытку выразить некоторое сомнение, но батюшка, заметив это, придержал меня за руку и сказал:

— Не спешите поспешать. Я живой случай знаю, где если бы не эта благодать, так нельзя было бы оказать помощи очень жалким людям, которые однажды пришли ко мне с преудивительною историею.

Лет восемь назад ко мне в дом хаживала дочернина подруга. Славная девица Нюточка — всё они с моей дочерью в четыре руки играли. Но потом она вдруг как-то сникла. Перестала ходить, — я этого не заметил, а потом, когда дочь скоро замуж вышла, то я и совсем про эту чужую девочку позабыл. Проходит так год, два и три — и пять лет, но вдруг тоже вот так, в летнее время (у меня замечательно, что большая часть казусов со мною все летом случается, когда я в одиночестве дома бываю), приходит ко мне некая молодая особа женского пола, с виду мне незнакомая, собою, однако, довольно благоприличная, но смутная и чем-то как бы сильно подавленная. Я думал, что потеряла себя и, верно, хочет исповедоваться, но вышло другое. Называет себя по имени и говорит, что была она подругою моей дочери по гимназии, а потом пошла достигать высшего знания, но не сподобилась оного, потому что попала в некоторые «трудные комбинации». Словом сказать, дойдя, вместо научного совершенства, до нищеты и убожества, вспомнила о своей подруге, а о моей дочери, и пришла просить ее, не может ли она достать ей где-нибудь переводов.

Ужаснуло меня это младенчество просьбы и младенчество странного ее вида.

— Извините, — говорю, — дочери моей здесь нет: она уже давно замуж вышла и живет в другом городе, да и переводами не занимается, а наипаче занята домашним хозяйством и чадорождением. Поэтому если бы вы и писать ей захотели, то это будет для вас бесполезно. А вас я теперь действительно немножечко припоминаю: вас, — говорю, — кажется, звали Нюточкою?

— Да, — отвечает, — меня так прежде называли.

— Очень рад, — говорю, — вас видеть; но что же довело вас до таких комбинаций?

Она хлоп-хлоп глазенками, да и заплакала.

— У вас есть родные?

— Да, — говорит, — у меня есть брат, — и называет фамилию одного довольно известного адвоката.

— Вы, — говорю, — верно, у него живете?

— Нет, — отвечает.

— А почему же так?

— Он женат.

— Так что же такое, разве при жене для сестры и за ширмою места нет?

— Нет, мы с его женою не ладили, я одна с детьми живу.

— Так вы вдова?

— Нет, не вдова.

— Тогда где же ваш муж — верно, сослан?

— Нет, — говорит, — не сослан, а его нет со мною.

— Отчего?

— Он в очень затруднительном положении.

— В каком затруднительном положении, чтобы своих детей бросить?

— Его обманули, когда он женился.

Тут уже я глазами захлопал.

— Милая барынька, — говорю, — да вы что же это такое, шутите, что ли? Что вы мне рассказываете: как же он мог от живой жены во второй раз жениться? разве вы разведены?

— Нет, — отвечает, — мы жили в гражданском браке, а одна моя подруга хотела в акушерки, и ей понадобилось выйти в фиктивный брак; она меня попросила, чтобы я позволила...

— Ну-с?

— А она устроила комбинацию...

— Какую, милостивая государыня?

— Она вместо того все обратила всерьез и заставляет его, чтобы он ей деньги давал, и теперь он что получает — ей носит, а мне помогать не может.

— Что же, он и с нею не живет вместе?

— Нет, он с нею вместе не живет; она одного полицейского любит, а этого только заставляет, чтобы он часть жалованья ей приносил.

— И он носит?

— Да что же делать, а то она жаловаться пойдет.

— Да кто же он такой, ваш общий муж-то?

— Ветеринар.

«Гм! — думаю себе, — однако она, должно быть, очень ловкая, эта акушерка, если на самом ветеринаре ездит».

— Да, она, — говорит, — очень развита.

— Развита? А извините, —говорю, — за вопрос: он не дурачок, этот господин ветеринар?

— Нет, — отвечает, — как дурачок? он тоже очень развит.

— Как же, — говорю, — развит, а от акушерки отбиться не может?

— Да он отбился и живет у товарищей, а больше нельзя, потому что у нее по полиции все ей полезные связи.

— Ага, — говорю, — это действительно «комбинация». Ну а где же ваши детки?

— Недалеко, — говорит, — тут за вокзалом на третьей версте по железной дороге у сторожихи живут, — я их там оставила, а сама пришла переводов искать.

— Стало быть, вы теперь все врозь?

— Да.

— Ветеринар с товарищем, вы с своими котятками, а та с полицейскими?

— Да.

— А в городе-то, — говорю, — у вас есть приют?

— Нет, — отвечает, — нету, да это ничего не значит: теперь тепло — я ночь по бульвару прохожу.

— Как проходите?

И, не дождавшись, что она мне ответит, скорее взял ее обеими руками за голову, поцеловал в темя и говорю:

— Ничего я, бедное дитя, не понимаю, что вы мне такое рассказываете. Вы ко мне с своими «комбинациями» точно пришелица из другого света упали. Но я во всяком случае не ксендз, чтобы вас укорять, и не протестантский пастор, чтобы от ваших откровений прийти в ужас или в отчаяние, а как простой поп я только вас на бульвар ночевать не пущу. Вот у меня вся пустая квартира к вашим услугам, а на кухне есть баба-старуха смотрелка. Я ее сейчас к вам призову. Разуйте поскорее свои бедные ноженьки, напейтесь чаю да ложитесь на диван в гостиной спать. А впрочем, я старик, — со мною и с одним не опасно оставаться.

Она согласилась. И все это как-то тупо: и одно предполагает, и сейчас другое располагает, на все согласна — и все как не живая. Видно уже, что весь человек в ней домертва в порошок растолчен.

Ужасно мне ее стало жалко. В голову впало: как такой горемыке на свете жить? Свои дети у меня хорошо устроены, благодаря бога и добрым людям, потому что заботился о них, да к тому же они дети иерейские — в свете могли ход иметь, а эта тля беспомощная: кем она покрыта? Может быть, с детства на произвол пущена. А все же вон в ней еще что-то доброе ерошится: и за наукою она стремилась, и мужа своего гражданского отдала на подержание, а теперь как кошка мечется и своих котят по сторожкам носит... И все это во имя чего-то возвышенного. Право, точно пришлецы из другого мира, а между тем страдают как люди. Оставил я ее и пошел на вечер к коллеге, у которого самовластная жена — она зимою ему не позволяет в карты играть, так он летом, приезжая с дачи на служение, и собирает кружочек.

Застал там близких и искренних и «венчального батюшку». Провинтил в винт рублей за сорок и, по склонности человеческой, сваливаю всю вину этого проигрыша на кого-нибудь другого.

— Это, — говорю, — ребята, я так провинтился от расстройства: одна девчонка меня нынче очень размазала. — И рассказал им о своей гостье.

Все выслушали и особенного внимания не обратили, но мой венчальник, идучи вместе со мною домой, верно

нечто почувствовал, сдобрился и уронил мне «крылатое слово»:

— Еще так ли это, как она сказывала. Может быть, им еще можно пособить. Вы у них свидетельство спросите.

— Да как им пособить, если они обвенчаны? Ведь у них грошей на развод нет.

— Да я, — отвечает, — о разводе и не думаю, а может быть это дело совсем не порчено — и развода никакого не надо.

— Все равно, если и свидетельства нет, а венчаны, так уже пропадай они совсем — второй раз перевенчивать зазорно.

— Я, — говорит, — думаю, что их не венчали. Небось пропели что-нибудь, да и конец.

— Ну может ли это быть?

— А отчего нет? Они ведь энгелисты — в церковь не ходят, службы не знают, не все ли им равно, что им споют: молебен или венчанье. Нет, вы спросите-ка свидетельство.

Думаю: и вправду, дай-ка спрошу! Он это даром на ветер не бросил.

Отслужил наутро обедню, напился с своей гостьей чаю и говорю:

— Я вам переводишко устроил, и вот вам пока из редакции три рубля вперед, а перед вечером пожалуйте — тогда и перевод получите. Да не можете ли пригласить ко мне вашего ветеринара, — я и ему кое-что хочу предоставить.

Так, разумеется, вздор врал, но в случае, если бы она стала расспрашивать, сказал бы, что хочу его отрекомендовать в Москву бесного слона лечить. Но только она не спросила, а прямо его обещала привести.

А я тем временем спосылал за безголосым певцом и спрашиваю:

— Есть ли у них *для себя* какие-нибудь памятки, кто у них легко венчан?

Отвечает:

— Есть.

— Нельзя ли, — говорю, — мне справиться про такого-то студента?

Он это минутою сдействовал и воротился — говорит:

— Очень легко сделано.

— Так что можно ему еще раз жениться?

— Сколько угодно. Им просто молебен спет.

— Ишь, — говорю, — что вы, разбойники, строите.

— А что же, — отвечает, — да они, безбожники, больше и не сто́ят. До каких лет доживут, в церковь гроша не подадут, и не слышали о том, какая служба есть. Им и молебна-то жаль — не токма что Исаию для них беспокоить.

— Так, значит, они с акушеркой не венчаны?

— Не венчаны.

Я это принял к сведению, пообедал и только маленько соснул, как смотрелка меня будит.

— Утрешняя мадамка, — говорит, — вдвоем пришла.

— С кем?

— Жених, — говорит, — ейный, что ли, не знаю.

Я велел подождать, обтерся со сна полотенцем и выхожу.

Они кланяются.

Не знаю, что́ она в нем и полюбила, — смотреть совсем не на что.

Я его туда-сюда повернул и в первых же расспросах вижу, что детина самая банальная: откровенно глуп и откровенно хитер. Так сказать — фрукт нашего урожайного года.

— Я, — говорит, — обманут низостью, какой не ожидал. Жена моя, — говорит, — казалась развитою женщиною — уверяла, будто ей нужно выйти замуж только для того, чтобы от родительской власти освободиться, а потом стала требовать, чтобы я Анюту бросил, а с нею на одной квартире жил или чтобы я ей на содержание давал. А после к ней полицейские стали ходить, и она меня начала пугать.

— Чем?

Молчит.

— Донос какой-нибудь хотела сделать?

Пожимает плечами и отвечает:

— Вероятно.

— Да вы разве в чем-нибудь замешаны?

— Нет, — отвечает, — я не замешан, но мы еще со студенческого времени все без замешательства, так просто боимся, а она теперь и сама в полицию акушеркой поступила.

«Ах ты, — думаю, — дурачок горький». И спрашиваю:

— Она в полиции, а вы-то где служите и под чьим начальством?

Называет место и начальника — лицо мне, по старым памятям, весьма знакомое: еще с табелькой с ним игрывали.

— Да у тебя, голубчик, в формуляре-то записано ли, что ты женат?

— Нет, — отвечает, — не записано.

— А венчальное свидетельство есть?

— Тоже нет.

— Почему?

— Не дали.

— Хорошо, что не дали. А теперь отвечай мне: рад бы ты иметь женою, вместо твоей акушерки, Нюточку?

Молчит.

— Что же ты молчишь?

— Я, — говорит, — в убеждениях совсем против брака.

— Ага, мол: ишь ты какой: норовишь лизнуть да и сплюнуть. А по доброму порядку, — говорю, — когда человек с женщиною детей прижил, так ему уж эти рацеи надо в сторону. Женись-ка, брат, на ней, да и баста.

— Да ведь это невозможно.

— А если бы возможно было?

Опять молчит.

— Ну, стало быть, — говорю, — ты, брат, лукавишь; отвечайте-ка вы, Нюточка: вы желали бы быть его женою?

Та, молодцом, сразу прямо ответила, что желала бы. Видно, уже игра-то сия ей принадокучила. — Но он молчит.

— Что же ты, — говорю, — пнем стал? Поверни тебя, батюшка Спиридон-поворот.

— Я, — говорит, — больше уже не попадусь.

— Кому это? — женщине, которая ваших детей таскает и вас любит?

— Все равно, — говорит, — я могу жить граждански.

«Нет, — думаю, — если ты по-граждански, так я же с тобой, с разбойником, сделаюсь по-военному».

Язычок-то себе прикусил и о роде его венчания с акушеркой ничего ему не сказал, чтобы он не считал себя свободным, а озаботился им иначе.

Как он ушел, я положил перед его супругой лист бумаги и говорю:

— Пишите-ка, какой я вам перевод продиктую.

И задиктовал, указывая, где что ставить: «Его превосходительству, господину такому-то, от такой-то докладная записка». А затем продолжение в таком смысле, что «я, просительница, прижив внебрачно с таким-то, служащим под ведением вашего превосходительства, двух детей, в чем он чистосердечно признался при священнике таком-то, и не получая от него ничего на содержание сих невинных малюток, коим сама не в состоянии снискать пропитания, а потому всепочтительнейше прошу побудить его на мне жениться или по крайности оных моих малюток обеспечить должным, по средствам его, содержанием, вычетом части из его жалованья».

Она это все написала, а потом спрашивает:

— К чему это писано?

— А к сему,— говорю, — подпишись.

— Но ведь это донос.

— Нет: это докладная записка.

— В таком случае, — отвечает, — я подпишу. — И подписала.

Я взял этот манускрипт в карман, надел новую ряску и пошел к генералу, которого, как вам говорю, еще в малых чинах коротко по картам знал. Отлично, шельмец, с табелькой играл и вообще был чудесный парень — любил выпить и закусить, и отношения наши, по-полковому, были на «ты».

Конечно, honores mutant mores,[1] — может быть, он и переменился, но я как-то этого не надеялся и решил держаться с ним на прежней ноге.

Велел о себе доложить, а сам стал перед зеркалом, чтобы орденки поправить. Но в это же зеркало и вижу: он в ту же минуту выходит, прямо ко мне, крадется и — цап сзади ладошами глаза мне и закрыл.

— Жоздра! — говорю, — радость моя, — это ты.

— А ты, — восклицает, — почему узнал?

— Мудрено ли узнать: кто, кроме тебя, может мою священную особу за лицо брать, а к тому же я и в зер-

---

[1] Почести изменяют нравы *(лат.)*.

кало тебя видел. Давай поцелуемся. Я, — говорю, — к тебе по делу, Жоздра.

Его Егором величали, но мы его Жоздрою звали, потому что так ему одна некогда влюбленная в него простонародная девица белошвейка писала.

— Есть у тебя такой-то подчиненник?

— Есть.

— Повели ему, мой ангел, на одной мамзельке жениться.

Он расхохотался.

— Что ты это, поп-чудила, — говорит, — выдумал. В моей власти конские свадьбы, но человеческие браки не по моему ведомству.

— Нет, — говорю, — Жоздра, жизненок мой, маточка, — не говори глупостей: у русского генерала все во власти! Я иначе не верую. Не огорчай меня, не отказывайся от христианского дела, повели дураку жениться на дуре, чтобы вышла целая фигура, а то мне их и ребят очень жалко.

Он было опять смеяться, но я говорю:

— Нет, ты, ангел мой, не смейся, — это дело серьезное. — И рассказал ему все дело.

— Понимаешь ли, — говорю, — что этого ни в какой конклав нельзя пустить, чтобы кто-нибудь не пострадал, а зачем страдать, когда ты по-генеральски — один все дело поправить можешь.

— Каким манером?

— Просто — повели, да и баста, на то ты начальник.

— Я выгнать его, — говорит, — могу, но принудить его жениться не имею права.

— Тпру, тпру, тпру, — отвечаю, — остепенись. Что ты это такое выдумал? Как можно человека выгнать, да еще особенно этакого глупого. Куда он, дурак, без казенной службы годится? Нет, ты не ожесточай несчастного сердца, а просто потребуй его перед себя и накричи.

— Что же я буду кричать?

— Да что хочешь, то и кричи — только посердитее. Но если заметишь, что он отвечать хочет, вот этого не допускай, — топни и скажи: «молчать».

— И с тебя этого будет довольно?

— Совершенно, мамочка, довольно. Только, пожалуйста, посердитее, и чтобы не смел отвечать.

— Изволь, — говорит, — уважу, — и с этим позвонил, а мне добавляет: — Пойди там, за ширмой, посиди, покури, послушай, что выйдет. Я ни за что не ручаюсь.

— Да тебя, — говорю, — никто и не просит ручаться, только сделай свое начальническое дело добросовестно, — накричи.

Ну, он и действительно сделал все это очень хорошо: как тот вошел, он сразу его афрапировал. Все жестокие хитрости сентиментального обхождения откинув, прямо ему сочиненною мною докладною запискою мимо носа на землю швырнул.

— Знаете ли вы, — спрашивает, — какая женщина это пишет?

И чуть тот было только рот разинул, чтоб сказать: «знаю», — он как крикнет:

— Молчать! Почему вы на ней не женитесь?

Но прежде чем тот ответил, я ему через ширму пальцами махнул, он — опять крикнул:

— Молчать! Я знать ничего не хочу! Слышите?

— Слу-слу-слу-ш-ш-шаю.

— Завтра мне чтобы брачное свидетельство было. Слышите?

— Слу-слу-слу-ш-ш-шаю.

— Вон! и до тех пор на глаза мне не сметь показываться. Слышите?

— Слу-слу-слу-шаю.

— Деньги на свадьбу есть?

— Нет.

— Вспомоществование дам, а пока... Батюшка! — зовет меня, — пожалуйте сюда.

Я вышел.

— Извольте взять, — говорит, — этого соблазнителя: он девицу соблазнил и должен немедленно быть с нею обвенчан. Прошу вас исполнить это и завтра же прислать мне его брачное свидетельство.

— Слушаю-с, — отвечаю. — Извольте, молодой человек, идти и приготовьте разрешение начальства. Я за ним зайду.

Тот вышел, а генерал спрашивает меня:

— А что, каково я кричу?

Я его в обе щеки чмокнул и говорю:

— Умник! умник! но теперь доверши свою работу: сплавь их отсюда.

— Куда?

— Назначь его куда-нибудь в провинцию отдельную должность занимать.

— Это для чего?

— Да он там успокоится и с простыми людьми в разум придет.

И в этом успел. Так я их в один день развел, а на другой день обвенчал, с малым упущением по числу оглашений, и свидетельство выдал, а через неделю и на службу их выпроводил. Он с большим развитием ничего и понять не мог. Однако пробовал меня пугать.

— Вы отвечать, — говорит, — будете.

— Ну, это, мол, не твое дело: мне начальство приказало венчать, а я власти покорен.

Так он и сейчас настоящим образом всего не понимает, а живут, судьбою довольны и назад не просятся, — думают небось, что они в самом деле законопреступно обвенчаны, да, чай, и акушерки боятся.

— А что же, акушерка не приходила?

— К кому?

— К вам.

— Как же, приходила. Я ее к певцу отправил.

— И после не видали?

— Нет, видел один раз у пристава на крестинах.

— Что же она: сердилась?

— Н-н-нет. Поискала вчерашнего дня и увидала, что она дура.

«Отличную, — говорит, — батюшка, ваши духовные со мною штуку сыграли».

«А что такое?»

«Да то, что я по их милости все равно как будто вместо кадрили вальс протанцевала».

«Ну, что делать, когда-нибудь утешитесь, вместо вальса кадриль протанцуете». На кого же ей сердиться?

— Просто невероятное!

— Вот то-то и есть. А поведите-ка все это через настоящие власти — какая бы кутерьма поднялась, а путного ничего бы не вышло: потому что закон и высокое начальство, стоя превыше людских слабостей, к глупости

человеческой снисхождения не могут оказывать, а мы, малые люди, можем, да и должны. Дурачки, да наши.

Что ж их хитрецам в обиду давать? Надо их пожалеть. Поживут с наше — и они обумнеют, — тоже людей жалеть будут. Но довольно мне вам эти сказки сказывать. Я уж очень разболтался, пойду — посмотрю, что мне в мотье написали.

— Да, — говорю, — это и впрямь все отдает сказками.

— Сказки, сударь, и есть, сказки. Живи да посвистывай... «Патока с инбирем, ничего не разберем, а ты, дядя Еремей, как горазд, так разумей».

Собеседник мой подал мне руку, которую я придержал и спросил:

— Но неужто же у нас никто не может помочь вместо всей этой городьбы прямую улицу сделать?

— А об этом нам еще ничего не известно. Впрочем, никогда ни в чем не должно отчаиваться: одна набожная старушка в детстве меня так утешала: все, говорила, может поправиться, ибо «рече господь: аще могу — помогу». Где она это вычитала, — я тоже не знаю, но только она до ста лет благополучно дожила с этим упованием, чего я и вам от души желаю.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ

Печатается по тексту журнала «Кругозор», 1876 (18 сентября, № 38, 25 сентября, № 39, 2 октября, № 40, 9 октября, № 41, 16 октября, № 42, 23 октября, № 43, 30 октября, № 44), где было опубликовано впервые. При жизни Лескова рассказ не перепечатывался. В 1942 году воспроизведен в журнале «Звезда», № 3-4, стр. 112—152, с предисловием А. Н. Лескова, и затем неоднократно (не менее десяти раз) переиздавался отдельными изданиями и в составе сборников рассказов Лескова. Все эти публикации неисправны и изобилуют многочисленными искажениями.

Под именем Гуго Карловича Пекторалиса в рассказе в карикатурном виде выведен мекленбургский инженер Крюгер (в России — Василий Иванович). Англичанин, о котором идет речь, — родственник Лескова А. Я. Шкотт (компаньон фирмы «Скотт и Вилькенс»), у которого Лесков служил в 1857—1860 годах. Рассказчик Федор Афанасьевич Вочнев — сам Лесков. Р. — село Райское Городищенского уезда Пензенской губернии. П. — Пенза. Горчичный или Сарептский дом — банкирская контора Асмуса Симонсона в Петербурге. Машиностроительный завод — в Доберане, на озере Плау в Мекленбург-Шверине (см. указания А. Н. Лескова в назв. выше номере «Звезды», стр. 112). Машинный фабрикант родом из Сарепты, имеющий в местечке Плау фабрику, — гернгутер Бер, выведен Лесковым и в «Островитянах»; см. наст. издание, т. 3. «Железная воля» было нечто вроде идиомы, характеризовавшей, не без доли иронии, волевые качества немецкого народа, и широко распространенной в эти годы. См., например, в «Искре» в «Заметках со всех концов света» фразу о «железной воле прусского канцлера» (1871, № 7 от 14 февраля, стлб. 213).

Стр. 6. *...железный-то у них граф...* — германский канцлер граф Отто Бисмарк (1815—1898).

Стр. 9. *Гайден* — немецкий композитор Иосиф Гайдн (1732—1809).

Стр. 12. *Кóлоть* — холодная, с небольшими морозами погода.

Стр. 14. *Подрожно* — то есть подорожная.

Стр. 20. *...миллиард в тумане* — заглавие нашумевшей в свое время статьи миллионера-откупщика и либерального публициста В. А. Кокорева (1817—1889) в №№ 5 и 6 «С.-Петербургских ведомостей» за 1859 год, содержавшей проект освобождения крестьян. Стоимость всей выкупаемой земли была Кокоревым определена в миллиард рублей. Половина этой суммы — долг помещиков банку за заложенные земли, половина обеспечивается особыми государственными актами, а проценты оплачиваются самими помещичьими крестьянами за счет повышения налогов с 2 до 7 рублей. Крестьяне (которым нужна земля) и помещики (которым нужны деньги) «полюбовно» договариваются о цене за землю. Статья вызвала целый ряд откликов, в которых было полемически использовано заглавие проекта Кокорева: «Откуда взять миллиард» («Московские ведомости», 1859, № 89); «Миллиард не в тумане» («Журнал землевладельцев», 1859, № 19); «Туман и миллиард» («Указатель политико-экономический», 1859, вып. 4, № 108). Цензору, пропустившему статью, было сделано замечание (ЦГИАЛ, ф. 772, дело № 4693 — 152086).

Стр. 25. *Апогей* — высшая точка; *перигей* — низшая точка.

Стр. 32. *Термин* — здесь в значении: срок.

Стр. 34. *Чего тебя черти носили...* — цитата из распространенной народной песни: «Как задумал Михенч жениться...»

Стр. 35. *Ногавки* — носки.

«Мельничиха в Марли» — французский водевиль, шедший на русской сцене в 1840-х годах. Полное заглавие — «Мельничиха из Марли, или Племянник и тетушка».

Rue de Sèvres — улица в Париже, где помещалась конгрегация (духовное братство) иезуитов.

Сарептские гернгутеры — религиозная община в Богемии (Чехии), основанная в XVIII веке и требовавшая от своих членов апостольской жизни, рекомендовавшая безбрачие, чистоту в отношениях между полами и проч. В России секта обосновалась в г. Сарепте Саратовской губернии.

Стр. 39. *...Гейне все мерещился во сне подбирающий под себя Германию черный прусский орел...* — Лесков имеет в виду конец главы XVIII поэмы «Германия».

Стр. 42. ...*кур не строили...* — не ухаживали (от франц. faire la cour).

...*сей Иосиф...* — По библейскому преданию, Иосиф — любимый сын Иакова и Рахили, проданный братьями из зависти в Египет, попал к царедворцу фараона Пентефрию (Потифару) и отверг настойчивые любовные предложения его жены.

Стр. 49. *«Ископа ров себе и упадет»* — цитата из Псалтыря, VII, 16.

...*«сильный силою-то своею не хвались...»* — цитата из Книги пророка Иеремии, гл. IX, 23.

Стр. 53. ...*в книгах от царя Алексея Михайловича писано...* — Лесков цитирует опубликованный в «Русской старине» (1871, № 3, стр. 393) и перепечатанный в «Искре» (1871, 25 апреля, № 17, стлб. 537—538) недостоверный указ якобы царя Алексея Михайловича от 18 мая 1661 года о немцах. Тот же указ Лесков использовал в повести «Смех и горе» (наст. изд., т. 3, стр. 539).

Стр. 54. *Сризиковал* — рискнул.

Стр. 59. ...*ибо, как говорил Гете, «потерять дух — все потерять»* — цитата из «Zahme Xenien».

Стр. 65 ...*«что доблестнее для души»* — цитата из монолога Гамлета «Быть или не быть» в переводе Н. А. Полевого (д. 3, сц. 1).

Стр. 67. *«Что есть человек...»* и т. д. — цитата из Послания к евреям апостола Павла, гл. 2, ст. 6.

Стр. 73. *Шушун* — женская теплая кофта.

Клямка — запор, щеколда.

Стр. 75. *Ёмки* — ухват, рогач, угольные щипцы.

Стр. 78. *Подчегаристый* — худощавый.

Стр. 79. ...*раннюю кончит...* — то есть окончит раннюю обедню.

Стр. 82. ...*шáбольно предлагаемые ему вопросы* — вздорные, шальные вопросы.

Стр. 86. ...*схватить в охапку кушак да шапку...* — цитата из басни Крылова — «Демьянова уха». (У Крылова «схватив».)

«Бежкá не хвалят, а с ним хорошо». — В «Толковом словаре» Даля (т. I, стр. 151) приведен вариант этой поговорки («Бежка не хвалят, а бежок хорош») и разъяснено, что так называется вид бега лошади.

ВЛАДЫЧНЫЙ СУД

Печатается по тексту: Н. С. Лесков, Очерки и рассказы, СПб., 1892, стр. 85—132, с поправками по изданию: Н. С. Лесков, Владычный суд, СПб., 1878. Впервые — «Странник», 1877, т. I, № 1 и № 2. Дважды перепечатывалось при жизни Лескова отдельными

изданиями (СПб., 1877, 84 стр., и изд. 2-е, СПб., 1878, 145 стр.) и вошло в сборник рассказов Лескова «Русские богоносцы», СПб., 1880, стр. 125—231. На титульном листе этой книги — пометка о том, что текст рассказа вновь пересмотрен и исправлен автором. В этом издании «Владычный суд» следует непосредственно за рассказом «На краю света», с которым он тесно связан (подзаголовок: «Pendant к рассказу на «Краю света»; см. наст. изд., т. 5, стр. 451—573). Весь сборник составлен только из этих двух рассказов. Поэтому Лесков снял в этом издании всю первую главу и соответственно изменил нумерацию остальных. В издании 1892 года Лесков снова возвратился к первоначальному тексту. Правка, произведенная для сборника 1880 года, в большей своей части тоже отменена; в основу взято издание «Странника» и 1877 года.

Рассказ написан в 1876 году, вслед за рассказом «На краю света».

Из отзывов современной Лескову критики должен быть отмечен анонимный враждебный отзыв «Отечественных записок». Рецензент считает, что материал повести мог бы послужить предметом публикации в журнале типа «Русская старина», — на беллетристическое оформление сюжета «слишком много потрачено таланта, слишком много». Особенную иронию рецензента вызывает позиция Лескова, который, как видно из рассказа, ничего не сделал для спасения сына несчастного еврея. Гораздо бо́льшую помощь оказал случайно встретившийся чиновник Друкарт. По мнению рецензента, литературная сторона повести — «какая-то невообразимая пошлость чиновничьего балагурства с примесью дьячковской начитанности» (1877, № 8, стр. 270—271). Резко отрицателен и анонимный отзыв газеты «Наш век». Рецензент иронически интерпретирует Лескова как духовного писателя и признает интересным только описание сцен рекрутского набора и типов чиновников. «Самый язык его стал тягуч и многоплоден посылками, отступлениями. Периоды длинные. Точь-в-точь проповедь». Рецензент считает, что лучше все же писать такие рассказы, чем обличать нигилистов и указывать «подлежащим местам и лицам на вред известных идей и на способы скорейшего их искоренения» (1877, 20 марта, № 20, стр. 2). В умеренно-реакционной газете «Русский мир», наоборот, был помещен весьма сочувственный отзыв о повести. «Содержание рассказа, — читаем в этой рецензии, — как видит читатель, весьма несложно, но он переполнен подробными, интересными описаниями, относящимися и даже, можно сказать, мало относящимися к рассказу. Весь рассказ на-

писан со свойственной автору живостью и читается весьма легко» (1877, 21 марта, № 79, стр. 2, подп. И. Не—въ). «Церковно-общественный вестник» (1877, 18 мая, № 54, стр. 3, без подписи) и «Православный собеседник» (1877, № 4, стр. 496—498, без подписи) ограничились кратким пересказом и сосредоточили свое внимание на специальных церковных вопросах.

Стр. 88. *Литературные органы, удостоившие ее ⟨повесть «На краю света»⟩ внимания...* — Перечень шести современных Лескову рецензий см. в изд.: С. А. Венгеров, Источники словаря русских писателей, т. 4, Пг., 1917, стр. 44—45.

То же самое высказано мне и многими редстокистами. — О Редстоке и редстокистах см. примечание к рассказу «Шерамур» на стр. 648 наст. тома.

Стр. 89. *Блаженный Августин* (354—439) — один из виднейших христианских богословов.

...достойному лицу В. А. К—ву. — Имя В. А. Кокорева раскрыто в книге А. Лескова «Жизнь Николая Лескова», М., Гослитиздат, 1954, стр. 306. Там же, стр. 303—305, — об отношениях Лескова с этим лицом.

А. К. Ключарев (1797—1867) — умер в Киеве в чине тайного советника.

Стр. 90. *Брики* — бричка, дрожки.

«...плач в Раме»: Рахиль громко рыдала о детях своих... — Плач Рахили о своих детях в Раме (город в Палестине) описан в библии, в Книге пророка Иеремии, XXXI, 15.

Стр. 91. *...супруга тогдашнего юго-западного генерал-губернатора, княгиня Екатерина Алексеевна Васильчикова (рожденная кн. Щербатова)* (1818—1869). — Ее муж — И. И. Васильчиков (1805—1862) был киевским генерал-губернатором в 1853—1862 годах.

Кагал — до 1867 года — группа еврейских старшин, решавшая всевозможные мирские вопросы; Лесков употребляет в переносном значении — шумная, крикливая толпа.

Стр. 92. *Брафман, Я. Л.* (ок. 1825—1879) — еврей, принявший православие, видный деятель антисемитского движения 1860—1870-х годов, сотрудник различных юдофобских изданий.

Егова — одно из древнееврейских имен бога.

«Привычка — чудовище» — цитата из «Гамлета» Шекспира (д. 3, сц. 4).

Филарет Амфитеатров (1779—1857) — митрополит киевский в 1837—1857 годах.

Стр. 94. *...глядела Бедность в каждую прореху, И из очей глядела бедность* — цитата из поэмы Гейне «Атта Тролль». В современном переводе В. Левика (см. Генрих Гейне, Собр. соч., т. 2, Гослитиздат, 1957, стр. 206) это место звучит так:

Нищета гнездилась в дырах,
Нищета из глаз глядела.

Стр. 95. *...«духом возмутился, — зачем читать учился»...* — неполная цитата из «Автоэпиграммы» В. В. Капниста (1756—1823).

Стр. 98. *Аттенция* (от франц. attention) — внимание, уважение.

...декорированные «беспорочными пряжками» и станиславами. — С 1827 года чиновники царской службы за двадцать пять, тридцать, сорок и за каждые следующие десять лет «беспорочной» службы получали особый знак отличия — в просторечии «пряжку». Ордена св. Станислава II и III степени — низшие — давались за выслугу лет.

Стр. 99. *Праця* (укр.) — труд, работа.

Парх — буквально: шелудивый; употреблялось в качестве бранной клички евреев в царской России.

Стр. 100. *Тримать* (укр.) — держать.

Лайдак (укр. и польск.) — лодырь, плут.

Мишигенер (евр.) — сумасшедший, вздорный.

Иордан, Ф. И. (1800—1883) — знаменитый русский гравер.

Стр. 102. *Бибула* (укр.) — оберточная бумага.

Стр. 104. *Кравец* (укр.) — портной.

Ворт, Чарльз Фредерик (1825—1895) — знаменитый портной, основатель фирмы.

Стр. 105. *Стодол* — постоялый двор.

Мишурис (евр.) — прислужник.

Хабар (тюркско-татарск.) — взятка, чаевые, барыш.

Стр. 106. *...автор «Опыта исследования о доходах и имуществах наших монастырей...»* — Эта книга публициста Д. И. Ростиславова (1809—1877), вышедшая в 1876 году, вызвала большой шум и недовольство в кругах духовенства.

Анна Алексеевна Орлова (1785—1848) — дочь А. Г. Орлова-Чесменского, известная своей религиозно-филантропической деятельностью.

...монастырю «старца Ионы». — Речь идет о небольшом Троицком монастыре, основанном о. Ионой в Киеве в 1864 году рядом с Выдубецким. В статье «О сводных браках и других немощах» («Гражданин», 1875, № 3, стр. 73—74) Лесков дал высокую оценку деятельности о. Ионы. (Ср. еще статью «Унизительный торг», — «Исторический вестник», 1885, № 5, стр. 295.) Через не-

сколько лет, в письме к А. С. Суворину от 26 марта 1888 года, дана совсем иная оценка Ионы, по-видимому гораздо более близкая к действительности: Иона, по словам Лескова, «оказался прохвостом и с помощью «церквина сына Тертия» ⟨Филиппова⟩ оттягал у крестьян соседнего села всю землю и лес, купленные им «на слово» и «под записочку» у княгини Екатер. Алекс. Васильчиковой (рожд. Щербатовой), уверовавшей в Иону, как современные дуры веруют в Иоанна Кронштадтского. Она завещала все имение Ионе (т. е. его скиту), а скит на этом основании завел тяжбу с крестьянами, которые *купили* землю у своей бывш. помещицы «под записочку», и у них эту землю *отняли* при содействии «церквина сына Тертия». Мужики (хохлы) сначала ревели, а потом озлились и стали монахов ловить и бить, а отпускали, наклав в порты крапивы. Поднялись дела, — усмирения и ссылки... Этих «освященных» особ надо подождать хвалить, «дондеже чудеса сотворят» («Письма русских писателей к А. С. Суворину», Л., 1927, стр. 64).

Стр. 107. *Целибат* — обет безбрачия католического священника.

«Магдалинский приют» — филантропические убежища для бывших проституток (по имени Марии Магдалины — по библейскому преданию, развратной женщины, раскаявшейся и ставшей верной ученицей Христа).

Стр. 108. *Кийждо* (древнеслав.) — каждый.

Стр. 110. *Ледви, ледеви* (укр.) — едва.

Стр. 111. *Пышные белокурые волосы последней шотландской королевы...* — Речь идет о Марии Стюарт (1542—1587). Название замка у Лескова неверно: надо — Фосерингском.

Стр. 112. *...епископ Феофан в своих... «Письмах о духовной жизни».* — Лесков имеет в виду книгу епископа Феофана (Говорова, 1815—1894) «Письма о духовной жизни», СПб., 1872 (ряд переизданий).

Стр. 113. *Рамо* (древнеслав.) — плечо.

Стр. 114. *Н. Н. Анненков* (1793 или 1800—1865) был генерал-губернатором в Киеве в 1862—1865 годах.

Шато-де-флер — частое в то время название кафе-шантанов.

Стр. 116. *И. И. Сосницкий* (1794—1877) — знаменитый драматический актер.

Стр. 118. *Жозеф Галл* (Галль) — английский епископ и писатель-сатирик (1574—1656). Его написанная по-латыни книга «Внезапные размышления, произведенные вдруг при воззрении на какую-нибудь вещь» вышла в русском переводе в 1786 году.

Стр. 120. *Пленипотент* — полный властелин.

Стр. 122. *...но пока еще не изобретен способ утверждения Момусова стекла в человеческой груди...* — Лесков имеет в виду рассказ древнегреческого сатирика Лукиана (II в. н. э.) в диалоге «Гермотим» о том, как бог хулы Мом был недоволен, что творец человека Гефест не устроил в груди людей дверцы, «которая, открываясь, позволила бы всем распознать, чего человек хочет, что он замышляет, лжет ли он или говорит правду».

Стр. 124. *«Маккавеи»* — опера А. Рубинштейна (1875).

«Блажен, кто верует, — тепло ему на свете!» — цитата из «Горя от ума» Грибоедова (д. I, явл. 7).

Стр. 129. *...в своем замечательном «Словаре» покойный митрополит киевский Евгений Болховитинов...* — Известный духовный деятель, историк и библиограф Евгений Болховитинов (1767—1837) — автор книги: «Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина...» (изд. 1818 и 1827 гг.), и его продолжения — «Словарь русских светских писателей, соотечественников и чужестранцев, писавших в России...» (изд. 1838 и 1845 гг.).

Варлаам (Петров, ум. в 1802 г.) — архиепископ тобольский в 1768—1802 годах.

Филарет Дроздов (1783—1867) — митрополит московский с 1821 года и до смерти, один из наиболее реакционных церковных деятелей, автор «Православного катехизиса», который с 1823 и до 1917 года выдержал множество изданий и считался официальным изложением основ русской православной церкви.

Иннокентий Борисов — см. стр. 672.

Стр. 130. *К. И. Скворцов* (1821—1876) — профессор Киевской духовной академии, автор книги «Жизнь Иисуса Христа по евангелиям», 1876.

Мидасовы уши. — Аполлон наградил ослиными ушами фригийского царя Мидаса за то, что он предпочел его игре игру Пана.

Стр. 131. *Герасим Павский* (1787—1863) — известный богослов, переводчик на русский язык некоторых книг библии.

Я. И. П. — Я. И. Пенкин (см. «Адрес-календарь. Общая роспись всех чиновных особ в государстве», 1851, ч. 2, стр. 56).

Стр. 133. *Ботвиновский.* — О нем см. в примечаниях к «Печерским антикам», наст. издание, т. 7.

...у казначея Т... — Речь идет о О. С. Тустановском. Лесков называет его в письме к Ф. Г. Лебединцеву от 22 января 1883 года («Исторический вестник», 1908, № 10, стр. 167). См. также назв. выше «Адрес-календарь...», 1857, ч. 2, стр. 59 и т. VII наст. издания — «Печерские антики».

Стр. 136. *Врач М—к.* — Лесков имеет в виду А. И. Маллека. См. назв. «Адрес-календарь...», 1857, ч. 2, стр. 59.

Юнг — Александр (Альфред) Августович фон Юнк (ум. в 1870 г.), издатель первой в Киеве газеты «Киевский телеграф» и ряда других изданий, сотрудник нескольких газет, в том числе столичной «Северной пчелы», автор нескольких беллетристических сочинений, заметок по этнографии и фольклору, а также руководств по вопросам кулинарии.

Стр. 137. *...и не знал превосходного положения Лаврентия Стерна...* — Лесков сокращенно и с некоторыми неточностями цитирует 15-й и 17-й афоризмы из книги «Коран, или Опыты, чувства, характеры и каллимашии» знаменитого английского писателя Л. Стерна (1713—1768) (ч. 2, СПб., 1809, стр. 6—7).

Стр. 141. *Любы* (древнеслав.) — любовь.

Стр. 142. *Пятокнижие* — название первых пяти книг библии: «Бытие», «Исход», «Левит», «Числа», «Второзаконие». Рассказ о золотом тельце, которому евреи поклонялись некоторое время, в период странствий по пустыне, находится в книге «Исход».

Иудейские письма к господину Вольтеру. — Автор этой книги аббат А. Гене (Guénet, ум. в 1803 г.). Русский (незаконченный) перевод выходил в 1808—1817 годах.

Стр. 143. *Бубель* — библия.

...онемевший Схария... — Престарелый Схария (Захарий), отец Иоанна Крестителя, по евангельскому рассказу, онемел в наказание за то, что усомнился в справедливости слов ангела, предсказавшего ему рождение сына (евангелие от Луки).

Стр. 145. *«Новое время», № 340.* — Лесков имеет в виду антисемитскую заметку в «Новом времени», 1877, 8 февраля, стр. 2, представлявшую собою перепечатку из газеты «Новости»; фамилия лица, добивавшегося подряда, не названа.

БЕССТЫДНИК

Печатается по тексту: Н. С. Лесков, Собрание сочинений, т. 6, СПб., 1890, стр. 324—338, где было опубликовано впервые в цикле «Рассказы и воспоминания». В ранней редакции этот рассказ назывался «Морской капитан с сухой Недны. Рассказ entre chien et loup. (Из беседы в кают-компании)» и был Лесковым напечатан в «Сборнике морских статей и рассказов», выходившем в качестве приложения к журналу: «Яхта. Листок для любителей морского дела» (1877, февраль, стр. 65—77, и март, стр. 113—126; рукопись этой редакции хранится в ЦГАЛИ, шифр 36—68); перепечатано

в «Звезде», 1938, № 6, стр. 153—169, с послесловием А. Н. Лескова. Первоначальное заглавие (до «Бесстыдника») некоторое время было «Медный лоб». Однако это заглавие Лескову не понравилось — у какого-то писателя, по его словам, был рассказ под таким названием (письмо к С. Н. Шубинскому от 4 мая 1887 года — назв. выше номер «Звезды», стр. 168).

Переработка рассказа, кроме значительной стилистической правки, свелась к существенному сокращению — в окончательном варианте отсутствует вся вторая часть о неудачном сватовстве, зато первая часть несколько расширена. Звездочки заменены полным именем Хрулева.

Анемподист Петрович, по указанию А. Н. Лескова, реальное лицо — киевский купец и городской голова Г. И. Покровский (назв. выше номер «Звезды», стр. 169).

Стр. 147. *Степан Александрович Хрулев* (1807—1870) — генерал, начальник 1-й и 2-й оборонительных линий в Севастополе, особенно известный защитой Малахова кургана в Крымскую кампанию 1854—1855 годов. Выведен Лесковым также и в «Смехе и горе» под своей настоящей фамилией (наст. изд., т. 3, стр. 634).

...«и приписывали и отписывали они мелом и так занимались делом» — неточная цитата из эпиграфа к первой главе «Пиковой дамы» Пушкина.

Дискурс (от франц. discours) — рассуждение.

«Изнанка Крымской войны» — под этим заглавием в №№ 1, 2 и 4 «Военного сборника» за 1858 год были напечатаны три статьи видного военного деятеля Н. Н. Обручева, разоблачавшие порядки в госпиталях и неурядицу в продовольственном снабжении армии во время Крымской войны. Статьи вызвали оживленную полемику. В редакцию «Военного сборника», кроме Н. Н. Обручева и В. М. Аничкова, входил в это время и Н. Г. Чернышевский.

Стр. 149. *...свинья в ермолке.* — В письме Хлестакова к Тряпичкину в «Ревизоре» Гоголя так назван попечитель богоугодных заведений (д. 5, явл. 8).

Стр. 150. *...курит большую благовонную регалию...* — Регалия — сорт дорогой сигары.

Жиганул — ударил.

Хаптус гевезен. — Хапуга (от хапать) — стяжатель, взяточник, обирала. Латинская форма первого слова сочетается с немецкой формой gewesen.

Стр. 152. *...у нас дрянных людей везде ругают и всюду принимают. Это еще Грибоедов заметил...* — Лесков имеет в виду

слова Платона Михайловича Горича в «Горе от ума» (д. 3, явл. 9) о Загорецком:

...у нас ругают
Везде, а всюду принимают.

Стр. 152. *...в Англии... (которою все мы тогда бредили под влиянием катковского «Русского вестника»).* — «Русский вестник» Каткова в первые годы своего существования (выходил с 1856 года) проводил резко англофильскую политику.

Стр. 154. *...как гоголевский Петух...* — Обед Чичикова у Петра Петровича Петуха описан в главе 3-й второго тома «Мертвых душ» Гоголя.

Стр. 155. *...стал шампанское в свой квас лить...* — Провиантщик, о котором пишет Лесков, не был оригинален. В поэме Некрасова «Недавнее время» (1871) читаем:

В Петербурге шампанское с квасом
Попивали из древних ковшей...

В «Воспоминаниях» С. Ю. Витте (т. III, Л., 1924, стр. 280—281) описано употребление этой смеси в 1880—1890-х годах купцами-миллионерами В. А. Кокоревым, П. И. Губониным и др.

Стр. 156. *Тростил* — свивал, мешал.

Хамламе — хам.

Стр. 157. *Ассафетида* (камедь) — вонючая смола из ферулы (растение семейства зонтичных).

Лазарев, М. П. (1788—1851) — адмирал, управляющий Черноморским флотом в 1832—1845 годах.

НЕКРЕЩЕНЫЙ ПОП

Печатается по изданию: Н. С. Лесков, Некрещеный поп, СПб., 1878, стр. 3—91. Впервые: «Гражданин», 1877, 13 октября, № 23—24, 21 октября, № 25—26, 31 октября, № 27—29. В отдельном издании сравнительно с первопечатным текстом произведена значительная стилистическая правка и текст разбит на главы. В «Гражданине» непоследовательно проведено написание «козак» и «казак», «Порипсы» и «Парипсы». В отдельном издании Лесков почти всюду исправил «казак» и «Парипсы», однако в нескольких местах тексты «Гражданина» остались неисправленными. В настоящем издании всюду унифицировано — «казак» и «Парипсы».

Повесть посвящена известному историку литературы, языковеду и искусствоведу, профессору Московского университета Ф. И. Буслаеву (1818—1897). Лесков познакомился с ним в

1861 году в период жизни в Москве и совместного сотрудничества в «Русской речи». Сближение относится к июлю 1875 года во время встреч в Париже (см. письмо Лескова к Буслаеву от 1 июня 1878 года — «Литературная газета», 1945, 10 марта, № 11 (1122), стр. 3, и А. Лесков, Жизнь Николая Лескова, стр. 311—312).

В основе повести лежит действительно имевший место эпизод. См. в наст. томе, стр. 579, упоминание об истории некрещеного попа в главе пятой очерка «Епархиальный суд». Село Парипсы находится на Украине на территории нынешней Житомирской области.

Точная дата повести неизвестна: скорее всего она написана незадолго до публикации в «Гражданине», то есть в 1877 году.

Критика почти не реагировала на выход «Некрещеного попа». В «Указателе по делам печати» был напечатан пересказ повести с пояснением относящихся к ней духовных законов (1878, 1 февраля, № 3, часть неофициальная, отд. 2, стр. 78, без подписи). В «Новом времени» в очень коротком анонимном отзыве было отмечено, что «рассказ веден живо и талантливо» (1877, 23 декабря, № 655, стр. 3).

Стр. 160. *Игнатий* (Брянчанинов? 1807—1867) — в 1857—1861 годах епископ кавказский. Лесков подробно рассказывает о Брянчанинове в «Инженерах-бессребрениках» (наст. изд., т. 8).

Стр. 162. *Коснит* — медлит.

...стада Лавановы при досмотре Иакова — см. примечание на стр. 684.

Половые — светло-рыжие или серые с желтым отливом.

Запушь — укромное место.

Стр. 163. *Чепан* — крестьянский верхний кафтан.

Стр. 164. *Зачичкавшийся* — захиревший.

Стр. 165. *Решетиловские смушки* — шкурки молодых барашков, преимущественно серого цвета, выделывавшиеся в селе Решетиловке Полтавской губернии.

Пыха (укр.) — гордость, надменность, заносчивость.

Квак — болтун.

Стр. 166. *Худоба* (укр.) — имущество.

Стр. 167. *Гребля* — вал.

Стр. 168. *Село Перегуды.* — Вымышленное украинское село Перегуды фигурирует у Лескова также в написанном в середине 1890-х годов «Заячьем ремизе» (см. наст. изд., т. 9).

Стр. 169. *Гута* — стеклянный завод.

Стр. 170. *Мара* — наваждение.

Дивитимусь (укр.) — посмотрю.

Стр. 177. *Прочухан* — удар.

Стр. 179. *«Варва́рское время»* — морозы на св. Варвару (4 декабря ст. ст.).

Очипок — платок, волосник, чепец.

Стр. 180. *Барилочка* — бочоночек.

Стр. 181. *Паляница* (укр.) — род пшеничной булки.

Стр. 185. *...как баран ждал Авраама...* — Лесков имеет в виду библейский рассказ (в «Первой книге Бытия») о том, как Авраам, повинуясь повелению бога, готов был принести в жертву ему своего сына Исаака. Господь, испытав верность Авраама, в последнюю минуту удержал занесенную над сыном руку; вместо Исаака в жертву был принесен находившийся поблизости баран.

Стр. 190. *Штунда* — этим названием объединяются различные рационалистические религиозные секты, особенно распространенные на Украине.

Волна — овечья шерсть.

Стр. 194. *...когда дьяконы, наяривая ставленника в шею, крикнули «повелите»...* — В обряде посвящения священника дьяконы трижды обводят ставленника вокруг церковного престола. Возглас «повелите» — символический вопрос к народу и священнику о согласии на посвящение.

Стр. 196. *Копа* — груда, куча.

Стр. 205. *Подсилить* (укр.) — подкрепить.

Стр. 208. *Наоболмаш* — наугад.

Стр. 208—209. *Григорий Богослов* (310—390) — знаменитый проповедник раннего христианства. *Василий Великий* (или Кесарийский) (329—379) — известный богослов, оказавший, в частности, большое влияние на выработку обрядов богослужения.

Стр. 210. *Гарненько* (укр.) — здесь в значении: аккуратненько.

Штуковатый (укр.) — здесь в значении: шутник.

ОДНОДУМ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков, Собрание сочинений, т. 2, СПб., 1889, стр. 6—43 (цикл «Праведники»). Впервые — «Еженедельное новое время», 1879, 20 сентября, № 37—38, 27 сентября, № 39. Перепечатывалось в сборнике рассказов Лескова «Три праведника и один Шерамур», СПб., 1880, стр. 13—58, и изд. 2-е, СПб., 1886, стр. 13—58. [1]

[1] Следует иметь в виду, что издание 1886 г. представляет собою не новое издание, а то же издание 1880 г., с перепечатанным форзацем и новым титульным листом.

Рассказ был написан в значительной части летом 1879 года в Дубельне (А. Лесков, Жизнь Николая Лескова, стр. 376).

Повесть открывает собою цикл о «русских праведниках» («Кадетский монастырь», «Несмертельный Голован», «Человек на часах», «Инженеры-бессребреники», «Левша», «Шерамур», «Очарованный странник» и др.), которых Лесков неоднократно, по его собственным словам, встречал в жизни. Лесков указывал своему будущему биографу А. И. Фаресову, что обличительная сторона его творчества «самое слабое... сила моего таланта в положительных типах. Я дал читателю положительные типы русских людей... Эти «Однодумы», «Пигмеи», «Кадетские монастыри», «Инженеры-бессребреники», «На краю света» и «Фигуры» — положительные типы русских людей» (А. И. Фаресов. Против течений, СПб., 1904, стр. 381).

«Однодум», как и некоторые другие рассказы этого цикла, имеют в основе реальные прототипы, и едва ли есть надобность считать, как это делал А. Н. Лесков, что «исток жажды и рвения Лескова» лежит в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголя (XV. «Предметы для лирического поэта в наше время»). См. примечания к изданию: Н. С. Лесков, Избранные сочинения, М., Гослитиздат, 1946, стр. 455.

Прототипом героя настоящей повести является солигаличский квартальный. В воспоминаниях лексикографа Н. П. Макарова читаем: «Во время моей первой отставки в 1834 и 1835 году я жил у моего дяди Мичурина, в его имении в полутора верстах от Солигалича, и хорошо знал чудака Рыжова, этого воплощения высокой честности и бескорыстия и героя рассказа г. Лескова» («Мои семидесятилетние воспоминания...», ч. I, СПб., 1881, стр. 46).

«Однодум» встретил более или менее положительный отзыв «Дела» (1880, № 5, стр. 141—146, без подписи), горячее одобрение «Нового времени» (1880, 2 ноября, № 1682, стр. 4, без подписи) и «Исторического вестника» (1880, № 6, стр. 383—385, А. П. Милюков) и отрицательный отзыв ⟨Н. Ф. Баж⟩ина в «Русском богатстве»: «От «Однодума» веет холодом. Когда всмотришься в Рыжова попристальнее, когда вдумаешься поглубже в его жизнь, то невольно приходишь к тому заключению, что он слишком уже ушел *в себя,* слишком уж заботится *о своей собственной чистоте душевной,* т. е., в сущности, *о себе...* Невольно поднимаются один за другим вопросы: есть ли у его сердце? Дороги ли ему хоть сколько-нибудь окружающие его грешные, заблуждающиеся души?» (1880, № 5, стр. 74).

В первоначальном журнальном тексте рассказу «Однодум» предшествовало общее заглавие: «Русские антики. (Из рассказов

о трех праведниках)». После заглавия следовало общее предисловие ко всему циклу. В сборнике «Три праведника и один Шерамур» (1880—1886) это предисловие в оглавлении названо — «От автора к читателю», в собрании сочинений 1889 года в оглавлении оно имеет название «Предисловие». Так как циклы Лескова в настоящем издании не сохранены, воспроизводим его в примечаниях.

⟨ПРЕДИСЛОВИЕ⟩

Без трех праведных несть граду стояния.

При мне в сорок восьмой раз умирал один большой русский писатель.[1] Он и теперь живет, как жил после сорока семи своих прежних кончин, наблюдавшихся другими людьми и при другой обстановке.

При мне он лежал одинок во всю ширь необъятного дивана и приготовлялся диктовать мне свое завещание, но вместо того начал браниться.

Я могу без застенчивости рассказать, как это было и к каким повело последствиям.

Смерть писателю угрожала по вине театрально-литературного комитета, который в эту пору бестрепетною рукою убивал его пьесу. Ни в одной аптеке не могло быть никакого лекарства против мучительных болей, причиненных этим авторскому здоровью.

— Душа уязвлена, и все кишки попутались в утробе, — говорил страдалец, глядя на потолок гостиничного номера, и потом, переводя их на меня, он неожиданно прикрикнул:

— Что же ты молчишь, будто черт знает чем рот набил. Гадость какая у вас, питерцев, на сердце: никогда вы человеку утешения не скажете; хоть сейчас на ваших глазах испущай дух.

Я был первый раз при кончине этого замечательного человека и, не поняв его предсмертной истомы, сказал ему:

— Чем мне вас утешить? Скажу разве одно, что всем будет чрезвычайно прискорбно, если театрально-литературный комитет своим суровым определением прекратит драгоценную жизнь вашу, но...

— Ты недурно начал, — перебил писатель, — продолжай, пожалуйста, говорить, а я, может быть, усну.

— Извольте, — отвечал я, — итак, уверены ли вы, что вы теперь умираете?

---

[1] Лесков имеет в виду А. Ф. Писемского.

— Уверен ли? Говорю тебе, что помираю!

— Прекрасно,— отвечаю, — но обдумали ли вы хорошенько: стоит ли это огорчение того, чтобы вы кончились?

— Разумеется, стоит; это стоит тысячу рублей, — простонал умирающий.

— Да; к сожалению, — отвечал я, — пьеса едва ли принесла бы вам более тысячи рублей, и потому...

Но умирающий не дал мне окончить: он быстро приподнялся с дивана и вскричал:

— Это еще что за гнусное рассуждение! Подари мне, пожалуйста, тысячу рублей и тогда рассуждай как знаешь.

— Да я, — говорю, — почему же обязан платить за чужой грех?

— А я за что должен терять?

— За то, что вы, зная наши театральные порядки, описали в своей пьесе всё титулованных лиц и всех их представили одно другого хуже и пошлее.

— Да-а; так вот каково ваше утешение. По-вашему небось все надо хороших писать, а я, брат, что вижу, то и пишу, а вижу я одни гадости.

— Это у вас болезнь зрения.

— Может быть, — отвечал, совсем обозлясь, умирающий, — но только что же мне делать, когда я ни в своей, ни в твоей душе ничего, кроме мерзости, не вижу, и за то суще мне господь бог и поможет теперь от тебя отворотиться к стене и заснуть с спокойной совестью, а завтра уехать, презирая всю мою родину и твои утешения.

И молитва страдальца была услышана: он «суще» прекрасно выспался, и на другой день я проводил его на станцию; но зато самим мною овладело от его слов лютое беспокойство.

«Как, — думал я, — неужто в самом деле ни в моей, ни в его и ни в чьей иной русской душе не видать ничего, кроме дряни? Неужто все доброе и хорошее, что когда-либо заметил художественный глаз других писателей, — одна выдумка и вздор? Это не только грустно, это страшно. Если без трех праведных, по народному верованию, не стоит ни один город, то как же устоять целой земле с одною дрянью, которая живет в моей и в твоей душе, мой читатель?»

Мне это было и ужасно и несносно, и пошел я искать праведных, пошел с обетом не успокоиться, доколе не найду хотя то небольшое число трех праведных, без которых «несть граду стояния», но куда я ни обращался, кого ни спрашивал — все отвечали мне в том роде, что праведных людей не видывали, потому что

все люди грешные, а так, кое-каких хороших людей и тот и другой знавали. Я и стал это записывать. Праведны они, — думаю себе, — или неправедны — все это надо собрать и потом разобрать: «что тут возвышается над чертою простой нравственности» и потому «свято господу».

И вот кое-что из моих записей.

Стр. 211. *Словарь кн. Гагарина* — «Всеобщий географический и статистический словарь» кн. С. П. Гагарина. М., 1843.

Стр. 212. *«В беде не сробеет, спасет; коня на скаку остановит, в горящую избу взойдет»* — цитата из поэмы Некрасова «Мороз, красный нос» (у Некрасова: «войдет»).

Ночва — неглубокое корытце или лоток.

Стр. 213. *Борнс* (Бернс), Роберт (1759—1796) — знаменитый шотландский поэт.

Стр. 215. *«Позна вол стяжавшего...»* и т. д. — неточная и сокращенная цитата из Книги пророка Исаии (гл. I); в русском переводе это место звучит так: «Вол знает владетеля своего, и осел — ясли господина своего, а народ мой не разумеет. Семя лукавое, сыны беззакония! Что еще уязвляетесь, прилагая неправды! Всякая глава в болезнь, всякое сердце в плач. Что мне множество жертв ваших: тука ягнят и крови телиц и козлов не хочу. Не приходите пред лицо мое. И если принесете мне тончайшей муки — напрасно; курение отвратительно для меня. Новомесячий ваших и суббот и праздничных собраний не могу терпеть: посты и праздность и новомесячия ваши и праздники ненавидит душа моя. Когда прострете руки ваши ко мне, отвращу очи мои от вас — и если умножите моления, не услышу вас. Очиститесь, удалите лукавство от душ ваших. Научитесь творить добро, тогда приходите и рассудим, и если будут грехи ваши как багряное — убелю их как снег. Но князья не покоряются — сообщники воров любят подарки, гоняются за мздою — посему говорит Саваоф: горе сильным, не успокоится ярость моя на противников».

Иезекииль — библейский пророк. Сухие кости, ожившие по воле бога, описаны в главе 37 Книги пророка Иезекииля.

Стр. 217. *Сретали* (древнеслав.) — встречали.

Подрукавная знать — незначительные, незнатные дворяне.

Стр. 217—218. *...и даже сами вольтерианцы против этого не восставали* — неточная цитата из «Ревизора» Гоголя (д. I, явл. I). Подлинные слова городничего — «Это уж так самим богом устроено, и вольтерианцы напрасно против этого говорят».

Стр. 220. *Будари* — сторожа, будочники.

Стр. 221. *...слова Павла...* — то есть апостола Павла.

Стр. 223. *Бибель* — библия.

Стр. 226. *...посылали молиться в Соловецкий монастырь.* — Лесков намекает на то, что Соловецкий монастырь служил местом ссылки.

С. С. Ланской (1787—1862) — в 1855—1861 годах министр внутренних дел, видный деятель крестьянской реформы. В 1831—1834 годах он был костромским губернатором.

Стр. 227. *Зерцало* — трехгранная колонка-призма с тремя указами Петра I по сторонам, стоявшая на столе каждого присутственного места; сверху зерцало было украшено двуглавым орлом (ср. на стр. 228: «снять орла на зерцале»).

Стр. 228. *...хитон обличает мя, яко несть брачен* (древнеслав.) — одежда моя показывает, что я не гожусь быть гостем на брачном пиру.

Стр. 229. *...искреннему своему...* — Лесков употребляет это выражение из библии в старинном значении — ближнему своему.

Маншкурт — короткие рукава.

Стр. 230. *Оффенбаховское настроение* — по имени французского композитора Жака Оффенбаха (1819—1880), автора многочисленных оперетт, пользовавшихся огромным успехом.

Стр. 231. *Играть на понижение* — биржевой термин.

Стр. 232. *Кошлатая* — мохнатая.

Стр. 234. *Канифас* — льняная ткань.

Стр. 235. *Шланбов* — шлагбаум.

«Апликовая» чаша — чаша с накладным серебром.

Стр. 237. *Солея* — возвышение в церкви перед царскими вратами.

Стр. 240. *Государыня* — Екатерина II.

...при огорчительном сватовстве Павла Петровича. — В 1773 году Павел I вступил в брак с гессен-дармштадтской принцессой Вильгельминой (Натальей Алексеевной). В 1776 году она скончалась.

Попенный сбор — сбор за срубленные деревья (считая по пням).

...о кончине юной дочери императора Александра Первого... — Первая дочь Александра I, Мария, жила с 1799 по 1800 год, вторая — Елизавета — с 1806 по 1808 год.

ШЕРАМУР

Печатается по тексту: Н. С. Лесков, Собрание сочинений, т. 2, СПб., 1889, стр. 468—535 (в цикле «Праведники»). Впервые — «Новое время», 1879, 2 декабря, № 1352, 9 декабря, № 1359, 11 де-

кабря, № 1361, 12 декабря, № 1362, 16 декабря, № 1366. При жизни Лескова перепечатывалось в его сборниках «Три праведника и один Шерамур», СПб., 1880, стр. 161—240; изд. 2-е, СПб., 1886, стр. 161—240; ср. сноску на стр. 639.

В «Новом времени» общее заглавие: «Дети Каина. Типические разновидности. Очерк первый. Шерамур. Эпизодические отрывки фатальной истории». Сноска гласила: «Родовые черты этого типа описаны не мною, но я нахожу, что в этом описании есть много не схваченного, а иное слишком обобщено. Мне хочется сделать небольшой опыт — представить несколько особей, составляющих, так сказать, типические разновидности этой не утратившей интереса породы. — *Н. Л.*»

Таким образом, из заглавия и примечания очевидно, что Лесков на этой стадии еще не включал «Шерамура» в число праведников. Не окончательно включен он в их число и в отдельном издании 1880 (1886) года. Заглавие книги — «Три праведника и один Шерамур» это ясно показывает. Лишь в издании 1889 года «Шерамур» включен в этот цикл.

Текст «Нового времени» для отдельного издания подвергся существенной переработке. Бо́льшая часть изменений — стилистическая правка. Но некоторые места не попали в текст газеты или издания 1880 (1886) года, скорее всего по цензурным соображениям.

Так, в главе восьмой в тексте газеты родитель Шерамура рождением сына «утешал свою ипохондрию», в издании 1880 (1886) года — «развлекал свою ипохондрию», а в издании 1889 года стояло: «Дворянин — развлекал свою ипохондрию».

В той же главе перед цитатой из Державина в «Новом времени» не было слов: «а потом политическое»; они появились в издании 1880 (1886) года.

В той же главе, рассказывая о том, почему он не кончил Технологического института, Шерамур в «Новом времени» и в издании 1880 (1886) года говорил: «история помешала»; в издании 1889 года — «политическая история помешала».

Наконец, в той же главе в «Новом времени» и в издании 1880 (1886) года опущены два отрывка в конце главы, характеризующие евангелие, впервые прочитанное Шерамуром, — «почеркать бы надо по местам» и т. д.

В главе одиннадцатой по цензурным соображениям снято в «Новом времени», но появилось в издании 1880 (1886) года место о молитве графини с упоминанием Христа.

В главе тринадцатой отсутствует, но появился в издании 1880 (1886) года ответ Шерамура о том, что уйти из России в сложившейся для него обстановке все же было безопаснее.

В главе пятнадцатой нет в «Новом времени», но есть в издании 1880 (1886) года слова Шерамура, соглашающегося возвратиться в Россию: «там пищеварение лучше». В той же главе и в газете и в издании 1880 (1886) года имя Герцена заменено «Г—ну, Г—н».

В главе шестнадцатой — «русский консерватор» (так в изданиях 1880 (1886) и 1889 г.); в газете — «ярый легитимист».

Из других вариантов стоит отметить, что ни в «Новом времени», ни в издании 1880 (1886) года нет имени директора С.-Петербургского Технологического института Н. А. Ермакова (глава 8). Эпизод с «неприличным» заглавием — «Попэнджой» (глава 17) впервые появился в издании 1889 года. В «Новом времени» и в издании 1880 (1886) года он заменен словом *«Лепесток...»* (курсив Лескова. — *С. Р.*) «Да-с; вот то-то и есть, а я именно утверждаю, что она сказала: «я пойду потрясти мой лепесток...» Я, разумеется, сейчас и ушел».

В главе десятой, в конце, к словам «ничего не понимаете» сделана сноска, отсутствующая и в издании 1880 (1886) года и в издании 1889 года. Она важна тем, что подтверждает предположение, будто в основе повести лежит какой-то близкий к действительности эпизод, который Лесков (Nemo повести) мог наблюдать в Париже в 1875 году. «Так как это *не выдумка* (курсив Лескова. — *С. Р.*), то можно предполагать, что профессор, который выругал Шерамура и воздерживал его от поездки к графине, едва ли не был покойный Зарянко» (известный художник-портретист, 1818—1870).

В главе двадцать первой в «Новом времени» нет выпадов против Аксакова и Кокорева: они впервые появились в издании 1880 (1886) года.

Как свидетельствует А. Н. Лесков, «Шерамур» подготовлялся в 1879 году (А. Лесков, Жизнь Николая Лескова, стр. 376).

«Шерамур» вызвал в критике очень противоречивую оценку. Наряду с отрицательными отзывами «Русского богатства» (1880, № 5, стр. 82, Н. Ф. ⟨Баж⟩ин), «Дела» (1880, № 5, стр. 146, без подписи) и «Отечественных записок» (1880, № 5, стр. 41, без подписи) в печати были и очень положительные отзывы об этом произведении, например в «Историческом вестнике» (1880, № 6, стр. 383—385, А. П. Милюков) и «Новом времени» (1880, 2 ноября, № 1682, стр. 4, без подписи).

Стр. 245. *...по строгановскому лицевому подлиннику...* — Имеется в виду традиция изображения святых в одной из иконописных школ на Руси, сложившихся в XVI и XVII веках.

...преподобному Моисею Мурину... — Моисей Мурин (325—400) — христианский святой. По преданию, в молодости был атаманом разбойников, но раскаялся, удалился в монастырь и предался подвижничеству. Судя по словам Лескова о мадьярском происхождении святого, он смешал его с Моисеем Угриным (ум. в 1043 г.), оскопленным за отказ от связи со знатной полькой, в плену у которой он находился. Оба имени звучат сходно, схожи иконописные изображения обоих святых. См., например, собрание гравюр А. В. Олсуфьева в Гос. Публичной библиотеке в Ленинграде, т. 4, л. 68 и т. 5, л. 56.

Стр. 247. *Он не сумасшедший? — Разве с точки зрения доктора Крупова.* — Крупов, герой одноименной повести Герцена, считал, что человечество больно безумием и его история — биография сумасшедшего. Причина этого безумия — социальное неравенство.

Стр. 248. *Tante Grillade (франц.)* — буквально: тетка (по прозвищу) Жареное мясо.

...предметом внимания Луи-Бонапарта... но с тех пор, как он сделался Наполеоном Третьим... — Племянник Наполеона I, президент Французской республики Луи-Бонапарт, в результате переворота 2 декабря 1852 года провозгласил себя императором Франции под именем Наполеона III.

«Пир Лазаря». — В евангелии от Луки (гл. XVI) описывается нищий Лазарь, питавшийся крошками со стола богача: в этом и заключается иронический смысл «пира».

Стр. 249. *Консоматер* (от франц. consommateur) — гость, потребитель.

Каинов сын. — Сын Каина Енох, по библейскому преданию, был продолжателем нечестия своего отца.

Стр. 253. *Нельи* — предместье Парижа.

Стр. 254. *Поплеванник* — то есть пеклеванный хлеб.

Холодно, странничек, холодно; Голодно, родименький, голодно! — строки из поэмы Некрасова «Коробейники» («Песня убогого странника»).

А лягушки по дорожке... — Шерамур поет популярную детскую песню.

Стр. 257. *И вы подобно так падете...* — это державинское переложение 81-го псалма действительно подвергалось цензурным запретам и было напечатано лишь в 1808 году.

Стр. 257. *Бударь* — будочник, сторож.

...как Спиноза промеж ног проюркнул. — Происхождение этого выражения не установлено. Ср. еще в «Свадьбе» Чехова слова Апломбова: «Я не Спиноза какой-нибудь, чтобы выделывать ногами кренделя».

Стр. 258. *...у нас был директор Ермаков.* — Н. А. Ермаков (1824—1897) был директором С.-Петербургского технологического института в 1869—1875 годах.

Экозес (экосез) — танец.

...с одним англичанином познакомилась, и ей захотелось людей исправлять. — Английский пропагандист лорд Редсток появился в Петербурге в 1874 году. Его проповедь «подлинного» христианства нашла немало последователей в аристократических кругах Петербурга. Разоблачению учения Редстока Лесков посвятил несколько газетных статей: одна из них — «Великосветский раскол. Лорд Редсток и его последователи» — вышла в 1877 году отдельным изданием.

Дубельт, Л. В. (1792—1862) — с 1835 по 1855 год управляющий III отделением. Что за отзыв Дубельта о евангелии имеет в виду Шерамур, не установлено.

Стр. 259. *Энгелист* — то есть нигилист.

Стр. 260. *Юлисеев* — владелец гастрономического магазина в Петербурге Елисеев.

Лаферма — здесь: вывеска, фирма.

Страфил — здесь в значении — струсил.

Стр. 261. *Чугунка* — народное наименование железной дороги.

Стр. 262. *Я бы, говорит, от тебя и не бежал, да боялся, что у тебя вумственные книжки есть* — намек на революционную пропаганду. В частности, в 1874 году слушалось дело революционной группы А. В. Долгушина, обвинявшегося в распространении нелегальной литературы в специально оборудованной типографии. Ср. в стихотворении Некрасова «Путешественник» (1874):

Книг нам не надо — неси их к жандару!
В прошлом году у прохожих людей
Мы их купили по гривне за пару,
А натерпелись на тыщу рублей.

Стр. 264. *...«Эмиля» Руссо читали?* — Роман Ж.-Ж. Руссо (1712—1778) «Эмиль, или о воспитании» (1761, русский перевод 1807) развивал идеи воспитания сообразно с природой и вызвал большие нападки на автора со стороны и католиков и протестантов.

Стр. 266. *Лизис* — постепенное ослабление болезни (в отличие от резкого перелома — кризиса).

Стр. 267. *Ковчег завета* — в нем, по библейскому преданию, хранились откровения (скрижали), которые бог через пророка Моисея даровал еврейскому народу.

Скрыжи — скрижали.

Стр. 268. *Ипокритство* (от франц. hypocrite — лицемер) — притворство, лицемерие.

...Тэн обнаружил и другие свойства этих тартюфок. — Знаменитый французский философ и историк литературы И. Тэн (1828—1893) в работе «Histoire de la littérature anglaise», t. V, Paris, 1864, сделал ряд выпадов против героев современной ему французской литературы. *Тартюфки* — лицемерки (по имени Тартюфа, героя одноименной комедии Мольера).

Стр. 269. *...молодой осленок, о котором в библии так хорошо рассказано...* — Речь идет об осленке, на которого, по евангельскому преданию, до Христа никто не садился; на этом осленке Христос въехал в Иерусалим.

Стр. 270. *Кис-ме-квик* (англ. kiss me quick) — поцелуй меня скорее.

Стр. 272. *В Женевку* — то есть в Женеву, центр русской политической эмиграции в те годы.

...примера «старца Погодина», как он скорбел и плакал о некоем блуждавшем на чужбине соотчиче... — речь идет о Герцене, см. ниже на стр. 652.

Рапсодии — здесь в значении — выходки.

Стр. 273. *Зачичкался* — захирел.

Ледащенький — здесь в значении: слабосильный.

Гар (от франц. gare) — вокзал.

Стр. 274. *Г-жа Т.* — это лицо не установлено; возможно, что оно вымышленное.

...псковскою историею Гемпеля с Якушкиным... — В 1859 году известный фольклорист и этнограф П. И. Якушкин (1820—1872) путешествовал по России, изучая крестьянский быт и записывая произведения народной словесности. Он постоянно носил крестьянское платье. Вследствие этого псковская полиция, приняв его за «подозрительного», несколько раз арестовывала его — формальным мотивом была неисправность паспорта. Свои злоключения Якушкин описал в статье «Проницательность и усердие губернской полиции». Статья была напечатана в «Русской беседе» (1859, № 5). Она вызвала большой шум и многочисленные отклики и была перепечатана в ряде журналов и газет («Русский вестник», 1859,

№ 9, кн. 1; «Московские ведомости», 1859, № 233, и др.). Якушкину отвечал псковский полицеймейстер В. Э. Гемпель («С.-Петербургские ведомости», 1859, № 239 — статья Якушкина и ответ Гемпеля). Тот же ответ был, по требованию властей, напечатан и в «Московских ведомостях», 1859, № 264; ЦГИАЛ, ф. 772, д. № 5017 (152423). Якушкин, в свою очередь, отвечал Гемпелю («Московские ведомости», 1859, № 266). Полемику завершила «Русская беседа», напечатав в № 6 за 1859 год «Последнюю страницу в деле г. Якушкина с полициею». Здесь перепечатан ответ Гемпеля, статья Лебедева 3-го из «Русского инвалида» (1859, № 239) и обширное заключение редакции, целиком в пользу Якушкина.

Стр. 274. *...тверскою эпопеею «пяти дворян».* — Тверские мировые посредники с самого начала подготовки крестьянской реформы представляли собою левую прослойку либеральной части русского дворянства. 5 февраля 1862 года от имени чрезвычайного собрания тверского дворянства они обратились по почте к Александру II с адресом, подписанным 113 участниками, в котором были формулированы принципы уравнения сословий, неудовлетворенность крестьянской реформой, необходимость немедленного выкупа крестьянских наделов и пр. путем «правительственных мер». Не веря в желание правительства провести эти мероприятия, тверские дворяне просили о скорейших выборах народных представителей. Основные авторы проекта (9 уездных предводителей дворянства и губернский предводитель, во главе с А. М. Унковским, т. е. 10, а не 5 человек, как пишет Лесков) были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость. Приговор сената был довольно суровый: заключение в смирительный дом в среднем на два года и лишение некоторых прав. От первой части наказания подсудимые были освобождены под предлогом «тезоименитства» государыни. Извещение о выступлении тверских деятелей было напечатано в «Северной пчеле», 1862, 21 февраля, № 39, стр. 133; приговор и амнистия — там же, 19 августа, № 181, стр. 723. Сводку материалов и изложение всей истории см. в примечаниях М. К. Лемке к Полному собранию сочинений и писем А. И. Герцена, т. XV, Пг., 1920, стр. 71—78.

...остался на родине испытывать тоску за различные мои грехи... — автобиографический намек на сложное и двусмысленное положение Лескова в 1860—1870-х годах после написанных им реакционных «антинигилистических» романов, статьи о петербургских пожарах и т. п.

Гарибальди, Д. (1807—1882) — вождь итальянского национально-

освободительного движения; с 1854 года неоднократно жил на островке Капрера близ Сардинии.

Стр. 275. *Клячко,* Юлиан (1828—1906) — известный польский критик и публицист, видный деятель аристократической партии А. Чарторижского. Лесков упомянул его еще в 1863 году в статье «Русское общество в Париже» («Библиотека для чтения», 1863, № 9, стр. 12).

Лангевич, Мариан (1827—1887) — видный деятель польского восстания 1863 года, сторонник партии Чарторижского.

Пустовойтова, Генрика (1838—1881) — адъютант Лангевича во время восстания, впоследствии эмигрантка.

...он выдумал непогрешимость и зачатие... — Папа Пий IX в 1854 году провозгласил догмат о непорочном зачатии девы Марии, а в 1870 году — догмат о папской непогрешимости.

...«в его новизнах есть старизна»... — крылатые слова, впервые, по-видимому, употребленные старообрядцами в их прошении Александру II.

Здесь теперь в моде Берсье... — Е. Берсье (1831—1889) — французский проповедник так называемой свободной церкви, противник католичества. В 1866 году основал в Париже общину. Его короткие (так называемые «дамские») молитвы были широко распространены в Париже и Петербурге в 1870-х годах. Образцы некоторых из них см. в приложении к названной на стр. 648 книжке Лескова о Редстоке — «Великосветский раскол».

Стр. 278. *Бебеизм* (от франц. bébé) — ребячество.

Стр. 280. *Сен-Клу* — город во Франции, недалеко от Парижа.

Стр. 281. *Амбаркадер* — платформа железнодорожной станции.

Стр. 282. *...закурил капоральную сигаретку...* — дешевый сорт «капоральских» (т. е. капральских) папирос. Капрал — унтер-офицерский чин во французской армии.

Стр. 284. *Горчаков,* А. Д. (1798—1883) — министр иностранных дел в 1856—1882 годах.

...сказать, что в Париже проживает второй Петр Иванович Бобчинский? — В «Ревизоре» Гоголя Бобчинский просит Хлестакова передать в Петербурге, что в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский (д. 4, явл. 7).

Стр. 286. *«Попэнджой ли он!»* — заглавие романа А. Троллопа (1815—1882). Русский перевод вышел в Петербурге в 1878 году. Заглавием этого романа Лесков заменил первоначальное: «Лепесток». «Попэнджой» использован Лесковым еще и в первой редакции рассказа «Голос природы» («Осколки», 1883, № 12, стр. 5). Popinjay (англ.) — фат, щеголь.

Стр. 286. *«Петровский разрыв»* — одна из употребительных формул в русской общественно-политической полемике, начиная с 1840-х годов, о разрыве русской и западной культур.

Стр. 287. *...«старец Погодин» и его просветительные паломничества в Европу с благородною целию просветить и наставить на истинный путь Искандера...* — см. след. примечание. *Искандер* — псевдоним А. И. Герцена.

«Простая речь о мудрых вещах». — В книге известного историка, журналиста и публициста М. П. Погодина (1800—1875) «Простая речь о мудреных вещах» (1873 и изд. 2-е — 1874) приведены строки из его письма к Герцену, содержавшие попытку обратить его на «истинный путь». Отзыв Погодина о Герцене лицемерно теплый: он уверяет, что чувствовал в Герцене «звуки теплой любви к отечеству и доказательства ума, таланта сильного» (см. назв. книгу, изд. 2-е, стр. 21—24).

...рослый грешник, чьи черты Тургенев изображал в «Рудине»... — Прототипом Рудина до некоторой степени был известный русский революционный деятель, анархист М. А. Бакунин (1814—1876).

Стр. 288. *Панье* — фижмы (юбки с каркасом).

Шнип — мыс на лифе в женской одежде.

Стр. 289. *...в Герцеговине кто-то встряхнул старые счеты...* — Летом 1875 года, в условиях невыносимого для народа турецкого гнета, в Боснии и Герцеговине вспыхнуло большое восстание, поддержанное почти во всех славянских странах, в том числе и в России.

Стр. 290. *Книга Ренина «St. Paul».* — Исследование Ренина об апостоле Павле вышло в свет в Париже в 1869 году.

Стр. 292. *Проприетер* (от франц. propriétaire) — собственник.

Осот — сорное колючее растение.

Стр. 293. *...славянская война в Турции.* — Имеется в виду русско-турецкая война 1877 года.

«Волдавия» или «Молдахия» — искаженные Молдавия и Валахия.

Славянские претензии... которые Аксаков в Москве выдумал вместе с Кокоревым... — Лесков намекает на активнейшую деятельность И. С. Аксакова (1823—1886) и названного выше В. А. Кокорева (1817—1889) в Московском славянском комитете (потом обществе) в период русско-турецкой войны 1877 года; Аксаков и Кокорев проповедовали идеи славянского братства под русским владычеством.

Стр. 294. *«Сербский квит»* — здесь в значении: сведение счетов. В июне 1876 года Сербия объявила войну Турции, с целью поддержки восстания в Боснии и Герцеговине (см. выше). Мир был заключен в феврале 1877 года.

Стр. 295. *«Швейцарские митрополиты»* — так Лесков иронически и презрительно называет круг революционеров-эмигрантов, обосновавшихся с конца 1860-х годов в Швейцарии.

...«святая святых» еврейской скинии... — По библейской легенде, скиния — походный храм, устроенный пророком Моисеем во время странствования евреев в пустыне — из Египта в Палестину.

Стр. 296. *...корзинка с лакомством «четырех нищих»* — небольшая порция сухих фруктов и орехов.

Стр. 297. *Вуй* (франц. oui) — да.

Стр. 298. *...позднюю поправку к проступку третьего Наполеона?* — В главе пятой повести рассказывается о том, что Tante Grillade «в юности была предметом внимания Луи-Бонапарта и очень могла бы кое-что напомнить».

Бельвиль — предместье Парижа.

Наполеониды — сторонники Наполеона III.

Стр. 300. *Сакрифис* (франц. sacrifice) — жертва.

Омфала — мифологическая царица Лидии; у нее три года жил Геркулес; одетый в женское платье, он прял вместе с ее невольницами.

ЧЕРТОГОН

Печатается по тексту: Н. С. Лесков, Собрание сочинений, т. 5, СПб., 1889, стр. 587—601. Впервые — «Новое время», 1879, 25 декабря, № 1375, под заглавием: «Рождественский вечер у ипохондрика». Этот текст существенно отличается от позднейших редакций повести. Первые две главы посвящены детским воспоминаниям автора, рассуждениям о *таянии* веры и о встрече со старым товарищем Иваном Ивановичем. Иван Иванович, некогда атеист, обратился к вере под влиянием виденного им события. Он и рассказывает (начиная с главы третьей, соответствующей главе первой позднейшего текста) всю историю; ряд деталей изложен при этом иначе. Конец также иной — он возвращает к теме о таянии веры. Не веровавший в бога Иван Иванович обратился к вере после того, как видел «всё»: падение и восстановление, грехи и покаяние... веру». Написанный в жанре «рождественского», рассказ заканчивался обращением к празднику и весь был пропитан моралью о превосходстве веры над неверием.

Первоначальное, принадлежащее Лескову заглавие неизвестно. В письме к А. С. Суворину, по-видимому в декабре 1879 года, Лесков писал: «Заглавие я *забыл* переменить. Надо поставить: «Таяние». А если есть лучше, то свое поставьте» (ИРЛИ, фонд 268, № 131, лист 37(45). Цитировано в примечаниях А. Н. Лескова в издании: Н. С. Лесков, Избранные сочинения, М., Гослитиздат, 1946, стр. 455). Но предложенное Лесковым заглавие было Сувориным отвергнуто: заглавие, под которым рассказ был напечатан в газете, очевидно принадлежит Суворину.

Заглавие «Чертогон» (т. е. изгнание черта) было установлено при сокращении и стилистической переработке рассказа для сборника «Русская рознь. Очерки и рассказы (1880 и 1881)», СПб., 1881, стр. 187—202. При последней прижизненной перепечатке в собрании сочинений Лесков снова ввел целый ряд стилистических поправок.

В цитированном выше письме, отвечая на какие-то замечания Суворина по поводу рассказа, Лесков после его переработки писал: «Конечно, это *смазано*. Как иначе быть? Делано *лежа* и наскоро. Я только не хотел Вам отказывать и делал *как мог*. Теперь и переделал, *как хочется Вам*. Главное: картина хлудовского кутежа, который был *в прошлом году* и на нем Кокорев играл. Это живо прочтется. Сказано теперь толковее, — впрочем, делайте сами что хотите, — я ведь пустого самолюбия не имею и дело ценю выше вздоров».

Говоря о хлудовском кутеже, Лесков из ряда представителей московской купеческой семьи Хлудовых скорее всего имеет в виду миллионера, основателя нескольких хлопчатобумажных торговых фирм и собирателя древнерусских рукописей и книг А. И. Хлудова (1818—1882), который и является прототипом героя повести — Ильи Федосеевича.

Стр. 303. *Филаретов катехизис* — см. стр. 634.

Стр. 304. *Плюмса* — гримаса.

Эфиопы — здесь в значении: цыгане.

Стр. 307. *...Ивану Степанову... бить на литавре.* — Как видно из цитированного выше письма, речь идет об известном миллионере-откупщике В. А. Кокореве (1817—1889).

Стр. 308. *Черный царь у Фрейлиграта.* — В стихотворении немецкого революционного поэта Ф. Фрейлиграта (1810—1876) «Негритянский вождь» плененный вождь племени, обреченный бить в ярмарочном балагане в барабан, в ярости прорывает его.

Стр. 309. *Вальпургиева ночь* — ночь на 1 мая (день св. Вальпургия). По немецким народным поверьям, ведьмы собираются в эту ночь на свой шабаш на горе Брокен; см. в первой части «Фауста» Гете.

Стр. 312. *Скорописною смертью* — то есть скоропостижно.

Новотроицкий — известный московский трактир.

Всепетая — икона богородицы в одном из московских монастырей.

Стр. 314. *Кумпол* — купол.

КАДЕТСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков, Собрание сочинений, т. 2, СПб., 1889, стр. 61—100 (в цикле «Праведники»). Впервые — «Исторический вестник», 1880, № 1, стр. 112—138. В сокращенном виде перепечатано в «Детском чтении», 1880, № 4, стр. 11—30, и полностью — в сборнике рассказов Лескова — «Три праведника и один Шерамур», 1880, стр. 82—130, изд. 2-е, СПб., 1886, стр. 81 — 130 (см. сноску на стр. 639).

Непосредственными дополнениями к рассказу являются три статьи Лескова: «Один из трех праведников. (К портрету Андрея Петровича Боброва)» — «Исторический вестник», 1885, № 1, стр. 80—85; «Кадетский монастырь в старости. (К истории «Кадетского монастыря»)» — там же, 1885, № 4, стр. 111—131 (обработанные Лесковым воспоминания старого кадета); «О находке настоящего портрета Боброва. (Письмо в редакцию)». — «Новое время», 1889, 7 апреля, № 4708, стр. 2. Из этих трех статей в настоящем издании перепечатывается только первая — включенная самим Лесковым в собрание сочинений 1889 года под заглавием: «Прибавление к рассказу о кадетском монастыре».

В тексте «Исторического вестника» рассказ был снабжен следующей сноской: «Задуманные и начатые мною очерки «трех русских праведных» подали мысль одному почтенному престарелому человеку рассказать мне его школьные воспоминания, интересные для характеристики времени, которого они касаются, и очень дорогие для моей коллекции «трех праведников», которую они сразу восполняют до изобилия. Рассказчик желает остаться неназванным, но рассказ его передан мне при весьма известных и заслуживающих уважения лицах. Я тут ничего не добавил, а только записал и привел в порядок».

Рассказ действительно представляет собою обработанную стенограмму воспоминаний бывшего кадета, впоследствии видного

общественного деятеля, основателя издательства «Общественная польза» Г. Д. Похитонова (1810—1882). Стенограмма, озаглавленная: «Мои воспоминания о первом кадетском корпусе», хранится ныне в ЦГАЛИ (шифр 36—72). Имя Похитонова Лесков назвал в цит. выше статье «Исторического вестника», 1885, № 4, стр. 130—131. Текст Лескова кое-где распространен (особенно за счет диалогов), кое-где смягчен; иногда переставлены отдельные куски текста Похитонова (например, рассказ об архимандрите идет третьим, а не последним). Некоторые пропуски в тексте Лескова сравнительно со стенограммой вызваны, вероятно, цензурно-политическими соображениями. Так, в начале главы пятой читаем: «огромное стечение народа», а в стенограмме: огромное стечение простого народа» на Исаакиевской площади в день восстания декабристов. В конце главы шестой читаем: «Негодование, выражавшееся на лице государя, не изменилось, но он ничего более не сказал и уехал», а в стенограмме: «Но он не нашелся что ответить...» В конце двадцать первой главы напечатано: «Демидов поскакал жаловаться, и архимандрит от нас выехал», а в стенограмме: «поскакал жаловаться Николаю Павловичу», и некоторые другие. 7 февраля 1884 года Лесков писал редактору «Исторического вестника» С. Н. Шубинскому: «Некоторый важный сановник пожелал продиктовать мне свои воспоминания из царств⟨ования⟩ имп. Николая, а другое властное лицо доверило мне секретные бумаги, с тем, чтобы как одними, так и другими материалами воспользовался «непременно я *сам,* и *обработал бы их собственноручно.* Диктант я весь записал с стенографисткою (две тетради)». (Не издано. Гос Публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

Отзывы современников о М. П. Перском (1776—1832) — директоре Первого кадетского корпуса в Петербурге в 1820—1832 годах, экономе А. П. Боброве (ум. в 1836 г.) и враче М. С. Зеленском (ум. в 1890 г.) единодушно положительны. Положительными были и отзывы об этом произведении Лескова («Новое время», 1880, 2 ноября, № 1682, стр. 4, без подписи; «Исторический вестник», 1880, № 6, стр. 383—385, А. П. Милюков), но прогрессивная критика, и прежде всего «Отечественные записки» отозвались о повести отрицательно и иронически — основная добродетель Перского, Боброва и Зеленского оказывается в том, что они жили, почти не выходя за пределы корпуса; повесть неправдоподобна, как суздальская живопись (1880, № 5, стр. 38—42, без подписи). Рецензия ⟨Н. Ф. Баж⟩ина в «Русском богатстве» с неодобрением отзывалась о замкнутости и холодности Перского: Перский так хо-

лоден, что «невольно хочется подойти поближе и удостовериться: точно ли это живой человек, а не мраморная статуя» (1880, № 5, стр. 61—82).

Стр. 324. *Румянцев, Прозоровский, Каменский, Кульнев.* — Здесь названы имена видных военачальников XVIII и начала XIX века. Гр. П. А. Румянцев (1725—1796) — генерал-фельдмаршал, крупнейший военный деятель 60—80-х годов XVIII века. Кн. А. А. Прозоровский (1732—1809) — генерал-фельдмаршал, участник Семилетней войны и кампании за покорение Крыма. М. Ф. Каменский (1738—1809) — генерал-фельдмаршал, видный участник Семилетней войны 1756—1763 годов и русско-турецких войн. Я. П. Кульнев (1763—1812) — принимал активное участие в войне со Швецией 1808—1809 годов.

Стр. 324. *Толь* (Толь), К. Ф. (1777—1832) — участник швейцарских походов Суворова, видный деятель Отечественной войны 1812 года и других военных кампаний.

П. В. Голенищев-Кутузов (1772—1843) — главный директор военных корпусов, а потом с.-петербургский генерал-губернатор.

Н. И. Демидов (1733—1833) — генерал-адъютант, с 1826 года главный директор Пажеского и Сухопутного корпусов и член совета о военных училищах.

Ореус, Ф. М. — впоследствии директор Полоцкого кадетского корпуса.

Эллерман, Х. И. (1782—1831) — полковник.

Черкасов, Д. А. (1779—1833) — преподаватель фортификации.

Стр. 325. *Багговут,* А. Ф. (1806—1883) — известный военный деятель. Он был замешан в движении декабристов, но отделался лишь переводом на персидский фронт; впоследствии участвовал в Крымской и др. военных кампаниях.

Стр. 339. *«Для воинов и для граждан».* — Какой учебник имеет в виду Лесков, не установлено.

Стр. 342. *Пусть этот будет так, без имени.* — В «Прибавлении к рассказу о кадетском монастыре» (см. стр. 350) Лесков назвал этого архимандрита. Речь идет об Иринее Нестеровиче, скончавшемся в 1864 году. Конфликт с генерал-губернатором Восточной Сибири А. С. Лавинским, объявившим его умалишенным, окончился ссылкою честного и смелого Иринея в Вологодский Спасо-Прилуцкий монастырь; лишь позднее он стал настоятелем одного из ярославских монастырей.

Сердового возраста — средних лет.

ПРИБАВЛЕНИЕ К РАССКАЗУ О КАДЕТСКОМ МОНАСТЫРЕ

Печатается по тексту: Н. С. Лесков, Собрание сочинений, т. 2, СПб., 1889, стр. 100—104. Впервые — в несколько расширенном виде: «Исторический вестник», 1885, № 1, стр. 80—85, под заглавием: «Один из трех праведников. (К портрету Андрея Петровича Боброва)». Об этой статье Лескова см. его письмо к С. Н. Шубинскому от 4 сентября 1884 года; специально о заглавии — письмо от 28 октября: А. И. Фаресов, Против течений, СПб., 1904, стр. 169—170.

Стр. 348. *«Кулакиада».* — Лесков цитирует последние две строфы поэмы Рылеева «Кулакиада». Полный текст см.: К. Рылеев, Полное собрание стихотворений, редакция Ю. Г. Оксмана, Л., 1934, стр. 317—318. В тексте — незначительные отличия.

НЕСМЕРТЕЛЬНЫЙ ГОЛОВАН

Печатается по тексту: Н. С. Лесков, Собрание сочинений, т. 2, СПб., 1889, стр. 126—180. Впервые: «Исторический вестник», 1880, № 12, стр. 641—678. Перепечатано в сборнике рассказов Лескова «Русская рознь. Очерки и рассказы (1880 и 1881)», СПб., 1881, стр. 1—61.

15 октября 1880 года Лесков сообщал редактору «Исторического вестника» С. Н. Шубинскому, что «Голован весь написан *вдоль,* но теперь надо пройти его *поперек...* «Голован», однако, вышел слабее других. Надо бы его хорошенько постругать. Не торопите до последней возможности» (впервые, очень неточно: А. И. Фаресов. Против течений, СПб., 1904, стр. 154; цитируется по подлиннику, хранящемуся в рукописном отделе Гос. Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина).

Из отзывов критики о «Несмертельном Головане» стоит отметить короткий отрицательный отзыв «Отечественных записок» (1881, № 7, стр. 82—84, без подписи) и более подробный отзыв анонимного рецензента «Дела». Автор не прощает Лескову его «антинигилистической позиции» 1860-х годов, но не может не признать его литературный талант: «сколько тут теплого чувства к человеку и народу, сколько понимания нравственной красоты безграмотного труженика... книжка г. Лескова, со стороны чисто литературной — как бо́льшая часть его произведений — довольно интересна» (1881, № 8, стр. 93 и 97, без подписи).

Стр. 352. ...*«часть его большая...»* и т. д. — неточная цитата из стихотворения Державина «Памятник»:

...часть меня большая
От тлена убежав, по смерти будет жить...

Случай этот отмечен моею бабушкою следующим образом... — В этой, якобы дневниковой, записи названы подлинные имена матери и отца Лескова и его няни Анны Степановны Каландиной (1812—1911). См. А. Лесков, Жизнь Николая Лескова, стр. 52.

Стр. 359. *Молокан* — член русской религиозной секты, не признававшей обрядов и придерживавшейся очень строгих правил нравственности.

Стр. 361. *Бердо* — принадлежность ткацкого станка, гребень для прибивания утка к ткани.

Стр. 362. *«Прохладный вертоград»* — рукописный лечебник, переведенный с польского в конце XVII века Симеоном Полоцким для царевны Софии. Разошедшийся во множестве списков, он был популярен в народе до начала XIX века. Здесь и дальше Лесков цитирует его по незадолго перед тем вышедшему изданию: В. М. Флоринский, Русские простонародные травники и лечебники. Собрание медицинских рукописей XVI и XVII столетия, Казань, 1879 (на обложке — 1880). Цитируемые Лесковым с некоторыми пропусками и небольшими изменениями места находятся на стр. 173—175. Названные в «Прохладном вертограде» органы указаны в самом общем и приблизительном виде. Так, сафенова жила находится «промеж большого перста и другого», жила спатика на правой стороне тела, а жила базика — на левой. Рекомендуемые медикаменты — по преимуществу травы. Так, *антель* — проскурняк, *своробориновый* (или своробориновый); уксус — настоенный на шиповнике, *буглосова водка* — настоена на буглосовой траве (так называемый воловий язык) и т. д. *Митридат* — сложное лекарственное средство, составлявшееся из 54 элементов; рекомендовалось в качестве противоядия, а иногда как универсальное врачебное средство. Изобретение его приписывалось Митридату Эвпатору (132—63 до н. э.) или римскому врачу, современнику Нерона — Сервилию Дамократу (I в. н. э.). *Сахар монюс-кристи* — иначе называется маюс-кристи.

Наум Прокофьев — это лицо установить не удалось. Оно неизвестно работникам краеведческого и литературного музеев г. Орла, нет его и в обширной картотеке А. Н. Лескова.

Стр. 365. *Жохать* — по-видимому, зажимать. В словарях (в том числе и областных) это слово отсутствует.

Стр. 365. *Безоар-камень* — животный камень (из желудка козы, ламы и пр.), употреблявшийся в народной медицине.

Стр. 368. *Никодим* (ум. в 1839 г.) — епископ в Орле в 1828—1839 годах.

...желая иметь еще одну кавалерию... — то есть еще один орден (кавалер ордена).

Стр. 369. *Аполлос* (Байбаков, 1745—1801) — епископ в Орле в 1788—1798 годах.

Стр. 371. *Юрьева роса* — роса, выпавшая на Юрьев день (23 апреля ст. ст.).

Иеремия пророк — 1 мая.

Борисов день — 2 мая.

Святая Мавра — 3 мая.

Зосима — 4, 8 или 19 июня.

День Ивана Богослова — 8 мая.

Никола — 9 мая.

Симон Зилот — 10 мая.

Стр. 372. *...с Ивана до полу-Петра...* — с 8 мая до 30 июня.

Св. Федор Колодезник — 8 июня.

Стр. 373. *Староверы* — старообрядцы, отделившиеся от православия в XVII и половине XVIII века.

Федосеевцы — так называемый беспоповщинский толк старообрядцев, проповедовавший безбрачие.

«Пилипоны» (филипповцы) — старообрядческая секта, считавшая самоубийство средством соблюсти веру.

Перекрещеванцы (или анабаптисты) — секта, восходящая к XVI веку. По ее учению святость крещения требует, чтобы к нему относились сознательно. Поэтому обряд крещения повторялся над взрослыми.

Хлысты — раскольничья секта, составлявшая особые группы («корабли»), во главе с «пророками», «богородицами» и т. д. Они отвергали священство, церковь и таинства и верили в возможность каждому человеку стать в итоге аскетической жизни Христом. На своих собраниях («радениях») толковали библию и пением, сопровождавшимся прыжками, доводили себя до экстаза — это принималось ими за пророческое настроение.

«Люди божии» — бродяги.

Зодия — каждый из двенадцати разделов солнечного пояса — зодиака.

Стр. 374. *К. Д. Краевич* (1833—1892) — известный физик, ученый и педагог, автор широко распространенных в свое время учебников.

Стр. 374. ...*«не признавал седьмин Данила пророчнными на русское царство...* — В библейской Книге пророка Даниила содержатся пророчества о Мессии, явление которого ожидалось по прошествии седмин (70 $\times$ 7 лет); Антон-астроном не признавал эти пророчества касающимися России.

Плезирная трубка — здесь в значении: наблюдательная (подзорная) труба.

Стр. 375. *Попе,* точнее А. Поп (Pope), (1688—1744) — знаменитый английский поэт. Его дидактическая поэма — «Опыт о человеке» была переведена на русский язык еще в XVIII веке и выдержала ряд изданий.

Стр. 376. *Стогны* (древнеслав.) — площади.

...при открытии мощей нового угодника... — по-видимому, Лесков описывает канонизацию мощей воронежского епископа и духовного писателя Тихона Задонского (Соколова, 1724—1783), произведенную 13 августа 1861 года с большим шумом и длительными торжествами. Указываемое в рассказе направление Орел — Ливны — Елец ведет как раз к Задонску, находящемуся приблизительно в 50 км. от Ельца. Во всяком случае после 1861 и до 1896 года никаких других канонизаций мощей не происходило. См. Е. Голубинский, История канонизации святых в русской церкви, Сергиев-Посад, 1894, стр. 134—137.

Стр. 377. *...пятьдесят две копейки (то есть пятиалтынный)...* и т. д. — счет на ассигнации, и в скобках — на серебро.

Стр. 378. *Девясил* — растение, используемое в народной медицине для лечения грудных болезней.

Пиония — трава марьин корень.

Надхождение стени (древнеслав.) — наступление боли (стенаний).

Майран (майоран) — дикий, так называемый конский чеснок.

Силоамская купель — водоем в юго-восточной части Иерусалима с солоновато-сладкой водой. С ним связан евангельский рассказ об исцелении больных.

Стр. 379. *Нивари и рыбари* — земледельцы и рыбаки.

Пах — сильный запах, духота.

Стр. 382. *Пихтерь* — большая высокая корзинка, плетенка с раструбом.

Хрептуг — мешок, подвешиваемый к оглоблям для корма лошадей.

Бойло — побои.

Стр. 383. *...дело о подделке мощей из бараньих костей...* — Некоторые подробности этого дела Лесков рассказал в «Заметке»

(«Русская жизнь», 1894, 28 марта, № 83). Перепечатано в издании: Н. С. Лесков, Избранные сочинения. Редакция текста и комментарий Б. М. Эйхенбаума, М. — Л., «Academia», 1931, стр. 737—739, и более подробно в неопубликованной при жизни статье Лескова: «Где добывают поддельные мощи» («Красная нива», 1930, № 17, стр. 19).

Стр. 383. *«Болячки афедроновы»* — по-видимому, геморрой.

Стр. 385. *Пупавки* — растение (желтушки или ромашки).

Стр. 386. *Жертовки* — пожертвования.

Стр. 388. *Архитриклин* (греч.) — хозяин.

Стр. 389. *Рассказывали, что он ⟨Голован⟩ упал в какую-то яму, которой не видно было под пеплом, и «сварился».* — Как указано в книге В. Гебель (Н. С. Лесков. В творческой лаборатории. М., «Советский писатель», 1945, стр. 89), «современники Лескова усмотрели здесь «дисгармонию между духовной красотой героя и отвратительной картиной его смерти» и ставили это обстоятельство в вину писателю. Но по воспоминаниям его сына (А. Н. Лескова), подобный конец был почерпнут из эпизода, случившегося с приятелем писателя, чему лично Лесков был свидетелем».

...но уже обозначались нетерпеливцы и выжидатели. — Лесков имеет в виду радикалов и либералов.

Стр. 390. *Эмансипации хотел только такой, как в Остзейском крае.* — Лесков имеет в виду безземельное освобождение крестьян в Прибалтийских губерниях в 1817—1819 годах.

Бусрак — сухой овраг, водомоина.

Стр. 391. *Сердовые* — средних лет; *белый* — старик.

Стр. 397. *...бороться с видениями, терзавшими св. Антония.* — По преданию, св. Антоний (III в. н. э.), терзаемый страшными видениями, долгие годы вел борьбу против плотских искушений. История его искушений много столетий служила темой для художников и писателей (например, Д. Теньера, Флобера и др.).

МЕЛОЧИ АРХИЕРЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

Печатается по тексту одного из немногих сохранившихся экземпляров сожженного издания: Н. С. Лесков, Собрание сочинений, т. VI, Спб., 1889, стр. 245—510 (экземпляр Государственной Публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, из библиотеки А. С. Суворина (шифр: 18, 340а. 4. 40—6). Глава 9-я в этом издании по ошибке повторена трижды; нами дана исправленная, последовательная нумерация всех

глав. Впервые — в газете «Новости», 1878, 14 сентября, № 236, 18 сентября, № 239, 19 сентября, № 240, 23 сентября, № 244, 28 сентября, № 248, 4 октября, № 253, 11 октября, № 259, 17 октября, № 265, 25 октября, № 272, 31 октября, № 278, 7 ноября, № 285, 14 ноября, № 292, 20 ноября, № 298. Глава XII под заглавием: «Владычий взгляд на военное красноречие», и глава XIII под заглавием: «Случай с генералом у митрополита Филарета» — впервые: «Исторический вестник», 1880, № 6, стр. 255—267, глава XIV под заглавием: «Митрополит Исидор в его литературных интересах» — там же, стр. 326—332.

Полностью со значительными исправлениями перепечатано в издании: «Мелочи архиерейской жизни», СПб., изд. И. Л. Тузова, 1879, 228 стр., и «Мелочи архиерейской жизни», СПб., изд. 2-е, вновь автором пересмотренное, исправленное и значительно дополненное, с тремя приложениями, изд. И. Л. Тузова, 1880, стр. I—II и 1—186 (в этом издании в качестве приложения перепечатаны очерки: «Архиерейские объезды», «Епархиальный суд» и «Русское тайнобрачие»). Кроме того, в «Библиографии сочинений Н. С. Лескова. За тридцать лет (1860—1889)», составленной П. В. Быковым (приложена к тому X «Собрания сочинений» изд. 1890), на стр. XXIV указано еще одно издание, разнящееся от второго только числом страниц (302 вместо 306). В ленинградских книгохранилищах обнаружить это издание не удалось.

Не включались Лесковым и не введены в настоящий том две полемических заметки — ответы критикам «Мелочей архиерейской жизни» Е. А. Попову и А. И. Предтеченскому. 1) «Из мелочей архиерейской жизни» — «Новое время», 1879, 5 ноября, № 1325, стр. 2 (без подписи), и 2) «Последнее слово о «Мелочах». Письмо в редакцию» — там же, 10 ноября, № 1330, стр. 3.

Кроме того, Лесковым в течение ряда лет на страницах различных газет и журналов многократно печатались статьи и заметки, посвященные жизни русского православного духовенства, в том числе и архиереев: в отдельное издание Лесков их не включал (перечень их см. в назв. библиографии П. В. Быкова).

Отношение Лескова к религии, и в частности к русской православной церкви, было сложным и во многом противоречивым. Но каковы бы ни были субъективные намерения писателя,[1] его книга

---

[1] В предисловии Лесков писал, что он хочет «попробовать сказать кое-что *в защиту* наших владык». (Курсив Лескова. — *С. Р.*)

оказалась обличительной. Она по праву заняла одно из первых мест в литературе о русском духовенстве: документальный характер книги придавал ей значение обвинительного акта, а мастерство писателя позволило создать яркие художественные образы. Книга Лескова разоблачала не только отдельных лиц, но подбором множества разнообразных фактов создавала типы современных ему высших и низших священников. Они предстают перед читателем как алчные, властолюбивые и корыстолюбивые владыки, давно потерявшие связь с народом и не принимающие никакого участия в его духовной жизни; склочники, бюрократы и ханжи, утратившие подлинную веру, они нещадно эксплуатируют низшую, безраздельно подчиненную им массу мелкого бесправного духовенства. Но и эту темную и забитую массу Лесков рисует достаточно мрачными красками: невежество, пьянство, растраты, взяточничество и вымогательство, также при полном отсутствии веры, и без внешней маскировки, как у старших, характеризуют ее в полной мере.

Сбрасывая покров святости, Лесков рисует архиереев как обыкновенных людей; официальная церковь негодовала по поводу «непочтительного» характера описания жизни и быта духовных владык («архиерейские запоры», «припадки... геморроидального свойства», «желудочные недомогания»).

7 января 1881 года Лесков писал И. С. Аксакову: «Я никогда не осмеивал сана духовного, но я рисовал его носителей здраво и реально, и в этом не числю за собою вины... В одних «Мелочах арх. жизни» я погрешил (по неведению), представив архиереев, как писал мне один умный владыка, «лучше, чем они есть на самом деле». Вы говорите: «их надо дубьем...» А они дубья-то Вашего и не боятся, а от моих шпилек морщатся...» (Не издано. Архив Института русской литературы Академии наук СССР, фонд 3, опись 4, № 337, лист 3.)

Духовное ведомство рисуется как бюрократическое и сколидомное управление, неспособное по-настоящему откликаться на запросы жизни (вопрос о браке и др.); нескрываемой иронией звучат строки о чудесах и об очереди мертвых иерархов церкви на открытие их мощей и т. д.

На фоне всего этого отдельные положительные образы ярких и своеобразных людей, нарисованные Лесковым с подлинной любовью и симпатией, воспринимаются не более как исключения.

Нет ничего удивительного, что уже печатание «Мелочей архиерейской жизни» в «Новостях» вызвало целый ряд резко отрицательных отзывов в периодической печати. Выход в 1879 и 1880 го-

дах подряд двумя изданиями имевшей значительный успех книги определил отношение к ней русской критики.

Положительно отозвались о «Мелочах...» «Отечественные записки». Они отметили несомненный интерес книги, знакомившей русского читателя «с малоизвестным бытом» (1879, № 4, стр. 201—204, без подписи). Более определенно выразиться журнал, конечно, не мог.

Из ряда отзывов заслуживает быть отмеченным отзыв «Молвы». «Нам далеко не симпатичны, — читаем в этом отзыве, — скажем, даже просто антипатичны, тенденции г. Стебницкого, которыми он постоянно портил лучшие свои вещи и за которые справедливо подвергался нападкам прогрессивной части нашей прессы, но отказать ему в даровании, даже довольно значительном, мы никак не решимся». В отзыве отмечен анекдотический по преимуществу характер рассказов. Тем не менее «большая часть сообщаемых автором фактов крайне характеристична, и личности архиереев очерчены у него большей частью очень рельефно... Книга его, без сомнения, найдет себе массу читателей» (1879, 26 марта, № 83, стр. 1—2, подписано — ***).

Положительны были и отзывы журнала «Слово» (1879, № 5, стр. 148—157, Б. Л. (Б. П. Онгирского?) и газеты «Новое время» (1880, 31 октября, № 1680, стр. 3, без подписи). «Современные известия» ограничились простым изложением содержания книги (1881, 9 февраля, № 39, стр. 2, без подписи).

Некоторые периодические издания отнеслись к книге сдержанно-положительно и, для того чтобы ослабить впечатление от разоблачений, обвинили Лескова в анекдотичности и мелочности: общие выводы, на основании приведенного материала, они считали невозможными. Так, в другом отзыве «Нового времени» выражено недовольство тем, что Лесков ничего не пишет о современном духовенстве, а посвящает свои очерки прошлым временам. Книга признается интересной, «но от автора «Соборян»... мы вправе ожидать, чтобы он, не покидая избранной сферы исследования, не разменивался на «мелочи», а дал ряд крупных сцен и типов» (1879, 30 марта, № 1108, стр. 3, подписано — *Н. К.*). «Вестник Европы» указывал, что книга занимательна, «но с более общей точки зрения книга г. Лескова очень не удовлетворяет, в ней есть и большие неполноты и неловкости. Отдельные положительные личности не составляют еще типа», а Лесков хочет обобщить свою «защиту», но не подымается до общего вопроса о положении церкви и духовенства. В книге много длиннот, «автор увлекся беллетристикой и ввел много лишнего и растянутого, без чего сюжет

мог легко обойтись». В языке также много «излишеств» (1879, № 12, стр. 822—830, без подписи; ср. аналогичный, но более короткий отзыв в № 8 на стр. 3 обложки. Примерно того же характера отзыв «Сына отечества», 1879, 14 и 16 марта, №№ 60 и 62, стр. 1—2, без подписи).

Если, как видим, либеральная пресса хотя и с оговорками, но признавала достоинства очерков Лескова, то совсем иную позицию заняла правая, в основном церковная печать. Нет надобности приводить все отзывы, достаточно отметить некоторые характерные. Так, Никанор, епископ уфимский, немедленно же по выходе книги Лескова напечатал в «Церковно-общественном вестнике» большую статью «Памяти преосвященного Смарагда». В ней автор всячески стремится доказать лживость написанного Лесковым, прибегая даже к свидетельским показаниям. Его статья снабжена дополнительными подписями еще трех «свидетелей», подтверждающих истину сказанного епископом (1879, 2 и 4 марта, №№ 26 и 27, стр. 3—5 и 2—4). Никанору вторил Ионафан, епископ ярославский и ростовский. В том же журнале он тоже напечатал свои «Воспоминания о преосвященном епископе Смарагде»; он «опровергал» Лескова, но между прочим сообщил, что Смарагд не любил «прогрессистов-вольнодумов»: с ними «он был грозен и не щадил жезла своего» (21 марта, № 34, стр. 5—6).

Статья Никанора была перепечатана в «Церковном вестнике» в составе другой статьи, названной «Непоправимо-позоримая честь». «В последнее время, — читаем в этой статье, — вышла целая книга, спекулирующая на лесть грубо эгоистическим инстинктам малоразвитой толпы. Составленная по преимуществу из сплетен низшего разбора, она без застенчивости забрасывает грязью и клеветой досточтимых представителей русской церкви» (1879, 24 марта, № 12—13, часть неофициальная, стр. 7—10, без подписи).

Особенно бурную деятельность по «разоблачению» Лескова проявил протоиерей Е. А. Попов. В книге «Великопермская и пермская епархия. 1379—1879» (Пермь, 1879, стр. 306—319) он посвятил ряд страниц книге Лескова. Его разоблачения были признаны настолько важными, что соответствующая, полемическая часть книги были перепечатана в «Пермских епархиальных ведомостях» (1880, № 23, часть неофициальная, стр. 232—242, без подписи).

Все эти (и многие другие) отзывы предопределили судьбу книги, когда Лесков спустя *десять лет* рискнул повторить ее в составе собрания сочинений.

Отпечатанная тиражом в 2200 экземпляров книга была представлена в С.-Петербургский цензурный комитет 14 августа 1889 года.[1]

Уже 18 августа, по докладу цензора С. И. Коссовича, книга была задержана гражданской цензурой. С.-Петербургский цензурный комитет нашел, что Лесков выставляет в крайне неблагоприятном свете высшее и низшее духовенство и что он одних попов обвиняет «в непомерной гордыне и себялюбии, других в любостяжании, драчливости и распутстве... Все многочисленные пороки высшего духовенства возбуждают нелюбовь к ним народа, выражающуюся, по указаниям автора, в изображении на картине Страшного суда архиереев, охваченных одной цепью с корыстолюбивым Иудой... Отзывы о мощах «проникнуты тонким ядом кощунства». Комитет считал, что в конце третьей части содержится «дикий мистико-революционный бред». Вообще, «вся шестая книга сочинений Лескова, несмотря на неоспоримую общую благонамеренность автора, оказывается, к сожалению, дерзким памфлетом и на церковное управление в России и на растление нравов нашего духовенства» и представляет «дело православия как бы погибающим. Для колеблющихся в делах веры его книга может оказаться крайне вредною, хотя бы и мимо воли самого писателя».[2]

Вскоре (22 сентября) против книги высказалась также и духовная цензура. 29 сентября обо всем этом С.-Петербургский цензурный комитет донес Главному управлению по делам печати, который окончательно и запретил книгу.

19 октября 1889 года старший инспектор по типографиям хотел приступить к вырезке из отпечатанного тома «Мелочей архиерейской жизни», сохранив «Захудалый род» и «Сеничкин яд», но владелец типографии А. С. Суворин не допустил вырезок, а просил опечатать весь тираж. Очевидно, он еще надеялся отстоять книгу в высших инстанциях. Однако именно высшие инстанции (К. П. Победоносцев, Е. М. Феоктистов, Т. И. Филиппов и др.) были решительно настроены против автора книги, и Суворину пришлось согласиться на вырезки. Они пролежали несколько лет опечатанными и в ноябре 1893 года были сожжены.[3] Лишь восемь полных экзем-

---

[1] Здесь и дальше использованы дело III отделения канцелярии Главного управления по делам печати 1889—1893 г., № 31 в, листы 1—10 (ЦГИАЛ ф. 776), и дело С.-Петербургского цензурного комитета «По отпечатанному без предварительной цензуры 6-му тому собрания сочинений Н. С. Лескова» (ЦГИАЛ ф. 777, оп 4, № 95, 1889, листы 1—17).

[2] И. Ковалев, Запрещенные рассказы Н. С. Лескова — «Литературная газета», 1941, 2 марта, № 9, стр. 6.

[3] А. Лесков, Жизнь Николая Лескова, стр. 585.

пляров книги были отосланы в С.-Петербургский цензурный комитет. Один из них был передан в Публичную библиотеку, а остальные постепенно разошлись по рукам. [1]

10 ноября дополнительно были конфискованы отпечатанные по просьбе Лескова особые вклейки в следующий, седьмой том, вышедший в свет раньше шестого: «Седьмой том Сочинений Н. С. Лескова выходит прежде шестого тома по независящим от издателя обстоятельствам».

Шестой том собрания сочинений в новом составе вышел из печати и был роздан подписчикам последним (после десятого тома).

Лесков чрезвычайно болезненно воспринимал катастрофу с книгой. Он не раз утверждал, что мучившую его последние годы жизни астму он получил на лестнице у Суворина, узнав о том, что шестой том окончательно приговорен к сожжению.

«Подоспела досада, которая не дает мне духа, чтобы говорить о чем бы то ни было весело и пространно: благодетельное учреждение арестовало VI-й том собрания моих сочинений, состоящий из вещей, которые все были в печати. Это том в 51 лист. [2] Вы можете себе представить состояние моего духа», — писал Лесков В. А. Гольцеву 5 сентября 1889 года («Голос минувшего», 1916, № 7—8, стр. 402—403).

19 сентября Лесков писал зятю Н. П. Крохину: «У меня арестован VI-й том, и это составляет и огромный убыток, и досаду, и унижение от сознания силы беззакония» (цит. по книге А. Лескова «Жизнь Николая Лескова», стр. 577).

5 октября 1889 же года — Л. Б. Бертенсону: «Попы толстопузые» поусердствовали, и весь VI том мой измазали. Исчеркали даже роман «Захудалый род», печатавшийся у Каткова... Вот каково «муженеистовство»! Это то, что Мицкевич удачно назвал «kaskady tyranstwa»... Какие от этого облатки и пилюли принимать надо? Что за подлое самочинство и самовластие со стороны всякого прохвоста» («Русская мысль», 1915, № 10, стр. 90).

В Конст⟨антиновском⟩ воен⟨ном⟩ уч⟨илище⟩ офицер донес на юнкера, что тот «имел книгу: «Мелочи архиерейской жизни».

---

[1] См. заметку Н. С. Ашукина «Библиографическая редкость» — «Известия ЦИК и ВЦИК», 1934, 14 октября, № 241 (5489), стр. 4. Один из уцелевших экземпляров книги Лесков подарил врачу Л. Б. Бертенсону с надписью: «Божиим попущением книга сия сочтена вредною и уничтожена мстивостью чревонеистового Феоктистова, подлого ради угождения Лампадоносцеву» ⟨т. е. Победоносцеву⟩. — «Русская мысль», 1915, № 10, стр. 95.

[2] В действительности лишь 46. Из них 30 листов погибло, а 16 были использованы в новой редакции тома.

Юнкера посадили под арест», — сообщает Лесков в письме Л. Н. Толстому 12 января 1891 года («Письма Толстого и к Толстому. Юбилейный сборник», М. — Л., Госиздат, 1928, стр. 89).

«Мелочи архиерейской жизни» были признаны неблагонадежным сочинением и до 1905 года числились в списке книг запрещенных к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях.

В посмертных собраниях сочинений 1897 и 1902—1903 годов «Мелочи архиерейской жизни» печатались со значительными сокращениями и искажениями текста.[1] В советское время главы 1—4 (по тексту издания 1880 г.) перепечатывались в Избранных сочинениях под ред. Б. М. Другова (М. — Л., «Academia», 1937, стр. 237—264) и в «Избранных произведениях...» (т. II, Петрозаводск, Гос. изд. Карело-Финской ССР, 1952, стр. 328—359).

В настоящем издании, после 1880 года, то есть через 77 лет, *впервые полностью* перепечатывается текст одного из замечательных произведений Лескова.

Стр. 398. *Нет ни одного государства...* и т. д. — Эпиграф с существенными неточностями взят Лесковым из книги: «Народная гордость», пер. с франц., М., изд. Типографической компании, 1788. Лесков точно воспроизвел начало эпиграфа из текста, находящегося на стр. 6 назв. книги: «Нет ни одного государства, в котором бы не находились превосходные мужи во всяком роде». Остальная часть цитаты восходит к стр. 3 (с большими неточностями). В подлиннике: «Всякий человек почитает себя почему-нибудь выше других и смотрит с гордым сожалением на все, вне его находящееся». Автор книги — прогрессивный философ и врач Иоанн-Георг Циммерман (1728—1795). Русский перевод книги за свободомыслие был запрещен, и издание вызвало для издателя — Н. И. Новикова и его друзей — ряд неприятностей.

В течение 1878 года русскою печатью сообщено очень много интересных и характерных анекдотов о некоторых из наших архиереев. — Это обилие статей связано с обсуждавшимся в это время проектом церковной реформы.

---

[1] Издание 1902 г. у цензора Соколова уже не вызвало возражений и сомнений: «с 1889 г. многое изменилось в литературе». Впрочем, и он считал возможным пропуск книги, если она «будет напечатана не в таком огромном количестве экземпляров, чтобы ее можно было считать предназначенной для народного чтения» (рапорт от 29 июня 1902 г., ЦГИАЛ. Назв. дело С.-Петербургского цензурного комитета, 1889, № 95).

Стр. 399. *Никодим* — см. стр. 660.

...у нас не любили черного духовенства... — Черным духовенством называется монашествующее духовенство, давшее обет целомудрия и безбрачия, в отличие от белого (протоиереи, дьяконы, причетники), которым разрешен брак.

Стр. 400. *Смарагд Крижановский* (ум. в 1863 г.) — архиерей в Орле в 1844—1858 годах.

«Ужасный Бруевич» — сын священника из Могилева Бонч-Бруевич (см. статью епископа Никанора «Памяти преосвященного Смарагда» — «Церковно-общественный вестник», 1879, 4 марта, № 27, стр. 4). Никанор всячески старается защитить Бруевича.

...я видал губернатора, князя Петра Ивановича Трубецкого... — Князь П. И. Трубецкой (1798—1871) был орловским губернатором в 1841—1849 годах. Лесков писал о Трубецком также в рассказе «Умершее сословие» (см. наст. изд. т. 8).

Стр. 401. *...его супругу, княгиню Трубецкую, рожденную Витгенштейн...* — дочь фельдмаршала П. Х. Витгенштейна — Э. П. Сайн-Витгенштейн-Берлебург (1801—1869).

Стр. 402. *Вечный жид Агасфер* — по преданию, еврей, прогнавший Христа, когда он хотел отдохнуть по пути на Голгофу, и за это обреченный бесприютно странствовать до дня Страшного суда.

Стр. 405. *Зоил* — греческий ритор (III в. до н. э), занимавшийся порицанием Гомера. Его имя сделалось нарицательным прозвищем несправедливого, озлобленного критика.

Стр. 409. *«Валентиновская» сабля* — может быть, Лесков имеет в виду саблю Валентина, брата Маргариты, в опере «Фауст»; Мефистофель убивает Валентина на дуэли.

Игреняя — особая масть (рыжая, с гривой и хвостом светлее стана).

Стр. 412. *...вертинар за регистры подарил..* — то есть ветеринар подарил за какие-то письменные работы.

....гулял в нем... до Алексея божия человека... — то есть до 17 июля ст. ст.

Термин — здесь в значении: срок.

Стр. 413. *Троицын день,* или пятидесятница — православный праздник в пятидесятый день после пасхи.

...мы забирались читать Веверлея... — «Веверлей» — один из наиболее популярных романов Вальтера Скотта, неоднократно переводившийся на русский язык.

Стр. 414. *...имел сношения с случайными людьми архиерейского дома.* — Лесков употребляет слово «случайный» в его ста-

ринном значении, то есть с находившимися в случае, в милости, в фаворе.

Стр. 415. *Исав* — по библейскому преданию, старший сын Исаака и Ревекки, продавший свое первородство брату за чечевичную похлебку.

Стр. 416. *Шлык* — шапка.

Стр. 419. *...со всею ордою провожатых, коих Петр Великий в своем регламенте именовал «несытыми скотинами».* — Здесь и далее Лесков имеет в виду написанный Феофаном Прокоповичем и отредактированный Петром I в 1721 году «Регламент или устав духовной коллегии»: «ибо слуги архиерейские обычно бывают лакомые скотины и где видят власть своего владыки, так с великою гордостию и бесстудием, как татаре на похищение, устремляются» (Полное собрание законов Российской империи с 1649 г., т. VI, СПб., 1830, № 3718, стр. 329). Эти слова Лесков неоднократно использовал в «Мелочах архиерейской жизни» и в ряде других произведений, в том числе и в «Соборянах».

Стр. 421. *В⟨арлаам⟩* (Успенский, ум. в 1876 г.) был архиереем в Пензе в 1854— 1862 годах.

Стр. 422. *...соборного протоиерея О—на...* — Вероятно, у Лескова ошибка или опечатка. Протоиереем кафедрального собора в Пензе был в это время Ф. П. Островидов («Справочная книжка Пензенской губернии на 1858 год», Пенза, 1858, стр. 53).

Солея — возвышение в церкви перед царскими вратами.

Ктитор — церковный староста.

Стр. 425. *У графини В⟨исконти⟩, дочери известного партизана Дениса Давыдова...* — Криптоним раскрыт на основании указания в книге Л. Ростопчиной «Семейная хроника (1812 г.)», М., без года, стр. 258.

Стр. 426. *Дарбуа,* Жорж (1813—1871) — с 1863 года архиепископ парижский.

Фабий Кунктатор — римский консул (III в. до н. э.); получил свое прозвище (Медлитель) за применение по отношению к противнику тактики изматывания.

Стр. 432. *Иоанн Смоленский* (Соколов, 1818—1869) — известный богослов и проповедник, останавливавшийся в своих проповедях на вопросах современности (например, освобождении крестьян) в более или менее либеральном духе.

Стр. 433. *...два нумера «Домашней беседы» г. Аскоченского...* — «Домашняя беседа» — журнал, издававшийся в Петербурге в 1858—1877 годах реакционнейшим публицистом В. И. Аскоченским (1813—1879).

Стр. 435. *Иннокентий Таврический (Борисов)* (1800—1857) — знаменитый богослов и духовный писатель, с 1848 года архиепископ херсонский и таврический. Упоминаемое Лесковым письмо Иннокентия к видному украинскому ботанику, публицисту и писателю М. А. Максимовичу (1804—1873) от 29 февраля 1868 года находится в книге М. Максимовича «Письма о Киеве и воспоминание о Тавриде», СПб., 1871, стр. 43—44. Об изданных посмертно сочинениях Иннокентия Лесков напечатал рецензии в «Литовских епархиальных ведомостях», 1872, № 4 и в газете «Русский мир», 1871, № 112, 1872, № 96.

Флуранс, Мари-Жан-Пьер (1794—1867) — известный французский физиолог.

Августин (Сахаров, 1768—1841) — епископ уфимский в 1806—1857 годах.

Филарет Амфитеатров (1779—1857) — митрополит киевский в 1837—1857 годах.

«Воспитаньем, слава богу, у нас не мудрено блеснуть» — цитата из «Евгения Онегина» (гл. I, строфа 5).

Стр. 436. *...одна из именуемых петровским регламентом «несытых архиерейских скотин»...* — см. примечание на стр. 671.

Усменный — кожаный.

Стр. 437. *...но вышло, что я ошибся.* — Цитируемые Лесковым слова содержатся в «Московских письмах» назв. Лесковым газеты (подп. криптонимом «А. Дм.»)

Григорий (Постников, 1784—1860) — был епископом в Калуге в 1825—1829 годах.

Филарет Филаретов (1824—1882) — епископ уманский в Киеве и второй викарий киевский в 1874—1877 годах; затем до смерти — епископ рижский.

Стр. 438. *Филарет Гумилевский* (1805—1866) — богослов, историк церкви, епископ рижский, а потом харьковский и черниговский.

...духа времени, который... по прекрасному выражению И. С. Тургенева, оказывает на всех неодолимое давление, побуждая всякое величие опрощаться. — Лесков очень неточно цитирует слова Тургенева в предисловии к собранию романов в издании 1880 года: «я стремился, насколько хватало сил и уменья, добросовестно и беспристрастно изобразить и воплотить в надлежащие типы и то, что Шекспир называет the body and pressure of time ⟨самый образ и давление времени⟩». — И. С. Тургенев. Сочинения, т. XII, 1933, стр. 296.

Стр. 439. *«Жизнь, по выражению поэта (И. С. Никитина), изнывает в заботе о хлебе»* — неточная цитата из стихотворения «Детство веселое, детские грезы...» (1858).

...«одной с ними жизнью дышать и внимать их сердец трепетанью» — неточная цитата из стихотворения Е. А. Баратынского «На смерть Гете»:

С природой одною он жизнью дышал,
Ручья разумел лепетанье.

Стр. 441. *Мой родной брат...* — брат Лескова — Алексей Семенович, известный киевский врач (1837—1909).

Порфирий Успенский (1804—1885) — епископ чигиринский в 1865—1878 годы, жил (как и все чигиринские епископы) в Киеве.

Стр. 447. *Макарий литовский* (Булгаков, 1816—1882) — историк церкви, московский митрополит с 1879 года и до смерти.

Стр. 449. *...как живший в Задонске Тихон...* — см. примечание на стр. 661.

Стр. 450. *...со слов... Гудовского...* — И. В. Гудовский с 1849 года имел звание неклассного художника по исторической и портретной живописи.

Арсений — см. стр. 674.

Стр. 451. *Академик Солнцев,* Ф. Г. (1801—1892) — археолог и живописец, с 1835 года академик Академии художеств. С 1843 года и до 1853 он работал в Киеве; открыл там фрески XI века в Софийском соборе и принимал участие в их реставрации. См. П. Лебединцев, Возобновление Киево-Софийского собора в 1843—1853 гг. Киев, 1879.

Пешехонов, Иван — незначительный живописец 1850—1870-х годов.

Лассировка — особый прием живописной техники, при котором поверх основных густых тонов наносятся прозрачные краски.

...см. письма, изд. А. Н. Муравьевым... — Лесков имеет в виду следующее издание: «Письма митрополита московского Филарета к А. Н. М. 1832—1867», Киев, 1869. Письма обращены к известному духовному писателю и поэту А. Н. Муравьеву (1806—1874). О нем Лесков писал в статьях: «Синодальные персоны» — «Исторический вестник», 1882, № 11, и «Таинственные предвестия» — «Новь», 1885, т. III, № 12, стр. 613—628.

Стр. 456. *С. П. Алферьев* (1816—1884) — профессор медицинского факультета Киевского университета в 1844—1864 годах, дядя Лескова по матери. «В доме дяди, — писал Лесков впоследствии, —

...я встречался почти со всеми профессорами тогдашнего университетского кружка и, несмотря на мою едва начавшуюся юность, пользовался от некоторых из них благорасположением и даже доверием» («Исторический вестник», 1882, № 10, стр. 441). Вероятно, с помощью Алферьева Лесков посещал некоторые лекции в университете.

Стр. 456. *Н. Я. Чернобаев* (1797—1868) — генерал-штаб-доктор войск 4-го и 5-го пехотного корпуса во время Крымской кампании, видный деятель отечественной медицины.

Дмитрий Гаврилович Бибиков (1792—1870) — генерал-губернатор в Киеве в 1837—1852 годах.

Стр. 463. *Исидор* (Никольский, 1799—1892) — митрополит киевский в 1858—1860 годах; см. также стр. 678.

Арсений (Москвин, 1795—1876) — митрополит киевский в 1860—1876 годах.

Филофей (Успенский, 1808—1882) — митрополит киевский в 1876—1882 годах.

Штунда — см. стр. 639.

Мельхиседек. — Бывший настоятель Киевского Николаевского монастыря, архимандрит Мельхиседек утонул 26 августа 1878 года во время прогулки по Днепру. Его сопровождало довольно большое общество — до 20 человек, в том числе «дамы с детьми и прислугой», как сообщалось в газетах («Церковно-общественный вестник», 1878, 17 сентября, № 111, стр. 4).

...погибоша аки обре — выражение из «Повести временных лет» о том, как бог истребил обров (аваров) за насилия по отношению к покоренным ими дулебам. Употребляется в смысле: «исчезли без следа».

Стр. 465. *Епископ Н⟨еофи⟩т* (Соснин, 1795—1868) был «в отдаленной восточной епархии», то есть в Перми, в 1851—1868 годы, а перед тем в 1838—1851 годах в Вятке. Что речь идет о Неофите, подтверждает и Е. А. Попов в книге «Великопермская и пермская епархия. 1379—1879», Пермь, 1879, стр. 306—319.

...автор сочинения о том, каким святым в каковых случаях надо молиться, пермский протоиерей Евгений Попов... — Книга Е. А. Попова называется: «Святые, имеющие особенную благодать помогать в разных болезнях и других нуждах», Пермь, 1879.

Стр. 466. *Митрофан* (1623—1703) — епископ воронежский в 1682—1693 годах.

Св. Варвара — христианская мученица в IV в.

Иоанн Многострадальный (ум. в 1160 г.), согласно легенде, 30 лет прожил в пещере, зарытый по плечи.

Стр. 467. *Д. А. Толстой* (1823—1889) — видный государственный деятель; с 1865 года — обер-прокурор синода, с 1866-го — также и министр народного просвещения; обе эти должности он занимал до апреля 1880 года. Крайний реакционер, сторонник «сильной власти» и «регламентации» крестьянского быта. Толстой провел реформу духовно-учебных заведений, а в гимназии резко усилил преподавание классических языков. Школа, по его мнению, должна быть оплотом борьбы против материализма и свободомыслия.

Контрировал — ссорился.

Г-н N был простец. — Слово «простец», употребленное здесь и далее Лесковым несколько раз, заимствовано им из записок замечательного самоучки-писателя и экономиста И. Т. Посошкова (1670—1726). В письме к А. П. Милюкову (приблизительно 1879—1880 г.) Лесков писал: «позвольте мне рекомендовать вашему вниманию слово «простец» в записках Посошкова, который и сам себя и вообще крестьян называет «простецами». Заключаю от этого, что употребление такого слова не зазорно, и оно значит совсем не то, что значит «простяк»... Слово «простец» есть слово русское, правильное и притом столь ясно-выразительное, что я позволю себе за него стоять и впредь стану его употреблять ничтоже сумняся» (сборник «Шестидесятые годы. Материалы по истории литературы и общественному движению» под ред. Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновицера, М. — Л., изд. Академии наук СССР, 1940, стр. 299—300).

Стр. 468. *...ни та старушка у Тургенева, которая сама хотела заплатить рубль за свою отходную* — см. рассказ «Смерть» в «Записках охотника».

...если блюсти свое правило и хоть немножко хранить свое достоинство, о коем позволяет заботиться Сирах... — В библии в Книге премудрости Иисуса сына Сирахова (гл. XXXIII, 23) есть следующие слова: «во всех делах твоих будь главным и не клади пятна на честь твою».

Потир — чаша, употребляемая при православном богослужении.

Стр. 469. *Преосвященный Н⟨еофи⟩т поступил из г. Вятки в г. П⟨ермь⟩ после архиерея сурового, большого постника...* — Предшественником Неофита в Перми в 1831—1851 годах был Аркадий (Федоров, ум. в 1870 г.).

Стр. 470. *...явился к владыке с некогда знаменитым цензором г. Z.* — В книге Е. А. Попова «Великопермская и пермская епархия, 1379—1879», Пермь, 1879, стр. 311, указано, что речь идет

о Н. В. Е. — то есть об Н. В. Елагине (1817—1891), духовном писателе и с 1848 года цензоре.

Стр. 471. *Резент* — резон.

Никодимова беседа — памятник апокрифической литературы, рассказывающий о страданиях Христа и о сошествии его в ад.

Полунощница — богослужение перед утреней.

Стр. 473. *«Исполатие»* — искаженное «испола ети деспота» — церковное возглашение по гречески: eis polla été despota — на многие годы, владыка.

Стр. 474. *...из козловского «Чернеца»...* — Цитата у Лескова не вполне точна. У Козлова:

И воз, накладенный снопами;
И вижу я, между снопов
Сидит в венке из васильков
Младенец с алыми щеками.

(Глава X)

...в путь, в город О. — По-видимому, речь идет об Оханске Пермской губернии.

Стр. 481. *...дело об убийстве доктора Ковальчукова.* — Известный харьковский врач А. И. Ковальчуков (род. в 1832 г.) был убит 10 декабря 1877 года Г. А. Безобразовым на почве сложных отношений с М. С. Ковальчуковой. Последняя разошлась с мужем, но развод не был оформлен. Убийство и все перипетии процесса оживленно обсуждались не только местной, но и столичной прессой. Процесс происходил в Харькове в октябре 1878 года. Присяжные оправдали М. С. Ковальчукову и признали Безобразова виновным, но заслуживающим снисхождения, — он был приговорен к 11 годам каторжных работ (см., напр., газету «Харьков», 1878, 6 января, №№ 43 и 45, 28 января, № 61, 24 августа, № 195, №№ 235—239, 26 октября — 1 ноября).

Стр. 482. *...статьи г. Филиппова в «Современнике»...* — Лесков имеет в виду статьи юриста и публициста М. А. Филиппова (1828—1886) «Взгляд на русские гражданские законы», напечатанные в «Современнике», 1861, №№ 2 и 3.

Стр. 484. *...супругов Т⟨инько⟩вых в их родовом селе Х⟨омут⟩ах, на берегу реки Оки.* — Фамилия и село установлены путем сопоставления данных следующих изданий: «Приложения к трудам редакционных комиссий для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости», т. II, СПб., 1860, стр. 2 (6-й пагинации) — фамилия владельца и название села и «Списка населенных мест Российской империи», т. XXIX, СПб.,

1871, № 154, стр. 11 — название села, находящегося на берегу Оки и единственно подходящего по грамматической форме множ. числа.

Стр. 484. *Поликарп* (Радкевич, 1789—1867) — епископ орловский в 1858—1867 годах.

Стр. 485. *Прификс* (от франц. prix-fixe) — окончательная цена, без запроса и без уступок.

Стр. 486. *...О⟨рел⟩, представлявший тогда, по выражению близко знавшего его романиста, «дворянское гнездо»...* — Лесков имеет в виду И. С. Тургенева.

Стр. 487. *...как ветхозаветная Анна, только плакала и шептала...* — В библейской Первой книге Царств (глава I) рассказывается об одной из жен Елкана — Анне, горько плакавшей по поводу своей бездетности.

Стр. 492. *...в прекрасно исполняемой Самойловым пьесе «Одно слово министру».* — Артист В. В. Самойлов (1813—1887) играл в комедии австрийского драматурга Антона Лангера (1824—1879) «Одно слово министру» (перевод с немецкого И. Ф. Плинатуса). Рукописный экземпляр этой неизданной пьесы имеется в Ленинграде в фондах Театральной библиотеки им. А. В. Луначарского (№ 1535). Действие происходит в Вене в 1784 году. Эта пьеса была поставлена на сцене Александринского театра в 1867 году, то есть как раз в то время, когда Лесков ставил там своего «Расточителя».

Стр. 493. *Святогоров конь* — сказочный конь богатыря Святогора, обладавший человеческим разумом и дававший всаднику советы.

Стр. 495. *Сократически.* — Сократической называется особая форма беседы, связанная с именем древнегреческого философа Сократа (V в. до н. э.). Сократ будто бы заставлял собеседника самого прийти к правильному выводу путем задаваемых ему вопросов («наведения»).

Стр. 497. *Ухоботье* — плева, мякина, то, что на току относится ветром к концу вороха.

Стр. 501. *...расхваленный «образцовый священник» петербургской Знаменской церкви, Александр Тимофеевич Никольский. Этот «образцовый священник», как повествует изданная о нем похвальная книга... отказался помолиться над незамужнею родильницею.* — Этот эпизод подробно рассказан в анонимно изданной книге о Никольском (1821—1876) «А. Т. Никольский. Очерк жизни и деятельности», СПб., 1878, стр. 38—42. По жалобе родильницы Никольскому было сделано строгое замечание.

Василий Кесарийский — см. примечание на стр. 639.

Стр. 504. *«История конституций» А. В. Лохвицкого.* — Точное название этой книги прогрессивного юриста и публициста А. В. Лохвицкого (1830—1884) «Обзор современных конституций», СПб., 1862, и изд. 2-е — СПб., 1865.

Стр. 506. *«Узы Гименея»* — то есть брака (по имени Гимена — бога брака в древнегреческой мифологии).

Бонза — буквально: жрец Будды, здесь в значении: неприступный владыка.

Стр. 511. *Я ведь не в корпусе на Садовой улице учился...* — На Садовой улице в Петербурге находился привилегированный Пажеский корпус.

Nam si violandum... и т. д. — Цитата из драмы «Финикиянки» (стихи 524—525) древнегреческого драматурга Эврипида (V в. до н. э.) цитируется Лесковым в переводе Цицерона (I в. до н. э.) в его трактате «Об обязанностях» (кн. III, § 82).

Стр. 512. *Молахи и валдахи* — искаженное молдавы и валахи. См. то же в «Шерамуре», наст. том, стр. 293.

Стр. 513. *Филарет Дроздов* — см. стр. 634.

Олилюй — искаженное «Аллилуйя» (церковный возглас — «Хвалите господа»).

Стр. 515. *Исидор* — см. примечание на стр. 674. Исидор в течение ряда лет собирал различные рукописи. Упоминаемое Лесковым литографированное их описание перепечатано в издании: «Сердечный привет. Сборник статей... в память 50-летия... Исидора...», СПб., 1884, стр. 117—168.

Стр. 516. *...люди русские, которым, по справедливому замечанию Пушкина, «злорадство свойственно»...* — Откуда Лесковым заимствованы эти слова, не установлено. По данным картотеки Пушкинского словаря Института языкознания Академии наук СССР, у Пушкина слово «злорадство» не зарегистрировано.

Стр. 517. *...собрался на Самотек...* — Близ Самотечной улицы в Москве находилось Троицко-Сухаревское подворье — резиденция митрополита в это время.

Стр. 518. *...конца нет претекстам.* — Претекст здесь в значении: предлог (от франц. prétexte).

Стр. 519. *...иерея Беллюстина вызвал...* — Подразумевается калязинский священник И. С. Беллюстин (1820—1890), автор книги «Описание сельского духовенства» (Лейпциг, 1858), напечатанной М. П. Погодиным против воли автора. Книга ярко освещала положение русского духовенства и вызвала большой шум и полемику в печати. Добролюбов дважды касался этой книги в «Современ-

нике» (в статьях «Мысли светского человека о книге «Описание сельского духовенства» — 1859, № 6, и «Заграничные прения о положении русского духовенства» — 1860, № 3).

Стр. 519. *Голубинский,* Е. Е. (1834—1912), — историк русской церкви, профессор Московской духовной академии. Его труды, носившие относительно либеральный характер, вызвали против него гонение со стороны К. П. Победоносцева и других представителей официальной церкви. Неоднократные упоминания о Голубинском в ряде статей и очерков Лескова имели полемический характер.

Стр. 520. *...в видах наибольшей аттенции...* — для выражения наибольшего почтения.

Стр. 524. *...«нет тайны, которая не сделалась бы явною»...* — не вполне точная цитата из евангелия от Луки, гл. VIII, 17.

Кавалерийский генерал Яшвиль — генерал-майор В. В. Яшвиль (1815—1864), убивший в 1842 году на дуэли кн. А. Н. Долгорукого и за это разжалованный в солдаты; впоследствии командовал полками.

Стр. 529. *...Нила — автора исследования «О буддизме».* — Книга архиепископа Нила (Исаковича, 1796—1874), «Буддизм, рассматриваемый в отношении к последователям его, обитающим в Сибири», вышла в Петербурге в 1858 году и вызвала доброжелательную рецензию Добролюбова в «Современнике», 1858, № 11 (см. наст. изд. т. 5, стр. 451 и след.).

Стр. 530. *Агафангел.* — Лесков имеет в виду Соловьева (1812—1876), автора поданной в 1876 году записки о духовно-судебной реформе, направленной против Д. А. Толстого.

Стр. 531. *О тождестве бежавшего в Нью-Йорк иеродиакона Агапия...* — Речь идет об Агапии (Андрее) Гончаренко (род. в начале 1830-х гг. в Киевской губ.), б. дьяконе посольской церкви в Афинах, не поладившем со своим начальством и бежавшем в Лондон. Некоторое время был наборщиком Вольной русской типографии в Лондоне. В 1872—1873 годах издавал в Сан-Франциско на русском языке религиозно-протестантский журнал «Свобода» (вышло четыре номера).

Стр. 533. *Симония* — приобретение духовных должностей подкупом.

Стр. 535. *Евгений Болховитинов* — см. стр. 634.

Архиепископ Димитрий Муретов (1806—1883) — архиепископ одесский, ярославский, потом херсонский, видный проповедник и автор многочисленных работ по истории церкви.

Стр. 536. *Замечательное исследование молодого ученого о легенде св. Георгия напечатано в министерском журнале...* — Имеется

в виду монография «Святой Георгий и Егорий Храбрый» А. И. Кирпичникова (1845—1903), напечатанная в «Журнале министерства народного просвещения» в 1878—1879 годах.

Стр. 537. *Аббат Лакордер,* Жан-Батист (1802—1861) — известный французский проповедник, издатель демократическо-католической газеты «L'Avenir» («Будущее»).

Песталоцци, Иоганн-Генрих (1746—1827) — знаменитый швейцарский педагог.

Нимейер, Август-Герман (1751—1828) — немецкий богослов и педагог.

Коверау (правильно Каверау), Густав (1847—1918) — известный немецкий богослов.

Дистервег, Адольф (1790—1866) — известный немецкий педагог, продолжатель и популяризатор идей Песталоцци.

Пресловутый в свое время Шедо-Ферроти — псевдоним реакционного публициста Ф. И. Фиркса (1812—1872), автора целого ряда изданных по-французски и по-немецки статей и брошюр и особенно нашумевшего в свое время, изданного по-французски, письма к Герцену, содержавшего критику идей «Колокола» («Lettre de M. Hertzen à l'Amdassadeur de Russie à Londres, avec réponse de M. Shedo-Ferroti», 5 изданий, 1861—1862) — эта брошюра была разрешена к ввозу в Россию. Ответ на эту брошюру содержится в знаменитой статье Д. И. Писарева ⟨«О брошюре Шедо-Ферроти»⟩, послужившей поводом к его аресту в июне 1862 года и заключению в Петропавловской крепости до ноября 1866 года. Статья была впервые опубликована лишь в 1902 году. См. Д. И. Писарев, Сочинения, т. 2, М., Гослитиздат, 1955, стр. 120—126.

Гайнау, Юлий (1786—1853) — австрийский фельдмаршал, жестоко подавивший революционные вспышки в Италии и Венгрии в 1848—1849 годах.

Кобден, Ричард (1804—1865) — английский государственный деятель, горячий защитник принципов свободной торговли.

Сакос и митра — верхнее архиерейское облачение и головной убор во время богослужения.

АРХИЕРЕЙСКИЕ ОБЪЕЗДЫ

Печатается по назв. на стр. 662 изданию, стр. 411—432. Впервые — под заглавием «Архиерейские встречи» в газете «Новости», 1879, 9 июня, 145, 16 июня, № 152, 23 июня, № 159, и 5 июля, № 170. Перепечатано в издании: «Мелочи архиерейской жизни», СПб., изд. 2-е, вновь автором пересмотренное, исправленное и зна-

чительно дополненное с тремя приложениями, изд. И. Л. Тузова, 1880, стр. 189—212.

Стр. 539. *Нельзя, не видя океана, Себе представить океан.* — Источник этой частой у Лескова цитаты не установлен. См. А. Лесков, Жизнь Николая Лескова, стр. 199.

Стр. 540. *Платон (Левшин)* (1737—1812) — митрополит московский с 1775 г. и до смерти.

Стр. 541. *В моих руках находится очень редкая вещь...* — Дневник священника Фоки Струтинского (1805—1854) вскоре после статьи Лескова, но без упоминания о нем, стал предметом обширной статьи Л. Мациевича «О дневнике священника Фоки Струтинского» («Древняя и новая Россия», 1880, № 5, стр. 37—53, № 6, стр. 260—287, № 8, стр. 686—704, № 12, стр. 734—765). Многочисленные цитаты из дневника иногда совпадают с приведенными Лесковым. (Ср. также заметку Л. М⟨ациевича⟩ «Священник Фока Назарьевич Струтинский и его полемическая заметка против «Киевских губернских ведомостей» — «Киевская старина», 1903, № 1, стр. 1—5.) После 1903 года рукописи дневника, хранившиеся у родных, поступили в Киевский «Художественно-промышленный и научный музей имени императора Николая Александровича». Описание их см. у С. А. Щегловой в «Известиях отделения русского языка и словесности имп. Академии наук», 1916, т. 21, кн. 2, стр. 16. В настоящее время эти рукописи хранятся в Государственной Публичной библиотеке Академии наук УССР в Киеве.

То, что издано под подобным заглавием гг. Ливановым и кн. Владимиром Мещерским, — есть, кажется плод собственной фантазии этих авторов... — Лесков имеет в виду книгу «Жизнь сельского духовенства», ч. 1—3, Ф. В. Ливанова, М., 1877, и «Изо дня в день. Записки сельского священника», СПб., 1875, В. П. Мещерского. На первую из названных книг Лесков напечатал обширную отрицательную рецензию — «Карикатурный идеал. Утопии из церковно-бытовой жизни. Критический этюд» — «Странник», 1877, № 8, стр. 129—143, № 9, стр. 259—276, и № 10, стр. 71—86.

Стр. 542. *«Записки Добрынина».* — «Записки» Г. И. Добрынина (1752—1824) напечатаны в «Русской старине», 1871, №№ 1—10. Они живо рисуют быт русского духовенства XVIII века.

Стр. 543. *Некоторые, подобно Ионе, уже и храпляху...* — В библейской Книге пророка Ионы рассказывается, как он во время жестокой бури крепко спал «во внутренности корабля» (гл. 1, ст. 5).

Стр. 543. *Андреево стояние* — православное богослужение четвертой седмицы великого поста: на нем читается канон, составленный Андреем Критским (конец VII в.).

Стр. 545. *Фриштык* (от нем. Frühstück) — завтрак.

Стр. 548. *Викарий* — в духовном ведомстве: заместитель.

Аполлинарий (Вигилянский) — епископ чигиринский в 1845—1858 годах.

Стр. 549. *Дижде* (укр.) — дождется.

Стр. 551. *...чтобы лядвия наша не наполнилась поругания...* — Лядвия — верхняя половина ноги от таза до колена, бедро; здесь в значении: «чтобы тело наше не подверглось избиению».

Стр. 554. *...антиминс и св. дары...* — напрестольный платок с зашитой в него частицей мощей и хлеб и вино, освящаемые на литургии и служащие для причащения верующих.

Стр. 555. *Подлясье* — старинное название части Польши, составлявшей в царской России Седлецкую губернию и частично Люблинскую и Ломжинскую.

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СУД

Печатается по назв. на стр. 662 изданию, стр. 433—456. Впервые под заглавием «Духовный суд» — в газете «Новости», 1880, 12 июня, № 153, 13 июня, № 154, и 18 июня, № 159. Перепечатано в издании: «Мелочи архиерейской жизни», СПб., изд. 2, вновь автором пересмотренное, исправленное и значительно дополненное, с тремя приложениями, изд. И. Л. Тузова, 1880, стр. 213—236.

Стр. 560. *Соломонов суд* — по имени израильского царя Соломона Мудрого (X в. до н. э.); здесь употреблено в ироническом смысле.

Запрещен — церковный термин: запрещено отправлять духовную службу.

Стр. 564. *Во II томе сборника г. Любавского...* — Лесков имеет в виду издание юриста А. Д. Любавского «Русские уголовные процессы», т. II, СПб., 1867. Упоминаемое им дело о рядовом Карле Орлове, стрелявшем (в припадке помешательства) в церкви из ружья, изложено на стр. 150—154 назв. издания.

Стр. 569. *...напоминаю историю о некрещеном попе.* — См. в наст. томе рассказ Лескова «Некрещеный поп».

Стр. 570. *«Не слышат, — видят и не знают»* — цитата из стихотворения Державина «Властителям и судиям» — переложение 81-го псалма.

Стр. 571. ...*в духе «человеческих трагикомедий» Шерра* — по имени немецкого писателя, критика и публициста Иоганна Шерра (1817—1886), автора книги «Menschliche Tragikomoedie» («Человеческая трагикомедия»), русский перевод, М., 1877.

...*усматривали манну небесную...* — По библейскому преданию, пища израильтян во время их странствования по пустыне из Египта в Палестину состояла из падавшей с неба манны.

Стр. 572. ...*ищут оправданий... «пекуниею»...* — то есть деньгами (от лат. pecunia).

Стр. 574. ...*исследование... г. Кузнецова о черемисах...* — Лесков имеет в виду статьи С. К. Кузнецова о черемисах в «Древней и новой России», 1877, № 8, 1879, № 5.

Стр. 575. ...*получаем июньскую книгу журнала «Русская речь», где с религиозными вопросами обращаются почтительно и бережно.* — Лесков имеет в виду статью А. Н. ⟨А. А. Навроцкого⟩ «Наше духовенство» в № 6 за 1880 г.

Стр. 576. ...*коих великий Петр в духовном регламенте назвал «несытыми архиерейскими скотичами»* — см. примечание на стр. 671.

РУССКОЕ ТАЙНОБРАЧИЕ

Печатается по назв. на стр. 662 изданию, стр. 457—509. Впервые в газете «Новости», 1878, 16 декабря, 1879, 5 января, № 4, 9 января, № 7, 15 января, № 13, и 28 января, № 28. Перепечатано в издании: «Мелочи архиерейской жизни», СПб., изд. 2, вновь автором пересмотренное, исправленное и значительно дополненное, с тремя приложениями, изд. И. Л. Тузова, 1880, стр. 237—296.

Стр. 579. *Столичный протоиерей.* — По указанию А. Н. Лескова, здесь подразумевается священник Иоанн Образцов, настоятель храма Спаса на Сенной в Петербурге (А. Лесков, Жизнь Николая Лескова, стр. 299, сноска).

Стр. 580. ...*поправил у себя на груди важные кавалерии...* — Подразумеваются ордена (кавалер ордена).

...*устроили его за одним столом «в мóтью»...* — В словаре Даля (т. II, стр. 351) указано, что орловское областное слово «мóтья» обозначает «пленки, силки, волосяные петли на бечевке для ловли птиц»; здесь это слово употреблено в значении: усадили вместе.

Один довольно известный в свое время литератор... — В «Новом времени» (1879, 30 марта, № 1108, стр. 3) в рецензии Н. К. на «Мелочи архиерейской жизни» указано, что речь идет о З—не,

сотруднике «Литературной библиотеки» и «Библиотеки для чтения», то есть о реакционном критике Е. Ф. Зарине (1829—1892).

Стр. 580. *...принимал к себе в дом тоже довольно известного педагога.* — О ком идет речь, не установлено.

Стр. 581. *...записывал у него в церковной квартире свой «обыск»...* — Обыск — особый письменный акт православной церкви, совершаемый перед венчанием: под обыском должны быть подписи священника, свидетелей, жениха и невесты.

Стр. 583. *...ей забило мороки* (народное выражение) — она упала в обморок.

Стр. 586. *...начнем хоть с отца нашего Иакова. Посмотрите, пожалуйста, что это за молодчина был по сердечной части!* — В библии (Первая книга Бытия, глава 29) содержится рассказ о том, как Иаков, плененный красотой младшей дочери Лавана — Рахили, семь (а не шесть, как у Лескова) лет прослужил пастухом у Лавана. Но Лаван обманом сделал Иакова мужем другой, старшей дочери Лии, и Иаков служил еще семь лет ради Рахили.

Стр. 587. *Блаженный Августин* — см. примечание на стр. 631.

Стр. 590. *...наставшая вскоре затем филаретовщина всех их свела и скорчила.* — Лесков имеет в виду режим, установленный московским митрополитом (с 1821 г.), Филаретом Дроздовым (см. стр. 634).

Стр. 591. *...Урию на войну услал, а к его Вирсавe со грехом ходит.* — В библейской Второй книге Царств рассказывается, как царь Давид, чтобы овладеть понравившейся ему Вирсавией, услал ее мужа Урию на войну, где он и погиб; от брака с Вирсавией у Давида родился сын Соломон (Мудрый).

...когда, бывало, ему что-нибудь из Евстафия Плакиды приведет... — Евстафий Плакида — римский вельможа и полководец, христианский великомученик (ум. ок. 118 г.).

Стр. 592. *...архиерей в ту пору был Г—иил.* — В 1821—1828 годах архиереем в Орле был Гавриил Розанов (1781—1858).

Стр. 595. *Ему бы, по-моему, «Весельчака» издавать.* — «Весельчак» — еженедельный юмористический и сатирический журнал, выходивший в Петербурге в 1858—1859 годы.

...отвлеченнее, чем в Аристофановой комедии, — все «на облаках» происходит. — «Облака» — комедия древнегреческого драматурга Аристофана (IV—V в. до н. э.).

Стр. 599. *...дворник, которому сама полиция верит больше, чем любому ученому и литератору.* — Здесь и дальше у Лескова намек на то, что в царской России дворники систематически использовались полицией для слежки и доноса за проживающими в доме.

Стр. 599. *...плюнул так решительно, как мог плевать только известный Костанжогло...* — В главе третьей второго тома «Мертвых душ» Костанжогло несколько раз гневно плюет.

Стр. 601. *...«раннего батюшку» за себя нанимал...* — Состоятельные священники, чтобы не утруждать себя ранним вставанием, нанимали вместо себя какого-либо безработного и нуждавшегося попа. В больших городах, вблизи церквей и соборов, порою образовывались своеобразные «биржи труда».

Стр. 609. *...таких своих энгелистов привели...* — то есть нигилистов. Ср. стр. 259 наст. тома.

Стр. 611. *Есть чем стесняться? суньте два пальца вместо руки, — вот и сановник.* — Эти слова — изложение эпизода, случившегося на вечере у Лескова, когда писатель, камергер Б. М. Маркевич подал генерал-майору А. П. Щербатову два пальца (А. Лесков, Жизнь Николая Лескова, стр. 299).

Стр. 617. *Им и молебна-то жаль, — не токма что Исайю для них беспокоить.* — «Исайя, ликуй» — молитва, исполняемая при венчании.

Стр. 620. *Конклав* — собрание католических кардиналов; здесь в значении — высокое собрание.

Стр. 621. *Афрапировал* — ошеломил.

СОДЕРЖАНИЕ

Н. С. ЛЕСКОВ

Собрание сочинений, т. 6

Редактор А. М. Бихтер
Художник Т. Д. Епифанов
Художественный редактор
А. М. Гайденков
Технический редактор
Л. П. Крючкина
Корректор И. Ф. Кузнецова

Подписано к печати 1/XI 1957 г.
Бумага 84×108[1]/32 — 21,5 печ. л. =
= 35,26 усл. печ. л. 35,17 уч.-изд. л.
Тираж 350 000 экз. Заказ № 728.
Цена 12 р.

Гослитиздат
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28.

Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького. Ленинград, Гатчинская, 26.

